This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

EX LIBRIS IVAN TOURGUENEFF

309 H 17

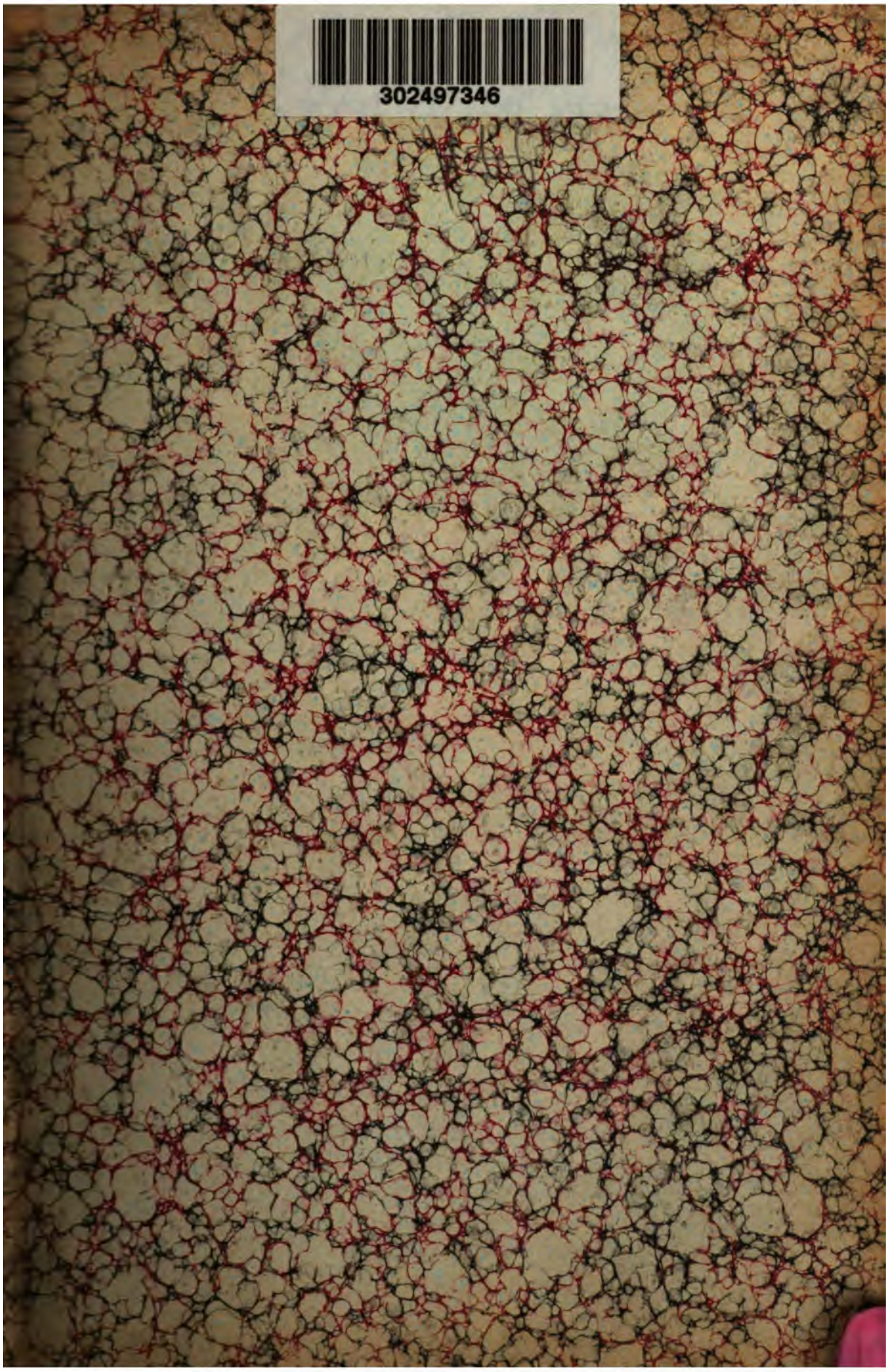
309 H 17

TAYLOR INSTITUTION

DOMI NUS ILLU MINA TIO MEA

Confined to Library
NEVILL FORBES BEQUEST

PG3321.A5.Z5.1856


302497346

১৭|৬

৫|- ১৯২৫

СЕМЕЙНАЯ

ХРОНИКА

и

ВОСПОМИНАНІЯ.

С. Аксакова.

МОСКВА.
Въ типографіи Л. Степановой.
1856.

Печатать позволяется съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва. Октября 15 дня, 1855 года.

Цензоръ *Н. Фонъ-Кругъ.*

СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА.

КЪ ЧИТАТЕЛЯМЪ.

Считаю за нужное предувѣдомить благосклонныхъ моихъ читателей, что отрывки изъ «Семейной Хроники» написаны мною по разсказамъ семейства гг. Багровыхъ, близкихъ моихъ сосѣдей, и что эти отрывки не имѣютъ ничего общаго съ собственными моими «Воспоминаніями», кромѣ сходства въ названіи мѣстностей и въ нѣкоторыхъ именахъ, данныхъ мною произвольно. Печатая эту книгу, я очень жалѣю, что не могъ представить ее публикѣ въ полномъ составѣ. Половина «Семейной Хроники» не могла быть напечатана, да и «Воспоминанія» много сокращены самимъ мною.

С. Аксаковъ.

ПЕРВЫЙ ОТРЫВОКЪ

ИЗЪ

СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ.

СТЕПАНЪ МИХАЙЛОВИЧЪ

БАГРОВЪ.

Переселеніе.

Тѣсно стало моему дѣдушкѣ жить въ Симбирской губерніи, въ родовой отчинѣ своей, жалованной предкамъ его отъ Царей Московскихъ; тѣсно стало ему, не потому чтобъ въ самомъ дѣлѣ было тѣсно, чтобъ не доставало лѣсу, пашни, луговъ и другихъ угодьевъ, — всего находилось въ излишествѣ; а потому, что отчина, вполнѣ еще прадѣду его принадлежавшая, сдѣлалась равнопомѣстною. Событіе совершилось очень просто: три поколѣнія сряду въ роду его было по одному сыну и по нѣсколько дочерей; нѣкоторыя изъ нихъ выходили за-мужъ, и въ приданое имъ отдавали часть крестьянъ и часть земли. Части ихъ были небольшія, но уже четверо чужихъ хозяевъ имѣли право на общее владѣніе неразмежеванною землею,— и дѣдушкѣ моему, нетерпѣливому, вспыльчивому, прямому и ненавидящему домашнія кляузы, сдѣлалась такая жизнь несносною. Съ нѣкотораго времени сталъ онъ часто слышать объ Уфимскомъ намѣстничествѣ, о неизмѣримомъ пространствѣ земель, угодьяхъ, привольяхъ, неописанномъ изобиліи дичи и рыбы и всѣхъ плодовъ земныхъ, о легкомъ способѣ пріобрѣтать цѣлыя области за самыя ничтожныя деньги: носились слухи, что стоило только

позвать къ себѣ въ гости десятокъ *родичей отчинниковъ* Картобынской или Кармалинской тюбы (*), дать имъ два-три жирныхъ барана, которыхъ они по своему зарѣжутъ и приготовятъ, поставить ведро вина, да нѣсколько ведеръ крѣпкаго ставленаго башкирскаго меду, да лагунъ корчажнаго крестьянскаго пива, такъ и дѣло въ шляпѣ: неоспоримое доказательство, что Башкирцы были не строгіе магометане и въ старину. Говорили, правда, что такое угощеніе продолжалось иногда недѣлю и двѣ; да съ Башкирцами и нельзя вдругъ толковать о дѣлѣ, и надо всякой день спрашивать: «А что, знакомъ, добрый человѣкъ, давай говорить объ мой дѣла» (**). Если гости, ѣвшіе и пившіе буквально день и ночь, еще не вполнѣ довольны угощеніемъ, не вполнѣ напѣлись своихъ монотонныхъ пѣсень, наигрались на чебызгахъ (***), наплясались, стоя и присѣдая на одномъ мѣстѣ въ самыхъ каррикатурныхъ положеніяхъ, то старшій изъ родичей, пощелкавши языкомъ, покачавъ головой и не смотря въ лице спрашивающему, съ важностію скажетъ въ отвѣтъ: «Пора не пришелъ — еще баранъ тащи.» Барана, разумѣется, притащатъ, вина, меду нальютъ, и вновь пьяные Башкирцы поютъ, пляшутъ и спятъ, гдѣ ни попало.... Но всему въ мірѣ есть конецъ; придетъ день, въ который родичь скажетъ, уже прямо смотря въ глаза спрашивающему: «Ай бачка, спасибо, больно спасибо! Ну что, какой твой нужда?» Тутъ, какъ водится, съ природною русскому

(*) Тюба — волость.

(**) Русскіе обитатели Оренбургской губерніи до сихъ поръ, говоря съ Башкирцами, стараются точно такъ же ломать русскую рѣчь, какъ и сами Башкирцы.

(***) Чебызга — дудка, которую Башкирецъ беретъ въ ротъ какъ кларнетъ, и перебирая лады пальцами, играетъ на ней двойными тонами, такъ что вы слышите въ одно и то же время какіе-то два разныхъ инструмента. Мнѣ сказывали музыканты, что чебызга чудное явленіе въ мірѣ духовыхъ инструментовъ.

человѣку ловкостію и плутовствомъ, покупщикъ начнетъ увѣрять Башкирца, что нужды у него никакой нѣтъ, а наслышался онъ, что Башкирцы больно добрые люди, а потому и пріѣхалъ въ Уфимское намѣстничество и захотѣлъ съ ними дружбу завести и проч. и проч; потомъ рѣчь дойдетъ нечаянно до необъятнаго количества башкирскихъ земель, до неблагонадежности припущенниковъ (*), которые годъ другой заплатятъ деньги, а тамъ и платить перестанутъ, да и останутся даромъ жить на ихъ земляхъ, какъ настоящіе хозяева; а тамъ и согнать ихъ не смѣешь и надо съ ними судиться; — за такими рѣчами (сбывшимися съ поразительной точностью) послѣдуетъ обязательное предложеніе избавить добрыхъ Башкирцевъ отъ нѣкоторой части обременяющихъ ихъ земель.... и за самую ничтожную сумму покупаются цѣлыя области и заключаютъ договоръ судебнымъ порядкомъ, въ которомъ, разумѣется, нѣтъ и быть не можетъ количества земли: ибо кто же ее мѣрилъ? Обыкновенно границы обозначаются урочищами, напримѣръ вотъ такъ: «отъ устья рѣчки Конлы-елга до сухой березы на волчьей тропѣ, а отъ сухой березы прямо на общій сыртъ, а отъ общаго сырта до лисьихъ норъ, отъ лисьихъ норъ до Солтамраткиной борти» и прочее. И въ такихъ точныхъ и неизмѣнныхъ межахъ и урочищахъ заключалось иногда десять, двадцать и тридцать тысячъ десятинъ земли! И за все это

(*) Припущенниками называются тѣ, которые за извѣстную ежегодную или единовременную плату, по заключенному договору на извѣстное число лѣтъ, живутъ на Башкирскихъ земляхъ. Почти ни одна деревня припущенниковъ, по окончаніи договорнаго срока, не оставила земель башкирскихъ; изъ этого завелись сотни дѣлъ, которыя обыкновенно оканчиваются тѣмъ, что припущенники оставляются на мѣстахъ своего жительства съ нарѣзкой имъ пятнадцатидесятинной пропорціи на каждую ревизскую душу по пятой ревизіи.... и вотъ какъ перешло огромное количество земель Оренбургской губерніи въ собственность Татаръ, Мещеряковъ, Чувашъ, Мордвы и другихъ казенныхъ поселянъ.

платилось какихъ нибудь сто рублей (разумѣется цѣлковыми), да на сто рублей подарками, не считая частныхъ угощеній. — Полюбились дѣдушкѣ моему такіе разсказы, и хотя онъ былъ человѣкъ самой строгой справедливости, и ему не нравилось надуванье добродушныхъ Башкирцевъ; но онъ разсудилъ, что не дѣло дурно, а способъ его исполненія, и что поступя честно, можно купить обширную землю за сходную плату; что можно перевесть туда половину родовыхъ своихъ крестьянъ и переѣхать самому съ семействомъ, то-есть достигнуть главной цѣли своего намѣренія: ибо съ нѣкотораго времени до того надоѣли ему безпрестанныя ссоры съ мелкопомѣстными своими родственниками за общее владѣніе землей, что бросить свое родимое пепелище, гнѣздо своихъ дѣдовъ и прадѣдовъ, сдѣлалось любимою его мыслію, единственнымъ путемъ къ спокойной жизни, которую онъ, человѣкъ уже не молодой, предпочиталъ всему.

И такъ, накопивши нѣсколько тысячъ рублей, простившись съ своей супругою, которую звалъ Аришей, когда былъ веселъ, и Ариной, когда бывалъ сердитъ; поцѣловавъ и благословивъ четырехъ малолѣтныхъ дочерей и особенно новорожденнаго сына, единственную отрасль и надежду стариннаго дворянскаго своего дома, ибо дочерей считалъ онъ ни за что: «что въ нихъ проку! вѣдь онѣ глядятъ не въ домъ, а изъ дому. Сегодня Багровы, а завтра Шлыгины, Малыгины, Поповы, Калпаковы. Одна моя надежда — Алексѣй....» сказалъ на прощаньѣ мой дѣдушка, и отправился за Волгу въ Уфимское намѣстничество.

Но не сказать ли вамъ напередъ, что̀ за человѣкъ былъ мой дѣдушка.

Степанъ Михайловичъ Багровъ, такъ звали его, былъ не только средняго, а даже небольшаго роста; но высокая грудь, необыкновенно широкія плечи, жилистыя

руки, каменное, мускулистое тѣло, обличали въ немъ силача. Въ разгульной юности, въ молодецкихъ потѣхахъ, кучу военныхъ товарищей, на него нацѣплявшихся, стряхивалъ онъ, какъ брызги воды стряхиваетъ съ себя коренастый дубъ послѣ дождя, когда его покачнетъ вѣтеръ. Правильныя черты лица, прекрасные большіе темно-голубые глаза, легко загаравшіеся гнѣвомъ, но тихіе и кроткіе въ часы душевнаго спокойствія, густыя брови, пріятный ротъ, все это вмѣстѣ придавало самое открытое и честное выраженіе его лицу; волосы у него были русые. Не было человѣка, кто бы ему не вѣрилъ; его слово, его обѣщаніе было крѣпче и святѣе всякихъ духовныхъ и гражданскихъ актовъ. Природный умъ его былъ здравъ и свѣтелъ. Разумѣется, при общемъ невѣжествѣ тогдашнихъ помѣщиковъ и онъ не получилъ никакого образованія, русскую грамоту зналъ плохо; но служа въ полку, еще до офицерскаго чина выучился онъ первымъ правиламъ ариѳметики и выкладкѣ на счетахъ, о чемъ любилъ говорить даже въ старости. Вѣроятно онъ служилъ не очень долго, ибо вышелъ въ отставку какимъ-то полковымъ квартирмейстеромъ. Впрочемъ тогда дворяне долго служили въ солдатскомъ и унтеръ-офицерскомъ званіяхъ, если не проходили ихъ въ колыбели и не падали всѣмъ на голову изъ сержантовъ гвардіи капитанами въ армейскіе полки. О служебномъ поприщѣ Степана Михайловича я мало знаю; слышалъ только, что онъ бывалъ часто употребляемъ для поимки волжскихъ разбойниковъ, и что всегда оказывалъ благоразумную распорядительность и безумную храбрость; что разбойники знали его въ лицо и боялись какъ огня Вышедъ въ отставку, нѣсколько лѣтъ жилъ онъ въ своемъ наслѣдственномъ селѣ Троицкомъ, Багрово тожъ, и сдѣлался отличнымъ хозяиномъ. Онъ не торчалъ день и ночь при крестьян-

скихъ работахъ, не стоялъ часовымъ при ссыпкѣ и отпускѣ хлѣба; смотрѣлъ рѣдко да мѣтко, какъ говорятъ русскіе люди, и, ужъ прошу не прогнѣваться, если замѣчалъ что дурное, особенно обманъ, то уже не спускалъ никому. Дѣдушка, сообразно духу своего времени, разсуждалъ по своему: наказать виноватаго мужика тѣмъ, что отнять у него собственные дни, — значитъ вредить его благосостоянію, то-есть своему собственному; наказать денежнымъ взысканіемъ — тоже; разлучить съ семействомъ, отослать въ другую отчину, употребить въ тяжелую работу—тоже, и еще хуже, ибо отлучка отъ семейства— несомнѣнная порча; прибѣгнуть къ полиціи.... Боже помилуй, да это казалось такимъ срамомъ и стыдомъ, что вся деревня принялась бы выть по виноватомъ какъ по мертвомъ, а наказанный счелъ бы себя опозореннымъ, погибшимъ. Да и надо сказать, что дѣдушка мой былъ строгъ только въ пылу гнѣва: прошелъ гнѣвъ, прошла и вина. Этимъ пользовались: иногда виноватый успѣвалъ спрятаться, и гроза проходила мимо. Скоро крестьяне его пришли въ такое положеніе, что было не на кого и не за что разсердиться.

Приведя въ порядокъ свое хозяйство, дѣдушка мой женился на Аринѣ Васильевнѣ Неклюдовой, небогатой дѣвицѣ, также изъ стариннаго дворянскаго дома. При этомъ случаѣ кстати объяснить, что древность дворянскаго происхожденія была конькомъ моего дѣдушки, и хотя у него было 180 душъ крестьянъ, но производя свой родъ, Богъ знаетъ по какимъ документамъ, отъ какого-то варяжскаго князя, онъ ставилъ свое семисотъ-лѣтнее дворянство выше всякаго богатства и чиновъ. Онъ не женился на одной весьма богатой и прекрасной невѣстѣ, которая ему очень нравилась, единственно потому, что прадѣдушка ея былъ не дворянинъ.

И такъ вотъ каковъ былъ Степанъ Михайловичъ; теперь возвратимся къ прерванному разсказу.

Переправившись чрезъ Волгу подъ Симбирскомъ, дѣдушка перебилъ поперекъ степную ея сторону, называемую луговою, переѣхалъ Черемшанъ, Кандурчу, чрезъ Красное поселеніе, слободу селившихся тогда отставныхъ солдатъ, и пріѣхалъ въ Сергіевскъ, стоящій на горѣ, при впаденіи рѣки Сургута въ Большой Сокъ. Сергіевскъ нынѣ заштатный городъ, давшій свое имя находящимся въ 12 верстахъ отъ него сѣрнымъ источникамъ, извѣстнымъ подъ названіемъ Сергіевскихъ сѣрныхъ водъ. Чѣмъ дальше углублялся дѣдушка въ Уфимское намѣстничество, тѣмъ привольнѣе, изобильнѣе становились мѣста. Наконецъ въ Бугурусланскомъ уѣздѣ, около Абдуловскаго казеннаго виннаго завода, показались лѣса. Въ уѣздномъ городѣ Бугурусланѣ, расположенномъ по высокой горѣ, надъ рѣкою Большой Кинель, про которую долго пѣвалась пѣсня:

Кинель рѣка
Не быстра, глубока,
Только тиниста...

въ Бугурусланѣ остановился Степанъ Михайловичъ, чтобъ поразспросить и поразузнать поближе о продающихся земляхъ. Въ этомъ уѣздѣ уже мало оставалось земель, принадлежавшихъ Башкирцамъ: всѣ заселялись, или казенными крестьянами, которымъ правительство успѣло раздать земли, описанныя въ казну за Акаевскій бунтъ, прежде всеобщаго прощенія и возвращенія земель отчинникамъ—Башкирцамъ; или были уже заселены ихъ собственными припущенниками; или куплены разными помѣщиками Изъ Бугуруслана дѣдушка дѣлалъ поѣздки въ Бугульминской, Бирской и Мензелинской уѣзды (изъ нѣкоторыхъ частей двухъ послѣднихъ составленъ нынѣ новый Белебеевской уѣздъ); побывалъ онъ на прекрасныхъ

берегахъ Ика и Демы. Мѣста очаровательныя! И въ старости Степанъ Михайловичъ съ восторгомъ вспоминалъ о первомъ впечатлѣніи, произведенномъ на него изобильными, плодоносными окрестностями этихъ рѣкъ; но онъ не поддался обольщенію, и узналъ покороче на мѣстѣ, что покупка башкирскихъ земель неминуемо поведетъ за собою безконечные споры и тяжбы: ибо хозяева сами хорошенько не знали правъ своихъ и числа настоящихъ отчинниковъ; — дѣдушка мой, ненавидящій и боявшійся, какъ язвы, слова тяжба, рѣшился купить землю, прежде купленную другимъ владѣльцемъ, *справленную и отказанную за него* судебнымъ порядкомъ, предполагая, что тутъ уже не можетъ быть никакого спора. Казалось, что сужденіе его было справедливо, но на дѣлѣ вышло совсѣмъ другое, и меньшой внукъ его, уже будучи сорока лѣтъ, покончилъ послѣдній споръ. Съ сожалѣніемъ воротился съ береговъ Ика и Демы дѣдушка мой въ Бугурусланъ, и въ двадцати пяти верстахъ отъ него купилъ землю у помѣщицы Грязевой по рѣчкѣ Большой Бугурусланъ, быстрой, глубокой и многоводной. На сорокъ верстъ протяженія, отъ города Бугурусланъ до казеннаго селенія Красный Яръ, оба берега его были не заселены; что за угодье, что за приволье было тогда на этихъ берегахъ! Вода такая чистая, что даже въ омутахъ, сажени въ двѣ глубиною, можно было видѣть на днѣ брошенную мѣдную денежку! Мѣстами росла густая урема (*) изъ березы, осины, рябины, калины, черемухи и черноталу, вся переплетенная зелеными гирляндами хмѣля и обвѣшенная палевыми кистями его шишекъ; мѣстами росла тучная высокая трава съ безчисленнымъ множествомъ цвѣтовъ, надъ которыми возносили верхи свои душистая кашка,

(*) Уремой называется лѣсъ и кусты, растущіе около рѣкъ.

татарское мыло (боярская спѣсь), скорлазубецъ (царскія кудри) и кошечья трава (валеріана). Бугурусланъ течетъ по долинѣ; по обѣимъ сторонамъ его тянутся, то тѣснясь, то отступая, отлогія, а иногда и крутыя горы; по скатамъ и отрогамъ ихъ изобильно росъ всякой черный лѣсъ; поднимешься на гору,—тамъ равнина—не початая степь, черноземъ въ аршинъ глубиною. По рѣкѣ и окружающимъ ее индѣ болотамъ, всѣ породы утокъ и куликовъ, гуси, бекасы, дупели и курахтаны вили свои гнѣзда и разнообразнымъ крикомъ и пискомъ наполняли воздухъ; на горахъ же, сейчасъ превращавшихся въ равнины, покрытыя тучною травою, воздухъ оглашался другими особенными свистами и голосами; тамъ водилась во множествѣ вся степная птица, дрофы, журавли, стрепета, кроншнепы и кречетки; по лѣсистымъ отрогамъ жила бездна тетеревовъ; рѣка кишѣла всѣми породами рыбъ, которыя могли сносить ея студеную воду: щуки, окуни, головли, язи, даже кутема и лохъ изобильно водились въ ней; всякаго звѣря и въ степяхъ и лѣсахъ было невѣроятное множество, словомъ сказать: это былъ—да и теперь есть—уголокъ обѣтованный.—Дѣдушка купилъ около пяти тысячъ десятинъ земли и заплатилъ такъ дорого, какъ никто тогда не плачивалъ, по полтинѣ за десятину. Двѣ тысячи пятьсотъ рублей въ то время была великая сумма.—Совершивъ купчую крѣпость и принявъ землю во владѣніе, то-есть, справивъ и отказавъ ее за собою, весело воротился онъ въ Симбирскую губернію къ ожидавшему его семейству, и живо, горячо принялся за всѣ приготовленія къ немедленному переселенію крестьянъ: дѣло очень хлопотливое и трудное, по довольно большому разстоянію; ибо отъ села Троицкаго до новокупленной земли было около четырехъ сотъ верстъ. Въ ту же осень двадцать тяголъ отправились въ Бугурусланской уѣздъ, взявъ съ

собою сохи, бороны и сѣмянной ржи; на любыхъ мѣстахъ взодрали они дѣвственную почву, обработали двадцать десятинъ озимаго посѣву, то-есть, переломали не пареный залогъ и посѣяли рожь подъ борону; потомъ подняли нови еще двадцать десятинъ для яроваго сѣва, поставили нѣсколько избъ и воротились на зиму домой. Въ концѣ зимы другіе двадцать человѣкъ отправились туда же, и съ наступившею весною посѣяли двадцать десятинъ яроваго хлѣба, загородили плетнями дворы и хлѣвы, сбили глиняныя печи и опять воротились въ Сибирскую губернію; но это не были крестьяне, назначаемые къ переводу; тѣ оставались дома и готовились къ переходу на новыя мѣста: продавали лишній скотъ, хлѣбъ, дворы, избы, всякую лишнюю рухлядь. Наконецъ, въ половинѣ іюня, чтобы поспѣть къ Петрову дню, началу сѣнокоса, нагрузивъ телѣги женами, дѣтьми, стариками и старухами, прикрывъ ихъ согнутыми лубьями отъ дождя и солнца, нагромоздивъ необходимую домашнюю посуду, насажавъ дворовую птицу на верхи возовъ и привязавъ къ нимъ коровъ, потянулись въ путь бѣдные переселенцы, обливаясь горькими слезами, навсегда прощаясь съ старниною, съ церковью, въ которой крестились и вѣнчались, и съ могилами дѣдовъ и отцовъ. Переселеніе, тяжкое вездѣ, особенно противно русскому человѣку; но переселяться тогда, въ неизвѣстную бусурманскую сторону, про которую, между хорошими, ходило много и недобрыхъ слуховъ, гдѣ, по отдаленности церквей, надо было и умирать безъ исповѣди и новорожденнымъ младенцамъ долго оставаться не крещенными, — казалось дѣломъ страшнымъ!... За ними отправился и дѣдушка. Новоселившуюся деревню назвалъ Знаменскимъ, давъ обѣтъ, со временемъ, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, построить церковь во имя Знаменія Божія Матери, празднуемаго 27 ноября, что и

было исполнено уже его сыномъ. Но крестьяне, а за ними и всѣ окружные сосѣди, назвали новую деревеньку Новымъ Багровымъ, по прозванію своего барина и въ память Старому Багрову, изъ котораго были переведены; даже и теперь одно послѣднее имя извѣстно всѣмъ, а первое остается только въ дѣловыхъ актахъ: богатаго села Знаменскаго съ прекрасною каменною церковію и высокимъ господскимъ домомъ не знаетъ никто. Неусыпно и неослабно смотрѣлъ дѣдушка за крестьянскими и за господскими работами: во время убрался съ сѣнокосомъ, во время сжалъ яровое и ржаное, и во время свезъ въ гумно. Урожай былъ неслыханный, баснословный. Крестьяне ободрились. Къ ноябрю мѣсяцу у всѣхъ были построены избы, и даже поспѣлъ небольшой господскій флигель. Разумѣется, дѣло не обошлось безъ вспоможенія сосѣдей, которые, не смотря на дальнее разстояніе, охотно пріѣзжали на помочи къ новому разумному и ласковому помѣщику,—попить, поѣсть и съ звонкими пѣснями дружно поработать. Зимой дѣдушка отправился въ Симбирскую деревню и перевезъ свое семейство. На слѣдующій годъ уже не такъ трудно было перевесть еще сорокъ душъ и обзавести ихъ хозяйствомъ. Первымъ дѣломъ дѣдушки было въ этотъ же годъ построить мельницу; ибо молоть хлѣбъ надо было ѣздить верстъ за сорокъ. И такъ выбравъ заранѣе мѣсто, гдѣ вода была не глубока, дно крѣпко, а берега высоки и также крѣпки, съ обѣихъ сторонъ рѣки подвели къ ней плотину изъ хвороста и земли, какъ двѣ руки, готовыя схватиться, а для бо́льшей прочности оплели плотину плетнемъ изъ гибкой ивы; оставалось удержать быструю и сильную воду и заставить ее наполнить назначенное ей водоемище. Съ одной стороны, гдѣ берегъ казался пониже, заранѣе устроенъ былъ мельничный амбаръ на два мукомольные постава

*

съ толчеей. Всѣ снасти были готовы и даже смазаны; на огромныя водяныя колеса черезъ деревянныя трубы *кауза* (*) должна была броситься рѣка, когда, преграждённая въ своемъ природномъ руслѣ, она наполнитъ широкій прудъ и станетъ выше кауза. Когда все уже было готово, и четыре длинныя дубовыя сваи крѣпко вколочены въ твердое, глинистое дно Бугуруслана, поперекъ будущаго вешняка, дѣдушка сдѣлалъ *помочь* на два дня; сосѣди были приглашены съ лошадьми, телѣгами, лопатами, вилами и топорами. Въ первый день огромныя кучи хвороста изъ нарубленнаго мелкаго лѣса и кустовъ, копны соломы, навозу и свѣжаго дерна, были нагромождены по обѣимъ сторонамъ Бугуруслана, до сихъ поръ вольно, неприкосновенно стремившаго свои воды. На другой день, на восходѣ солнца, около ста человѣкъ собрались *занимать заимку*, то-есть, запрудить рѣку. На всѣхъ лицахъ было что-то заботливое и торжественное; всѣ къ чему-то готовились; вся деревня почти не спала эту ночь. Дружно въ одно и тоже мгновенье, съ громкимъ крикомъ сдвинули въ рѣку съ обоихъ береговъ кучи хвороста, сначала связаннаго пучками; много унесло быстрое теченіе воды, но много его, задержаннаго сваями, легло поперекъ рѣчнаго дна; связанныя копны соломы съ каменьями полетѣли туда же, за ними слѣдовалъ навозъ и земля; опять настилка хвороста, и опять солома и навозъ, и сверху всего толстые слои дерна. Когда все это кое-какъ затопленное, стало выше поверхности воды, человѣкъ двадцать крестьянъ, дюжихъ и ловкихъ, вскочили на верхъ запруды и начали утаптывать и умнать ее ногами. Все это производилось съ такою быстротою, съ такимъ об-

(*) Каузомъ называется деревянный ящикъ, по которому вода бѣжитъ и падаетъ на колеса; около Москвы зовутъ его *дворецъ* (дверецъ), а въ иныхъ мѣстахъ, *скрыни*.

щимъ рвеніемъ, безпрерывнымъ воплемъ, что всякой проѣзжій или прохожій испугался бы, услыхавъ его, еслибъ не зналъ причины. Но пугаться было некому: одни дикія степи и темные лѣса на далекое пространство оглашались неистовыми криками сотни работниковъ, къ которымъ присоединялось множество голосовъ женскихъ и еще больше ребячьихъ: ибо все принимало участіе въ такомъ важномъ событіи, все суетилось, бѣгало и кричало. Не скоро сладили съ упрямою рѣкой; долго она рвала и уносила хворостъ, солому, навозъ и дернъ; но наконецъ люди одолѣли, вода не могла пробиться болѣе, остановилась, какъ бы задумалась, завертѣлась, пошла назадъ, наполнила берега своего русла, затопила, перешла ихъ, стала разливаться по лугамъ, и къ вечеру уже образовался прудъ, или лучше сказать всплыло озеро, безъ береговъ, безъ зелени, травъ и кустовъ, на нихъ всегда растущихъ; кое-гдѣ торчали верхи затопленныхъ погибшихъ деревъ. На другой день затолкала толчея, замолола мельница — и мелетъ и толчетъ до сихъ поръ....

Оренбургская Губернія.

Боже мой, какъ, я думаю, была хороша тогда, эта дикая, дѣвственная, роскошная природа!—Нѣтъ, ты уже не та теперь, не та, какою даже и я зазналъ тебя—свѣжею, цвѣтущею, неизмятою отвсюду набѣжавшимъ разнороднымъ народонаселеніемъ! Ты не та, но все еще прекрасна. также обширна, плодоносна и безконечно разнообразна, Оренбургская губернія!... Дико звучатъ два эти послѣднія слова! Богъ знаетъ, какъ и откуда зашелъ тутъ *бургъ!*... Но я зазналъ тебя, благословенный край, еще Уфимскимъ намѣстничествомъ!

Чудесный край, благословенный,
Хранилище земныхъ богатствъ,
Не вѣчно будешь ты, забвенный,
Служить для пастырей и паствъ!
И люди набѣгутъ толпами,
Твое приволье полюбя,
И не узнаешь ты себя
Подъ ихъ нечистыми руками!
Помнутъ луга, порубятъ лѣсъ,
Взмутятъ въ водахъ лазурь небесъ!

И горы соляныхъ кристалловъ
По тузлукамъ твоимъ найдутъ,
И руды дорогихъ металловъ
Изъ нѣдръ глубокихъ извлекутъ!
И тукъ земли не истощенный
Всосутъ чужія сѣмена,
Чужія снимутъ племена
Ихъ плодъ сторицей возвращенный!
И въ глубь лѣсовъ и въ даль степей
Разгонятъ дорогихъ звѣрей!

Такъ писалъ о тебѣ, лѣтъ тридцать тому назадъ, одинъ изъ твоихъ уроженцевъ, и все это отчасти уже исполнилось или исполняется съ тобою; но все еще прекрасенъ ты, чудесный край! Свѣтлы и прозрачны, какъ глубокія, огромныя чаши, стоятъ озера твои — Кандры и Каратабынь. Многоводны и многообильны разнообразными породами рыбъ, твои рѣки, то быстротекущія по долинамъ и ущельямъ между отраслями Уральскихъ горъ, то свѣтло и тихо незамѣтно-катящіяся по ковылистымъ степямъ твоимъ, подобно яхонтамъ, нанизаннымъ на нитку. Чудны эти степныя рѣки, всѣ изъ безчисленныхъ, глубокихъ водоемовъ, соединяющихся узкими и мелкими протоками, въ которыхъ только и примѣтно теченіе воды. Въ твоихъ быстрыхъ родниковыхъ ручьяхъ, прозрачныхъ и холодныхъ какъ ледъ, даже въ жары знойнаго лѣта, бѣгущихъ подъ тѣнью деревъ и кустовъ — живутъ всѣ

породы форелей, изящныхъ по вкусу и красивыхъ по наружности, скоро пропадающихъ, когда человѣкъ начнетъ прикасаться нечистыми руками своими къ дѣвственнымъ струямъ ихъ свѣтлыхъ прохладныхъ жилищъ. Чудесной растительностью блистаютъ твои тучные черноземные, роскошные луга и поля, то бѣлѣющіе весной молочнымъ цвѣтомъ вишенника, клубничника и дикаго персика, то покрытыя лѣтомъ, какъ краснымъ сукномъ, ягодами ароматной полевой клубники и мелкою вишнею, зрѣющею позднѣе и темнѣющею къ осени. Обильною жатвой награждается лѣнивый и невѣжественный трудъ пахаря, кое-какъ и кое-гдѣ всковырявшаго жалкою сохою или неуклюжимъ сабаномъ твою плодоносную почву! Свѣжи, зелены и могучи стоятъ твои разнородные черные лѣса и рои дикихъ пчелъ шумно населяютъ нерукотворныя борти твои, занося ихъ душистымъ липовымъ медомъ. И Уфимская куница, болѣе всѣхъ уважаемая, не перевелась еще въ лѣсистыхъ верховьяхъ рѣкъ Уфы и Бѣлой! Мирны и тихи патріархальные первобытные обитатели и хозяева твои, кочевыя башкирскія племена! Много уменьшились, но еще велики, многочисленны, копскіе табуны и рогатыя и бараньи стада ихъ. Еще по прежнему, послѣ жестокой, буранной зимы, отощалые, исхудалые, какъ зимніе мухи, Башкирцы съ первымъ весеннимъ тепломъ, съ первымъ подножнымъ кормомъ, выгоняютъ на привольныя мѣста, на половину передохшіе отъ голода табуны и стада свои, перетаскиваясь и сами за ними, съ женами и дѣтьми.... И вы никого не узнаете черезъ двѣ или три недѣли! Изъ лошадиныхъ остововъ явятся бодрые и неутомимые кони, и уже степной жеребецъ гордо и строго пасетъ косякъ кобылицъ своихъ, не подпуская къ нему ни звѣря, ни человѣка!... Раздобрѣли тощія, зимнія стада коровъ, полны питательной

влагой вымя и сосцы ихъ. Но что Башкирцу до ароматнаго коровьяго молока; уже поспѣлъ живительный кумысъ, закисъ въ кобыльихъ *турсукахъ* (*), и все, что можетъ пить, отъ груднаго младенца до дряхлаго старика, пьетъ до пьяна цѣлительный, благодатный, богатырскій напитокъ, и дивно исчезаютъ всѣ недуги голодной зимы и даже старости: полнотой одѣваются осунувшіяся лица, румянцемъ здоровья покрываются блѣдныя, впалыя щеки.—Но странный и грустный видъ представляютъ покинутыя селенія! Наскачетъ иногда на нихъ, ничего подобнаго невидавшій, заѣзжій путешественникъ, и поразится видомъ опустѣлой, какъ будто вымершей деревни! Дико и печально смотрятъ на него окна разбросанныхъ юртъ съ бѣлыми трубами, лишенныя пузырчатыхъ оконницъ, какъ человѣческія лица съ выткнутыми глазами.... Кое-гдѣ лаетъ на привязи сторожевой голодный песъ, котораго изрѣдка навѣщаетъ и кормитъ хозяинъ, кое-гдѣ мяучитъ одичалая кошка, сама промышляющая себѣ пищу, — и никого больше, ни одной души человѣческой.

Какъ живописны и разнообразны, каждая въ своемъ родѣ, лѣсная, степная и гористая твоя полоса, особенно послѣдняя, по скату Уральскаго хребта, всѣми металлами богатая, золотоносная полоса! Какое пространство отъ границъ Вятской и Пермской губерніи, гдѣ по зимамъ не въ рѣдкость замерзаніе ртути, до Гурьева городка на границѣ Астраханской губерніи, гдѣ растетъ мелкій виноградъ на открытомъ воздухѣ, чихиремъ котораго прохлаждаются въ лѣтніе жары, грѣются зимою и торгуютъ Уральскіе казаки! Что за чудесное рыболовство по Уралу! Единственное, и по вкусу добываемой *красной*

(*) Турсукъ—мѣшокъ изъ сырой кожи, снятый съ лошадиной ноги.

рыбы (*), и по своему исполненію. Багреньемъ называется это рыболовство, и ждетъ оно горячей и вѣрной кисти, чтобъ возбудить общее вниманіе.... Но виноватъ, заговорился я, говоря о моей прекрасной родинѣ. Посмотримъ лучше, какъ продолжаетъ жить и дѣйствовать мой неутомимый дѣдушка.

Новыя мѣста.

Ну, отдохнулъ Степанъ Михайловичъ, и не разъ отъ души перекрестился, когда перебрался на просторъ и приволье Бугуруслана. Не только повеселѣлъ духомъ, но и поздоровѣлъ тѣломъ. Ни просьбъ, ни жалобъ, ни ссоръ, ни шума! Ни Воейковыхъ, ни Мошенскихъ, ни Сущевыхъ (**)! Ни лѣсныхъ порубокъ, ни хлѣбныхъ потравъ, ни помятыхъ луговъ! Одинъ полный господинъ, не только надъ своей землей, но и надъ чужой. Паси стада, коси траву, руби дрова — никто и слова не скажетъ. Крестьяне то же, какъ-разъ привыкли къ новому мѣсту, и полюбилось имъ оно. Да и какъ не привыкнуть, какъ не полюбить! Изъ безводнаго и лѣснаго села Троицкаго, гдѣ было такъ мало луговъ, что съ трудомъ прокармливали по коровѣ, да по лошади на тягло, гдѣ съ незапамятныхъ временъ пахали одни и тѣ же загоны, и, не смотря на превосходную почву, конечно, повыпахали и поистощили землю,— переселились они на обширныя плодоносныя поля и луга, никогда не тронутыя ни косой, ни

(*) Красной рыбой называется бѣлуга, осетръ, севрюга, шипъ, бѣлорыбица и другія

(**) Помѣщики, жившіе съ дѣдушкой въ Старомъ Багровѣ и владѣвшіе вмѣстѣ съ нимъ неразмежеванной землей.

сохой человѣка, на быструю, свѣжую и здоровую воду съ множествомъ родниковъ и ключей, на широкій, проточный и рыбный прудъ, и на мельницу у самаго носа, тогда какъ прежде таскались они за двадцать пять верстъ, чтобы смолоть возъ хлѣба, да и то случалось нѣсколько дней ждать очереди. Вы удивитесь, можетъ быть, что я назвалъ Троицкое безводнымъ? Обвините стариковъ, зачѣмъ они выбрали такое мѣсто? Но дѣло было не такъ въ-началѣ, и стариковъ винить не за что: Троицкое нѣкогда сидѣло на прекрасной рѣчкѣ Майнѣ, вытекавшей версты за три отъ селенія изъ-подъ Моховыхъ озеръ; да сверхъ того вдоль всего селенія тянулось, хотя не широкое, но длинное, свѣтлое и въ серединѣ глубокое озеро, дно котораго состояло изъ бѣлаго песка; изъ этого озера даже бѣжалъ ручей, называвшійся *Бѣлый ключъ*. Такъ было въ старину; давно, правда, очень давно. По преданію извѣстно, что Моховыя озера были нѣкогда глубокими, лѣсными, круглыми провалами съ прозрачною, холодною какъ ледъ водою и топкими берегами, что никто не смѣлъ близко подходить къ нимъ, ни въ какое время, кромѣ зимы, что будто бы берега опускались и поглощали дерзкаго нарушителя неприкосновеннаго царства водяныхъ чертей. Но человѣкъ — заклятой и торжествующій измѣнитель лица природы! Старинному преданію, не подтверждаемому новыми событіями, перестали вѣрить, и Моховыя озера, мало по малу, отъ мочки коноплей у береговъ и отъ пригона стадъ на водопой, позасорились, отъ краевъ обмелѣли и даже обсохли отъ вырубки кругомъ лѣса; потомъ заплыли толстою землянистою пеленой, которая поросла мохомъ и скрѣпилась жилообразными корнями болотныхъ травъ, покрылась кочками, кустами и даже сосновымъ лѣсомъ, уже довольно крупнымъ; одинъ провалъ затянуло совсѣмъ, а на другомъ остались два глу-

бокія окна, къ которымъ и теперь страшно подходить съ непривычки, потому что земля, со всѣми болотными травами, кочками, кустами и мелкимъ лѣсомъ — опускается и поднимается подъ ногами какъ зыбкая волна. Отъ уменьшенія, вѣроятно, Моховыхъ озеръ, рѣчка Майна поникла въ верху, и уже выходитъ изъ земли нѣсколько верстъ ниже селенія: а прозрачное, длинное и глубокое озеро превратилось въ грязную вонючую лужу; песчаное дно, на сажень и болѣе затянуло тиной и всякой дрянью съ крестьянскихъ дворовъ; Бѣлаго ключа давно и слѣдовъ нѣтъ, скоро не будетъ о немъ и памяти.

Переселясь на новыя мѣста, дѣдушка мой принялся, съ свойственными ему неутомимостью и жаромъ, за хлѣбопашество и скотоводство. Крестьяне, одушевленные его духомъ, такъ привыкли работать настоящимъ образомъ, что скоро обстроились и обзавелись, какъ старожилы, и въ нѣсколько лѣтъ гумна «Новаго Багрова» занимали въ трое больше мѣста, чѣмъ самая деревня, а табунъ добрыхъ лошадей и стадо коровъ, овецъ и свиней, казались принадлежащими какому-нибудь богатому селенію.

Съ легкой руки Степана Михайловича переселеніе въ Уфимскій или Оренбургскій край начало умножаться съ каждымъ годомъ. Со всѣхъ сторонъ потянулись луговая Мордва, Черемисы, Чуваши, Татары и Мещеряки; Русскихъ переселенцевъ — казенныхъ крестьянъ разныхъ вѣдомствъ и разнокалиберныхъ помѣщиковъ, также было не мало. Явились и сосѣди у дѣдушки: шуринъ его Иванъ Васильевичъ Неклюдовъ, купилъ землю въ двадцати верстахъ отъ Степана Михайловича, перевелъ крестьянъ, построилъ деревянную церковь, назвалъ свое село Неклюдовымъ, и самъ переѣхалъ въ него съ семействомъ, чему дѣдушка совсѣмъ не обрадовался: до всѣхъ родственниковъ своей супруги, до всей *Неклюдовщины*, — какъ онъ

называлъ ихъ, — Степанъ Михайловичъ былъ большой неохотникъ. Помѣщикъ Бахметевъ купилъ землю еще ближе, верстахъ въ десяти отъ Багрова, на верховьѣ рѣчки Совруши, текущей параллельно съ Бугурусланомъ, на Юго-Западъ; онъ также перевелъ крестьянъ и назвалъ деревню Бахметевкой. Съ другой стороны, верстахъ въ двадцати по рѣкѣ Насягай или Мочагай, какъ и до сихъ поръ называютъ ее туземцы, также завелось помѣщичье селеніе, Полибино, впослѣдствіи принадлежавшее Сер. Алек. Плещееву, а теперь принадлежащее Карамзинымъ. Насягай больше и лучше Бугуруслана: полноводнѣе, рыбнѣе, и птица на немъ водилась и водится гораздо изобильнѣе. По дорогѣ въ Полибино, прямо на Востокъ, верстахъ въ восьми отъ Багрова, заселилась на небольшомъ ручьѣ, большая Мордовская деревня Нойкино; верстахъ въ двухъ отъ нея построилась мельница на рѣчкѣ Боклѣ, текущей почти параллельно съ Бугурусланомъ на Югъ; не далеко отъ мельницы впадаетъ Бокла въ Насягай, который діагоналомъ съ Сѣверо-Востока торопливо катитъ свои сильныя и быстрыя воды прямо на Юго-Западъ. Верстахъ въ семнадцати отъ Новаго Багрова, принимаетъ онъ въ себя нашъ Бугурусланъ, и усиленный его водами, не далеко отъ города Бугуруслана, соединяется съ большимъ Кинелемъ, теряя въ немъ знаменательное и звучное свое имя.

Наконецъ появился мордовскій выселокъ, подъ названіемъ Кивацкаго, уже только въ двухъ верстахъ отъ дѣдушки, внизъ по Бугуруслану; это была Мордва, отдѣлившаяся отъ селенія Мордовской Бугурусланъ, сидѣвшаго на рѣчкѣ Малой Бугурусланчикъ, верстахъ въ девяти отъ Багрова. Степанъ Михайловичъ сначала поморщился отъ близкаго сосѣдства, напоминавшаго ему старое Троицкое; но тутъ вышло совсѣмъ другое дѣло.

Это были добрые, смирные люди, уважавшіе дѣдушку, не менѣе какъ своего волостнаго начальника. Въ нѣсколько лѣтъ, Степанъ Михайловичъ умѣлъ снискать общую любовь и глубокое уваженіе во всемъ околоткѣ. Онъ былъ истиннымъ благодѣтелемъ дальнихъ и близкихъ, старыхъ и новыхъ своихъ сосѣдей, особенно послѣднихъ, по ихъ незнанію мѣстности, недостатку средствъ и по разнымъ надобностямъ, всегда сопровождающимъ переселенцевъ, которые не рѣдко пускаются на такое трудное дѣло, не принявъ предварительныхъ мѣръ, не заготовя хлѣбныхъ запасовъ, и даже иногда не имѣя, на что купить ихъ. Полные амбары дѣдушки были открыты всѣмъ — бери что угодно. «Сможешь — отдай, при первомъ урожаѣ; не сможешь — Богъ съ тобой»: съ такими словами раздавалъ дѣдушка щедрою рукою хлѣбные запасы на *сѣмены* и *ѣмены*. Къ этому надо прибавить, что онъ былъ такъ разуменъ, такъ снисходителенъ къ просьбамъ и нуждамъ, такъ неизмѣнно вѣренъ каждому своему слову, что скоро сдѣлался истиннымъ оракуломъ вновь заселяющагося уголка обширнаго Оренбургскаго края. Мало того, что онъ помогалъ, онъ воспитывалъ нравственно своихъ сосѣдей! Только правдою можно было получить отъ него все. Кто разъ солгалъ, разъ обманулъ, тотъ и не ходи къ нему на господскій дворъ: не только ничего не получитъ, да въ иной часъ дай Богъ и ноги унести. Много семейныхъ ссоръ примирилъ онъ, много тяжебныхъ дѣлъ потушилъ въ самомъ началѣ. Со всѣхъ сторонъ ѣхали и шли къ нему за совѣтомъ, судомъ и приговоромъ — и свято исполнялись они! Я зналъ внуковъ, правнуковъ тогдашняго поколѣнія, благодарной памяти которыхъ въ изустныхъ разсказахъ переданъ былъ благодѣтельный и строгій образъ Степана Михайловича, не забытаго еще и теперь. Много слыхалъ я простыхъ и вмѣстѣ глубо-

кихъ воспоминаній, сопровождаемыхъ слезами и крестнымъ знаменіемъ объ упокоеніи души его. Неудивительно, что собственные крестьяне любили горячо такого барина; но также любили его и дворовые люди, при немъ служившіе, часто переносившіе страшныя бури его неукротимой вспыльчивости. Впослѣдствіи времени нѣкоторые изъ молодыхъ слугъ его доживали свой вѣкъ при мнѣ, уже стариками; часто разсказывали они о строгомъ, вспыльчивомъ, справедливомъ и добромъ своемъ старомъ баринѣ, и никогда безъ слезъ о немъ не вспоминали.

И этотъ добрый, благодѣтельный и даже снисходительный человѣкъ, омрачался иногда такими вспышками гнѣва, которыя искажали въ немъ образъ человѣческій и дѣлали его способнымъ на ту пору къ жестокимъ, отвратительнымъ поступкамъ. Я видѣлъ его такимъ въ моемъ дѣтствѣ, что случилось много лѣтъ позднѣе того времени, про которое я разсказываю,—и впечатлѣніе страха до сихъ поръ живо въ моей памяти! Какъ теперь гляжу на него: онъ прогнѣвался на одну изъ дочерей своихъ, кажется за то, что она солгала и заперлась въ обманѣ; двое людей водили его подъ руки; узнать было нельзя моего прежняго дѣдушку; онъ весь дрожалъ, лице дергали судороги, свирѣпый огонь лился изъ его глазъ, помутившихся, потемнѣвшихъ отъ ярости! «Подайте мнѣ ее сюда!» вопилъ онъ задыхающимся голосомъ. (Это я помню живо: остальное мнѣ часто разсказывали). Бабушка кинулась было ему въ ноги, прося помилованія, но въ одну минуту слетѣлъ съ нея платокъ и волосникъ, и Степанъ Михайловичъ таскалъ за волосы свою тучную, уже старую Арину Васильевну. Между тѣмъ, не только виноватая, но и всѣ другія сестры и даже братъ ихъ съ молодою женою и маленькимъ сыномъ убѣжали изъ дома и спрятались въ рощу, окружавшую домъ; даже тамъ но-

чевали; только молодая невѣстка воротилась съ сыномъ, боясь простудить его, и провела ночь въ людской избѣ. Долго бушевалъ дѣдушка на просторѣ, въ опустѣломъ домѣ. Наконецъ, уставши таскать за косы Арину Васильевну, повалился въ изнеможеніи на постель и наконецъ впалъ въ глубокій сонъ, продолжавшійся до ранняго утра слѣдующаго дня. — Свѣтелъ, ясенъ проснулся на зарѣ Степанъ Михайловичъ, весело крикнулъ свою Аришу, которая сейчасъ прибѣжала изъ сосѣдственной комнаты съ самымъ радостнымъ лицемъ, какъ будто вчерашняго ничего не бывало. «Чаю! гдѣ дѣти, Алексѣй, невѣстушка? Подайте Ѳедю», говорилъ проснувшійся безумецъ, и всѣ явились, спокойные и веселые, кромѣ невѣстки съ сыномъ. Это была женщина сама съ сильнымъ характеромъ, и никакія просьбы не могли ее заставить такъ скоро броситься съ ласкою къ вчерашнему дикому звѣрю, да и маленькій сынъ безпрестанно говорилъ: «боюсь дѣдушки, не хочу къ нему». Чувствуя себя въ самомъ дѣлѣ не хорошо, она сказалась больною и не пустила сына. Всѣ пришли въ ужасъ, ждали новой грозы. Но во вчерашнемъ дикомъ звѣрѣ сегодня уже проснулся человѣкъ. Послѣ чаю и шутливыхъ разговоровъ, свекоръ самъ пришелъ къ невѣсткѣ, которая дѣйствительно была нездорова, похудѣла, перемѣнилась въ лицѣ и лежала въ постелѣ. Старикъ присѣлъ къ ней на кровать, обнялъ ее, поцѣловалъ, назвалъ красавицей—невѣстынькой, обласкалъ внука и наконецъ ушелъ, сказавши, что ему «безъ невѣстыньки будетъ скучно.» Черезъ полчаса невѣстка, щегольски, по городскому разодѣтая, въ томъ самомъ платьѣ, про которое свекоръ говорилъ, что оно особенно идетъ ей къ лицу, держа сына за руку, вошла къ дѣдушкѣ. Дѣдушка встрѣтилъ ее почти со слезами: «Вотъ и больная невѣстка себя не пожалѣла, встала, одѣлась и пришла развеселить ста-

рика, сказалъ онъ съ нѣжностью. Закусили губы и потупили глаза свекровь и золовки, всѣ нелюбившія невѣстку, которая почтительно и весело отвѣчала на ласки свекра, бросая гордые и торжествующіе взгляды на своихъ недоброхотокъ.... Но я не стану болѣе говорить о темной сторонѣ моего дѣдушки; лучше опишу вамъ одинъ изъ его добрыхъ, свѣтлыхъ дней, о которыхъ я много наслышался.

Добрый день Степана Михайловича.

Въ исходѣ іюня стояли уже сильные жары. Послѣ душной ночи, потянулъ на разсвѣтѣ восточный, свѣжій вѣтерокъ, всегда упадающій, когда обогрѣетъ солнце. На восходѣ его проснулся дѣдушка. Жарко было ему спать въ небольшой горницѣ, хотя съ поднятымъ на всю подставку подъемомъ старинной оконной рамы съ мелкимъ переплетомъ, но за то въ пологу изъ домашней рѣдинки. Предосторожность необходимая: безъ полога заѣли бы его злые комары и не дали уснуть. Роями иосились и тыкались длинными жалами своими въ тонкую преграду крылатые музыканты, и всю ночь пѣли ему докучныя серенады. Смѣшно сказать, а грѣхъ утаить, что я люблю дишкантовый пискъ и даже кусанье комаровъ: въ нихъ слышно мнѣ знойное лѣто, роскошныя безсонныя ночи, берега Бугуруслана, обросшія зелеными кустами, изъ которыхъ со всѣхъ сторонъ неслись соловьиныя пѣсни; я помню замираніе молодаго сердца, и сладкую, безотчетную грусть, за которую отдалъ бы теперь весь остатокъ угасающей жизни.... Проснулся дѣдушка, обтеръ жаркою рукою горячій потъ съ крутаго, высокаго лба своего,

высунулъ голову изъ-подъ полога и разсмѣялся. Ванька Мазанъ и Никаноръ Танайченокъ храпѣли въ растяжку на полу, въ каррикатурно-живописныхъ положеніяхъ. «Экъ храпятъ собачьи дѣти!» сказалъ дѣдушка и опять улыбнулся. Степанъ Михайловичъ былъ загадочный человѣкъ: послѣ такого сильнаго словеснаго приступа, слѣдовало бы ожидать толчка калиновымъ подожкомъ (всегда у постели его стоявшимъ) въ бокъ спящаго, или пинка ногой, даже привѣтствія стуломъ; но дѣдушка разсмѣялся, просыпаясь, и на весь день попалъ въ добрый стихъ, какъ говорится. Онъ всталъ безъ шума, разъ-другой перекрестился, надѣлъ порыжѣлыя, кожаныя туфли на босыя ноги, и въ одной рубахѣ изъ крестьянской оброчной лленой холстины (ткацкаго тонкаго полотна на рубашки бабушка ему не давала) вышелъ на крыльцо, гдѣ пріятно обхватила его утренняя, влажная свѣжесть. Я сейчасъ сказалъ, что ткацкаго холста на рубашки Арина Васильевна не давала Степану Михайловичу, и всякій читатель вправѣ замѣтить, что это не сообразно съ характерами обоихъ супруговъ. Но какъ же быть, прошу не прогнѣваться, такъ было на дѣлѣ: женская натура торжествовала надъ мужскою, какъ и всегда! Не разъ битая за толстое бѣлье, бабушка продолжала подавать его и наконецъ пріучила къ нему старика. Дѣдушка употребилъ однажды самое дѣйствительное, послѣднее средство: онъ изрубилъ топоромъ на порогѣ своей комнаты все бѣлье, сшитое изъ оброчной лленой холстины, не смотря на вопли моей бабушки, которая умоляла, чтобъ Степанъ Михайловичъ «билъ ее, да своего добра не рубилъ....» но и это средство не помогло: опять явилось толстое бѣлье—и старикъ покорился.... Виноватъ, опровергая мнимое замѣчаніе читателя, я прервалъ разсказъ про «добрый день моего дѣдушки.» Никого не безпокоя, онъ самъ

досталь войлочный потникъ, лежавшій всегда въ чуланѣ, подослалъ его подъ себя, на верхней ступени крыльца, и сѣлъ встрѣчать солнышко по всегдашнему своему обычаю.—Передъ восходомъ солнца бываетъ весело на сердцѣ у человѣка какъ-то безсознательно; а дѣдушкѣ сверхъ того весело было глядѣть на свой господскій дворъ, всѣми нужными по хозяйству строеніями тогда уже достаточно снабженный. Правда, дворъ былъ не обгороженъ, и выпущенная съ крестьянскихъ дворовъ скотина, собираясь въ общее мірское стадо, для выгона въ поле, посѣщала его мимоходомъ, какъ это было и въ настоящее утро и какъ всегда повторялось по вечерамъ. Нѣсколько запачканныхъ свиней потирались и почесывались о самое то крыльцо, на которомъ сидѣлъ дѣдушка, и хрюкая, лакомились раковыми скорлупами и всякими столовыми объѣдками, которые безъ церемоніи выкидывались у того же крыльца; заходили также и коровы и овцы; разумѣется, отъ ихъ посѣщеній оставались неопрятные слѣды; но дѣдушка не находилъ въ этомъ ничего непріятнаго, а напротивъ любовался, глядя на здоровый скотъ, какъ на вѣрный признакъ довольства и благосостоянія своихъ крестьянъ. Скоро громкое хлопанье длиннаго пастушьяго кнута угнало посѣтителей. Начала просыпаться дворня. Дюжій конюхъ Спиридонъ, котораго до глубокой старости звали «Спирькой», выводилъ одного за другимъ, двухъ рыже-пѣгихъ и третьяго бураго жеребца, привязывалъ ихъ къ столбу, чистилъ и проминалъ на длинной коновязи, при чемъ дѣдушка любовался ихъ статями, заранѣе любовался и тою породою, которую надѣялся повести отъ нихъ, въ чемъ и успѣлъ совершенно. Проснулась и старая ключница, спавшая на погребицѣ, вышла изъ погреба, сходила на Бугурусланъ умыться, повздыхала, поохала (это была ея неизмѣнная привычка),

помолилась Богу, оборотясь къ солнечному восходу, и принялась мыть, полоскать, чистить горшки и посуду. Весело кружились въ небѣ, щебетали и пѣли ласточки и косаточки, звонко били перепела въ поляхъ, надсѣдаясь хрипло кричали въ кустахъ дергуны; подсвистыванье погонышей, токованье и блеянье дикаго барашка неслись съ ближняго болота, варакушки въ запуски передразнивали соловьевъ, — выкатывалось изъ-за горы яркое солнце!... Задымились крестьянскія избы, погнулись по вѣтру сизые столбы дыма, точно вереница рѣчныхъ судовъ выкинула свои флаги; потянулись мужички въ поле.... захотѣлось дѣдушкѣ умыться студеной водою, и потомъ напиться чаю. Разбудилъ онъ безобразно спавшихъ слугъ своихъ. Повскакали они, какъ полоумные, въ испугѣ, но веселый голосъ Степана Михайловича скоро ободрилъ ихъ: «Мазанъ, умываться! Танайченокъ, будить Аксютку и барыню,—чаю!» Не нужно было повторять приказаній: неуклюжій Мазанъ уже летѣлъ со всѣхъ ногъ съ мѣднымъ, свѣтлымъ рукомойникомъ на родникъ за водою; а проворный Танайченокъ разбудилъ некрасивую Аксютку, которая, поправляя свалившійся на бокъ платокъ, уже будила старую, дородную барыню Арину Васильевну. Въ нѣсколько минутъ весь домъ былъ на ногахъ, и всѣ уже знали, что старый баринъ проснулся веселъ. Черезъ четверть часа, стоялъ у крыльца столъ, накрытый бѣлою браною скатерткой домашняго издѣлья, кипѣлъ самоваръ въ видѣ огромнаго мѣднаго чайника, суетилась около него Аксютка, и здоровалась старая барыня, Арина Васильевна, съ Степаномъ Михайловичемъ, не охая и не стоная, что было нужно въ иное утро, а весело и громко спрашивала его о здоровьѣ: «какъ почивалъ, и что во снѣ видѣлъ?» Ласково поздоровался дѣдушка съ своей супругой и назвалъ ее Аришей; онъ никогда не цѣловалъ ея руки, а свою

давалъ цѣловать въ знакъ милости. Арина Васильевна разцвѣла и помолодѣла: куда дѣвалась ея тучность и неуклюжесть! Сейчасъ принесла скамеечку и усѣлась возлѣ дѣдушки на крыльцѣ, чего никогда не смѣла дѣлать, если онъ не ласково встрѣчалъ ее. —«Напьемся-ка вмѣстѣ чайку, Ариша!» заговорилъ Степанъ Михайловичъ «покуда не жарко. Хотя спать было душно, а спалъ я крѣпко, такъ что и сны всѣ заспалъ. Ну, а ты?» Такой вопросъ былъ необыкновенная ласка, и бабушка поспѣшно отвѣчала, что, которую ночь Степанъ Михайловичъ хорошо почиваетъ, ту и она хорошо спитъ; но что Танюша всю ночь металась. Танюша была меньшая дочь, и старикъ любилъ ее больше другихъ дочерей, какъ это часто случается; онъ обезпокоился такими словами и не приказалъ будить Танюшу до тѣхъ поръ, покуда сама не проснется. Татьяну Степановну разбудили вмѣстѣ съ Александрой и Елизаветой Степановными, и она уже одѣлась; но объ этомъ сказать не осмѣлились. Танюша проворно раздѣлась, легла въ постель, велѣла затворить ставни въ своей горѣницѣ, и хотя заснуть не могла, но пролежала въ потемкахъ часа два: дѣдушка остался доволенъ, что Танюша хорошо выспалась. Единственнаго сынка, которому было девять лѣтъ, никогда не будили рано. Старшія дочери явились немедленно; Степанъ Михайловичъ ласково далъ имъ поцѣловать руку и назвалъ одну Лизынькой, а другую Лексаней. Обѣ были очень не глупы; Александра же соединяла съ хитрымъ умомъ отцовскую живость и вспыльчивость, но добрыхъ свойствъ его не имѣла. Бабушка была женщина самая простая и находилась въ полномъ распоряженіи у своихъ дочерей; если иногда она осмѣливалась хитрить съ Степаномъ Михайловичемъ, то единственно по ихъ наущенію, что, по неумѣнью, рѣдко проходило ей даромъ и что старикъ зналъ наизусть;

онъ зналъ и то, что дочери готовы обмануть его при всякомъ удобномъ случаѣ, и только отъ скуки, или для сохраненія собственнаго покоя, разумѣется будучи въ хорошемъ расположеніи духа, позволялъ имъ думать, что онѣ надуваютъ его; при первой же вспышкѣ, все это высказывалъ имъ, безъ пощады, въ самыхъ нецеремонныхъ выраженіяхъ, а иногда и бивалъ; но дочери, какъ настоящія Еввины внучки, не унывали: проходилъ часъ гнѣва, прояснялось лице отца, и онѣ сейчасъ принимались за свои хитрые планы, и не рѣдко успѣвали.

Накушавшись чаю и поговоря о всякой всячинѣ съ своей семьей, дѣдушка собрался въ поле. Онъ уже давно сказалъ Мазану: «лошадь!» и старый бурый меринъ, запряженный въ длинныя крестьянскія дроги или роспуски, чрезвычайно покойныя, переплетенныя частою веревочной рѣшеткою, съ длиннымъ лубкомъ по серединѣ, накрытымъ войлокомъ — уже стоялъ у крыльца. Конюхъ Спиридонъ сидѣлъ кучеромъ въ незатѣйливомъ костюмѣ, то-есть, просто въ одной рубахѣ, босикомъ, подпоясанный шерстянымъ, тесемочнымъ краснымъ поясомъ, на которомъ висѣлъ ключъ и мѣдный гребень. Въ предъидущій разъ Спиридонъ ѣздилъ въ такую же экспедицію даже безъ шляпы; но дѣдушка побранилъ его за то, и на этотъ разъ онъ приготовилъ себѣ что-то въ родѣ шапки, сплетенной изъ широкихъ лыкъ: дѣдушка посмѣялся надъ его *шлычкой*, и надѣвъ *полевой* кафтанъ изъ небѣленаго домашняго холста, да картузъ, и подославъ подъ себя про запасъ отъ дождя армякъ, сѣлъ на дроги. Спиридонъ также подложилъ подъ себя, сложенный въ-трое свой обыкновенный зипунъ, изъ крестьянскаго бѣлаго сукна, но окрашенный въ ярко-красный цвѣтъ марены, которой много родилось въ поляхъ. Этотъ красный цвѣтъ

былъ въ такомъ употребленіи у стариковъ, что багровскихъ дворовыхъ сосѣди звали «маренниками;» я самъ слыхалъ это прозвище, лѣтъ пятнадцать послѣ смерти дѣдушки. Въ' полѣ Степанъ Михайловичъ былъ всѣмъ доволенъ. Онъ осмотрѣлъ оцвѣтавшую рожь, которая, въ человѣка вышиною, стояла какъ стѣна; дулъ легкій вѣтерокъ, и синія волны ходили по ней, то свѣтлѣе, то темнѣе отражаясь на солнцѣ. Любо было глядѣть хозяину на такое поле! Дѣдушка объѣхалъ молодые овсы, полбы и всѣ яровые хлѣба; потомъ отправился въ паровое поле, и приказалъ возить себя взадъ и впередъ, по вспареннымъ десятинамъ. Это былъ его обыкновенный способъ узнавать доброту пашни: всякая цѣлизна, всякое нетронутое сохою мѣстечко, сейчасъ встряхивало качкія дроги, и если дѣдушка бывалъ не въ духѣ, то на такомъ мѣстѣ втыкалъ палочку или прутикъ, посылалъ за старостой, если его не было съ нимъ, и расправа производилась немедленно. Въ этотъ разъ все шло благополучно; можетъ быть и попадались цѣлизны, только Степанъ Михайловичъ ихъ не замѣчалъ или не хотѣлъ замѣтить. Онъ заглянулъ также на мѣста степныхъ сѣнокосовъ и полюбовался густой высокой травой, которую чрезъ нѣсколько дней надо было косить. Онъ побывалъ и на крестьянскихъ поляхъ, чтобы знать самому, у кого уродился хлѣбъ хорошо и у кого плохо, даже паръ крестьянскій объѣхалъ и попробовалъ, все замѣтилъ и ничего не забылъ. Проѣзжая чрезъ залежи и увидѣвъ поспѣвавшую клубнику, дѣдушка остановился и, съ помощью Мазана, набралъ большую кисть крупныхъ, чудныхъ ягодъ и повезъ домой своей Аришѣ. Не смотря на жаръ, онъ проѣздилъ почти до полденъ. Только завидѣли спускающіяся съ горы дѣдушкины дроги — кушанье уже стояло на столѣ, и вся семья ожидала хозяина на крыльцѣ.

«Ну, Ариша, весело сказалъ дѣдушка, какіе хлѣба даетъ намъ Богъ! Велика милость Господня! А вотъ тебѣ и клубничка.» Бабушка растаяла отъ радости; «на половину поспѣла» продолжалъ онъ: «съ завтрашняго дня посылать по ягоды.» Говоря эти слова, онъ входилъ въ переднюю; запахъ горячихъ щей несся ему на встрѣчу изъ залы. «А, готово!» еще веселѣе сказалъ Степанъ Михайловичъ: «спасибо»; и не заходя въ свою комнату, прямо прошелъ въ залу и сѣлъ за столъ. Надобно сказать, что у дѣдушки былъ обычай: когда онъ возвращался съ поля, рано или поздно, — чтобъ кушанье стояло на столѣ, и Боже сохрани, если прозѣваютъ его возвращеніе и не успѣютъ подать обѣда. Бывали примѣры, что отъ этого происходили печальныя послѣдствія. Но въ этотъ блаженный день все шло, какъ по маслу, все удавалось. Здоровенный дворовый парень, Николка Рузанъ сталъ за дѣдушкой съ цѣлымъ сучкомъ березы, чтобы обмахивать его отъ мухъ. Горячія щи, отъ которыхъ русскій человѣкъ не откажется въ самые палящіе жары, дѣдушка хлебалъ деревянной ложкой, потому-что серебряная обжигала ему губы; за ними слѣдовала батвинья со льдомъ, съ прозрачнымъ балыкомъ, желтой какъ воскъ соленой осетриной и съ чищенными раками, и тому подобныя легкія блюда. Все это запивалось домашней брагой и квасомъ, также со льдомъ. Обѣдъ былъ превеселый. Всѣ говорили громко, шутили, смѣялись; но бывали обѣды, которые проходили въ страшной тишинѣ и безмолвномъ ожиданіи какой-нибудь вспышки. Всѣ дворовые мальчишки и дѣвченки знали, что старый баринъ весело кушаетъ, и всѣ набились въ залу за подачками; дѣдушка щедро одѣлялъ всѣхъ, потому-что кушанья готовилось впятеро болѣе, чѣмъ было нужно. Послѣ обѣда, онъ сейчасъ легъ спать. Вымахали мухъ изъ по-

лога, опустили его надъ дѣдушкой, подтыкали кругомъ края подъ перину; скоро сильный храпъ возвѣстилъ, что хозяинъ спитъ богатырскимъ сномъ. Всѣ разошлись по своимъ мѣстамъ также отдыхать. Мазанъ и Танайченокъ, предварительно пообѣдавъ и наглотавшись объѣдковъ отъ барскаго стола, также растянулись на полу въ передней, у самой двери въ дѣдушкину горницу. Они спали и до обѣда, но и теперь не замедлили заснуть; только духота и упёка отъ солнца, ярко свѣтившаго въ окна, скоро ихъ разбудила. Отъ сна и отъ жара пересохло у нихъ въ горлѣ, захотѣлось имъ прохладить горячія гортани господской бражкой съ ледкомъ, и вотъ на какую штуку пустились дерзкіе лежебоки: въ непритворенную дверь достали они дѣдушкинъ халатъ и колпакъ, лежавшіе на стулѣ у самой двери. Танайченокъ надѣлъ на себя барское платье и сѣлъ на крыльцо, а Мазанъ побѣжалъ со жбаномъ на погребъ, разбудилъ ключницу, которая, какъ и всѣ въ домѣ, спала мертвымъ сномъ, требовалъ поскорѣе проснувшемуся барину студеной браги, и когда ключница изъявила сомнѣніе, проснулся ли баринъ,—Мазанъ указалъ ей на фигуру Танайченка, сидящаго на крыльцѣ въ халатѣ и колпакѣ; нацѣдили браги, положили льду, проворно побѣжалъ Мазанъ съ добычей. Жбанъ выпили по-братски, положили халатъ и колпакъ на старое мѣсто, и цѣлый часъ еще дожидались, пока проснется дѣдушка. Еще веселѣе утрошняго проснулся баринъ, и первое его слово было: «студеной бражки.» Перепугались лакеи: Танайченокъ побѣжалъ къ ключницѣ, которая сейчасъ догадалась, что первый жбанъ выпили они сами; она отпустила пойла, но вслѣдъ за посланнымъ сама подошла къ крыльцу, на которомъ сидѣлъ уже въ халатѣ настоящій баринъ. Съ первыхъ словъ обманъ открылся, и дрожащіе отъ страха Мазанъ

и Танайченокъ повалились барину въ ноги, и чтожъ, вы думаете, сдѣлалъ дѣдушка?... Расхохотался, послалъ за Аришей и за дочерьми, и громко смѣясь, разсказалъ имъ всю продѣлку своихъ слугъ. Отдохнули бѣдняги отъ страха, и даже одинъ изъ нихъ улыбнулся. Степанъ Михайловичъ замѣтилъ, и чуть-чуть не разсердился; брови его уже начали было морщиться, но въ его душѣ такъ много было тихаго спокойствія отъ цѣлаго веселаго дня, что лобъ его разгладился, и грозно взглянувъ, онъ сказалъ: «ну, Богъ проститъ на этотъ разъ, но если въ другой....» договаривать было не нужно.

Нельзя не подивиться, что у такого до безумія горячаго и въ горячности жестокаго господина, люди могли рѣшиться на такую наглую шалость. Но много разъ я замѣчалъ въ продолженіе моей жизни, что у самыхъ строгихъ господъ прислуга пускалась на отчаянныя проказы. Съ дѣдушкой же моимъ это былъ не единственный случай. Тотъ же самый Ванька Мазанъ, подметая однажды горницу Степана Михайловича и собираясь перестлать постель, соблазнился мягкой пуховой периной и такими же подушками, вздумалъ понѣжиться, полежать на барской кровати, легъ да и заснулъ. Дѣдушка самъ нашелъ его, крѣпко спящаго въ этомъ положеніи, и — только разсмѣялся! Правда, онъ отвѣсилъ ему добрый разъ своимъ калиновымъ подожкомъ; но это такъ, ради смѣха, чтобъ позабавиться сюрпризомъ Мазана. Впрочемъ, съ Степаномъ Михайловичемъ и не то случилось: во время его отсутствія, выдали за-мужъ четырнадцати-лѣтнюю дѣвочку, двоюродную его сестру П. И. Багрову, круглую, но очень богатую сироту, жившую у него въ домѣ и горячо имъ любимую—за такого развратнаго и страшнаго человѣка, котораго онъ терпѣть не могъ. Конечно,

это дѣло устроили близкіе родные его сестры съ материнской стороны, но съ согласія Арины Васильевны и при содѣйствіи ея дочерей. Объ этомъ я разскажу послѣ, теперь же возвратимся къ доброму дню моего дѣдушки.

Онъ проснулся часу въ пятомъ по полудни, и, послѣ студеной бражки, не смотря на палящій зной, скоро захотѣлъ накушаться чаю, вѣруя, что горячее питье уменьшаетъ тягость жара. Онъ сходилъ только искупаться въ прохладномъ Бугурусланѣ, протекавшемъ подъ окнами дома, и воротясь, нашелъ всю свою семью, ожидающую его у того же чайнаго стола, поставленнаго въ тѣни, съ тѣмъ же кипящимъ чайникомъ, самоваромъ и съ тою же Аксіоткою. Накушавшись до сыта любимаго потогоннаго напитка, съ густыми сливками и толстыми подрумянившимися пѣнками, дѣдушка предложилъ всѣмъ ѣхать для прогулки на мельницу. Разумѣется всѣ съ радостію согласились, и двѣ тетки мои, Александра и Татьяна Степановны, взяли съ собой удочки, потому что были охотницы до рыбной ловли. Въ одну минуту запрягли двое длинныхъ дрогъ: на однихъ сѣлъ дѣдушка съ бабушкой, посадивъ промежь себя единственнаго своего наслѣдника, драгоцѣнную отрасль древняго своего дворянскаго рода; на другихъ дрогахъ помѣстились три тетки и парень Николашка Рузанъ, взятый для того, чтобъ нарыть въ плотинѣ червяковъ и насаживать ими удочки у барышень. На мельницѣ бабушкѣ принесли скамейку, и она усѣлась въ тѣни мельничнаго амбара, не подалеку отъ кауза, около котораго удили ея меньшія дочери, а старшая, Елизавета Степановна, сколько изъ угожденія къ отцу, столько и по собственному расположенію къ хозяйству, пошла съ Степаномъ Михайловичемъ осматривать мельницу

и толчею. Малолѣтный сынокъ, то смотрѣлъ, какъ удять рыбу сестры, (самому ему удить на глубокихъ мѣстахъ еще не позволяли), то игралъ около матери, которая не спускала съ него глазъ, боясь, чтобъ ребенокъ не свалился какъ-нибудь въ воду. Оба камня мололи: однимъ обдирали пшеницу для господскаго стола, а на другомъ мололи завозную рожь; толчея толкла просо. Дѣдушка былъ знатокъ всякаго хозяйственнаго дѣла; онъ хорошо разумѣлъ мельничный уставъ и толковалъ своей умной и понятливой дочери всѣ тонкости этого дѣла. Онъ мигомъ увидѣлъ всѣ недостатки въ снастяхъ или ошибки въ уставѣ жернововъ: одинъ изъ нихъ приказалъ опустить на пол-зарубки, и мука пошла мельче, чѣмъ помолецъ былъ очень доволенъ; на другомъ поставѣ по слуху угадалъ, что одна цѣвка въ шестернѣ начала подтираться; онъ приказалъ запереть воду, мельникъ Болтуненокъ соскочилъ внизъ, осмотрѣлъ и ощупалъ шестерню, и сказалъ: «Правда твоя, батюшка Степанъ Михайловичъ! одна цѣвка маленько пообтерлась.» — «То-то маленько», безъ всякаго неудовольствія возразилъ дѣдушка; «кабы я не пришелъ, такъ шестерня-то бы ночью сломалась.» — «Виноватъ, Степанъ Михайловичъ, не доглядѣлъ.» — «Ну, Богъ проститъ, давай новую шестерню, а у старой подтертую цѣвку перемѣнить, да чтобы новая была не толще не тоньше другихъ — въ этомъ вся штука.» Сейчасъ принесли новую шестерню, заранѣе прилаженную и пробованную, вставили на мѣсто прежней, смазали, гдѣ надобно, дегтемъ, пустили воду не вдругъ, а по немногу, (то же по приказанію дѣдушки), — и запѣлъ, замололъ жерновъ безъ перебоя, безъ стука, а плавно и ровно. Потомъ пошелъ дѣдушка съ своей дочерью на толчею, захватилъ изъ ступы горсть толченаго проса, обдулъ его на ладони и сказалъ помольщику, знакомому Мордвину: «чего смот-

ришь, сосѣдъ Васюха? Видишь, ни одного не отолченаго зернышка нѣтъ. Вѣдь перепустишь, такъ пшена-то будетъ меньше.» Васюха самъ попробовалъ и самъ увидѣлъ, что дѣдушка говоритъ правду; сказалъ спасибо, поклонился, то-есть, кивнулъ головой, и побѣжалъ запереть воду. Оттуда прошелъ дѣдушка съ своей ученицей на птичный дворъ; тамъ все нашелъ въ отличномъ порядкѣ: гусей, утокъ, индѣекъ и куръ было великое множество, и за всѣмъ смотрѣла одна пожилая баба съ внучкой. Въ знакъ особенной милости дѣдушка далъ обѣимъ поцѣловать ручку, и приказалъ, сверхъ мѣсячины, выдавать птичницѣ ежемѣсячно по полупуду пшеничной муки на пироги. Весело воротился Степанъ Михайловичъ къ Аринѣ Васильевнѣ, всѣмъ былъ онъ доволенъ: и дочь понятна, и мельница хорошо мелетъ, и птичница Татьяна Горожана (*) хорошо смотритъ за птицею.

Жаръ давно свалилъ, прохлада отъ воды умножала прохладу отъ наступающаго вечера, длинная туча пыли шла по дорогѣ и приближалась къ деревнѣ, слышалось въ ней блеянье и мычанье стада, опускалось за крутую гору потухающее солнце. Стоя на плотинѣ, любовался Степанъ Михайловичъ на широкій прудъ, какъ зеркало неподвижно лежавшій въ отлогихъ берегахъ своихъ; рыба играла и плескалась безпрестанно; но дѣдушка не былъ рыбакомъ. — «Пора, Ариша, домой, староста, чай, ждетъ меня,» сказалъ онъ. Меньшія дочери, видя его въ веселомъ расположеніи, стали просить позволенія остаться поудить, говоря, что на солнечномъ закатѣ рыба клюетъ лучше, и что черезъ полчаса онѣ придутъ пѣшкомъ.

(*) Прозванье «Горожаны» она имѣла потому, что нѣсколько времени съ молоду жила въ какомъ-то городѣ.

Дѣдушка согласился и уѣхалъ съ бабушкой домой, на своихъ дрогахъ, а Елизавета Степановна съ маленькимъ братомъ сѣла на другія дроги. Степанъ Михайловичъ не ошибся: у крыльца ожидалъ его староста, да и не одинъ, а съ нѣсколькими мужиками и бабами. Староста уже видѣлъ барина, зналъ, что онъ въ веселомъ духѣ, и разсказалъ о томъ кое-кому изъ крестьянъ; нѣкоторые, имѣвшіе до дѣдушки надобности или просьбы, выходящія изъ числа обыкновенныхъ, воспользовались благопріятнымъ случаемъ, и всѣ были удовлетворены: дѣдушка далъ хлѣба крестьянину, который не заплатилъ еще стараго долга, хотя и могъ это сдѣлать; другому позволилъ женить сына, не дожидаясь зимняго времени, и не на той дѣвкѣ, которую назначилъ самъ; позволилъ виноватой солдаткѣ, которую приказалъ было выгнать изъ деревни, жить по прежнему у отца, и проч. Этого мало: всѣмъ было поднесено по серебряной чаркѣ, вмѣщавшей въ себѣ болѣе квасного стакана, домашняго крѣпкаго вина. Коротко и ясно отдалъ дѣдушка хозяйственныя приказанія старостѣ и поспѣшилъ за ужинъ, нѣсколько времени его уже ожидавшій. Вечерній столъ мало отличался отъ обѣденнаго, и вѣроятно, кушали за нимъ даже поплотнѣе, потому-что было не такъ жарко. Послѣ ужина Степанъ Михайловичъ имѣлъ обыкновеніе еще съ полчаса посидѣть въ одной рубахѣ и прохладиться на крыльцѣ, отпустя семью свою на покой. Въ этотъ разъ, нѣсколько долѣе обыкновеннаго онъ шутилъ и смѣялся съ своей прислугой; заставлялъ Мазана и Танайченка бороться и драться на кулачки, и такъ ихъ поддразнивалъ, что они, не шутя, колотили другъ друга и вцѣпились даже въ волосы; но дѣдушка, до сыта насмѣявшись, повелительнымъ словомъ и голосомъ заставилъ ихъ опомниться и разойдтись.

Лѣтняя, короткая, чудная ночь обнимала всю природу. Еще не угасъ свѣтъ вечерней зари и не угаснетъ до начала сосѣдней утренней зари! Часъ отъ часу темнѣла глубь небеснаго свода, часъ отъ часу ярче сверкали звѣзды, громче раздавались голоса и крики почныхъ птицъ, какъ будто они приближались къ человѣку! Ближе шумѣла мельница и толкла толчея въ ночномъ сыромъ туманѣ... Всталъ мой дѣдушка съ своего крылечка, перекрестился разъ-другой на звѣздное небо и легъ почивать, не смотря на духоту въ комнатѣ, на жаркій пуховикъ, и приказалъ опустить на себя пологъ.

ВТОРОЙ ОТРЫВОКЪ

ИЗЪ

СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ.

МИХАЙЛА МАКСИМОВИЧЪ

КУРОЛЕСОВЪ.

Я обѣщалъ разсказать особо объ Михайлѣ Максимовичѣ Куролесовѣ и его женитьбѣ на двоюродной сестрѣ моего дѣдушки, Прасковьѣ Ивановнѣ Багровой. Начало этого событія происходило въ 1760-хъ годахъ, прежде того времени, о которомъ я разсказывалъ въ первомъ отрывкѣ изъ Семейной Хроники, а конецъ гораздо позже. Исполняю мое обѣщаніе.

Степанъ Михайловичъ былъ единственный сынъ Михаила Петровича Багрова, а Прасковья Ивановна — единственная дочь Ивана Петровича Багрова. Дѣдушка мой очень любилъ ее, какъ единственную женскую отрасль рода Багровыхъ и какъ единственную свою двоюродную сестру. Прасковья Ивановна лишилась матери еще въ колыбели, а десяти лѣтъ потеряла отца. Мать ея была изъ рода Бактеевыхъ, и очень богата: она оставила дочери 900 душъ крестьянъ, много денегъ и еще болѣе драгоцѣнныхъ вещей и серебра; послѣ отца также получила она 300 душъ; и такъ она была богатая сирота и будущая богатая невѣста. Послѣ смерти отца, она сначала жила у бабушки Бактеевой, потомъ пріѣзжала и гостила по-долгу въ Троицкомъ, и наконецъ Степанъ Михайловичъ перевезъ ее на житье къ себѣ. Любя не менѣе дочерей свою

сестричку-сиротку, какъ называлъ ее Степанъ Михайловичъ, онъ былъ очень нѣженъ съ ней по своему; но Прасковья Ивановна, по молодости лѣтъ, или лучше сказать по дѣтскости своей, не могла цѣнить любви и нѣжности своего двоюроднаго брата, которыя не выражались никакимъ баловствомъ, къ чему она уже попривыкла, поживши довольно долго у своей бабушки; и такъ не мудрено, что она скучала въ Троицкомъ и что ей хотѣлось воротиться къ прежней своей жизни у старушки Бактеевой. Прасковья Ивановна была не красавица, но имѣла правильныя черты лица, прекрасные, умные, сѣрые глаза, довольно широкія, длинныя, темныя брови, показывающія твердый и мужественный нравъ, стройный высокій ростъ, и въ четырнадцать лѣтъ казалась осьмнадцати-лѣтнею дѣвицей; но не смотря на тѣлесную свою зрѣлость, она была еще совершенный ребенокъ и сердцемъ и умомъ: всегда живая, веселая, она рѣзвилась, прыгала, скакала и пѣла съ утра до вечера. Голосъ имѣла чудесный, страстно любила пѣсни, качели, хороводы и всякія игрища, и когда ничего этого не было, то цѣлый день играла въ куклы, непремѣнно сопровождая свои игры всякаго рода русскими пѣснями, которыхъ и тогда знала безчисленное множество.

За годъ до переѣзда ея къ Степану Михайловичу, пріѣхалъ въ Симбирскую губернію, въ отпускъ, молодой человѣкъ, лѣтъ 28-ми, родовой тамошній дворянинъ, Михаилъ Максимовичъ Куролесовъ, служившій въ военной службѣ; онъ былъ, какъ говорится, молодецъ собой. Многіе называли его даже красавцемъ; но иные говорили, что онъ, не смотря на свою красивость, былъ какъ-то не пріятенъ, и я въ ребячествѣ слыхалъ объ этомъ споры между бабушкой и моими тетками. Съ пятнадцатилѣтняго возраста онъ находился въ службѣ въ какомъ-то извѣст-

номъ тогда славномъ полку и дослужился уже до чина майора. Въ отпускъ пріѣзжалъ рѣдко, да и пріѣзжать было не къ чему, потому что у него родоваго имѣнія всего было душъ съ полтораста, и то малоземельныхъ, находившихся въ разнопомѣстномъ селеніи Грачовкѣ. Разумѣется, онъ не имѣлъ настоящаго образованія, но былъ боекъ на словахъ и писалъ также бойко и складно. Я имѣлъ въ своихъ рукахъ много его писемъ, изъ которыхъ очевидно, что онъ былъ человѣкъ толковый, ловкій и въ тоже время твердый и дѣловой. Не знаю, какъ онъ былъ родня нашему безсмертному Суворову, но въ перепискѣ Куролесова я нашелъ нѣсколько писемъ геніальнаго полководца, которыя всегда начинались такъ: «Милостивый Государь мой, братецъ Михаилъ Максимовичъ» и оканчивались: «съ достодолжнымъ почтеніемъ къ вамъ и милостивой Государынѣ сестрицѣ Прасковьѣ Ивановнѣ, честь имѣю быть и проч.» Михаила Максимовича мало знали въ Симбирской губерніи, но какъ «слухомъ земля полнится», и притомъ, можетъ быть, онъ и въ отпуску позволялъ себѣ кое-какія дебоши, какъ тогда выражались, да и пріѣзжавшій съ нимъ деньщикъ или крѣпостной лакей, не смотря на строгость своего командира, по секрету кое-что пробалтывалъ,—то и составилось о немъ мнѣніе, которое вполнѣ выражалось слѣдующими афоризмами, что «майоръ шутить не любитъ, что у него ходи по струнке и съ тропы не сваливайся, что онъ солдата не выдастъ и коли можно, покростъ, а если попался, такъ ужъ помилованья не жди, что слово его крѣпко, что если пойдетъ на ссору, то ему и чортъ не братъ, что онъ лихой, бѣдовый, что онъ *гусь лапчатый, звѣрь полосатый*....»; (*) но всѣ единогласно называли его отлич-

(*) Двумя послѣдними поговорками, не смотря на видимую ихъ неопредѣленность, русской человѣкъ опредѣляетъ очень много, ярко и понятно для всякаго.

нымъ хозяиномъ. Носились также слухи, вѣроятно вышедшіе изъ тѣхъ же источниковъ, что майоръ большой гуляка, т.-е. охотникъ до женскаго пола и до хмѣльнаго, но знаетъ всему мѣсто и время. Первая охота прикрывалась поговоркою, что «быль молодцу не укора»; а вторая, что «выпить мужчинѣ не бѣда» и что «кто пьянъ да уменъ, — два угодья въ немъ». И такъ майоръ Куролесовъ не имѣлъ положительно дурной репутаціи, а напротивъ въ глазахъ многихъ имѣлъ репутацію выгодную. Къ тому же былъ искателенъ, умѣлъ приласкаться и приласкать, оказывалъ уваженіе старшимъ и почетнымъ людямъ, и потому приняли его всѣ радушно и съ удовольствіемъ. Будучи близкимъ сосѣдомъ Бактеевыхъ, которымъ приходился дальнимъ родственникомъ по мужѣ дочери Бактеевой, А. А. Курмышевой (да кажется и крестьяне ихъ жили въ одномъ селѣ), онъ умѣлъ такъ сыскать ихъ расположеніе, что всѣ его любили и носили на рукахъ. Сначала дѣлалъ онъ это безъ особенныхъ видовъ, а въ слѣдствіе своего неизмѣннаго правила «добиваться благосклонности людей почтенныхъ и богатыхъ»; но потомъ, увидѣвъ тамъ живую, веселую и богатую Прасковью Ивановну, по наружности совершенную уже невѣсту, — онъ составилъ планъ жениться на ней и прибрать къ рукамъ ея богатство. Съ этой опредѣленной цѣлью онъ удвоилъ свои заискиванья въ бабушкѣ и теткѣ Прасковьи Ивановны и добился до того, что онѣ въ немъ, какъ говорится, души не чаяли; да и за молодой дѣвушкой началъ такъ искусно ухаживать, что она его полюбила, разумѣется, какъ человѣка, который потакалъ всѣмъ ея словамъ, исполнялъ желанія и вообще баловалъ ее. Михаилъ Максимовичъ открылся роднымъ Прасковьи Ивановны, прикинулся влюбленнымъ въ молодую сироту и всѣ повѣрили, что онъ ею *смертельно заразился*, грезитъ ею

во снѣ и на яву, сходитъ отъ нее съ ума; повѣрили, одобрили его намѣреніе и приняли бѣднаго страдальца подъ свою защиту. При такомъ благосклонномъ покровительствѣ родныхъ, не трудно было ему успѣть въ своемъ намѣреніи: онъ угождалъ дѣвочкѣ доставленіемъ разныхъ удовольствій, каталъ на лихихъ своихъ коняхъ, качалъ на качеляхъ и самъ качался съ ней, мастерски пѣвалъ съ нею русскія пѣсни, дарилъ разными бездѣлушками и выписывалъ для нее затѣйливыя дѣтскія игрушки изъ Москвы.

Зная, что для полнаго успѣха необходимо получить согласіе двоюроднаго брата и опекуна невѣсты, Михаилъ Максимовичъ попробовалъ втереться въ милость и къ моему дѣдушкѣ. Подъ разными предлогами, съ рекомендательными письмами отъ родныхъ Прасковьи Ивановны, пріѣзжалъ онъ къ Степану Михайловичу въ деревню — но не понравился хозяину. Съ перваго взгляда это можетъ показаться страннымъ: отъ чего бы не понравиться? У молодаго майора были нѣкоторыя качества, которыя, какъ будто бы, симпатизировали съ свойствами Степана Михайловича; но у старика, кромѣ здраваго ума и свѣтлаго взгляда было это нравственное чутье людей честныхъ, прямыхъ и правдивыхъ, которое чувствуетъ съ перваго знакомства съ человѣкомъ неизвѣстнымъ — кривду и неправду его, для другихъ незамѣтную; которое слышитъ зло подъ благовидною наружностью и угадываетъ будущее его развитіе. Ласковыя рѣчи и почтительный тонъ не обманули Степана Михайловича, и онъ съ разу отгадалъ, что тутъ скрываются какія-нибудь плутни. При томъ дѣдушка былъ самой строгой и скромной жизни, и слухи, еще прежде случайно дошедшіе до него, такъ легко извиняемые другими, о безпутствѣ майора, поселили отвращеніе къ нему въ цѣломудренной душѣ Степана Михай-

ловича, и хотя онъ самъ былъ горячъ до бѣшенства, но недобрыхъ, злыхъ и жестокихъ безъ гнѣва людей — терпѣть не могъ. Вслѣдствіе всего этого принялъ онъ Михаила Максимовича холодно и сухо, не смотря на умные и дѣльные разговоры обо всемъ и особенно о хозяйствѣ; когда же гость, увидѣвъ Прасковью Ивановну, уже переѣхавшую въ то время къ моему дѣдушкѣ, сталъ любезничать съ нею, какъ старый знакомый, и она слушала его съ удовольствіемъ, то у дѣдушки, по обыкновенію, покривилась голова на сторону, посдвинулись брови и покосился онъ на гостя не ласково. Напротивъ Аринѣ Васильевнѣ и всѣмъ дочерямъ гость очень приглянулся, потому что съ первыхъ минутъ онъ умѣлъ къ нимъ подольститься, и онѣ пустились было съ нимъ въ разныя ласковыя рѣчи; но вышесказанные мною зловѣщіе признаки грозы на лицѣ Степана Михайловича всѣхъ обдали холодомъ и всѣ прикусили язычки. Гость попытался возстановить общественное спокойствіе и пріятность бесѣды, но напрасно: отъ всѣхъ началъ онъ получать короткіе отвѣты, отъ хозяина же и не совсѣмъ учтивые. Дѣлать было нечего, надо было уѣхать, хотя уже наступало позднее ночное время и слѣдовало бы гостю, по деревенскому обычаю, остаться ночевать. «Дрянь человѣкъ и плутъ, авось въ другой разъ не пріѣдетъ», сказалъ Степанъ Михайловичъ семьѣ своей, и конечно ничей голосъ не возразилъ ему; но за то потихоньку долго хвалили браваго майора, и охотно слушала и разсказывала про его угодливости молодая дѣвочка, богатая сирота.

Похлебавъ не солоно, отъѣхалъ Михаилъ Максимовичъ отъ Степана Михайловича и воротился къ Бактеевой съ извѣстіемъ о своей неудачѣ. Дѣдушку моего хорошо знали, и съ первой минуты потеряли всякую надежду на его добровольное согласіе. Долго думали, но ничего не

придумали. Отважный майоръ предлагалъ пригласить молодую дѣвушку въ гости къ бабушкѣ и обвѣнчаться съ ней безъ согласія Степана Михайловича, но Бактеева и Курмышева были увѣрены, что дѣдушка мой не отпуститъ свою сестру одну, а если и отпуститъ, то очень не скоро, а майору оставаться долѣе было не льзя. Онъ предлагалъ отчаянное средство: уговорить Прасковью Ивановну къ побѣгу, увезти ее и сейчасъ гдѣ-нибудь обвѣнчаться; но родные и слышать не хотѣли о такомъ зазорномъ дѣлѣ — и Михаилъ Максимовичъ уѣхалъ въ полкъ. Пути Провидѣнія для насъ непостижимы, а потому мы не можемъ судить, отчего судьбѣ было угодно, чтобъ это злое намѣреніе увѣнчалось успѣхомъ. Черезъ полгода, вдругъ получила старуха Бактеева извѣстіе, что Степанъ Михайловичъ, по весьма важному дѣлу, уѣзжаетъ куда-то далеко и надолго. Куда и зачѣмъ уѣзжалъ онъ—не знаю, только куда-то далеко, въ Астрахань или въ Москву, и непремѣнно по дѣлу, потому что бралъ съ собой повѣреннаго Пантелея Григорьевича. Сейчасъ послали грамоту къ Степану Михайловичу и просили позволенія, чтобъ внучка, во время отсутствія своего опекуна и брата, пріѣхала погостить къ бабушкѣ, но получили короткій отвѣтъ: «что Парашѣ и здѣсь хорошо, и что если желаютъ ее видѣть, то могутъ пріѣхать и прогостить въ Троицкомъ сколько угодно».Ославъ такой положительный отвѣтъ и пригрозивъ строго на-строго своей, всегда покорной супругѣ, чтобъ она берегла Парашу, какъ зеницу своего ока и никуда изъ дома не отпускала, Степанъ Михайловичъ отправился въ путь.

Бактеева пересылалась и переписывалась съ Прасковьей Ивановной и съ семействомъ моего дѣдушки. Сейчасъ по полученіи извѣстія, что онъ уѣхалъ, Бактеева увѣдомила объ этомъ Михаила Максимовича Куролесова, прибавя, что

Степанъ Михайловичъ уѣхалъ надолго, и что не можетъ ли онъ пріѣхать, чтобъ лично хлопотать по извѣстному дѣлу; а сама старуха Бактеева съ дочерью, немедленно отправилась въ Троицкое. Она всегда была въ дружескихъ отношеніяхъ съ Ариной Васильевной; узнавъ, что Куролесовъ и ей очень понравился, она открылась, что молодой майоръ безъ памяти влюбленъ въ Парашеньку; распространилась въ похвалахъ жениху и сказала, что ничего такъ не желаетъ, «какъ пристроить при своей жизни свою внучку-сиротинку, и увѣрена въ томъ, что она будетъ счастлива; что она чувствуетъ, что ей уже не долго жить на свѣтѣ, и потому хотѣла бы поторопиться этимъ дѣломъ. Арина Васильевна съ своей стороны совершенно одобрила такое намѣреніе, но выразила сомнѣніе «чтобы Степанъ Михайловичъ на это согласился, и что Богъ знаетъ почему, Михаилъ Максимовичъ, хотя всѣмъ взялъ, но ему больно не понравился». — Призвали на совѣтъ старшихъ дочерей Арины Васильевны, и подъ предсѣдательствомъ старухи Бактеевой и ея дочери Курмышевой, особенно горячо хлопотавшей за майора, положено было: предоставить улаживаніе этого дѣла родной бабушкѣ, потому что она внучкѣ всѣхъ ближе, но такимъ образомъ, чтобъ супруга Степана Михайловича и ея дочери остались въ сторонѣ, какъ будто онѣ ничего не знаютъ и ничему не причастны. Я уже сказалъ прежде, что Арина Васильевна была женщина добрая и очень простая; дочери ея были совершенно на сторонѣ Бактеевой, а потому и не мудрено, что ее могли уговорить способствовать такому дѣлу, за которое Степанъ Михайловичъ жестоко будетъ гнѣваться. Между тѣмъ беззаботная и веселая сирота и не подозрѣвала, что рѣшаютъ судьбу ея. Объ Михайлѣ Максимовичѣ часто говорили при ней, хвалили изо всѣхъ силъ, увѣряли, что онъ любитъ ее больше

своей жизни, что день и ночь думаетъ о томъ, какъ-бы ей угодить, и что если онъ скоро пріѣдетъ, то вѣрно привезетъ ей множество московскихъ гостинцевъ. Прасковья Ивановна слушала съ удовольствіемъ такія рѣчи и говорила, что она сама никого на свѣтѣ такъ не любитъ, какъ Михаила Максимовича. Покуда гостила старуха Бактеева въ Троицкомъ, ей привезли изъ деревни письмо отъ Куролесова, который увѣдомлялъ, что какъ скоро получитъ отпускъ, то немедленно пріѣдетъ. Наконецъ Бактеева и Курмышева, условившись съ Ариной Васильевной, что она ни о чемъ къ своему супругу писать не станетъ и отпуститъ къ нимъ Парашеньку, не смотря на запрещеніе Степана Михайловича, подъ предлогомъ тяжкой болѣзни родной бабушки, — уѣхали въ свое помѣстье. Прасковья Ивановна плакала и просилась къ бабушкѣ, особенно узнавъ, что майоръ скоро пріѣдетъ; но ее не пустили изъ уваженія къ приказанію братца, Степана Михайловича. Куролесовъ не могъ получить немедленно себѣ отпуска и пріѣхалъ мѣсяца черезъ два. Вскорѣ послѣ его пріѣзда, отправили гонца съ письмомъ въ Троицкое къ Аринѣ Васильевнѣ; въ письмѣ Курмышева увѣдомляла, что старуха Бактеева сдѣлалась отчаянно больна, желаетъ видѣть и благословить внучку, а потому проситъ прислать ее съ кѣмъ-нибудь; было прибавлено, что безъ сомнѣнія Степанъ Михайловичъ не будетъ гнѣваться за нарушеніе его приказанія, и конечно бы отпустилъ внучку проститься съ своей родной бабушкой. Письмо очевидно было написано напоказъ, для оправданія Арины Васильевны передъ строгимъ супругомъ. Вѣрная своему обѣщанію и обезпеченная такимъ письмомъ, Арина Васильевна, немедленно собралась въ дорогу и сама отвезла Парашеньку къ ея мнимо-умирающей бабушкѣ; прогостила у больной съ недѣлю, и воротилась домой совершенно об-

вороженная ласковыми рѣчами Михаила Максимовича и разными подаркими, которые онъ привезъ изъ Москвы не только для нее, но и для дочерей ея. Прасковья Ивановна была очень довольна, бабушкѣ ея стало сейчасъ лучше, угодникъ майоръ привезъ ей изъ Москвы много игрушекъ и разныхъ гостинцевъ, гостилъ у Бактеевой въ домѣ безвыѣздно, разсыпался передъ ней мелкимъ бѣсомъ, и скоро такъ привязалъ къ себѣ дѣвочку, что когда бабушка объявила ей, что онъ хочетъ на ней жениться, то она очень обрадовалась и, какъ совершенное дитя, начала бѣгать и прыгать по всему дому, объявляя каждому встрѣчному, что «она идетъ за-мужъ за Михаила Максимовича, что какъ будетъ ей весело, что сколько получитъ она подарковъ, что она будетъ съ утра до вечера кататься съ нимъ на его чудесныхъ рысакахъ, качаться на самыхъ высокихъ качеляхъ, пѣть пѣсни или играть въ куклы, не маленькія, а большія, которыя сами умѣютъ ходить и кланяться»..... Вотъ въ какомъ состояніи находилась голова бѣдной невѣсты. Мѣшкать не стали, опасаясь, чтобъ не дошли слухи до Степана Михайловича; созвали сосѣдей, сдѣлали помолвку, обручили жениха съ невѣстой, заставили поцѣловаться, посадили рядочкомъ за столъ и выпили ихъ здоровье. Невѣста соскучилась было длинной церемоніей, множествомъ поздравленій и сидѣньемъ на одномъ мѣстѣ, но когда позволили ей посадить возлѣ себя свою новую московскую куклу, то сдѣлалась очень весела, объявляла всѣмъ гостямъ, что это ея дочка, и заставляла куклу кланяться и вмѣстѣ съ ней благодарить за поздравленія. Черезъ недѣлю жениха съ невѣстой обвѣнчали съ соблюденіемъ всѣхъ формальностей, показавъ новобрачной, вмѣсто пятнадцатаго, семнадцатый годъ, въ чемъ по ея наружности никто усумниться не могъ. — Хотя Арина Васильевна и ея дочери знали на

какое дѣло шли, но извѣстіе, что Парашенька обвѣнчана, чего они такъ скоро не ожидали, привело ихъ въ неописанный ужасъ: точно спала пелена съ ихъ глазъ, точно то случилось, о чемъ онѣ и не думали, и онѣ почувствовали, что ни мнимая смертельная болѣзнь родной бабушки, ни письмо ея — не защита имъ отъ справедливаго гнѣва Степана Михайловича. Еще прежде извѣстія о свадьбѣ отправила Арина Васильевна письмо къ своему супругу, въ которомъ увѣдомляла, что по такимъ-то важнымъ причинамъ отвезла она внучку къ умирающей бабушкѣ, что она жила тамъ цѣлую недѣлю, и что хотя Богъ далъ старухѣ Бактеевой полегче, но Парашеньку назадъ не отпустили, а оставили до выздоровленія бабушки; что дѣлать ей было нечего, насильно взять нельзя, и она поневолѣ согласилась и поспѣшила уѣхать къ дѣтямъ, которыя жили одни-одинехоньки, и что теперь опасается она гнѣва Степана Михайловича. На это письмо онъ отвѣчалъ, что Арина сдѣлала глупо, чтобъ она ѣхала опять къ старухѣ Бактеевой и во что бы то ни стало привезла Парашу домой. Арина Васильевна вздыхала, плакала надъ письмомъ и не знала, что̀ дѣлать. Молодые Куролесовы не замедлили пріѣхать къ ней съ визитомъ. Парашенька казалась совершенно счастливою и веселою, хотя уже не такъ дѣтски рѣзвою. Мужъ ея также казался вполнѣ счастливымъ, и въ тоже время былъ такъ спокоенъ и разсудителенъ, что успокоилъ бѣдную Арину Васильевну своими умными рѣчами. Онъ убѣдительно доказалъ, что весь гнѣвъ Степана Михайловича упадетъ на родную бабушку Бактееву, которая тоже по своей опасной болѣзни, хотя ей теперь, благодаря Бога, лучше, имѣла достаточную причину не испрашивать согласія Степана Михайловича, зная, что онъ не скоро бы далъ его, хотя конечно бы со временемъ согласился; что мѣшкать ей

было нельзя, потому что она, какъ говорится, на ладонъ дышала, и тяжело было бы ей умирать, не пристроивъ своей родной внучки, круглой сироты, потому что не только двоюродный, но и родной братъ не можетъ замѣнить родной бабушки. Много было наговорено подобныхъ успокоительныхъ разсужденій, сопровождаемыхъ богатыми свадебными подарками, которые были приняты съ большимъ удовольствіемъ, смѣшаннымъ съ нѣкоторымъ страхомъ. Оставлены были подарки и для Степана Михайловича. Михаилъ Максимовичъ посовѣтовалъ Аринѣ Васильевнѣ, чтобъ она погодила писать къ своему супругу до полученія отвѣта на извѣстительное и рекомендательное письмо молодыхъ, и увѣрилъ, что онъ вмѣстѣ съ Прасковьей Ивановной будетъ немедленно писать къ нему, но писать онъ и не думалъ и хотѣлъ только отдалить грозу, чтобъ успѣть, такъ сказать, утвердиться въ своемъ новомъ положеніи. Послѣ женитьбы Михаилъ Максимовичъ послалъ немедленно просьбу объ увольненіи его въ отставку, которую и получилъ очень скоро. Первымъ его дѣломъ было объѣздить съ молодой своей женой всѣхъ родственниковъ и всѣхъ знакомыхъ, какъ съ ея стороны, такъ и съ своей. Въ Симбирскѣ же, начиная съ губернатора, не было забыто ни одно служебное, ни одно сколько-нибудь значительное лице. Всѣ не могли довольно нахвалиться прекрасною парочкой молодыхъ, во всѣхъ такъ умѣли найти они благосклонное расположеніе, что одобреніе этого брака сдѣлалось общимъ мнѣніемъ. Такъ прошло нѣсколько мѣсяцевъ.

Степанъ Михайловичъ, не получая давно писемъ изъ дому, видя, что дѣло его затянулось, соскучившись въ разлукѣ съ семействомъ, вдругъ, въ одинъ прекрасный день, воротился неожиданно въ свое Троицкое. Задрожали и руки и ноги у Арины Васильевны, когда она услыхала

страшныя слова: «баринъ пріѣхалъ.» — Степанъ Михайловичъ, узнавъ, что всѣ живы и здоровы, свѣтелъ и радостенъ вошелъ въ свой господскій домъ, разцѣловалъ свою Аришеньку, дочерей и сына и весело спросилъ: «да гдѣ же Параша?» Ободрившись ласковостью супруга, Арина Васильевна отвѣчала ему съ притворной улыбкой: «гдѣ доподлинно не знаю; можетъ у бабушки. Да вѣдь ты, батюшка, давно изволишь знать, что Парашенька за-мужемъ.» Не стану описывать изумленія и гнѣва моего дѣдушки; гнѣвъ этотъ удвоился, когда онъ узналъ, что Прасковья Ивановна выдана за Куролесова. Степанъ Михайловичъ принялся было за расправу съ своей супругой, но она, повалившись ему въ ноги со всѣми дочерьми и представивъ письма старухи Бактеевой, успѣла увѣрить его, что «знать ничего не знаетъ и что она была сама обманута.» Бѣшенство Степана Михайловича обратилось на старуху Бактееву; онъ приказалъ себѣ приготовить другихъ лошадей и отдохнувъ часа два-три, поскакалъ прямо къ ней. Можно себѣ представить какую схватку *учинилъ* онъ съ бабушкой Прасковьи Ивановны. Старуха, вытерпѣвъ первый потокъ самыхъ крѣпкихъ ругательствъ, пріосамилась и, разгорячившись въ свою очередь, сама напала на моего дѣдушку. «Да чтожь это ты развоевался, какъ надъ своей крѣпостной рабой, сказала она, развѣ ты забылъ, что я такая же столбовая дворянка, какъ и ты, и что мой покойный мужъ былъ гораздо повыше тебя чиномъ. Я поближе тебя къ Парашенькѣ, я родная бабушка ей и такая же опекунша, какъ ты. Я устроила ея счастіе, недожидаясь твоего согласія, потому-что была больна при смерти и не хотѣла ее оставить на всю твою волю; вѣдь я знаю, что ты бѣшеный и сумасшедшій; живя у тебя, пожалуй она бы въ иной часъ и палки отвѣдала; Михайлъ Максимовичъ ей по всему пара, и Парашенька его

сама полюбила. Да и кто же его не полюбитъ и не похвалитъ. Тебѣ только онъ не угодилъ, а ты спроси-ка твою семью, такъ и узнаешь, что она имъ не нахвалятся.» — «Врешь ты, старая мошенница, вошлъ мой дѣдушка; ты обманула мою Аришу, прикинулась что умираешь..... Ты продала свою внучку разбойнику Мишкѣ Куролесову, который приворотилъ васъ съ дочкой къ себѣ нечистой силой.....» Старуха Бактеева вышла изъ себя и въ запальчивости выболтала, что Арина Васильевна и ея дочери были съ ней за одно и заранѣе приняли разные подарки отъ Михаила Максимовича. Такія слова обратили опять весь гнѣвъ Степана Михайловича на его семейство. Погрозивъ, что онъ разведетъ Парашу съ мужемъ по ея несовершеннолѣтію, онъ отправился домой, но заѣхалъ по дорогѣ къ священнику, который вѣнчалъ Куролесовыхъ. Онъ грозно потребовалъ у него отчета, но тотъ очень спокойно и съ увѣренностью показалъ ему обыскъ, подпись бабушки и невѣсты, рукоприкладство свидѣтелей и метрическое свидѣтельство изъ Духовной Консисторіи, что Прасковьѣ Ивановнѣ семнадцатый годъ. Это былъ новый ударъ для моего дѣдушки, лишившій его всякой надежды къ расторженію ненавистнаго ему брака и несказанно усилившій его гнѣвъ на Арину Васильевну и дочерей. Я не буду распространяться о томъ, что онъ дѣлалъ, воротясь домой. Это было бы ужасно и отвратительно. По прошествіи тридцати лѣтъ тетки мои вспоминали объ этомъ времени, дрожа отъ страха. Я скажу только въ короткихъ словахъ, что виноватыя признались во всемъ, что всѣ подарки, и первые и послѣдніе, и назначенные ему, онъ отослалъ къ старухѣ Бактеевой, для возвращенія кому слѣдуетъ, что старшія дочери долго хворали, а у бабушки не стало косы, и что цѣлый годъ ходила она съ пластыремъ на всей головѣ. Молодымъ же

Куролесовымъ онъ далъ знать, чтобы они не смѣли къ нему и глазъ показывать, а у себя дома запретилъ поминать ихъ имена.

Между тѣмъ время шло, залечивая всякія раны, и духовныя и тѣлесныя, успокоивая всякія страсти. Черезъ годъ зажила голова у Арины Васильевны, утихъ гнѣвъ въ сердцѣ Степана Михайловича. Сначала онъ не хотѣлъ, не только видѣть, но и слышать объ молодыхъ Куролесовыхъ, даже не читалъ писемъ Прасковьи Ивановны; но къ концу года, получая со всѣхъ сторонъ добрыя вѣсти объ ея житьѣ, и о томъ, какъ она вдругъ сдѣлалась разумна не по годамъ, Степанъ Михайловичъ смягчился, и захотѣлось ему видѣть свою милую сестричку. Онъ разсудилъ, что она менѣе всѣхъ виновата, что она была совершенный ребенокъ,—и позволилъ пріѣхать ей въ Троицкое, но безъ мужа. Разумѣется, она сейчасъ прискакала. Въ самомъ дѣлѣ Прасковья Ивановна такъ перемѣнилась въ одинъ годъ своего замужства, что Степанъ Михайловичъ не могъ надивиться. И странное дѣло, откуда вдругъ взялась у нее такая любовь и признательность къ своему двоюродному брату, какой она вовсе не чувствовала до замужства и еще менѣе, казалось, могла почувствовать послѣ своей свадьбы? Прочла ли она въ его глазахъ, полныхъ слезъ при встрѣчѣ съ нею, сколько скрывается любви подъ суровой наружностью и жестокимъ самовластіемъ этого человѣка? Было ли это темное предчувствіе будущаго или неясное пониманіе единственной своей опоры и защиты? Почувствовала ли она безсознательно, что изъ всѣхъ баловницъ и потатчицъ ея ребяческимъ желаніямъ—всѣхъ больше любитъ ее грубый братъ, противникъ ея счастія, не взлюбившій любимаго ею мужа?... Не знаю, но для всѣхъ было поразительно, что прежняя легкомысленная, равнодушная къ брату, дѣвочка, не по-

нимавшая и не признававшая его правъ и своихъ къ нему обязанностей, имѣющая теперь всѣ причины къ чувству непріязненному за оскорбленіе любимой бабушки,—вдругъ сдѣлалась не только привязанною сестрою, но горячею дочерью, которая смотрѣла въ глаза своему двоюродному брату, какъ нѣжно и давно любимому отцу, нѣжно и давно любящему свою дочь.... Какъ бы то ни было, но внезапно родившееся чувство прекратилось только съ ея жизнію. Что за чудная перемѣна сдѣлалась во всемъ существѣ Прасковьи Ивановны въ такія молодыя лѣта, въ одинъ годъ замужства? Пропало неразумное дитя и явилась, хотя веселая, но разумная женщина. Она искренно признавала всѣхъ виноватыми предъ Степаномъ Михайловичемъ. Извиняла только себя неразумѣемъ, а бабушку, мужа и другихъ—горячею и слѣпою къ ней любовію. Она не просила, чтобъ Степанъ Михайловичъ сейчасъ простилъ ея мужа, виноватаго больше всѣхъ, но надѣялась, что со временемъ, видя какъ она счастлива, какой попечительный, неутомимый хозяинъ ея мужъ, какъ устроиваетъ ея состояніе—братецъ проститъ Михаила Максимовича и позволитъ ему пріѣхать. Хотя дѣдушка мой ничего не сказалъ на такія слова, но былъ совершенно побѣжденъ ими. Онъ не сталъ долго держать у себя свою умную сестрицу, какъ онъ сталъ называть ее съ этихъ поръ, и отправилъ немедленно къ мужу, говоря, что теперь *тамъ* ея мѣсто. Прощаясь, онъ сказалъ ей: «Если черезъ годъ ты будешь также довольна своимъ мужемъ, и онъ будетъ также хорошо съ тобою жить, то я помирюсь съ нимъ.» И точно черезъ годъ, зная, что Михаилъ Максимовичъ ведетъ себя хорошо и занимается устройствомъ имѣнія жены своей съ неусыпнымъ рвеніемъ, видя нерѣдко свою сестрицу здоровою, довольною и веселою, Степанъ Михайловичъ сказалъ ей: «привози своего мужа.» Онъ принялъ

Куролесова съ радушіемъ, прямо и откровенно высказалъ свои прежнія сомнѣнія и обѣщалъ ему, если онъ всегда будетъ такъ хорошо себя вести, — родственную любовь и дружбу. Михайла Максимовичъ держалъ себя мастерски; онъ не былъ такъ вкрадчивъ и искателенъ, какъ прежде, но такъ же почтителенъ, внимателенъ, предупредителенъ. Въ немъ слышалось больше самостоятельности и увѣренности; онъ былъ озабоченъ, погруженъ въ хозяйственныя дѣла, просилъ совѣтовъ у моего дѣдушки, понималъ ихъ очень хорошо и пользовался ими съ отличнымъ умѣньемъ. Онъ счелся съ нимъ въ дальнемъ родствѣ самъ по себѣ, и называлъ его дядюшкой, Арину Васильевну тетушкой, сына ихъ братцемъ, а дочерей сестрицами. Онъ оказалъ Степану Михайловичу какую-то услугу, еще до своего примиренія, или прощенія; дѣдушка зналъ это, и теперь сказалъ ему спасибо, и даже поручилъ о чемъ-то похлопотать. Однимъ словомъ, дѣло уладилось превосходно. Казалось всѣ обстоятельства говорили въ пользу Михайла Максимовича, но дѣдушка повторялъ свое: «хорошъ парень, ловокъ и смышленъ, а сердце не лежитъ.»

Такъ прошелъ еще годъ, въ продолженіе котораго Степанъ Михайловичъ переселился въ Уфимское намѣстничество. Въ первые три года послѣ женитьбы, Куролесовъ велъ себя скромно и смирно, или покрайней мѣрѣ такъ скрытно, что ничего не было слышно. Впрочемъ онъ дома жилъ мало, и все время проводилъ въ разъѣздахъ. Одинъ только слухъ носился вездѣ, и даже увеличивался, что молодой хозяинъ *строгонекъ*. Въ слѣдующіе два года Куролесовъ надѣлалъ чудеса по устройству имѣнія жены своей, что неоспоримо доказывало его неусыпную дѣятельность, предпріимчивость и желѣзную волю въ исполненіи своихъ предпріятій. Имѣніе Прасковьи Ивановны управлялось прежде очень плохо: оно было разстроено,

замущено, крестьяне избалованы. Они давали очень мало дохода, не потому, чтобы мѣстность была не выгодна для сбыта хлѣба, но потому, что они, кромѣ того, что плохо работали, были малоземельны и находились отчасти въ общемъ владѣніи съ бабушкой Бактеевой и теткой Курмышевой. Михайла Максимовичъ съ того началъ, что принялся за переводъ крестьянъ на новыя мѣста, а старыя земли продалъ очень выгодно. Онъ купилъ степь въ Симбирской губерніи (теперь Самарской), въ Ставропольскомъ уѣздѣ, около семи тысячъ десятинъ, землю отличную, хлѣбородную, черноземъ въ полтора аршина глубиною, ровную, удобную для хлѣбопашества, по рѣчкѣ Берля, въ вершинахъ которой только росъ по отрогамъ небольшой лѣсокъ; да былъ еще заповѣдный «Медвѣжій Врагъ», который и теперь составляетъ единственный лѣсъ для всего имѣнія. Тамъ поселилъ онъ 350 душъ. Это вышло имѣніе отмѣнно выгодное, потому-что находилось во ста верстахъ отъ Самары, и въ 60 и въ 40 верстахъ отъ многихъ волжскихъ пристаней. Извѣстно, что удобный сбытъ хлѣба составляетъ у насъ все достоинство имѣнія. Потомъ отправился Михайла Максимовичъ въ Уфимское намѣстничество и купилъ у Башкирцевъ примѣрно по урочищамъ болѣе 20,000 десятинъ, также черноземъ, хотя далеко не такъ богатаго, какъ въ Симбирской губерніи, но съ довольнымъ количествомъ дровянаго и даже строеваго лѣса. Земля лежала по рѣкѣ Усень и по рѣчкамъ: Сююшъ, Мелеусъ, Кармалка и Белебейка; тогда, кажется, это былъ Мензелинской уѣздъ, а теперь Белебеевской, принадлежащій къ Оренбургской губерніи. Тамъ поселилъ онъ на истокѣ множества ключей, составляющихъ рѣчку большой Сююшъ, 450 душъ, да на рѣчкѣ Белебейкѣ 50 душъ. Большую деревню назвалъ «Парашино», а маленькую—«Ивановка». Симбирское же имѣніе называлось «Ку-

ролесово», и всѣ три названія составляли имя, отчество и фамилію его жены. Эта романтическая затѣя въ такомъ человѣкѣ, какимъ явится въ послѣдствіи Михайла Максимовичъ, всегда меня удивляла. Резиденцію свою и своей супруги устроилъ онъ въ особомъ ея родовомъ материнскомъ имѣньѣ, состоящемъ изъ 350 душъ, въ селѣ Чурасовѣ, находящемся въ 50 верстахъ отъ губернскаго города. Тамъ выстроилъ онъ, по тогдашнему, великолѣпный господскій домъ, со всѣми принадлежностями; отдѣлалъ его на славу, меблировалъ отлично, росписалъ весь красками внутри и даже снаружи; люстры, канделябры, бронза, фарфоровая и серебряная посуда удивляли всѣхъ; домъ поставилъ на небольшомъ косогорѣ, изъ котораго били и кипѣли болѣе двадцати чудныхъ родниковыхъ ключей. Домъ, косогоръ, родники, все это обхватывалось и заключалось въ богатомъ, плодовитомъ саду, на двѣнадцати десятинахъ, со всевозможными сортами яблокъ. Внутреннее хозяйство дома, прислуга, повара, экипажи, лошади, все было устроено и богато, и прочно. Окружные сосѣди, которыхъ было не мало, и гости изъ губернскаго города не переводились въ Чурасовѣ: ѣли, пили, гуляли, играли въ карты, пѣли, говорили, шумѣли, веселились. Парашеньку свою Михайла Максимовичъ одѣвалъ какъ куклу, исполнялъ, предупреждалъ всѣ ея желанія, тѣшилъ съ утра до вечера, когда только бывалъ дома. Однимъ словомъ, въ нѣсколько лѣтъ, во всѣхъ отношеніяхъ поставилъ себя на такую ногу, что добрые люди дивились, а не добрые завидовали. Михаилъ Максимовичъ не забылъ и о церкви, и въ два года, вмѣсто ветхой деревянной, выстроилъ и снабдилъ великолѣпною утварью новую каменную церковь; даже славныхъ пѣвчихъ завелъ изъ своихъ дворовыхъ людей. На четвертомъ году замужства, Прасковья Ивановна, совершенно довольная и счастливая,

родила дочь, а потомъ черезъ годъ и сына; но дѣти не жили: дѣвочка умерла на первомъ же году, а сынъ уже трехъ лѣтъ. Прасковья Ивановна такъ привязалась было къ нему, что эта потеря стоила ей дорого. Цѣлый годъ она не осушала глазъ, и даже необыкновенно крѣпкое ея здоровье очень разстроилось, и болѣе дѣтей она не имѣла. Между тѣмъ авторитетъ Михайла Максимовича въ общественномъ мнѣніи росъ не по днямъ, а по часамъ. Съ мелкимъ и бѣднымъ дворянствомъ, правду сказать, поступалъ онъ крутенько и самовластно, и хотя оно его не любило, но за то крѣпко боялось, а высшее дворянство только похваливало Михайла Максимовича за то, что онъ не даетъ забываться тѣмъ, кто его пониже. Годъ отъ году становились чаще и продолжительнѣе отлучки Куролесова, особенно съ того несчастнаго года, когда Прасковья Ивановна потеряла сына и неутѣшно сокрушалась. Вѣроятно ея супругу наскучили слезы, вздохи и тишина въ уединеніи, потому-что Прасковья Ивановна цѣлый годъ не хотѣла никого видѣть. Впрочемъ, и самое шумное и веселое общество въ Чурасовѣ его къ себѣ не привлекало.

Мало по малу стали распространяться и усиливаться слухи, что майоръ не только строгонекъ, какъ говорили прежде, но и жестокъ, что забравшись въ свои деревни, особенно въ Уфимскую, онъ пьетъ и развратничаетъ, что тамъ у него набрана уже своя компанія, пьянствуя съ которой, онъ доходитъ до неистовствъ всякаго рода, что главная бѣда: въ пьяномъ видѣ немилосердо дерется безо всякого резону, и что уже два-три человѣка пошли на тотъ свѣтъ отъ его побой, что исправники и судьи обоихъ уѣздовъ, гдѣ находились его новыя деревни, всѣ на его сторонѣ, что однихъ онъ задарилъ, другихъ запоилъ, а всѣхъ запугалъ; что мелкіе чиновники и дво-

ряне передъ нимъ дрожкой дрожать, потому-что онъ всякаго, кто осмѣливался дѣлать и говорить не по немъ, хваталъ середи бѣла дня, сажалъ въ погреба, или овинныя ямы, и морилъ холодомъ и голодомъ, на хлѣбѣ да на водѣ, а нѣкоторыхъ безъ церемоніи, диралъ немилосердно какими-то *кошками* (*). Слухи были не только справедливы, но слишкомъ умѣренны; дѣйствительность далеко превосходила робкую молву. Кровожадная натура Куролесова, воспламеняемая до бѣшенства спиртными парами, развивалась на свободѣ во всей своей полнотѣ и представила одно изъ тѣхъ страшныхъ явленій, отъ которыхъ содрогается и которыми гнушается человѣчество. Это ужасное соединеніе инстинкта тигра съ разумностью человѣка.

Наконецъ слухи превратились въ достовѣрность, и никто изъ окружающихъ Прасковью Ивановну, родныхъ, сосѣдей и прислуги, никто уже не ошибался на счетъ Михайла Максимовича. Когда онъ возвращался въ Чурасово послѣ своихъ страшныхъ подвиговъ, то велъ себя по прежнему почтительно къ старшимъ, ласково и внимательно къ равнымъ, предупредительно и любезно къ своей женѣ, которая, выплакавъ свое горе, опять стала здорова и весела, а домъ ея по прежнему былъ полонъ гостей и удовольствій. Хотя Михайла Максимовичъ ни съ кѣмъ въ Чурасовѣ не дрался, предоставляя это удовольствіе старостѣ и дворецкому, но всѣ по наслышкѣ дрожали отъ одного его взгляда; даже въ обращеніи съ

(*) Кошки были любимымъ орудіемъ наказанія у Михайла Максимовича. Это ничто иное, какъ ременныя плети, оканчивающіяся семью хвостами изъ сыромятной кожи съ узлами, на концѣ каждаго хвоста. Въ Парашинѣ, даже послѣ смерти Куролесова, нѣкоторое время сохранялись въ кладовой, разумѣется безъ употребленія, эти отвратительныя орудія, и я видѣлъ ихъ самъ. Когда имѣніе досталось сыну Степана Михайловича, кошки были сожжены.

нимъ родныхъ и короткихъ знакомыхъ, было замѣтно какое-то смущеніе и опасеніе. Прасковья Ивановна ничего не замѣчала, а если и замѣчала, то приписывала совсѣмъ другой причинѣ: невольному уваженію, которое внушалъ всѣмъ Михайла Максимовичъ своимъ диковиннымъ хозяйствомъ, своимъ умѣньемъ жить богато и разумной твердостью своихъ поступковъ. Люди благоразумные, любящіе Прасковью Ивановну, видя ее совершенно спокойною и счастливою, радовались, что она ничего не знаетъ, и желали, чтобъ какъ можно долѣе продолжилось это незнаніе. Конечно, и между тогдашними приживалками и мелкопомѣстными сосѣдками были такія, у которыхъ очень чесался язычекъ и которымъ очень хотѣлось отплатить высокомѣрному майору за его презрительное обращеніе, то-есть: вывести его на свѣжую воду; но кромѣ страха, который онѣ чувствовали невольно и который вѣроятно не удержалъ бы ихъ, было другое препятствіе для выполненія такихъ благихъ намѣреній: къ Прасковьѣ Ивановнѣ не было приступу ни съ какими вкрадчивыми словами о Михайлѣ Максимовичѣ: умная, проницательная и твердая Прасковья Ивановна сейчасъ замѣчала, не смотря на хитросплетаемыя рѣчи, что хотятъ ввернуть какое нибудь словцо, невыгодное для Михайла Максимовича, она сдвигала свои темныя брови и объявляла рѣшительнымъ голосомъ, что тотъ, кто скажетъ непріятное для ея мужа, никогда уже въ домѣ ея не будетъ. Послѣ такого предупредительнаго и грознаго выраженія, разумѣется уже никто не осмѣливался путаться не въ свое дѣло. Приближенная къ Прасковьѣ Ивановнѣ прислуга, особенно одинъ старикъ, любимецъ покойнаго ея отца и старуха ея нянька, которыхъ преимущественно жаловала госпожа, но съ которыми, вопреки тогдашнимъ обычаямъ, не входила она въ короткія сношенія, — также ничего не

могли сдѣлать. Старику и старухѣ, о которыхъ я сейчасъ сказалъ, была кровная нужда, чтобы ихъ барыня узнала настоящую правду о своемъ супругѣ: близкіе родные ихъ, находившіеся въ прислугѣ у барина, невыносимо страдали отъ жестокости своего господина. Наконецъ старикъ и старуха рѣшились разсказать барынѣ все, и улучивъ время, когда Прасковья Ивановна была одна, вошли къ ней оба; но только вырвалось у старушки имя Михайла Максимовича, какъ Прасковья Ивановна до того разгнѣвалась, что вышла изъ себя; она сказала своей нянѣ, что если она когда-нибудь разинетъ ротъ о баринѣ, то болѣе никогда ее не увидитъ и будетъ сослана на вѣчное житье въ Парашино. Такимъ образомъ прекращены были всѣ пути къ доносу на Михайла Максимовича и заткнуты всѣ рты. Прасковья Ивановна вѣрила безусловно своему мужу и любила его. Она знала, что посторонніе люди охотно путаются въ чужія дѣла, охотно мутятъ воду, чтобы удачнѣе ловить въ ней рыбу, и она заранѣе приняла твердое намѣреніе, постановила неизмѣннымъ правиломъ: не допускать до себя никакихъ разсужденій о своемъ мужѣ. Правило очень мудрое, необходимое для сохраненія спокойствія въ семейной жизни; но нѣтъ правила безъ исключенія. Можетъ быть, что въ настоящемъ случаѣ, твердый нравъ и крѣпкая воля Прасковьи Ивановны, сильно подкрѣпленные тѣмъ обстоятельствомъ, что все богатство принадлежало ей, могли бы въ началѣ остановить ея супруга, и онъ, какъ умный человѣкъ, не захотѣлъ бы лишить себя всѣхъ выгодъ роскошной жизни, не дошелъ бы до такихъ крайностей, не допустилъ бы вырости вполнѣ своимъ чудовищнымъ страстямъ и кутилъ бы умѣренно, въ тихомолку, какъ и многіе другіе.

Такъ протекло нѣсколько лѣтъ. Михайла Максимовичъ предавался на свободѣ своимъ наклонностямъ, быстро раз-

вивался и наконецъ началъ совершать безнаказанно неслыханныя дѣла. Я не стану разсказывать подробно, какую жизнь велъ онъ въ своихъ деревняхъ, особенно въ Парашинѣ, а также въ уѣздныхъ городишкахъ: это была бы самая отвратительная повѣсть. Я скажу только то, что необходимо для полученія настоящаго понятія объ этомъ страшномъ человѣкѣ. Первые года, занимаясь устройствомъ женниныхъ имѣній, можно сказать съ самозабвеніемъ, онъ могъ назваться самымъ умнымъ, дѣятельнымъ и попечительнымъ хозяиномъ. Всѣми безконечно разнообразными и тяжелыми заботами и хлопотами, соединенными съ дальнимъ переселеніемъ крестьянъ и водвореніемъ ихъ на мѣстахъ новаго жительства, — Михайла Максимовичъ неусыпно занимался самъ, постоянно имѣя въ виду одно: благосостояніе крестьянъ. Онъ умѣлъ не жалѣть денегъ, гдѣ было нужно, смотрѣлъ, чтобы они доходили до рукъ во время, въ мѣру, и предупреждалъ всякія надобности и нужды переселенцевъ. Самъ выпроваживалъ ихъ со *старины*, самъ ѣхалъ съ ними большую часть дороги и самъ встрѣчалъ ихъ на новосельи, снабженномъ всѣмъ для ихъ пріема и помѣщенія. Правда, онъ былъ слишкомъ строгъ, жестокъ въ наказаніи виноватыхъ; но справедливъ въ разборѣ винъ и. не ставилъ крестьянину всякого лыка въ строку; онъ позволялъ себѣ отъ времени до времени гульнуть, потѣшиться денекъ другой, завернувъ куда-нибудь въ сторонку, но хмѣль и буйство скоро слетали съ него, какъ съ гуся вода, и съ новой бодростію являлся онъ къ своему дѣлу.

Да, дѣло лежало у него на плечахъ, занимало всѣ его умственныя способности и не давало ему предаться пагубному пьянству, которое, отнимая у него умъ, снимало узду съ его страстей, чудовищныхъ, безчеловѣчныхъ. Да, дѣло спасало его. Когда же онъ привелъ въ поря-

докъ обѣ новыя деревни: Куролесово и Парашино, устроилъ въ нихъ господскія усадьбы съ флигелями, а въ Парашинѣ небольшой помѣщичій домъ, когда у него стало мало дѣла и много свободнаго времени—пьянство, съ его обыкновенными послѣдствіями, и буйство совершенно овладѣли имъ, а всегдашняя жестокость мало-по-малу превратилась въ неутолимую жажду мукъ и крови человѣческой. Избалованный страхомъ и покорностію всѣхъ его окружающихъ людей, онъ скоро забылся и пересталъ знать мѣру своему бѣшеному своеволію. Онъ выбралъ себѣ изъ дворовыхъ и даже изъ крестьянъ, десятка полтора головорѣзовъ, достойныхъ исполнителей его воли, и образовалъ изъ нихъ шайку разбойниковъ. Видя, что барину все сходило съ рукъ, они повѣрили его всемогуществу, и сами пьяные и развратные, охотно и смѣло исполняли всѣ его безумныя приказанія. Досаждалъ ли кто Михайлу Максимовичу непокорнымъ словомъ или поступкомъ, напримѣръ, даже хотя тѣмъ, что не пріѣхалъ въ назначенное время на его пьяные пиры,—сейчасъ по знаку своего барина скакали они къ провинившемуся, хватали его тайно или явно, гдѣ бы онъ ни попался, привозили къ Михайлу Максимовичу, позорили, сажали въ подвалъ въ кандалы, или сѣкли по его приказанію. Михайла Максимовичъ очень любилъ хорошія вещи, хорошихъ лошадей, и любилъ, какъ украшеніе дома, хорошія, по его мнѣнію, картины. Если что-нибудь подобное нравилось ему въ домѣ своего сосѣда, или просто въ томъ домѣ, гдѣ ему случилось быть, то онъ сейчасъ предлагалъ хозяину помѣняться; въ случаѣ несогласія его, онъ предлагалъ иногда и деньги, если былъ въ хорошемъ духѣ; если и тутъ хозяинъ упрямился, то Михайла Максимовичъ предупреждалъ его, что возьметъ даромъ. Въ самомъ дѣлѣ, черезъ нѣсколько времени являлся онъ съ своей шайкой, заби-

ралъ все, что̀ ему угодно, и увозилъ къ себѣ; на него жаловались, предписывали производить слѣдствіе; но Михайла Максимовичъ съ перваго разу приказалъ сказать земскому суду, что онъ обдеретъ кошками того изъ чиновниковъ, который покажетъ ему глаза, и — оставался правъ, а челобитчикъ между тѣмъ былъ схваченъ и высѣченъ, иногда въ собственномъ его имѣніи, въ собственномъ домѣ, посреди семейства, которое валялось въ ногахъ и просило помилованія виноватому. Бывали насилія и похуже, и также не имѣли никакихъ послѣдствій. Черезъ нѣсколько времени Михайла Максимовичъ мирился съ обиженными, удовлетворяя ихъ иногда деньгами, а чаще привлекая къ миру страхомъ; но похищенное добро оставалось его законною собственностью. Пируя съ гостями, онъ любилъ хвастаться, что вотъ эту красотку въ золотыхъ рамахъ отнялъ онъ у такого-то господина, а это бюро съ бронзой у такого-то, а эту серебряную стопку у такого-то,—и всѣ эти такіе-то господа, нерѣдко пировали тутъ же и притворялись, что не слышатъ словъ хозяина или, скрѣпя сердце, сами смѣялись надъ собой. Михайла Максимовичъ имѣлъ удивительно крѣпкое сложеніе; онъ пилъ много, но никогда не напивался *до положенія ризъ*, какъ говорится; хмѣль не валялъ его съ ногъ, а поднималъ на ноги и возбуждалъ страшную дѣятельность въ его отуманенномъ умѣ, въ его разгорячennомъ тѣлѣ. Любимымъ его наслажденіемъ было—заложить нѣсколько троекъ лихихъ лошадей во всевозможные экипажи, насажать въ нихъ своихъ собесѣдниковъ и собесѣдницъ, дворню, кого ни попало, и съ громкими пѣснями и криками скакать во весь духъ по окольнымъ полямъ и деревнямъ. Имѣя съ собой всегда запасъ вина, онъ особенно любилъ напоить до пьяна всякого встрѣчнаго, какого бы званія, пола и возраста онъ ни былъ, и больше

сѣкалъ того, кто осмѣливался ему противиться. Наказанныхъ привязывали къ деревьямъ, къ столбамъ и заборамъ, не обращая вниманія ни на дождь, ни на стужу. О болѣе возмутительныхъ насиліяхъ я умалчиваю. Въ такомъ расположеніи духа ѣхалъ онъ однажды черезъ какую-то деревню; проѣзжая мимо овиннаго тока, на которомъ молотило крестьянское семейство, онъ замѣтилъ женщину необыкновенной красоты. «Стой», закричалъ Михайла Максимовичъ, «Петрушка! какова баба?»—«Больно хороша» отвѣчалъ Петрушка.—«Хочешь на ней жениться?» — «Да какже жениться на чужой женѣ», отвѣчалъ ухмыляясь Петрушка.—«А вотъ какъ! ребята! бери ее, сажай ко мнѣ въ повозку....» Женщину схватили, посадили въ повозку, провезли прямо въ приходское село, и хотя она объявила что у ней есть мужъ и двое дѣтей — обвѣнчали съ Петрушкой, и никакихъ просьбъ не было, не только при жизни Куролесова, но даже при жизни Прасковьи Ивановны. Когда же все имѣніе перешло въ руки ея племянника, онъ возвратилъ эту женщину вмѣстѣ съ мужемъ и дѣтьми прежнему ея господину: первый мужъ давно уже умеръ. Наслѣдникъ, то-есть, тотъ же племянникъ, роздалъ также нѣсколько разныхъ вещей прежнимъ хозяевамъ, которые предъявили свои требованія; многія же вещи долго валялись въ кладовыхъ, пока не истлѣли отъ ветхости. Трудно повѣрить, чтобъ могли совершаться такія дѣла въ Россіи, даже и за 80 лѣтъ, но въ истинѣ разсказа нельзя сомнѣваться.

Какъ ни была ужасна и отвратительна, сама по себѣ, эта преступная, пьянаго буйства исполненная жизнь, но она повела еще къ худшему, къ болѣе страшному развитію природной жестокости Михайла Максимовича, превратившейся наконецъ въ лютость, въ кровопійство. Терзать людей сдѣлалось его потребностью, наслажденіемъ.

Въ тѣ дни, когда случалось ему не драться, онъ былъ скученъ, печаленъ, безпокоенъ, даже боленъ, и потому часъ отъ часу становились рѣже его поѣздки въ Чурасово и короче пребыванія тамъ. За то, воротясь въ свое любимое Парашино, онъ спѣшилъ вознаградить себя. Обзоръ хозяйственныхъ заведеній представлялъ ему достаточное число жертвъ; тутъ уже всякая вина была виновата, а въ какомъ хозяйствѣ нельзя найдти какихъ-нибудь мелочныхъ упущеній, если захочешь отыскать ихъ. Впрочемъ, отъ лютости Михайла Максимовича страдали преимущественно дворовые люди. Онъ рѣдко наказывалъ крестьянъ, и то въ случаяхъ особенной важности или личной извѣстности ему виноватаго человѣка; за то старосты и прикащики терпѣли отъ него наравнѣ съ дворовыми. У него не было пощады никому, и каждый изъ его приближенныхъ, а иной и не одинъ разъ, бывалъ наказанъ на смерть. Замѣчательно, что когда Михайла Максимовичъ сердился, горячился и кричалъ, что бывало рѣдко,—онъ не дрался; когда же добирался до человѣка съ намѣреніемъ потѣшиться его муками, онъ говорилъ тихо и даже ласково: «Ну, любезный другъ, Григорій Кузмичъ (вмѣсто обыкновеннаго: Гришки), дѣлать нечего, пойдемъ, надобно мнѣ съ тобой разсчитаться.« Съ такими словами обращался онъ къ главному своему конюху, по прозванью Ковлягѣ, который, неизвѣстно почему, чаще другихъ подвергался истязаніямъ. «Поцарапайте его кошечками» говорилъ съ улыбкой Михайла Максимовичъ окружающимъ, и начиналась долговременная пытка, въ продолженіе которой баринъ пилъ чай съ водкой, курилъ трубку и отъ времени до времени пошучивалъ съ несчастной жертвой, покуда она еще могла слышать.... Меня увѣряли достовѣрные свидѣтели, что жизнь наказанныхъ людей спасали только тѣмъ, что завертывали истерзанное ихъ тѣло въ теплыя,

только что снятыя, шкуры барановъ, тутъ же зарѣзанныхъ. Осмотрѣвъ внимательно наказаннаго человѣка. Михайла Максимовичъ говорилъ, если былъ доволенъ: «ну, будетъ съ него, приберите къ мѣсту».... и дѣлался веселъ, шутливъ и любезенъ на цѣлый день, а иногда и на нѣсколько дней. Чтобы довершить характеристику этого страшнаго существа, я приведу его собственныя слова, которыя онъ не одинъ разъ говаривалъ въ кругу пирующихъ собесѣдниковъ: «Не люблю палокъ и кнутьевъ, что въ нихъ? Какъ разъ убьешь человѣка! То ли дѣло кошечки: и больно и не опасно!» Я разсказалъ десятую долю того, что̀ знаю, но кажется и этого довольно. Замѣчательно, какъ необъяснимое явленіе и противорѣчіе въ искаженной человѣческой природѣ, что Михайла Максимовичъ, достигнувъ высшей степени разврата и лютости, ревностно занялся построеніемъ каменной церкви въ Парашинѣ; онъ производилъ эту работу экономически. Въ то время, на которомъ остановился мой разсказъ, церковь по наружности была отдѣлана, и наняты были мастеровые для внутренней отдѣлки; столяры, рѣщики, золотари, и иконописцы уже нѣсколько мѣсяцевъ работали въ Парашинѣ, занимая весь господскій домъ.

Четырнадцать лѣтъ была за-мужемъ Прасковья Ивановна и хотя замѣчала что-то странное въ своемъ супругѣ, котораго послѣдніе два года рѣдко и не надолго видала, но не только не знала, даже и не подозрѣвала ничего подобнаго. Она продолжала жить беззаботно и весело: лѣтомъ занималась съ увлеченіемъ своимъ плодовитымъ садомъ и родниками, которыхъ не позволяла обдѣлывать и очень любила сама расчищать, а все остальное время года проводила съ гостями и сдѣлалась большой охотницей играть въ карты. Вдругъ получаетъ она съ почты или съ нарочнымъ письмо отъ одной старушки, дальней род-

ственницы ея мужа, которую она очень уважала. Въ письмѣ была описана вся жизнь Михайла Максимовича и въ заключеніе сказано, что грѣшно оставлять въ невѣденіи госпожу тысячи душъ, которыя страдаютъ отъ тиранства изверга, ея мужа, и которыхъ она можетъ защитить, уничтоживъ довѣренность, данную ему на управленіе имѣніемъ. Что кровь ихъ вопіетъ на небо, что и теперь извѣстный ей лакей, Иванъ Ануфріевъ, умираетъ отъ жестокихъ истязаній и что самой Прасковьѣ Ивановнѣ нечего опасаться, потому-что Михайла Максимовичъ въ Чурасово не посмѣетъ и появиться, что добрые сосѣди и самъ губернаторъ защитятъ ее. Прасковья Ивановна была поражена какъ громомъ. Я слышалъ самъ, какъ она разсказывала, что въ первыя минуты совсѣмъ было сошла съ ума; но необычайная твердость духа и теплая вѣра подкрѣпили ее, и она вскорѣ рѣшилась на такой поступокъ, на какой едва ли бы отважился самый смѣлый мужчина: она велѣла заложить лошадей, сказавши, что ѣдетъ въ губернскій городъ, и съ одною горничной дѣвушкой, съ кучеромъ и лакеемъ отправилась прямо въ Парашино. Путь лежалъ дальній, надобно было проѣхать четыреста верстъ, и нашлось довольно свободнаго времени обдумать свой поступокъ. Прасковья Ивановна сама говорила, что не составляла въ головѣ своей никакихъ плановъ, какъ и что ей дѣлать. Она хотѣла только взглянуть своими глазами и удостовѣриться, что дѣлаетъ и какъ живетъ тамъ ея Михайла Максимовичъ. Она не вѣрила вполнѣ письму его родственницы, которая жила далеко и могла быть обманута ложными слухами, а спросить въ Чурасовѣ свою няню не захотѣла. Никакая опасность не входила ей въ голову: мужъ всегда съ нею былъ такъ нѣженъ и почтителенъ, что ей казалось самымъ естественнымъ и возможнымъ дѣломъ уговорить Михайла Мак-

симовича сѣсть съ собой въ коляску и увести въ Чурасово. Она пріѣхала въ Парашино нарочно вечеромъ, оставила свою коляску у околицы, а сама съ горничной и лакеемъ, никѣмъ не узнанная (да ее мало и знали), прошла до господскаго двора и черезъ заднія ворота пробралась до самаго флигеля, изъ котораго неслись крикъ, пѣсни и хохотъ, и твердою рукой отворила дверь..... Судьба, какъ нарочно собрала все, что могло однимъ разомъ показать ей, какую жизнь велъ Михайла Максимовичъ. Онъ пировалъ съ какими-то гостями пьяный, даже болѣе обыкновеннаго Одѣтый въ шелковую красную рубаху съ косымъ воротомъ, въ самомъ развратномъ видѣ, съ стаканомъ пунша въ одной рукѣ, обнималъ онъ другою рукою, сидящую у него на колѣнахъ, красивую женщину; его полупьяные лакеи, дворовыя и крестьянскія бабы, пѣли пѣсни и плясали. Прасковья Ивановна едва не упала въ обморокъ отъ такого зрѣлища; она все поняла, и никѣмъ незамѣченная, потому-что горница была полна народа, затворила дверь и вышла изъ сѣней. На крыльцѣ встрѣтилась она лицомъ къ лицу съ однимъ изъ слугъ Михайла Максимовича, человѣкомъ не молодымъ и не пьянымъ по счастію. Онъ узналъ барыню и закричалъ было: «матушка Прасковья Ивановна, вы ли это... » но Прасковья Ивановна зажала ему ротъ, и отведя его подальше на средину широкаго двора, грозно сказала: «Такъ-то вы безъ меня поживаете? Конецъ вашему веселому житью.» Слуга повалился ей въ ноги и со слезами сказалъ: «Матушка, развѣ вы ему рады? развѣ это наша воля? Самъ Господь васъ принесъ!....» Прасковья Ивановна велѣла ему молчать и приказала вести себя къ Ивану Ануфріеву. узнавъ, что онъ еще живъ. На заднемъ дворѣ, въ скотной избѣ нашла она умирающаго Ануфріева. Онъ былъ очень слабъ, и отъ него она не могла ничего узнать; но родной его братъ,

Алексѣй, молодой парень, только вчера наказанный, кое-какъ сползъ съ лавки, сталъ на колѣни и разсказалъ ей всю страшную повѣсть о братѣ, о себѣ и о другихъ (*). Сердце Прасковьи Ивановны облилось кровью отъ жалости и ужаса, совѣсть терзала ее, и она твердо рѣшилась положить конецъ преступнымъ, злодѣйскимъ дѣйствіямъ Михайла Максимовича, что̀ казалось ей весьма легко. Она строго запретила сказывать о своемъ пріѣздѣ, и узнавъ, что въ новомъ домѣ, построенномъ уже нѣсколько лѣтъ и по какому-то странному капризу барина до сихъ поръ не отдѣланномъ, есть одна жилая, особая комната, не занятая мастеровыми, въ которой Михайла Максимовичъ занимался хозяйственными счетами,—отправилась туда, чтобъ провесть остатокъ ночи и поговорить на другой день поутру съ своимъ уже не пьянымъ супругомъ. Но тайна ея пріѣзда не вполнѣ сохранилась. Слухъ о немъ дошелъ до одного изъ самыхъ отчаянныхъ сподвижниковъ Михайла Максимовича, который изъ преданности или изъ страха шепнулъ о томъ на ухо своему барину. Ошеломила эта вѣсть Михайла Максимовича. Хмѣль вылетѣлъ у него изъ головы, онъ смутился и почуялъ грозу. Хотя онъ мало зналъ твердый и мужественный нравъ своей жены, потому-что не было опытовъ еще ему проявиться, но онъ его угадывалъ. Онъ распустилъ свою пьяную компанію, вылилъ на себя два ушата холодной воды, освѣжился тѣломъ, укрѣпился духомъ, переодѣлся въ обыкновеное платье и пошелъ посмотрѣть, спитъ ли Прасковья Ивановна. Онъ успѣлъ уже обдумать и составить планъ своихъ дѣйствій. Онъ разсчиталъ очень вѣрно, что Прасковья Ивановна была кѣмъ-нибудь извѣщена объ образѣ его жизни, что она не повѣрила извѣстіямъ и пріѣ-

(*) Иванъ Ануфріевъ остался живъ и прожилъ лѣтъ до пятидесяти, а братъ его захилѣлъ и умеръ черезъ годъ.

ѣхала удостовѣриться въ нихъ лично. Онъ узналъ, что она заглянула во флигель и видѣла мелькомъ его пирушку; но не зналъ, что она видѣла Ануфріева и что Алексѣй разсказалъ ей все. Въ пирушкѣ и гульбѣ онъ надѣялся кое-какъ извиниться, прикинуться раскаявшимся грѣшникомъ, умаслить нѣжностями свою жену и какъ можно скорѣе увезти ее изъ Парашина.

Между тѣмъ уже разсвѣтало и даже взошло солнце. Михайла Максимовичъ бережно подошелъ къ комнатѣ, въ которой находилась Прасковья Ивановна; онъ тихонько отворилъ дверь и увидѣлъ, что приготовленная ей дорожная постель на сундукѣ не была смята, что на нее никто не ложился. Онъ окинулъ глазами всю комнату; Прасковья Ивановна стояла на колѣнахъ и со слезами молилась Богу на новый церковный крестъ, который горѣлъ отъ восходящаго солнца, передъ самыми окнами дома: никакого образа въ комнатѣ не было. Постоявъ нѣсколько минутъ, Михайла Максимовичъ сказалъ веселымъ голосомъ: «Полно молиться, душа моя Парашенька! Какъ это ты вздумала обрадовать меня своимъ пріѣздомъ!» Прасковья Ивановна не смутилась, встала, не допустила мужа обнять себя и, пылая внутренно справедливымъ гнѣвомъ, холодно и твердо объявила ему, что она все знаетъ и видѣла Ивана Ануфріева. Безпощадно и рѣзко высказала свое отвращеніе отъ изверга, который уже не можетъ быть ея мужемъ; объявила ему, чтобы онъ возвратилъ ей довѣренность на управленіе имѣніемъ, сейчасъ уѣхалъ изъ Парашина, не смѣлъ бы показываться ей на глаза и не заглядывалъ бы ни въ одну изъ ея деревень, и что если онъ этого не исполнитъ, то она подастъ просьбу губернатору, откроетъ правительству всѣ его злодѣйства—и онъ будетъ сосланъ въ Сибирь на каторгу. Не ожидалъ этого Михайла Максимовичъ. Пѣна выступила

у него на губахъ отъ бѣшенства и злобы. «А, такъ ты такъ-то поговариваешь, лебёдка! такъ и я поговорю съ тобой другимъ голосомъ» заревѣлъ остервенившійся злодѣй: «ты не выѣдешь изъ Парашина, покуда не подпишешь мнѣ купчей крѣпости на все свое имѣніе, а не то я уморю тебя съ голоду въ подвалѣ.» Послѣ этихъ словъ, онъ схватилъ стоявшую въ углу палку, нѣсколькими ударами сбилъ съ ногъ свою Парашеньку и билъ до тѣхъ поръ, пока она не лишилась чувствъ. Онъ позвалъ нѣсколько благонадежныхъ людей изъ своей прислуги, приказалъ отнести барыню въ каменный подвалъ, заперъ огромнымъ замкомъ и ключъ положилъ къ себѣ въ карманъ. Грозенъ и страшенъ явился онъ передъ своей дворней, которую приказалъ собрать всю на лицо. Хотѣлъ было отыскать виноватаго, того, кто водилъ барыню въ скотную избу, но тотъ, предвидя бѣду, давно уже скрылся; съ нимъ бѣжали кучеръ и лакей, пріѣхавшіе съ Прасковьей Ивановной; за ними послали погоню. Горничная дѣвушка не рѣшилась покинуть своей госпожи. Михайла Максимовичъ ее не тронулъ, далъ ей нѣкоторыя наставленія, какъ уговаривать барыню къ покорности, и заперъ своими руками въ тотъ же подвалъ. Что же сдѣлалъ Михайла Максимовичъ потомъ? Запилъ и закутилъ болѣе прежняго. Но увы! напрасно онъ пилъ водку какъ воду, напрасно пѣла и плясала предъ нимъ пьяная ватага—Михайла Максимовичъ сдѣлался угрюмъ и мраченъ. Это не мѣшало однакожъ ему дѣйствовать неутомимо къ достиженію своей цѣли. Онъ заготовилъ въ уѣздномъ городѣ на имя одного изъ своихъ достойныхъ друзей законную довѣренность отъ Прасковьи Ивановны на продажу Парашина и Куролесова (Чурасово изъ милости оставлялъ ей), и всякой день два раза спускался въ подвалъ къ своей женѣ и уговаривалъ подписать довѣренность; просилъ про-

щенья, что въ горячности такъ строго съ нею обошелся, обѣщался, въ случаѣ ея согласія, никогда не появляться ей на глаза, и божился, что оставитъ духовную, въ которой, послѣ своей смерти, откажетъ ей все имѣніе. Прасковья Ивановна, страдая отъ побоевъ, изнуряемая голодомъ и получившая даже лихорадку, не хотѣла и слышать ни о какой сдѣлкѣ. Такъ прошло пять дней. Чѣмъ все бы это кончилось—одному Богу извѣстно.

Между тѣмъ дѣдушка Степанъ Михайловичъ продолжалъ благополучно жить въ новомъ своемъ Багровѣ, которое отстояло отъ Парашина въ 120 верстахъ. Я уже сказалъ, что онъ давно искренно примирился съ Михайломъ Максимовичемъ, и хотя сердце его не лежало къ нему, но вообще онъ былъ имъ доволенъ. Куролесовъ съ своей стороны оказывалъ Степану Михайловичу и всему его семейству большое уваженіе, преданность и готовность на всякія послуги. Поселивъ Парашино и занимаясь его устройствомъ, онъ каждый годъ пріѣзжалъ въ Багрово, былъ постоянно ласковъ, искателенъ, просилъ у Степана Михайловича совѣтовъ, какъ у человѣка, опытнаго въ переселеніи крестьянъ, съ большою благодарностью, точно и подробно записывалъ всѣ его слова, и въ самомъ дѣлѣ пользовался ими. Онъ упросилъ даже Степана Михайловича два раза пріѣхать въ Парашино, чтобы взглянуть: умѣлъ ли онъ воспользоваться его совѣтами. Дѣдушка въ оба раза остался совершенно доволенъ новымъ хозяиномъ, и въ послѣднее свое посѣщеніе, осмотрѣвъ пашню и всѣ хозяйственныя заведенія, сказалъ Куролесову: «ну, братъ Михайла, ты изъ молодыхъ да ранній, и тебя учить нечего.» Въ самомъ дѣлѣ всѣ хозяйственныя дѣла у Михайла Максимовича были въ отличномъ порядкѣ. Само собою разумѣется, что онъ принималъ, угощалъ и чествовалъ старика, какъ роднаго отца. По прошествіи нѣсколькихъ

лѣтъ недобрые слухи о Куролесовѣ стали носиться въ Багровѣ. Сначала дѣдушкѣ совсѣмъ объ нихъ не говорили, потому-что онъ не любилъ слушать дурныхъ вѣстей, но слухи росли годъ отъ году. Семейство Степана Михайловича знало ихъ, и Арина Васильевна рѣшилась сказать ему, что Михайла Максимовичъ «больно нехорошо живетъ.» Старикъ не повѣрилъ и отвѣчалъ, что «только развѣсь уши, такъ пожалуй и церковную татьбу взведутъ на человѣка.» «Знаю я, продолжалъ онъ каковы были крестьяне и дворовые у Бактеевыхъ,—на подрядъ мошенники и лежебоки; да и братнины крестьяне также безъ хозяина избаловались. Что мудренаго, что настоящая работа и порядокъ показались имъ хуже медвѣдя? Можетъ статься, что Михайла и крутенько поворотилъ, ну да привыкнутъ. А что онъ погуляетъ, выпьетъ иногда послѣ трудовъ, такъ и то мужчинѣ не бѣда, лишь бы не забылъ своего дѣла. Вотъ мерзкихъ дѣлъ не надо, да вѣдь пожалуй и солгутъ: а ты съ дочками любишь слушать рабьи сплетни!» Послѣ такихъ словъ, долго ничего не говорили Степану Михайловичу. Наконецъ родовые Багровскіе крестьяне, переведенные вмѣстѣ съ Бактеевскими изъ Симбирской губерніи въ Парашино, имѣвшіе родственниковъ въ новомъ Багровѣ, стали пріѣзжать туда и разсказывать про барина страшныя вѣсти. Арина Васильевна вторично доложила о томъ своему супругу и предложила ему, чтобы онъ самъ разспросилъ Парашинскаго старика изъ Багровскихъ, котораго честность и правдивость ему давно были извѣстны и который теперь находится у нихъ въ деревнѣ Дѣдушка согласился. Призвалъ, разспросилъ старика и услышалъ такую повѣсть, отъ которой встали у него дыбомъ волосы на головѣ. Какъ быть, что̀ дѣлать, чѣмъ тутъ пособить — не умѣлъ онъ придумать; онъ получалъ изрѣдка письма отъ Прасковьи Ива-

новны, видѣлъ, что она была совершенно спокойна и счастлива, и заключилъ, что она о поведеніи своего супруга ничего не знала. Онъ самъ нѣкогда давалъ ей совѣты, чтобъ она никому не позволяла наушничать на своего мужа, и убѣдился, что она хорошо исполняетъ его совѣты. Онъ разсудилъ, что если она узнаетъ истину, то врядъ ли поправитъ дѣло, а будетъ только убиваться съ горя понапрасну. И такъ надо желать, чтобъ она ничего не знала. Онъ терпѣть не могъ путаться въ чужія дѣла, да и считалъ это безполезнымъ въ отношеніи къ Михайлѣ Максимовичу. «Пусть сломитъ себѣ шею или попадетъ въ уголовную—туда ему и дорога. Этого человѣка одинъ только Богъ можетъ исправить. Крестьянамъ жить у него можно, а дворовые всѣ негодяи, пускай терпятъ за свои грѣхи. Не хочу мѣшаться въ эти поганыя дѣла.» Такъ разсудилъ по своей логикѣ Степанъ Михайловичъ и удовольствовался только тѣмъ, что пересталъ отвѣчать на письма Куролесова и прекратилъ всякія съ нимъ сношенія; тотъ понялъ, что̀ это значитъ, и оставилъ старика въ покоѣ; переписка же у Степана Михайловича съ Прасковьей Ивановной сдѣлалась какъ-то чаще и задушевнѣе.

Такъ оставались дѣла до того утра, когда вдругъ явились къ моему дѣдушкѣ передъ крыльцо трое бѣжавшихъ людей изъ Парашина. Въ первый день своего побѣга они скрывались въ непроходимомъ лѣсномъ болотѣ, которое упиралось въ Парашинскія крестьянскія гумна; вечеромъ они ко есъ кѣмъ повидались, узнали подробно всю исторію и пустились прямо къ Степану Михайловичу, какъ единственному защитнику и покровителю Прасковьи Ивановны. Можно себѣ представить, что̀ такое было съ Степаномъ Михайловичемъ, когда онъ узналъ о случившемся въ Парашинѣ! Онъ любилъ свою единственную двоюрод-

ную сестру не меньше, если не больше своихъ родныхъ дочерей. Параша, до полусмерти избитая разбойникомъ своимъ мужемъ, Параша, сидящая въ подвалѣ уже третій день, можетъ быть давно умершая, представлялась съ такой ясностію его живому воображенію, что онъ вскочилъ, какъ безумный, побѣжалъ по своему двору, по деревнѣ, изступленнымъ голосомъ сзывая дворовыхъ и крестьянъ. Всѣ сбѣжались, прискакали изъ полей, кого не было дома. Всѣ, сочувствуя отчаянному горю любимаго господина, кричали единогласно, что они всѣ ѣдутъ и пѣшкомъ идутъ выручать Прасковью Ивановну.... И вотъ черезъ нѣсколько часовъ, трое роспусковъ, запряженныхъ тройками лихихъ господскихъ копей, съ двѣнадцатью человѣками отборныхъ молодцевъ изъ дворовыхъ и крестьянъ и съ людьми, бѣжавшими изъ Парашина, вооруженными ружьями, саблями, рогатинами и желѣзными вилами, скакали по Парашинской дорогѣ. Къ вечеру выѣхали еще двое роспусковъ на лучшихъ крестьянскихъ лошадяхъ, съ десятью также вооруженными людьми, и поскакали по той же Парашинской дорогѣ на подмогу Степану Михайловичу. На другой день вечеромъ первый поѣздъ былъ уже въ семи верстахъ отъ Парашина; выкормили усталыхъ лошадей и, только начала заниматься лѣтняя заря, нагрянули на широкій господской дворъ и подъѣхали прямо къ извѣстному подвалу, находившемуся возлѣ самаго флигеля, въ которомъ жилъ Куролесовъ. Степанъ Михайловичъ бросился въ подвалъ и началъ стучать кулакомъ въ деревянную дверь. Слабый голосъ спросилъ: «Кто тутъ?» Дѣдушка узналъ голосъ сестры своей, прослезился отъ радости, что засталъ ее живою, и крестясь, громко закричалъ: «Слава Богу! Это я, братъ твой, Степанъ Михайловичъ, ничего не бойся!» Онъ послалъ кучера, лакея и стараго слугу Прасковьи Ивановны заложить коляску,

въ которой она пріѣхала изъ Чурасова, поставилъ шесть человѣкъ съ ружьями, саблями и рогатинами у входа въ выходъ, а самъ съ остальными, съ помощью топоровъ и желѣзнаго лома, принялся отбивать дверь. Въ одну минуту она была сломана; Степанъ Михайловичъ своими руками вынесъ Прасковью Ивановну, положилъ ее на роспуски, съ одной стороны посадилъ возлѣ нее вѣрную горничную, а съ другой сѣлъ самъ, и со всѣми людьми спокойно съѣхалъ со двора. Солнце начинало всходить и опять ярко загорѣлся крестъ на церкви, когда Прасковья Ивановна проѣзжала мимо нее. Ровно за шесть сутокъ молилась она на этотъ крестъ.... помолилась и теперь, благодаря Бога за свое избавленіе. Коляска догнала ихъ уже въ пяти верстахъ отъ Парашина. Степанъ Михайловичъ пересадилъ сестру въ коляску и отправился съ нею въ Багрово.

Какъ же все это случилось, спросятъ меня? Неужели никто не видалъ этого происшествія? Куда дѣвался Михайла Максимовичъ и его вѣрные слуги? Неужели онъ ничего не зналъ, или его не было дома?.... Нѣтъ, многіе слышали и видѣли освобожденіе Прасковьи Ивановны; Михайла Максимовичъ былъ дома, даже зналъ, что происходитъ, — и не осмѣлился показаться изъ своего флигеля.

Событіе совершилось очень просто: пропировавшіе съ барином весь вечеръ, холопы были такъ мертвецки пьяны, что иныхъ нельзя было добудиться. Любимый и трезвый лакей, не пившій никогда вина, съ трудомъ разбудилъ хмѣльнаго барина; дрожа отъ страха, разсказалъ онъ про наѣздъ Степана Михайловича и про ружья, прямо нацѣленныя на флигель. «Гдѣ же всѣ напи?» спросилъ Михайла Максимовичъ. «Одни спятъ; другіе попрятались», отвѣчалъ холопъ и солгалъ, потому-что пьянал

ватага начинала собираться у господскаго крыльца. Михайла Максимовичъ подумалъ, махнулъ рукой и сказалъ: «чортъ съ ней! Запри дверь и смотри въ окно, что̀ будетъ дальше.» Черезъ нѣсколько минутъ лакей закричалъ: «Барыню увозятъ..... увезли.....» «Ложись спать», сказалъ Михайла Максимовичъ, завернулся въ одѣяло и заснулъ, или притворился заснувшимъ.

Да, есть нравственная сила праваго дѣла, передъ которою уступаетъ мужество неправаго человѣка. Михайла Максимовичъ зналъ твердость духа и безстрашную отвагу Степана Михайловича, зналъ неправость своего дѣла, и не смотря на свое бѣшенство и буйную смѣлость — уступилъ свою жертву безъ спора.

Бережно довезъ Степанъ Михайловичъ свою, всегда горячо-любимую, больную сестру, возбуждавшую теперь еще бо̀льшую его нѣжность и глубокое состраданіе. Онъ не разспрашивалъ ее дорогой ни о чемъ, и когда привезъ благополучно въ Багрово, то запретилъ домашнимъ безпокоить ее разспросами. Благодаря необыкновенно крѣпкому тѣлосложенію и столько же сильному духу, Прасковья Ивановна, недѣли черезъ двѣ, оправилась; тогда Степанъ Михайловичъ рѣшился разспросить ее обо всемъ: ему необходимо было знать настоящую истину событія для того, чтобы знать, какъ дѣйствовать, а росказнямъ людей, своими глазами ничего не видавшихъ, онъ никогда не вѣрилъ. Прасковья Ивановна съ полною откровенностью сказала ему настоящую правду; но въ то же время просила, чтобъ онъ не говорилъ о томъ своему семейству и чтобъ никто ее ни о чемъ не разспрашивалъ. Боясь горячаго нрава своего брата, отдавая себя въ полное его распоряженіе, она умоляла однако не мстить Михайлу Максимовичу, и съ твердостью объявила, что она одумалась и рѣшилась не позорить своего мужа, не

безчестить имени, которое сама должна носить во всю свою жизнь. Она прибавила, что теперь раскаялась въ тѣхъ словахъ, которыя вырвались у нее при первомъ свиданіи съ Михайломъ Максимовичемъ въ Парашинѣ, и что ни подъ какимъ видомъ она не хочетъ жаловаться на него губернатору; но считая за долгъ избавить отъ его жестокости крѣпостныхъ людей своихъ, она хочетъ уничтожить довѣренность на управленіе ея имѣніемъ и проситъ Степана Михайловича взять это управленіе на себя; проситъ такъ же, сейчасъ написать письмо къ Михайлу Максимовичу: чтобъ онъ возвратилъ довѣренность, а если же онъ этого не сдѣлаетъ, то она уничтожитъ ее судебнымъ порядкомъ. Она желала, чтобъ все это написано было Степаномъ Михайловичемъ твердо, но безъ всякихъ обидныхъ словъ; для бо̀льшаго же удостовѣренія хотѣла собственноручно подписать свое имя; надобно прибавить, что она плохо знала русскую грамоту. Степанъ Михайловичъ такъ любилъ сестру, что преодолѣвъ свой гнѣвъ и согласился на ея просьбу и желаніе. Онъ не хотѣлъ слышать только объ одномъ: объ управленіи ея имѣніемъ. «Не люблю путаться въ чужія дѣла, говорилъ онъ, не хочу, чтобы твои родные сказали, что я нагрѣваю руки около твоихъ тысячи душъ. Хозяйство пойдетъ скверно у тебя, это правда, но ты богата, съ тебя будетъ; теперь же такъ и быть напишу, что беру на себя все управленіе имѣніемъ, чтобы пугнуть твоего сахара медовича..... Прочее, о чемъ просишь, все будетъ сдѣлано.» Вслѣдствіе того семейству былъ отданъ строгой приказъ ни о чемъ не разспрашивать Парашу. Письмо къ Михайлу Максимовичу написалъ дѣдушка собственной своей рукой; Прасковья Ивановна также приписала въ немъ, и гонецъ отправился въ Парашино. Въ то время, какъ они соображали, думали, гадали и писали—въ Парашинѣ уже

все было рѣшено На четвертый день воротился гонецъ съ извѣстіемъ, что, волею Божіею, Михайла Максимовичъ скоропостижно скончался и что его уже похоронили. — Невольно перекрестился Степанъ Михайловичъ, получивъ первый это извѣстіе, и сказалъ: Слава Богу. То же сказала и вся его семья, которая, не смотря на свое прежнее благорасположеніе къ Куролесову, давно уже смотрѣла на него со страхомъ, какъ на ужаснаго злодѣя. Но не то было съ Прасковьей Ивановной. Судя по себѣ, всѣ думали, что она порадуется этому извѣстію, и поспѣшили сообщить его. Къ общему удивленію, она была поражена имъ до такой степени, что пришла въ совершенное отчаяніе, и снова захворала. Когда же крѣпкая натура преодолѣла болѣзнь, тоска овладѣла ею; нѣсколько недѣль не осушала она глазъ съ утра до вечера, и такъ исхудала, что напугала Степана Михайловича. Не понятно было для всѣхъ, изъ какого источника происходило такое глубокое сокрушеніе о смерти мужа, изверга рода человѣческаго, какъ всѣ его называли, котораго она не могла уже любить и который такъ злодѣйски поступилъ съ нею. Но вотъ объясненіе.

Нѣсколько десятковъ лѣтъ послѣ этого происшествія, моя мать, которую очень любила Прасковья Ивановна, спросила ее въ минуту сердечнаго изліянія и самыхъ откровенныхъ разговоровъ о прошедшемъ, (которыхъ Прасковья Ивановна не любила): «Скажите пожалуйста, тетушка, какъ могли вы такъ убиваться по Михайлѣ Максимовичѣ? Я на вашемъ мѣстѣ сказала бы: царство ему небесное — и порадовалась бы.»—«Ты дура, отвѣчала Прасковья Ивановна, я любила его четырнадцать лѣтъ, и не могла разлюбить въ одинъ мѣсяцъ, хотя узнала, какого страшнаго человѣка я любила; а главное, я сокрушалась объ его душѣ: онъ такъ умеръ, что не успѣлъ покаяться.»

Къ шести недѣлямъ разсудокъ нѣсколько овладѣлъ страждущею душею Прасковьи Ивановны и она поѣхала, или лучше сказать, согласилась поѣхать въ Парашино вмѣстѣ съ братомъ и со всѣмъ его семействомъ, чтобы отслужить панихиду и отправить сорочины на могилѣ Михайла Максимовича. Къ общему удивленію, Прасковья Ивановна, во время пребыванія своего въ Парашинѣ и во время печальной церемоніи, не выронила ни одной слезинки, но можно себѣ представить, чего стоило такое усиліе ея разтерзанной душѣ и еще больному тѣлу! По ея желанію пробыли въ Парашинѣ только нѣсколько часовъ, и она не входила во флигель, въ которомъ жилъ и умеръ ея мужъ.

Неизвѣстно, отъ чего произошла скоропостижная кончина Куролесова. Когда Степанъ Михайловичъ выручилъ свою сестру изъ подвала, то всѣ въ Парашинѣ ободрились и ожидали, что пришелъ конецъ владычеству Михайла Максимовича. Всѣ думали, что Багровской баринъ, бывшій вмѣсто отца ихъ барынѣ, скрутитъ ея мужа и выгонитъ изъ имѣнія, ему не принадлежащаго. Никому и въ голову не входило, чтобъ молодая ихъ госпожа, такъ обиженная, избитая до полусмерти, сидѣвшая на хлѣбѣ и на водѣ въ погребу, въ собственномъ своемъ имѣніи,—не стала преслѣдовать судебнымъ порядкомъ своего мучителя. Всякой день ждали, что нагрянетъ Степанъ Михайловичъ съ капитанъ-исправникомъ и земскимъ судомъ, но прошла недѣля, другая, третья—никто не пріѣзжалъ.... Михайла Максимовичъ пилъ, гулялъ и буйствовалъ; передралъ до полусмерти всю свою дворню, не исключая и того трезваго лакея, который будилъ его во время извѣстнаго событія—за то, что они его выдали, и хвалился, что получилъ отъ Прасковьи Ивановны крѣпость на все ея имѣніе. . .

. . . . . .

. . . . . .

Безъ сомнѣнія, скоропостижная смерть Куролесова повела бы за собой уголовное слѣдствіе, еслибъ въ Парашинѣ не было въ конторѣ очень молодаго писца, котораго звали также Михайломъ Максимовичемъ и который только недавно былъ привезенъ изъ Чурасова. Этотъ молодой человѣкъ, необыкновенно умный и ловкій, уладилъ все дѣло. . . . . .

. . . . . .

Въ послѣдствіи онъ былъ повѣреннымъ, главнымъ управителемъ всѣхъ имѣній и пользовался полною довѣренностью Прасковьи Ивановны. Подъ именемъ Михайлушки, онъ былъ извѣстенъ всѣмъ и каждому въ Симбирской и Оренбургской губерніи. Этотъ замѣчательный умный и дѣловой человѣкъ нажилъ себѣ большія деньги, долго держался скромнаго образа жизни, но отпущенный на волю послѣ кончины Прасковьи Ивановны, потерявъ любимую жену, спился и умеръ въ бѣдности. Кто-то изъ его дѣтей, какъ мнѣ помнится, вышелъ въ чиновники и наконецъ въ дворяне.

Не могу умолчать, что лѣтъ черезъ сорокъ, сдѣлавшись владѣльцемъ Парашина, внукъ Степана Михайловича, нашелъ въ крестьянахъ свѣжую благодарную память объ управленіи Михайла Максимовича, потому-что чувствовали постоянную пользу многихъ его учрежденій; забыли его жестокость, отъ которой страдали преимущественно дворовые, но помнили умѣнье отличать праваго отъ виноватаго, работящаго отъ лѣниваго, совершенное знаніе крестьянскихъ нуждъ и всегда готовую помощь. Старики разсказывали, улыбаясь, что у Куролесова была поговорка: «плутуй, воруй, да концы хорони, а попался, такъ не пѣняй.»

Воротясь въ Багрово, Прасковья Ивановна, пригрѣтая самой нѣжной, искренней любовью своего брата и забот-

ливымъ ухаживаньемъ всей его семьи (которой однако она не очень любила), ожидавшей отъ нее великихъ и богатыхъ милостей, мало по малу отдыхала отъ удара, жестоко ее поразившаго. Крѣпкое ея здоровье возстановилось, душа успокоилась, и по прошествіи года она рѣшилась переѣхать въ свое Чурасово. Грустно было Степану Михайловичу разставаться съ сестрицей; по душѣ она пришлась ему всѣми своими свойствами, и привыкъ онъ къ ней чрезвычайно; во всю свою жизнь онъ ни разу не прогнѣвался на Прасковью Ивановну; но онъ не удерживалъ ее, а напротивъ самъ уговаривалъ къ скорѣйшему отъѣзду. «Ну что, сестрица, за житье тебѣ съ нами, говорилъ Степанъ Михайловичъ. У насъ жизнь скучная, но мы уже къ ней привыкли. Ты человѣкъ еще молодой (ей былъ тридцатый годъ), ты богата, ты привыкла не къ такой жизни. Ступай въ свое Чурасово. Тамъ у тебя домъ барской, дивовинный садъ съ родниками, много богатыхъ сосѣдей, всѣ тебя любятъ, всѣ живутъ весело; а можетъ быть Богъ пошлетъ тебѣ счастливую судьбу: охотниковъ будетъ много.» Прасковья Ивановна со дня на день откладывала свой отъѣздъ—такъ было тяжело ей разстаться съ братомъ, ея спасителемъ и благодѣтелемъ съ малыхъ лѣтъ. Наконецъ день былъ назначенъ. Наканунѣ, рано по утру, пришла она къ Степану Михайловичу, который, задумавшись, печально сидѣлъ на своемъ крылечкѣ; она обняла его, поцѣловала, заплакала и сказала: «братецъ, я чувствую всю вашу ко мнѣ любовь и сама люблю и почитаю васъ, какъ роднаго отца. Конечно Богъ видитъ мою благодарность; но я хочу, чтобъ и люди ее видѣли. Позвольте мнѣ укрѣпить вамъ все мое материнское имѣніе: отцовское и безъ того достанется Алешѣ. Мои родные, съ матушкиной стороны, богаты, и вы знаете, что мнѣ не за что награждать ихъ своимъ имѣніемъ. За-мужъ я никогда

не пойду. Я хочу, чтобъ родъ Багровыхъ былъ богатъ. Согласитесь, братецъ, успокойте, утѣшьте меня....» И при этихъ словахъ она бросилась ему въ ноги и осыпала поцѣлуями его руки, которыми онъ старался поднять ее. «Слушай, сестра, сказалъ Степанъ Михайловичъ нѣсколько строгимъ голосомъ. Ты меня плохо знаешь! Чтобъ я покорыстовался чужимъ добромъ и взялъ имѣнье мимо законныхъ наслѣдниковъ.... нѣтъ этому не бывать, и никто про Степана Багрова этого не скажетъ. Смотри же, чтобъ и помину не было объ Бактеевскомъ имѣньи; а не то мы съ тобой поссоримся въ первый разъ въ жизни».

На другой день Прасковья Ивановна уѣхала въ Чурасово и зажила своей особенною, самобытною жизнью.

ТРЕТІЙ ОТРЫВОКЪ

ИЗЪ

СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ.

ЖЕНИТЬБА МОЛОДАГО

БАГРОВА.

Много пронеслось годовъ, много совершилось событій: былъ голодъ, повальныя болѣзни, была Пугачевщина. Шайки Емели распугали помѣщиковъ Оренбургскаго края, и Степанъ Михайловичъ со своимъ семействомъ также бѣжалъ, сначала въ Самару, а потомъ, внизъ по матушкѣ по Волгѣ, въ Саратовъ и даже въ Астрахань. Но все прошло, все успокоилось, все забылось. Одни подросли, другіе возмужали, третьи постарѣли: разумѣется въ числѣ третьихъ былъ Степанъ Михайловичъ. Видѣлъ это онъ и самъ, да какъ-то не вѣрилъ. Не рѣдко говорилъ онъ: «много уплыло по вешней водѣ», и говорилъ онъ это безъ огорченія, какъ будто рѣчь шла о другомъ человѣкѣ, а не о немъ.... въ самомъ дѣлѣ не тотъ уже былъ мой дѣдушка. Куда дѣвались его богатырскія силы, и проворство, и неутомимость? Дѣдушка дивился тому иногда, но продолжалъ жить по прежнему, по старинному: онъ такъ же, столько же ѣлъ и пилъ, сколько и чего хотѣла душа, такъ же одѣвался; не справляясь съ погодою, отъ чего начиналъ иногда прихварывать. Тускнѣли понемногу его ясные и зоркіе взгляды, слабѣлъ громкій голосъ; рѣже онъ гнѣвался,

рѣже бывалъ веселъ и свѣтелъ. Старшихъ дочерей своихъ онъ пристроилъ: первая, Веригина, уже давно умерла, оставивъ трехъ-лѣтнюю дочь; вторая, Коптяжева, овдовѣла и опять вышла за-мужъ за Нагаткина; умная и гордая Елисавета, какими-то судьбами попала за генерала Ерлыкина, который, между прочимъ, былъ старъ, бѣденъ и пилъ запоемъ; Александра нашла себѣ столбоваго русскаго дворянина, молодаго и съ состояніемъ, И. П. Коротаева, страстнаго любителя Башкирцевъ и кочевой ихъ жизни,— Башкирца душой и тѣломъ; меньшая, Танюша, оставалась при родителяхъ; сынокъ былъ уже двадцати семи лѣтъ, красавчикъ, кровь съ молокомъ: «кофту, да юбку, такъ больше бы походилъ на барышню, чѣмъ всѣ сестры» такъ говорилъ про него самъ отецъ. Не смотря на горькія слезы и постоянное сокрушеніе Арины Васильевны, Степанъ Михайловичъ, какъ только сыну минуло шестнадцать лѣтъ, опредѣлилъ его въ военную службу, въ которой онъ служилъ года три, и по протекціи Михайла Максимовича Куролесова находился почти годъ безсмѣннымъ ординарцемъ при Суворовѣ; но Суворовъ уѣхалъ изъ Оренбургскаго края, и какой-то нѣмецъ генералъ (кажется Трейблутъ) безъ всякой вины жестоко отколотилъ палками молодаго человѣка, не смотря на его древнее дворянство. Бабушка чуть не умерла съ печали, да и дѣдушкѣ не понравилась эта шутка: онъ взялъ Алешу въ отставку и опредѣлилъ въ верхній земскій судъ, гдѣ онъ усердно и долго служилъ и былъ впослѣдствіи прокуроромъ.

Не могу прейти молчаніемъ замѣченную мною странность: большая часть этихъ господъ Нѣмцевъ и вообще иностранцевъ, служившихъ тогда въ русской службѣ, постоянно отличались жестокостью и большою охотою до палокъ. Нѣмецъ-лютеранинъ, отколотившій безпощадно моего отца, былъ въ то же время строгимъ соблюдателемъ цер-

ковныхъ русскихъ обрядовъ. Вотъ какъ случилось это историческое событіе въ нашей Семейной Хроникѣ. Подъ какой-то неважный праздникъ приказалъ Нѣмецъ-генералъ служить всенощную въ полковой церкви, что̀ совершалось всегда въ его присутствіи и при собраніи всѣхъ офицеровъ. Время было лѣтнее, окошки отворены; вдругъ залилась въ воздухѣ русская пѣсня по Дворянской улицѣ города Уфы; генералъ бросился къ окошку: по улицѣ шли трое молодыхъ унтеръ-офицеровъ, одинъ изъ нихъ пѣлъ пѣсню; генералъ приказалъ ихъ схватить и каждому дать по триста палокъ. Бѣдный мой отецъ, который не пѣлъ, а только вмѣстѣ шелъ съ другими унтерами, объявилъ, что онъ дворянинъ, но генералъ, злобно улыбаясь, сказалъ ему: «Дворянинъ долженъ быть съ бо̀льшимъ благоговѣніемъ къ служба Господня»—и въ своемъ присутствіи, въ сосѣдней комнатѣ съ церковью, при торжественномъ пѣніи божественныхъ славословій, звѣрски приказалъ отсчитать триста ударовъ невинному юношѣ, запрещая ему даже кричать, чтобъ: «не возмущать Господня служба.» Замертво отвезли наказаннаго въ лазаретъ. Тамъ должны были разрѣзать на немъ мундиръ, такъ распухло его нѣжное молодое тѣло; два мѣсяца гнила у него спина и плечи. Каково было все это узнать матери, любившей единственнаго сынка до безумія! Дѣдушка жаловался кому-то, и еще до выхода изъ лазарета сынъ его, немедленно подавшій просьбу объ отставкѣ, былъ уволенъ изъ военной службы для опредѣленія къ статскимъ дѣламъ, съ чиномъ 14-го класса Въ настоящее время было забыто это происшествіе; ему прошло уже 8 лѣтъ.

Алексѣй Степановичъ преспокойно служилъ и жилъ въ Уфѣ. отстоявшей въ 240 верстахъ отъ Багрова, и пріѣзжалъ каждый годъ два раза на побывку къ своимъ родителямъ. Ничего особеннаго съ нимъ не происходило.

Тихій, скромный, застѣнчивый, ко всѣмъ ласковый, цвѣлъ онъ, какъ маковъ цвѣтъ, и вдругъ.... помутился ясный ручеекъ жизни молодаго деревенскаго дворянина.

Въ городѣ Уфѣ, гдѣ постоянно находилась воеводская канцелярія, постоянно жилъ Товарищъ Намѣстника, коллежскій совѣтникъ, Николай Ѳедоровичъ Зубинъ, человѣкъ умный и честный, но слишкомъ нѣжный и слабый. Онъ овдовѣлъ и у него осталось трое дѣтей; дочь Соничка, двѣнадцати лѣтъ, и два малолѣтныхъ сына. Отецъ любилъ свою Соничку страстно, да и какъ было не любить такую красавицу и умницу, которая, не смотря на свой дѣтскій возрастъ, скоро сдѣлалась ему подругой и помощницей по домашнему хозяйству. Года черезъ полтора послѣ смерти первой жены, горячо имъ любимой, выплакавъ сердечное горе, Николай Ѳедоровичъ успокоился и влюбился въ дочь извѣстнаго описателя Оренбургскаго края, тамошняго помѣщика П. А. Р.—ва и вскорѣ женился. Молодая жена, Александра Петровна, умная, гордая и красивая, овладѣла совершенно нѣжнымъ сердцемъ вдовца и возненавидѣла его любимицу, свою молоденькую, но уже прекрасную падчерицу. Дѣло весьма обыкновенное. Страшное слово мачиха, давно сдѣлавшееся прилагательнымъ именемъ для выраженія жестокости, шло, какъ нельзя лучше, къ Александрѣ Петровнѣ; но Соничку нельзя было легко вырвать изъ сердца отца: дѣвочка была неуступчиваго нрава, съ ней надо было бороться, и оттого злоба мачихи достигла крайнихъ предѣловъ; она поклялась, что дерзкая тринадцати-лѣтняя дѣвчонка, кумиръ отца и цѣлаго города, будетъ жить въ дѣвичьей, ходить въ выбойчатомъ платьѣ и выносить нечистоту изъ-подъ ея дѣтей.... Она буквально сдержала свою клятву: черезъ два или три года Соничка жила въ дѣвичьей, одѣвалась какъ черная служанка, мыла и чистила дѣтскую, гдѣ поселились уже двѣ новыя сестрицы.

Что же страстно любившій отецъ?... Онъ не видѣлъ дочери по цѣлымъ мѣсяцамъ, и когда встрѣчалъ, одѣтую чуть не въ рубище,—отворачивался, вздыхалъ, плакалъ потихоньку и спѣшилъ удалиться. Таковы бываютъ побольшей части немолодые вдовцы, влюбленные въ молодыхъ своихъ женъ. Я не знаю въ точности всѣхъ путей и средствъ, которыми достигла Александра Петровна своего торжества, и потому не стану говорить о нихъ; не стану также распространяться о томъ, какимъ жестокостямъ и мученіямъ подвергалась несчастная сирота, одаренная отъ природы чувствительною, сильною и непокорною душею; тутъ не были забыты самыя унизительныя наказанія, даже побои за небывалыя вины. Скажу только, что падчерица была близка къ самоубійству: она спаслась отъ него чудомъ. Вотъ какъ это случилось: рѣшившись прекратить невыносимую жизнь, бѣдная дѣвушка захотѣла въ послѣдній разъ помолиться въ своей коморкѣ на чердакѣ, передъ образомъ Смоленской Божіей Матери, которымъ благословила ее умирающая мать. Она упала передъ иконой и, проливая ручьи горькихъ слезъ, приникла лицемъ къ грязному полу. Страданія лишили ее чувствъ на нѣсколько минутъ и она какъ будто забылась; очнувшись, она встала и видитъ, что передъ образомъ теплится свѣча, которая была потушена ею наканунѣ; страдалица вскрикнула отъ изумленія и невольнаго страха, но скоро, признавъ въ этомъ явленіи чудо всемогущества Божьяго,—она ободрилась, почувствовала, неизвѣстные ей до тѣхъ поръ, спокойствіе и силу, и твердо рѣшилась страдать, терпѣть и жить. Съ этого дня безпомощная сирота облеклась непроницаемою бронею терпѣнья къ вящшему раздраженію своей мачихи. Она все исполняла, что̀ ей приказывали, все переносила спокойно; никакія ругательства, никакія унизительныя наказанія не вырывали слезъ, не доводили ее до дурноты, до обмо-

рока, какъ это прежде бывало, и къ обыкновенному названію: «мерзкая дѣвчонка» присоединился эпитетъ: «отчаянная и мерзкая дѣвчонка.» Но исполнилась мѣра долготерпѣнія Божьяго, и грянулъ громъ: великолѣпная Александра Петровна, въ цвѣтѣ лѣтъ, здоровья и красоты, родила еще сына и умерла въ десятый день послѣ родовъ. Она знала за сутки, что должна умереть, и поспѣшила примириться съ своею совѣстью: вдругъ ночью разбудили Соничку и позвали къ мачихѣ; Александра Петровна при свидѣтеляхъ покаялась въ своихъ винахъ передъ падчерицей, просила у нее прощенья и заклинала именемъ Божіимъ не оставить ея дѣтей; падчерица простила, обѣщала не оставить ихъ, и сдержала обѣщанье. Александра Петровна призналась также своему мужу, что всѣ обвиненія, взводимыя на его дочь, — были выдумка и клевета.

Боже мой, какъ смерть перевернула все вверхъ дномъ! Николая Ѳедорыча разбилъ нервическій параличъ, послѣ котораго онъ жилъ еще нѣсколько лѣтъ, но уже не вставалъ съ постели. Загнанная, оборванная барышня, которую подлое лакейство, особенно приданые мачихи, обижали сколько душѣ угодно, втоптали въ грязь — вдругъ сдѣлалась полновластною госпожею въ домѣ, потому-что больной отецъ отдалъ ей въ распоряженіе все. Объясненіе и примиреніе виновнаго отца съ обиженной дочерью — были умилительны и даже возмутительны для дочери и окружающихъ. Раскаянье долго терзало больнаго старика, долго лились у него слезы и день и ночь, и долго повторялъ онъ только однѣ слова: «Нѣтъ, Соничка, ты не можешь меня простить!» Не осталось ни одного знакомаго въ городѣ, передъ которымъ онъ не исповѣдовалъ бы торжественно винъ своихъ передъ дочерью, и Софья Николавна сдѣлалась предметомъ всеобщаго уваженія и уди-

вленія. Умудренная годами тяжкихъ страданій, семнадцатилѣтняя дѣвушка вдругъ превратилась въ совершенную женщину, мать, хозяйку и даже офиціальную даму, потому-что по болѣзни отца принимала всѣ власти, всѣхъ чиновниковъ и городскихъ жителей, вела съ ними переговоры, писала письма, дѣловыя бумаги, и впослѣдствіи сдѣлалась настоящимъ правителемъ дѣлъ отцовской канцеляріи. Съ самымъ напряженнымъ вниманіемъ и нѣжностью ухаживала Софья Николавна за больнымъ отцемъ, присматривала попечительно за тремя братьями и двумя сестрами и даже позаботилась о воспитаніи старшихъ; она нашла возможность пріискать учителей для своихъ братьевъ, отъ одной съ ней матери, Сергѣя и Александра, изъ которыхъ первому было двѣнадцать, а другому десять лѣтъ: она отыскала для нихъ какого-то предобраго Француза Вильме, заброшеннаго судьбою въ Уфу, и какого-то полу-ученаго хохла В—скаго, сосланнаго туда же за неудавшіяся плутни. Софья Николавна воспользовалась случаемъ, сама училась вмѣстѣ съ братьями (*), и чрезъ полтора года отправила ихъ въ Москву къ А. Ѳ. Аничкову, съ которымъ черезъ двоюроднаго его брата, находившагося въ Уфѣ, познакомилась она заочно и вела постоянную переписку. Аничковъ жилъ въ Москвѣ, вмѣстѣ съ извѣстнымъ Н. Н. Новиковымъ; оба пріятеля до того плѣнились краснорѣчивыми письмами неизвѣстной барышни съ береговъ рѣки Бѣлой, изъ Башкиріи, что присылали ей всѣ замѣчательныя сочиненія въ русской литературѣ, какія тогда появлялись, что̀ очень много способствовало ея образованію. Аничковъ былъ особеннымъ ея почитателемъ и счелъ за счастіе исполнить просьбу Софьи Николавны, то-есть,

(*) Она училась такъ прилежно, что скоро могла понимать французскія книги, разговоры и даже выучилась немного говорить по-французски.

взять на свои руки обоихъ ея братьевъ и помѣстить ихъ въ университетской благородный пансіонъ, что́ и сдѣлалъ усердно и точно. Мальчики очень хорошо учились, но по несчастію ученье было прервано тѣмъ, что ихъ потребовали въ гвардію, куда они были записаны еще въ колыбели.

Всѣ, по тогдашнему умные и образованные люди, попадавшіе въ Уфу, спѣшили познакомиться съ Софьей Николавной, плѣнялись ею и никогда не забывали. Большая часть такихъ знакомствъ обратилась впослѣдствіи въ дружбу съ ея семействомъ, которая прекращалась только смертью. Изъ числа ихъ я назову только тѣхъ, которыхъ зналъ самъ: В. В. Романовскаго, А. Ю. Ювенаріуса, П. И. Чичагова, Д. Б. Мертваго и В. И. Ичанскаго. Ученые и путешественники, посѣщавшіе новый и чудный Уфимской край, также непремѣнно знакомились съ Софьей Николавной и оставляли письменные знаки удивленія ея красотѣ и уму. Конечно, положеніе этой дѣвушки въ обществѣ и семействѣ было выгодно, служило, такъ сказать, картиннымъ подножіемъ, но за то и стояло на немъ чудное созданіе. Особенно памятны мнѣ стихи одного путешественника, графа Мантейфеля, который прислалъ ихъ Софьѣ Николавнѣ, при самомъ почтительномъ письмѣ на французскомъ языкѣ, съ приложеніемъ экземпляра огромнаго сочиненія въ пяти томахъ in-quarto доктора Бухана, только что переведеннаго съ англійскаго на русскій языкъ и бывшаго тогда знаменитою новостью въ медицинѣ. Домашній лечебникъ Бухана былъ драгоцѣннымъ подаркомъ для Софьи Николавны: она могла пользоваться его указаніями и составлять лекарства для леченья своего больнаго отца. Въ стихахъ же, графъ Мантейфель называлъ уфимскую красавицу и Венерой, и Минервой.

Не смотря на болѣзненное состояніе, Николай Ѳедоровичъ не оставлялъ нѣсколько лѣтъ своей должности. Всякой годъ раза два онъ давалъ вечера съ танцами; самъ къ дамамъ не выходилъ, а мужчинъ принималъ лежа въ кабинетѣ; но молодая хозяйка принимала весь городъ. Нѣсколько разъ въ годъ онъ непремѣнно посылалъ свою Соничку на балы къ почетнымъ лицамъ города. Софья Николавна, богато одѣтая, отлично по тогдашнему танцующая, уступая усиленнымъ просьбамъ старика, пріѣзжала на балъ на самое короткое время. Протанцовавъ польской, менуэтъ и одинъ контрдансъ или экоссесъ, она сейчасъ уѣзжала, мелькнувъ въ обществѣ, какъ блестящій метеоръ. Все, что имѣло право влюбляться, было влюблено въ Софью Николавну, но любовью самою почтительной и безнадежной, потому-что строгость ея нравовъ доходила до крайнихъ размѣровъ.

И вотъ въ какую необыкновенную дѣвушку влюбился сынокъ Степана Михайловича. Онъ не могъ вполнѣ понимать и цѣнить ее, но одной наружности, одного живаго и веселаго ума ея достаточно было, чтобы свести съ ума человѣка — и молодой человѣкъ сошелъ съ ума. Съ перваго взгляда Софья Николавна, которую онъ увидѣлъ у обѣдни, обворожила, какъ говорили тогда, его мягкое сердце. Узнавъ, что красавица принимаетъ всѣхъ чиновниковъ, пріѣзжающихъ къ ея отцу, Алексѣй Степанычъ (станемъ звать его полнымъ именемъ), какъ чиновникъ, служившій въ верхнемъ земскомъ судѣ, сталъ постоянно являться съ поздравленіями по праздничнымъ и табельнымъ днямъ, въ пріемной Товарища Намѣстника; всегда видѣлъ Софью Николавну и таялъ часъ отъ часу болѣе. Эти посѣщенія, слишкомъ точныя, слишкомъ продолжительныя, хотя почти безмолвныя, были скоро замѣчены всѣми, и вѣроятно, первая замѣтила ихъ молодая хозяйка.

Очарованные глаза, пылающія щеки, смущеніе, доходившее до самозабвенія, всегда были краснорѣчивыми объяснителями любви. Надъ искренней любовью обыкновенно всѣ смѣются, такъ положено испоконъ вѣка, — и весь городъ смѣялся надъ смиреннымъ, застѣнчивымъ и стыдливымъ какъ деревенская дѣвушка, Алексѣемъ Степанычемъ, который въ отвѣтъ на всѣ шутки и намеки конфузился и краснѣлъ, какъ маковъ цвѣтъ. Софья Николавна, строгая и даже суровая ко всѣмъ свѣтскимъ любезникамъ, вопреки ожиданію всѣхъ была снисходительна къ своему безмолвному обожателю. Я не знаю, жалко ли ей стало молодаго безотвѣтнаго человѣка, терпѣвшаго за любовь къ ней насмѣшки; поняла ли она, что это не минутное увлеченіе, не шутка для него, а вопросъ цѣлой жизни — не знаю, но суровая красавица не только благосклонно кланялась и смотрѣла на Алексѣя Степаныча, но даже заговаривала съ нимъ; робкіе, несвязные отвѣты, прерывающійся отъ внутренняго волненія голосъ, не казались ей ни смѣшными, ни противными. Впрочемъ, надо сказать, что Софья Николавна высоко себя держала передъ бойкими и заносчивыми людьми, а со смиренными и скромными всегда была снисходительна и ласкова.

Такъ тянулось дѣло довольно долго. Вдругъ дерзкая мысль озарила горящую голову Алексѣя Степаныча, мысль—жениться на Софьѣ Николавнѣ! Онъ самъ сначала перепугался такого смѣлаго и несбыточнаго желанія. Куда ему до Софьи Николавны, перваго лица въ городѣ, первой умницы и красавицы въ цѣломъ свѣтѣ по его мнѣнію.... и онъ совершенно отбросилъ такое намѣреніе. Но мало по малу, постоянная благосклонность и вниманіе, привѣтливые, какъ-будто ободряющіе взгляды Софьи Николавны (такъ ему казалось), а всего болѣе любовь, овладѣвшая всѣмъ существомъ его, снова вызвали отбро-

шенную мысль, и она скоро сроднилась, сжилась съ его жизнью. Одна старая помѣщица, жившая по дѣлу въ Уфѣ, Алакаева, которая ѣзжала въ домъ къ Зубинымъ, дальняя родственница Алексѣя Степаныча, принимала въ немъ всегда особенное участіе; онъ сталъ чаще навѣщать ее, ласкаться къ ней, какъ умѣлъ, и наконецъ открылся въ своей любви къ извѣстной особѣ и въ своемъ намѣреніи искать ея руки. Любовь, какъ городская молва, была давно извѣстна Алакаевой; но намѣреніе жениться ее удивило. «Не пойдетъ, сказала старуха качая головой, она преумная, прегордая, превоспитанная. Мало ли въ нее влюблялись, но никто посвататься не осмѣлился. Ты конечно красавчикъ, старинаго дворянскаго рода, имѣешь небольшое состояніе, а со временемъ будешь и богатъ: это всѣ знаютъ; но ты человѣкъ не ошлифованный, деревенскій, ни чему не ученый, и больно ужъ смиренъ въ публикѣ....» Обо всемъ этомъ догадывался и самъ Алексѣй Степанычъ, но любовь совершенно помутила его голову; и денно и ночно кто-то шепталъ ему въ уши, что Софья Николавна за него пойдетъ. Хотя надежды молодаго человѣка казались Алакаевой неосновательными, но она согласилась на его просьбу съѣздить къ Софьѣ Николавнѣ, и не дѣлая никакихъ намековъ о его намѣреніи, завести рѣчь о немъ, какъ-нибудь стороною, и замѣтить все, что она скажетъ. Алакаева поѣхала немедленно; Алексѣй Степанычъ остался у ней въ домѣ, ожидая ея возвращенія; старуха проѣздила довольно долго; на влюбеннаго напалъ такой страхъ, такая тоска, что онъ принялся плакать, и наконецъ утомленный слезами, заснулъ, прислонясь головой къ окошку. Старуха, воротясь, разбудила его и съ веселымъ видомъ сказала: «Ну, Алексѣй Степанычъ, въ самомъ дѣлѣ что-то есть. Я стала о тебѣ говорить и немножко на тебя нападать, а Софья Николавна

заступилась за тебя не на-шутку и наконецъ сказала, что ты долженъ быть человѣкъ очень добрый, скромный, тихій и почтительный къ родителямъ, что такихъ людей благословляетъ Богъ и что такіе люди лучше бойкихъ говоруновъ.» Алексѣй Степанычъ опьянѣлъ отъ радости и самъ не помнилъ, что говорилъ тогда. Алакаева, давъ ему успокоиться, съ твердостью сказала: «Если это твое непремѣнное желаніе, то вотъ тебѣ мой совѣтъ. Поѣзжай немедленно къ отцу и матери, разскажи имъ все и проси у нихъ согласія и благословенія, пока добрые люди не помѣшали. Если ты получишь и то и другое, то я не отказываюсь хлопотать за тебя. Только не торопись; умасли напередъ сестеръ, а мать противиться твоему желанію не станетъ. Разумѣется, первое дѣло согласіе твоего отца. Я его знаю, онъ больно крутъ, но разуменъ; поговори съ нимъ, когда онъ будетъ веселъ.» Алексѣй Степанычъ удивился такому осторожному совѣту и такимъ околичностямъ, и возразилъ: что родители его будутъ очень рады и что развѣ есть какой-нибудь порокъ въ Софьѣ Николавнѣ?» «Пребольшой, отвѣчала умная старуха. Она бѣдна, у нее ровно нѣтъ ничего, а ея дѣдушка былъ простой урядникъ въ казачьемъ Уральскомъ войскѣ.» На Алексѣя Степаныча нисколько не подѣйствовали эти многозначительныя слова; но предчувствіе не обмануло старуху Алакаеву, и предостереженіе было слишкомъ поздно. Черезъ недѣлю Алексѣй Степанычъ взялъ отпускъ, раскланялся съ Софьей Николавной, которая очень ласково пожелала ему счастливаго пути, пожелала, чтобы онъ нашелъ родителей своихъ здоровыми и обрадовалъ ихъ своимъ пріѣздомъ,— и полный радостныхъ надеждъ отъ такихъ пріятныхъ словъ, молодой человѣкъ уѣхалъ въ деревню къ отцу и матери. Старики обрадовались, но какъ-то не удивились несвоевременному пріѣзду сына и посматривали

на него вопросительно; а сестры, (которыя жили не подалеку и по увѣдомленію матери сейчасъ прискакали) цѣловали и миловали братца, но чему-то улыбались. Алексѣй Степанычъ былъ особенно друженъ съ меньшой сестрой и открылся ей первой въ своей страсти. Татьяна Степановна, нѣсколько романическая дѣвица, любившая брата больше, чѣмъ другія сестры, слушала его съ участіемъ и наконецъ такъ увлеклась, что открыла ему весь секретъ: семья знала уже объ его любви и смотрѣла на нее неблагопріятно. Вотъ какимъ образомъ происходило дѣло: не задолго до пріѣзда Алексѣя Степаныча, Иванъ Петровичъ Каратаевъ ѣздилъ зачѣмъ-то въ Уфу и привезъ своей женѣ эту городскую новость; Александра Степановна (я сказалъ о ея свойствахъ) вскипѣла негодованіемъ и злобой; она была коноводъ въ своей семьѣ и вертѣла всѣми, какъ хотѣла, разумѣется кромѣ отца; она обратила въ шпіоны одного изъ лакеевъ Алексѣя Степаныча, и онъ сообщилъ ей всѣ подробности объ образѣ жизни и о любви своего молодаго барина; она нашла какую-то кумушку въ Уфѣ, которая разнюхала, разузнала всю подноготную и написала ей длинную грамотку, съ помощію отставнаго подъячаго, составленную изъ городскихъ вѣстей и сплетень дворни въ домѣ Зубина, преимущественно со словъ озлобленныхъ приданыхъ покойной мачихи. Не трудно догадаться, какими красками была расписана Софья Николавна.

Дѣло извѣстное, что въ старину (я разумѣю старину Екатерининскую), а можетъ быть и теперь, сестры не любили, или очень рѣдко любили своихъ невѣстокъ, то есть, женъ своихъ братьевъ, отчего весьма краснорѣчиво называются *золовками*; еще болье не любили, когда женился единственный братъ, потому-что жена его дѣлалась безраздѣльною, полною хозяйкою въ домѣ. Въ человѣческомъ

существѣ скрыто много эгоизму; онъ дѣйствуетъ часто безъ нашего вѣдома, и никто не изъятъ отъ него; честные и добрые люди, не признавая въ себѣ эгоистическихъ побужденій, искренно приписываютъ ихъ инымъ, благовиднымъ причинамъ: обманываютъ себя и другихъ безъ умысла. Въ натурахъ недобрыхъ, грубыхъ и невѣжественныхъ обнаруживаются признаки эгоизма ярче и безцеремоннѣе. Такъ было и въ семействѣ Степана Михайловича. Женитьба брата, на комъ-бы то ни было, непремѣнно досадила бы всѣмъ. «Братецъ къ намъ перемѣнится, не станетъ насъ такъ любить и жаловать, какъ прежде, молодая жена ототретъ родныхъ, и домъ родительскій будетъ намъ чужой»: это непремѣнно сказали бы сестры Алексѣя Степаныча, хотя бы его невѣста была—ихъ поля ягода; но невѣстки Софьи Николавны хуже нельзя было придумать для нихъ. Александра Степановна поспѣшила пригласить Елизавету Степановну въ Багрово, чтобы сообщить матери и сестрамъ, разумѣется съ приличными украшеніями, всѣ полученныя ею свѣдѣнія о похожденіяхъ своего братца; всѣ повѣрили ей безусловно, и вотъ какое мнѣніе составилось о Софьѣ Николавнѣ. Во-первыхъ, Зубиха (такъ называли ее сестры и мать Алексѣя Степаныча въ своихъ тайныхъ засѣданіяхъ) — низкаго рода: дѣдушка у ней былъ Уральской казакъ, по прозванью Зубъ, а мать (Вѣра Ивановна Кандалинцова) изъ купеческаго званія. Слѣдовательно низко было породниться съ ней старинному дворянскому дому. Во-вторыхъ, Зубиха—нищая: какъ умретъ отецъ или отставятъ его отъ должности, то пойдетъ по міру, а потому и братцевъ и сестрицъ своихъ навяжетъ на шею мужу. Въ-третьихъ, Зубиха—гордячка, модница, городская прощелыга, привыкшая повелѣвать всѣмъ городомъ; слѣдовательно на нихъ, на деревенскихъ жителей, даромъ, что они старинные

столбовые дворяне,—и плюнуть не захочетъ. Наконецъ въ-четвертыхъ, Зубиха—колдунья, которая корнями приворачиваетъ къ себѣ всѣхъ мужчинъ, бѣгающихъ за ней, высуня языкъ, и въ томъ числѣ приворотила бѣднаго братца ихъ, потому-что пронюхала объ его будущемъ богатствѣ и объ его смиренствѣ, захотѣла быть старинной дворянкой и нарохтится за него за-мужъ. — Александра Степановна, которая заправляла всѣмъ дѣломъ, съ помощью бойкаго и ядовитаго языка своего всѣхъ смутила и доказала, какъ дважды два четыре, что такая невѣста, какъ Софья Николавна, — совершенная бѣда для нихъ; что она, пожалуй, и Степана Михайловича приворотитъ, и тогда всѣ они пропали: слѣдовательно надо употребить всѣ усилія, чтобы Алексѣй Степанычъ не женился на Софьи Николавнѣ». Очевидно, что всего нужнѣе было внушить Степану Михайловичу самыя дурныя мысли объ Софьи Николавнѣ, но какъ это сдѣлать? Дѣйствовать прямо онѣ не рѣшались, потому-что совѣсть была не чиста. Кой грѣхъ отецъ заподозритъ ихъ въ умыслѣ, тогда ужъ не повѣритъ и правдѣ; онъ еще и прежде, когда старики пріискали было невѣсту своему сыну, далъ имъ почувствовать, что понимаетъ ихъ нежеланіе—видѣть брата женатымъ.—И такъ устроили слѣдующую машинацію: одну изъ родныхъ племянницъ Арины Васильевны, пѣтую дуру, смертную вѣстовщицу и пьяницу, Флену Ивановну Луповинову, научили пріѣхать какъ будто въ гости въ Багрово и между прочими росказнями разсказать про любовь Алексѣя Степаныча, разумѣется съ самой невыгодной стороны для Софьи Николавны. Долго Александра Степановна учила съ голосу Флену Ивановну, что говорить и какъ говорить. Наконецъ роль была по возможности вытвержена. Флена Ивановна явилась въ Багрово къ обѣду, послѣ котораго и хозяева и гости заснули часа три и по-

томъ собрались къ чаю. Старикъ былъ въ духѣ и самъ навелъ свою гостью на исполненіе роли. «Ну что, Флена пушка! (такъ звалъ ее Степанъ Михайловичъ по причинѣ толщины и малаго роста) разсказывай, что̀ слышала отъ пріѣзжихъ изъ Уфы (ея сестра, Катерина Ивановна Калмыкина съ мужемъ недавно оттуда воворотились). Чай вѣстей навезли съ три короба, ну да ты прилжешь четвертый».... — «Охъ, шутникъ ты нашъ шутникъ, дядюшка любезный, отвѣчала Флена Ивановна, что мнѣ лгать! вѣстей-то навезли много». Тутъ она разсказала цѣлую кучу разныхъ былей и небылицъ и нелѣпыхъ сплетень, отъ которыхъ я пощажу моихъ читателей. Дѣдушка притворился, что ничему не вѣритъ, даже справедливымъ извѣстіямъ; онъ подтрунивалъ надъ разскащицей, путалъ ее въ словахъ, сбивалъ и такъ забавно дразнилъ, что вся семья валялась со смѣху. Глупой бабѣ, выпившей со сна добрую чарку настойки для бодрости, за досаду стало, и она съ нѣкоторою горячностью сказала старику: «да что это, дядюшка, ты все смѣешься и ничему не вѣришь? погоди, я приберегла тебѣ вѣсточку на закуску; ты ей за неволю повѣришь, да и смѣяться не станешь.» Семья переглянулась, а дѣдушка засмѣялся.—«Ну, вытряхивай, весело сказалъ онъ; повѣрить не повѣрю, а смѣяться не стану: ты ужъ мнѣ надоѣла» — «Охъ, дядюшка, дядюшка, начала Флена Ивановна; ты вотъ объ братцѣ-то нашемъ любезномъ, Алексѣѣ-то Степановичѣ ничего не знаешь. Вѣдь онъ весь высохъ съ тоски; приворотила его къ себѣ нечистой силой уфимская вѣдьма, дочка наболь-шаго тамошняго, воеводы что-ли, намѣстника ли — не знаю. Говорятъ, такая красавица, что всѣхъ заполонила и старыхъ и молодыхъ, всѣхъ корнями обвела. Всѣ за ней, прости Господи, какъ кобели за сукой, такъ и бѣгаютъ. А голубчикъ-то мой, братецъ-то Алексѣй Степанычъ, такъ

врюхался, что ни ѣстъ, ни пьетъ и не спитъ. Все и сидитъ у ней, глазъ съ нея не сводитъ, глядитъ да вздыхаетъ, а по ночамъ все мимо ея дома ходитъ, съ ружьемъ да съ саблей, все караулитъ ее; она же, Зубина-то, говорятъ, его приголубливаетъ; вѣдь онъ самъ красавчикъ и столбовой дворянинъ, такъ у ней губа-то не дура: хочетъ за него за-мужъ выйти. Да и какъ не хотѣть? вѣдь она нищая, и отецъ ея изъ простыхъ, сынъ казака уральскаго, Ѳедьки Зуба; хоть самъ и дослужился до чиновъ и при большихъ мѣстахъ былъ, а ничего не нажилъ: все протранжирилъ на столы да на пиры, да на дочкины наряды; старикъ еле живъ, на ладонъ дышетъ, а дѣтей-то куча: отъ двухъ женъ—шесть человѣкъ. Всѣ сядутъ на твою, дядюшка, шею, коли братецъ-то на ней женится; у ней приданаго однѣ платья; на брюхѣ-то шолкъ, а въ брюхѣ-то щелкъ. А ужъ Алексѣй Степанычъ, говорятъ, на себя не похожъ—узнать нельзя; точно въ воду опущенный; ужъ и лакеи-то, глядя на него, плачутъ, а вамъ доложить не смѣютъ. Повѣрь, дядюшка, все правда до единаго слова; допроси своихъ лакеевъ, они не запрутся.» Арина Васильевна принялась плакать, а дочки куксить глаза. Дѣдушка былъ немного озадаченъ, но скоро овладѣлъ собою и съ равнодушной улыбкой отвѣчалъ: «Прилгано много, а можетъ есть и правда. Я самъ слышалъ, что Зубина красавица и умница, вотъ въ чемъ и все колдовство (*). Что мудренаго, если и у Алексѣя глаза разгорѣлись. Остальное все враки. Выдти за-мужъ за Алексѣя – Зубина и не думаетъ; она найдетъ себѣ получше

(*) Дѣдушка вообще колдовству мало вѣрилъ. Даже стрѣлялъ одинъ разъ (вынувъ тихонько дробь) въ колдуна, который увѣрялъ, что ружье заговорено и не выстрѣлитъ; разумѣется ружье выстрѣлило и крѣпко напугало колдуна, который однако нашелся и торжественно объявилъ, что дѣдушка мой «самъ знаетъ», чему и повѣрили всѣ, разумѣется, кромѣ Степана Михайловича.

и побойчѣе жениха. Онъ ей не пара.—Ну теперь кончено. Больше объ этомъ не тарантить. Пойдемте пить чай на дворѣ.»—Разумѣется Флена Ивановна и всѣ прочіе не смѣли и поминать объ Уфимскихъ новостяхъ. Вечеромъ гостья уѣхала. Послѣ ужина, когда Арина Васильевна и дочери начали было безмолвно прощаться съ Степаномъ Михайловичемъ, онъ остановилъ ихъ слѣдующими словами: «Ну что, Ариша? что у тебя на умѣ бродитъ? Дура Флена конечно много приврала, а мнѣ сдается, что тутъ есть и правда. Письма Алексѣевы какъ-то стали другія. Надо бы это дѣло какъ-нибудь поразвѣдать. Да всего лучше позовемъ Алешу сюда: отъ него узнаемъ всю правду.»—Тутъ Александра Степановна вызвалась въ одну недѣлю спосылать нарочнаго въ Уфу, чтобы развѣдать объ этомъ дѣлѣ черезъ родственницу своего мужа, прибавя, что она женщина правдивая и ни за что не солжетъ: старикъ согласился не вызывать сына до полученія новыхъ извѣстій. Александра Степановна сейчасъ ускакала домой въ свою Каратаевку (всего въ 50 верстахъ отъ Багрова) и ровно черезъ недѣлю воротилась къ старикамъ; она привезла то самое письмо, которое еще прежде получила отъ своей кумушки и о которомъ я уже говорилъ. Письмо показали и прочли Степану Михайловичу, и хотя онъ плохо вѣрилъ женскимъ справкамъ и донесеніямъ, но нѣкоторыя статьи въ письмѣ показались ему правдоподобными и произвели на него непріятное впечатлѣніе. Онъ рѣшительно сказалъ, что если въ самомъ дѣлѣ Зубина думаетъ выйти за-мужъ за Алешу, то онъ не позволитъ ему жениться на ней, потому что она не дворянскаго рода. «На этой же почтѣ пишите къ Алешѣ и зовите его домой.»—Черезъ нѣсколько дней, которые не были потеряны даромъ, потому что Арина Васильевна съ дочерьми успѣли напѣть въ уши старику много неблагопріятнаго для лю-

бви Алексѣя Степаныча, вдругъ, какъ снѣгъ на голову, явился онъ самъ, что̀ мы уже знаемъ.

Услыхавъ отъ сестры все, сейчасъ разсказанное мною, Алексѣй Степанычъ крѣпко призадумался и оробѣлъ. Лишенный отъ природы твердой воли, воспитанный въ слѣпомъ повиновеніи къ семейству, а къ отцу—въ страхѣ, онъ не зналъ, что̀ ему дѣлать. Наконецъ рѣшился поговорить съ матерью. Арина Васильевна, любившая единственнаго сынка безъ памяти, но привыкшая думать, что онъ все еще малое дитя, и предубѣжденная, что это дитя полюбило опасную игрушку, — встрѣтила признаніе сына въ сильномъ чувствѣ такими словами, какими встрѣчаютъ желаніе ребенка, просящаго дать ему въ руки раскаленное желѣзо; когда же онъ, слыша такія рѣчи, залился слезами, она утѣшала его, опять таки, какъ ребенка, у котораго отнимаютъ любимую игрушку. Что ни говорилъ Алексѣй Степанычъ, какъ ни старался опровергнуть клеветы на Софью Николавну—мать его не слушала, или слушала безъ всякаго вниманія. Прошло еще два дня; сердце молодаго человѣка разрывалось; тоска по Софьѣ Николавнѣ и любовь къ ней росли съ каждымъ часомъ, но вѣроятно онъ не скоро бы осмѣлился говорить съ отцемъ, если бы Степанъ Михайловичъ не предупредилъ его самъ. Въ одно прекрасное утро, послѣ ночи, проведенной почти безъ сна, Алексѣй Степанычъ, нѣсколько похудѣвшій и поблѣднѣвшій, рано пришелъ къ отцу, который сидѣлъ по своему обыкновенію на своемъ крылечкѣ. Старикъ былъ веселъ и ласково встрѣтилъ сына; но взглянувъ пристально ему въ лицо, онъ понялъ, что̀ происходило въ душѣ молодаго человѣка. Давъ поцѣловать ему свою руку, онъ съ живостью, но безъ гнѣва сказалъ ему: «послушай, Алексѣй! я знаю, что̀ лежитъ у тебя на сердцѣ, и вижу, что дурь крѣпко забралась къ тебѣ въ голову. Разсказывай же мнѣ всю подноготную

безъ утайки, и чтобъ все до одного слова была правда.» Хотя Алексѣй Степанычъ не привыкъ откровенно говорить съ отцемъ, котораго больше боялся, чѣмъ любилъ, но любовь къ Софьѣ Николаевнѣ придала ему смѣлость. Онъ бросился сначала къ отцу въ ноги и потомъ разсказалъ ему со всѣми подробностями, ничего не скрывая, свою сердечную повѣсть. Степанъ Михайловичъ слушалъ терпѣливо, внимательно: кто-то изъ домашнихъ шелъ было къ нему поздороваться, но онъ издали выразительно погрозилъ калиновымъ подожкомъ своимъ, и никто, даже Аксинья съ чаемъ, не смѣлъ подойти, пока онъ самъ не позвалъ. Разсказъ сына былъ безпорядоченъ, сбивчивъ, длиненъ и не убѣдителенъ; но тѣмъ не менѣе свѣтлый умъ Степана Михайловича понялъ ясно, въ чемъ состояло дѣло. По несчастію оно ему не понравилось, и не могло понравиться. Онъ мало понималъ романическую сторону любви, и мужская его гордость оскорблялась влюбленностью сына, которая казалась ему слабостью, униженіемъ, дрянностью въ мужчинѣ; но въ тоже время онъ понялъ, что Софья Николавна тутъ ни въ чемъ не виновата и что все дурное, слышанное имъ на ея счетъ, было чистою выдумкою злыхъ людей и недоброжелательностью собственной семьи. Подумавъ немного, вотъ что онъ сказалъ безъ всякаго гнѣва, даже ласково, но съ твердостью: «Послушай, Алексѣй! ты именно въ такихъ годахъ, когда красивая дѣвица можетъ приглянуться мужчинѣ. Въ этомъ бѣды еще никакой нѣтъ; но я вижу, что ты черезъ-чуръ врѣзался, а это ужъ не годится. Я Софью Николавну ни въ чемъ не виню; я считаю, что она дѣвица предостойная, — только тебѣ не пара и намъ не съ руки. Во-первыхъ, она дворянка вчерашняя, а ты потомокъ самаго древняго дворянскаго дома. Во-вторыхъ, она горожанка, ученая, бойкая, привыкла послѣ мачихи повелѣвать въ домѣ и

привыкла жить богато, даромъ что сама бѣдна; а мы люди деревенскіе, простые, и наше житье ты самъ знаешь; да и себя ты долженъ понимать: ты парень смирный; но хуже всего то, что она больно умна. Взять жену умнѣе себя—бѣда: будетъ командирша надъ мужемъ; а притомъ ты такъ ее любишь, что на первыхъ порахъ непремѣнно избалуешь. Ну, такъ вотъ тебѣ мое отцовское приказаніе: выкинь эту любовь изъ головы. Я же, признаться тебѣ, думаю, что Софья Николавна за тебя и не пойдетъ. Надо рубить дерево по себѣ. Мы поищемъ тебѣ какую нибудь смирненькую, тихонькую, деревенскую родовую дворяночку, да и съ состояніемъ. Выйдешь въ отставку, да и заживешь припѣваючи. Вѣдь мы, братъ, не широки въ перьяхъ; только что сыты, а доходовъ больно мало; объ Куролесовскомъ же наслѣдствѣ, которое всѣмъ глаза разодрало, я и не думаю. Это дѣло невѣрное; Прасковья Ивановна сама человѣкъ не старый, можетъ выйти за-мужъ и народить ребятъ. Ну такъ смотри же, Алеша! чтобъ все съ тебя слетѣло, какъ съ гуся вода, и чтобъ помину небыло о Софьѣ Николавнѣ...» Степанъ Михайловичъ протянулъ милостиво руку своему сыну, которую тотъ поцѣловалъ съ привычною почтительностью. Старикъ велѣлъ подавать чай и звать къ себѣ семью. Онъ былъ необыкновенно ласковъ и веселъ со всѣми; но несчастный Алексѣй Степанычъ впалъ въ совершенное уныніе. Никакой гнѣвъ отца не привелъ бы его въ такое отчаяніе. Гнѣвъ Степана Михайловича проходилъ скоро и послѣ его являлись и снисхожденіе и милость, а теперь онъ видѣлъ спокойную твердость, и потерялъ всякую надежду. Алексѣй Степанычъ вдругъ такъ измѣнился въ лицѣ, что мать испугалась, взглянувъ на него, и стала приставать къ нему съ вопросами: «что съ нимъ сдѣлалось? здоровъ-ли онъ»?—Сестры такъ же замѣтили перемѣну, но будучи похитрѣе, ничего

не сказали. Степанъ Михайловичъ все видѣлъ и все понималъ. Покосившись на Арину Васильевну, онъ проворчалъ сквозь зубы: « Не приставай къ нему ». Алексѣя Степаныча оставили въ покоѣ, не обращая на него вниманія, — и деревенскій день покатился по своей обыкновенной колеѣ.

Разговоръ съ отцомъ глубоко поразилъ, сокрушилъ, можно сказать, сердце Алексѣя Степаныча. Онъ потерялъ сонъ, аппетитъ, сдѣлался совершенно ко всему равнодушенъ и ослабѣлъ тѣломъ. Арина Васильевна принялась плакать и даже сестры перетревожились. На другой день мать едва могла добиться, чтобы онъ сказалъ нѣсколько словъ о томъ, что̀ говорилъ съ нимъ отецъ. На всѣ допросы Алексѣй Степанычъ отвѣчалъ: « Батюшкѣ не угодно, я человѣкъ погибшій, я не жилецъ на этомъ свѣтѣ. » И въ самомъ дѣлѣ черезъ недѣлю онъ лежалъ въ совершенной слабости и въ постоянномъ забытьѣ: жару наружнаго не было, а онъ бредилъ и день и ночь. Болѣзни его никто понять не могъ, но это просто была нервная горячка. Семья перепугалась ужасно; докторовъ поблизости не было, и больнаго принялись лечить домашними средствами; но ему становилось часъ отъ часу хуже и наконецъ онъ сдѣлался такъ слабъ, что каждый часъ ожидали его смерти. Арина Васильевна и сестры ревѣли и рвали на себѣ волосы. Степанъ Михайловичъ не плакалъ, не сидѣлъ безпрестанно надъ больнымъ, но едва ли не больше всѣхъ страдалъ душою; онъ хорошо понималъ причину болѣзни. «Но молодость свое взяла» и ровно черезъ шесть недѣль Алексѣю Степанычу стало полегче. Онъ проснулся къ жизни совершеннымъ ребенкомъ и жизнь медленно вступала въ права свои; онъ выздоравливалъ два мѣсяца; казалось онъ ничего прошедшаго не помнилъ. Онъ радовался всякому явленію въ природѣ и въ домашнемъ быту,

какъ новому незнакомому явленію; наконецъ совершенно оправился, даже поздоровѣлъ, пополнѣлъ и получилъ, уже болѣе года потерянный, румянецъ во всю щеку; удилъ рыбу, ходилъ на охоту за перепелами, ѣлъ и пилъ апетитно и былъ веселъ. Родители не нарадовались, не наглядѣлись на него и убѣдились, что болѣзнь выгнала изъ молодой головы и сердца всѣ прежнія мысли и чувства. Можетъ быть оно и въ самомъ дѣлѣ было бы такъ, еслибъ его взяли въ отставку, продержали съ годъ въ деревнѣ, нашли хорошенькую невѣсту и женили; но старики безпечно обнадѣялись настоящимъ положеніемъ сына: черезъ полгода отправили его опять на службу въ тотъ же Верхній Земскій Судъ, опять на житье въ ту же Уфу — и судьба его рѣшилась навсегда. Прежняя страсть загорѣлась съ новою, несравненно бо̀льшею силой. Какъ возвратилась любовь въ сердце Алексѣя Степаныча, вдругъ или постепенно — ничего не знаю; знаю только, что онъ сначала ѣздилъ къ Зубинымъ изрѣдка, потомъ чаще и наконецъ такъ часто, какъ было возможно. Знаю, что покровительница его, Алакаева, продолжала ѣздить къ Софьѣ Николавнѣ, тонкими разспросами вывѣдывала ея расположеніе и привозила благопріятные отзывы, утверждавшіе и въ ней самой надежду, что гордая красавица благосклонно расположена къ ея скромному родственнику. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ отъѣзда Алексѣя Степаныча изъ деревни, вдругъ получили отъ него письмо, въ которомъ онъ, съ несвойственной ему твердостью, хотя всегда съ почтительной нѣжностью, объяснилъ своимъ родителямъ, что любитъ Софью Николавну больше своей жизни, что не можетъ жить безъ нея, что надѣется на ея согласіе и проситъ родительскаго благословенія и позволенія посвататься. Старики вовсе не ожидали такого письма и были имъ поражены. Степанъ

Михайловичъ сдвинулъ брови, но ни однимъ словомъ не выразилъ своихъ мыслей. Вся семья хранила глубокое молчаніе; онъ махнулъ рукой, и всѣ оставили его одного. Долго сидѣлъ мой дѣдушка, чертя калиновымъ подожкомъ какія-то фигуры на полу своей комнаты. Степанъ Михайловичъ скоро смекнулъ, что дѣло плохо и что теперь ужъ никакая горячка не вылечитъ отъ любви его сына. По своей живой и благосклонной натурѣ, онъ даже поколебался, не дать ли согласія, о чемъ можно было заключить изъ его словъ, обращенныхъ къ Аринѣ Васильевнѣ. «Ну что, Ариша (говорилъ онъ ей на слѣдующее утро, разумѣется наединѣ), какъ ты мекаешь? Вѣдь не позволимъ, такъ намъ не видать Алексѣя, какъ ушей своихъ: или умретъ съ тоски, или на войну уйдетъ, или пойдетъ въ монахи—и родъ Багровыхъ прекратится». Но Арина Васильевна, уже настроенная дочерьми, какъ-то не испугалась за своего сынка и отвѣчала: «Твоя воля, Степанъ Михайловичъ; что тебѣ угодно, того и я желаю; да только какое же будетъ отъ нихъ тебѣ уваженіе, если они поставятъ на своемъ, послѣ твоего родительскаго запрещенья?» Пошлая хитрость удалась: самолюбіе старика разшевелилось и онъ рѣшился подержаться. Онъ продиктовалъ сыну письмо, въ которомъ выразилъ удивленіе, что онъ принялся опять за прежнее, и повторилъ то, что говорилъ ему на словахъ. Короче, письмо содержало положительный отказъ.

Прошло двѣ-три недѣли—небыло писемъ отъ Алексѣя Степаныча. Наконецъ, въ одинъ осенній, ненастный день, дѣдушка сидѣлъ въ своей горницѣ, поперекъ постели, въ любимомъ своемъ халатѣ изъ тонкой армячины(*) сверхъ рубашки,

(*) Не знаю какъ теперь, а въ старые годы на Оренбургской линіи такую покупали армячину, которая своей тонкой и чистотой равнялась съ лучшими Азіатскими тканями.

въ туфляхъ на босую ногу; подлѣ него пряла на самопрялкѣ козій пухъ Арина Васильевна и старательно выводила тонкія длинныя нити, потому что затѣяла выткать изъ нихъ домашнее сукно на платье своему сыночку, такъ чтобъ оно было ему и легко, и тепло, и покойно; у окошка сидѣла Танюша и читала какую-то книжку; гостившая въ Багровѣ, Елисавета Степановна, присѣла подлѣ отца на кровати и разсказывала ему про свое трудное житье, про службу мужа, про свое скудное хозяйство и недостатки. Старикъ печально слушалъ, положа руки на колѣни и опустивъ на грудь свою, уже посѣдѣлую, голову. Вдругъ дверь изъ лакейской отворилась; высокой, красивый молодой парень, Иванъ Малышъ, въ дорожной курткѣ, проворно вошелъ и подалъ письмо съ почты, за которымъ ѣздилъ онъ въ городъ за 25 верстъ. Очевидно было, что письма ожидали съ нетерпѣньемъ, потому что всѣ встрепенулись. «Отъ Алеши?» спросилъ торопливо и не спокойно старикъ. «Отъ братца» отвѣчала Танюша, подбѣжавшая къ Малышу, проворно взявшая письмо и прочитавшая адресъ. «Спасибо, что скоро съѣздилъ. Чарку водки Малышу. Ступай обѣдать и отдыхать». Ту жъ минуту отворился высокой поставецъ, барышня вытащила длинный штофъ узорнаго стекла, налила серебряную чарку и подала Малышу; тотъ перекрестился, выпилъ, крякнулъ, поклонился и ушелъ. «Ну читай, Танюша» сказалъ дѣдушка. Татьяна Степановна была его чтецомъ и писцомъ. Она помѣстилась у окошка; бабушка оставила прялку, дѣдушка всталъ съ кровати, и всѣ обсѣли кругомъ Татьяну Степановну, распечатавшую между тѣмъ письмо, но не смѣвшую предварительно заглянуть въ него. Послѣ минутнаго молчанія, началось медленное и внятное чтеніе въ полголоса. Послѣ обыкновенныхъ тогда: «Милостивѣйшій Государь батюшка и Милостивѣйшая Государыня матушка,» Алексѣй Степанычъ пи-

салъ почти слѣдующее: «на послѣднее мое просительное письмо, я имѣлъ несчастіе получить немилостивый отвѣтъ отъ васъ, дражайшіе родители. Не могу преступить воли вашей и покоряюсь ей; но не могу долго влачить бремя моей жизни безъ обожаемой мною Софьи Николавны; а потому въ непродолжительномъ времени смертоносная пуля скоро просверлитъ голову несчастнаго вашего сына (*)». Эффектъ былъ сильный; тетки мои захныкали, бабушка, ничего подобнаго не ожидавшая, поблѣднѣла, всплеснула руками и повалилась безъ памяти на полъ, какъ снопъ: въ старину также бывали обмороки. Степанъ Михайловичъ не шевельнулся; только голова его покосилась на одну сторону, какъ передъ началомъ припадка гнѣва, и слегка затряслась.... она не переставала уже трястись до его смерти. Дочери, опомнившись, бросились помогать матери и скоро привели ее въ чувство. Тогда, поднявши вой какъ по мертвому, Арина Васильевна бросилась въ ноги Степану Михайловичу. Дочери, слѣдуя ея примѣру, также заголосили. Арина Васильевна, не смотря на грозное положеніе головы моего дѣдушки, забывъ и не понимая, что сама подстрекнула старика не согласиться на женитьбу сына, громко завопила: «батюшка Степанъ Михайловичъ! сжалься, не погуби роднаго своего дѣтища: вѣдь онъ у насъ одинъ и есть; позволь жениться Алешѣ! Часу не проживу, если съ нимъ что случится». Старикъ оставался неподвижно въ прежнемъ положеніи. Наконецъ нетвердымъ голосомъ сказалъ: «полно выть. Выпороть надо бы Алешу. Ну да, до завтра; утро вечера мудренѣе; а теперь уйдите и велите давать обѣдать». Обѣдъ у старика слу-

(*) Письмо это я почти помню наизусть. Вѣроятно оно и теперь существуетъ въ старыхъ бумагахъ одного изъ моихъ братьевъ. Очевидно, что нѣкоторыя выраженія письма заимствованы изъ тогдашнихъ романовъ, до которыхъ Алексѣй Степанычъ былъ охотникъ.

жилъ успокоительнымъ средствомъ въ трудныхъ обстоятельствахъ. Арина Васильевна заголосила было опять: «помилуй, помилуй!» Но Степанъ Михайловичъ громко закричалъ: «убирайтесь вонъ!» и въ голосѣ его послышался ревъ приближающейся бури. Всѣ поспѣшно удалились. До обѣда никто не смѣлъ заглянуть въ комнату Степана Михайловича.—Что пролетѣло по душѣ его въ эти минуты, какая борьба совершилась у желѣзной воли съ отцовскою любовью и разумностью, какъ уступилъ побѣду упорный духъ?.. трудно себѣ представить; но когда раздался за дверью голосъ Мазана: «Кушанье готово», дѣдушка вышелъ спокоенъ, и ожидавшія его жена и дочери, каждая у своего стула, не замѣтили, на слегка побѣднѣвшемъ лицѣ его, ни малѣйшаго гнѣва; напротивъ онъ былъ спокойнѣе, чѣмъ поутру, даже веселѣе, и кушалъ очень апетитно. Скрѣпя сердце, Арина Васильевна должна была подлаживаться къ его рѣчамъ, и не смѣя не только спрашивать, но даже и вздыхать, напрасно старалась разгадать мысли своего супруга; напрасно устремляла вопрошающіе взгляды маленькихъ своихъ каштановыхъ глазокъ, заплывшихъ жиромъ,— темноголубые, открытые и веселые глаза Степана Михайловича ничего не отвѣчали. Послѣ обѣда онъ уснулъ по обыкновенію; проснувшись сдѣлался еще веселѣе; но о письмѣ и о сынѣ ни пол-слова. Всѣ однако видѣли, что на умѣ у старика ничего недобраго не было. Прощаясь съ супругомъ послѣ ужина, Арина Васильевна осмѣлилась спросить: «не изволишь ли сказать мнѣ чего нибудь объ Алешѣ?» Дѣдушка улыбнулся и отвѣчалъ: «я уже сказалъ тебѣ: утро вечера мудренѣе. Почивай съ Богомъ.»

Утро въ самомъ дѣлѣ оказалось и мудро и благодатно. Дѣдушка всталъ въ четыре часа. Мазанъ вздулъ ему огня. Первыми словами Степана Михайловича были: «Танайченокъ,

ты сейчасъ ѣдешь въ Уфу съ письмомъ къ Алексѣю Степанычу; соберись въ одну минуту; да чтобы никто незналъ, куда и за чѣмъ ѣдешь. Въ корень молодаго бурого, а на пристяжку свистуна. Возьми овса двѣ осьмины и каравай хлѣба. Спроси у ключника Петра два рубля мѣдныхъ денегъ на дорогу. Какъ я напишу письмо, чтобы все было готово.» Сказано — сдѣлано. Эта поговорка исполнялась у дѣдушки безъ отговорокъ. Онъ отперъ дубовую шкатулку или шкафъ, нѣчто въ родѣ письменнаго бюро, досталъ бумаги, перо, чернильницу, и написалъ не безъ труда (потому что лѣтъ уже десять подписывалъ только свое имя), тяжелымъ стариннымъ почеркомъ: «Любезный сынъ нашъ Алексѣй! Мы съ матерью твоей Ариной Васильевной позволяемъ тебѣ жениться на Софьѣ Николаевнѣ Зубиной, если на то будетъ воля Божія, и посылаемъ тебѣ наше родительское благословеніе. Отецъ твой, Степанъ Багровъ».

Черезъ полчаса, еще задолго до свѣту, вытянулъ Танайченокъ длинную гору мимо господскаго гумна и ѣхалъ бойкой рысью по дорогѣ въ Уфу. Въ пять часовъ приказалъ Степанъ Михайловичъ подавать самоваръ той же Аксіоткѣ, которая изъ молодой и некрасивой дѣвки, сдѣлалась уже очень не молодой и еще болѣе не красивой дѣвкой; но будить никого не приказалъ. Не смотря на то, старую барыню разбудили и по секрету донесли, что уже давнымъ давно уѣхалъ куда-то Танайченокъ съ письмомъ отъ барина, на парѣ господскихъ лошадей. Арина Васильевна не осмѣлилась вдругъ прійти къ своему супругу; она помѣшкала съ часъ времени и явилась, когда уже старикъ напился чаю и весело балагурилъ съ Аксиньей. «Ну за чѣмъ тебя разбудили? привѣтливо сказалъ Степанъ Михайлычъ, протягивая руку. Вѣдь ты чать плохо спала?» «Меня никто не будилъ, отвѣчала Арина Васильевна, по-

чтительно цѣлуя руку старика; я сама проснулась. Я спала ночь хорошо, въ надеждѣ на твою милость къ бѣдному нашему Алешѣ.» Дѣдушка пристально посмотрѣлъ на нее, но ничего не увидѣлъ на привыкшемъ къ притворству лицѣ. «А коли такъ, то я тебя порадую: я послалъ нарочнаго гонца въ Уфу, и написалъ Алексѣю отъ обоихъ насъ позволеніе жениться на Софьѣ Николавнѣ.»

Арина Васильевна, не смотря на то, что приведенная въ ужасъ страшнымъ намѣреніемъ сына, искренно молила и просила своего крутаго супруга: позволить жениться Алексѣю Степанычу,—была не столько обрадована, сколько испугана рѣшеніемъ Степана Михайловича, или лучше сказать, она бы и обрадовалась, да не смѣла радоваться, потому что боялась своихъ дочерей; она уже знала, что думаетъ о письмѣ Лизавета Степановна и угадывала, что скажетъ Александра Степановна. По всѣмъ этимъ причинамъ, Арина Васильевна приняла рѣшеніе своего супруга, которымъ онъ надѣялся ее обрадовать, какъ-то холодновато и странно, что́ старикъ замѣтилъ; Лизавета Степановна не изъявила ни малѣйшаго удовольствія, а только одну почтительную покорность волѣ отца; Танюша, вѣрившая письму брата искренно, обрадовалась отъ всего сердца. Лизавета Степановна даже и въ первую минуту не была встревожена намѣреніемъ брата; она плакала и просила за него только потому, что мать и меньшая сестра плакали и просили: нельзя же было ей такъ ярко рознить съ ними. Она выписала немедленно Александру Степановну, которая пришла въ бѣшенство, узнавъ о рѣшеніи дѣла, и сейчасъ прискакала; разумѣется она сочла письмо братца за пустую угрозу, за штуку Софьи Николавны. Съ помощью Лизаветы Степановны, она скоро увѣрила въ этомъ мать. и даже меньшую сестру, Танюшу. Но дѣло было кончено: явно возставать противъ него, не

представлялось уже никакой возможности. Мыслей же Степана Михайлыча, будто Софья Николавна сама не пойдетъ за Алексѣя Степаныча, никто изъ семьи не раздѣлялъ. Оставимъ Багрово и посмотримъ, что̀ дѣлается въ Уфѣ.

Я не беру на себя рѣшить положительно, имѣлъ ли Алексѣй Степанычъ твердое намѣреніе застрѣлиться, въ случаѣ отказа своихъ родителей, или, прочитавъ въ какомъ-нибудь романѣ подобное происшествіе, вздумалъ попробовать: не испугаются ли его родители такого страшнаго послѣдствія своей непреклонности? Судя по дальнѣйшему развитію характера Алексѣя Степаныча, мнѣ хорошо извѣстному, я равно не могу признать его способнымъ ни къ тому, ни къ другому поступку. И такъ, я предполагаю только, что молодой человѣкъ не хитрилъ, не думалъ пугнуть своихъ стариковъ, а напротивъ искренно думалъ застрѣлиться, если ему не позволятъ жениться на Софьѣ Николавнѣ, но въ то же время я думаю, что онъ никогда не имѣлъ бы духу привесть въ исполненіе такого отчаяннаго намѣренія, хотя люди тихіе и кроткіе, слабодушные, какъ ихъ называютъ, бываютъ иногда способны къ отчаяннымъ поступкамъ болѣе, чѣмъ натуры живыя и бѣшеныя. Мысль о самоубійствѣ безъ сомнѣнія была почерпнута изъ какого-нибудь романа: она совершенно противорѣчитъ характеру Алексѣя Степаныча, его взгляду на жизнь и сферѣ понятій, въ которыхъ онъ родился, воспитался и жилъ. Какъ бы то ни было, пустивъ въ ходъ свою грамотку, Алексѣй Степанычъ пришелъ въ сильное волненіе, занемогъ и получилъ лихорадку. Покровительница его Алакаева, знавшая все, — о послѣднемъ письмѣ ничего не знала; она навѣщала его ежедневно и замѣчала, что кромѣ лихорадки простой и лихорадки любовной, молодой человѣкъ еще чѣмъ-то необыкновенно

встревоженъ Въ одинъ день сидѣла она у Алексѣя Степаныча, вязала чулокъ и разговаривала о всякой всячинѣ, стараясь занять больнаго и отвлечь его мысли отъ безнадежной любви. Алексѣй Степанычъ прилегъ на канапе, заложилъ руки за голову и смотрѣлъ въ окошко. Вдругъ онъ поблѣднѣлъ, какъ полотно: по улицѣ проѣхала телѣга парой и заворотила на дворъ; Алексѣй Степанычъ узналъ лошадей и Танайченка. Онъ вскочилъ на ноги и съ крикомъ: «отъ батюшки, изъ Багрова» бросился въ переднюю. Алакаева схватила его за руки и съ помощью сидѣвшаго въ лакейской человѣка не допустила его выбѣжать на крыльцо, потому-что на дворѣ стояла мокрая и холодная осенняя погода. Между тѣмъ Танайченокъ проворно вбѣжалъ въ комнату и подалъ письмо. Алексѣй Степанычъ дрожащими руками распечаталъ, прочелъ коротенькое письмо, залился слезами и бросился на колѣни передъ образомъ. Алакаева сначала не знала, что̀ и подумать; но Алексѣй Степанычъ подалъ ей родительскую грамотку и она, прочитавъ ее, также съ радостными слезами принялась обнимать обезумѣвшаго отъ восторга, молодаго человѣка. Тутъ онъ признался ей, какое письмо послалъ къ отцу и матери. Алакаева покачала головой. Призвали Танайченка, разспросили подробно объ его отправкѣ и увидѣли, что дѣло было рѣшено собственно самимъ Степаномъ Михайлычемъ, безъ участія, безъ вѣдома своей семьи и вѣроятно противъ ея желанія. Когда прошли первыя минуты радостнаго волненія для Алексѣя Степаныча и совершеннаго изумленія для Алакаевой, которая, перечитавъ снова письмо, все еще не вѣрила глазамъ своимъ, потому что хорошо знала нравъ Степана Михайлыча и хорошо понимала недоброжелательство семьи, — начали они совѣщаться, какъ приступить къ дѣлу. Когда оно казалось далекимъ, невозможнымъ со стороны семейства

жениха, тогда они считали его благонадежнымъ со стороны невѣсты; но тутъ вдругъ напало на Алакаеву сомнѣніе: припомнивъ и сообразивъ всѣ благопріятные признаки, она почувствовала, что, можетъ быть, слишкомъ перетолковала ихъ въ пользу жениха. Какъ умная женщина, она поспѣшила охладить пылкія надежды молодаго человѣка, благоразумно разсуждая, что, обольстившись ими, труднѣе ему будетъ перенесть внезапное разрушеніе радужныхъ своихъ мечтаній; отказъ вдругъ представился ей очень возможнымъ, и ея опасенія навели страхъ на Алексѣя Степаныча. Впрочемъ Алакаева нисколько не отступилась отъ своего обѣщанія и на другой же день поѣхала съ предложеніемъ къ Софьѣ Николавнѣ. Она просто, ясно, безъ всякаго преувеличенья, описала постоянную и горячую любовь Алексѣя Степаныча, давно извѣстную всему городу (конечно и Софьѣ Николавнѣ); съ родственнымъ участіемъ говорила о прекрасномъ характерѣ, добротѣ и рѣдкой скромности жениха; справедливо и точно разсказала про его настоящее и будущее состояніе; разсказала правду про все его семейство, и не забыла прибавить, что вчера Алексѣй Степанычъ получилъ чрезъ письмо полное согласіе и благословеніе родителей искать руки достойнѣйшей и всѣми уважаемой Софьи Николавны, что самъ онъ отъ волненія, ожиданія отвѣта родителей и несказанной любви, занемогъ лихорадкой; но не имѣя силъ откладывать рѣшеніе своей судьбы, просилъ ее какъ родственницу и знакомую съ Софьей Николавной даму, узнать: угодно ли, не противно ли будетъ ей, чтобы Алексѣй Степанычъ сдѣлалъ формальное предложеніе Николаю Ѳедоровичу. Софья Николавна, давно привыкшая, какъ говорилось въ старину: «сама обивать около себя росу», или къ самобытности, какъ говорится теперь, — безъ смущенія, безъ всякихъ

церемоній и дѣвичьихъ оговорокъ и жеманствъ, тогда неизбѣжныхъ, отвѣчала Алакаевой слѣдующее: «Благодарю Алексѣя Степаныча за честь мнѣ сдѣланную, а васъ, почтеннѣйшая Мавра Павловна, за участіе. Скажу вамъ откровенно: я давно замѣтила, что Алексѣй Степанычъ ко мнѣ не равнодушенъ и давно ожидала, что онъ сдѣлаетъ мнѣ предложеніе, не рѣшая, впрочемъ, вопроса пойду ли я за него или нѣтъ. Послѣдняя поѣздка Алексѣя Степаныча къ отцу и къ матери, его внезапная, какъ сами вы мнѣ сказывали, опасная продолжительная болѣзнь въ деревнѣ, и перемѣна, когда онъ воротился, показали мнѣ, что родители его не желаютъ имѣть меня невѣсткой. Признаюсь, я этого не ожидала; скорѣе можно было опасаться несогласія со стороны моего отца. Потомъ я увидѣла, что Алексѣй Степанычъ возвратился къ прежнимъ чувствамъ, и теперь догадываюсь, что онъ успѣлъ склонить отца и мать къ согласію. Но разсудите сами, почтеннѣйшая Мавра Павловна, что теперь это дѣло принимаетъ совсѣмъ другой видъ: входить въ семейство противъ его желанія—рискъ слишкомъ опасный. Конечно отецъ мой не сталъ бы противиться моему выбору; но могу ли я рѣшиться его обмануть? Узнавъ же, что его Соничку, какой-то деревенскій помѣщикъ не вдругъ удостоилъ чести войдти въ его семейство, — онъ ни за что не согласится и сочтетъ это униженіемъ. Я не влюблена въ Алексѣя Степаныча, я только уважаю его прекрасныя свойства, его постоянную любовь и считаю, что онъ можетъ составить счастіе любимой женщины. И такъ позвольте мнѣ подумать и притомъ, прежде чѣмъ я скажу объ этомъ моему больному отцу, прежде чѣмъ встревожу его такимъ извѣстіемъ, я хочу сама говорить съ Алексѣемъ Степанычемъ: пусть онъ пріѣдетъ къ намъ, когда выздоровѣетъ.»

Алакаева съ точностью передала отвѣтъ жениху: ему показался онъ не предвѣщающимъ добра, но Алакаева напротивъ находила его весьма благопріятнымъ и успокоила Алексѣя Степаныча.

Долго сидѣла Софья Николавна одна въ гостиной, простившись очень дружески съ Маврой Павловной, и думала крѣпкую думу. Омрачились ея живые и блестящіе глаза, тяжелыя мысли пробѣгали по душѣ и отражались какъ въ зеркалѣ на ея прекрасномъ лицѣ. Все, что она сказала Алакаевой, была совершенная правда, и вопросъ идти или нѣтъ за Алексѣя Степаныча — точно оставался не рѣшеннымъ. Наконецъ предположеніе сватовства обратилось въ дѣйствительность, и надо было рѣшить этотъ великой, роковой вопросъ для всякой дѣвушки. Необыкновенно ясная голова Софьи Николавны, еще не омраченная страстностью ея натуры, тогда ничѣмъ глубоко не возмущаемой,—все понимала и все видѣла, въ настоящемъ видѣ, въ настоящемъ свѣтѣ. Положеніе ея въ будущемъ было безотрадно: отецъ лежалъ на смертномъ одрѣ и, по словамъ лучшаго доктора Зандена (*), не могъ прожить болѣе года; все состояніе старика заключалось въ двухъ подгородныхъ деревушкахъ: Зубовкѣ и Касимовкѣ, всего 40 душъ съ небольшимъ количествомъ земли; наличныхъ денегъ у Николая Ѳедорыча было накоплено до десяти тысячъ рублей, и онъ назначалъ ихъ на приданое своей Соничкѣ. Выдать ее за-мужъ было постояннымъ, горячимъ его желаніемъ; но —бываютъ же такія чудеса: Софья Николавна не имѣла еще ни одного жениха, то есть, не получила ни одного формальнаго предложенія. По смерти старика должны остаться шестеро сводныхъ дѣтей отъ

(*) Ѳедоръ Ивановичъ Зандень, докторъ весьма ученый, бывшій въ послѣдствіи штабъ-физикомъ въ Москвѣ.

двухъ браковъ; должны были учредиться двѣ опеки, и послѣднія трое дѣтей отъ Александры Петровны, поступали къ родной бабушкѣ, Е. Д. Р—ой, подъ опеку сына ея, В. П. Р—ва. Материнское имѣніе ихъ заключалось также въ небольшой деревенькѣ душъ въ 50; братья Софьи Николавны отъ одной матери, находились въ Москвѣ, въ университетскомъ благородномъ пансіонѣ, и она оставалась совершенно одна, даже не было дальнихъ сродниковъ, у которыхъ могла бы она жить. Однимъ словомъ: некуда было приклонить голову! Нужда, бѣдность, жизнь изъ милости въ чужихъ людяхъ, полная зависимость отъ чужихъ людей—тяжелы всякому; но для дѣвушки, стоявшей въ обществѣ такъ высоко, жившей въ такомъ довольствѣ, гордой по природѣ, избалованной общимъ искательствомъ и ласкательствомъ, для дѣвушки, которая испытала всю страшную тяжесть зависимости и потомъ всю прелесть власти,—такой переходъ долженъ былъ казаться невыносимымъ. И вотъ молодой, честный, скромный, пригожій собою мужчина, стариннаго дворянскаго рода, единственный сынъ, у отца котораго было 180 душъ, который долженъ былъ получить богатое наслѣдство отъ тетки, который любитъ, боготворитъ ее—предлагаетъ ей руку и сердце: съ перваго взгляда тутъ нечего и колебаться. Но нравственное неравенство между ними было слишкомъ велико. Никто въ городѣ не могъ подумать, чтобъ Софья Николавна вышла за Алексѣя Степаныча. Она очень хорошо понимала справедливость общественнаго мнѣнія и не могла не уважать его. Невѣста чудо красоты и ума—женихъ, правда бѣлый, розовый, нѣжный (что именно не нравилось Софьѣ Николавнѣ), но простенькой, не дальной, по мнѣнію всѣхъ, деревенской дворянчикъ; невѣста бойка, жива—женихъ робокъ и вялъ; невѣста по тогдашнему образованная, чуть не ученая дѣ-

вица, начитанная, понимавшая всѣ высшіе интересы—женихъ совершенный невѣжда, ничего не читавшій, кромѣ двухъ-трехъ глупѣйшихъ романовъ, въ родѣ Любовнаго Вертограда или Аристея и Телазіи, да русскаго пѣсенника, женихъ. интересы котораго не простирались далѣе ловли перепеловъ на дудки и соколиной охоты; невѣста остроумна, ловка, блистательна въ свѣтскомъ обществѣ—женихъ не умѣетъ сказать двухъ словъ, неловокъ застѣнчивъ, смѣшонъ, жалокъ, умѣетъ только краснѣть, кланяться и жаться въ уголъ или къ дверямъ, подалѣе отъ свѣтскихъ говоруновъ, которыхъ просто боялся, хотя по истинѣ многихъ изъ нихъ былъ гораздо умнѣе; невѣста съ твердымъ надменнымъ неуступчивымъ характеромъ — женихъ слабый, смирный, безотвѣтный, котораго всякій могъ загонять. Ему ли поддержать, защитить жену въ обществѣ и семействѣ?... такія противоположныя мысли, взгляды и картины роились, мѣшались, тѣснились въ воображеніи молодой дѣвушки. Давно наступили сумерки, она все еще сидѣла одна въ гостиной; наконецъ невыразимое смятеніе тоски, страшное сознаніе, что умъ ничего придумать и рѣшить не можетъ, что для него становится все часъ отъ часу темнѣе—обратили ея душу къ молитвѣ. Она побѣжала въ свою комнату молиться и просить свѣта разума свыше, бросилась на колѣни передъ образомъ Смоленской Божьей Матери, нѣкогда чуднымъ знаменіемъ озарившей и указавшей ей путь жизни; она молилась долго, плакала горючими слезами и мало по малу почувствовала какое-то облегченіе, какую-то силу, способность къ рѣшимости, хотя не знала еще, на что она рѣшится; это чувство было уже отрадно ей. Она сходила посмотрѣть на заснувшаго больнаго своего отца, воротилась въ свою комнату, легла и спокойно заснула. На другой день поутру, Софья Николавна проснулась безъ всякаго

волненія; она подумала нѣсколько минутъ, бросила взглядъ на вчерашнія свои колебанія и смущенія и спокойно осталась при своемъ намѣреніи поговорить сначала съ женихомъ и потомъ уже рѣшить дѣло окончательно, смотря по тому впечатлѣнію, какое произведетъ на нее разговоръ съ Алексѣемъ Степанычемъ.

Алексѣй Степанычъ, желая какъ можно скорѣе узнать рѣшеніе судьбы своей, призвалъ доктора и умолялъ вылечить его поскорѣе. Докторъ обѣщалъ и на этотъ разъ сдержалъ обѣщаніе. Черезъ недѣлю Алексѣй Степанычъ, правду сказать, худой, блѣдный и слабый, сидѣлъ уже въ гостиной у Софьи Николавны. Взглянувъ на тощую фигуру молодаго человѣка, прежде цвѣтущаго румянцемъ здоровья, она почувствовала жалость и многое сказала не такъ рѣзко, не такъ строго, какъ хотѣла. Въ сущности невѣста сказала жениху все тоже, что говорила Алакаевой, но прибавила, что она во-первыхъ не разстанется съ отцомъ пока онъ живъ, а во-вторыхъ, что она не будетъ жить въ деревнѣ, а желаетъ жить въ губернскомъ городѣ, именно въ Уфѣ, гдѣ имѣетъ много знакомыхъ, достойныхъ и образованныхъ людей, въ обществѣ которыхъ должна жить съ мужемъ. Въ заключеніе она прибавила, что очень бы желала, чтобъ ея мужъ служилъ и занималъ въ городѣ, хотя не блестящее, но благородное и почтенное мѣсто. На всѣ такія предварительныя условія и предъявленія будущихъ правъ жены, Алексѣй Степанычъ отвѣчалъ съ подобострастіемъ, что «всѣ желанія Софьи Николавны для него законъ, и что его счастіе будетъ состоять въ исполненіи ея воли.....» и этотъ отвѣтъ, не достойный мужчины, вѣрный признакъ, что на любовь такого человѣка нельзя положиться, что онъ не можетъ составить счастія женщины, — могъ понравиться такой умной дѣвушкѣ. Поневолѣ должно признать, что въ осно-

ваніи ея характера уже лежали сѣмена властолюбія и что въ настоящее время, освобожденныя изъ-подъ тяжкаго гнета жестокой мачихи, онѣ дали сильные ростки, что безъ вѣдома самой Софьи Николавны — любовь къ власти была тайною причиною ея рѣшимости. Софья Николавна захотѣла сама прочесть письмо, въ которомъ Алексѣй Степанычъ получилъ позволеніе своихъ родителей искать ея руки. Письмо было въ карманѣ у жениха, и онъ показалъ его. Софья Николавна прочла и убѣдилась, что ея догадки о первоначальномъ несогласіи родителей были совершенно справедливы. Молодой человѣкъ не умѣлъ притворяться, и притомъ такъ былъ влюбленъ, что не могъ противиться ласковому взгляду или слову обожаемой красавицы; когда Софья Николавна потребовала полной откровенности, онъ высказалъ ей всю подноготную безъ утайки, и кажется эта откровенность окончательно рѣшила дѣло въ его пользу. Мысль воспитать по своему, образовать добродушнаго молодаго человѣка, скромнаго, чистосердечнаго, неиспорченнаго свѣтомъ — забралась въ умную, но все таки женскую голову Софьи Николавны. Ей представилась плѣнительная картина постепеннаго пробужденія и воспитанія дикаря, у котораго не было недостатка ни въ умѣ, ни въ чувствахъ, погруженныхъ въ непробудный сонъ, который будетъ еще болѣе любить ее, если это возможно, въ благодарность за свое образованіе. Эта мысль овладѣла пылкимъ воображеніемъ Софьи Николавны, и она очень милостиво отпустила своего хвораго обожателя; обѣщала поговорить съ отцемъ и передать отвѣтъ черезъ Алакаеву. Алексѣй Степанычъ утопалъ въ восторгѣ, по тогдашнему выраженію. Вечеромъ Софья Николавна опять прибѣгла къ молитвѣ; опять молилась долго, восторженно, напряженно; она заснула очень утомленная, и ночью видѣла сонъ, который растолковала,

какъ слѣдуетъ, въ подтвержденіе своего рѣшенія. Умъ человѣческій все растолкуетъ такъ, какъ ему хочется. Я забылъ этотъ сонъ, но помню, что его можно было растолковать въ противоположную сторону, съ гораздо большимъ основаніемъ и гораздо меньшими натяжками. На слѣдующее утро Софья Николавна немедленно сообщила своему почти умирающему отцу о предложеніи Алексѣя Степаныча. Хотя Николай Ѳедорычъ почти не зналъ жениха, но у старика какъ-то составилось понятіе о немъ, какъ о человѣкѣ самомъ ничтожномъ. При всемъ пламенномъ желаніи пристроить Соничку при своей жизни, этотъ женихъ (первый надобно замѣтить) ему не понравился. Но Софья Николавна, съ обыкновенною пылкостью своего ума и убѣдительнымъ краснорѣчіемъ, доказала старику, что не должно пропускать такой партіи. Она высказала ему все, что̀ мы уже знаемъ, въ пользу этого брака, и главное, что не только не разлучится съ нимъ но и останется жить въ одномъ домѣ. Она такъ живо представила свое безпомощное, безпріютное состояніе, когда Богу будетъ угодно оставить ее сиротой, что Николай Ѳедорычъ прослезился и сказалъ: «другъ мой, умница моя Соничка! дѣлай, что тебѣ угодно: я на все согласенъ. Представь же мнѣ поскорѣй своего будущаго жениха; я хочу познакомиться съ нимъ поближе, и также хочу непремѣнно, чтобъ его родители сдѣлали намъ письменное предложеніе.»

Софья Николавна написала записку Алакаевой и просила передать Алексѣю Степанычу, что Николай Ѳедорычъ приглашаетъ его къ себѣ въ такомъ-то часу.

Алексѣй Степанычъ продолжалъ утопать въ блаженствѣ, раздѣляя его только съ покровительницей своей Маврой Павловной, но приглашеніе къ Николаю Ѳедорычу въ назначенный часъ, приглашеніе, котораго онъ никакъ не ожидалъ,

считая старика слишкомъ больнымъ и слабымъ, очень его смутило. Николай Ѳедорычъ, за отсутствіемъ Намѣстника первое лицо, первая власть въ цѣломъ Уфимскомъ краѣ, Николай Ѳедорычъ, къ которому онъ и прежде приближался съ благоговѣніемъ — теперь казался ему чѣмъ-то особенно страшнымъ. Ну, если ему не понравилось намѣреніе чиновника Верхняго Земскаго Суда, 13-го класса, жениться на его дочкѣ? Если онъ сочтетъ дерзостью такое предложеніе, да крикнетъ: «Какъ ты осмѣлился подумать о моей дочери? По тебѣ ли она невѣста? Посадить его подъ караулъ, отдать подъ судъ....» Какъ ни дики кажутся такія мысли, но онѣ дѣйствительно пришли тогда въ голову молодому человѣку, о чемъ онъ самъ разсказывалъ впослѣдствіи. — Собравшись съ духомъ, ободряемый словами Алакаевой, Алексѣй Степанычъ напялилъ мундиръ, или вѣрнѣе сказать надѣлъ его на себя, какъ на вѣшалку, потому что очень похудѣлъ, и отправился къ Товарищу Намѣстника. Съ треугольной шляпой подъ мышкой, придерживая дрожащей рукой непослушную шпагу, вошелъ онъ, едва переводя духъ отъ робости, въ кабинетъ больнаго старика, нѣкогда умнаго, живаго и бодраго, но теперь почти недвижимаго, изсохшаго какъ скелетъ, лежащаго уже на смертной постели. Алексѣй Степанычъ отвѣсилъ низкій поклонъ и сталъ у двернаго косяка. Уже одинъ этотъ пріемъ заставилъ поморщиться больнаго хозяина. «Подойдите ко мнѣ поближе, господинъ Багровъ, сядьте возлѣ моей постели. Я слабъ, не могу говорить громко.» Алексѣй Степанычъ, со многими поклонами, присѣлъ на кресло, стоявшее у самой кровати. «Вы ищете, руки моей дочери», продолжалъ старикъ.... Женихъ вскочилъ съ кресель, поклонился и сказалъ, что точно такъ, что онъ осмѣливается искать этого счастія.... Я могъ бы передать весь разговоръ подробно, потому что много разъ

слыхалъ, какъ пересказывалъ его изъ слова въ слово Алексѣй Степанычъ; но въ немъ отчасти есть повтореніе того, что̀ мы уже знаемъ, и я боюсь наскучить читателямъ. Сущность дѣла состояла въ томъ, что Николай Ѳедорычъ разспросилъ молодаго человѣка объ его семействѣ, объ его состояніи, объ его намѣреніяхъ относительно службы и мѣста постояннаго жительства; сказалъ ему, что Софья Николавна ничего не имѣетъ, кромѣ приданаго въ 10 тысячъ рублей, двухъ семей людей и трехъ тысячъ наличныхъ денегъ для первоначальнаго обзаведенія; въ заключеніе онъ прибавилъ, что хотя совершенно увѣренъ, что Алексѣй Степанычъ, какъ почтительный сынъ, безъ согласія отца и матери не сдѣлалъ бы предложенія, но что родители его могли передумать и что приличіе требуетъ, чтобы они сами написали объ этомъ прямо къ нему, и что до полученія такого письма онъ не можетъ дать рѣшительнаго отвѣта. Алексѣй Степанычъ привставалъ, кланялся, садился, во всемъ соглашался и обѣщалъ завтра же написать къ отцу и къ матери. Черезъ полчаса старикъ сказалъ, что усталъ (это была совершенная правда) и отпустилъ молодаго человѣка довольно сухо. По выходѣ его, Софья Николавна въ ту же минуту вошла въ кабинетъ къ отцу: онъ лежалъ съ закрытыми глазами, лицо его выражало утомленіе и вмѣстѣ душевное страданіе. Услыхавъ приближеніе дочери, онъ бросилъ на нее умоляющій взглядъ, сжалъ руки на груди и воскликнулъ: «Соничка, неужели ты пойдешь за него?» — Софья Николавна знала напередъ, какое дѣйствіе произведетъ это свиданіе и приготовилась даже къ худшему впечатлѣнію. «Я предупреждала васъ, батюшка, сказала она тихо, кротко, но съ твердостію, что по совершенному незнанію свѣтскаго обращенія, по неловкости и робости, Алексѣй Степанычъ съ перваго раза долженъ показаться вамъ дурач-

комъ; но я видѣлась съ нимъ много разъ, говорила долго, узнала его коротко и ручаюсь вамъ, что онъ никого не глупѣе, а многихъ гораздо умнѣе. Я прошу васъ поговорить съ нимъ еще раза два, и увѣрена, что вы согласитесь со мною.» Старикъ долго, пристально, проницательно посмотрѣлъ на свою дочь, какъ-будто хотѣлъ прочесть что-то сокровенное въ ея душѣ, глубоко вздохнулъ и согласился: вызвать къ себѣ на дняхъ и поговорить побольше съ молодымъ человѣкомъ.

Алексѣй Степанычъ съ первою почтою написалъ самое нѣжное, самое почтительное письмо къ своимъ родителямъ. Онъ благодарилъ ихъ за то, что они вновь даровали ему жизнь, и униженно просилъ, чтобы они написали поскорѣе письмо къ Николаю Ѳедорычу Зубину и просили у него руки его дочери для своего сына, прибавляя, что это всегда такъ водится и что Николай Ѳедорычъ безъ ихъ письма не даетъ рѣшительнаго отвѣта. Исполненіе просьбы столь обыкновенной затруднило стариковъ: они были не сочинители, въ подобныхъ оказіяхъ не бывали и не умѣли приступить къ дѣлу; осрамиться же въ глазахъ Товарища Намѣстника и будущаго свата, вѣрно ученаго дѣльца и писаки, —крѣпко имъ не хотѣлось. Цѣлую недѣлю сочиняли письмо; наконецъ кое-какъ написали и послали его къ Алексѣю Степанычу. Письмо точно было написано неловко, безъ всякихъ вѣжливостей и комплиментовъ, необходимыхъ въ подобныхъ обстоятельствахъ.

Покуда Алексѣй Степанычъ дожидался отвѣта изъ деревни, Николай Ѳедорычъ пригласилъ его къ себѣ еще два раза. Второе посѣщеніе не поправило невыгоднаго впечатлѣнія, произведеннаго первымъ; но при третьемъ свиданіи присутствовала Софья Николавна, которая какъ-будто не зная, что женихъ сидитъ у отца, вошла къ

нему въ кабинетъ, неожиданно воротясь изъ гостей ранѣе обыкновеннаго. Ея присутствіе все перемѣнило; она умѣла заставить говорить Алексѣя Степаныча, знала, о чемъ онъ можетъ говорить и въ чемъ можетъ выказаться съ выгодной стороны его природный, здравый смыслъ, чистота нравовъ, честность и мягкая доброта. Николай Ѳедорычъ видимо былъ доволенъ, обласкалъ молодаго человѣка и пригласилъ его пріѣзжать, какъ можно чаще. Когда Алексѣй Степанычъ ушелъ, старикъ обнялъ свою Соничку со слезами и осыпая ее ласковыми и нѣжными именами, назвалъ между прочимъ чародѣйкой, которая силою волшебства умѣетъ вызывать изъ души человѣческой прекрасныя ея качества, такъ глубоко скрытыя, что никто и не подозрѣвалъ ихъ существованія. Софья Николавна была также очень довольна, потому что и сама не смѣла надѣяться, чтобъ Алексѣй Степанычъ могъ такъ хорошо поддержать ея доброе мнѣніе и оправдать выгодные о немъ отзывы.

Наконецъ письмо, съ формальнымъ предложеніемъ стариковъ, было получено, и Алексѣй Степанычъ лично вручилъ его Николаю Ѳедорычу. Увы! безъ волшебнаго присутствія и помощи Софьи Николавны, женихъ опять по-прежнему не понравился будущему тестю, да и письмомъ остался онъ очень недоволенъ. На слѣдующій день онъ имѣлъ продолжительный разговоръ съ своею дочерью, въ которомъ представилъ ей всѣ невыгоды имѣть мужа ниже себя по уму, по образованію и характеру; онъ сказалъ, что мужнино семейство не полюбитъ ее, даже возненавидитъ, какъ грубое и злое невѣжество всегда ненавидитъ образованность; онъ предостерегалъ, чтобы она не полагалась на обѣщанія жениха, которыя обыкновенно рѣдко исполняются и которыхъ Алексѣй Степанычъ не въ силахъ будетъ исполнить, хотя бы и желалъ. На такія

справедливые замѣчанія и совѣты, почерпнутые прямо изъ жизни, Софья Николавна умѣла возражать съ удивительной ловкостью, и въ то же время умѣла такъ убѣдительно и живо представить хорошую сторону замужства съ человѣкомъ, хотя не бойкимъ и не образованнымъ, но добрымъ, честнымъ, любящимъ и не глупымъ, что Николай Ѳедорычъ былъ увлеченъ ея плѣнительными надеждами и далъ полное согласіе. Софья Николавна съ горячностью обняла отца, цѣловала его изсохшія руки, подала ему образъ, стала на колѣни у кровати и, проливая ручьи горячихъ слезъ, приняла его благословеніе. «Батюшка! воскликнула съ увлеченіемъ восторженная дѣвушка, я надѣюсь съ Божіею помощью, что чрезъ годъ вы не узнаете Алексѣя Степаныча. Чтеніе хорошихъ книгъ, общество умныхъ людей, безпрестанные разговоры со мною вознаградятъ недостатокъ воспитанія; застѣнчивость пройдетъ, и умѣнье держать себя въ свѣтѣ придетъ само собою.» — «Дай Богъ, отвѣчалъ старикъ. Пошли за священникомъ я хочу помолиться о твоемъ счастьѣ вмѣстѣ съ тобою.»

Въ тотъ же день вечеромъ пригласили Алакаеву съ женихомъ, старинныхъ Зубинскихъ знакомыхъ, Аничкова и Мисайловыхъ, и дали Алексѣю Степанычу слово. Нѣтъ выраженій для описанія блаженства молодаго человѣка! Софья Николавна до глубокой старости вспоминала объ этихъ счастливыхъ для него минутахъ. Алексѣй Степанычъ бросился въ ноги Николаю Ѳедорычу, цѣловалъ его руки, плакалъ, рыдалъ какъ дитя, едва не упалъ въ обморокъ отъ избытка счастія, которое до послѣдней минуты казалось ему недоступнымъ. Невѣста сама была глубоко тронута такимъ искреннимъ выраженіемъ пламенной безграничной любви.

Чрезъ два дня назначили офиціальную помолвку и пригласили весь городъ. Городъ былъ удивленъ, потому-что многіе не вѣрили слухамъ: будто Софья Николавна Зубина идетъ за Алексѣя Степаныча Багрова. Наконецъ всѣ повѣрили и съѣхались; поздравляли, желали всякаго благополучія и всѣхъ возможныхъ благъ. Женихъ былъ радостенъ и свѣтелъ; онъ не замѣчалъ никакихъ двусмысленностей въ поздравленіяхъ, никакихъ насмѣшливыхъ улыбокъ и взглядовъ; но Софья Николавна все видѣла, все замѣтила, все слышала и понимала, хотя, говоря съ нею, были всѣ осторожны и почтительны. Она знала наперед какъ встрѣтитъ общество ея поступокъ, но внутренно не могла не огорчаться выраженіемъ мнѣнія этого общества, чего конечно никто не замѣтилъ. Она была весела, ласкова со всѣми, особенно съ женихомъ, и казалась совершенно счастливою и довольною своимъ выборомъ. Вскорѣ жениха съ невѣстою пригласили въ кабинетъ къ Николаю Ѳедорычу и обручили тамъ при немногихъ свидѣтеляхъ. Старикъ плакалъ во все время, когда священникъ читалъ молитвы. По окончаніи обряда приказалъ жениху съ невѣстою поцѣловаться, обнялъ ихъ горячо и сильно, сколько могъ, и поглядѣвъ пристально въ лицо Алексѣю Степанычу, сказалъ: «Люби ее и всегда такъ, какъ любишь теперь. Богъ даетъ тебѣ такое сокровище....» Онъ не могъ договорить. Обрученные женихъ и невѣста вышли опять къ гостямъ, въ сопровожденіи присутствовавшихъ при обрученіи Всѣ мужчины обнимали жениха и цѣловали руку у невѣсты; всѣ дамы обнимали невѣсту и у всѣхъ перецѣловалъ ручки женихъ. Наконецъ, когда кончилась эта суматоха, обрученныхъ посадили рядомъ на диванъ, упросили вновь поцѣловаться и съ бокалами въ рукахъ осыпали ихъ вторичными поздравленіями и добрыми желаніями. Между мужчинами хозяйничалъ С. И.

Аничковъ, а между дамами — Алакаева. Алексѣй Степанычъ съ роду не пивалъ ничего кромѣ воды, но его уговорили выпить бокалъ какого-то вина, которое сильно подѣйствовало на его непривычный организмъ, разстроенный недавнею болѣзнію и постояннымъ волненіемъ души. Онъ сдѣлался необыкновенно живъ, смѣялся, плакалъ и много наговорилъ для потѣхи общества и для огорченія невѣсты. Гости развеселились. За однимъ бокаломъ послѣдовалъ другой, за другимъ третій; подали богатую закуску; всѣ плотно покушали, еще выпили и разъѣхались шумно и весело. У жениха закружилась и заболѣла голова, и Алакаева увезла его домой.

Николай Ѳедорычъ чувствовалъ себя очень плохо и хотѣлъ какъ можно скорѣй сыграть свадьбу; но какъ въ то же время онъ желалъ, чтобъ приданое было устроено богато и пышно, то принуждены были отложить свадьбу на нѣсколько мѣсяцовъ. Старинные материнскіе брильянты и жемчуги надобно было передѣлать и перенизать по новому фасону въ Москвѣ, и оттуда же выписать серебро и нѣкоторые наряды и подарки; остальныя же платья, занавѣсь парадной кровати и даже богатый чернобурый салопъ, мѣхъ котораго давно уже былъ купленъ за 500 рублей и котораго теперь не купишь за 5000,— все это было сшито въ Казани; столоваго бѣлья и голландскихъ полотенъ было запасено много. Десять тысячъ, назначенныя на приданое, составляли тогда большую сумму; а какъ много дорогаго было припасено заранѣе, то роспись приданаго выходила такъ роскошна и великолѣпна, что читая ее теперь, трудно повѣрить дешевизнѣ восьмидесятыхъ годовъ прошедшаго столѣтія.

Первымъ дѣломъ, послѣ обрученія и помолвки, были рекомендательныя письма ко всѣмъ роднымъ жениха и невѣсты. Софья Николавна, владѣвшая между прочимъ

особеннымъ дарованіемъ писать краснорѣчиво, написала такое письмо къ будущему свекру и свекрови, что Степанъ Михайлычъ, хотя былъ не сочинитель и не писака, но весьма оцѣнилъ письмо будущей своей невѣстки. Выслушавъ его съ большимъ вниманіемъ, онъ взялъ его изъ рукъ Танюши и, съ удовольствіемъ замѣтивъ четкость руки невѣсты, самъ прочелъ письмо два раза и сказалъ: «Ну, умница, и должна быть горячая душа!» Вся семья злилась и молчала; одна Александра Степановна не вытерпѣла, и сверкая круглыми, выкатившимися отъ бѣшенства зрачками, сказала: «Что и говорить, батюшка, книжница: мягко стелетъ, да каково-то будетъ спать.» Но старикъ грозно взглянулъ на нее и зловѣщимъ голосомъ сказалъ: «А почемъ ты знаешь? Ничего не видя, ужъ ты коришь. Смотри! держи языкъ за зубами, и другихъ у меня не мути.» Послѣ такихъ словъ, всѣ приникли и разумѣется еще болѣе возненавидѣли Софью Николавну. Степанъ Михайлычъ подъ вліяніемъ теплаго и ласковаго письма, взялъ самъ перо въ руки, и вопреки всякимъ церемоніямъ, написалъ слѣдующее:

«Милая моя, дорогая и разумная будущая невѣстушка. Если ты насъ стариковъ такъ заочно полюбила и уважаешь, то и мы тебя полюбили; а при свиданьи, Богъ дастъ, и еще больше полюбимъ, и будешь ты намъ какъ родная дочь, и будемъ мы радоваться счастію нашего сына Алексѣя».

Софья Николавна также по достоинству оцѣнила простую рѣчь старика; она уже прежде, по однимъ разсказамъ, полюбила его заочно. Родныхъ у невѣсты не было и писать ея жениху было не къ кому. Но она захотѣла, чтобъ Алексѣй Степанычъ написалъ рекомендательное письмо къ ея заочному другу и покровителю ея братьевъ, А. Ѳ. Аничкову; разумѣется, женихъ съ радостью

согласился исполнить ея желаніе. Софья Николавна не слишкомъ надѣялась на умѣнье Алексѣя Степаныча объясняться письменно и пожелала предварительно взглянуть на письмо. Боже мой, что прочла она въ этомъ письмѣ! Алексѣй Степанычъ, много наслышавшись объ Аничковѣ, вздумалъ написать витіевато, позаимствовался изъ какого нибудь тогдашняго романа и написалъ двѣ страницы такихъ фразъ, отъ которыхъ, при другихъ обстоятельствахъ, Софья Николавна расхохоталась бы, но теперь.... кровь бросилась ей въ голову, и потомъ слезы хлынули изъ глазъ. Успокоившись, она сначала не знала, какъ ей быть, какъ выдти изъ этого затруднительнаго положенія? Впрочемъ она думала недолго, написала черновое письмо отъ жениха къ Аничкову и сказала Алексѣю Степанычу, что по непривычкѣ къ перепискѣ съ незнакомыми людьми, онъ написалъ такое письмо, которое могло бы непонравиться Аничкову, и потому она написала черновое и проситъ его переписать и послать по адресу. Ей было совѣстно и больно и оскорбительно за своего жениха, голосъ ея слегка дрожалъ, и она едва владѣла собою; но женихъ чрезвычайно обрадовался такому предложенію; выслушавъ письмо, восхищался имъ, удивлялся сочинительницѣ и покрывалъ поцѣлуями ея руки. Тяжелъ былъ первый шагъ къ неуваженію будущаго своего супруга, и къ осуществленію мысли повелѣвать имъ по произволу....

Зная, что у стариковъ мало денегъ и что они по неволѣ скупы на нихъ, Алексѣй Степанычъ написалъ просительное письмо къ своимъ родителямъ съ самымъ умѣреннымъ требованіемъ денегъ и, для подкрѣпленія своихъ словъ, упросилъ Алакаеву, чтобы она написала къ Степану Михайлычу и удостовѣрила въ справедливой просьбѣ сына и въ необходимости издержекъ для предназначен-

ной свадьбы; онъ просилъ всего 800 рублей, но Алакаева требовала 1,500 рублей. Старики отвѣчали сыну, что у нихъ такихъ денегъ нѣтъ и что они посылаютъ ему послѣдніе 300 рублей; а 500 рублей, если они ужъ необходимы, предоставляли ему у кого нибудь занять; но прибавляли, что пришлютъ ему четверку лошадей, кучера, форейтора, повара и всякихъ съѣстныхъ припасовъ. На Алакаеву же старики разсердились за требованіе такой огромной суммы и не отвѣчали ей. Дѣлать было нечего; Алексѣй Степанычъ поблагодарилъ за милости своихъ родителей и занялъ 500 рублей; но какъ этихъ денегъ не достало, то Алакаева дала ему еще своихъ 500 рублей, тайно отъ его стариковъ.

Между тѣмъ свиданія жениха съ невѣстой становились чаще, продолжительнѣе, а разговоры откровеннѣе. Тутъ только увидѣла Софья Николавна, какъ много будетъ ей работы въ будущемъ; тутъ только она вполнѣ разглядѣла своего жениха! Она не ошиблась въ томъ, что онъ имѣлъ отъ природы хорошій умъ, предоброе сердце и строгія правила честности и служебнаго безкорыстія, но за то во всемъ другомъ нашла она такую ограниченность понятій, такую мелочность интересовъ, такое отсутствіе самолюбія и самостоятельности, что не робкая душа ея и твердость въ исполненіи дѣла, на которое она уже рѣшилась,—не одинъ разъ сильно колебались; не одинъ разъ приходила она въ отчаяніе, снимала съ руки обручальное кольцо, клала его передъ образомъ Смоленскія Божія Матери и долго молилась, обливаясь жаркими слезами, прося просвѣтить ея слабый умъ. Такъ поступала она, что̀ мы уже знаемъ, во всѣхъ трудныхъ обстоятельствахъ своей жизни. Послѣ молитвы Софья Николавна чувствовала себя какъ-то бодрѣе и спокойнѣе, принимала это чувство за указаніе свыше,

надѣвала обручальное кольцо и выходила въ гостиную къ своему жениху спокойная и веселая. Больной ея отецъ чувствовалъ себя часъ-отъ-часу хуже и слабѣе; дочь умѣла его увѣрить, что она съ каждымъ днемъ открываетъ новыя достоинства въ своемъ женихѣ, что она совершенно довольна и надѣется быть счастливою за-мужемъ. Тяжкій недугъ уже омрачалъ ясность взгляда Николая Ѳедорыча; онъ не только вѣрилъ искренности своей дочери, но и самъ убѣждался, что его Соничка будетъ счастлива и часто говорилъ: «Слава Богу, теперь мнѣ легко умереть».

Приближалось время свадьбы. Все приданое было готово. Женихъ также приготовился, благодаря совѣтамъ Алакаевой, которая совершенно взяла его въ руки. Умная старуха сама не подозрѣвала, до какой степени Алексѣй Степанычъ не зналъ и не понималъ приличій въ общественной жизни. Безъ нее онъ надѣлалъ бы такихъ промаховъ, отъ которыхъ невѣста не одинъ разъ сгорѣла бы со стыда. Напримѣръ, онъ хотѣлъ подарить ей въ день имянинъ такой матеріи на платье, какую можно было подарить только ея горничной; онъ думалъ ѣхать къ вѣнцу въ какой-то старинной повозкѣ на пазахъ, которая возбудила бы смѣхъ въ цѣломъ городѣ, и пр. и пр. Оно въ сущности ничего не значитъ, но видѣть своего жениха посмѣшищемъ Уфимскаго моднаго свѣта, было бы слишкомъ тяжело для Софьи Николавны. Разумѣется, все это было поправлено Алакаевой, или лучше сказать, самой невѣстой, потому что старуха обо всемъ совѣтовалась съ нею. Софья Николавна заранѣе объявила жениху, чтобъ онъ и не думалъ дарить ее въ имянины, потому что она терпѣть не можетъ имянинныхъ подарковъ. Для свадьбы же приказала купить аглицкую новенькую карету, только что

привезенную изъ Петербурга однимъ Уфимскимъ помѣщикомъ, Мурзахановымъ, успѣвшимъ промотаться и проиграться въ нѣсколько мѣсяцевъ. За карету было заплачено 350 рублей ассигнаціями. Софья Николавна отдала за нее свои деньги и прислала въ подарокъ жениху отъ имени своего отца, запретивъ ему безпокоить своей благодарностью умирающаго старика. Такъ улаживались и другія затрудненія. Алексѣй Степанычъ и Софья Николавна написали отъ себя и отъ имени Николая Ѳедоровича письма къ Степану Михайлычу и Аринѣ Васильевнѣ, убѣдительно прося ихъ осчастливить своимъ пріѣздомъ на свадьбу. Зажившіеся въ деревнѣ и одичавшіе старики, разумѣется, не поѣхали: городъ и городское общество представлялись имъ чѣмъ-то чуждымъ и страшнымъ. Изъ дочерей также никто нехотѣлъ ѣхать; но Степану Михайлычу показалось это не ловкимъ и онъ приказалъ отправиться на свадьбу Елизаветѣ и Александрѣ Степановнамъ. Ерлыкинъ находился на службѣ въ Оренбургѣ, а Иванъ Петровичъ Каратаевъ сопровождалъ свою супругу въ Уфу. Прибытіе этихъ незванныхъ и неожиданныхъ гостей надѣлало много огорченій Софьѣ Николавнѣ. Будущія ея золовки, отъ природы очень умныя и хитрыя, расположенныя враждебно, держали себя съ нею холодно, непріязненно и даже неучтиво. Хотя Софья Николавна слишкомъ хорошо угадывала, какого расположенія можно ей было ждать отъ сестеръ своего жениха, тѣмъ не менѣе она сочла за долгъ быть сначала съ ними ласковою и даже предупредительною; но увидя наконецъ, что всѣ ея старанія напрасны и что чѣмъ лучше она была съ ними, тѣмъ хуже онѣ становились съ нею — она отдалилась и держала себя въ границахъ свѣтской холодной учтивости, которая, не защитила ее однако отъ этихъ подлыхъ намековъ и обиняковъ, которыхъ нельзя не понять, которыми

нельзя не оскорбляться, и которые понимать и которыми оскорбляться въ то же время неловко, потому что сейчасъ скажутъ: «на ворѣ шапка горитъ». Отвратительное оружіе намековъ и обиняковъ, выгнанное образованностью въ общество мѣщанъ, горничныхъ и лакеевъ, было тогда оружіемъ страшнымъ и общеупотребительнымъ въ домахъ деревенскихъ помѣщиковъ, по большей части весьма близкихъ съ своей прислугой и нравами и образованіемъ. Да еще правду ли я сказалъ, что оно выгнано? Не живетъ ли оно и теперь между насъ, сокрытое подъ другими, болѣе приличными, болѣе искусными формами. Разумѣется, всему Уфимскому обществу показались сестрицы жениха деревенскими чучелами. Что касается до Ивана Петровича, уже довольно обашкирившагося и всегда начинавшаго съ восьми часовъ утра тянуть желудочный травникъ, то онъ при первой рекомендаціи чмокнулъ три раза ручку у Софьи Николавны и съ одушевленіемъ истиннаго Башкирца воскликнулъ: «ну, какую краличку подцѣпилъ братъ Алексѣй»! Много переглотала Софья Николавна слезъ отъ злобныхъ выходокъ будущихъ своихъ золовокъ, и грубыхъ шутокъ и любезностей будущаго свояка. Всего прискорбнѣе было то, что Алексѣй Степанычъ ничего не примѣчалъ и казалось былъ очень доволенъ обращеніемъ своихъ сестеръ съ Софьей Николавной, и конечно это ее не только огорчало въ настоящемъ, но и пугало въ будущемъ. Ядовитыя эти змѣи, остановясь у брата въ домѣ, съ первой же минуты начали вливать свой ядъ въ его простую душу и дѣлали это такъ искусно, что Алексѣй Степанычъ не подозрѣвалъ ихъ ухищреній. Тысячи намековъ на гордость его невѣсты, на ея нищенство, прикрывающееся золотомъ и парчею, на его подчиненность волѣ и прихотямъ Софьи Николавны, безпрестанно раздавались въ его ушахъ; многаго онъ не замѣчалъ, не понималъ, но многое попа-

дало прямо въ цѣль, смущало его умъ и безсознательно заставляло задумываться. Всѣ эти уловки, а иногда и открытыя нападенія, прикрывались видомъ участія и родственной любви. «Что это, братецъ, какъ ты худъ? говорила Елисавета Степановна. Ты совсѣмъ измучился, исполняя приказанія Софьи Николавны. Вотъ теперь, ты только что воротился изъ Голубиной слободки (*), усталъ, проголодался, и ничего не покушавши скачешь опять на дежурство къ невѣстѣ. Вѣдь мы тебѣ родныя, вѣдь намъ тебя жалко....» и притворныя слезы, или по крайней мѣрѣ морганье глазами и утиранье ихъ платкомъ, довершали вкрадчивую рѣчь. — «Нѣтъ, бѣшено врывалась въ разговоръ Александра Степановна, не могу утерпѣть. Я знаю, ты осердишься, братецъ, а можетъ быть и разлюбишь насъ; такъ видно угодно Богу; но я скажу тебѣ всю правду: ты совсѣмъ перемѣнился; ты насъ стыдишься, ты насъ совсѣмъ забылъ; у тебя только и на умѣ, какъ бы лизать ручки у Софьи Николавны, да какъ бы не проштрафиться передъ нею. Вѣдь ты сдѣлался ея слугой, крѣпостнымъ слугой! Каково намъ видѣть, что ужъ и эта старая вѣдьма Алакаева помыкаетъ тобой, какъ холопомъ: поѣзжай туда, то-то привези, объ этомъ-то справься.... да приказываетъ еще все дѣлать проворнѣе, да еще изволитъ выговоры давать; а насъ и въ грошъ не ставитъ, ни о чемъ съ нами и посовѣтоваться не хочетъ....» Алексѣй Степанычъ не находилъ словъ для возраженія, и говорилъ только, что онъ сестрицъ своихъ любитъ и всегда будетъ любить и что ему пора ѣхать къ Софьѣ Николавнѣ; послѣ чего бралъ шляпу и поспѣшно уходилъ. «Да бѣги, бѣги поскорѣе, кричала ему вслѣдъ бѣшеная Александра Степановна, а то прогнѣ-

(*) Отдаленная улица въ Уфѣ.

вается, да еще ручки не пожалуетъ.» Подобныя явленія повторялись не одинъ разъ и конечно производили свое впечатлѣніе. Софья Николавна не могла не замѣтить, что пріѣздъ сестрицъ Алексѣя Степаныча произвелъ въ немъ нѣкоторую перемѣну. Онъ казался смущеннымъ, не съ такою точностью исполнялъ свои обѣщанія и даже менѣе проводилъ съ ней время. Софья Николавна очень хорошо понимала настоящую причину; къ тому же Алакаева, съ которою вошла она въ короткія и дружескія отношенія и которая знала все, что̀ дѣлается на квартирѣ у Алексѣя Степаныча, не оставляла ее снабжать подробными свѣдѣніями. Софья Николавна по своей пылкой и страстной натурѣ, не любила откладывать дѣла въ долгій ящикъ. Она справедливо разсуждала, что не должно давать время и свободу укореняться вредному вліянію сестрицъ, что необходимо открыть глаза ея женіху и сдѣлать рѣшительное испытаніе его характеру и привязанности, и что если и то и другое окажется слишкомъ слабымъ, то лучше разойтись передъ вѣнцомъ, нежели соединить судьбу свою съ такимъ ничтожнымъ существомъ, которое, по ея собственному выраженію, «отъ солнышка не защита и отъ дождя не епанча.» Рано утромъ она вызвала къ себѣ женіха, затворилась съ нимъ въ гостиной, не приказала никого принимать и обратилась къ испуганному и побѣднѣвшему Алексѣю Степанычу съ слѣдующими словами: «Послушайте, я хочу объясниться съ вами откровенно, сказать вамъ все, что̀ у меня лежитъ на сердцѣ, и отъ васъ требую того же. Сестрицы ваши меня терпѣть не могутъ и употребили всѣ старанія, чтобъ возстановить противъ меня вашихъ родителей. Я знаю все это отъ васъ самихъ. Ваша любовь ко мнѣ преодолѣла всѣ препятствія: родители ваши дали вамъ свое благословеніе и я рѣшилась за васъ выйти, не побоявшись ненависти цѣ-

лой семьи. Я надѣялась найти себѣ защиту въ вашей ко мнѣ любви и въ моемъ стараніи доказать вашимъ родителямъ, что я не заслуживаю ихъ непріязни. Я вижу теперь, что я ошиблась. Вы сами видѣли, какъ я приняла вашихъ сестрицъ, какъ я ласкалась, какъ я старалась угодить имъ. Онѣ заставили меня удалиться своими грубостями, но я ни разу не сдѣлала имъ ни малѣйшей невѣжливости. Что же изъ этого вышло? Прошла только одна недѣля, какъ пріѣхали ваши сестрицы, и вы уже много перемѣнились ко мнѣ: вы забываете, или не смѣете иногда исполнять того, что мнѣ обѣщали, вы менѣе проводите со мной времени, вы смущены, встревожены, вы даже не такъ ласковы ко мнѣ, какъ были прежде. Не оправдывайтесь, не запирайтесь, это было бы не честно съ вашей стороны. Я знаю, что вы меня не разлюбили; но вы боитесь показывать мнѣ свою любовь, боитесь вашихъ сестеръ и потому смущаетесь и даже избѣгаете случаевъ оставаться со мной наединѣ. Это все совершенная правда, вы сами это знаете. И такъ скажите, какую надежду могу я имѣть на твердость вашей любви? Да и что это за любовь, которая струсила и прячется отъ того, что невѣста ваша не нравится вашимъ сестрицамъ, о чемъ вы давно знаете? Что же будетъ, если я не понравлюсь вашимъ родителямъ и если они косо на меня посмотрятъ? Да вы разлюбите меня въ самомъ дѣлѣ! Нѣтъ, Алексѣй Степанычъ, благородные люди не такъ любятъ и не такъ поступаютъ. Зная, что меня терпѣть не могутъ ваши родные, вы должны были удвоить при нихъ ваше вниманіе, нѣжность и уваженіе ко мнѣ—тогда они не осмѣлились бы и рта разинуть; а вы допустили ихъ говорить вамъ въ глаза оскорбительныя мнѣ слова. Я все знаю, что онѣ говорятъ вамъ. Я заключаю изъ всего этого, что любовь ваша пустое нѣжничанье, что на васъ нельзя по-

ложиться и что намъ лучше разстаться теперь, нежели быть несчастными на всю жизнь. Подумайте хорошенько о моихъ словахъ. Я даю вамъ два дня, чтобы ихъ обдумать. Продолжайте ѣздить къ намъ, но два дня я не буду видѣться съ вами наединѣ и не стану поминать объ этомъ разговорѣ; потомъ спрошу васъ по совѣсти, какъ честнаго человѣка: имѣете ли вы довольно твердости, чтобы быть моимъ защитникомъ противъ вашихъ родныхъ и всѣхъ, кто вздумалъ бы оскорблять меня? Можете ли вы заставить вашихъ сестеръ не обижать меня и заочно, въ вашемъ присутствіи, ни однимъ словомъ, ни однимъ оскорбительнымъ намекомъ. Хотя разрывъ за недѣлю до свадьбы, для всякой благовоспитанной дѣвушки большое несчастіе, но лучше перенести его разомъ, нежели мучиться всю жизнь. Вы знаете, что я не влюблена въ васъ, но я начинала любить васъ, и конечно полюбила бы сильнѣе и постояннѣе, чѣмъ вы. Прощайте! сегодня и завтра мы чужіе» Алексѣй Степанычъ, давно заливавшійся слезами и нѣсколько разъ порывавшійся что-то сказать, не успѣлъ разинуть рта, какъ невѣста ушла и заперла за собою дверь. Какъ громомъ пораженный, Алексѣй Степанычъ не вдругъ пришелъ въ себя. Наконецъ мысль потерять обожаемую Софью Николавну представилась ему съ поразительною ясностью, ужаснула его и вызвала то мужество, ту энергію, къ которой бываютъ способны, на короткое время, люди самаго слабаго, самаго кроткаго нрава. Онъ поспѣшно отправился домой, и когда его сестрицы, нисколько не сжалившись надъ огорченнымъ и разстроеннымъ видомъ братца, встрѣтили его обычными злобными шуточками — Алексѣй Степанычъ пришелъ въ изступленіе и задалъ имъ такую выпалку, что онѣ перепугались. Человѣкъ добрый, тихій и терпѣливый бываетъ страшенъ въ гнѣвѣ. Алексѣй Степанычъ сказалъ

между прочимъ своимъ сестрамъ, что «если онѣ осмѣлятся еще сказать при немъ хотя одно оскорбительное слово объ его невѣстѣ, или насчетъ его самого, то онъ въ ту же минуту переѣдетъ на другую квартиру, не велитъ ихъ пускать ни къ себѣ, ни къ невѣстѣ, и обо всемъ напишетъ къ батюшкѣ.» Этого было довольно. Александра Степановна твердо помнила слова отца: «держи языкъ за зубами и другихъ у меня не мути.» Она очень хорошо знала, какая грозная туча взмыла бы отъ жалобы братца и какихъ страшныхъ послѣдствій могла она ожидать. Обѣ сестрицы кинулись на шею Алексѣя Степаныча, просили прощенья, плакали, крестились и божились, что впередъ этого никогда не будетъ, что онѣ сами смерть какъ любятъ Софью Николавну и что только изъ жалости къ его здоровью, для того, чтобы онъ меньше хлопоталъ, онѣ позволяли себѣ такія глупыя шутки. Въ тотъ же день поѣхали онѣ къ Софьѣ Николавнѣ, лебезили передъ ней и ласкались самымъ униженнымъ образомъ. Она очень хорошо поняла, что̀ это значитъ и — торжествовала. Положеніе несчастнаго жениха было по истинѣ достойно сожалѣнія. Его любовь, нѣсколько успокоившаяся, пріутихшая отъ частыхъ свиданій и простаго ласковаго обращенія Софьи Николавны, отъ увѣренности въ близости свадьбы, нѣсколько запуганная, и какъ будто пристыженная насмѣшками сестеръ — вспыхнула съ такою яростью, что въ настоящую минуту онъ былъ способенъ на всякое самоотверженіе, на всякой отчаянный поступокъ, пожалуй на геройство. Все это ярко выражалось на его молодомъ и прекрасномъ лицѣ, и съ такимъ-то лицемъ нѣсколько разъ являлся онъ передъ Софьей Николавной въ продолженіе этихъ безконечныхъ двухъ дней. Тяжело было ей смотрѣть на него, но она имѣла твердость выдержать назначенный искусъ. Она сама не ожидала того

сердечнаго волненія и тоскливой жалости, которыя испытала въ это время. Она почувствовала, что уже любитъ этого смиреннаго, простаго молодаго человѣка, безгранично ей преданнаго, который не задумался бы прекратить свою жизнь, еслибъ она рѣшилась отказать ему!... Наконецъ прошли и эти долгіе два дни. На третій, рано поутру, Алексѣй Степанычъ дожидался своей невѣсты въ гостиной; тихо отворилась дверь, и явилась Софья Николавна прекраснѣе, очаровательнѣе чѣмъ когда-нибудь, съ легкою улыбкою и съ выраженіемъ въ глазахъ такого нѣжнаго чувства, что взглянувъ на нее и увидя ласково протянутую руку, Алексѣй Степанычъ отъ избытка сильнаго чувства обезумѣлъ, на мгновеніе потерялъ употребленіе языка..... но вдругъ опомнившись, не принимая протянутой руки, онъ упалъ къ ногамъ своей невѣсты, и потокъ горячаго сердечнаго краснорѣчія, сопровождаемый слезами, полился изъ его груди. Софья Николавна не дала ему кончить, она подняла его, сказала ему: что она видитъ, чувствуетъ и раздѣляетъ любовь его, вѣритъ всѣмъ его обѣщаніямъ, и безъ страха вручаетъ ему свою судьбу. Она приласкала его такъ, какъ никогда не ласкала, и сказала нѣсколько такихъ нѣжныхъ словъ, какихъ никогда не говорила. . . . . .

Только пять дней оставалось до свадьбы. Всѣ приготовленія были совершенно кончены, и женихъ и невѣста, свободные отъ хлопотъ, почти не разставались. Уже пять мѣсяцевъ Софья Николавна была невѣста Алексѣя Степаныча, и во все это время, вѣрная своему намѣренію перевоспитать своего жениха — невѣста не теряла ни одной удобной минуты и старалась своими разговорами сообщать ему тѣ нравственныя понятія, которыхъ у него не доставало, уяснять и развивать то, что онъ чувствовалъ

и понималъ темно, безсознательно, и уничтожать такія мысли, которыя забрались ему въ голову отъ окружающихъ его людей; она даже заставляла его читать книги, и потомъ, разговаривая съ нимъ о прочитанномъ, съ большимъ искусствомъ объясняла все, смутно или превратно понятое, утверждая все шаткое и примѣняя вымышленное къ дѣйствительной жизни. Но едва ли во всѣ эти пять хлопотливыхъ мѣсяцевъ успѣла Софья Николавна высказать такъ много новаго, какъ въ эти пять дней; по случаю же недавняго, сейчасъ мною разсказаннаго происшествія, поднявшаго, изощрившаго, такъ сказать, душу жениха, все было принято Алексѣемъ Степанычемъ съ особеннымъ сочувствіемъ. Каковъ вообще былъ успѣхъ этого курса нравственной педагогики — я рѣшить на себя не беру. Трудно судить, до какой степени были справедливы мнѣнія обѣихъ особъ, о которыхъ я говорю; но онѣ въ послѣдствіи согласно утверждали, ссылаясь на отзывъ постороннихъ людей, что въ Алексѣѣ Степанычѣ произошла великая перемѣна, что онъ точно переродился. Я охотно готовъ этому вѣрить; но имѣю доказательство, что въ знаніи свѣтскихъ приличій, успѣхи Алексѣя Степаныча были не такъ велики. Я знаю, что онъ разсердилъ свою невѣсту наканунѣ свадьбы и что ея вспыльчивость произвела сильное и болѣзненное впечатлѣніе на юную его душу. Вотъ какъ это происходило: у Софьи Николавны сидѣли двѣ значительныя уфимскія дамы; вдругъ входитъ лакей съ какимъ-то бумажнымъ свертокомъ, подаетъ Софьѣ Николавнѣ и докладываетъ, что Алексѣй Степанычъ прислалъ это съ кучеромъ и приказалъ, «чтобы вы поскорѣе сдѣлали чепецъ для Александры Степановны». Не предупрежденная ни однимъ словомъ своего жениха, который только за полчаса съ нею разстался, Софья Николавна вспыхнула отъ досады. Значительныя дамы будто

бы подумавшія сначала, что этотъ свертокъ подарокъ отъ жениха, не хотѣли скрыть своихъ улыбокъ, и невѣста, не совладѣвъ съ собою, приказала отнести посылку назадъ, и сказать Алексѣю Степанычу: «чтобы онъ обратился къ чепечницѣ, и что вѣрно по ошибкѣ принесли къ ней эту работу.» Дѣло происходило весьма просто: женихъ, воротясь домой, нашелъ свою сестру въ большомъ затрудненіи, потому что мастерица, которая взялась сдѣлать ей для свадьбы парадный чепчикъ, вдругъ захворала и прислала назадъ весь матеріалъ. Алексѣй Степанычъ, видѣвшій своими глазами, какъ искусно его невѣста дѣлала головные уборы, вызвался пособить сестриному горю и приказалъ Никаноркѣ отнесть къ Софьѣ Николавнѣ вышеупомянутый свертокъ и покорнѣйше просить ее, чтобы она сдѣлала чепчикъ для Александры Степановны. Никанорка не пошелъ самъ за недосугомъ и послалъ кучера, а кучеръ вмѣсто покорнѣйшей просьбы передалъ приказаніе. Алексѣй Степанычъ поспѣшилъ къ невѣстѣ для объясненія и взялъ съ собою опять тотъ же несчастный свертокъ. Софья Николавна, не простывшая еще отъ первой вспышки, увидя жениха, входящаго съ знакомымъ ей свертком бумаги, вспылила еще больше и наговорила много лишнихъ, горячихъ и оскорбительныхъ словъ. Женихъ смутился, растерялся, оправдывался очень плохо, но сердечно огорчился. Софья Николавна отослала матеріалъ для чепчика къ какой-то извѣстной ей женщинѣ, и раскаявшись въ своей горячности, старалась ее поправить; но къ удивленію своему, Алексѣй Степанычъ не могъ забыть оскорбленія, смѣшаннаго съ какимъ-то страхомъ; онъ сдѣлался очень печаленъ, и напрасно старалась невѣста успокоить и развеселить его.

Наступило 10 мая 1788 года, день, назначенный для свадьбы. Женихъ пріѣхалъ къ невѣстѣ поутру, и Софья

Николавна, уже встревоженная наканунѣ, къ огорченію своему увидѣла, что вчерашнее грустное выраженіе не сошло съ лица Алексѣя Степаныча. Она сама въ свою очередь огорчилась и даже оскорбилась. Она привыкла думать, что Алексѣй Степанычъ не будетъ помнить себя отъ радости въ тотъ день, когда поведетъ ее къ вѣнцу; а онъ является невеселымъ и даже грустнымъ! Она сказала это своему жениху, и тѣмъ смутила его еще больше. Разумѣется, онъ старался увѣрить ее, что считаетъ себя блаженнѣйшимъ изъ смертныхъ и проч., но надутыя и пошлыя слова, произносимыя и прежде много разъ и выслушиваемыя съ удовольствіемъ, теперь не проникнутыя смысломъ внутренняго одушевленія, непріятно отозвались въ слухѣ невѣсты. Черезъ нѣсколько времени они разстались съ тѣмъ, чтобы увидѣться уже въ церкви, гдѣ въ шесть часовъ вечера женихъ долженъ былъ ожидать невѣсту.

Страшное сомнѣніе возникло въ душѣ Софьи Николавны: будетъ ли счастлива она за-мужемъ? Много темныхъ пророческихъ мыслей пробѣжало въ ея пылкомъ умѣ. Она обвиняла себя за горячность, за рѣзкія выраженія; сознавалась, что причина была ничтожна, что она должна была предвидѣть множество подобныхъ промаховъ своего жениха и принимать ихъ спокойно. Они уже и случались не одинъ разъ, но тутъ несчастное стеченіе обстоятельствъ, присутствіе посторонннихъ дамъ, съ которыми она была въ непріязненныхъ отношеніяхъ, укололо ея самолюбіе и раздражило ея природную вспыльчивость. Она чувствовала, что испугала Алексѣя Степаныча, каялась въ своей винѣ и въ то же время чувствовала во глубинѣ своей души, что способна провиниться опять. Тутъ снова представилась ей вся трудность взятаго на себя подвига: перевоспита-

ніе, пересозданіе уже двадцатисеми-лѣтняго человѣка. Цѣлая жизнь, долгая жизнь съ мужемъ неровней, котораго она при всей любви не можетъ вполнѣ уважать, безпрестанное столкновеніе совсѣмъ различныхъ понятій, противоположныхъ свойствъ, наконецъ частое непониманіе другъ друга ... и сомнѣніе въ успѣхѣ, сомнѣніе въ собственныхъ силахъ, въ спокойной твердости, столько чуждой ея нраву, въ первые представилось ей въ своей поразительной истинѣ и ужаснуло бѣдную дѣвушку!... Но что же дѣлать? Неужели разорвать свадьбу предъ самымъ вѣнцомъ, поразить своего умирающаго отца, привыкшаго къ успокоительной мысли, что его Сонички будетъ счастлива за добрымъ человѣкомъ? Неужели потѣшить всѣхъ своихъ недоброжелателей, особенно значительныхъ дамъ? Сдѣлаться баснею, шуткою города и цѣлаго края, можетъ быть подвергнуться клеветамъ? Наконецъ, убить, въ настоящемъ значеніи слова убить, страстно любящаго ее жениха? и все это изъ одного опасенія, что у ней не достанетъ твердости къ выполненію давно обдуманнаго плана, который начиналъ уже блистательно осуществляться? «Нѣтъ, не бывать тому! Богъ поможетъ мнѣ, Смоленская Божія Матерь будетъ моей заступницей и подастъ мнѣ силы обуздать мой вспыльчивый нравъ....» такъ думала и такъ рѣшила Софья Николавна. Слезы и молитва возвратили ей твердость.

Церковь Успенія Божіей Матери находилась очень близко отъ огромнаго Зубинскаго дома и стояла тогда на пустырѣ. За долго до шести часовъ она окружена была толпою любопытнаго народа. Высокой крыльцъ на улицу Зубинскаго дома обставился экипажами тѣхъ особъ, которыя были приглашены провожать невѣсту; остальное общество съѣзжалось прямо въ церковь. Невѣсту одѣвали

къ вѣнцу. Маленькій братъ, трехлѣтній Николинька, котораго рожденіе стоило жизни его матери, обувалъ Софью Николавну по принятому обычаю, разумѣется съ помощію горничныхъ. Въ исходѣ шестаго часа невѣста была уже готова и, принявъ благословеніе отца, вышла въ гостиную. Богатый подвѣнечный нарядъ придавалъ еще болѣе блеску ея красотѣ. Дорога отъ дома жениха въ церковь лежала мимо самыхъ оконъ гостиной, и Софья Николавна видѣла, какъ онъ проѣхалъ туда въ англійской мурзахановской каретѣ на четверкѣ славныхъ доморощенныхъ лошадей; она даже улыбнулась и ласково кивнула головой Алексѣю Степанычу, который, высунувшись изъ кареты, глядѣлъ въ растворенныя окна дома. Проѣхали также сестры жениха, Алакаева и всѣ мужчины, провожавшіе его въ церковь. Невѣста не хотѣла, чтобы женихъ ея дожидался, и хотя ее останавливали, но она настояла, чтобы ѣхали немедленно. Софья Николавна спокойно и твердо вошла въ церковь; ласково и весело подала руку своему жениху, но смутилась, увидѣвъ на его лицѣ тоже грустное выраженіе, и всѣ замѣтили, что женихъ и невѣста были не веселы подъ вѣнцемъ. Церковь была ярко освѣщена и полна народа; архіерейскіе пѣвчіе не щадили своихъ голосовъ. Свадьба во всѣхъ отношеніяхъ была парадна и великолѣпна. По окончаніи обряда, сестры, весь поѣздъ съ обѣихъ сторонъ и также лучшая уфимская публика сопровождали молодыхъ въ домъ къ Николаю Ѳедорычу. Тамъ немедленно начались и продолжались танцы до богатаго, но ранняго ужина. Всѣ гости, имѣвшіе право входить къ Николаю Ѳедорычу въ кабинетъ, перебывали у него и поздравили со вступленіемъ въ бракъ его дочери. На другой и слѣдующіе дни происходило все то, что̀ обыкновенно при такихъ случаяхъ бываетъ, то-есть, обѣдъ, балъ, визиты, опять обѣдъ и опять балъ:

однимъ словомъ все точно такъ, какъ водится и теперь даже въ столицахъ.

Грустная тѣнь давно слетѣла съ лица молодыхъ. Они были совершенно счастливы. Никто не могъ смотрѣть на нихъ безъ удовольствія и часто повторялись слова: «какая прекрасная пара!» Черезъ недѣлю молодые собирались ѣхать въ Багрово, куда сестры Алексѣя Степаныча уѣхали черезъ три дня послѣ свадьбы. Софья Николавна написала съ ними ласковое письмо къ старикамъ.

Сестры Алексѣя Степаныча, послѣ неожиданной вспышки братца, держали себя въ послѣднее время осторожно; не позволяли при немъ себѣ никакихъ намековъ, ужимокъ и улыбокъ, а передъ Софьей Николавной были даже искательны; но разумѣется этимъ нисколько ее не обманули: за то братецъ повѣрилъ отъ души ихъ искреннему расположенію къ невѣстѣ. На свадьбѣ и на праздникахъ послѣ свадьбы, разумѣется онѣ играли жалкія роли, а потому поспѣшили уѣхать. Воротясь домой, то есть, къ Степану Михайлычу, онѣ рѣшились дѣйствовать осторожно и не показывать передъ старикомъ своей враждебности къ Софьѣ Николавнѣ, но за то Аринѣ Васильевнѣ и двумъ своимъ сестрамъ расписали онѣ такими красками свадьбу и все тамъ происходившее, что поселили въ нихъ сильное предубѣжденіе и неблагорасположеніе къ невѣсткѣ. Онѣ не забыли разсказать объ изступленномъ гнѣвѣ и угрозахъ Алексѣя Степаныча за ихъ выходки противъ Софьи Николавны, и всѣ уговорились держать себя съ нею при Степанѣ Михайлычѣ ласково и не говорить ему прямо ничего дурнаго на счетъ невѣстки; но въ то же время не пропускать благопріятныхъ случаевъ, незамѣтно для старика, возстановлять его противъ ненавистной имъ Софьи Николавны.

Поступать надобно было очень искусно. Не довѣряя этого дѣла другимъ, взяли его на себя Елизавета и Александра Степановны. Дѣдушка подробно разспрашивалъ о свадьбѣ, о томъ кого онѣ видѣли, о состояніи здоровья старика Зубина и вообще обо всемъ тамъ происходившемъ. Онѣ все хвалили; но въ похвалахъ этихъ слышенъ былъ запахъ и вкусъ яда, и не удалось имъ провести Степана Михайлыча. Онъ обратился такъ, ради шутки, а можетъ быть и для соображенія, къ Ивану Петровичу Каратаеву и спросилъ его: «Ну что, братъ Иванъ, что ты мнѣ скажешь о нашей невѣстушкѣ? Ихъ дѣло бабье, а ты мужчина и лучше можешь судить объ этомъ». Иванъ Петровичъ, не смотря на миганье своей супруги, отвѣчалъ съ увлеченіемъ: «Да вотъ что, батюшка, я вамъ скажу: что такой кралечки (безъ этого живописнаго слова онъ не умѣлъ похвалить красоту), какую подцѣпилъ братъ Алексѣй, другой не отыщешь въ цѣломъ свѣтѣ. Что взглянетъ, то рублемъ подаритъ. А ужъ что за умница, такъ ужъ и говорить нечего. Одно доложу вамъ, батюшка: горда; пошутить нельзя; только вздумаешь подпустить турусы на колесахъ—такъ взглянетъ, что языкъ прикусишь.»—«Вижу, братъ, что она тебѣ врать не позволяла», сказалъ старикъ съ веселымъ лицомъ, разсмѣялся и прибавилъ: «Ну это еще не большая бѣда.» Степанъ Михайлычъ, по всѣмъ разсказамъ, по письмамъ Софьи Николавны и по отвѣту Ивана Петровича Каратаева, составилъ въ своемъ умѣ весьма благопріятное мнѣніе объ Софьѣ Николавнѣ.

Извѣстіе о скоромъ пріѣздѣ молодыхъ произвело тревогу и суету въ тихомъ, слишкомъ простомъ домѣ деревенскихъ помѣщиковъ. Надобно было почиститься, пріодѣться, принарядиться. Невѣстка городская модница, привыкла жить по-барски, даромъ что бѣдна: осудитъ, осмѣетъ — такъ

думали и говорили всѣ, кромѣ старика. Особыхъ и свободныхъ комнатъ въ домѣ не было, надобно было вывести Танюшу изъ ея горницы, выходившей угломъ въ садъ, на прозрачный Бугурусланъ съ его зелеными кустами и голосистыми соловьями. Танюшѣ очень не хотѣлось перейти въ передбанникъ, но другаго мѣста не было: всѣ сестры жили въ домѣ, а Каратаевъ и Ерлыкинъ спали на сѣнникѣ. За день до пріѣзда молодыхъ, привезли кровать, штофный занавѣсъ, гардины; пріѣхалъ и человѣкъ, умѣющій все это уставить и приладить. Танюшину комнату отдѣлали въ нѣсколько часовъ. Степанъ Михайловичъ посмотрѣлъ, полюбовался, а женщины кусали отъ зависти губы. Наконецъ прискакалъ передовой съ извѣстіемъ, что молодые остановились въ Мордовской деревнѣ Нойкино, въ восьми верстахъ отъ Багрова, гдѣ они переодѣнутся и часа черезъ два пріѣдутъ. Все пришло въ движеніе. Хотя старикъ еще съ утра послалъ за священникомъ, но какъ онъ еще не пріѣзжалъ, то послали гонца верхомъ поторопить его. Между тѣмъ въ Нойкинѣ происходила также забавная суматоха. Молодые ѣхали на перемѣнныхъ по проселочной дорогѣ, и потому надобно было посылать передоваго для заготовленія лошадей отъ деревни до деревни. Въ Нойкинѣ всѣ знали Алексѣя Степаныча еще дитятей, а Степана Михайлыча считали отцемъ и благодѣтелемъ. Вся деревня отъ мала до велика, душъ 600 мужеска и женска пола, сбѣжалась къ той избѣ, гдѣ должны были остановиться молодые. Софья Николавна едва ли видала вблизи Мордву, и потому одежда Мордовокъ и необыкновенно рослыхъ и здоровыхъ дѣвокъ, ихъ вышитыя красною шерстью бѣлыя рубахи, ихъ черные шерстяные пояса или хвосты, грудь и спина и головные уборы, обвѣшанные серебряными день-

гами и колокольчиками, очень ее заинтересовали. Но когда она услыхала простыя, грубыя, но искреннія восклицанія всей толпы, на изломанномъ нѣсколько русскомъ языкѣ, то радостныя привѣтствія, то похвалы и добрыя желанія, — она и смѣялась, и даже плакала: «Ай, ай, Алеша, какой жена тебѣ Богъ давалъ. Ай, ай, хороша, говорили старики и старухи; а отца наша Степанъ Михайлычъ то-то рада будетъ! Ну дай вамъ Богъ, дай Богъ.» Когда же молодая, переодѣвшись въ пышное городское платье, вышла садиться въ карету, то въ народѣ поднялся такой гулъ радостныхъ похвалъ, что даже лошади перепугались. Молодые, подаривъ десять рублей на вино всему міру, отправились въ дорогу.

Позади господскаго гумна, стоящаго на высокой горѣ, показался высокій экипажъ. «Ѣдутъ, ѣдутъ» раздалось по всему дому, и вся дворня, а вскорѣ и всѣ крестьяне сбѣжались на широкій господской дворъ, а молодежъ и ребятишки побѣжали навстрѣчу. Старики Багровы со всѣмъ семействомъ вышли на крыльцо; Арина Васильевна въ шелковомъ шушунѣ и юбкѣ и съ шелковымъ гарнитуровымъ съ золотыми травочками платкомъ на головѣ, а Степанъ Михайлычъ въ какомъ-то стародавномъ сюртукѣ, выбритый и съ платкомъ на шеѣ, стояли на верхней ступенькѣ крыльца; одинъ держалъ образъ Знаменія Божьей Матери, а другая—коровай хлѣба съ серебряной солонкой. Золовки и два зятя стояли около нихъ. Экипажъ подкатилъ къ крыльцу, молодые вышли, упали старикамъ въ ноги, приняли ихъ благословеніе и разцѣловались съ ними и со всѣми ихъ окружающими; едва кончила молодая эту церемонію и обратилась опять къ свекру, какъ онъ схватилъ ее за руку, поглядѣлъ ей

пристально въ глаза, изъ которыхъ катились слезы, самъ заплакалъ, крѣпко обнялъ, поцѣловалъ и сказалъ: «Слава Богу! Пойдемъ же благодарить Его.» Онъ взялъ невѣстку за руку, провелъ въ залу сквозь тѣсную толпу, постановилъ возлѣ себя,—и священникъ, ожидавшій ихъ въ полномъ облаченіи, возгласилъ: «Благословенъ Богъ нашъ, всегда, нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ.»

ВОСПОМИНАНІЯ.

ГИМНАЗІЯ.

ПЕРІОДЪ ПЕРВЫЙ.

ГИМНАЗІЯ.

ПЕРІОДЪ ПЕРВЫЙ.

Въ серединѣ зимы 1799 года, пріѣхали мы въ губернской городъ К. Мнѣ было восемь лѣтъ. Морозы стояли трескучіе, и хотя заранѣе были наняты для насъ двѣ комнаты въ маленькомъ домѣ капитанши Аристовой, но мы не скоро отыскали свою квартиру, которая, впрочемъ, находилась на хорошей улицѣ, называющейся «Грузинскою». Мы пріѣхали подъ вечеръ, въ простой рогожной повозкѣ, на тройкѣ своихъ лошадей (поваръ и горничная пріѣхали прежде насъ); переѣздъ съ кормежки сдѣлали большой, долго ѣздили по городу, разспрашивая о квартирѣ, долго стояли по безтолковости деревенскихъ лакеевъ—и я помню, что озябъ ужасно, что квартира была холодна, что чай не согрѣлъ меня и что я легъ спать, дрожа какъ въ лихорадкѣ; еще болѣе помню, что страстно любившая меня мать также дрожала; но не отъ холода, а отъ страха чтобъ не простудилось ея любимое дитя, ея Сереженька. Прижавшись къ материнскому сердцу и прикрытый сверхъ одѣяла лисьимъ, атласнымъ, еще приданымъ салопомъ, я согрѣлся, уснулъ и проснулся на другой день здоровымъ, къ неописанной радости моей встревоженной матери. Се-

стра моя и братъ, оба меня моложе, остались въ Симбирской губерніи, въ богатомъ селѣ Чуфаровѣ у двоюродной тетки моего отца, отъ которой въ будущемъ ожидали мы наслѣдства; но въ настоящее время она не помогала моему отцу ни одной копѣйкой и заставляла его съ семействомъ терпѣть не рѣдко нужду: даже взаймы не давала ни одного рубля. Не знаю, какія обстоятельства принудили моихъ родителей, при ихъ стѣсненномъ положеніи въ деньгахъ, пріѣхать въ губернской городъ К., но знаю, что это было одѣлано не для меня, хотя вся моя будущность опредѣлилась этой поѣздкой. Проснувшись на другой день, я былъ пораженъ движеніемъ на улицѣ; до сихъ поръ я ничего подобнаго не видывалъ. Впечатлѣніе было такъ сильно, что я не могъ оторваться отъ окошка. Не удовлетворяясь отвѣтами на мои разспросы, пріѣхавшей съ нами женщины Параши, которая сама ничего не знала, я добился какой-то хозяйской дѣвушки и мучилъ ее нѣсколько часовъ сряду, задавая иногда такіе вопросы, на которые она отвѣчать не умѣла. Отецъ и мать ѣздили въ соборъ, помолиться, и еще куда-то, по своимъ дѣламъ, но меня съ собою не брали, боясь жестокихъ крещенскихъ морозовъ. Обѣдали они дома, но вечеромъ опять уѣхали; утомленный новыми впечатлѣніями, я заснулъ ранѣе обыкновеннаго, болтая и слушая болтовню Параши; но только что разоспался, какъ ласковая рука той же Параши бережно меня разбудила. Мнѣ сказали, что за мною прислали возокъ, что мнѣ надобно встать и ѣхать въ гости, гдѣ ожидали меня отецъ и мать. Меня одѣли въ праздничное платье, умыли и причесали, закутали и посадили въ возокъ вмѣстѣ съ тою же Парашей. Вырванный изъ крѣпкаго ребячьяго сна, испуганный такимъ происшествіемъ, какого со мной никогда небывало, застѣнчивый отъ природы, съ замирающимъ серд-

цемъ, съ предчувствіемъ чего-то страшнаго, ѣхалъ я по опустѣвшимъ городскимъ улицамъ. Наконецъ мы пріѣхали. Параша раздѣла меня въ лакейской, повторила мнѣ на ухо слова, нѣсколько разъ сказанныя дорогой, чтобъ я не робѣлъ, довела за руку до гостиной, лакей отворилъ дверь, и я вошелъ. Блескъ свѣчей и громкія рѣки такъ меня смутили, что я остановился, какъ вкопанный у двери. Первый увидѣлъ меня отецъ и сказалъ: «а вотъ и рекрутъ.» Я смѣшался еще болѣе. «Лобъ» произнесъ чей-то громовой голосъ, и мужчина огромнаго роста поднялся съ креселъ и пошелъ ко мнѣ. Я такъ перепугался, ибо понималъ страшный смыслъ этого слова, что почти безъ памяти бросился бѣжать. Громкой хохотъ всѣхъ присутствующихъ остановилъ меня; но матери моей не понравилась эта шутка: материнское сердце возмутилось испугомъ своего дитяти; она бросилась ко мнѣ, обняла меня, ободрила словами и ласками, и поплакавъ, я скоро успокоился. Теперь надобно разсказать, куда привезли меня: это былъ домъ старинныхъ друзей моего отца и матери Максима Дмитрича и Елизаветы Алексѣевны К-чей, которые прежде нѣсколько лѣтъ жили въ Уфѣ, гдѣ Максимъ Дмитричъ служилъ губернскимъ прокуроромъ (вмѣстѣ съ моимъ отцомъ) и откуда онъ переѣхалъ, также прокуроромъ на службу въ К. Максимъ Дмитричъ еще въ молодости выѣхалъ изъ Сербіи. Онъ прямо поступилъ въ кавалергарды, а потомъ опредѣленъ въ Уфу прокуроромъ Верхняго Земскаго Суда. Онъ могъ назваться вѣрнымъ типомъ южнаго Славянина, и отличался радушіемъ и гостепріимствомъ; хотя его наружность и пріемы, при огромномъ ростѣ и рѣзкихъ чертахъ лица, сначала казались суровыми и строгими, но онъ имѣлъ предобрѣйшее сердце; жена его была русская дворянка Р-ва; домъ ихъ въ городѣ К. отличался вполнѣ славянскою надписью надъ

воротами: «Добрые люди, милости просимъ!» (*) — Когда К-чи жили въ Уфѣ, то мы видались очень часто, и мы съ сестрой игрывали вмѣстѣ съ ихъ старшими сыновьями, Дмитріемъ и Александромъ, которые также были тутъ и которыхъ я не скоро узналъ; но когда мать все это мнѣ напомнила и растолковала, то я вдругъ закричалъ: «Ахъ маменька, такъ это тѣ К-чи, которые учили меня бить лбомъ грецкіе орѣхи.» Восклицаніе мое возбудило общій смѣхъ. Робость прошла, и я сдѣлался веселъ и вновь подружился съ старыми пріятелями; они были одѣты въ зеленые мундиры съ красными воротниками, и я узналъ что они отданы въ К-ую Гимназію, куда черезъ часъ ихъ увезли. Это случилось въ воскресенье; молодые К-чи были отпущены къ родителямъ съ утра до восьми часовъ вечера. Мнѣ стало скучно, и слушая разговоры моего отца и матери съ хозяевами, я задремалъ, какъ вдругъ долетѣли до дѣтскаго моего слуха слѣдующія слова, которыя навели на меня ужасъ и далеко прогнали сонъ. «Да, мой любезный Тимоѳей Степанычъ и почтенная Марья Николаевна, говорилъ твердымъ и рѣзкимъ голосомъ Максимъ Дмитріевичъ, примите мой дружескій совѣтъ, отдайте Сережу въ гимназію. Особенно совѣтую я это потому, что онъ, кажется, матушкинъ сынокъ; она его избалуетъ, разнѣжитъ и сдѣлаетъ бабой. Мальчика пора учить; въ Уфѣ никакихъ учителей не было, кромѣ Матвѣя Васильича въ народномъ училищѣ, да и тотъ ничего не смыслитъ; а теперь вы переѣхали на житье въ деревню, гдѣ и Матвѣя Васильича не достанешь.» Мой отецъ безусловно соглашался съ этимъ мнѣніемъ, а мать, пораженная мыслію

(*) Надпись по длинотѣ и крупнотѣ буквъ не умѣщалась, а потому была написана слѣдующимъ образомъ: «Д. Л. Милости просимъ». Читая буквы по старинному, т.-е. «Добро Люди», получался почти тотъ же смыслъ, какой выражался бы въ полной надписи.

разлуки съ своимъ сокровищемъ, поблѣднѣла и встревоженнымъ голосомъ возражала, что я еще малъ, слабъ здоровьемъ (отчасти это была правда) и такъ привязанъ къ ней, что она не можетъ вдругъ на это рѣшиться. Я сидѣлъ, какъ говорится, ни живъ, ни мертвъ, и уже ничего не слышалъ и не понималъ что говорили. Часовъ въ десять поужинали; но ни я, ни мать моя не могли проглотить ни одного куска. Наконецъ тотъ же возокъ, который привезъ меня, отвезъ насъ опять на квартиру. Когда мы легли спать, и я по обыкновенію обнялъ и прижался къ сердцу матери, то мы оба съ нею принялись громко рыдать. Кромѣ словъ, заглушаемыхъ всхлипываньями: «Маменька, не отдавай меня въ гимназію» я ничего сказать не могъ. Мать также рыдала, и мы долго не давали спать моему отцу. Наконецъ мать рѣшила, что ни за что со мною не разстанется—и къ утру мы заснули.

Мы пробыли въ К. не долго. Послѣ я узналъ, что мой отецъ и К-чи продолжали уговаривать мою мать отдать меня немедленно на казенное содержаніе въ К-ую гимназію, убѣждая ее тѣмъ, что теперь есть ваканція, а въ послѣдствіи можетъ быть ее не будетъ; но мать моя ни за что не согласилась и сказала рѣшительно, что ей надобно покрайней мѣрѣ годъ времени, чтобы совладѣть съ своимъ сердцемъ, чтобы самой привыкнуть и меня пріучить къ этой мысли. Отъ меня все было скрыто, и я повѣрилъ, что этой страшной бѣды никогда со мною не случится.

Мы опять потащились на своихъ лошадяхъ, сначала въ Симбирскую губернію, гдѣ взяли сестру и брата, и потомъ пустились за Волгу въ Новое Аксаково, гдѣ оставалась новорожденная сестра Аннушка. Ѣзда зимой на своихъ по проселочнымъ дорогамъ тогдашней Уфимской губерніи, гдѣ, по цѣлымъ десяткамъ верстъ, не встрѣчалось

иногда ни одной деревни, представляется мнѣ теперь въ такомъ ужасномъ видѣ, что сердце замираетъ отъ одного воспоминанія. Проселочная дорога была ничто иное, какъ слѣдъ, проложенный нѣсколькими санями, по снѣжнымъ сугробамъ, при малѣйшемъ вѣткѣ совершенно заметаемый верхнимъ снѣгомъ. По такой-то дорогѣ надобно было тащиться гусемъ, часовъ семь сряду, потому что пряжки или переѣзды дѣлались верстъ по тридцати пяти и болѣе; да и кто мѣрилъ эти версты! Для этого надобно было подниматься съ ночлега въ полночь, будить разоспавшихся дѣтей, укутывать шубами и укладывать въ повозки. Скрыпъ отъ полозьевъ по сухому снѣгу, терзалъ мои чувствительныя нервы, и первыя сутки я всегда страдалъ желчной рвотой. Кормежки и ночевки въ дымныхъ избахъ, вмѣстѣ съ поросятами, ягнятами и телятами, нечистота, вонь.... не дай Богъ никому и во снѣ все это увидѣть. Не говорю уже о буранахъ, отъ которыхъ иногда надобно было останавливаться въ какой-нибудь деревушкѣ, ждать сутокъ по двое, когда затихнетъ снѣжный ураганъ.... Страшно вспомнить! Но мы пріѣхали наконецъ въ мое милое Аксаково, и все было забыто. Я началъ опять вести свою блаженную жизнь подлѣ моей матери; опять началъ читать ей вслухъ мои любимыя книжки: «Дѣтское чтеніе для сердца и разума, и даже, «Ипокрену или утѣхи любословія», конечно не въ первый разъ, но всегда съ новымъ удовольствіемъ; опять началъ декламировать стихи изъ трагедіи Сумарокова, въ которыхъ я особенно любилъ представлять Вѣстниковъ, для чего подпоясывался широкимъ кушакомъ и втыкалъ подъ него, вмѣсто меча, подоконную подставку; опять началъ играть съ моей сестрой, которую съ младенчества любилъ горячо, и съ маленькимъ братомъ, валяясь съ ними на полу, устланному для теплоты въ два ряда калмыцкими, бѣлыми какъ снѣгъ, кошмами; опять началъ учить читать свою

сестрицу: она училась сначала какъ-то тупо и лѣниво, да и я разумѣется не умѣлъ приняться за это дѣло, хотя очень горячо имъ занимался. Я очень помню, что никакъ не могъ растолковать моей шестилѣтней ученицѣ, какъ складывать цѣлыя слова. Я приходилъ въ отчаяніе, садился на скамеечкѣ въ уголъ и принимался плакать. На вопросъ же матери, о чемъ я плачу? я отвѣчалъ: «сестрица ничего не понимаетъ....» Опять началъ я спать съ своей кошкой, которая такъ ко мнѣ была привязана, что ходила за мной вездѣ какъ собаченка; опять принялся ловить птичекъ силками, крыть ихъ лучкомъ и сажать въ небольшую горницу, превращенную такимъ образомъ въ обширный садокъ; опять началъ любоваться своими голубями, двухохлыми и мохноногими, которые зимовали безъ меня въ подпечкахъ по разнымъ дворовымъ избамъ; опять началъ смотрѣть, какъ охотники травятъ сорокъ и голубей и кормятъ ястребовъ, пущенныхъ въ зиму. Не доставало дня, чтобы насладиться всѣми этими благами! Зима прошла и наступила весна, все зазеленѣло и разцвѣло, открылось множество новыхъ живѣйшихъ наслажденій: свѣтлыя воды рѣки, мельница, прудъ, грачевая роща и островъ, окруженный со всѣхъ сторонъ старымъ и новымъ Бугурусланомъ, обсаженный тѣнистыми липами и березами, куда бѣгалъ я по нѣскольку разъ въ день, самъ не зная за чѣмъ; я стоялъ тамъ неподвижно, какъ очарованный, съ сильно бьющимся сердцемъ, съ прерывающимся дыханіемъ.... Всего же сильнѣе увлекала меня удочка, и я, подъ надзоромъ дядьки моего Ефрема Евсеича, съ самозабвеніемъ предался охотѣ удить рыбу, которой много водилось въ прозрачномъ и омутистомъ Бугурусланѣ, протекавшемъ подъ самыми окнами деревенской спальни, прирубленной съ боку къ старому дому покойнымъ дѣдушкой, для того, чтобы у его невѣстки

была отдѣльная своя горница. Подъ самымъ окномъ, наклонясь надъ водой, росла развѣсистая береза, одинъ толстый ея сучекъ выгибался у ствола, какъ кресло: и я особенно любилъ сидѣть на немъ съ сестрой.... теперь воды Бугуруслана подмыли корни березы, она состарѣлась преждевременно и свалилась на бокъ, но все еще живетъ и зеленѣетъ. Новый хозяинъ посадилъ подлѣ нее новое дерево....

О, гдѣ ты волшебный міръ, Шехеразада человѣческой жизни, съ которымъ часто такъ неблагосклонно, грубо обходятся взрослые люди, разрушая его очарованіе насмѣшками и преждевременными рѣчами! Ты золотое время дѣтскаго счастія, память котораго такъ сладко и грустно волнуетъ душу старика! Счастливъ тотъ, кто имѣлъ его, кому есть что вспомнить! У многихъ проходитъ оно не замѣтно, или не радостно, и въ зрѣломъ возрастѣ остается только память холодности и даже жестокости людей.

Лѣто провелъ я въ такомъ же дѣтскомъ упоеніи и ничего не подозрѣвалъ; но осенью, когда я сталъ больше сидѣть дома, больше слушать и больше смотрѣть на мою мать, то сталъ примѣчать въ ней какую-то перемѣну: прекрасные глаза ея устремлялись иногда на меня съ особеннымъ выраженіемъ тайной грусти; я подглядѣлъ даже слезы, старательно отъ меня скрываемыя; встревоженный и огорченный, со всѣми ласками горячей любви, я приставалъ съ разспросами къ моей матери. Сначала она увѣряла меня, что это такъ, что это ничего не значитъ; но скоро въ ея разговорахъ со мной, я началъ слышать, какъ сокрушается она о томъ, что мнѣ не у кого учиться, какъ необходимо ученіе мальчику; что она лучше желаетъ умереть, нежели видѣть дѣтей своихъ, выростающихъ невѣждами, что мужчинѣ надобно служить, а для службы необходимо учиться.... Сердце сжалось у меня въ груди, я понялъ къ чему клонится рѣчь, понялъ, что

бѣда не прошла, а пришла, и что мнѣ не уйти отъ К-ой гимназіи. Мать подтвердила мою догадку и сказала, что она рѣшилась; а я зналъ, что ея рѣшенья тверды. Нѣсколько дней я только плакалъ и ничего не слушалъ, и какъ будто не понималъ, что говорила мнѣ мать. Наконецъ ея слезы, ея просьбы, ея разумныя убѣжденія, сопровождаемыя нѣжнѣйшими ласками, горячность ея желанія видѣть во мнѣ образованнаго человѣка, были поняты моей дѣтской головой, и съ растерзаннымъ сердцемъ я покорился ожидающей меня участи. Всѣ мои деревенскія удовольствія вдругъ потеряли свою прелесть, ни къ чему меня не тянуло, все смотрѣло чужимъ, все опостылило, и только любовь къ матери выросла въ такихъ размѣрахъ, которые пугали ее. Меня стали приготовлять къ школьному ученію. Для своего возраста я читалъ какъ нельзя лучше, но писалъ по-дѣтски. Отецъ еще прежде хотѣлъ мнѣ передать всю свою ученость въ математикѣ, то-есть, первыя четыре ариѳметическія правила, но я такъ непонятливо и лѣниво учился, что онъ бросилъ ученье. Тутъ все перемѣнилось: въ два мѣсяца я выучилъ эти четыре правила, которыя только однѣ изъ всей математики и теперь не позабыты мной; въ остальное время до отъѣзда въ К., отецъ только повторялъ со мной зады; въ списываніи прописей я достигъ также возможнаго совершенства. Все это я дѣлалъ на глазахъ у своей матери и единственно для нее. Она сказала мнѣ, что сгоритъ со стыда, если меня не похвалятъ на экзаменѣ, который надобно было выдержать именно въ этихъ предметахъ, при вступленіи въ гимназію, что она увѣрена въ моихъ отличныхъ успѣхахъ,—этого было довольно. Я не отходилъ отъ матери ни на шагъ. Напрасно посылала она меня погулять, или посмотрѣть на голубей и ястребовъ. Я никуда не ходилъ и всегда отвѣчалъ одно: «мнѣ

не хочется, маменька.» Съ намѣреніемъ пріучить меня къ мысли о разлукѣ, мать безпрестанно говорила со мной о гимназіи, объ ученьѣ, непремѣнно хотѣла въ послѣдствіи отвезти меня въ Москву и отдать въ университетскій благородный пансіонъ, куда нѣкогда опредѣлила она, будучи еще семнадцатилѣтней дѣвушкой, прямо изъ Уфы, своихъ братьевъ. Умъ мой былъ развернутъ не по лѣтамъ: я много прочелъ книгъ для себя и еще болѣе прочелъ ихъ вслухъ для моей матери; разумѣется книги были старше моего возраста. Надобно къ этому прибавить, что все мое общество составляла мать, а извѣстно, какъ общество взрослыхъ развиваетъ дѣтей. И такъ она могла говорить со мной о преимуществахъ образованнаго человѣка передъ невѣждой, и я могъ понимать ее. Будучи необыкновенно умна, владѣя рѣдкимъ даромъ слова и страстнымъ, увлекательнымъ выраженіемъ мысли, она безгранично владѣла всѣмъ моимъ существомъ и вдохнула въ меня такую бодрость, такое рвеніе скорѣе исполнить ея пламенное желаніе, оправдать ея надежды, что я наконецъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ отъѣзда въ К. Мать моя казалась бодрою и веселою; но чего стоили ей эти усилія! Она худѣла и желтѣла съ каждымъ днемъ; никогда не плакала, и только болѣе обыкновеннаго молилась Богу, запершись въ своей комнатѣ. Вотъ гдѣ было настоящее торжество безграничной, безкорыстной, полной самоотверженія, материнской любви! Вотъ гдѣ доказала мнѣ мать любовь свою! Я былъ прежде больной ребенокъ, и она нѣкогда проводила цѣлые годы безотлучно у моей дѣтской кровати; никто не зналъ, когда она спала; ничья рука, кромѣ ея, ко мнѣ не прикасалась. Въ послѣдствіи она перешла весною, въ ростополь, страшную, посинѣвшую рѣку Каму, уже ни для кого не проходимую, ежеминутно готовую взломать свои льды, — узнавъ что тоска меня одолѣла и

что я лежу въ больницѣ.... но это ничего не значитъ въ сравненіи съ рѣшимостью: отдать въ гимназію свое неглядное, слабое, изнѣженное, буквально обожаемое дитя, по девятому году, на казенное содержаніе, за четыреста верстъ, потому-что не было другихъ средствъ доставить ему образованіе.

Пришла опять зима, и въ декабрѣ мы отправились въ К. Чтобы не такъ было грустно матери моей возвращаться домой, по настоянію отца взяли съ собой мою любимую старшую сестрицу; брата и меньшую сестру оставили въ Аксаковѣ съ тетушкой Евгеніей Степановной. Въ К. мы остановились на прошлогодней квартирѣ у капитанши Аристовой. Съ Максимомъ Дмитричемъ К—мъ мы переписывались изъ деревни; заранѣе знали, что есть казенная ваканція въ гимназіи, и заранѣе приготовили всѣ бумаги, нужныя для моего опредѣленія. И такъ недѣли черезъ двѣ, познакомясь предварительно черезъ К-ча со всѣми лицами, съ которыми надобно было имѣть дѣло, и помолясь усердно Богу, отецъ мой подалъ просьбу директору Пекену.

Совѣтъ гимназіи предложилъ главному надзирателю (онъ же былъ инспекторомъ) Николаю Ивановичу К—ву проэкзаменовать меня, а доктору Беннсу освидѣтельствовать въ медицинскомъ отношеніи. К—въ находился въ отпуску; должность главнаго надзирателя исправлялъ надзиратель благонравной комнаты, Василій Петровичъ Упадышевскій, а должность инспектора классовъ—старшій учитель Россійской словесности, Левъ Семенычъ Левитскій. Оба были добрые и ласковые люди, а Упадышевской впослѣдствіи сдѣлался истиннымъ ангеломъ хранителемъ моимъ и моей матери: я не знаю, что было бы съ нами безъ этого благодѣтельнаго старика. Поѣхавъ подавать просьбу директору, отецъ взялъ меня съ собою, и директоръ приласкалъ меня.

Левитскій былъ нездоровъ и не могъ пріѣхать въ совѣтъ гимназіи, и потому отецъ повезъ меня къ нему на квартиру. Левъ Семенычъ былъ любезный, веселый, краснощекій толстякъ, уже съ порядочнымъ брюшкомъ, не смотря на свою молодость. Онъ очаровалъ своимъ пріемомъ обоихъ насъ: началъ съ того, что разласкалъ и разцѣловалъ меня, далъ мнѣ читать прозу Карамзина и стихи Дмитріева—и пришелъ въ восхищеніе, находя, что я читаю съ чувствомъ и пониманіемъ; заставилъ меня что-то написать—и опять пришелъ въ восхищеніе; въ четырехъ правилахъ ариѳметики я также отличился; но Левитскій, какъ настоящій словесникъ, тутъ же отозвался о математикѣ съ пренебреженіемъ. По окончаніи экзамена, онъ принялся меня хвалить безпощадно; удивлялся, что мальчикъ моихъ лѣтъ, живя въ деревнѣ, могъ быть такъ хорошо приготовленъ. «Да кто же былъ его учителемъ въ каллиграфіи? добродушно смѣясь, спросилъ Левъ Семенычъ у моего отца—вашъ собственный почеркъ не очень красивъ?» Отецъ мой, обрадованный и растроганный почти до слезъ похвалами своему сыну, простодушно отвѣчалъ: что я достигъ до всего своими трудами подъ руководствомъ матери, съ которою былъ почти неразлученъ, и что онъ только выучилъ меня ариѳметикѣ. Онъ прибавилъ къ этому, что моя мать жила всегда въ губернскомъ городѣ, что мы недавно переѣхали въ деревню, что она дочь бывшаго Товарища Намѣстника, и большая охотница до книгъ и до стиховъ. «А, теперь я понимаю, воскликнулъ Левитскій, отчего печать благонравія, и даже изящества лежитъ на вашемъ миломъ сынѣ — это плодъ женскаго воспитанія, плодъ трудовъ образованной матери.» Мы уѣхали очарованные имъ. Докторъ Бенисъ, который имѣлъ прекрасный домъ на Лядской улицѣ, принялъ насъ очень учтиво, и безъ всякаго затрудненія далъ свидѣтельство о

моемъ здоровьѣ и крѣпкомъ тѣлосложеніи. Воротясь домой, я замѣтилъ, что мать моя много плакала, хотя глаза ея были такого свойства, что слезы не мутили ихъ ясности и никакого слѣда не оставляли. Отецъ мой съ жаромъ разсказалъ все случившееся съ нами. Мать устремила на меня взглядъ, выраженія котораго я не забуду, если проживу еще сто лѣтъ. Она обняла меня и сказала: «ты мое счастье, ты моя гордость.» Чего мнѣ было больше? и я по своему былъ счастливъ, гордъ и бодръ.

Мать моя сдѣлала визитъ женѣ доктора Бениса и познакомилась съ нимъ самимъ. Молодости, красотѣ, уму и слезамъ моей матери трудно было отказать въ сочувствіи; докторъ и докторша полюбили её, и докторъ далъ ей обѣщаніе, что въ случаѣ малѣйшаго моего нездоровья, будутъ мнѣ оказаны всѣ медицинскія пособія. Обѣщаніе страшное по моимъ теперешнимъ понятіямъ; но тогда оно нѣсколько успокоило мою бѣдную мать.—Василій Петровичъ Упадышевскій былъ вдовецъ и двое его сыновей находились въ числѣ казенныхъ воспитанниковъ К—ой гимназіи. Отецъ мой познакомился съ нимъ и пригласилъ его къ намъ на квартиру. Этотъ добрый старикъ былъ такъ обласканъ моею матерью, такъ оцѣнилъ ея горячность къ сыну и такъ полюбилъ ее, что въ первое же свиданіе далъ честное слово: во первыхъ, черезъ недѣлю перевесть меня въ свою благонравную комнату—ибо прямо помѣстить туда неизвѣстнаго мальчика, показалось бы для всѣхъ явнымъ пристрастіемъ—и во вторыхъ, смотрѣть за мной болѣе, чѣмъ за своими повѣсами, то-есть, своими родными сыновьями. Онъ свято исполнилъ и то и другое. Какъ теперь гляжу на его добродушное и привѣтливое лицо, на его правую руку, подвязанную черной широкой лентой, потому что кисть руки была оторвана взрывомъ пушки и вмѣсто нее привязывалась къ рукѣ черная пер-

чатка, набитая хлопчатой бумагой; впрочемъ онъ очень четко и хорошо писалъ лѣвою рукою.

Наконецъ всѣ формальности были выполнены, и состоялось опредѣленіе совѣта принять меня въ Гимназію, на казенное содержаніе; даже сняли съ меня мѣрку и сшили форменное платье. Напряженное состояніе духа, въ которомъ находилась мать моя и я самъ, не ослабѣвало. Поѣхали въ соборъ, отслужили молебны Гурію, Варсонофію и Герману Казанскимъ Чудотворцамъ; прямо оттуда отецъ съ матерью отвезли меня въ Гимназію и отдали съ рукъ на руки Упадышевскому; дядька мой, Ефремъ Евсеичъ, также поступилъ туда въ должность комнатнаго служителя. Прощанье, разумѣется, сопровождалось слезами, благословеніями и наставленіями. но ничего особеннаго не случилось. Меня отвезли поутру въ 10 часовъ: классы только что перемѣнились (*) и всѣ ученики находились въ классныхъ комнатахъ на верху. Спальныя внизу были пусты, и мать моя могла смотрѣть ихъ, даже видѣть ту кровать, на которой я буду спать; казалось, она всѣмъ осталась довольна. Какъ только уѣхали мои родители, Упадышевскій взялъ меня за руку, отвелъ въ классъ чистописанія, представилъ учителю, рекомендовалъ, какъ самаго благонравнаго мальчика, и просилъ особенно мной заняться. Меня посадили за отдѣльный столъ, вмѣстѣ съ новенькими, и заставили выписывать палочки. Я былъ такъ пораженъ, что находился точно въ какомъ-то забытьѣ; все казалось мнѣ сномъ, но страха и тоски я не чувствовалъ. Послѣ обѣда, котораго я не замѣтилъ, надѣли на меня формен-

(*) Утренніе классы зимой начинались въ восемь часовъ; въ десять перемѣнялись учителя; въ двѣнадцать классы оканчивались; въ половинѣ перваго обѣдали; лѣтомъ же классы начинались въ семь часовъ, оканчивались въ одиннадцать, обѣдали ровно въ двѣнадцать, послѣ обѣда ученіе всегда начиналось въ два и оканчивалось въ шесть часовъ; ужинали въ восемь, ложились спать въ девять, вставали въ пять часовъ.

ную мундирную куртку, повязали суконный галстухъ, остригли волосы подъ гребенку, поставили во фрунтъ по ранжиру, по два человѣка въ рядъ, подлѣ ученика, Владиміра Граффа, и сейчасъ выучили ходить въ ногу. Я все исполнялъ, какъ говорится, машинально: точно дѣло шло не обо мнѣ. По окончаніи классовъ, Упадышевскій встрѣтилъ меня у дверей и сказавъ: «матушка тебя дожидается», отвелъ меня въ пріемную залу. Отецъ съ матерью были тамъ; отецъ увидя меня разсмѣялся и сказалъ: «вотъ какъ перерядили Сережу». А мать, которая въ первую минуту меня не узнала, всплеснула руками, ахнула и упала безъ чувствъ. Я закричалъ, какъ изступленный, и также упалъ у ея ногъ. Упадышевскій, смотрѣвшій въ непритворенную дверь, перепугался и прибѣжалъ на помощь. Обморокъ моей матери продолжался около получаса, напугалъ моего отца и такъ встревожилъ бѣднаго Упадышевскаго, что онъ призвалъ изъ больницы жившаго тамъ подлекаря Риттера, который далъ матери моей какое-то лекарство, и даже мнѣ что-то далъ выпить. Когда мать опомнилась, то сдѣлалась очень слаба и добрый Упадышевскій самъ предложилъ отпустить меня ночевать домой: «такъ и быть, говорилъ онъ, пусть прогнѣвается на меня Николай Иванычъ (главный надзиратель), когда воротясь узнаетъ объ этомъ; правда, онъ ни за чтобы не позволилъ, но я ужь беру все на свою отвѣтственность, только пожалуста привезите его завтра къ семи часамъ, прямо къ завтраку». Мы не находили словъ благодарить добраго человѣка и отправились на квартиру. Дома, мать одумалась, ободрилась и меня ободрила. Она заставила себя спокойно смотрѣть на мою, почти выбритую голову, гдѣ рука ея напрасно искала мягкихъ, бѣлокурыхъ кудрей моихъ, на суконный галстухъ, который уже успѣлъ натереть мою нѣжную шею, никогда еще неносившую и

шелковаго платка. Во всемъ находила она разумную потребность, которой должно было покориться. Взявшая наша твердость духа и рѣшимость, съ новою силою овладѣли нами. На другой день въ семь часовъ, я былъ уже въ гимназіи. Мать пріѣзжала ко мнѣ всякой день два раза, въ двѣнадцать часовъ передъ обѣдомъ, всего на полчаса, и въ шесть часовъ вечера, и тогда я могъ оставаться съ ней часа полтора. При свиданьяхъ со мною она казалась спокойною и даже веселою; но по печальному лицу моего отца я отгадывалъ, что дома безъ меня происходило со всѣмъ другое. Черезъ нѣсколько дней, отецъ мой убѣдился, что дѣла такъ продолжаться не могутъ и что эти безпрестанныя свиданья и прощанья — только одно безполезное мученье; онъ призвалъ на совѣтъ К — ча, и они вмѣстѣ рѣшили увезти немедленно мою мать въ деревню. Рѣшить было легко, да исполнить трудно: отецъ мой зналъ это очень хорошо; но сверхъ его ожиданья, и къ большому удовольствію, мать моя скоро уступила общимъ просьбамъ и убѣжденіямъ. Слова доктора Бениса, принявшаго въ этомъ дѣлѣ участіе, безъ сомнѣнія имѣли большую значительность. Онъ увѣрялъ, что частыя свиданья, раздражая мои слабыя нервы, вредны моему здоровью и что я никогда или очень долго не привыкну къ новой моей жизни, если мать моя не уѣдетъ. Даже добрѣйшій Упадышевскій упрашивалъ о томъ же, утверждая, что въ такомъ положеніи я не могу хорошо учиться и что учителя получатъ обо мнѣ дурное мнѣніе.... и мать моя согласилась уѣхать на другой же день. Удивляюсь только одному, какъ она могла рѣшиться обмануть меня? Она сказала мнѣ передъ обѣдомъ, что завтра или послѣ завтра уѣзжаетъ и что мы еще увидимся раза два; сказала также, что вечеръ проведетъ у К—чей и потому ко мнѣ не пріѣдетъ. Уѣхать тихонько, не простясь со мной

— это была несчастная мысль, поддержанная Бенисомъ и Упадышевскимъ. Разумѣется хотѣли пощадить насъ обоихъ, и особенно меня, отъ послѣдняго прощанья, но разсчетъ оказался не вѣренъ. Я и теперь убѣжденъ, что эта благонамѣренная хитрость произвела много печальныхъ послѣдствій.

Въ первый разъ случилось, что мать не пріѣхала ко мнѣ вечеромъ, и хотя я былъ предупрежденъ ею, но тоска и предчувствіе неизвѣстной бѣды томили мое сердце. Ночь спалъ я дурно. На другой день по утру, когда я сталъ одѣваться, дядька мой Евсенчъ подалъ мнѣ записку: мать прощалась со мной; она писала, что если я люблю ее и хочу, чтобъ она была жива и спокойна, то не буду грустить и стану прилежно учиться. Она уѣхала наканунѣ въ восемь часовъ вечера. Ясно помню я эту минуту, но описать ее не-умѣю: что-то болѣзненное пронзило мою грудь, сжало ее и захватило дыханіе; черезъ минуту началось страшное біеніе сердца. Полуодѣтый, я сѣлъ на кровать и съ безумнымъ отчаяніемъ глядѣлъ на всѣхъ, ничего не слушая и ничего не понимая. Упадышевскій, который дни за два перевелъ меня въ свою благонравную комнату и который зналъ объ отъѣздѣ матери моей, слѣдовательно понималъ причину моего состоянія,—не велѣлъ меня трогать, увелъ поскорѣе воспитанниковъ на верхъ, поручилъ ихъ одному изъ надзирателей и прибѣжалъ ко мнѣ: я сидѣлъ на кровати въ томъ же положеніи; Евсенчъ стоялъ передо мною и плакалъ. Что ни говорилъ Упадышевскій, я не слыхалъ и молчалъ. Я не могъ сообразить ни какой мысли и глаза у меня были, какъ мнѣ послѣ сказали, дикіе и неподвижные. Меня отвели въ больницу; я и тамъ сѣлъ безсознательно на кровать и сидѣлъ также молча и глядѣлъ также дико. Черезъ часъ пріѣхалъ Бенисъ, онъ осмотрѣлъ меня по докторски, покачалъ

головой и сказалъ что-то по французски; послѣ я узналъ отъ другихъ, что онъ сказалъ: «pauvre enfant.» Мнѣ дали проглотить отвратительное лекарство, раздѣли, положили въ постель и принялись тереть суконками. Скоро сильный ознобъ и дрожь привели меня въ память. Я громко закричалъ: «маменька уѣхала!...» и ручьи задержанныхъ слезъ хлынули изъ моихъ глазъ. Бенисъ видимо обрадовался, сѣлъ подлѣ меня и началъ говорить объ отъѣздѣ моей матери, о необходимости этого отъѣзда для ея здоровья, о вредныхъ слѣдствіяхъ прощанья и о томъ, какъ долженъ вести себя умненькій мальчикъ въ подобныхъ обстоятельствахъ, любящій свою мать и желающій ее успокоить.... Его слова были вдохновеніемъ свыше, потому-что докторъ, будучи весьма почтеннымъ человѣкомъ, не отличался нѣжностію и мягкостію характера; слезы мои потекли еще сильнѣе, но мнѣ стало легче. Бенисъ уѣхалъ. Я рыдалъ еще часа два и наконецъ заснулъ отъ утомленія, и благотворный сонъ подкрѣпилъ мой слабый организмъ. Упадышевскій приходилъ ко мнѣ нѣсколько разъ; даже принесъ мнѣ для развлеченія: «Дѣтское училище», котораго я еще не видывалъ. Упадышевскій зналъ что я былъ страстный охотникъ читать; но мнѣ было тогда еще не до чтенія. Я попросилъ позволенія писать, и писалъ къ отцу и къ матери весь день и весь вечеръ, и почти безпрестанно плакалъ. Ночь я спалъ безпокойно и много грезилъ, къ чему я всегда былъ склоненъ. Евсеичъ не отходилъ отъ меня. На другой день по утру Бенисъ нашелъ мое здоровье въ лучшемъ положеніи, выписалъ изъ больницы, потому что считалъ вреднымъ для меня, въ нравственномъ отношеніи, бездѣйствіе и пребываніе между больными, и велѣлъ заниматься слегка ученьемъ. Упадышевскій опять самъ отвелъ меня въ учебныя комнаты, и я попалъ опять въ тотъ же классъ чистопи-

санія и потомъ въ классъ къ священнику. Два часа слушалъ я, какъ сказывали мои товарищи свои уроки изъ катихизиса и священной исторіи, какъ священникъ задавалъ новый урокъ и что-то много толковалъ и объяснялъ; но я не только въ этотъ разъ, но и во все время пребыванія моего въ гимназіи не понималъ его толкованій. Своихъ уроковъ на этотъ разъ я не зналъ. Священникъ былъ предупрежденъ о моемъ болѣзненномъ состояніи и хотя онъ былъ человѣкъ весьма не снисходительный и строгій, но ограничился однимъ выговоромъ и велѣлъ приготовить уроки къ слѣдующему разу. Послѣ обѣда, чтобъ я не оставался праздныхъ и не предался грустнымъ мыслямъ, Упадышевскій поручилъ одному изъ старшихъ воспитанниковъ, Ильѣ Жеванову, хорошо рисовавшему, занять меня рисованіемъ, къ чему въ дѣтствѣ я имѣлъ большую склонность. Я самъ слышалъ, какъ этотъ добрѣйшій старикъ просилъ Жеванова: сдѣлать ему большое одолженіе, котораго онъ никогда не забудетъ,—заняться рисованьемъ съ бѣднымъ мальчикомъ, который очень тоскуетъ по матери—и Жевановъ занимался со мной; но ученіе не только въ этотъ разъ, но и впослѣдствіи, не пошло мнѣ въ прокъ: рисованье кружковъ, бровей, носовъ, глазъ и губъ, навсегда отвратило меня отъ рисованья. Послѣ же вечернихъ классовъ, все тотъ же благодѣтельный геній мой, Василій Петровичъ Упадышевскій, заставилъ меня твердить уроки возлѣ себя и видя, что я самъ не понимаю, что твержу, начиналъ со мною разговаривать о моей деревенской жизни, объ моемъ отцѣ и матери, и даже позволялъ немного поплакать. Я не знаю, какъ пошла бы моя жизнь дальше; но тутъ внезапно все перемѣнилось: на третій день во время обѣда, Евсеичъ подалъ мнѣ записочку отъ матери, которая писала ко мнѣ, что она стосковалась, не простившись со мною какъ слѣдуетъ, и

что она, отъѣхавъ 90 верстъ, воротилась назадъ, чтобъ еще разъ взглянуть на меня хотя одну минуту. Я никакъ не могу объяснить себѣ, отъ чего въ первую минуту я не почувствовалъ той великой радости, которую, казалось бы, должно было мнѣ почувствовать? Я будто испугался, будто не повѣрилъ, будто грезилъ во снѣ.... Упадышевскій также получилъ записку: мать просила отпустить меня съ шести до девяти часовъ вечера, а если нельзя, то хотѣла пріѣхать сама; къ этому прибавляла она, что пробудетъ въ К. только до утра. Упадышевскій приказалъ мнѣ написать, чтобы Марья Николавна не безпокоилась и сама не пріѣзжала, что онъ отпуститъ меня съ дядькой, можетъ быть ранѣе шести часовъ, потому что на послѣдніе часы учитель по болѣзни, вѣроятно не придетъ, и что я могу остаться у ней до семи часовъ утра. Я писалъ эти слова и рѣшительно думалъ, что вижу сонъ. Евсеичъ побѣжалъ съ моимъ письмомъ. Часа черезъ полтора, онъ воротился съ такой радостной запиской, съ такой горячей благодарностью Упадышевскому, что старикъ прослезился, прочитавъ письмецо моей матери. Евсеичъ разсказалъ намъ, что барыня воротилась одна изъ села Алексѣевскаго, въ 90 верстахъ отъ К. по почтовому тракту, что баринъ остался тамъ съ барышней, которая не здорова, и что мать моя прискакала на почтовыхъ, въ легкой ямской повозкѣ, съ одной горничной и однимъ человѣкомъ. Я какъ будто началъ приходить въ себя, началъ вѣрить своему благополучію, и вскорѣ такъ повѣрилъ, что послѣдній часъ ожиданія былъ для меня невыносимой пыткой. Учитель точно увѣдомилъ, что не будетъ,—и въ четыре часа и пять минутъ, я сѣлъ съ моимъ дядькой въ извощичьи сани, уже не помня себя отъ неописанной радости. Мать моя остановилась, у кого не помню, на Проломной улицѣ, только это былъ не постоя-

лый дворъ. Вбѣжавъ въ комнату, я издали увидѣлъ, что мать моя, блѣдная и худая, сидитъ въ тепломъ салопѣ, у затопленнаго камина, потому что комната была очень холодна. Эта минута свиданія была такова, что не возможно дать о ней понятія! Подобнаго чувства счастія, я не испытывалъ уже во всю мою жизнь. Нѣсколько минутъ мы ничего не говорили, только плакали и радовались. Но это продолжалось не долго. Скоро мысль о близкой разлукѣ отогнала всѣ другія мысли и чувства и болѣзненно сжала мое сердце. Съ горькими слезами разсказалъ я матери все, происходившее со мной, со времени внезапнаго ея отъѣзда. Я испугался, какое дѣйствіе произвелъ мой разсказъ! Какъ обвиняла себя, и какъ раскаявалась бѣдная мать моя, что согласилась обмануть меня и уѣхать не простясь! Потомъ она разсказала мнѣ про себя; она не помнила какъ выѣхала изъ К., потому что ей сдѣлалось дурно, когда ее усадили въ повозку. По мѣрѣ удаленія отъ города, съ каждымъ часомъ становилось ей тошнѣе; скоро овладѣла ею мысль воротиться назадъ; но убѣжденія отца и собственный разсудокъ удерживали на нѣкоторое время стремленіе материнской любви. Наконецъ она была не въ состояніи противиться своимъ чувствамъ и воротилась одна, потому что побоялась растрясти мою сестру, и безъ того не здоровую. Мой отецъ и сестра должны были дожидаться ее въ Алексѣевскомъ; для сестры моей даже нуженъ былъ отдыхъ. Цѣлый вечеръ и большую половину ночи, провели мы въ разговорахъ и слезахъ; но какъ всему есть мѣра, то и мы, можно сказать, пресытились слезами и заснули. Я помню, что нѣсколько разъ вздрагивалъ во снѣ и начиналъ рыдать; но мать обнимала меня, клала мою голову къ себѣ на грудь, и я снова засыпалъ. Въ шесть часовъ насъ разбудили. Мы были спокойнѣе и бодрѣе. Мать дала

мнѣ обѣщаніе, что по первому лѣтнему пути она пріѣдетъ въ К. и проживетъ до окончанія экзаменовъ; а послѣ гимназическаго акта, который всегда бывалъ въ первыхъ числахъ Іюля, увезетъ меня на вакацію въ деревню, гдѣ я проживу до половины Августа. Отрадное чувство наполнило мое сердце; мы простились довольно спокойно. Въ семь часовъ мать моя сѣла въ свою ямскую кибитку, а я съ Евсеичемъ въ извощичьи сани, и мы въ одно время съѣхали со двора: повозка поѣхала на право къ заставѣ, а я на лѣво въ гимназію; скоро мы свернули съ улицы въ переулокъ, и кибитка исчезла изъ моихъ глазъ. Сердце у меня оторвалось, какъ говорится, грусть залегла въ душѣ; но голова не была смущена, я понималъ ясно, что̀ вокругъ меня происходило и что̀ ожидаетъ впереди. Огромное бѣлое зданіе гимназіи, съ яркозеленой крышей и куполомъ, стоящее на горѣ, сейчасъ бросилось мнѣ въ глаза и поразило меня, какъ будто я его никогда не видывалъ. Оно показалось мнѣ страшнымъ, очарованнымъ замкомъ (о которыхъ я читывалъ въ книжкахъ), тюрьмою, гдѣ я буду колодникомъ. Огромная дверь на высокомъ крыльцѣ между колоннами, которую распахнулъ старый инвалидъ и которая, казалось, проглотила меня; двѣ широкія и высокія лѣстницы, ведущія во второй и третій этажъ изъ сѣней, освѣщаемыя верхнимъ куполомъ; крикъ и гулъ смѣшанныхъ голосовъ, встрѣтившій меня издали, вылетавшій изъ всѣхъ классовъ, потому что учители еще не пришли — все это я увидѣлъ, услышалъ и понялъ въ первый разъ. Не смотря на то, что я жилъ въ гимназіи уже болѣе недѣли — я не замѣчалъ ее. Только теперь почувствовалъ я себя казеннымъ воспитанникомъ казеннаго учебнаго заведенія. Цѣлый день я удивлялся всему, какъ будто новому, невиданному, и Боже мой! какъ все показалось мнѣ противно! Вставанье по

звонку, за долго до свѣта, при потухшихъ и потухающихъ ночникахъ и сальныхъ свѣчахъ, наполнявшихъ воздухъ нестерпимой вонью; холодъ въ комнатахъ (*), отъ чего вставать еще непріятнѣе бѣдному дитяти, кое-какъ согрѣвшемуся подъ байковымъ одѣяломъ; общественное умыванье изъ мѣдныхъ рукомойниковъ, около которыхъ всегда бываетъ ссора и драка; ходьба фрунтомъ на молитву, къ завтраку, въ классы, къ обѣду и т. д.; завтракъ, который состоялъ въ скоромные дни изъ стакана молока, пополамъ съ водою, и булки, а въ постные дни — изъ стакана сбитня съ булкой; въ такомъ же родѣ обѣдъ изъ трехъ блюдъ и ужинъ изъ двухъ.... Чѣмъ все это должно было казаться изнѣженному, избалованному мальчику, котораго мать воспитывала съ роскошью, какъ-будто отъ большаго состоянія? Но всего болѣе приводили меня въ отчаяніе товарищи: старшіе возрастомъ и ученики среднихъ классовъ не обращали на меня вниманія, а мальчики однихъ лѣтъ со мною и даже моложе, находившіеся въ низшемъ классѣ, по большей части были нестерпимые шалуны и озорники; съ остальными я имѣлъ такъ мало сходнаго, общаго въ нашихъ понятіяхъ, интересахъ и нравахъ, что не могъ съ ними сблизиться, и посреди многочисленнаго общества оставался уединеннымъ. Всѣ были здоровы, довольны и нестерпимо веселы, такъ что я не встрѣчалъ ни одного сколько-нибудь печальнаго или задумчиваго мальчика, который могъ бы принять участіе въ моей постоянной грусти. Я смѣло бросился бы къ нему на шею и подѣлился бы моимъ внутреннимъ состояніемъ. «Что это за чудо, думалъ я, вѣрно у этихъ дѣтей нѣтъ ни

(*) Въ спальняхъ держали 12 градусовъ тепла, что кажется и теперь соблюдается во всѣхъ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ и что по моему рѣшительно вредно для здоровья дѣтей. Нужно не менѣе 14 градусовъ.

отца, ни матери, ни братьевъ, ни сестеръ, ни дому, ни саду въ деревнѣ» и начиналъ сожалѣть о нихъ. Но скоро удостовѣрялся, что почти у всѣхъ были отцы и матери и семейства, а у иныхъ и дома и сады въ деревнѣ; но только недоставало того чувства горячей привязанности къ семейству и дому, которымъ было преисполнено мое сердце. Само собою разумѣется, что я, какъ *нелюдимъ*, какъ *пьяженка*, *недотрога*, какъ *матушкинъ сынокъ*, который все *хнычетъ по маменькѣ*, — сейчасъ сдѣлался предметомъ насмѣшекъ своихъ товарищей; отъ этого не могли оградить меня, ни власть, ни нравственное вліяніе Василья Петровича Упадышевскаго, который не переставалъ и днемъ и ночью наблюдать за мной. Онъ самъ запретилъ мнѣ жаловаться на обиды товарищей, хорошо зная, какъ ненавидятъ въ училищахъ ябедниковъ, клеймя этимъ именемъ всякаго, кто пожалуется начальству на оскорбленіе товарищей. Онъ поставилъ мою кровать между кроватями Кондырева и Мореева, которые были гораздо старше меня и оба считались самыми степенными и въ тоже время неуступчивыми учениками; онъ поручилъ меня подъ ихъ защиту, и по ихъ милости, никто изъ шалуновъ не смѣлъ подходить къ моей постели. Надобно замѣтить, что тогда не было у насъ рекреаціонныхъ залъ и что казенные воспитанники и пансіонеры все свободное время отъ ученія проводили въ спальняхъ.

Съ самыхъ первыхъ дней, послѣ окончательной разлуки съ матерью, я принялся съ жаромъ за ученье. Я упросилъ моихъ учителей (все черезъ Упадышевскаго), чтобы мнѣ задавали не по одному, а по два и по три урока, для того чтобы догнать старшихъ учениковъ и не сидѣть на одной лавкѣ съ новенькими. Способность пониманія и память были у меня сильно развиты; черезъ мѣсяцъ я не только перегналъ и оставилъ назади новень-

кихъ, но во всѣхъ классахъ сѣлъ за первый столъ вмѣстѣ съ лучшими воспитанниками. Это обстоятельство усилило нерасположеніе ко мнѣ и тѣхъ, которыхъ я обогналъ, и тѣхъ, съ которыми я сравнялся.

Въ самое это время воротился къ своей должности главный надзиратель, Николай Иванычъ К—въ. Не знаю, по справедливости ли считался онъ очень умнымъ человѣкомъ, но то вѣрно, что онъ былъ человѣкъ холодный, твердый, говорившій всегда тихо и съ улыбкой, и дѣйствовавшій съ непреклонною волею. Всѣ безъ исключенія боялись его гораздо больше, чѣмъ директора. Онъ любилъ власть, умѣлъ пріобрѣсть ее и пользовался ею съ педантическою точностью.—Упадышевскій отгадалъ, что Николай Иванычъ на него прогнѣвается; онъ сейчасъ узналъ всѣ отступленія отъ устава гимназіи, которыя сдѣлалъ для меня и для моей матери, исправлявшій его должность надзиратель, то-есть: несвоевременное свиданіе съ родителями, тогда какъ для того были назначены извѣстные дни и часы, беззаконные отпуски домой, и особенно отпуски на ночь. Главный надзиратель задалъ такую гонку моему благодѣтелю, что старикъ долго ходилъ задумавшись. К—въ сказалъ ему съ тихою улыбкою, «что если что-нибудь подобное случится еще одинъ разъ, то онъ попроситъ почтеннѣйшаго Василья Петровича оставить службу при гимназіи.» Я горько плакалъ, узнавъ объ этомъ, и получилъ непреодолимое отвращеніе и ужасъ даже къ имени главнаго надзирателя—и не даромъ: онъ невзлюбилъ меня безъ всякой причины, сдѣлался моимъ гонителемъ, и впослѣдствіи много пролила отъ него слезъ моя бѣдная мать. Дня черезъ три послѣ своего возвращенія, К—въ вызвалъ меня изъ фронта на средину залы и сказалъ мнѣ довольно длинное поученіе на слѣдующую тему: что дурно быть избалованнымъ мальчикомъ, что

очень не хорошо пользоваться пристрастнымъ снисхожденіемъ начальства и не быть благодарнымъ правительству, которое великодушно взяло на себя не маловажныя издержки для моего образованія. Хотя я былъ кроткой и добрый мальчикъ, но впечатлительный и вспыльчивый отъ природы. Я стоялъ, потупивъ глаза, и неизвѣстное мнѣ до тѣхъ поръ, чувство незаслуженнаго оскорбленія и гнѣва волновало мою грудь. «Что вы не смотрите на меня, вдругъ сказалъ К—въ? это не добрый знакъ, если мальчикъ прячетъ свои глаза и не смѣетъ или не хочетъ смотрѣть прямо на своего начальника.... Глядите на меня» произнесъ онъ строго и возвыся голосъ. Я поднялъ глаза и, видно, въ нихъ такъ много выражалось внутренняго чувства оскорбленной дѣтской гордости, что К—въ отвернулся и сказалъ, уходя, Упадышевскому: «онъ совсѣмъ не такъ смиренъ и добръ, какъ вы говорите.» — Послѣ я узналъ, что главный надзиратель хотѣлъ перевесть меня изъ благонравной комнаты; онъ потребовалъ аттестаты всѣхъ учителей и надзирателей; но вездѣ стояло: *примѣрнаго поведенія и прилежанія, отличный въ успѣхахъ*, и К—въ оставилъ меня на прежнемъ мѣстѣ. Во все время, перваго пребыванія моего въ гимназіи, онъ часто осматривалъ въ классахъ мои книги и тетради, заставлялъ учителей спрашивать меня при себѣ и не рѣдко придирался ко мнѣ изъ пустяковъ, а надзирателямъ приказывалъ, чтобы заставляли меня играть вмѣстѣ съ воспитанниками, прибавляя: что онъ не любитъ *тихоней* и *особняковъ*. Теперь я понимаю, что такое замѣчаніе иногда бываетъ справедливо; но ко мнѣ оно вовсе не шло и только умножало мое справедливое раздраженіе. Упадышевскій нѣжно любилъ меня и съ заботливостью матери всякой день осматривалъ мое платье и постель, чистоту рукъ, тетрадей и книгъ; онъ часто твердилъ мнѣ, чтобы

я всегда смотрѣлъ въ глаза Николаю Иванычу и ничего не возражалъ на его замѣчанія и выговоры: изъ любви къ старику, я исполнялъ въ точности его наставленія.

К—въ не унимался. По распоряженію гимназическаго начальства, никто изъ воспитанниковъ не могъ имѣть у себя ни своихъ вещей, ни денегъ; деньги, если онѣ были, хранились у комнатныхъ надзирателей и употреблялись съ разрѣшенія главнаго надзирателя; покупка съѣстнаго и лакомства строго запрещалась; конечно были злоупотребленія, но подъ большою тайной. Въ числѣ другихъ строгостей не ходилось постановленіе, чтобы переписка воспитанниковъ съ родителями и родственниками производилась черезъ надзирателей: каждый ученикъ долженъ былъ отдать незапечатанное письмо для отправки на почту, своему комнатному надзирателю, и онъ имѣлъ право прочесть письмо, если воспитанникъ не пользовался его довѣренностью. Это постановленіе рѣшительно не исполнялось; но К—въ потребовалъ, чтобъ Упадышевскій показывалъ ему мои письма. Скрѣпя сердце, добрый старикъ, который въ каждомъ моемъ письмѣ, не читая его, приписывалъ самъ, долженъ былъ сдѣлаться моимъ цензоромъ. Первое прочитанное имъ письмо, привело его въ большое затрудненіе: оно все состояло изъ описанія моего грустнаго, ежедневнаго состоянія, изъ жалобъ на товарищей и даже на учителей, изъ выраженій горячаго желанія увидѣть мать, оставить поскорѣе противную гимназію и уѣхать изъ нее на лѣто въ деревню. Не было ничего предосудительнаго, но Василій Петровичъ почувствовалъ, что въ глазахъ Николая Иваныча каждое мое слово будетъ виновато, что онъ найдетъ тутъ ропотъ, обвиненіе начальства, клевету на учебное заведеніе и неблагодарность къ правительству. Что было ему дѣлать? Открыть мнѣ настоящее положеніе дѣлъ—ему сначала не

хотѣлось: это значило войти въ заговоръ съ мальчикомъ противъ своего начальства; онъ чувствовалъ даже, что я не пойму его, что не буду умѣть написать такого письма, какое могъ бы одобрить К—въ; лишить мою мать единственнаго утѣшенія, получать мои задушевныя письма— по добротѣ сердца, онъ не могъ. — Цѣлыя сутки ломалъ онъ голову, но ничего не придумалъ, какъ самъ онъ послѣ сказывалъ, и рѣшился наконецъ открыть мнѣ всю истину, рѣшившись въ тоже время обманывать своего строгаго начальника. Такимъ образомъ, онъ заставилъ меня написать другое письмо, подъ его диктовку, совершенно оффиціальное, и показалъ его главному надзирателю, который разумѣется не могъ въ немъ найдти ничего къ моему обвиненію. Оба письма были отправлены вмѣстѣ. Вся послѣдующая переписка состояла уже изъ двойныхъ писемъ: явныхъ и тайныхъ, даже тогда, когда мой гонитель пересталъ ихъ читать. Василій Петровичъ сейчасъ написалъ къ моей матери, отчего это такъ дѣлается; письма относилъ на почту самъ Евсеичъ. Я не умѣлъ тогда оцѣнить всю великость самоотверженія, съ которымъ дѣйствовалъ мой благодѣтель; но мать моя оцѣнила его вполнѣ и написала къ Упадышевскому письмо, въ которомъ выражалась самая горячая материнская благодарность. Нечего и говорить, что она хотя не знала вполнѣ гоненій К—ва, но была очень ими встревожена.

Дѣла продолжали идти въ прежнемъ порядкѣ; но со мной случилась перемѣна, которая для всѣхъ должна показаться странною, неестественною, потому что въ продолженіе полутора мѣсяца я бы долженъ былъ привыкнуть къ новому образу жизни: я сталъ задумываться и грустить; потомъ грусть превратилась въ періодическую тоску, и наконецъ въ болѣзнь. Двѣ причины могли произвесть эту печальную перемѣну: догнавъ во всѣхъ классахъ

моихъ товарищей, получая обыкновенные, весьма небольшіе уроки, которые я часто выучивалъ не выходя изъ класса, я ничѣмъ не былъ занятъ, не только во все свободное время отъ ученья, но даже во время классовъ,—и умственная дѣятельность мальчика, потерявъ существенную пищу, вся обратилась на безпрестанное размышленіе и разсматриванье своего настоящаго положенія, на безпрестанное воображеніе, что дѣлается въ его семействѣ, какъ тоскуетъ о немъ его несчастная мать, и на воспоминаніе прежней, блаженной деревенской жизни. Я возненавидѣлъ въ душѣ противную гимназію, ученье, и рѣшилъ по своему, что оно совершенно безполезно, совсѣмъ не нужно, и что отъ него всѣ дѣти дѣлаются негодными мальчишками. Второю причиною, и можетъ быть главнѣйшею,—было несправедливое гоненіе К—ва. Каждое его появленіе производило потрясеніе въ моихъ нервахъ, а онъ пріѣзжалъ всякой день по два раза, и никто не зналъ времени его пріѣзда. Не было такого часу ни днемъ ни ночью, въ который бы онъ когда-нибудь не посѣщалъ гимназіи, и посѣщенія эти были совершенно неожиданны и внезапны. Теперь я отдаю полную справедливость его неусыпной, хотя слишкомъ строгой и педантической дѣятельности, но тогда онъ казался мнѣ тираномъ, извергомъ, злымъ духомъ, который выросталъ какъ будто изъ земли, даже въ такихъ мѣстахъ, куда и надзиратели не заглядывали. Его страшный для меня образъ поселился въ дѣтскомъ моемъ воображеніи, и тягостное его присутствіе со мной не разставалось. При томъ тайныя мои письма къ матери сдѣлались гораздо короче прежнихъ и писались часъ отъ часу съ большимъ стѣсненіемъ, съ большей осторожностью. Я понялъ наконецъ, какое насиліе дѣлаетъ Упадышевскій своему честному и прямодушному характеру, и чѣмъ онъ рискуетъ. — Въ по-

слѣдствіи присоединилась и третья причина. Въ концѣ марта и въ началѣ апрѣля, солнце начало сильно грѣть, снѣгъ таялъ, ручьи побѣжали по улицамъ, дохнула весна, и ея дыханіе потрясало нервы мальчика, еще безсознательно, но уже страстно любившаго природу. Раздражительное дѣйствіе солнечныхъ весеннихъ лучей на человѣческій организмъ — дѣло извѣстное. Я живо помню, что въ красные дни мнѣ было гораздо тяжеле, чѣмъ въ пасмурные. Какъ бы то ни было, только я началъ задумываться, или лучше сказать, переставалъ обращать вниманіе на все меня окружающее, переставалъ слышать, что говорили другіе; безъ участія училъ свои уроки, сказывалъ ихъ, слушалъ замѣчанія или похвалы учителей, и часто, смотря имъ прямо въ глаза — воображалъ себя въ миломъ Аксаковѣ, въ тихомъ родительскомъ домѣ, подлѣ любящей матери: всѣмъ казалось это простою разсѣянностью. Чтобы живѣе предаваться мечтамъ моего воображенія, представительная сила котораго возрастала съ каждымъ днемъ, я зажмуривалъ глаза и не рѣдко получалъ толчки отъ сосѣдей, которые думали, что я сплю. Одинъ разъ, въ классѣ русской грамматики, злой мальчишка, Р-ка, закричалъ: «Аксаковъ спитъ!» Учитель, спросивъ у другихъ учениковъ, точно ли я спалъ, и получивъ утвердительный отвѣтъ, едва не поставилъ меня на колѣни. Я пересталъ зажмуривать глаза въ классахъ; но сталъ чаще подъ извѣстными предлогами уходить изъ нихъ, разумѣется, сказавши прежде свой урокъ, и мнѣ иногда удавалось спокойно простоять съ четверть часа гдѣ-нибудь въ углу корридора, и помечтать съ закрытыми глазами. По окончаніи послѣобѣденныхъ классовъ, послѣ получасоваго бѣганья въ пріемной залѣ, въ которомъ я только по принужденію принималъ иногда участіе, когда всѣ должны были усѣсться каждый за своимъ столикомъ у кровати,

и твердить урокъ къ завтрешнему дню: я также садился, клалъ передъ собою книгу, и посреди громкаго бормотанья твердимыхъ вслухъ уроковъ, переносился моимъ воображеніемъ все туда же, въ обѣтованный край, въ сельскій домъ на берегу Бугуруслана. Скоро однако такое напряженное усиліе воображенія развилось до такихъ огромныхъ размѣровъ, что слабый тѣлесный составъ не могъ ихъ вынесить. На меня стала нападать истерическая тоска, сопровождаемая такими тяжелыми слезами и рыданьями, что я впадалъ на нѣсколько минутъ въ безпамятство; послѣ я узналъ, что въ продолженіе его появлялись у меня на лицѣ судорожныя движенія. Сначала я умѣлъ какъ-то скрывать мое состояніе отъ всѣхъ. Я дѣлалъ это безсознательно, можетъ быть по тайному чувству угадывая, что мнѣ станутъ мѣшать предаваться моимъ мечтамъ, которыя составляли мою единственную отраду. Тоска почти всегда находила на меня вечеромъ; я чувствовалъ ея приближеніе и выбѣгалъ черезъ заднее крыльцо на внутренній дворъ, куда могли ходить всѣ ученики для своихъ надобностей; иногда я прятался за колонну, иногда притаивался въ углу, который образовывался высокимъ крыльцомъ, выступавшимъ изъ средины зданія; иногда взбѣгалъ по лѣстницѣ наверхъ и садился въ углу сѣней втораго этажа, слабо освѣщаемомъ снизу висящимъ фонаремъ. Вѣроятно холодный воздухъ способствовалъ скорому прекращенію припадковъ, и я возвращался на свое мѣсто въ обыкновенномъ своемъ положеніи. Но одинъ разъ забѣжалъ я въ незапертые классы, когда сторожа убирали ихъ; самъ не знаю, какъ я забился подъ скамью одного стола. Мнѣ кажется этотъ припадокъ продолжался долѣе прежнихъ, можетъ быть отъ того, что случился не на свѣжемъ воздухѣ. Сторожъ замѣтилъ меня, хотѣлъ выгнать, но видя, что я ничего не отвѣчаю, донесъ надзира-

телю; тотъ узналъ меня и сказалъ Упадышевскому. Встревоженный старикъ прибѣжалъ ко мнѣ наверхъ; но въ самую эту минуту, я очнулся и спокойно воротился съ нимъ въ свою комнату. До этого случая, Упадышевскій, обнадеженный моимъ полутора-мѣсячнымъ пребываніемъ, моимъ прилежнымъ ученьемъ, хотя и замѣчалъ мою разсѣянность или задумчивость, но не придавалъ ей никакого особеннаго значенія. Тутъ онъ разспросилъ меня подробно. Я разсказалъ ему съ полною откровенностью все то, что зналъ о своемъ состояніи; но я многаго не понималъ и многаго не помнилъ. Въ продолженіе ночи, онъ самъ и мой дядька Евсеичъ наблюдали за мной: я проспалъ до утра совершенно спокойно. Надобно замѣтить, что въ продолженіе всего перваго періода моей болѣзни, всѣ ночи я спалъ хорошо; упоминаю объ этомъ потому, что во второмъ періодѣ, болѣзнь взяла совершенно противоположный характеръ. На другой день поутру, по обыкновенію пріѣхалъ Бенисъ въ больницу, куда и былъ я приведенъ Упадышевскимъ. Докторъ разспросилъ и осмотрѣлъ меня внимательно, нашелъ, что я нѣсколько похудѣлъ, поблѣднѣлъ и что пульсъ у меня разстроенъ, но отпустилъ въ классъ, не предписалъ никакого лекарства, запретилъ изнурять меня ученьемъ, — невѣря моимъ словамъ, что оно слишкомъ легко,—приказалъ наблюдать за мной и никуда одного не пускать. Онъ прибавилъ къ этому, чтобы всякій день во время его пріѣзда въ больницу, я приходилъ къ нему. Упадышевскій принялъ всѣ нужныя мѣры: кромѣ того, что онъ самъ безпрестанно подходилъ ко мнѣ, онъ поручилъ двумъ воспитанникамъ постоянно смотрѣть за мной во всякое время, свободное отъ ученья; дядька же мой долженъ былъ идти со мной всякой разъ, когда я выходилъ на задній дворъ. Во всей гимназіи разнесся слухъ, что «на Аксакова находитъ

черная немочь.» Я испугался, хотя не понималъ значенія этихъ словъ.—Мнѣ показалось очень непріятно такое постоянное вниманіе постороннихъ людей къ каждому моему движенію; цѣлый вечеръ мнѣ было скучно и грустно. Я уже привыкъ наслаждаться моими мечтами, а теперь мысль, что нѣсколько глазъ меня наблюдаютъ, мѣшала мнѣ оторваться отъ горькой дѣйствительности, чтобъ грезить на яву сладкими снами; но тѣмъ не менѣе вечеръ прошелъ благополучно: ни тоски, ни истерическаго припадка не было. Упадышевскій и дядька мой обрадовались; очень также остался доволенъ и Бенисъ, когда я на другой день пришелъ къ нему въ больницу и когда Василій Петровичъ разсказалъ, что весь вчерашній день, вечеръ и ночь я провелъ спокойно. Не смотря на то, что докторъ нашелъ мой пульсъ также разстроеннымъ, онъ отпустилъ меня безъ всякихъ медицинскихъ пособій, увѣряя, что дѣло поправится и что натура преодолѣетъ болѣзненное начало; но на другой день оказалось, что дѣло не поправилось, а только измѣнилось: часу въ девятомъ утра, сидя въ ариѳметическомъ классѣ, вдругъ я почувствовалъ, совершенно неожиданно, сильное стѣсненіе въ груди, черезъ нѣсколько минутъ зарыдалъ и впалъ въ безпамятство. Сдѣлался большой шумъ, послали за Упадышевскимъ; по счастію онъ былъ дома (*) и приказалъ перенесть меня въ спальную, гдѣ я черезъ четверть часа очувствовался и даже воротился въ классъ. Вечеромъ припадокъ повторился и продолжался гораздо долѣе. Больше прежняго встревожился благодѣтельный Василій Петровичъ и перепугался мой усердный дядька. На этотъ разъ Бенисъ далъ мнѣ какія-то капли (вѣроятно нервныя), ко-

(*) Изъ четырехъ человѣкъ надзирателей двое дежурныхъ никуда не отлучались; но остальные во время классовъ могли уходить по своимъ надобностямъ; къ обѣду же и ужину всѣ собирались на лицо.

торыя я долженъ былъ принимать, какъ только почувствую стѣсненіе; по постнымъ днямъ приказалъ давать мнѣ скоромный обѣдъ изъ больницы и, вмѣсто чернаго хлѣба, булку; но оставить въ больницѣ ни за что не согласился. Капли сначала помогли мнѣ, и дни три, хотя я начиналъ тосковать и плакать, но въ безпамятство не впадалъ; потомъ, по привычкѣ-ли моей натуры къ лекарству, или по усиленію болѣзни, только припадки стали возвращаться чаще и сильнѣе прежняго.

Никакой періодъ моего дѣтства не помню я съ такою отчетливою ясностью, какъ время перваго пребыванія моего въ гимназіи. Я могъ бы безошибочно разсказать со всѣми подробностями (чего конечно дѣлать не буду) весь ходъ моего страннаго недуга. Всѣмъ казалось тогда, а въ томъ числѣ и мнѣ, что появленіе припадковъ происходило безъ всякой причины; но теперь я убѣжденъ въ противномъ: они всегда происходили отъ неожиданно возникавшаго воспоминанія изъ прошедшей моей жизни, которая вдругъ представлялась моему воображенію съ живостью и яркостью ночныхъ сновидѣній. Иногда я доходилъ до такихъ явленій сознательно и постепенно, углубляясь въ неизчерпаемое хранилище памяти, но иногда онѣ посѣщали меня безъ моего вѣдома и желанія. Случалось, что въ то время, когда я думалъ совсѣмъ о другомъ и даже когда былъ сильно занятъ ученьемъ,—вдругъ какой-нибудь звукъ голоса, вѣроятно похожій на слышанный мною прежде, полоса солнечнаго свѣта на окнѣ или стѣнѣ, точно такъ освѣщавшая нѣкогда знакомые, дорогіе мнѣ предметы, муха, жужжавшая и бившаяся на стеклѣ окошка, на что я часто засматривался въ ребячествѣ—мгновенно и на одно мгновеніе, неуловимо для сознанія, вызывали забытое прошедшее и потрясали мои напряженныя нервы. Впрочемъ нѣкоторые случаи объя-

смялись тогда же сами собою: одинъ разъ я сказывалъ урокъ, какъ вдругъ голубь сѣлъ на подоконную доску и началъ кружиться и ворковать — это сейчасъ напомнило мнѣ моихъ любимыхъ голубей и деревню: грудь моя стѣснилась и послѣдовалъ припадокъ. Въ другой разъ пришелъ я напиться квасу или воды въ особенную комнату, которая называлась *квасною*; тамъ бросился мнѣ въ глаза простой деревянный столъ, который прежде вѣроятно я видалъ много разъ, не замѣчая его, но теперь онъ былъ выскобленъ заново и казался необыкновенно чистымъ и бѣлымъ—въ одно мгновенье представился мнѣ такого же вида липовый столъ, всегда блиставшій бѣлизной и гладкостью, принадлежавшій нѣкогда моей бабушкѣ, а потомъ столвшій въ комнатѣ у моей тетки, въ которомъ хранились разныя бездѣлушки, драгоцѣнныя для дитяти: узелки съ тыквенными, арбузными и дынными сѣменами, изъ которыхъ тетка моя дѣлала чудныя корзиночки и подносики, мѣшечки съ рожковыми зернами, съ раковыми жерновками, а всего болѣе большой игольникъ, въ которомъ вмѣстѣ съ иголками хранились крючки для удочекъ, изрѣдка выдаваемые мнѣ бабушкой; все это бывало я разсматривалъ съ восхищеніемъ, съ напряженнымъ любопытствомъ, едва переводя дыханіе.... Я былъ пораженъ сходствомъ этихъ столовъ, прошедшее ярко блеснуло, ожило передо мною—сердце замерло и послѣдовалъ сильный припадокъ. Точно тоже случилось со мной, при взглядѣ на кошку, которая спала, свернувшись клубкомъ на солнышкѣ, и напомнила мнѣ мою любимую кошку въ деревнѣ. Мнѣ кажется, довольно этихъ случаевъ, чтобы предположить во всѣхъ остальныхъ подобныя причины.

Положеніе мое становилось хуже и хуже. Припадки появлялись чаще, продолжались долѣе; я потерялъ аппетитъ, блѣднѣлъ и худѣлъ съ каждымъ днемъ; терялъ

также и охоту заниматься ученьемъ; одинъ только онъ подкрѣплялъ меня. Внимательный Василій Петровичъ замѣтилъ, что мнѣ вредно раннее вставанье, попробовалъ одинъ разъ не будить меня до восьми часовъ и увидѣлъ, что я тотъ день чувствовалъ себя гораздо лучше. Дядька мой ходилъ за мной съ отцовской нѣжностію. К—въ пробовалъ нѣсколько разъ говорить мнѣ строгія поученія, и даже стращалъ наказаніемъ, если я не буду держать себя, какъ слѣдуетъ благовоспитанному мальчику. Мою болѣзнь называлъ онъ баловствомъ, хандрою и дурнымъ примѣромъ для другихъ. Наконецъ, онъ приказалъ положительно отдать меня въ больницу; этого желали всѣ и я самъ; противился только одинъ Бенисъ; но теперь онъ долженъ былъ согласиться, и меня отвели въ лазаретъ.

Моя мать, уѣзжая въ послѣдній разъ изъ К., заставила моего дядьку Евсенча побожиться передъ образомъ, что онъ увѣдомитъ ее, если я сдѣлаюсь боленъ. Онъ давно порывался исполнить свое обѣщаніе и открылся въ этомъ Упадышевскому, но тотъ постоянно его удерживалъ; теперь же онъ рѣшился дѣйствовать, не спрашиваясь никого: одинъ изъ грамотныхъ дядекъ написалъ ему письмо, въ которомъ безъ всякой осторожности и даже несправедливо, онъ извѣщалъ, что молодой баринъ боленъ падучею болѣзнію и что его отдали въ больницу. Можно себѣ представить, какимъ громовымъ ударомъ разразилось это письмо надъ моимъ отцемъ и матерью. Письмо шло довольно долго и пришло въ деревню во время совершенной распутицы, о которой около Москвы не могутъ имѣть и понятія; дорога прорывалась на каждомъ шагу, и во всякомъ долочкѣ была зажора, то-есть, снѣгъ насыщенный водою: ѣхать было почти невозможно. Но мать мою ничто удержать не могло; она выѣхала тотъ же день въ К., съ своей Парашей и молодымъ мужемъ ея Ѳедоромъ;

ѣхала день и ночь на перемѣнныхъ крестьянскихъ, не подкованныхъ лошадяхъ (*), въ простыхъ крестьянскихъ саняхъ, въ одну лошадь; всѣхъ саней было четверо: въ трехъ сидѣло по одному человѣку безъ всякой поклажи, которая вся помѣщалась на четвертыхъ саняхъ. Только такимъ образомъ была какая-нибудь возможность подвигаться шагъ за шагомъ впередъ, и то пользуясь морозными утренниками, которые на этотъ разъ продолжались по счастію до половины апрѣля. Въ десять дней дотащилась моя мать до большаго села *Мурзихи* на берегу Камы; здѣсь вышла уже большая почтовая дорога, крѣпче уѣзженная, и потому ѣхать по ней представлялось болѣе возможности; но за то изъ Мурзихи надобно было переѣхать черезъ Каму, чтобъ попасть въ село Шуранъ, находящееся кажется въ 80-ти верстахъ отъ К. Кама еще не пропла, но надулась и посинѣла; наканунѣ перенесли черезъ нее на рукахъ почту; но въ ночь пошелъ дождь и никто не согласился переправить мою мать и ея спутниковъ на другую сторону. Мать моя принуждена была ночевать въ Мурзихѣ; дорожа каждой минутой промедленія, она сама ходила изъ дома въ домъ по деревнѣ и умоляла добрыхъ людей помочь ей, разсказывала свое горе и предлагала въ вознагражденіе все, что имѣла. Нашлись добрые и смѣлые люди, понимавшіе материнское сердце, которые обѣщали ей, что если дождь въ ночь уймется и къ утру хоть крошечку подмерзнетъ, то они берутся благополучно доставить ее на ту сторону и возьмутъ то, что она пожалуетъ имъ за труды. До самой зари молилась мать моя, стоя въ углу на колѣнях передъ образомъ. той избы, гдѣ провела ночь. Теплая материнская молитва была услышана: вѣтеръ разогналъ облака и къ утру мо-

(*) По проселкамъ, при глубокомъ снѣгѣ, подкованныхъ лошадей въ это время года дорога не поднимаетъ.

розъ высушилъ дорогу и тонкимъ ледочкомъ затянулъ лужи. На зарѣ, шестеро молодцевъ, рыбаковъ по промыслу, выросшихъ на Камѣ и привыкшихъ обходиться съ нею во всякихъ ея видахъ, каждый съ шестомъ или багромъ, привязавъ за спины нетяжелую поклажу, перекрестясь на церковный крестъ, взяли подъ руки обѣихъ женщинъ, обутыхъ въ мужскіе сапоги, дали шестъ Ѳедору, поручивъ ему тащить *чуманъ*, то-есть, широкой лубокъ, загнутый спереди къ верху и привязанный на веревкѣ, взятый на тотъ случай, что неравно барыня устанетъ,—и отправились въ путь, пустивъ впередъ самаго разторопнаго изъ своихъ товарищей для ощупыванія дороги. Дорога лежала вкось и надобно было пройти около трехъ верстъ. Переходъ черезъ огромную рѣку въ такое время, такъ страшенъ, что только привычный человѣкъ можетъ совершить его, не теряя бодрости и присутствія духа. Ѳедоръ и Параша просто ревѣли, прощались съ бѣлымъ свѣтомъ и со всѣми родными, и въ иныхъ мѣстахъ надобно было силою заставлять ихъ идти впередъ; но мать моя съ каждымъ шагомъ становилась бодрѣе и даже веселѣе. Провожатые поглядывали на нее и привѣтливо потряхивали головами. Надобно было обходить полыньи, перебираться, по сложеннымъ вмѣстѣ шестамъ, черезъ трещины; мать моя нигдѣ не хотѣла сѣсть на чуманъ, и только тогда, когда дорога, подошедъ къ противоположной сторонѣ, пошла возлѣ самаго берега по мелкому мѣсту, когда вся опасность миновалась, она почувствовала слабость; сейчасъ послали на чуманъ мѣховое одѣяло, положили подушки, мать легла на него, какъ на постель, и почти лишилась чувствъ: въ такомъ положеніи дотащили ее до ямскаго двора въ Шуранѣ. Мать моя дала сто рублей своимъ провожатымъ, то-есть, половину своихъ наличныхъ денегъ, но честные люди не захотѣли

ими воспользоваться; они взяли по синенькой на брата (по пяти рублей ассигнаціями). Съ изумленіемъ слушая изъявленіе горячей благодарности и благословенія моей матери, они сказали ей на прощаньи: «дай вамъ Богъ благополучно доѣхать» и немедленно отправились домой, потому что мѣшкать было некогда: рѣка прошла на другой день. Все это подробно разсказала мнѣ Параша. Изъ Шурана, въ двое сутокъ мать моя доѣхала до К,; остановилась гдѣ-то на постояломъ дворѣ, и черезъ полчаса уже была въ гимназіи

Обращаюсь назадъ: въ больницѣ помѣстили меня очень хорошо; дали особую, небольшую комнату, назначенную для тяжелыхъ больныхъ, которыхъ на ту пору не было; тамъ спалъ со мною мой дядька, переведенный въ больничные служители. Лекарь или подлекарь, хорошенько не знаю, Андрей Ивановичъ Риттеръ, жилъ подлѣ меня. Это былъ рослый, румяный, красивый и веселый дѣтина; онъ впрочемъ сидѣлъ дома только по утрамъ, ожидая Бениса, послѣ котораго немедленно отправлялся на практику, которую дѣйствительно имѣлъ въ купеческихъ домахъ; онъ былъ большой гуляка и не рѣдко возвращался домой поздно и въ нетрезвомъ видѣ. Удивляюсь, какъ терпѣлъ его главный надзиратель; впрочемъ, на больныхъ онъ обращалъ менѣе вниманія, чѣмъ на здоровыхъ, и въ больницѣ Упадышевскій имѣлъ больше вѣсу. Я совершенно забылъ имя и фамилію добраго старика, бывшаго тогда больничнымъ надзирателемъ, хотя очень помню, какъ онъ былъ попечителенъ и ласковъ ко мнѣ. Упадышевскій сейчасъ позаботился, чтобы мнѣ не было скучно, и снабдилъ меня книгами: «Дѣтскимъ училищемъ» въ нѣсколькихъ томахъ, «Открытіемъ Америки» и «Завоеваніемъ Мексики». Какъ я обрадовался тишинѣ, спокойствію и книгамъ! Халатъ вмѣсто мундира, полная свобода

въ употребленіи времени, отсутствіе звонка и чтеніе, были полезнѣе для меня всякихъ лекарствъ и питательной пищи. Колумбъ и Пизарро возбуждали все мое любопытство, а несчастный Монтезума — все мое участіе. Прочитавъ въ нѣсколько дней «Открытіе Америки» и «Завоеваніе Мексики», я принялся и за «Дѣтское училище». При этомъ чтеніи случилось со мной обстоятельство, которое привело меня въ великое недоумѣніе и которое я разрѣшилъ себѣ отчасти только въ послѣдствіи. Читая, не помню, который томъ, дошелъ я до сказки «Красавица и Звѣрь»; съ первыхъ строкъ показалась она мнѣ знакомою, и чѣмъ далѣе, тѣмъ знакомѣе; наконецъ я убѣдился, что это была сказка, коротко извѣстная мнѣ подъ именемъ: «Аленькой Цвѣточекъ», которую я слышалъ не одинъ десятокъ разъ въ деревнѣ, отъ нашей ключницы Пелагеи. Ключница Пелагея была въ своемъ родѣ замѣчательная женщина: очень въ молодыхъ годахъ бѣжала она, вмѣстѣ съ отцомъ своимъ, отъ прежнихъ господъ своихъ Алакаевыхъ, въ Астрахань, гдѣ прожила слишкомъ двадцать лѣтъ; отецъ ея скоро умеръ, она вышла за-мужъ, овдовѣла, жила въ наймахъ по купеческимъ домамъ, и въ томъ числѣ у купцовъ Персіянъ, соскучилась, провѣдала какъ-то, что она досталась другимъ господамъ, именно моему дѣдушкѣ, господину строгому, но справедливому и доброму, и за годъ до его смерти явилась изъ бѣговъ въ Аксаково. Дѣдушка, изъ уваженія къ такому добровольному возвращенію, принялъ ее очень милостиво, а какъ она была проворная баба и на все мастерица, то онъ полюбилъ ее и сдѣлалъ ключницей. Должность эту отправляла она и въ Астрахани. Пелагея, кромѣ досужества въ домашнемъ обиходѣ, принесла съ собою необыкновенное дарованіе сказывать сказки, которыхъ знала несчетное множество. Очевидно, что жители востока распространили въ Астра-

хани и между Русскими особенную охоту къ слушанью и разсказыванью сказокъ. Въ обширномъ сказочномъ каталогѣ Пелагеи, вмѣстѣ со всѣми русскими сказками, находилось множество сказокъ восточныхъ, и въ томъ числѣ нѣсколько изъ «Тысячи одной ночи». Дѣдушка обрадовался такому кладу, и какъ онъ уже начиналъ хворать и худо спать, то Пелагея, имѣвшая еще драгоцѣнную способность не дремать по цѣлымъ ночамъ, служила большимъ утѣшеніемъ больному старику. Отъ этой-то Пелагеи наслушался я сказокъ въ долгіе зимніе вечера. Образъ здоровой, свѣжей и дородной сказочницы, съ веретеномъ въ рукахъ за гребнемъ, неизгладимо врѣзался въ мое воображеніе, и если бы я былъ живописецъ, то написалъ бы ее сію минуту, какъ живую. Содержанію «Красавица и Звѣрь» или «Аленькой цвѣточекъ» суждено было еще разъ удивить меня впослѣдствіи. Черезъ нѣсколько лѣтъ, пришелъ я въ К—ской театръ слушать и смотрѣть оперу «Земира и Азоръ» — это былъ опять «Аленькой цвѣточекъ», даже въ самомъ ходѣ піесы и въ ея подробностяхъ.

Между тѣмъ, не смотря на занимательное чтеніе, на сладкіе, ничѣмъ не стѣсняемые, разговоры съ Евсеичемъ про деревенскую жизнь, удочку, ястребовъ и голубей, не смотря на удаленіе отъ скучнаго, школьнаго шума и торможенья товарищей, не смотря на множество пилюль, порошковъ и микстуръ, глотаемыхъ мною, болѣзнь моя, сначала какъ будто уступившая леченью и больничному покою, не уменьшалась, и припадки возобновлялись по нѣскольку разъ въ день; но меня какъ-то не смущали они, и сравнительно съ прежнимъ я былъ очень доволенъ своимъ положеніемъ. Больница помѣщалась въ третьемъ этажѣ, окнами на дворъ. Зданіе гимназіи (теперешній университетъ) стояло на горѣ; видъ былъ великолѣпный: вся нижняя половина города съ его Суконными и Татарски-

ми слободами, Булакъ, огромное озеро Кабанъ, котораго воды сливались весною съ разливомъ Волги — вся эта живописная панорама разстилалась передъ глазами. Я очень помню, какъ ложились на нее сумерки, и какъ постепенно освѣщалась она утренней зарей и восходомъ солнца. Вообще пребываніе въ больницѣ оставило во мнѣ навсегда тихое и отрадное воспоминаніе, хотя никто изъ товарищей не навѣщалъ меня. Приходили только одинъ разъ К–чи, съ которыми однако я тогда еще близко не сошелся, потому что мало съ ними встрѣчался: они были въ среднихъ классахъ и жили во *французской комнатѣ* у надзирателя Мейснера. Притомъ я былъ такъ занятъ собою, или лучше сказать своимъ прошедшимъ, что не чувствовалъ и не показывалъ ни малѣйшаго къ нимъ расположенія; я подружился съ К–ми уже во время вторичнаго моего вступленія въ гимназію, особенно въ университетѣ.

Домой я писалъ каждую почту, увѣдомляя, что я совершенно здоровъ. Вдругъ, въ одинъ понедѣльникъ, не получилъ я письма отъ матери. Я встревожился и началъ грустить; въ слѣдующій понедѣльникъ опять нѣтъ письма, и тоска овладѣла мною. Напрасно увѣрялъ меня дядька, что теперь распутица, что изъ Аксакова нельзя проѣхать въ Бугурусланъ (уѣздный городъ, находящійся въ 25 верстахъ отъ нашей деревни) — я ничего не хотѣлъ слушать; я хорошо зналъ и помнилъ, что не смотря ни на какое время, каждую недѣлю ѣздили на почту. Я не знаю, что̀ бы со мной было, еслибъ и въ третій срокъ я не получилъ письма; но въ серединѣ недѣли, именно поутру въ среду 14-го апрѣля, мой добрый Евсеичъ, послѣ нѣкотораго приготовленія, состоявшаго въ томъ, что «вѣрно потому нѣтъ писемъ, что матушка сама ѣдетъ, а можетъ быть и пріѣхала», объявилъ мнѣ съ радостнымъ

лицемъ, что Марья Николавна здѣсь, въ гимназіи, что безъ доктора ее ко мнѣ не пускаютъ, и что докторъ сейчасъ пріѣдетъ. Не смотря на приготовленія, мнѣ сдѣлалось дурно. Когда я очнулся, первыя мои слова были: «Гдѣ маменька?» Но возлѣ меня стоялъ Бенисъ и бранилъ, ни въ чемъ невиноватаго Евсеича: какъ бы осторожно ни сказали мнѣ о пріѣздѣ матери, я не могъ бы принять безъ сильнаго волненія такого неожиданнаго и радостнаго извѣстія, а всякое волненіе произвело бы обморокъ. Докторъ былъ совершенно убѣжденъ въ необходимости дозволить свиданіе матери съ сыномъ, особенно когда послѣдній зналъ уже о ея пріѣздѣ, но не смѣлъ этого сдѣлать безъ разрѣшенія главнаго надзирателя или директора; онъ послалъ записки къ обоимъ. Отъ директора пришло позволеніе прежде, и когда мать была уже у меня въ комнатѣ, получили приказаніе отъ К-ва: «дожидаться его пріѣзда».—Не нахожу словъ и не беру на себя разсказать, что чувствовалъ я, когда вошла ко мнѣ моя мать. Она такъ похудѣла, что можно было не узнать ее; но радость, что она нашла дитя свое не только живымъ, но гораздо въ лучшемъ положеніи, чѣмъ ожидала (ибо чего не придумало испуганное воображеніе матери),—такъ ярко свѣтилась въ ея всегда блестящихъ глазахъ, что она могла показаться и здоровою и веселою. Я забылъ все, что вокругъ меня происходило, обнялъ свою мать, и нѣсколько времени не выпускалъ ее изъ моихъ дѣтскихъ рукъ. Черезъ нѣсколько минутъ явился К-въ. Холодно и вѣжливо онъ сказалъ моей матери, что для нее нарушенъ существующій порядокъ въ гимназіи, что никому изъ родственниковъ и родителей не позволяется входить во внутреннія комнаты учебнаго заведенія, что для этого назначена особая пріемная зала, что входъ въ больницу совершенно воспрещенъ и что особенно это не прилично

для такой молодой и прекрасной дамы. Кровь бросилась въ лице моей матери, и по своей природной вспыльчивости, она много лишняго наговорила К-ву. Она сказала между прочимъ «что вѣрно только въ ихъ гимназіи существуетъ такой варварской законъ, что матери вездѣ прилично быть, гдѣ лежитъ ея больной сынъ, и что она здѣсь съ дозволенія директора, непосредственнаго начальника его, г. главнаго надзирателя, и что ему остается только повиноваться.» Мать вонзила ножъ въ самое больное мѣсто. К-въ поблѣднѣлъ. Онъ сказалъ, что директоръ дозволилъ это только для перваго раза, что приказаніе его исполнено, что вѣроятно оно не повторится и что онъ проситъ теперь ее уѣхать.... Но К-въ не зналъ моей матери, и вообще не зналъ материнскаго сердца. Мать моя сказала ему, что она не выдетъ изъ этой комнаты, покуда директоръ самъ лично или письменно не прикажетъ ей уѣхать, и что до той поры, только силою можно удалить ее отъ сына. Все это было сказано такимъ голосомъ, съ такой энергіей, что не оставляло сомнѣнія въ точности исполненія. Она взяла стулъ, пододвинула къ моей кровати и сѣла на немъ, оборотясь спиной къ К-ву. Не знаю, что бы сдѣлалъ этотъ послѣдній, еслибъ Бенисъ и Упадышевскій не упросили его выдти въ другую комнату; тамъ докторъ, какъ я узналъ послѣ отъ Василья Петровича, съ твердостью сказалъ главному надзирателю, что если онъ позволитъ себѣ какой-нибудь насильственный поступокъ, то онъ не ручается за несчастныя послѣдствія, и даже за жизнь больнаго, и что онъ также боится за мать. Упадышевскій съ своей стороны, умолялъ пощадить бѣдную мать, которая въ отчаяніи не помнитъ себя, а всего болѣе пощадить больнаго мальчика, и обѣщалъ ему, что онъ уговоритъ мать мою уѣхать черезъ нѣсколько времени. К-въ весьма не охотно согласил-

ся, и вмѣстѣ съ Бенисомъ отправился для донесенія обо всемъ директору. Упадышевскій воротился къ моей матери, старался ее успокоить и сказалъ, что она можетъ остаться у меня часа на два. Мать пробыла у меня до сумерекъ, почти до шести часовъ вечера. Сцена съ К-вымъ сначала сильно меня испугала и я начиналъ уже чувствовать обыкновенное сжатіе въ груди; но онъ ушелъ, и присутствіе матери, ея ласки, ея разговоры, радость — не допустили явленія припадка. На прощаньѣ, мать съ твердостью сказала мнѣ, что возьметъ меня совсѣмъ изъ гимназіи и увезетъ въ деревню. Я совершенно повѣрилъ ей. Я привыкъ думать, что маменька можетъ сдѣлать все, что захочетъ, и счастливая будущность засіяла предо мной всѣми радужными цвѣтами счастливаго прошедшаго.

Мать моя отправилась изъ гимназіи прямо къ Бенису: его не было дома. Она бросилась (въ буквальномъ смыслѣ) къ ногамъ его жены и, обливаясь слезами, умоляла, чтобы ей возвратили изъ гимназіи сына. Мадамъ Бенисъ, понимавшая материнскія чувства, приняла въ нихъ живое участіе и увѣрила ее, что Христіанъ Карлычъ сдѣлаетъ все, что̀ можетъ, что она за него ручается. Докторъ скоро пріѣхалъ. Обѣ женщины, каждая по своему, приступили къ нему съ просьбами; но Бениса убѣждать было не нужно; онъ сказалъ, что это его собственная мысль, что онъ уже намекнулъ объ этомъ директору, но что по несчастію вмѣстѣ съ нимъ былъ главный надзиратель, который сильно этому воспротивился и кажется успѣлъ склонить директора на свою сторону; что директоръ, хотя человѣкъ слабый, но не злой, что надежда на успѣхъ не потеряна. Тутъ мать разсказала всѣ несправедливыя придирки ко мнѣ и постоянное преслѣдованіе главнаго надзирателя. Бенисъ самъ не любилъ его за присвоеніе власти, ему не принадлежащей; онъ не только не смягчилъ

раздраженія моей матери, но усилилъ его, и она возненавидѣла К—ва, какъ лютѣйшаго своего и моего врага. Хозяева поступили съ моей матерью, какъ друзья, какъ родные; уложили ее на диванъ и заставили съѣсть что-нибудь, потому-что послѣднія сутки она не пила даже чаю; дали ей какое-то лекарство, а главное увѣрили ее, что моя болѣзнь чисто нервная и что въ деревнѣ, въ своей семьѣ, я скоро совершенно оправлюсь. Рѣшено было вести съ главнымъ надзирателемъ открытую войну. На другой день поутру, мать моя должна была пріѣхать къ директору до пріѣзда къ нему К—ва съ рапортомъ, выпросить позволеніе пріѣзжать ко мнѣ въ больницу два раза въ день и потомъ вымолить обѣщаніе: отпустить меня въ деревню на попеченіе родителей, впредь до выздоровленія, если докторъ найдетъ это нужнымъ. Бенисъ просилъ только не жаловаться на К—ва, не говорить о немъ ничего дурнаго и не упоминать объ его личномъ нерасположеніи и преслѣдованіяхъ ея больнаго сына. Призывая благословеніе Божіе на доктора и его жену, высказавъ имъ все, что̀ можетъ высказать благодарное материнское сердце, мать уѣхала отдохнуть на свою квартиру. Отдохновеніе было ей необходимо: двѣнадцать дней такой дороги, почти безъ сна и пищи, и цѣлый день такихъ душевныхъ мучительныхъ волненій, могли свалить съ ногъ и крѣпкаго мужчину, а мать моя была больная женщина. Но Богъ въ немощныхъ являетъ свою крѣпость и силу, и уснувъ нѣсколько часовъ, мать моя проснулась бодрою и твердою. Въ девять часовъ утра она сидѣла уже въ гостиной директора. Онъ вышелъ немедленно и встрѣтилъ ее съ явнымъ предубѣжденіемъ, которое однако скоро прошло. Искренность горя и убѣдительность слезъ нашли путь къ его сердцу; безъ большаго труда, онъ позволилъ матери моей пріѣзжать въ больницу каждый

день по два раза и оставаться до восьми часовъ вечера; но просьба объ увольненіи меня изъ гимназіи встрѣтила большое сопротивленіе. Можетъ быть и тутъ слезы и мольбы одержали бы побѣду, но вдругъ вошелъ главный надзиратель, и сцена перемѣнилась. Директоръ возвысилъ голосъ и съ твердостью сказалъ, что увольнять казенныхъ воспитанниковъ по нездоровью, или потому, что они станутъ тосковать, разставшись съ семействомъ, — дѣло не слыханное: въ первомъ случаѣ, это значитъ признаться въ плохомъ состояніи врачебныхъ пособій и присмотра за больными, а въ послѣднемъ — это просто смѣшно; какой же мальчикъ, особенно избалованный, привыкшій только заниматься дѣтскими играми, не будетъ тосковать, когда его отдадутъ въ училище?—К—въ сейчасъ присоединился къ директору и поддержалъ его слова многими, весьма разсудительными и въ тоже время язвительными рѣчами. Онъ упомянулъ о вредныхъ слѣдствіяхъ женскаго воспитанія, материнскаго баловства и дурныхъ примѣровъ неуваженія, непокорности, дерзости и неблагодарности. Въ заключеніе онъ сказалъ, что правительство не за тѣмъ тратитъ деньги на жалованье чиновникамъ и учителямъ и на содержаніе казенныхъ воспитанниковъ, чтобъ увольнять ихъ до окончанія полнаго курса ученья и слѣдовательно не воспользоваться ихъ службою по ученой части; что начальство гимназіи, особенно должно дорожить такимъ мальчикомъ, который по отличнымъ способностямъ и поведенію обѣщаетъ современемъ быть хорошимъ учителемъ. — Мать мою взорвала такая іезуитская двуличность; она забыла предостереженіе Бениса и весьма горячо и неосторожно высказала свое удивленіе, «что г. К—въ хвалитъ ея сына, тогда какъ, съ самаго его вступленія, онъ постоянно преслѣдовалъ бѣднаго мальчика всякими пустыми

придирками, незаслуженными выговорами и насмѣшками, надавалъ ему разныхъ обидныхъ прозвищъ: *плаксы*, *матушкина сынка* и проч., которыя, разумѣется, повторялись всѣми учениками; что такое несправедливое гоненіе г. главнаго надзирателя было единственною причиною, почему обыкновенная тоска дитяти, разлученнаго съ семействомъ, превратилась въ болѣзнь, которая угрожаетъ печальными послѣдствіями; что она признаетъ г. главнаго надзирателя личнымъ своимъ врагомъ, который присвоиваетъ себѣ власть, ему не принадлежащую, который хотѣлъ выгнать ее изъ больницы, не смотря на позволеніе директора, и что г. К—въ, какъ человѣкъ пристрастный, не можетъ быть судьей въ этомъ дѣлѣ». Директоръ былъ нѣсколько озадаченъ; но обозлившійся главный надзиратель возразилъ ей «что она сама. по своей безразсудной горячности портитъ все дѣло; что въ отсутствіе его она пользовалась слабостью начальства, брала сына безпрестанно на домъ, безпрестанно пріѣзжала въ гимназію, возвращалась съ дороги, наконецъ черезъ два мѣсяца опять пріѣхала, и что такимъ образомъ не даетъ возможности мальчику привыкнуть къ его новому положенію, что причиною его болѣзни она сама, а не строгое начальство. и что настоящій ея пріѣздъ надѣлаетъ много зла, потому что сынъ ея, который уже выздоравливалъ, сегодня поутру сдѣлался очень боленъ». — При этихъ словахъ мать моя вскрикнула и упала въ обморокъ. Добродушный директоръ ужасно перепугался и не зналъ что дѣлать. Обморокъ продолжался около часу; кое-какъ привели ее въ чувство. Первыя слова ея были: «пустите меня къ сыну». Перепуганный и сжалившійся директоръ, обрадованный, что мать моя покрайней мѣрѣ не умерла (чего онъ очень опасался, какъ самъ разсказывалъ послѣ), подтвердилъ приказаніе К—ву, чтобы мою мать всегда пускать въ больницу, куда

она сейчасъ и уѣхала. Въ больницѣ встрѣтилъ ее докторъ и по возможности успокоилъ. Онъ поклялся, что моя новая болѣзнь лихорадка, ничего не значитъ, что это слѣдствіе перваго потрясенія и что она даже можетъ быть полезна для моихъ обыкновенныхъ припадковъ. Въ самомъ дѣлѣ, первый лихорадочный пароксизмъ былъ очень легокъ, и хотя на другой день онъ повторился сильнѣе, и хотя лихорадка въ такомъ видѣ продолжалась двѣ недѣли, но за то истерическіе припадки не возвращались. Мать почти цѣлые дни проводила со мной. Директоръ нѣсколько разъ посѣщалъ больницу, и всякой разъ, встрѣчая у меня мать, былъ съ обоими нами очень ласковъ: ему жалко было смотрѣть на блѣдность и худобу моего лица; выразительныя черты моей матери, въ которыхъ живо высказывалось внутреннее состояніе души, также возбуждали его сочувствіе. Когда К—въ хотѣлъ на другой день войти ко мнѣ въ комнату, мать моя не пустила его и заперла дверь, и потомъ упросила директора, чтобы главный надзиратель не входилъ ко мнѣ при ней, говоря, что она не можетъ равнодушно видѣть этого человѣка и боится испугать больнаго такимъ же обморокомъ, какой случился въ домѣ г. директора; онъ очень его помирилъ и согласился. Главный надзиратель обидѣлся и не ходилъ ко мнѣ совсѣмъ.

Между тѣмъ намѣреніе взять меня изъ гимназіи, подкрѣпляемое согласіемъ Бениса, остановленное на время моею новою болѣзнію, приняло офиціальный ходъ. Желая посовѣтоваться напередъ въ этомъ дѣлѣ съ друзьями, мать ѣздила къ Максиму Дмитріевичу К—чу; но твердый, нѣсколько грубый, хотя и добрый по природѣ, Сербъ не одобрилъ этого намѣренія. «Нѣтъ, государыня моя, Марья Николавна, сказалъ онъ: не могу посовѣтовать взять сынка, завернуть его въ хлопочки, нѣжить и кормить са-

харомъ, увезти въ деревню, чтобы онъ бѣгалъ тамъ съ дворовыми мальчишками и выросъ ни на что негоднымъ неучемъ. Ну какой выйдетъ изъ него мужчина? Откровенно скажу, что на мѣстѣ Тимоѳея Степановича, не позволилъ бы вамъ такъ поступать» Не понравились такія слова моей матери; она отвѣчала: что не думаетъ воспитать своего сына неучемъ и деревенскимъ повѣсой, но прежде всего хочетъ спасти его жизнь и возстановить его здоровье,—и болѣе не видалась съ К—мъ. Въ К—мъ былъ дальній родственникъ моему отцу, совѣтникъ палаты, Михеевъ. Мать обратилась къ нему, и хотя онъ также не одобрялъ намѣренія и отказался хлопотать объ его исполненіи, но удовлетворилъ ея желаніе, приказавъ написать просьбу въ Совѣтъ гимназіи о моемъ увольненіи. Въ просьбѣ было написано, что моя мать проситъ возвратить ей сына на время, для возстановленія его здоровья и что какъ скоро оно поправится, то она обязуется вновь представить меня въ число казенныхъ воспитанниковъ. Вмѣстѣ съ этой просьбой, поступило въ Совѣтъ донесеніе доктора Бениса. Онъ писалъ, что находитъ совершенно необходимымъ возвратить воспитанника Аксакова въ родительскій домъ, именно въ деревню; что моя болѣзнь такого рода, что только одинъ деревенскій воздухъ и жизнь на родинѣ посреди своего семейства, могутъ побѣдить ее, что никакія медицинскія средства въ больницѣ не помогутъ, что припадки мои угрожаютъ переходомъ въ эпилепсію, которая можетъ окончиться апоплексіей, или поврежденіемъ умственныхъ способностей. Не могу сказать до какой степени было это справедливо; но докторъ этимъ не удовольствовался: онъ утверждалъ, что у меня есть какое-то расширеніе въ колѣнкахъ и горбоватость ножныхъ костей, что для этого также нужно тѣлодвиженіе на вольномъ воздухѣ и продолжительное употребленіе

декокта (какого не помню), которымъ предлагалъ снабдить меня изъ казенной аптеки. Кажется, все послѣднее было несправедливо; хотя точно я имѣлъ очень толстыя колѣнки, но у дѣтей это часто бываетъ и проходитъ само собой. Тѣмъ не менѣе, такіе пустые наружные признаки были найдены впослѣдствіи вполнѣ уважительными. Началось дѣло въ Совѣтѣ, въ которомъ подъ предсѣдательствомъ директора присутствовали главный надзиратель и трое старшихъ учителей. К—въ, отъ котораго прежде все зависѣло, употребилъ свое вліяніе, и учителя приняли его сторону. Директоръ колебался. Хотѣли дать предписаніе Бенису, чтобъ онъ пригласилъ на консиліумъ инспектора Врачебной Управы и вновь испыталъ надо мной медицинскія пособія; но Бенисъ предварительно объявилъ, что онъ не исполнитъ этого предписанія и донесетъ Совѣту, чтобъ онъ скорѣе уволилъ меня, потому что по прошествіи лихорадки сейчасъ оказались признаки возобновленія прежнихъ припадковъ, что и было совершенно справедливо. — Видя, что дѣло идетъ не хорошо, бѣдная мать моя пришла въ совершенное отчаяніе. Наконецъ Бенисъ посовѣтовалъ ей просить директора, чтобъ онъ приказалъ при себѣ освидѣтельствовать меня гимназическому доктору, вмѣстѣ съ другими постороннимъ докторами, и чтобы согласился съ ихъ мнѣніемъ—и мать моя поѣхала просить директора. Желая избавиться отъ скучныхъ просьбъ и слезъ, онъ велѣлъ сказать, что никакъ не можетъ принять ее сегодня и проситъ пожаловать въ другое время; но какъ такой отказъ былъ уже не первый, то мать приготовила письмо, въ которомъ написала, «что это послѣднее ея посѣщеніе, что если онъ ее не приметъ, то она не выйдетъ изъ его пріемной, покуда ее не выгонятъ, и что вѣрно онъ не поступитъ такъ жестоко съ несчасной матерью.» Дѣлать было нечего. Директоръ вы-

шелъ въ гостиную, и опять не устоялъ передъ выраженіемъ истинной скорби и даже отчаянія. Онъ далъ честное слово исполнить все, о чемъ просила его моя мать, — и сдержалъ свое слово. На другой же день состоялось опредѣленіе гимназическаго Совѣта, совершенно согласное съ желаніемъ Бениса и вчерашнею просьбою моей матери, чего, впрочемъ, никто не зналъ, кромѣ самого директора. Всѣ напротивъ считали свидѣтельство постороннихъ врачей оскорбленіемъ для Бениса и были увѣрены, что врачи съ нимъ не согласятся; пригласили городоваго штабъ-лекаря и одного изъ членовъ Врачебной Управы. Но Бенисъ, предварительно увѣренный въ ихъ согласіи съ своимъ мнѣніемъ, спокойно дожидался развязки; его увѣренность успокоила нѣсколько мою мать, которая въ свою очередь старалась успокоить и меня. Она разсказывала мнѣ, съ величайшей подробностью, всѣ свои поступки и всѣ свои переговоры, она старалась увѣрить меня, что не смотря на препятствія, надежда на успѣхъ ее не покидаетъ; но я, только по временамъ, и то не надолго, обольщался этой надеждой: освобожденіе изъ каменнаго острога, какъ я называлъ гимназію, и возвращеніе въ семейство, въ деревню — казалось мнѣ блаженствомъ недостижимымъ, несбыточнымъ. Переписка съ властями о назначеніи докторовъ тянулась какъ-то медленно, и по настоянію главнаго надзирателя директоръ приказалъ выписать меня изъ больницы, потому что лихорадка моя совершенно прошла. Бенисъ долженъ былъ согласиться. Я опять поступилъ въ комнату къ Упадышевскому и нашелъ кровать свою никѣмъ не занятою. Послѣ довольно продолжительнаго пребыванія на свободѣ, въ тихой и спокойной больничной комнатѣ, сталъ еще противнѣе для меня весь порядокъ и шумный образъ жизни посреди моихъ гимназическихъ товарищей. Притомъ такое пере-

мѣщеніе показалось мнѣ зловѣщимъ признакомъ, что меня не хотятъ отпустить. Мать видалась со мной каждый день, но весьма на короткое время, и то въ общей пріемной залѣ. Все это вмѣстѣ нагнало опять тоску на мою душу, и мои припадки появились съ прежнею силою, какъ будто и не прекращались. Благодареніе Богу, такое мучительное состояніе продолжалось не долго. Ровно черезъ недѣлю, когда воспитанники, послѣ ужина, сошли въ спальныя комнаты и начали раздѣваться, Евсеичъ сунулъ мнѣ въ руку записочку отъ матери и сказалъ: «прочтите такъ, чтобы никто не видалъ». Мать писала ко мнѣ, чтобъ на другой день поутру я не вставалъ съ постели, а сказалъ бы Василью Петровичу, что у меня ломятъ ноги, особенно колѣнки, и попросился бы въ больницу. Записочку приказано было сжечь, что̀ я сейчасъ исполнилъ. Ложь была совершенно мнѣ незнакома. Мать особенно строго за нее взыскивала, и я очень изумился такому приказанію. Хотя какая-то темная догадка мелькала у меня въ умѣ, что эта ложь будетъ способствовать моему освобожденію изъ гимназіи, но я долго не могъ заснуть, смущаясь, что завтра долженъ сказать неправду, которую и Василій Петровичъ и докторъ сейчасъ увидятъ, и уличатъ меня. На другой день, когда дядька сталъ меня будить, я сказалъ ему, что у меня болятъ ноги и что я хочу опять въ больницу. Легкая улыбка искривила ротъ моего Евсеича и онъ пошелъ доложить о томъ Упадышевскому, который, къ удивленію моему, не обративъ на это никакого вниманія, весьма равнодушно сказалъ: «хорошо; такъ пустъ онъ не встаетъ, я только провожу дѣтей на верхъ, а потомъ приду за нимъ и отведу его въ больницу.» — Но товарищи не оставили меня въ покоѣ и многіе изъ нихъ, сдергивая съ моей головы одѣяло, которымъ я нарочно закрылся, спрашивали меня:

«отъ чего ты не встаешь?» Смущаясь и краснѣя, принужденъ я былъ солгать еще нѣсколько разъ. Со смѣхомъ отвѣчали мнѣ: «ты врешь; лѣнь учиться, въ больницѣ понравилось!» Шумная ватага мальчиковъ, построясь въ комнатный фронтъ, ушла на верхъ. Упадышевскій воротился, и не разспросивъ меня о болѣзни, отвелъ въ больницу и сдалъ съ рукъ на руки подлекарю Риттеру и больничному надзирателю. Меня помѣстили въ прежней комнатѣ. Въ девять часовъ пріѣхалъ Беннсъ и, начавъ меня осматривать, предупредилъ словами: «вѣрно у васъ разболѣлись ноги? Я этого ожидалъ,» и указывая подлекарю и надзирателю на мои колѣнки, онъ прибавилъ: «посмотрите какъ онѣ въ одну недѣлю распухли и жаръ въ нихъ усилился.» Колѣнки мои были совершенно въ прежнемъ положеніи, жара я не чувствовалъ, и съ изумленіемъ замѣтилъ, что всѣ какъ-будто сговорились лгать. Еще болѣе изумила меня мать, которая пріѣхала вслѣдъ за Беннсомъ, и безъ всякаго смущенія разсуждала съ нимъ и съ другими о моей новой небывалой болѣзни. Когда мы остались наединѣ, я посмотрѣлъ на нее съ изумленіемъ и спросилъ: «маменька, что это значитъ?» Она обняла меня и сказала: «что дѣлать, мой другъ! это необходимо, такъ приказалъ Беннсъ. На этихъ дняхъ тебя будутъ свидѣтельствовать другіе доктора, и ты долженъ имъ сказать, что у тебя болятъ ноги. Христіанъ Карловичъ увѣряетъ, что отъ того тебя выпустятъ изъ гимназіи.» Лучь надежды блеснулъ въ моей душѣ, хотя я не видѣлъ особенныхъ причинъ предаваться ей. Черезъ два дня, вечеромъ сказала мнѣ мать, что завтра будутъ меня свидѣтельствовать, повторила мнѣ все, что я долженъ говорить о болѣзни своихъ ногъ, и убѣждала, чтобъ я отвѣчалъ смѣло и не запинался. Въ слѣдующій день, въ одиннадцать часовъ, вошли ко мнѣ въ комнату: директоръ, главный надзира-

тель, Бенисъ съ двумя неизвѣстными мнѣ докторами, трое учителей, присутствовавшихъ въ совѣтѣ, и Упадышевскій. Небольшая моя комната наполнилась людьми, всѣмъ подали кресла, и всѣ торжественно разсѣлись около моей постели. Я такъ смутился, что мнѣ сейчасъ начало дѣлаться дурно; впрочемъ я скоро оправился безъ лекарства и услышалъ, что Бенисъ разсказываетъ докторамъ исторію моей болѣзни, иногда по-латынѣ, но большею частію по русски; во многомъ онъ ссылался на Упадышевскаго, котораго тутъ же разспрашивали. Призванъ былъ также мой дядька, которому было сдѣлано нѣсколько вопросовъ о состояніи моего здоровья до поступленія въ гимназію. Меня самого также очень много спрашивали; доктора часто подходили ко мнѣ, щупали мою грудь, животъ и пульсъ, смотрѣли языкъ; когда дѣло дошло до колѣнокъ и до ножныхъ костей, то всѣ трое обступили меня, всѣ трое вдругъ стали тыкать пальцами въ мнимо больныя мѣста, и заговорили очень серьёзно и съ одушевленіемъ. Я помню, что часто упоминались слова: «лимфа, пасока, скорбутъ.» Насилу кончилось это тягостное, очень утомившее меня свидѣтельство; оно продолжалось по крайней мѣрѣ часъ. Когда всѣ ушли, я немедленно заснулъ, а проснувшись увидѣлъ сидящую предо мною мать и простывшій больничный обѣдъ на столѣ. Мать моя хотя надѣялась, но рѣшительнаго еще ничего не знала. Она немедленно уѣхала къ Бенису, и часа черезъ два опять пріѣхала ко мнѣ съ блистающимъ радостью лицемъ: доктора прямо отъ меня отправились въ Совѣтъ гимназіи, гдѣ подписали общее свидѣтельство, въ которомъ было сказано, что «совершенно соглашаясь съ мнѣніемъ г-на доктора Бениса, они считаютъ необходимымъ возвратить казеннаго воспитанника Аксакова на попеченіе родителей въ деревню; а къ прописанному для больнаго декокту

полагаютъ не лишнимъ прибавить такіе-то медикаменты и предписать въ послѣдствіи крѣпительныя холодныя ванны.» Директоръ положительно согласился, трое учителей послѣдовали его примѣру; но главный надзиратель остался при своемъ мнѣніи и не подписалъ журнала (*); впрочемъ это ничему не мѣшало.

И такъ совершилось желанное событіе, такъ долго казавшееся несбыточною мечтою! Мать моя сіяла блаженствомъ; она плакала, смѣялась, всѣхъ обнимала, особенно Упадышевскаго и Евсеича,—благодарила Бога. Я былъ такъ счастливъ, что по временамъ не вѣрилъ своему счастью, думалъ, что я вижу прекрасный сонъ, боялся проснуться и, обнимая мать, спрашивалъ ее: «правда ли это?» Долѣе всѣхъ вечеровъ просидѣла она со мной, и Упадышевскій не одинъ разъ приходилъ и просилъ ее уѣхать. К — въ не измѣнилъ себѣ до конца; онъ предложилъ Совѣту: взыскать съ моей матери, за пятимѣсячное пребываніе мое въ гимназіи, всѣ издержки, употребленныя на мое содержанье и ученье. Но директоръ не согласился на такое предложеніе, сказавъ, что воспитанника не исключаютъ совсѣмъ, а только возвращаютъ родителямъ до выздоровленія. На третій день послѣ свидѣтельства, пригласили мою мать въ Совѣтъ, обязали ее подпиской: представить въ гимназію сына по выздоровленіи, и позволили взять меня. Мать, прямо изъ Совѣта, въ послѣдній разъ пришла въ больницу; Евсеичъ переодѣлъ меня въ мое прежнее платье и сдалъ всѣ казенныя вещи и книги. Съ горячими слезами благодарности простились мы съ Упадышевскимъ и больничнымъ надзирателемъ. Мать взяла меня за руку и, въ сопровожденіи Евсеича, вывела на крыльцо.... Я вскрикнулъ отъ радостнаго изумленія: передъ крыльцомъ стояла наша

(*) Копіи со всѣхъ бумагъ долго у насъ хранились.

деревенская карета, запряженная четверкой нашихъ домороценныхъ лошадей; на козлахъ сидѣлъ знакомый кучеръ, а на подсѣдельной, еще болѣе знакомый форрейторъ, всегда достававшій мнѣ червяковъ для уженья. Ѳедоръ и Евсеичъ посадили меня въ старую колымагу подлѣ матери, и мы поѣхали на квартиру. Карета, люди и лошади были присланы отцомъ моимъ изъ деревни. Не смотря на радость, которою былъ не только проникнутъ, но можно сказать ошеломленъ, я такъ расплакался, прощаясь съ Васильемъ Петровичемъ, что даже въ деревенской каретѣ продолжалъ плакать. Въ самомъ дѣлѣ, доброта этого человѣка, его безкорыстное нѣжное участіе, доходившее до самоотверженія, къ людямъ совершенно постороннимъ, стоили самой искренней благодарности; надобно къ этому прибавить, что находясь нѣсколько лѣтъ въ гимназіи, онъ неминуемо долженъ былъ привыкнуть къ подобнымъ явленіямъ, а сердца́, не покоряющіяся привычкѣ, встрѣчаются не часто. На квартирѣ ожидали меня радостныя слезы Параши и даже хозяйки дома, все той же капитанши Аристовой, которая также принимала участіе въ нашемъ положеніи (*). Въ тотъ же день вечеромъ мы съ матерью ѣздили къ доктору Бенису благодарить и проститься. Надобно отдать должную справедливость и этому человѣку, который, не знаю почему, имѣлъ въ городѣ репутацію холоднаго интересана,—что въ отношеніи къ намъ онъ поступалъ обязательно и безкорыстно; онъ не только не взялъ съ насъ ни копѣйки денегъ, но даже не принялъ подарка, предложеннаго ему матерью на память объ одолженныхъ имъ людяхъ; докторамъ же, которые свидѣтельствовали меня, онъ подарилъ отъ насъ по 25 рублей за безпокойство, какъ будто за консиліумъ; раз-

(*) Мать моя съ почтоваго двора немедленно переѣхала къ ней.

умѣется, мать отдала ему эти деньги. И такъ оставалось благодарить Бениса словами, слезами и молитвами за него Богу — и мать благодарила такъ отъ души, такъ горячо что Бенисъ и жена его были очень растроганы. Что касается до меня, то я какъ-то не растрогался, и хотя я очень хорошо зналъ, что единственно Бенису обязанъ за освобожденіе изъ гимназіи, но я не заплакалъ и благодарилъ очень вяло и пошло, за что мать послѣ мнѣ очень пеняла. На другой день поутру, мы отправились въ соборъ и потомъ къ Казанской Божіей Матери, и отслужили благодарственные молебны. Заѣхали къ директору, но его не было дома, или онъ не хотѣлъ насъ принять. Воротясь домой, мы нашли у насъ Василья Петровича, который еще разъ пришелъ повидаться съ нами и проститься. Онъ также отказался принять подарокъ на память и отвѣчалъ коротко и ясно: «не обижайте меня, Марья Николавна.» Съ нимъ прощался я совсѣмъ не такъ, какъ съ Бенисомъ: я ужасно расплакался; долго не могли меня унять, даже боялись возвращенія припадка, но какія-то новыя капли успокоили мое волненіе; должно замѣтить, что это лекарство, въ послѣдніе дни, уже въ третій разъ, не допускало развиться дурнотѣ. По уходѣ Упадышевскаго, мы кое-какъ пообѣдали и сейчасъ принялись укладываться. Намъ какъ-то страшно было оставаться въ К—и, и каждый часъ промедленія казался долгимъ днемъ; къ вечеру все было готово. Вечеръ наступилъ теплый, совершенно лѣтній, и мы съ матерью легли спать въ каретѣ. На разсвѣтѣ, безъ всякаго шума, заложили лошадей и, не разбудивъ меня, тихо выѣхали изъ К—нн. Когда я проснулся, яркое солнце свѣтило въ карету; Параша спала, а мать сидѣла возлѣ меня и плакала самыми радостными, благодарными Богу, слезами; это чувство такъ выражалось въ ея глазахъ, что никто

бы не опечалился, а скорѣе порадовался, увидя ея слезы. Она обняла свое ненаглядное дитя, и потокъ нѣжныхъ рѣчей и ласкъ высказалъ ея внутреннее состояніе. Это было 19 мая, день рожденія моей милой сестры. Прекрасное, даже жаркое, весеннее утро настоящаго майскаго дня обливало горячимъ свѣтомъ всю природу. Въ окна кареты заглянули зеленыя, молодыя хлѣбныя поля, луга и лѣса; мнѣ такъ захотѣлось окинуть глазами всѣ края далекаго горизонта, что я попросилъ остановиться, выскочилъ изъ кареты и началъ бѣгать и прыгать, какъ самое рѣзвое пятилѣтнее дитя; тутъ только я вполнѣ почувствовалъ себя на свободѣ. Мать любовалась, глядя на меня изъ кареты. Я обнялъ Евсеича и Ѳедора, поздоровался съ кучеромъ и форрейторомъ, который успѣлъ сказать мнѣ, что рыба начинала шибко клевать, когда онъ уѣзжалъ изъ Аксакова. Я поздоровался также со всѣми лошадьми, Евсеичъ взялъ меня на руки, поднялъ, и я погладилъ каждую изъ нихъ. Это былъ славный шестерикъ, бурой и караковой масти, такой породы лошадей, о какой давно и слуху нѣтъ въ Оренбургской губерніи; но лѣтъ двадцать помнили ее и говорили о ней. Дѣдушка мой вывелъ такую породу; лошади были крупныя, четырехъ-вершковыя, сильныя до невѣроятности, рысистыя, не задушливыя на бѣгу и не знавшія устали. Въ тяжелыхъ экипажахъ дѣлали на нихъ по 80 и по 90 верстъ въ день. — Боже мой, какъ было мнѣ весело! На силу усадили меня въ карету, но я высунулся въ окошко и ѣхалъ такъ до самой кормежки, радостными восклицаніями привѣтствуя все, что попадалось на дорогѣ. Наконецъ сверкнула полоса воды—это была рѣка Мёша, не очень большая, но глубокая и чрезвычайно рыбная; по ней ходилъ довольно плохой плотъ на веревкѣ. Мы переправлялись долго: лошадей ставили только по одной

парѣ, а карету едва перевезли; ее облегчили отъ сундуковъ и другихъ тяжестей, и не смотря на то, плотъ погружался въ воду. Мы съ матерью переѣхали прежде всѣхъ на другой берегъ; цвѣтущая и душистая урема покрывала его. Я не помнилъ себя отъ восхищенія. Запасливый форрейторъ, страстный охотникъ удить, взялъ съ собою изъ деревни совсѣмъ готовую удочку съ удилищемъ, которая и была привязана подъ каретой къ дрожинѣ; ее сейчасъ отвязали, и покуда совершалась переправа, я уже удилъ на хлѣбъ и таскалъ плотву. Кромѣ Дёмы, я не видывалъ рѣки рыбнѣе Мёши; рыба кипѣла въ ней, какъ говорится, и такъ брала, что только успѣвай закидывать. Мудрено ли, что послѣ освобожденія изъ гимназическаго плѣна, эта кормежка показалась мнѣ блаженствомъ! На оставленномъ нами берегу находилась чья-то господская деревня; тамъ достали овса, сѣна, курицу, яицъ и всѣ нужные припасы. Какой обѣдъ на дорожномъ таганѣ приготовилъ намъ Евсеичъ, который былъ немножко и поваръ! Сковорода жареной рыбы также показалась очень вкуснымъ блюдомъ. Мы уже отъѣхали тридцать верстъ отъ К—ни, кормили четыре часа и пустились въ дальнѣйшій путь. Набѣжали тучи, загремѣлъ громъ, дождь вспрыснулъ землю, и ѣхать было не жарко и не пыльно; сначала ѣхали шагомъ, а потомъ побѣжали такою рысью, что уѣзжали болѣе десяти верстъ въ часъ. Скоро небо прояснилось и великолѣпное солнце осушило слѣды дождя; мы отъѣхали еще сорокъ верстъ и остановились ночевать въ полѣ, потому что на кормежкѣ запаслись всѣмъ нужнымъ для ночевки. Опять множество новыхъ удовольствій, новыхъ наслажденій! Выпрягли, спутали лошадей и пустили ихъ на сочную молодую траву; развели яркой огонь, наложили дорожный самоваръ, то-есть, огромный чайникъ съ трубою, послали кожу возлѣ

кареты, поставили погребецъ и подали чай. Какъ онъ былъ хорошъ на свѣжемъ вечернемъ воздухѣ! Черезъ два часа напоили остывшихъ коней, разбили хребтуги съ овсомъ, привязавъ ихъ къ дышлу и вколоченнымъ въ землю кольямъ, и припустили къ овсу лошадей. Мы съ матерью и съ Парашей улеглись въ каретѣ, и сладко заснулъ я, слушая какъ жевали кони овесъ и фыркали отъ попадавшей въ ноздри пыли. На другой день поутру, мы переправились немного повыше Шурана, черезъ Каму, которая была еще въ разливѣ. Я боялся (и теперь боюсь) большой воды; а тогда дулъ порядочный вѣтеръ. На перевозѣ оказалась *посуда* (*) большая и новая: на одну завозню поставили всѣхъ лошадей и карету; меня заперли въ нее съ Парашей, опустили даже гардинки и подняли жалузи, чтобъ я не видалъ волнующейся воды; но я сверхъ того закуталъ голову платкомъ и все-таки дрожалъ отъ страха во все время переправы; дурныхъ послѣдствій не было. Весенняя пристань находилась еще въ Мурзихѣ; лѣтомъ она спускалась нѣсколько верстъ ниже. Мать отыскала въ Мурзихѣ своихъ провожатыхъ; она всѣмъ привезла хорошіе гостинцы: подарки были приняты безъ удивленія, но съ удовольствіемъ и благодарностью. Мы проѣхали еще пятнадцать верстъ до мѣста своей кормежки. Такъ продолжался нашъ путь, и на пятый день пріѣхали мы ночевать въ деревню, Татарскій Байтуганъ, лежащую на рѣкѣ Сокъ, всего въ двадцати верстахъ отъ Аксакова. Рѣка Сокъ также очень рыбна; но боясь вечерней сырости, мать не пустила меня удить, а форрейторъ сбѣгалъ и принесъ нѣсколько окуней и плотицъ. Поднявшись съ ночлега, по обыкновенію на зарѣ, мы имѣли возможность не заѣхать въ село Нек-

(*) Такъ называются завозни, дощаники, паромы и проч.

людово, гдѣ жили родные намъ по бабушкѣ, Кальминскіе и Луневскіе; а также и въ Бахметевку, гдѣ недавно поселился новый помѣщикъ Осоргинъ съ молодою женою: и мы, и они еще спали во время нашего проѣзда. Версты за четыре до Аксакова, на самой межѣ нашего владѣнія, я проснулся. точно кто-нибудь разбудилъ меня; когда проѣхали мы между Липовымъ и Общимъ колкомъ (*) и выѣхали на склонъ горы, должно было немедленно открыться наше Аксаково, съ огромнымъ прудомъ, мельницей, длиннымъ порядкомъ избъ, домомъ и березовыми рощами. Я безпрестанно спрашивалъ кучера: «Не видно ли деревни?» И когда онъ сказалъ наконецъ, наклонясь къ переднему окошку: «вотъ наше Аксаково, какъ на ладонкѣ»—я сталъ такъ убѣдительно просить мою мать, что она не могла отказать мнѣ и позволила сѣсть съ кучеромъ на козлахъ. Не берусь передать, что̀ чувствовало мое сердце, когда я увидѣлъ милое мое Аксаково! Нѣтъ словъ на языкѣ человѣческомъ для выраженія такихъ чувствъ!.....

Во все теченіе моей жизни, я продолжалъ испытывать, приближаясь къ Аксакову, подобныя ощущенія; но два года тому назадъ, послѣ двѣнадцатилѣтняго отсутствія, также довольно рано, подъѣзжалъ я къ тому же Аксакову; сильно билось мое сердце отъ ожиданія, я надѣялся прежнихъ радостныхъ волненій! Я вызвалъ милое прошедшее, и рой воспоминаній окружилъ меня.... но не весело, а болѣзненно, мучительно подѣйствовали они на мою душу, и мнѣ стало невыразимо тяжело и грустно. Подобно волшебнику, который, вызвавъ духовъ, не умѣетъ съ ними сладить и не знаетъ куда отъ нихъ дѣваться,—

(*) Теперь не существуетъ послѣдняго названія, потому что владѣльцы размежевались.

не зналъ я, какъ мнѣ прогнать мои воспоминія, какъ успокоить нерадостное волненіе. Старые мѣха не выдерживаютъ молодаго вина, и старое сердце не выноситъ молодыхъ чувствъ.... но тогда, Боже мой, что было тогда!

Нѣсколько разъ я чувствовалъ стѣсненіе въ груди и готовъ былъ упасть; но я молчалъ, крѣпко держался за ручку козелъ и за кучера, и стѣсненіе проходило само собою.—Быстро скатилась карета подъ изволокъ, переѣхала черезъ плохой мостъ на Бугурусланѣ, завязла было въ топи у Крутца, но выхваченная сильными конями, пронеслась мимо камышей, пруда, деревни—и вотъ нашъ сельскій домъ, и на крыльцѣ его отецъ съ милой моей сестрицей. Когда мы подъѣхали, она всплеснула ручонками и закричала: «братецъ Сереженька на козлахъ!...» Выбѣжала тетка и вывела брата, кормилица вынесла маленькую мою сестру! Сколько объятій, поцѣлуевъ, радости, вопросовъ и отвѣтовъ! Сбѣжалась вся дворня, даже крестьяне, случившіеся дома, и куча мальчишекъ и дѣвочекъ. Отецъ мой очень обрадовался; онъ не вѣрилъ, чтобъ удалось высвободить меня изъ гимназіи; послѣднюю недѣлю некогда было писать къ нему изъ К., и онъ ничего не зналъ, что тамъ происходило.

ГОДЪ ВЪ ДЕРЕВНѢ.

ГОДЪ ВЪ ДЕРЕВНѢ.

Первые дни были днями самозабвенія и суматочной дѣятельности. Прежде всего я навѣстилъ своихъ голубей и двухъ перезимовавшихъ ястребовъ. Я обѣгалъ всѣ знакомыя, всѣ любимыя мѣста, а ихъ нашлось не мало. Около дома, въ саду, въ огородѣ и въ ближайшей рощѣ съ грачевыми гнѣздами, вездѣ бѣгала со мною сестрица, уцѣпясь за мою руку, и даже показывала, какъ хозяйка, кое-что сдѣланное безъ меня, и въ томъ числѣ огромную и высокую паровую гряду изъ навоза, на которой были посажены тыквы, арбузы и дыни. Сбѣгали мы также съ ней и въ кладовые амбары, гдѣ хранилось много драгоцѣнностей: мѣдные, желѣзные и рѣзной костью оклеенные ларцы съ разными штуфами и окаменѣлостями, подаренными нѣкогда моей матери какимъ-то важнымъ горнымъ чиновникомъ; посѣтили и ключницу Пелагею на погребѣ, и были угощены холодными густыми сливками съ чернымъ хлѣбомъ. Но къ рѣкѣ и за рѣку, сестрицѣ не позволяли ходить со мною, и туда провожалъ меня Евсеичъ. Мы перешли съ нимъ черезъ мосточки на первый островъ, гдѣ стояла лѣтняя кухня и лежали широкія лубки, на которыхъ

сушилъ мытую пшеницу. Этотъ островокъ окружала съ двухъ сторонъ стари́ца Бугуруслана, которая начинала пересыхать и заростать таловыми кустами; мы перебрались черезъ нее по жердочкамъ и сейчасъ перешли на другой островъ побольше, также съ одного боку окруженный стари́цей, но еще глубокой и прозрачной. Это было любимое мѣсто моей тетки Евгеньи Степановны, все засаженное по берегу рѣки березами и пересѣченное посерединѣ липовой аллеей. Очевидно, что это мѣсто давно понравилось еще моему дѣдушкѣ и что онъ засадилъ его деревьями за долго до рожденія меньшой своей дочери Евгеши, какъ онъ называлъ ее: потому что деревьямъ было лѣтъ по пятидесяти, а дочери—тридцать пять. Евгенья Степановна, хотя не получила никакого воспитанія, какъ и всѣ ея сестры, но имѣла въ душѣ какое-то влеченіе къ образованности и любовь къ природѣ. У ней водились кое-какія книжечки: старинные романы (вѣроятно доставленныя ей братомъ) и театральныя піески. Разумѣется я всѣ ихъ перечиталъ съ дозволенія и безъ дозволенія; особенно помню одинъ водевильчикъ, подъ названіемъ: «Драматическая Пустельга». Тетка любила читать книжку на островѣ и удить рыбку въ глубокой стари́цѣ. На многихъ березахъ вырѣзала она свое имя и числа разныхъ годовъ и мѣсяцовъ, даже какіе-то стишки изъ пѣсенника. Какъ я любилъ этотъ островъ!... Какъ хорошо было на немъ въ лѣтніе жары! прохладная тѣнь и кругомъ вода! Съ одной стороны новая канавка, идущая отъ вешняка, соединялась съ водой, быстро бѣгущей изъ-подъ мельницы, а съ другой—прежнее русло Бугуруслана, еще глубокое и прозрачное, огибало островъ. Безъ сердечнаго трепета, безъ замиранья сердца, не могу я до сихъ поръ вспомнить лѣтняго полдня на этомъ островѣ. Теперь все перемѣнилось. Стари́ца почти высохла; другая,

новая канавка отвела воду отъ вешняка въ другую сторону; вездѣ разросся тальникъ и ольха, и островъ уже понапрасну сохраняетъ свое имя. Впрочемъ, если взять все пространство земли, идущее до плотины, то съ натяжкой оно можетъ еще называться прежнимъ именемъ. Налюбовавшись досыта островомъ, оглядѣвъ каждое дерево, перечитавъ всѣ тетушкины надписи, насмотрѣвшись на головлей и язей, гулявшихъ или неподвижно стоявшихъ въ старицѣ, отправились мы съ Евсеичемъ на мельницу; но я забѣжалъ на *Антошкины мостки*, гдѣ часто уживалъ пискарей, и на кузницу, гдѣ я любилъ смотрѣть какъ прядали искры изъ-подъ молота, ковавшаго раскаленное желѣзо. Когда же я всбѣжалъ на плотину, и широкой прудъ открылся передо мной, съ своими зелеными камышами и лопухами, съ длинною плотиною, обросшею молодыми ольхами, съ цѣлымъ міромъ своего птичьяго и рыбьяго населенія, съ вешнякомъ, каузомъ и мельницей—я оцѣпенѣлъ отъ восторга и простоялъ, какъ вкопанный, нѣсколько минутъ. Мельникъ, по прозванью Болтуненокъ, очень меня любившій, приготовилъ мнѣ неожиданную потѣху: онъ разставилъ въ травахъ нѣсколько жерлицъ на щукъ, и нарочно не смотрѣлъ ихъ до моего прихода; онъ зналъ, что я приду непремѣнно, онъ посадилъ меня съ Евсеичемъ въ лодку и повезъ пололми до травы; вода была очень мелка и тутъ я не боялся. Я самъ вынималъ каждую жерлицу, и на одной изъ нихъ сидѣла большая щука, которую я вытащилъ съ помощію Евсеича, и съ торжествомъ несъ на своихъ рукахъ до самаго дома. Потомъ дни черезъ два отецъ свозилъ меня поудить и въ *Малую* и въ *Большую Урему*; онъ ѣздилъ со мной и въ *Антошкинъ врагъ* гдѣ на самой вершинѣ горы билъ сильный родникъ и падалъ внизъ пылью и пѣной; и къ *Колодцу*, гдѣ родникъ бѣжалъ по нарочно подстав-

ленным липовым колодам; в *Мордовской врагъ*, где ключъ вырывался изъ каменной трещины у подошвы горы; и въ *Липовый* и въ *Потаенный колокъ*, и на пчельникъ, между ними находившійся, состоящій изъ множества ульевъ. Тамъ жилъ постоянно, и лѣто и зиму, старый пчелякъ въ землянкѣ, также большой мой пріятель, у котораго былъ котъ *Тимошка* и кошка *Машка*, названные такъ въ честь моего отца и матери.

Въ такихъ-то пріятныхъ суетахъ и хлопотахъ прошли первыя двѣ недѣли, послѣ нашего пріѣзда въ Аксаково. Нечего и говорить, какъ была счастлива моя мать, видя меня веселымъ, бодрымъ и повидимому здоровымъ. Она еще въ К. взяла свои мѣры, чтобъ не пропало въ совершенной праздности время моей деревенской жизни, и запаслась учебными гимназическими книжками. Постоянно думая, что если я, по милости Божіей, поправлюсь здоровьемъ, можетъ быть черезъ годъ, то все же надобно будетъ представить меня опять въ гимназію, —она назначила мнѣ отъ двухъ до трехъ часовъ въ день, для повторенія всего, чему я учился, для занятія чистописаніемъ и чтеніемъ ей вслухъ разныхъ книгъ, приличныхъ моему возрасту. Я исполнялъ это очень охотно, и деревенскія удовольствія становились для меня еще пріятнѣе послѣ занятій. Я принялся также доучивать мою милую ученицу, маленькаго моего друга, мою сестрицу, и на этотъ разъ съ совершеннымъ успѣхомъ.

Я уже сказалъ, что повидимому казался здоровымъ, но на дѣлѣ вышло не совсѣмъ такъ. Правда, по выходѣ изъ гимназіи, не было у меня ни одного припадка; дорогой даже прошли стѣсненія и біенія сердца, и въ деревнѣ не возобновлялись; но я сталъ каждую ночь бредить во снѣ, болѣе, сильнѣе обыкновеннаго. Сначала мать моя не придавала этому бреду никакой значительности,

все приписывая излишнему бѣганью и живости дѣтскихъ впечатлѣній, тѣмъ болѣе, что до поступленія въ гимназію, я часто грезилъ, чему подвержены бываютъ многія дѣти. Но теперь это начало принимать мало по малу другой характеръ. Во-первыхъ: я сталъ бредить постоянно всякую ночь очень сильно, иногда по нѣскольку разъ. Во-вторыхъ: я сталъ не только говорить во снѣ, но вскакивать съ постели, плакать, рыдать и выбѣгать въ другія комнаты. Я спалъ вмѣстѣ съ отцомъ и матерью въ ихъ спальной, и кроватка моя стояла возлѣ ихъ кровати; дверь стали запирать изнутри на крючекъ, и позади ее въ корридорчикѣ спала ключница Палагея, для того, чтобы убѣжать сонному не было мнѣ никакой возможности. Ночной бредъ, усиливаясь день отъ дня, или правильнѣе сказать, ночь отъ ночи, обозначился наконецъ очевиднымъ сходствомъ съ тѣми припадками, которымъ въ гимназіи я подвергался только въ продолженіи дня: я также плакалъ, рыдалъ и впадалъ въ безпамятство, которое переходило въ обыкновенный крѣпкой сонъ. Но эти ночные, новые припадки были гораздо сильнѣе и страшнѣе прежнихъ денныхъ припадковъ, и проявлялись съ бо́льшимъ разнообразіемъ. Иногда это былъ тихій плачь и рыданья, всегда съ прижатыми къ груди руками, съ невнятнымъ шопотомъ какихъ-то словъ, продолжавшіеся цѣлые часы и переходившіе въ бѣшенство и судорожныя движенія, если меня начинали будить, чего въ послѣдствіи никогда не дѣлали; утомившись отъ слезъ и рыданій, я засыпалъ уже сномъ спокойнымъ; но большаго труда стоило, особенно сначала, чтобъ окружающіе могли вытерпѣть такое жалкое зрѣлище, не попробовавъ меня разбудить и помочь мнѣ хоть чѣмъ-нибудь. Мнѣ разсказывали послѣ, что не только мать, которая невыразимо терзалась, глядя на меня, но и отецъ, тетка и всѣ, кто около меня были, сами над-

рывались отъ слезъ, смотря на мои мучительныя слезы и рыданья. — Иногда я вдругъ вскакивалъ на ноги съ пронзительнымъ крикомъ, дико глядѣлъ во всѣ глаза и безпрестанно повторяя: «пустите меня, дальше, прочь, мнѣ нельзя, не могу, гдѣ онъ, куда идти!» и тому подобныя отрывистыя, ничего не объясняющія слова, — я бросался къ двери, къ окну или въ углы комнаты, стараясь пробиться куда-то, стуча руками и ногами въ стѣну. Въ это время у меня была такая сила, что двое и трое не могли удержать меня, и я, обливаясь по́томъ, таскалъ ихъ по комнатѣ. Этого роду припадокъ всегда оканчивался сильнымъ обморокомъ, въ продолженіе котораго трудно было замѣтить, что я дышу; обморокъ переходилъ постепенно въ сонъ, сначала нѣсколько безпокойный, но потомъ глубокой и тихой, продолжавшійся иногда часовъ до девяти утра. Послѣ тихихъ слезъ и рыданій, я просыпался бодрый и живой, какъ будто всю ночь проспалъ спокойно; но послѣ изступленнаго вскакиванія и какого-то бѣшенства, я бывалъ нѣсколько слабъ, блѣденъ, какъ будто утомленъ; впрочемъ все это скоро проходило и я цѣлый день весело учился, бѣгалъ и предавался своимъ охотамъ. Проснувшись, я ничего ясно не помнилъ; иногда смутно представлялось мнѣ, что я видѣлъ во снѣ что-то наваливающееся и душившее меня, или видѣлъ страшилищъ, которыя за мной гонялись; иногда усилія меня державшихъ людей, невольно повторявшихъ ласковыя слова, которыми уговаривали меня лечь на постель и успокоиться — какъ будто пробуждали меня на мгновеніе къ дѣйствительности и потомъ, совсѣмъ проснувшись поутру, я вспоминалъ, что ночью отъ чего-то просыпался, что около меня стояли мать, отецъ и другіе, что въ кустахъ подъ окнами пѣли соловьи и кричали коростели за рѣкою. Мать моя не знала, что и дѣлать; особенно пугало ее то, что во время обмо-

рока показывались у меня на лицѣ судорожныя подергиванья и пѣна на губахъ, признакъ зловѣщій. Мысль, что это можетъ быть въ самомъ дѣлѣ падучая болѣзнь, задолго пропророченная Евсеичемъ въ его письмѣ,—приводила ее въ ужасъ. Капли, предписанныя Бенисомъ, она перестала давать; кровочистительнаго декокта, полученнаго изъ казенной аптеки, вовсе не употребляла, хотя Бенисъ совѣтовалъ попить его, подозрѣвая во мнѣ золотуху, которой никогда не бывало. Мать позволила мнѣ купаться въ рѣкѣ, думая, что купанье можетъ укрѣпить меня: оно мнѣ очень нравилось, но пользы не приносило. Мать обратилась къ Бенису и такъ мастерски написала исторію моей болѣзни, что докторъ пришелъ въ восхищеніе отъ ея описанія, благодарилъ за него, прислалъ мнѣ чай и пилюли и назначилъ діэту. Все исполняли съ большой точностью, но облегченія болѣзни не было; напротивъ, припадки становились упорнѣе, а я слабѣе. Чай и пилюли бросили, принялись за докторовъ простонародныхъ, за знахарей и знахарокъ. Всѣ говорили, что дитя испорчено, что мнѣ *попритчилось*; умывали, обливали, окуривали меня — все безъ успѣха. Я совсѣмъ не противъ народной медицины и вѣрю ей, особенно въ соединеніи съ магнетизмомъ; я давно отрекся отъ презрительнаго взгляда, съ которымъ многіе смотрятъ на нее съ высоты своего просвѣщенія и учености; я видѣлъ столько поразительныхъ и убѣдительныхъ случаевъ, что не могу сомнѣваться въ дѣйствительности многихъ народныхъ средствъ; но мнѣ тогда не помогли онѣ, можетъ быть отъ того, что не попадали на мою болѣзнь, а можетъ быть и потому, что мать не согласилась давать мнѣ лекарства внутрь. Помню однако, что я долго принималъ, по совѣту одной сосѣдки, папоротникъ въ порошкѣ, для чего употреблялись самые молоденькіе побѣги его, выходящіе, на подобіе

гребешка, не посредственно изъ корня, между большими прорѣзными листьями или вѣтвями этого растенія. Папоротникъ также не помогъ. Наконецъ обратились къ самому извѣстному лекарству, которое было въ большомъ употребленіи у насъ въ домѣ еще при дѣдушкѣ и бабушкѣ, но на которое мать моя смотрѣла съ предубѣжденіемъ, и до этихъ поръ не хотѣла о немъ слышать, хотя тетка давно предлагала его. Это лекарство называлось: «припадочныя или росныя капли» потому что росной ладонъ составлялъ главное ихъ основаніе; ихъ клали по 10 капель на пол-рюмки воды, и вода бѣлѣла какъ молоко. Число капель ежедневно прибавлялось по двѣ и доводилось до 25 на одинъ пріемъ, всегда на ночь. Мнѣ начали ихъ давать, и съ перваго пріема мнѣ стало лучше; черезъ мѣсяцъ болѣзнь совершенно прошла и никогда уже не возвращалась. Когда довели до 25 капель, то стали убавлять по двѣ капли и кончили десятью; я не переставалъ купаться и не держалъ ни малѣйшей діэты. Сколько было бы шуму, еслибъ такъ чудотворно вылечилъ меня какой-нибудь славный докторъ! Отдохнула моя бѣдная мать и отецъ, и всѣ меня окружающіе, особенно ключница Пелагея, которая постоянно возилась со мной во время припадковъ, сказывала сказки мнѣ съ вечера и продолжала ихъ даже тогда, когда я спалъ; мать моя была такъ обрадована, какъ будто въ другой разъ взяла меня изъ гимназіи.—Вотъ какъ часто ищемъ мы исцѣленія въ далекѣ, когда оно давно находится у насъ въ рукахъ.— Возвращаюсь нѣсколько назадъ.

Не смотря на страшный характеръ моей болѣзни, ни ученье мое, ни деревенскія удовольствія не прекращались во все время ея продолженія; только и тѣмъ и другимъ, когда припадки ожесточались, я занимался умѣреннѣе, и мать слѣдила за мной съ бо́льшимъ вниманіемъ и не от-

пускала отъ себя на долго и далеко. Каждый день поутру, покуда не такъ было жарко, отправлялся я съ Евсеичемъ удить. Самое лучшее уженье находилось у насъ въ саду, почти подъ окнами, потому что пониже Аксакова, въ мордовской деревнѣ: *Кивацкое*, была мельница и огромный прудъ, такъ что подпруда воды доходила почти до сада; тутъ Бугурусланъ могъ назваться верховьемъ Кивацкаго пруда, а всѣмъ охотникамъ извѣстно, что для уженья рыбы это очень выгодно. Впервые познакомился я тогда съ высшимъ наслажденіемъ рыбака, съ уженьемъ крупной рыбы: до тѣхъ поръ я лавливалъ только плотву, окуней и пискарей; конечно, двѣ первыя породы достигаютъ также значительной величины, но мнѣ какъ-то очень крупная не попадалась, а если и попадалась, то я не могъ ее вытащить, потому что удилъ на тонкія лесы и маленькіе крючки. Евсеичъ свилъ мнѣ двѣ лесы, волосъ въ двадцать каждую, навязалъ толстые крючки, привязалъ лесы къ крѣпкимъ удилищамъ и, взявъ еще свою удочку, повелъ меня въ садъ на свое секретное мѣсто, которое онъ называлъ: «золотымъ мѣстечкомъ.» Насадивъ на крючекъ кусокъ умятаго чернаго хлѣба, величиною съ большой русской орѣхъ, онъ закинулъ мою удочку на дно подъ самый кустъ, а свою пустилъ у берега возлѣ травки и камыша. Я сидѣлъ смирно и не смѣлъ смигнуть съ моего наплавка, который тихо похаживалъ взадъ и впередъ, отъ того что тутъ вода завертывала подъ берегъ. Въ непродолжительномъ времени Евсеичъ вдругъ вскочилъ и закричавъ: «вотъ онъ батюшка!» началъ возиться съ большой рыбой, обѣими руками держа удилище. Евсеичъ не имѣлъ понятія объ умѣньѣ удить и потащилъ изо всей силы, какъ говорится, черезъ плечо на выносъ; рыба вѣроятно запуталась за траву или за камышъ, удилище было просто палка, и леса по-

рвалась: такъ мы и не видали, какая это была рыба. Евсеичъ пришелъ въ большой азартъ; я также почти дрожалъ, глядя на него. Евсеичъ клялся и увѣрялъ, что это была такая большая рыбища, какой онъ съ роду не уживалъ; но вѣроятно обыкновенный язь, или головль запутался за траву и оттого показался ему такъ тяжелъ. Развивъ другую мою удочку, дядька мой закинулъ ее поскорѣе на тоже самое мѣсто, гдѣ взяла у него рыба, и сказавъ: «видно я маленько погорячился, теперь стану тащить потише»—сѣлъ на траву дожидаться новой добычи, но напрасно. Теперь пришла моя очередь, и судьба захотѣла меня потѣшить: наплавокъ мой сталъ понемногу привставать и опять ложиться, потомъ всталъ окончательно и исчезъ подъ водою; я подсѣкъ, и огромная рыба начала тяжело ходить, какъ будто упираясь въ водѣ. Евсеичъ поспѣшилъ мнѣ на помощь и схватился за мое удилище; но я, помня его недавнія слова, безпрестанно повторялъ, чтобъ онъ тащилъ потише; наконецъ, благодаря новой крѣпкой лесѣ и не очень гнуткому удилищу (*), выволокли мы на берегъ кое-какъ общими силами самаго крупнаго язя, на котораго Евсеичъ упалъ всѣмъ тѣломъ восклицая: «вотъ онъ соколикъ! теперь не уйдетъ». Я дрожалъ отъ радости, какъ въ лихорадкѣ, что впрочемъ и потомъ случалось со мной, когда я выуживалъ большую рыбу; долго я не могъ успокоиться, безпрестанно бѣгалъ посмотрѣть на язя, который лежалъ въ травѣ на берегу, въ безопасномъ мѣстѣ. Удочку закинули опять, но рыба больше не брала. Черезъ полчаса мы пошли домой, по-

(*) Для успѣшнаго уженья крупной рыбы вообще полезно гнуткое удилище и очень вредно твердое; но какъ здѣсь язь былъ вытащенъ вопреки всѣмъ правиламъ ужелья, прямо черезъ плечо, то твердое удилище, мало сгибаясь, оказалось полезнымъ, ибо лесь, по крѣпости своей, могла выдержать рыбу.

тому что я былъ отпущенъ на короткое время. Это первое удачное начало сдѣлало меня окончательно горячимъ рыбакомъ. Язя надѣли на прутикъ, и я принесъ его къ отцу, который и самъ иногда любилъ удить. Тогда еще не было у насъ обыкновенія взвѣшивать крупную рыбу, но мнѣ кажется, что я и послѣ никогда не выуживалъ язя такой величины и что въ немъ было по крайней мѣрѣ семь фунтовъ.

Отецъ бралъ меня иногда на охоту съ ружьемъ, на которую впрочемъ онъ ѣзжалъ очень рѣдко. Я сильно ей сочувствовалъ, и такія поѣздки были для меня праздниками, хотя участіе мое въ охотѣ ограничивалось тогда исправленіемъ должности легавой собаки, то-есть, я бѣгалъ за убитой птицей и подавалъ ее отцу. Ружья мнѣ и въ руки не давали. Года черезъ три однако, во-время лѣтней ваканціи, о чемъ я разскажу въ своемъ мѣстѣ, первый ружейный выстрѣлъ рѣшилъ мою судьбу: всѣ другія охоты, даже удочка, потеряли въ глазахъ моихъ свою прелесть, и я сдѣлался страстнымъ ружейнымъ охотникомъ на всю жизнь.

Когда болѣзнь моя прошла совсѣмъ, августъ мѣсяцъ былъ уже въ исходѣ; язи и головли давно перестали брать; но я успѣлъ выудить ихъ нѣсколько штукъ замѣчательной величины и, разумѣется, упустилъ вдвое болѣе. За то уженье плотвы и особенно окуней, находилось еще въ сильномъ разгарѣ. Впрочемъ, я тогда очень развлекался ястребами; прошлогодними, еще въ іюлѣ начали травить перепелокъ; молодыхъ гнѣздарей также давно уже выносили и травля шла очень удачно. Старые ястреба были у Никанора Танайченка и у Ивана Мазана, а молодые у Ѳедора и у моего дядьки Евсеича. У меня также былъ свой собственный маленькой ястребъ, чегликъ, выношенный очень хорошо, которымъ я травилъ воробьевъ и раз-

ныхъ птичекъ. Я нерѣдко ѣзжалъ въ полѣ, на длинныхъ дрогахъ, съ кѣмъ-нибудь изъ названныхъ мною охотниковъ, всего чаще съ Евсенчемъ, и очень любилъ смотрѣть, какъ травили жирныхъ осеннихъ перепелокъ и дергуновъ. Такъ прошло лѣто и начало осени, полныя разныхъ деревенскихъ удовольствій, въ число которыхъ также можно поставить поѣздки за ягодами, а потомъ за грибами (*).

Мать моя не любила деревенскихъ прогулокъ. Намъ рѣдко удавалось уговорить ее поѣхать со мной и отцомъ въ поле или лѣсъ. Помню однако, что чудесная полевая клубника, родившаяся тогда въ великомъ изобиліи, выманивала иногда мою мать на залежи ближняго поля, потому что она очень любила эту ягоду и считала ее цѣлебною для своего здоровья. Ѣзжали также изрѣдка на живописные горные родники, пить чай со всей семьей подъ тѣнистыми березами; но брать грибы казалось матери моей нестерпимо-скучнымъ; отецъ же мой и тетка, напротивъ, весьма любили *ѣздить по грибки*, и я раздѣлялъ ихъ любовь. Всего было больнѣе то, что моя мать не любила также нашего милаго Аксакова. Она находила мѣстоположеніе его низменнымъ и сырымъ, что отчасти было справедливо, запахъ отъ пруда и плотины отвратительнымъ, ключевыя воды известковыми и жесткими, и все вмѣстѣ положительно вреднымъ для ея здоровья; много было правды въ этомъ, но много предубѣжденія и преувеличенія. Надобно вспомнить, что мать моя родилась и выросла въ городѣ, и всякая деревня казалась бы ей скучною. Съ огорченіемъ слушали мы съ отцомъ ея частыя, краснорѣчивыя нападенія на Аксаково, и хотя не смѣли защи-

(*) Я не воображалъ тогда, что грибы будутъ однимъ изъ самыхъ постоянныхъ моихъ удовольствій на старости лѣтъ. Въ благодарность за то у меня давно зародилась мысль, и я не отказываюсь еще отъ нее — написать книжку о грибахъ и объ удовольствіи брать ихъ.

щать его, но мысленно не соглашались. Мать моя, живя въ деревнѣ, деревенской жизни не вела. Она занималась дѣтьми, чтеніемъ книгъ и дѣятельною перепискою съ прежними знакомыми, по большой части замѣчательными людьми, которые, бывъ только временными жителями или посѣтителями Уфы, навсегда сохранили къ моей матери чувства почтительной дружбы. Она любила также читать медицинскія книги; «Домашній лечебникъ» Бухана былъ ея авторитетомъ. Къ медицинскимъ книгамъ она получила привычку, находясь нѣсколько лѣтъ при постели своего больнаго отца; она имѣла домашнюю аптеку и лечила сама больныхъ, не только своихъ, но и чужихъ, а потому больныхъ не мало съѣзжалось изъ окружныхъ деревень; отецъ мой въ этомъ добромъ дѣлѣ былъ ея дѣятельнымъ помощникомъ. Домашнимъ хозяйствомъ она почти не занималась.

Наступила осень, одно удовольствіе исчезало въ слѣдъ за другимъ; дни стали коротки и сумрачны; дожди, холодъ загнали всѣхъ въ комнаты; больше сталъ я проводить время съ матерью, больше сталъ учиться, то-есть, писать и читать вслухъ. Впрочемъ, въ долгіе вечера, читалъ отецъ и даже сама мать—читала же она необыкновенно хорошо. Хотя отецъ мой не былъ пріученъ къ чтенію смолоду въ своемъ семействѣ (у дѣдушки Степана Михайлыча и бабушки Арины Васильевны водились только календари, да какія-то печатныя брошюрки «о Гарлемскихъ капляхъ» и «Элексирѣ долгой жизни»), но у него была природная склонность къ чтенію, чему доказательствомъ служитъ огромное собраніе пѣсенъ и разныхъ тогдашнихъ стишковъ, переписанныхъ съ печатнаго его собственною рукою, сохраняющееся у меня и теперь. Моя мать успѣла развить эту склонность, и потому чтенія по вечерамъ производились ежедневно съ общимъ интересомъ. Я съ жи-

вѣйшимъ удовольствіемъ вспоминаю эти вечера, при которыхъ всегда присутствовала и тетушка Евгенья Степановна; литературное удовольствіе подкрѣплялось кедровыми и каленьими русскими орѣхами, которые были очень вредны для моей матери, но которые она очень любила: являлся на сцену мѣдный ларецъ съ лакомствомъ и приносились щипчики и пестики для раздавливанья и для разбиванья орѣховъ (*). Какъ скоро чтеніе возбуждало мое любопытство, то это надбавочное удовольствіе становилось мнѣ очень непріятно, потому что развлекало и мѣшало слушать. — Когда моя мать чувствовала себя лучше обыкновеннаго и находилась въ пріятномъ расположеніи духа, то бывала увлекательно весела, много смѣялась и другихъ заставляла смѣяться. Особенно романъ «Франчичико Петрочіо» и «Приключенія Ильи Бенделя», какъ глупымъ содержаніемъ, такъ и нелѣпымъ и безграмотнымъ переводомъ на русской языкъ, возбуждали сильный смѣхъ, который, будучи подстрекаемъ живыми и остроумными выходками моей матери, до того овладѣвалъ слушателями, что всѣ буквально валялись отъ хохота — и чтеніе надолго прерывалось; но попадались иногда книги, возбуждавшія живое сочувствіе, любопытство и даже слезы въ своихъ слушателяхъ.

Наступленіе зимы, съ ея первыми порошами и легкими морозами, на нѣкоторое время опять дало мнѣ возможность предаваться моимъ охотамъ. По порошамъ сходили зайцевъ, русаковъ и бѣляковъ. Отецъ бралъ меня съ собою,

(*) Судьба этого мѣднаго ларца достойна вниманія. Мать привезла его въ приданое въ 1788-мъ году, съ ленточками, позументиками, кружевцами; въ девяностыхъ годахъ и даже въ 1801-мъ году онъ наполнялся каленьими орѣхами; въ 1807-мъ году въ немъ лежало болѣе ста тысячъ рублей деньгами и векселями, и на большую сумму брилліянтовъ и жемчугомъ, а теперь онъ стоитъ подъ письменнымъ рабочимъ столомъ моего сына, набитый старинными грамотами.

и мы въ сопровожденіи толпы всякаго народа, обметывали тенетами лежащаго на логовѣ зайца, почти со всѣхъ сторонъ; съ противоположнаго края, съ крикомъ и воплями бросалась вся толпа, и испуганный заяцъ вскакивалъ и попадалъ въ разставленныя тенета. Я также бѣгалъ, шумѣлъ, кричалъ и горячился, разумѣется больше всѣхъ. Я очень любилъ эту забаву и любилъ толковать о ней съ моимъ отцомъ. Когда мать моя бывала чѣмъ-нибудь занята, и я мѣшалъ ей своими вопросами и докуками, или когда она бывала нездорова, то обыкновенно посылала меня къ отцу, прибавляя: «Поговори съ нимъ объ зайчикахъ» — и у насъ съ отцомъ начинались безконечные разговоры. — Но кромѣ охоты за зайцами, у меня была большая охота ставить поставушки на маленькихъ звѣрковъ: хорьковъ, горностаевъ и ласокъ. Снятыя шкурки пойманныхъ звѣрковъ, гладкія и красивыя, висѣли, какъ трофеи, у моей кровати. Но скоро глубокіе снѣга начали засыпать сугробами землю, забушевали бураны, и всѣ мои охоты рѣшительно прекратились. Страшное и печальное зрѣлище зимній буранъ, не только въ степи, но и въ тепломъ жильѣ! Занесетъ окна, надуетъ снѣгу даже въ сѣни, замететъ всѣ дорожки отъ дома въ людскія избы, такъ что надобно отрывать ихъ лопатами — въ десяти саженяхъ не видать строенія, въ десяти шагахъ не видать человѣка! Наконецъ навалитъ такія снѣжныя громады, что кажется никогда онѣ не растаютъ—и унынiе невольно овладѣваетъ душой! Въ столицахъ не могутъ имѣть понятія объ этомъ, но деревенскіе жители меня понимаютъ и сочувствуютъ мнѣ. Я окончательно заключился въ стѣнахъ дома и никакъ не могъ упросить мою мать, чтобъ меня отпускали съ отцомъ, который ѣзжалъ иногда на *язы* (около Москвы называютъ ихъ *завищами*), то-есть, на такія мѣста рѣки, которыя съ одной стороны загораживались плетнемъ или кольями,

а въ серединѣ которыхъ вставлялись плетеныя морды (нерота, верши, по московски). Около Святокъ и даже ранѣе, начинали попадать въ нихъ налимы, иногда очень крупные. Привезутъ бывало ихъ, окоченѣвшихъ отъ сильнаго мороза, вывалятъ въ большое корыто съ водой, и мраморные, темнозеленые, пузатые налимы оттаютъ понемногу, начнутъ плескаться, пошевеливая мягкими своими хвостами, опушенными мягкими перьями. Долго не отходилъ я отъ корыта, любуясь ихъ движеніями и отскакивая всякій разъ, когда летѣли водяныя брызги отъ ихъ плесъ или хвостовъ. У отца моего много сидѣло налимовъ въ большихъ плетеныхъ сажелкахъ—и вкусная налимья уха и еще вкуснѣйшіе пироги съ налимьими печенками, почти всякой день бывали у насъ на столѣ, покуда всѣмъ такъ не наскучивали, что никто не хотѣлъ ихъ ѣсть. Тогда начинали налимовъ приготовлять изрѣдка и окончательно уже истребляли въ продолженіе Великаго поста.

По той же самой причинѣ, что моя мать была горожанка, какъ я уже сказалъ, и также потому, что она провела въ угнѣтеніи и печали свое дѣтство и раннюю молодость, и потомъ получила, такъ сказать, нѣкоторое внѣшнее прикосновеніе цивилизаціи отъ чтенія книгъ и отъ знакомства съ *тогдашними* умными и образованными людьми, прикосновеніе всегда возбуждающее какую-то гордость и неуваженіе къ простонародному быту,—по всѣмъ этимъ причинамъ вмѣстѣ, моя мать не понимала и не любила ни хороводовъ, ни свадебныхъ и подблюдныхъ пѣсенъ, ни святочныхъ игрищъ, даже не знала ихъ хорошенько. Съ большимъ трудомъ уступала она иногда просьбамъ тетки: позволить мнѣ посмотрѣть на нихъ; тетка же, какъ деревенская дѣвушка, все это очень любила; она устроивала иногда святочныя игры и пѣсни у себя въ комнатѣ, и сладкіе чарующіе звуки народныхъ род-

ныхъ напѣвовъ, долетая до меня изъ третьей комнаты, пріятно волновали мое сердце и погружали меня въ какое-то непонятное раздумье. Мнѣ было очень досадно, что не позволяли не только самому участвовать, но даже присутствовать на этихъ играхъ и, вслѣдствіе такого строгаго запрещенія, меня соблазнили наконецъ обманывать свою умную и такъ горячо любимую мать. Разумѣется, я сначала просился и приставалъ съ вопросами къ моей матери: для чего она не пускаетъ меня на игрища? Мать отвѣчала мнѣ рѣшительно и строго: «что тамъ бываетъ много глупаго, гадкаго и неприличнаго, чего мнѣ ни слышать, ни видѣть не должно, потому что я еще дитя, не умѣющее различать хорошаго отъ дурнаго.» А какъ я ничего дурнаго не видѣлъ, или видя не понималъ въ чемъ оно состоитъ, то повиновался не охотно, безъ внутренняго убѣжденія, даже съ неудовольствіемъ. Тетка же моя, съ своими сѣнными дѣвушками, говорили совсѣмъ другое; онѣ утверждали, «что у матери моей такой уже нравъ, что она всѣмъ недовольна и что все деревенское ей не нравится, что отъ того она нездорова, что ей самой не весело, такъ она хочетъ, чтобъ и другіе не веселились.» Такія слова вкрадчиво западали въ мой дѣтскій умъ, и слѣдствіемъ того было, что одинъ разъ тетка уговорила меня посмотрѣть игрища тихонько, и вотъ какимъ образомъ это сдѣлалось: во все время Святокъ мать чувствовала себя или не совсѣмъ здоровою, или не совсѣмъ въ хорошемъ расположеніи духа; общаго чтенія не было, но отецъ читалъ моей матери какую-нибудь скучную или извѣстную ей книгу, только для того, чтобъ усыпить ее, и она послѣ чая, всегда подаваемаго въ шесть часовъ вечера, спала часа по два и болѣе. Я въ это время уходилъ къ теткѣ. Въ одинъ изъ такихъ удобныхъ часовъ, она угово-

рила меня посмотрѣть игрища, и завернувъ съ головой въ шубу и отдавъ на руки здоровенной своей дѣвкѣ Матренѣ, отправилась со мной въ столярную избу, гдѣ ожидала насъ, переряженная въ медвѣдей, индѣекъ, журавлей, стариковъ и старухъ, вся дѣвичья и вся молодая дворня. Не смотря на сальные вонючіе огарки, даже дымную лучину, плохо освѣщавшую просторную избу, не смотря на удушливый мефитическій воздухъ, сколько было истинной веселости на этихъ деревенскихъ игрищахъ! Чудные голоса святочныхъ пѣсенъ, уцѣлѣвшіе звуки глубокой древности, отголоски невѣдомаго міра, еще хранили въ себѣ живую обаятельную силу и властвовали надъ сердцами неизмѣримо далекаго потомства! Какимъ-то хмѣлемъ веселья, опьлнѣніемъ радости проникнуты были всѣ. Взрывы звонкаго, дружнаго смѣха часто покрывали и пѣсни и рѣчи. Это были не актеры и актрисы, представляющіе кого-то, для удовольствія другихъ, — себя выражали одушевленныя пѣсенницы и плясуньи, себя тѣшили онѣ отъ избытка сердца, и каждый зритель былъ увлеченное дѣйствующее лице. Все пѣло, плясало, говорило, хохотало—и въ самомъ разгарѣ, въ чаду шумнаго общаго веселья, тѣ же сильныя руки завертывали меня въ шубу и стремительно уносили изъ волшебнаго сказочнаго міра.... Долго я не засыпалъ въ эти ночи и долго странные образы плясали и пѣли вокругъ меня и не разставались со мною даже въ сновидѣніяхъ (*).

(*) Я помню одну драматическую святочную игру, съ особенною пѣснью и пляскою, которая, какъ я слышу теперь, уже вышла изъ памяти народной въ той губерніи, гдѣ я видалъ ее: по серединѣ избы, на скамьѣ или чурбанѣ, сидитъ старикъ (разумѣется кто-нибудь переряженный), молодая его жена въ кокошникѣ и фатѣ, ходя вокругъ и приплясывая, поетъ жалобу на дряхлость мужа, хоръ ей подтягиваетъ. Пропѣвъ куплетъ, кажется изъ восьми стиховъ, изъ которыхъ я помню два начальные во всѣхъ куплетахъ:

Въ первый разъ я былъ увлеченъ въ этотъ обманъ внезапно, почти насильно, и по возвращеніи домой долго не смѣлъ смотрѣть прямо въ глаза моей матери; но очаровательное зрѣлище такъ меня плѣнило, что въ другой разъ я охотно согласился, а потомъ и самъ сталъ приставать къ моей теткѣ и проситься на игрища.

Наконецъ переломилась жестокая зима и унялись трескучіе морозы. У насъ не было тогда термометровъ, и я не могу сказать до сколька градусовъ достигала стужа, но помню, что птица мерзла и что мнѣ приносили воробьевъ и галокъ, которые на лету падали мертвыми и мгновенно коченѣли: нѣкоторымъ теплота возвращала жизнь. Вообще я долженъ замѣтить, что зимы во время моего дѣтства и ранней молодости, были гораздо холоднѣе нынѣшнихъ, и это не стариковскій предразсудокъ; въ бытность, мою въ К., до начала 1807-го года, два раза замерзала ртуть, и мы ковали ее какъ разогрѣтое желѣзо. Теперь уже въ К. это сдѣлалось преданіемъ старины.

Начало пригрѣвать солнышко, начала лоснится дорога, пришла Масляница и началось катанье съ горъ. Въ общественныхъ каталіяхъ, къ-сожалѣнію моему, мать также

Охъ ты горе мое, гореванье
Ты тяжелое мое воздыханье,

жена подходитъ къ мужу и посылаетъ его пахать яровую пашню, Старикъ кашляетъ, стонетъ и дребезжащимъ голосомъ отвѣчаетъ: «моченьки нѣтъ.» Зрители хохочутъ. Молодая женщина опять поетъ вмѣстѣ съ хоромъ новый куплетъ, ходя и приплясывая кругомъ старика. Такимъ образомъ перебираются всѣ полевыя работы, и на всѣ приглашенія: сѣять, пахать, косить, жать и проч. старикъ отвѣчаетъ словами: «моченьки нѣтъ», разнообразя отказъ прибаутками и оханьемъ. Наконецъ жена поетъ послѣдній куплетъ, въ которомъ говорится, что всѣ добрые люди убрались съ полей и принялись варить пиво; потомъ подходитъ къ мужу и зоветъ его къ сосѣду: «бражки испить.» Старикъ проворно вскакиваетъ, бодро отвѣчаетъ: «пойдемъ, матушка, пойдемъ» и бѣжитъ стариковской рысью, утаскивая за руку молодую жену. Громкой веселый хохотъ зрителей заключаетъ эту игру.

не позволяла мнѣ участвовать, и только катаясь съ сестрицей, а иногда и съ маленькимъ братцомъ, проѣзжая мимо, съ завистію посматривалъ я на толпу деревенскихъ мальчиковъ и дѣвочекъ, которые, раскраснѣвшись отъ движенія и холода, смѣло летѣли съ высокой горы, прямо отъ гумна, на маленькихъ салазкахъ, конькахъ и ледянкахъ: ледянки были ничто иное, какъ старыя рѣшета, или круглыя лубочныя лукошки, подмороженныя снизу такъ же, какъ и коньки. Шумный говоръ и смѣхъ раздавался въ бодрой, веселой толпѣ, часто одѣтой въ фантастическіе костюмы, особенно, когда летѣли вверхъ ногами наѣздники съ высокихъ коньковъ, или, быстро вертясь, опрокидывалась ледянка съ какой-нибудь дѣвченкой, которая начинала визжать за долго до крушенія своего экипажа. Какъ мнѣ хотѣлось туда — въ этотъ шумъ, говоръ и смѣхъ.... и какъ послѣ этого зрѣлища, казалось мнѣ скучнымъ уединенное катанье съ ледяной горки, устроенной въ саду передъ окнами гостиной, и только одно меня утѣшало, что моя милая сестрица каталась вмѣстѣ со мной.

Съ наступленіемъ Великаго поста оканчивались всѣ зимнія, очень не многія, удовольствія. Нельзя сказать, чтобъ Великій постъ проходилъ у насъ въ постѣ и молитвѣ. Мать моя постовъ не держала по нездоровью, я конечно не постничалъ, отецъ мой, хотя не ѣлъ скоромнаго въ Успенскій и Великій постъ, но при изобильномъ запасѣ уральской красной рыбы, замороженныхъ елецкихъ стерлядей, свѣжей икры и живыхъ налимовъ — его постный столъ былъ гораздо лакомѣе скоромнаго. Церкви у насъ еще не было и ближайшая находилась въ девяти верстахъ въ селѣ: «Мордовской Бугурусланъ.» Священникъ былъ какъ-то не расположенъ къ намъ, и мы ѣзжали туда только по самымъ большимъ праздникамъ. Вообще,

должно сказать, что у насъ домъ былъ, не то что не богомольный, но мало привычный къ слушанью церковной службы, что̀ почти всегда бываетъ, при отдаленности церкви. И такъ Великій постъ провелъ я въ обыкновенныхъ, нѣсколько усиленныхъ, учебныхъ занятіяхъ. Ученица моя уже не печалила, а радовала меня своими успѣхами. Я игралъ съ ней въ куклы, строилъ городки изъ чурочекъ, а иногда читывалъ и растолковывалъ ей дѣтскія сказочки.

Мать моя постоянно была чѣмъ-то озабочена и даже иногда разстроена; она нѣсколько менѣе занималась мною, и я, болѣе преданный спокойному размышленію, потрясенный въ моей дѣтской безпечности жизнью въ гимназіи, не забывшій новыхъ впечатлѣній и по возвращеніи къ деревенской жизни,— я уже не находилъ въ себѣ прежней беззаботности, прежняго увлеченія въ своихъ охотахъ, и съ большимъ вниманіемъ сталъ вглядываться во все, меня окружающее, сталъ понимать кое-что, до тѣхъ поръ не замѣчаемое мною.... и не такъ свѣтлы и радостны показались мнѣ нѣкоторые предметы. Чувство, неиспытанной мною до тѣхъ поръ, особеннаго рода грусти, стало примѣшиваться ко всѣмъ моимъ любимымъ занятіямъ, ко всѣмъ забавамъ.... Я не буду распространяться объ этомъ печальномъ обстоятельствѣ, но я долженъ упомянуть о немъ, потому что иначе было бы нельзя понять, отъ чего, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, жизнь въ Аксаковѣ уже не казалась мнѣ прежнимъ свѣтлымъ раемъ, а вторичное поступленіе въ гимназію, особенно ученикомъ своекоштнымъ — не представлялось страшнымъ событіемъ.

Зима стояла долгая и упорная. Весна медленно вступала въ права свои, и только въ исходѣ апрѣля, теплота въ воздухѣ, дождь и вѣтеръ дружно напали на страшныя громады снѣговъ и въ одну недѣлю разрушили ихъ. Во

время Пасхи стояла совершенная распутица, и мы не ѣздили даже къ заутрени великаго праздника. Всю Свѣтлую недѣлю провелъ я не весело: мать была нездорова и печальна, отецъ молчаливъ; онъ постоянно сидѣлъ за бумагами по тяжебному дѣлу съ Богдановыми, о какомъ-то наслѣдствѣ; это дѣло онъ выигралъ впослѣдствіи. Отецъ всякой день ходилъ на мельницу наблюдать прибыль воды. Однажды, воротясь неожиданно скоро домой, онъ сказалъ мнѣ: «просись, Сережа, у матери, сейчасъ будемъ спускать воду.» Я побѣжалъ проситься и въ этотъ разъ счастливѣе прежнихъ разовъ; мать отпустила меня, принявъ нѣкоторыя предосторожности, чтобы я не промочилъ ногъ и не простудился. На длинныхъ крестьянскихъ дрогахъ доѣхали мы до мельницы; на плотинѣ дожидались насъ крестьяне съ разными орудіями. Русской народъ любитъ смотрѣть на движеніе воды, и все населеніе Аксакова сбѣжалось поглядѣть, какъ будутъ спускать прудъ. Заводскихъ вешняковъ съ деревянными запорами у насъ еще не заводилось, и отверстіе въ плотинѣ, то есть вешнякъ, для спуска полой воды, ежегодно завалливали на глухо. Прудъ надулся и весь посинѣлъ, ледъ поднялся, истрескался и отсталъ отъ береговъ, материкъ давно прошелъ и вода едва помѣщалась въ каузѣ. Топорами, пѣшнями и желѣзными лопатами разрубили мерзлую плотину по обоимъ краямъ прошлогодняго вешняка, и едва своротили верхній слой въ аршинъ глубиною, какъ вода хлынула и, не нуждаясь болѣе въ человѣческой помощи, такъ успѣшно принялась за дѣло, что въ пол-часа разчистила себѣ дорогу до самаго материка земли. Яростно устремились мутныя волны и въ одну минуту образовалась сильная рѣка, которая не умѣстилась въ новенькой канавкѣ и затопила окружныя мѣста. Радостными восклицаніями привѣтствовалъ народъ вырвавшуюся на

волю изъ зимняго плѣна, любимую имъ стихію; особенно кричали и взвизгивали женщины—и все это, мѣшаясь съ шумомъ круто падающей воды, съ трескомъ осѣдающаго и ломающагося льда, представляло полную жизни картину.... и еслибъ не прислали изъ дому сказать, что давно пришла пора обѣдать, то кажется мы съ отцемъ простояли бы тутъ до вечера.

На другой день поутру, мы опять поѣхали на плотину и нашли уже тамъ другое, такъ же шумное и веселое зрѣлище. Первые бурные порывы воды нѣсколько усмирились, прудъ значительно сбѣжалъ, мелкія глыбы льда разбились о сваи и пронеслись, а большія сѣли на дно, по обмелѣвшимъ мѣстамъ. По сухому почти мѣсту, гдѣ текла теперь цѣлая рѣка изъ-подъ вешняка, были заранѣе вколочены толстые невысокіе колья; къ этимъ кольямъ, входя по поясъ въ воду, привязывали или надѣвали на нихъ петлями морды и хвостуши; рыба, которая скатывалась внизъ, увлекаемая стремленіемъ воды, а еще болѣе рыба, поднимавшаяся вверхъ по рѣкѣ до самаго вешняка, сбиваемая назадъ силою падающихъ волнъ,—попадала въ морды и хвостуши. То и дѣло, мокрые крестьяне, дрожа отъ холода, но въ тоже время перекидываясь шутками и громкими восклицаніями, вытаскивали на берегъ свою добычу, а бабы, старики, старухи, мальчишки и дѣвчонки таскали ее домой въ лукошкахъ и рѣшетахъ, а иногда и просто въ подолахъ своихъ рубашекъ. Выбравъ нѣсколько крупныхъ рыбъ, мы отправились домой. Мать моя была не довольна, что мы такъ замѣшкались, и не скоро получилъ я позволеніе побывать на мельницѣ.

Въ короткое время исчезли всѣ признаки зимы, одѣлись зеленью кусты и деревья, выросла молодая трава, и весна явилась во всей своей красотѣ. Попрежнему населился нашъ садъ всякими пѣвчими птичками, зорьками и малиновками, особенно любившими старые смородинные и бар-

барисовые кусты, опять запѣли соловьи, и опять стали передразнивать ихъ варакушки. Проведя прошлогоднюю весну въ тюремномъ заключеніи, въ тѣсной больничной комнатѣ, казалось бы, я долженъ былъ съ особеннымъ чувствомъ наслажденія встрѣтить весну въ деревнѣ; но у меня постоянно ныло сердце, и хотя я не понималъ хорошенько отъ чего это происходило, но тѣмъ не менѣе всѣ мои удовольствія, которымъ, повидимому, я попрежнему предавался, были отравлены грустнымъ чувствомъ.

Еще зимой, отецъ мой задумалъ сдѣлать на плотинѣ, такъ называемый, заводскій вешнякъ съ запорами и построить хорошую мельницу. Онъ нанялъ для этого какого-то *верховаго* мельника, Краснова, великаго краснобая и плута, что̀ все оказалось въ послѣдствіи. Весь Великій постъ заготовляли наши крестьяне лѣсной матеріалъ: крупныя и мелкія бревна, слеги, переводины, лежни и сваи, которыхъ почему-то понадобилось великое множество, и сейчасъ по слитіи полой воды принялись разрывать плотину и рубить новый вешнякъ на другомъ мѣстѣ; въ то же время наемные плотники начали бить сваи и потомъ рубить огромный мельничный амбаръ, также на другомъ мѣстѣ, въ которомъ должны были помѣщаться шесть мукомольныхъ поставовъ: толчея находилась въ особомъ пристроѣ. Работы продолжались почти во все лѣто. Отецъ мой слѣпо вѣрился Краснову, и хотя старый мельникъ Болтуненокъ и нѣкоторые крестьяне, разумѣющіе нѣсколько мельничное устройство, изподтишка ухмылялись и покачивали головами, но на вопросы моего отца: «каковъ Красновъ-то, какъ разумѣетъ свое дѣло? нарисовалъ весь планъ на бумагѣ и по одному глазомѣру бьетъ сваи и всѣ приходятся по своимъ мѣстамъ?» всегда отвѣчали съ простодушнымъ лукавствомъ русскихъ людей: «боекъ, батюшка, боекъ. Что и говорить, мастеръ своего

дѣла! Все раскинетъ въ умѣ и все приходится, какъ быть надо. Только не знай какъ-то будетъ мельница молоть: вода-то пойдетъ по канавѣ чай тихо, не то что прямо изъ материка, да какъ бы зимой промерзать не стала?» Но Красновъ улыбался на мужичьи замѣчанья и съ такой самоувѣренностью опровергалъ ихъ, что отцу моему и въ голову не входило ни малѣйшаго сомнѣнія въ успѣхѣ. Я также слушалъ съ благоговѣніемъ краснорѣчиваго Краснова. Между тѣмъ постройка требовала, чтобы прудъ былъ спущенъ, и въ пруду открылось такое уженье, какого не видывали до тѣхъ поръ, да и послѣ не видали. Вся прудовая рыба скатилась въ трубу, то есть, въ материкъ рѣки. Рыбы было столько, какъ въ кострюлѣ съ доброй ухой. Началось баснословное уженье. Я съ Евсеичемъ не сходилъ съ пруда и нигдѣ уже больше не удилъ; даже отецъ мой, удившій очень рѣдко за недосугомъ, могъ теперь удить съ утра до вечера, потому что бо́льшую часть дня долженъ былъ проводить на мельницѣ, наблюдая надъ разными работами: онъ имѣлъ полную возможность удить, не выпуская изъ глазъ всѣхъ построекъ и осматривая ихъ отъ времени до времени. Головли, язи, лини, окуни, щуки и крупная плотва (фунта по три и болѣе) брали безпрестанно и во всякое время дня. Величина рыбы зависѣла отъ величины насадки: кто насаживалъ огромные куски, у того брала огромная рыба. Я помню, что мой отецъ, который особенно любилъ удить окуней и щукъ, навязывалъ по два крючка на одну лесу, насаживалъ крючки мелкой рыбешкой и таскалъ по два окуня вдругъ, и даже одинъ разъ окуня и щуку. Впрочемъ щукъ ловили бо́льшею частью на жерлицы, насаживая порядочными окунями и плотицами, и нерѣдко попадались полупудовыя щуки. Само собою разумѣется, что не смотря на толстыя лесы и крючки, безъ умѣнья удить и безъ по-

мощи сачка, самая крупная рыба часто срывалась, ломала удилища и крючки и рвала лесы. Евсеичъ мой, который и въ старости часто смѣшилъ меня своей горячностью на уженьѣ, болѣе всѣхъ подвергался несчастнымъ потерямъ, а по его милости и я часто терялъ крупную рыбу, потому что безъ его помощи не могъ ее вытащить, а помощь его почти всегда была вредна. Самый сильный ловъ продолжался съ весны до половины іюля, а потомъ крупная рыба перестала брать: я разумѣю язей, головлей и линей; остальная же вся брала превосходно, но вѣроятно и они бы брали, если бъ тогда была извѣстна насадка цѣлыхъ линючихъ раковъ.

Въ теченіе всего этого года, моя мать постоянно переписывалась каждый мѣсяцъ съ Васильемъ Петровичемъ Упадышевскимъ. Въ этотъ годъ много послѣдовало перемѣнъ въ К. гимназіи: директоръ Пекенъ и главный надзиратель К—въ вышли въ отставку; должность директора исправлялъ старшій учитель Русской исторіи, Илья Ѳедорычъ Яковкинъ, а должность главнаго надзирателя — Упадышевскій. Переговоря съ новымъ директоромъ и инспекторомъ, Василій Петровичъ увѣдомилъ, что я могу теперь, если моимъ родителямъ угодно, не вступать въ казенные гимназисты, а поступить своекоштнымъ и жить у кого-нибудь изъ учителей; что есть двое отличныхъ молодыхъ людей: Иванъ Ипатычъ З. и Григорій Иванычъ К., оба изъ Московскаго университета, которые живутъ вмѣстѣ, нанимаютъ большой домъ, берутъ къ себѣ пансіонеровъ, содержатъ ихъ отлично хорошо и плату полагаютъ умѣренную. Отецъ и мать очень обрадовались такимъ извѣстіямъ; особенно тому, что провалился К—въ, и хотя платить за меня по триста рублей

въ годъ и издерживать рублей по двѣсти на платье, книги и дядьку, было для нихъ очень тяжело, но они рѣшились для моего воспитанія войти въ долги, которыхъ и безъ того имѣли двѣ тысячи рублей асс. (тогда эта сумма казалась долгами!), — и только въ ожиданіи будущихъ благъ отъ Надежды Ивановны Куроѣдовой, отважились на новый заемъ. Курсъ ученья начинался въ гимназіи съ 15-го, а пріемъ съ 1-го августа. — И такъ было положено въ исходѣ іюля отправиться въ К. Такое рѣшеніе принялъ я почти спокойно, потому что внутреннее состояніе моего духа становилось тяжеле и больнѣе. Но когда сборы были кончены, назначенъ день отъѣзда — мнѣ стало такъ жаль Аксакова, что вдругъ все въ немъ получило въ глазахъ моихъ прежнюю цѣну и прелесть, даже можетъ быть бо́льшую. Мнѣ казалось, что я никогда его не увижу, и потому я прощался съ каждымъ строеніемъ, съ каждымъ мѣстомъ, съ каждымъ деревомъ и кустикомъ, и прощался со слезами. Я раздарилъ все мое богатство: голубей отдалъ я повару Степану и его сыну, кошку подарилъ Сергѣвнѣ, женѣ нашего слѣпаго повѣреннаго Пантелея Григорьича, необыкновеннаго дѣльца и знатока въ законахъ; мои удочки и поставушки роздалъ дворовымъ мальчикамъ, а книжки, сухіе цвѣты, картинки и проч. отдалъ моей сестрицѣ, съ которой въ этотъ годъ мы сдѣлались такими друзьями, какими только могутъ быть девятилѣтняя сестра съ одиннадцатилѣтнимъ братомъ. Разлука съ ней была для меня очень прискорбна, и я упросилъ мать взять мою сестрицу съ собой. Мать сначала противилась моимъ просьбамъ, но наконецъ уступила.

Должно упомянуть, что за недѣлю до нашего отъѣзда была пущена въ ходъ новая мельница. Увы, оправдались сомнѣнія Болтуненка и другихъ: вода точно шла тише по

обводному каналу и не поднимала шести поставовъ; даже на два, молола несравненно тише прежняго. Отецъ мой, разочарованный въ искусствѣ Краснова, прогналъ его и поручилъ, хоть кое-какъ поправить дѣло старому мельнику.

Наконецъ, 26-го іюля, таже просторная карета, запряженная тѣмъ же шестерикомъ, съ тѣмъ же кучеромъ и форрейторомъ — стояла у крыльца; такая же толпа дворовыхъ и крестьянъ собралась провожать господъ; отецъ съ матерью, я съ сестрой и Параша помѣстились въ экипажѣ, Евсеичъ сѣлъ на козлы, Ѳедоръ на запятки, и карета тихо тронулась отъ крыльца, на которомъ стояла тетушка Евгенья Степановна, нянька съ моимъ братомъ и кормилица на рукахъ съ меньшой сестрой моей. Толпа крестьянъ и дворовыхъ провожала насъ до околицы, осыпая прощаньями, благословеньями и добрыми желаньями. Дорога шла до Крутца вдоль пруда, по которому уже плавали черныя лысухи, и надъ которымъ уже вилась стая бѣлыхъ и пестрыхъ мартышекъ, или чаекъ. Какъ я завидывалъ каждому деревенскому мальчику, которому никуда не надо было ѣхать, ни съ кѣмъ и ни съ чѣмъ не разлучаться, который оставался дома и могъ теперь съ своей удочкой сѣсть гдѣ-нибудь на плотинѣ, и подъ густой тѣнью ольхи удить беззаботно окуней и плотву! Онъ оставался полнымъ спокойнымъ хозяиномъ широкаго пруда, на этотъ годъ не заросшаго камышами и травами, потому что былъ съ весны долго спущенъ.—Фыркали и горячились застоявшіеся кони; но сильныя привычныя руки кучера осаживали ихъ и долго заставляли идти шагомъ. Въ каретѣ всѣ казались печальны и молчали. Я высунулся изъ окна и глядѣлъ на милое Аксаково до тѣхъ поръ, пока оно не скрылось изъ глазъ, и тихія слезы катились по моимъ щекамъ.

ГИМНАЗІЯ.

ПЕРІОДЪ ВТОРОИ.

ГИМНАЗІЯ.

ПЕРІОДЪ ВТОРОЙ.

Пріѣхавъ въ К. (1801 года), мы не остановились уже у капитанши Аристовой, а наняли себѣ квартиру получше; не помню на какой улицѣ, но помню, что мы занимали цѣлый отдѣльный домикъ, принадлежавшій кажется г. Чертову. Василій Петровичъ Упадышевскій незамедлилъ къ намъ явиться. Всѣ его встрѣтили, какъ близкаго роднаго, благодѣтеля и друга. Онъ разсказалъ намъ, что Яковкинъ до сихъ поръ только исправляетъ должность директора гимназіи, и что ходятъ по городу слухи, будто директоромъ будетъ богатый тамошній помѣщикъ Л., и что теперь самое удобное время помѣстить меня въ гимназію своекоштнымъ ученикомъ, потому что Яковкинъ и весь совѣтъ на это согласенъ, и что, можетъ быть, будущій директоръ посмотритъ на это дѣло иначе и заупрямится. Упадышевскій очень хвалилъ двухъ старшихъ учителей, поступившихъ уже давно въ гимназію изъ Московскаго университета: Ивана Ипатыча З., преподававшаго физику, и Григорія Иваныча К., преподававшаго чистую математику. Онъ превозносилъ ихъ умъ, ученость и скромность поведенія. Они были дружны между собою,

жили вмѣстѣ въ прекрасномъ каменномъ домѣ и держали у себя семерыхъ воспитанниковъ, своекоштныхъ гимназистовъ: Рычкова, двухъ Скуридиныхъ, А—ва и троихъ Манасеиныхъ; содержали и кормили ихъ очень хорошо и прилежно наблюдали за ихъ ученіемъ въ классахъ. Они не принимали болѣе воспитанниковъ; но Упадышевскій разсказалъ имъ мою исторію и столько наговорилъ добраго обо мнѣ и моемъ семействѣ, что молодые люди, убѣжденные его просьбами, согласились сдѣлать исключеніе для моей матери и принять меня въ число своихъ воспитанниковъ. Отецъ поѣхалъ со мной къ Яковкину, и получивъ его согласіе опредѣлить меня въ своекоштные гимназисты, отправился, также вмѣстѣ со мной, къ Ивану Ипатычу З. и Григорію Иванычу К. Вездѣ приняли насъ очень благосклонно; но Григорій Иванычъ объявилъ, что я могу поступить собственно къ его товарищу З., потому что они воспитанниковъ раздѣлили; что трое старшихъ находятся непосредственно подъ его наблюденіемъ, что его воспитанники, черезъ годъ кончивъ курсъ гимназическаго ученья, должны оставить гимназію, для поступленія въ службу, и что онъ, Григорій Иванычъ, тогда будетъ жить особо и воспитанниковъ имѣть не хочетъ. Иванъ Ипатычъ съ удовольствіемъ согласился меня принять. Для моего отца было все равно, кто бы ни взялъ меня; онъ только убѣдительно просилъ обоихъ молодыхъ людей познакомиться съ моей матерью. На другой день они пріѣхали къ намъ. Съ перваго взгляда Григорій Иванычъ чрезвычайно понравился моей матери, и она очень огорчилась тѣмъ, что я буду жить не у него. Отцу же моему и мнѣ гораздо болѣе нравился Иванъ Ипатычъ, который показался намъ привѣтливѣе, добрѣе и словоохотнѣе своего серьёзнаго товарища. На всѣ ласковыя убѣжденія моей матери, что разлучаться друзьямъ не на-

добно, а лучше жить вмѣстѣ и помогать другъ другу въ исполненіи такихъ святыхъ обязанностей,—Григорій Иванычъ очень твердо отвѣчалъ, что считаетъ эту обязанность слишкомъ важною и тяжелою, что отвѣтственность за воспитаніе молодыхъ людей, если не передъ родителями ихъ, то передъ самимъ собою, ему не подъ силу и мѣшаетъ заниматься наукой, въ которой онъ самъ еще ученикъ. Отвѣтъ былъ высказанъ такъ рѣшительно, что возражать было нечего, да и не ловко. Молодые люди уѣхали, и моя мать, по живости своего характера, очень огорчилась. Будучи всегда слишкомъ страстною въ своихъ увлеченіяхъ, она превозносила до небесъ достоинства Григорія Иваныча и находила много недостатковъ въ его товарищѣ. Послѣдствія доказали, что горячее увлеченіе моей матери не было ошибочно. Иванъ Ипатычъ былъ очень хорошій человѣкъ, въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова; но Григорій Иванычъ принадлежалъ къ небольшому числу тѣхъ людей, нравственная высота которыхъ встрѣчается очень рѣдко, и которыхъ вся жизнь—есть строгое проявленіе этой высоты.... Я же радовался отъ всей души, что попаду къ доброму Ивану Ипатычу и стану жить, не съ большими воспитанниками, которые помѣщались особо, а съ своими ровесниками, такими же веселыми и добрыми мальчиками, какъ я. Всѣ дѣла наши, благодаря участію Упадышевскаго, устроились безъ всякаго затрудненія и черезъ мѣсяцъ, отецъ, мать и сестрица уѣхали въ Аксаково; но въ продолженіе этого мѣсяца, Григорій Иванычъ, умѣвшій оцѣнить мою мать, часто бывалъ у насъ, хотя считался большимъ домосѣдомъ, — и прочная, на взаимномъ уваженіи основанная, дружба, доказанная впослѣдствіи многими важными опытами, образовалась между ними.

Вторичная разлука наша съ матерью далеко не сопро-

вождалась такою мучительною горестью, какъ первая. Особенно въ себѣ я замѣтилъ эту разницу и. не смотря на мой дѣтскій возрастъ, она поразила меня и заставила грустно задуматься. Но скоро новый образъ жизни поглотилъ все мое вниманіе. Меня помѣстили въ одной комнатѣ съ тремя братьями Манасеиными, съ которыми я сейчасъ познакомился хорошо; А—въ же занималъ маленькую особую комнату, возлѣ нашей. Онъ былъ очень богатъ и кажется единственный сынъ у своей матери, вдовы. Не смотря на богатство, которое видно было въ его платьѣ, постели и во всемъ, онъ жилъ очень скупо; въ комнатѣ у него стоялъ огромный сундукъ, окованный желѣзомъ, ключъ отъ котораго онъ носилъ въ карманѣ. Товарищи мои думали, что въ сундукѣ хранятся драгоцѣнныя вещи и разныя сокровища; сундукъ возбуждалъ общее любопытство.

Наконецъ я опять увидѣлъ, нѣкогда страшную и противную мнѣ гимназію, и увидѣлъ ее безъ страха и безъ непріятнаго чувства. Я очень этому обрадовался. Я поступилъ опять въ тѣ же нижніе классы, изъ которыхъ большая часть моихъ прежнихъ товарищей перешла въ средніе, и на мѣсто ихъ опредѣлились новые ученики, которые были приготовлены хуже меня; ученики же, не перешедшіе въ слѣдующій классъ, были лѣнтяи или безъ способностей, и потому я въ самое короткое время сдѣлался первымъ во всѣхъ классахъ, кромѣ Катихизиса и краткой Священной Исторіи. Священникъ постоянно сохранялъ ко мнѣ какое-то неблагорасположеніе, не смотря на то, что я зналъ свои уроки всегда очень твердо. Замѣчательно, что въ послѣдствіи, когда Упадышевскій спрашивалъ его, отъ чего Аксаковъ, самый прилежный ученикъ вездѣ, не находится у него въ числѣ лучшихъ учениковъ, и что вѣрно онъ не хорошо знаетъ свои уроки—

священникъ отвѣчалъ: «Нѣтъ, уроки онъ знаетъ твердо; но онъ не охотникъ до Катихизиса и Священной Исторіи».

Прошло нѣсколько мѣсяцевъ, разсѣялись послѣдніе остатки грусти по домѣ родительскомъ, по привольному деревенскому житью; я постепенно привыкъ къ своей школьной жизни и завелъ себѣ нѣсколько пріятелей въ гимназіи, и полюбилъ ее. Этой перемѣнѣ много способствовало то, что я только пріѣзжалъ въ гимназію учиться, а не жилъ въ ней. Житье у Ивана Ипатыча не такъ рѣзко разнилось отъ моей домашней жизни, какъ безвыходное заключеніе въ казенномъ домѣ гимназіи, посреди множества разнородныхъ товарищей.

А—въ, который чуждался меня, и Манасеиныхъ, да и всѣхъ въ гимназіи, замѣтивъ мою скромность и смиренство, сталъ со мной заговаривать и приглашать въ свою комнату, даже подчивалъ своими домашними лакомствами, которыя онъ ѣлъ потихоньку отъ всѣхъ; наконецъ сказалъ, что хочетъ показать мнѣ свой сундукъ, только такимъ образомъ, чтобы никто этого не зналъ. Я обрадовался. Воображеніе мое, полное волшебныхъ сказокъ, представляло мнѣ этотъ сундукъ хранилищемъ драгоцѣнныхъ камней, слитковъ золота и серебра. Мы условились съ А—мъ, что я приду къ нему въ комнату, когда всѣ заснутъ. Я такъ и сдѣлалъ въ тотъ же самый вечеръ; Манасеины не заставили меня долго ждать и скоро захрапѣли; я пришелъ къ А—ву, у котораго по ночамъ теплилась лампадка передъ большимъ, богато вызолоченнымъ образомъ. Хозяинъ зажегъ свѣчу, заперъ дверь, взялъ съ меня обѣщаніе: никому не сказывать о томъ, что увижу, и бережно отперъ таинственный сундукъ.... Каково было мое удивленіе! Сундукъ оказался набитъ биткомъ гравированными, рисованными и раскрашенными

лубочными картинками! Между ними находились и ландшафты, и портреты, писанные масляными красками, разумѣется въ родѣ цирюльныхъ вывѣсокъ. Я самъ былъ охотникъ до картинокъ; но какъ тутъ я ожидалъ совсѣмъ другаго, то не обращалъ на нихъ вниманія и все еще надѣялся, что на днѣ сундука окажется настоящее сокровище; когда же были сняты послѣдніе листы, и голыя доски представились глазамъ моимъ—я невольно воскликнулъ: «Только то!...» и смутилъ ужасно А—ва, который думалъ удивить и привести меня въ восхищеніе. Я шопотомъ откровенно разсказалъ ему, что̀ мы всѣ думали объ его сундукѣ. «Вы всѣ дураки», сказалъ съ негодованіемъ А—въ, и почти выгналъ меня. Тѣмъ и кончилась наша ребячья дружба. Черезъ нѣсколько времени, я нарушилъ обѣщаніе и разсказалъ Манасеннымъ, что̀ хранится въ сундукѣ, и мы потомъ не одинъ разъ, подглядывая въ дверныя щели, видѣли, какъ А—въ, запершись на крючекъ, раскладывалъ свои картинки по постели, по столамъ, по стульямъ и даже по полу. Онъ разглядывалъ ихъ, обтиралъ и любовался ими, какъ «Скупой рыцарь» у Пушкина, своими сокровищами; почти каждый день, по большей части ночью, предавался онъ этому наслажденію цѣлые часы. Мы стали подсмѣиваться надъ А—мъ, разсказали въ гимназіи про его охоту къ картинкамъ — и рѣзвые мальчики не давали ему прохода, требуя, чтобъ онъ дѣлился съ другими своимъ богатствомъ и показалъ имъ, какъ «мыши погребаютъ кота» или, какъ «Еруслань Лазаревичъ побиваетъ несмѣтную бусурманскую силу.» А—въ сердился, бранился и даже дрался — ничто не помогало. Наконецъ это такъ надоѣло ему, что онъ написалъ къ своей матери, и она скоро совсѣмъ взяла его изъ гимназіи. Впрочемъ этому могли быть и другія причины. Недавно я узналъ, что А — въ навсегда остался

большимъ чудакомъ; но это не мѣшаетъ ему имѣть репутацію очень дѣльнаго хозяина.

Первые мѣсяцы послѣ моего поступленія къ Ивану Ипатычу, онъ кое-какъ занимался мною и другими. Все занятіе состояло въ томъ, что онъ предварительно спрашивалъ заданные намъ уроки и училъ читать по французски и по нѣмецки; но мало по малу онъ переставалъ нами заниматься вовсе, и сталъ куда-то отлучаться. Должно сказать правду: ученью нашему были полезны его отлучки, потому что въ его отсутствіе занимался нами Григорій Иванычъ, гораздо внимательнѣе и лучше своего товарища, и я это очень понималъ. Наконецъ, Евсеичъ сказалъ мнѣ за тайну, что Иванъ Ипатычъ сватаетъ невѣсту хорошаго дворянскаго рода и съ состояніемъ, что невѣста и мать согласны, только отецъ не хочетъ выдать дочери за учителя, бѣдняка, да еще поповича. Это извѣстіе оказалось совершенно справедливымъ.

Директоромъ гимназіи точно былъ опредѣленъ помѣщикъ Л—въ; но своекоштные ученики долго его и въ глаза не знали, потому что онъ посѣщалъ гимназію обыкновенно въ обѣденное время, а въ классы и не заглядывалъ. — Я учился, ѣздилъ или ходилъ въ гимназію весьма охотно. Товарищи ли мои были совсѣмъ другіе мальчики чѣмъ прежде, или я сдѣлался другимъ — не знаю, только я не замѣчалъ этого, несноснаго прежде, приставанья или тормошенья учениковъ; нашлись общіе интересы, родилось желаніе сообщаться другъ съ другомъ, и я сталъ ожидать съ нетерпѣніемъ того времени, когда надо ѣхать въ гимназію. Притомъ надобно и то сказать, что я проводилъ тамъ по большей части классное время, а въ классахъ самолюбіе мое постоянно было ласкаемо похвалами учителей и нѣкоторымъ уваженіемъ товарищей, что однако не мѣшало мнѣ играть и рѣзвиться съ ними во всякое сво-

бодное время и при всякомъ удобномъ случаѣ. Домой я писалъ каждую недѣлю, и каждую недѣлю получалъ самыя нѣжныя письма отъ матери, иногда съ припискою отца. Мать увѣряла меня, что не груститъ, разставшись со мною, а радуется тому, что я такъ хорошо учусь и веду себя, о чемъ пишетъ къ ней Иванъ Ипатычъ и Упадышевскій; я повѣрилъ, что мать моя не груститъ. Во всякомъ письмѣ она свидѣтельствовала почтеніе Ивану Ипатычу и Григорію Иванычу, съ которыми отъ времени до времени переписывалась сама. Такимъ образомъ шли дѣла почти цѣлый годъ, то-есть, до іюня 1802-го года; впродолженіе іюня происходили экзамены, окончившіеся совершеннымъ торжествомъ для моего дѣтскаго самолюбія: я былъ переведенъ во всѣ средніе классы. Въ первыхъ числахъ іюля на актѣ, я получилъ книжку съ золотою надписью: «за прилежаніе и успѣхи», и еще похвальный листъ.

За мной давно уже пріѣхала простая кибитка и тройка лошадей съ кучеромъ, и въ день гимназическаго акта, послѣ обѣда, мы съ Евсеичемъ отправились въ наше любимое и дорогое Аксаково. Мы ѣхали по той же самой дорогѣ, по которой два года тому назадъ везла меня мать, вырвавъ изъ казенныхъ воспитанниковъ гимназіи, и останавливались даже на тѣхъ же кормежкахъ и ночевкахъ. Скоро дыханье природы проникло въ мое существо и выгнало изъ головы моей гимназію, товарищей, учителей, книги и уроки. Послѣ временнаго, какъ будто забвенія или охлажденія, еще горячѣе и уже сознательнѣе полюбилъ я красоты Божьяго міра.... Дома вся семья встрѣтила меня съ нѣжною любовью, а радости матери моей — и описать нельзя! Какъ выросла и похорошѣла въ одинъ годъ моя любимая сестрица и какъ обрадовалась мнѣ! Сколько разспросовъ, сколько разсказовъ! Между прочимъ

я узналъ отъ нее, что моя мать сначала такъ по мнѣ тосковала, что даже была больна, и мнѣ сдѣлалось какъ-то больно, что я грустилъ въ разлукѣ съ ней менѣе, чѣмъ прежде.

Всѣ дни вакаціи, которые провелъ я тогда въ Аксаковѣ, слились въ моей памяти въ одинъ прекрасный, радостный день! Я никакъ не могу разсказать, если бы и хотѣлъ, что̀ я дѣлалъ въ эти счастливые дни? Знаю только, что я наслаждался отъ утра до вечера. Всего чаще мелькаетъ въ этомъ роѣ удовольствій удочка, купанье и ястребъ. Мать заставила меня разсказать весь годъ моей гимназической жизни со всѣми мельчайшими подробностями, и въ продолженіе разсказа часто говорила моему отцу: «Видишь ли, Тимоѳей Степанычъ, я не ошиблась въ Григоріѣ Иванычѣ. Онъ далекъ отъ Ивана Ипатыча, какъ небо отъ земли. Вотъ кому желала бы я отдать на воспитаніе Сережу, и я буду стараться о томъ изъ всѣхъ силъ». Разсказы Евсеича еще болѣе утвердили ее въ этомъ намѣреніи, важность котораго я уже понималъ, и самъ желалъ его исполненія. Всего болѣе плѣняли мою мать строгость и чистота нравовъ Григорья Иваныча.—Съ моей сестрицей я почти не разставался; дружба наша сдѣлалась еще тѣснѣе и нѣжнѣе.—Быстро пролетѣли блаженные дни, и 10-го августа, въ той же кибиткѣ, съ тѣмъ же кучеромъ и на тѣхъ же лошадяхъ, мы съ Евсеичемъ отправились въ К.

По пріѣздѣ моемъ, я нашелъ всѣхъ учениковъ въ сборѣ, но Ивана Ипатыча не было въ городѣ. Мы узнали, что онъ поѣхалъ жениться въ деревню къ своей невѣстѣ, Настасьѣ Петровнѣ Е—ой, что черезъ мѣсяцъ послѣ свадьбы они пріѣдутъ въ К., наймутъ особый домъ и тогда уже возьмутъ насъ къ себѣ, и что до тѣхъ поръ будетъ заниматься нами Григорій Иванычъ. Я очень этому обрадо-

валея, а Манассеины напротивъ, особенно меньшой братъ, Ельпидифоръ: славный мальчикъ, но великій шалунъ, не принявшійся еще за ученье, шалунъ, изъ котораго вышелъ впослѣдствіи весьма дѣльный человѣкъ. Очень живо помню, что я съ большимъ нетерпѣніемъ и желаніемъ учиться вступилъ въ средніе классы. Я зналъ заранѣе, что въ нихъ ученье гораздо труднѣе и что средніе классы считались основаніемъ всего гимназическаго курса. Существовало мнѣніе, что тотъ ученикъ, который въ нихъ отличится, непремѣнно будетъ отличнымъ и въ высшихъ классахъ, тогда какъ напротивъ, часто случалось, что первые ученики въ низшихъ классахъ оставались въ среднихъ навсегда посредственными (*). Это мнѣніе меня пугало, и весь первый мѣсяцъ мое опасеніе не разсѣялось. Учители были другіе и насъ не знали; всѣ переведенные ученики сидѣли особо на двухъ отдѣльныхъ скамейкахъ и сначала ими занимались мало. По трудности курса среднихъ классовъ, большая часть воспитанниковъ оставались въ нихъ по два года, отчего классы были слишкомъ полны и для учителя не было физической возможности со всѣми равно заниматься. Въ числѣ другихъ предметовъ, вмѣстѣ съ русскимъ языкомъ, въ среднемъ классѣ преподавалась грамматика славянскаго языка, составленная самимъ преподавателемъ Николаемъ Мисаиловичемъ Ибрагимовымъ (**), поступившимъ также изъ Московскаго уни-

(*) Очевидно, что раздѣленіе гимназическаго курса на три класса было не достаточно. Это впослѣдствіи дознано опытомъ, почему теперешній гимназическій курсъ и раздѣляютъ на семь классовъ.

(**) Фамилія его и наружность ясно указывали на его татарское или башкирское происхожденіе; онъ имѣлъ большую голову, маленькіе, проницательные и очень пріятные глаза, широкія скулы и огромный ротъ. Горячо любилъ литературу, былъ очень остроуменъ и вообще человѣкъ даровитый.

верситета: онъ же былъ не только учителемъ россійской словесности, но и математики въ среднихъ классахъ. Этотъ человѣкъ имѣлъ большое значеніе въ моемъ литературномъ направленіи, и память его драгоцѣнна для меня. Онъ первый ободрилъ меня и, такъ сказать, толкнулъ на настоящую дорогу. Ибрагимовъ диктовалъ свою славянскую грамматику для тѣхъ, кто ее еще не слушалъ и у кого ее не было; обыкновенно одинъ ученикъ писалъ подъ диктовку на классной доскѣ, а другіе списывали продиктованное. Ибрагимовъ объяснялъ не довольно подробно и не такъ понятно; для слушавшихъ грамматику вторично, этого толкованія было достаточно, но мало для учениковъ новыхъ, а особенно для двѣнадцатилѣтнихъ мальчиковъ, какимъ былъ я и многіе другіе. По счастію въ это время занимался мною дома Григорій Иванычъ (по случаю отсутствія Ивана Ипатыча); онъ объяснилъ мнѣ Введеніе въ славянскую грамматику, въ которомъ излагался взглядъ на грамматику общую: безъ него я понялъ бы этотъ взглядъ такъ же плохо, какъ и другіе ученики. Имѣя у себя заранѣе полный списокъ славянской грамматики, я просмотрѣлъ ее всю въ воскресные дни и, на темныя для меня мѣста, попросилъ объясненія у Григорія Иваныча. Это было мнѣ впослѣдствіи очень полезно.— Наконецъ уже въ исходѣ сентября (черезъ шесть недѣль послѣ начала ученія), маленькая татарская фигурка Ибрагимова, прошедъ нѣсколько разъ по длинному классу съ тетрадкою въ рукѣ, вмѣсто обыкновенной диктовки, вдругъ приблизилась къ отдѣльнымъ скамьямъ новыхъ учениковъ. Сердце у меня сильно забилось. Ибрагимовъ сталъ предлагать всѣмъ ученикамъ, переведеннымъ изъ нижняго класса, разные вопросы изъ пройденныхъ имъ Введенія и двухъ главъ грамматики — въ томъ порядкѣ, какъ сидѣли ученики; порядокъ же былъ слѣдующій: сначала сидѣли казенные гимназисты,

потомъ пансіонеры, потомъ полупансіонеры и наконецъ своекоштные. На вопросы Ибрагимова изъ грамматики, кое-какъ еще отвѣчали, но изъ Введенія рѣшительно никто ничего не зналъ: ясное доказательство, что его не понимали. Дошла очередь до меня. Изъ грамматики я отвѣчалъ свободно и удовлетворительно. Послѣ каждаго отвѣта, Ибрагимовъ говорилъ: «прекрасно». Отвѣты мои заинтересовали его, и вмѣсто трехъ-четырехъ, онъ задалъ мнѣ вопросовъ двадцать. Всѣ отвѣты были равно удачны. Ибрагимовъ безпрестанно улыбался во всю ширину своего огромнаго татарскаго рта и наконецъ сказалъ: «Прекрасно, прекрасно, и прекрасно! Посмотримъ теперь, что скажетъ Введеніе.»—Отвѣты мои продолжали быть вполнѣ удовлетворительны. Онъ пробовалъ сбивать меня и не сбилъ, потому что я говорилъ понимая предметъ, а не выучивъ наизусть одно слова. Ибрагимовъ пришелъ въ совершенное изумленіе и восхищеніе. Онъ осыпалъ меня всевозможными похвалами, вызвалъ изъ-за стола, приказалъ забрать всѣ классныя тетрадки и книжки, взялъ за руку, подвелъ къ первому столу и сказавъ: «вотъ ваше мѣсто», посадилъ меня третьимъ, а учениковъ было слишкомъ сорокъ человѣкъ. Такое торжество и во снѣ мнѣ не снилось. Я былъ совершенно счастливъ. Воротясь домой, я послалъ Евсенча попросить позволенія у Григорья Ивановича придти къ нему въ комнату и, получивъ согласіе, я разсказалъ съ большой радостью о случившемся со мною. Григорій Ивановичъ внутренно былъ очень доволенъ этимъ происшествіемъ и тѣмъ чувствомъ, съ которымъ я его принялъ, но слѣдуя своей методѣ, довольно сухо мнѣ отвѣчалъ: «Не слишкомъ радуйтесь; не поторопился ли Ибрагимовъ? Теперь вы должны поддержать его хорошее мнѣніе и учиться еще прилежнѣе.» Такой отвѣтъ могъ бы охладить холодной водой или оттолкнуть другаго, и я рѣ-

шительно не одобряю такого образа дѣйствій; но я уже зналъ Григорія Иваныча. Онъ и прежде очень хвалилъ меня въ письмахъ къ моей матери, а мнѣ и виду не подавалъ, что мною доволенъ; онъ даже писалъ, чтобы мать не показывала мнѣ его писемъ. Въ классѣ россійской словесности, у того же самаго Ибрагимова, успѣхи мои были также блестящи; здѣсь преподавался синтаксисъ русскаго языка и производились практическія упражненія, состоявшія изъ писанья подъ диктовку и изъ переложенія стиховъ въ прозу. Диктовка была намъ очень полезна, сколько для правописанія, столько и для образованія нашего вкуса, потому что Ибрагимовъ выбиралъ лучшія мѣста изъ Карамзина, Дмитріева, Ломоносова и Хераскова, заставлялъ читать вслухъ и объяснялъ ихъ литературное достоинство. Онъ самъ не находилъ пользы въ переложеніяхъ и, только исполнял программу, раза два заставилъ насъ ими заниматься. Вмѣсто того онъ упражнялъ насъ въ сочиненіи небольшихъ піесъ на заданныя темы. Что же касается до другихъ классовъ, то во всеобщей и русской исторіи у Яковкина, я шелъ наравнѣ не съ лучшими, а съ хорошими учениками. Въ языкахъ вообще успѣхи были плохи, безъ сомнѣнія отъ плохихъ учителей. Въ ариѳметикѣ я былъ слабъ и въ нижнемъ классѣ, а въ среднемъ оказалось, что я не имѣю вовсе математическихъ способностей: такая аттестація удержалась за мной не только въ гимназіи, но и въ университетѣ. Чистописаніе, рисованье и танцованье шли порядочно. У священника я былъ въ числѣ не отличныхъ, но хорошихъ учениковъ. Въ среднемъ классѣ бросилъ я таскань аспидной доски и грифеля, къ которымъ питалъ сильное отвращеніе, сохраняемое мною отчасти и теперь. Скрыпъ отъ черченья грифелемъ по аспидной доскѣ производилъ (и производитъ) содроганье въ моихъ нервахъ.

Наконецъ узнали мы, что Иванъ Ипатычъ съ молодой женой пріѣхалъ въ городъ и остановился въ домѣ своей тещи. На другой же день, онъ пріѣзжалъ взглянуть на своихъ воспитанниковъ и чрезвычайно насъ обласкалъ. Евсеичъ разсказывалъ мнѣ по секрету, что Григорій Иванычъ очень сердился на Ивана Ипатыча за то, что онъ вмѣсто одного проѣздилъ три мѣсяца, говоря: «что ему очень надоѣло возиться съ дѣтьми, которыхъ онъ не могъ бросить безъ надзора и вниманія, какъ дѣлаетъ это Иванъ Ипатычъ.» Послѣдній извинялся, благодарилъ, обнималъ своего товарища, но тотъ обошелся съ нимъ очень сухо и грубо, грозя ему, что если онъ немедленно не найметъ себѣ квартиру, то онъ выѣдетъ изъ дома и броситъ его пансіонеровъ. Надобно прибавить, что у Григорья Иваныча уже не было своихъ воспитанниковъ. Не смотря на такія угрозы, Иванъ Ипатычъ не скоро нанялъ себѣ квартиру, и Григорій Иванычъ прожилъ съ нами еще два мѣсяца, постоянно и добросовѣстно занимаясь нашимъ ученьемъ, содержаньемъ и поведеньемъ. Въ эти пять мѣсяцевъ я очень привязался къ Григорію Иванычу, хотя онъ не сказалъ мнѣ ни одного ласковаго слова и понаружности казался сухимъ и строгимъ. Я не могъ тогда оцѣнить достоинства этого человѣка и не могъ бы его полюбить, еслибъ мать не увѣдомляла меня потихоньку, что онъ меня очень любитъ и очень хвалитъ, и не показываетъ этого только для того, чтобъ я, по молодости своей, не избаловался отъ его похвалъ. Къ сожалѣнію Григорій Иванычъ держался этого ошибочнаго правила во все продолженіе своего полезнаго, долговременнаго и важнаго служебнаго поприща, гдѣ приходилось имѣть дѣло не съ дѣтьми, а часто съ стариками. Кто имѣлъ случай узнать его коротко, тотъ сохранялъ къ нему глубокое уваженіе и преданность во всю жизнь, но за то были

хорошіе люди, которыхъ онъ оттолкнулъ отъ себя сухостью обращенія и которые сочли его за человѣка гордаго и жесткаго, что̀ было совершенно несправедливо. Наконецъ Иванъ Ипатычъ нанялъ себѣ приличную квартиру. Переѣзжая къ нему и разставаясь съ Григоріемъ Иванычемъ, я расплакался, хотѣлъ было обнять его, но онъ не допустилъ меня и, будучи самъ растроганъ почти до слезъ, (что я узналъ впослѣдствіи изъ его письма къ моей матери), сухо и холодно сказалъ мнѣ: «Это что такое? О чемъ вы плачете? Вѣрно боитесь, что Иванъ Ипатычъ будетъ построже съ васъ взыскивать!» Признаюсь, на ту пору досадны были мнѣ эти слова! Я забылъ сказать, что Иванъ Ипатычъ привозилъ къ намъ свою молодую жену: мы замѣтили только, что у ней нѣтъ бровей и что она по простотѣ своей не умѣла сказать намъ ласковаго слова и безпрестанно краснѣла. У Ивана Ипатыча помѣстили насъ, то-есть, меня и троихъ Манасеиныхъ, въ особомъ флигелѣ и сначала оставили безъ всякаго надзора. Тутъ-то я почувствовалъ всю разницу между нимъ и Григоріемъ Иванычемъ. Мы видѣли Ивана Ипатыча только за обѣдомъ и ужиномъ. Молодой мужъ былъ совершенно озабоченъ устройствомъ своего новаго положенія и подгородной деревни, Кощаково, состоявшей изъ 60-ти душъ, въ двадцати верстахъ отъ города, которую онъ получилъ въ приданое за женой и въ которую уѣзжалъ на два дня каждую недѣлю. Остальное время онъ былъ занятъ преподаваніемъ физики въ высшемъ классѣ гимназіи, или заботами о семействѣ своей молодой супруги, изъ числа котораго, три взрослыя дѣвицы, ея сестры, жили у него постоянно. Домашнимъ хозяйствомъ никто не занимался и оно шло весьма плохо, даже столъ былъ очень дуренъ и по этому обстоятельству случилось со мной вотъ какое приключеніе: одинъ разъ за ужиномъ (мы ужинали всегда въ большомъ домѣ за

общимъ столомъ) подали ветчину; только-что я, отрѣзавъ кусокъ, хотѣлъ положить его въ ротъ, какъ стоявшій за моимъ стуломъ Евсеичъ толкнулъ меня въ спину; я обернулся и съ изумленіемъ посмотрѣлъ на своего дядьку: онъ покачалъ головой и сдѣлалъ мнѣ знакъ глазами, чтобы я не ѣлъ ветчины; я положилъ кусокъ на тарелку и тутъ только замѣтилъ, что ветчина была тухлая и даже червивая; я поспѣшно отдалъ тарелку. Я сидѣлъ очень близко отъ Ивана Ипатыча, и онъ все это замѣтилъ. Надобно прибавить, что за столомъ, кромѣ воспитанниковъ, сидѣли тещa его, жена и три свояченицы. Послѣ ужина, когда мы всѣ подошли къ Ивану Ипатычу, чтобы раскланяться и идти спать, онъ приказалъ мнѣ остаться и повелъ насъ вмѣстѣ съ Евсеичемъ къ себѣ въ кабинетъ. Тамъ онъ сдѣлалъ мнѣ строжайшій выговоръ за то, что я поступилъ дерзко, и съ намѣреніемъ осрамить хозяина обратилъ вниманіе всѣхъ на испортившуюся ветчину, которую однако же всѣ изъ деликатности ѣли. Иванъ Ипатычъ, прочтя мнѣ длинное поученіе и доказывая, что я сдѣлалъ непростительный проступокъ, разбранилъ очень обидно моего почтеннаго Евсеича. Я рѣшительно не понималъ своей вины и заплакалъ отъ незаслуженнаго оскорбленія. Иванъ Ипатычъ смягчился и сказалъ, что меня прощаетъ, и даже хотѣлъ обнять, но я весьма искренно и наивно возразилъ ему, что плачу не отъ раскаянія, а отъ того, что онъ обидѣлъ меня несправедливымъ подозрѣніемъ въ умыслѣ и разбранилъ моего дядьку. Иванъ Ипатычъ вновь разсердился, нашелъ во мнѣ, Богъ знаетъ, какое-то ожесточеніе, сказалъ, что я завтра буду примѣрно наказанъ, и отпустилъ спать. Я долго не могъ заснуть и мыслилъ, что посторонній человѣкъ, безъ всякой моей вины, хочетъ меня какъ-то примѣрно наказать, оскорбляла и раздражала меня очень сильно. Съ тѣхъ поръ,

какъ я сталъ себя помнить, никто кромѣ матери меня не наказывалъ; да и то было очень давно. Наконецъ я уснулъ. На другой день поутру, когда мы одѣлись и пришли пить чай въ домъ, Иванъ Ипатычъ, противъ обыкновенія, вышелъ къ намъ, объяснилъ мою вину Манасеинымъ и Е—у (*), приказалъ имъ идти въ гимназію, а меня лишилъ чаю, велѣлъ остаться дома, идти во флигель, раздѣться, лечь въ постель и пролежать въ ней до вечера, а вмѣсто завтрака и обѣда велѣлъ дать мнѣ ломоть хлѣба и стаканъ воды. Такое дурацкое и вовсе незаслуженное наказаніе, для такого чувствительнаго и развитаго мальчика, какимъ былъ я, должно было показаться и показалось несноснымъ оскорбленіемъ, и я въ самомъ дѣлѣ съ ожесточеніемъ и презрительною улыбкою посмотрѣлъ на своего наставника и поспѣшно ушелъ во флигель. Я раздѣлся, легъ въ постель и взялъ читать какую-то книгу. Евсеичъ мой, не понимая нравственнаго оскорбленія, отъ всей души смѣялся надъ глупымъ наказаніемъ, обижался только, что я буду голоденъ и обѣщался достать мнѣ потихоньку всего, что будетъ получше за столомъ. Я съ негодованіемъ запретилъ ему это дѣлать и выслалъ вонъ. Сначала я чувствовалъ только гнѣвъ и раздраженіе, потомъ принялся плакать и наконецъ заснулъ. Ночь я спалъ мало и потому заснулъ такъ крѣпко, что проснулся только тогда, когда мои товарищи, пообѣдавъ въ общей залѣ, пришли во флигель и начали играть и шумѣть. Сонъ успокоилъ меня; я отказался отъ хлѣба и воды и равнодушно перенесъ шутки и насмѣшки моихъ соучениковъ, которые также не находили меня виноватымъ и смѣялись не столько надо мной, ско-

(*) За двѣ недѣли, молодой Е—ъ, своякъ Ивана Ипатыча, опредѣлился въ гимназію и поступилъ въ число его воспитанниковъ.

лько надъ странностью моего наказанія. Средній Манасеинъ, порядочный лѣнтяй, даже завидовалъ мнѣ и говорилъ, что желалъ бы всякой день быть такъ наказаннымъ. Когда мои товарищи ушли въ гимназію на послѣобѣденные классы, я принялся твердить уроки, заданные безъ меня поутру моимъ товарищамъ, и повторилъ вчерашніе. Въ седьмомъ часу вечера, когда воспитанники воротились изъ гимназіи и пили чай въ столовой, Иванъ Ипатычъ прислалъ мнѣ сказать, чтобъ я одѣлся и пришелъ туда же. Я повиновался. Онъ встрѣтилъ меня словами: «что прощаетъ меня и что сокращеніемъ срока моего наказанія я обязанъ дамамъ», — и онъ указалъ на свою тещу, жену и свояченицъ. Я поблагодарилъ ихъ. Иванъ Ипатычъ съ женой ту же минуту куда-то уѣхали. Товарищи, напившись чаю, ушли во флигель, но меня дамы оставили при себѣ. Сейчасъ накрыли столикъ и принесли кушанье; меня посадили за столъ, дѣвицы сѣли около меня, кормили почти изъ своихъ рукъ и даже притащили банку съ вареньемъ, которымъ я усердно полакомился. Все это сопровождалось такими ласками, которыя разнѣжили мое сердце. Оказалось, что барышни, хотя до сихъ поръ не говорили со мной ни одного слова, давно полюбили меня за мою скромную наружность и что наказаніе, которое онѣ и старуха ихъ мать находили незаслуженнымъ и безчеловѣчнымъ, возбудило въ нихъ также ко мнѣ участіе, что онѣ неотступно просили Ивана Ипатыча меня простить и что сестра Катерина даже плакала и становилась предъ нимъ на колѣни. Я замѣтилъ, что Катерина Петровна ужасно покраснѣла. Меня оставили въ домѣ на цѣлый вечеръ и подробно разспросили обо всемъ, до меня касающемся. Я, разумѣется, разболтался и не только разсказалъ про свое Аксаково, про первое поступленіе свое въ гимназію, но и прочелъ множество стиховъ

наизусть, къ чему я съ давняго времени имѣлъ страстную охоту. Барышни искренно восхищались, ахали, хвалили и осыпали меня ласками. Я былъ также восхищенъ произведеннымъ мной впечатлѣніемъ, и дѣтское мое самолюбіе вскружило мнѣ голову. Послѣ ужина я воротился во флигель, вмѣстѣ съ моими товарищами, которые уже знали черезъ брата Е—хъ, какъ меня ласкали и потчивали его сестры; товарищи разспрашивали и завидовали мнѣ, и я не скоро заснулъ отъ волненія и какихъ-то непонятныхъ мнѣ фантазій.

Я съ намѣреніемъ описалъ подробно это, неважное повидимому, обстоятельство. Послѣдствіемъ его было то, что я сталъ не такъ прилежно учиться. Старуха Е — на, также какъ ея дочери, меня очень полюбила и не рѣдко выпрашивала позволеніе у своего зятя приглашать меня по вечерамъ въ домъ, гдѣ я проводилъ часа по два очень весело. Въ воскресные же и праздничные дни, я безпрестанно бѣгалъ въ домъ и почти пересталъ ходить къ родственницамъ моего отца, къ Кирѣевой и Сафоновой, у которыхъ прежде бывалъ часто. Товарищи продолжали мнѣ завидовать, а Е—нъ, уже пятнадцатилѣтній болванъ и повѣса, котораго сестры прогоняли изъ нашего общества, хмурился на меня не на шутку и отпускалъ какіе-то язвительные намеки, которыхъ я рѣшительно не понималъ. Мало по малу я совсѣмъ развлекся, и хотя Иванъ Ипатычъ мѣсяца черезъ три нанялъ для насъ студента, кончившаго курсъ въ Духовной Семинаріи, Гурья Ивлича Л., очень скромнаго и знающаго молодаго человѣка, съ которымъ я могъ бы очень хорошо заниматься, но я до самой весны, то-есть, до времени отъѣзда Е—хъ въ деревню, учился очень плохо. Только у одного Ибрагимова, въ классѣ русской словесности и славянской грамматики, я оставался по прежнему отличнымъ ученикомъ, потому

что горячо любилъ и предметъ ученія и учителя. Мѣсяца за полтора до экзамена, я принялся заниматься съ большимъ жаромъ. Гурій Ивличъ очень полюбилъ меня въ это время и усердно помогалъ моему прилежанію, но со всѣмъ тѣмъ, я не былъ переведенъ въ высшій классъ и остался еще на годъ въ среднемъ; перешла только третья часть воспитанниковъ и въ томъ числѣ нѣкоторые, не за успѣхи въ наукахъ, а за старшинство лѣтъ, потому что сидѣли по два и по три года въ среднемъ классѣ. Никто не ставилъ мнѣ этого въ вину, и хотя я находилъ, вмѣстѣ со всѣми другими, что двухгодичное пребываніе въ среднемъ классѣ будетъ мнѣ полезно и что такъ бываетъ почти со всѣми учениками, но дѣтское самолюбіе мое оскорблялось, а всего болѣе я боялся, что это огорчитъ мою мать. Опасенія мои были напрасны. Когда я пріѣхалъ на вакацію въ Аксаково (1802-го года) съ Евсеичемъ, и когда моя мать прочла письма Упадышевскаго, Ивана Ипатыча и Григорья Иваныча, то она, вмѣстѣ съ моимъ отцомъ, была очень довольна, что я остался въ среднемъ классѣ. Но когда я съ полною откровенностью подробно разсказалъ о моемъ пребываніи и образѣ жизни въ домѣ моего наставника, моя мать очень призадумалась и казалась недовольною. Ей не нравился Иванъ Ипатычъ, его семейство и даже Гурій Ивличъ Л..., потому что она терпѣть не могла семинаристовъ, въ чемъ совершенно соглашался съ нею мой отецъ, который называлъ ихъ кутейниками. Этотъ предразсудокъ былъ особенно несправедливъ въ отношеніи къ Гурью Ивличу, имѣвшему очень много достоинствъ (*). Всего же болѣе оскорбило

(*) Черезъ нѣсколько лѣтъ я встрѣтился съ Гурьемъ Ивличемъ Л. самымъ оригинальнымъ образомъ. Предварительно надобно сказать, что въ послѣднее время, какъ я уже и говорилъ, онъ очень полюбилъ меня, и не смотря на то, что мнѣ былъ двѣнадцатый, а ему двадцать второй годъ,

и раздражило мою мать нелѣпое наказаніе, которому подвергъ меня Иванъ Ипатычъ. Желаніе взять меня отъ него и помѣстить къ бывшему его товарищу, возникло въ душѣ ея съ новою силою. Взять было не трудно, но убѣдить Григорья Иваныча нарушить свое намѣреніе, единажды принятое,—казалось невозможностью, которая увеличивалась еще тѣмъ обстоятельствомъ, что онъ былъ не только товарищъ, но и короткій пріятель съ Иваномъ Ипатычемъ. Выходъ лучшаго ученика могъ повредить ему во мнѣніи другихъ родителей, а перемѣщеніе мое къ Григорью Иванычу, люди не знающіе коротко обстоятельствъ, могли назвать переманкой. Очень огорчалась

дружески повѣрялъ мнѣ всѣ свои обстоятельства, и между прочимъ то, что начальство уговариваетъ его поступить въ духовное званіе, къ которому онъ не чувствовалъ влеченія. Не знаю почему мнѣ засѣло въ голову, что Гурій Ивличъ будетъ непремѣнно священникомъ, и я увѣрялъ его въ этомъ. Онъ спорилъ, даже сердился, и чтобъ убѣдить меня въ противномъ, взялъ однажды листъ бумаги и написалъ на немъ: «Скорѣе рѣка Казанка потечетъ вверхъ, чѣмъ Гурій Л. пойдетъ въ духовное званіе.» Этотъ листъ онъ отдалъ мнѣ спрятать, какъ обязательство, что онъ сохранитъ свою свободу: явное доказательство, какъ онъ самъ былъ еще молодъ. Мѣсяца черезъ два мы разстались. Прошло три года, или около четырехъ; я ни разу не слыхалъ о Гуріѣ Ивличѣ и совершенно забылъ объ его существованіи. Въ одно скверное осеннее утро, получилъ я записку отъ моей родной тетки, Н. Н. Зубовой, которую очень горячо любилъ; она жила тогда въ домѣ В—хъ и я часто видался съ нею. «Милый мой Сержъ (писала она) сегодня въ шестомъ часу послѣ обѣда пріѣзжай къ намъ въ мундирѣ и со шпагой. Сегодня у насъ свадьба, ты шаферъ у Лизы, будешь ее обувать и провожать въ церковь.» Лиза была воспитанница В—хъ, бѣдная, молодая и прекрасная собою дѣвушка. Я пріѣхалъ, немножко опоздалъ, меня побранили и сейчасъ провели къ невѣстѣ; я обулъ ея ножки въ шелковые чулки и башмаки. Невѣста была еще не совсѣмъ одѣта, но голова находилась уже въ полномъ свадебномъ убранствѣ; я помню, что былъ пораженъ ея красотой. Едва я успѣлъ перемолвить нѣсколько словъ съ любимой моей тетушкой у ней въ комнатѣ, какъ хозяйка В—ва позвала меня къ себѣ и попросила, чтобъ я поскорѣе поѣхалъ въ ея каретѣ къ жениху и сказалъ ему, что невѣста одѣта и чтобъ онъ ѣхалъ сейчасъ въ цер-

бѣдная моя мать, но не знала какъ помочь горю. Ласки барышень Е—хъ и особенно нѣжности одной изъ нихъ, ей также не нравились, къ немалому моему удивленію. Она рѣшилась пріѣхать въ К. по зимнему пути: во-первыхъ для того, чтобы взглянуть своими глазами на мое житье, и во-вторыхъ для того, чтобы употребить всѣ усилія къ убѣжденію Григорья Иваныча взять меня къ себѣ. Третью причину я узналъ въ послѣдствіи: мать моя хотѣла, чтобы все время свободное отъ ученья, на праздникахъ зимней вакаціи, я проводилъ съ нею, а не въ семействѣ жены Ивана Ипатыча.

ковь и оттуда прислалъ шафера сказать, что онъ ожидаетъ невѣсту. Въ-торопяхъ я не успѣлъ спросить, кто такой женихъ, и ту же минуту поскакалъ къ нему. Со мной былъ человѣкъ В—хъ, знавшій жениха и его квартиру; онъ привезъ меня въ какой-то большой каменный домъ, въ которомъ много было народа, провелъ черезъ нѣсколько комнатъ и отворивъ дверь, сказалъ: «Вонъ женихъ, передъ зеркаломъ одѣвается...» и я увидѣлъ спину плотнаго мужчины, въ короткихъ штанахъ, шелковыхъ чулкахъ и башмакахъ, которому торопливо и усердно повязывали бѣлое толстое жабо. Я подошелъ, женихъ обернулся — это былъ Гурій Ивличъ *Л*—нъ, очень пополнѣвшій. Мы оба вскрикнули отъ изумленія. «Ахъ, милый мой Аксаковъ, сказалъ онъ, обнявъ меня, какъ я радъ, что васъ вижу; но извините меня, въ эту минуту я не могу...» Я перебилъ его слова, сказавъ, что я шаферъ его невѣсты и пріѣхалъ поторопить жениха. *Л*—нъ, продолжая поспѣшно одѣваться, продолжалъ говорить со мной:—«Какъ, я думаю вы удивлены?» сказалъ онъ. — «Да, отвѣчалъ я; я не зналъ кто женихъ; но я очень радъ, что вы женитесь на прекрасной и предоброй дѣвушкѣ.« »Ахъ, такъ вы еще ничего не знаете!» воскликнулъ *Л*—нъ, взялъ меня за руку, отвелъ въ сторону и тихо сказалъ мнѣ: «вы вѣрно помните мое письменное обѣщаніе не поступать въ духовное званіе; ну такъ знайте же: завтра я священникъ, а послѣ завтра протопопъ въ соборѣ Петра и Павла...» и слезы показались у него на глазахъ. Какія обстоятельства измѣнили или заставили пожертвовать Гурья Ивлича своимъ прежнимъ убѣжденіемъ—я не знаю; но видно жаль было ему своей свободы. Съ тѣхъ поръ мы не видались. Въ продолженіе пятидесяти лѣтъ, я постоянно слышалъ, что Гурій Ивличъ *Л*, былъ всѣми любимъ за свои душевныя качества и уважаемъ за свою ученость; кажется онъ былъ даже ректоромъ въ духовной академіи, не очень давно учрежденной въ К.

Лѣтнюю вакацію я прожилъ въ деревнѣ также пріятно, какъ и прошлаго года; но на возвратномъ пути случилось со мной происшествіе, которое произвело на меня сильное впечатлѣніе и слѣды котораго не изгладились до сихъ поръ: я сталъ гораздо болѣе бояться и теперь боюсь переправляться черезъ большія рѣки. Вотъ какъ случилось это происшествіе: мы пріѣхали въ полдень на лѣтній перевозъ черезъ Каму, противъ села Шурана. На берегу дожидались переправы три крестьянскихъ телѣги съ поклажей и вощиками и десятка полтора бабъ съ кузовами ягодъ. Бабы возвращались домой пѣшкомъ на противоположный берегъ Камы. Перевощиковъ на перевозѣ не было: куда разбрелись они не знаю. Потолковавъ нѣсколько времени, крестьяне и мои люди рѣшились сами переправиться черезъ рѣку, потому что одинъ изъ крестьянъ вызвался править кормовымъ весломъ, увѣривъ, что онъ нѣсколько лѣтъ былъ перевощикомъ. И такъ выбрали лучшій дощаникъ, поставили три крестьянскія телѣги съ лошадьми, мою кибитку и всѣхъ трехъ нашихъ лошадей; разумѣется, взяли и всѣхъ бабъ съ ягодами; мнимый перевощикъ сталъ на кормѣ, двое крестьянъ, мой кучеръ и лакей Иванъ Малышъ (молодецъ и силачъ, одинъ стоившій десятерыхъ) сѣли въ весла, и мы отчалили отъ пристани. Между тѣмъ черная туча взмывала на западѣ и мало по-малу охватывала край горизонта; ее нельзя было не примѣтить, но всѣ думали: авось пройдетъ стороной, или, авось успѣемъ переѣхать. Пристань находилась противъ самаго Шурана, и для того, чтобъ не быть снесеннымъ быстротою теченія сердитой Камы и чтобы угодить прямо на перевозъ,—надобно было подняться вверхъ по рѣкѣ на шестахъ слишкомъ версту. Это производилось очень медленно, а гроза быстро начала приближаться. Чтобы ускорить переѣздъ, поднялись вверхъ только съ

полверсты, опять сѣли въ весла и перекрестившись пустились на перебой поперекъ рѣки; но лишь только мы добрались до середины, какъ туча съ неимовѣрной скоростью обхватила весь горизонтъ, почернѣвшее небо еще чернѣе отразилось въ водѣ, стало темно, и страшная гроза разразилась молніей, громомъ и внезапной неистовой бурей. Корщикъ нашъ въ испугѣ бросилъ кормовое весло и признался, что онъ совсѣмъ не перевощикъ и править не умѣетъ; вихрь завертѣлъ нашъ паромъ, какъ щепку, и понесъ внизъ по теченію; бабы подняли пронзительный вой — и ужасъ овладѣлъ всѣми. Я такъ испугался, что не могъ промолвить ни одного слова и дрожалъ всѣмъ тѣломъ. Вихремъ и быстротой теченія снесло нашъ дощаникъ нѣсколько верстъ внизъ по рѣкѣ и наконецъ бросило на песчаную отмель, по счастію саженяхъ въ пятидесяти отъ противоположнаго берега. Иванъ Малышъ спрыгнулъ въ воду, она была ему по поясъ; онъ дошелъ бродомъ до берега, глубина воды нигдѣ не доставала выше груди. Онъ воротился тѣмъ же путемъ на паромъ, стащилъ съ него одну изъ нашихъ лошадей посмирнѣе, посадилъ меня верхомъ, велѣлъ крѣпко держаться за гриву и за шею лошади и повелъ ее въ поводу; Евсеичъ шелъ подлѣ и поддерживалъ меня обѣими руками. Мутныя и огромныя волны хлестали черезъ насъ и окачивали съ головой; по несчастью Малышъ, идя впереди, сбился съ того броду, по которому прошелъ два раза, и попалъ на болѣе глубокое мѣсто; вдругъ онъ нырнулъ въ воду, лошадь моя поплыла, и Евсеичъ отсталъ отъ меня; тутъ-то я почувствовалъ такой страхъ близкой смерти, котораго я не забылъ до сихъ поръ; каждую минуту я готовъ былъ лишиться чувствъ и едва не захлебнулся; по счастью глубина продолжалась не болѣе двухъ или трехъ сажень; Малышъ плавалъ мастерски, лошадь моя отъ него не от-

ставала и, не выпуская повода изъ рукъ, онъ скоро выплылъ на мелкое мѣсто и благополучно вывелъ на берегъ моего коня; но Евсеичъ, не умѣвшій хорошо плавать, едва не утонулъ и насилу выбился на берегъ. Меня, мокраго до послѣдней нитки, сняли съ лошади почти безъ памяти; пальцы мои закоченѣли, замерли въ гривѣ моего коня; но я скоро опомнился и невыразимо обрадовался своему спасенью. Евсеичъ остался со мной, а Малышъ пустился опять къ дощанику, съ котораго бабы, съ криками и воплями, не разставаясь съ кузовьями ягодъ, побросались въ воду; мужики постолкали своихъ лошадей и телѣги, и всѣ кое-какъ, по отмели, удачно отыскавъ бродъ помельче, добирались до берега. Дощаникъ, облегченный отъ большей части груза, поднялся и его начало тащить водою внизъ по теченію. Вотъ тутъ-то пригодилась сила Ивана Малыша: онъ удерживалъ дощанникъ до тѣхъ поръ, покуда нашъ кучеръ столкнулъ на отмель лошадей и нашу повозку; Малышъ пересталъ держать паромъ, и его сейчасъ унесло внизъ по рѣкѣ. Стоя въ водѣ по поясъ, заложили лошадей, и повозка моя, подмочивъ все въ ней находившееся, выѣхала на берегъ. Мы сѣли, мокрые и озябшіе, и поскакали въ Шуранъ; тамъ обогрѣлись, обсушились, напились горячаго чаю, и холодная ванна не имѣла для насъ никакихъ дурныхъ физическихъ послѣдствій. Но за то напугалась моя душа, и я во всю мою жизнь не могъ и не могу смотрѣть равнодушно на большую рѣку, даже въ тихое время; а во время бури, чувствую невольный ужасъ, котораго не въ силахъ преодолѣть.

Возвратясь въ гимназію, я принялся прилежно учиться. Семейство Е—хъ было въ деревнѣ и никто не развлекалъ меня. Гурій Ивличъ, обрадованный моимъ прилежаніемъ, усердно со мною занимался, и я скоро

сдѣлался однимъ изъ лучшихъ учениковъ во всѣхъ среднихъ классахъ, кромѣ математики. О классахъ Ибрагимова я уже не говорю; тамъ я былъ постоянно первымъ. Въ это время я горячо полюбилъ гимназію, учителей, надзирателей и веселыхъ товарищей. Меня не смущала болѣе эта безпрестанная суматоха и бѣготня, этотъ шумъ, говоръ, хохотъ и крикъ. Я не чувствовалъ ихъ—я самъ пѣлъ въ хорѣ, и строенъ, увлекателенъ показался мнѣ этотъ хоръ.—Осень стояла продолжительная и дождливая. Въ городѣ появилась сильная эпидемія лихорадокъ, которая посѣтила и меня. Бениса уже не было при гимназіи, и знакомый намъ Андрей Ивановичъ Риттеръ лечилъ всѣхъ гимназистовъ, даже полупансіонеровъ и своекоштныхъ; въ томъ числѣ лечилъ и меня. Сначала онъ довольно скоро перервалъ лихорадку, но она черезъ нѣсколько дней воротилась. Огромные порошки хинной корки съ Глауберовой солью, о которыхъ я до сихъ поръ не могу вспомнить безъ отвращенія, вторично прогнали лихорадку, но черезъ двѣ недѣли она опять воротилась съ бо́льшею жестокостью; такъ длилось дѣло довольно долго. Евсеичъ, видя, что леченье идетъ плохо, усумнился въ искусствѣ лекаря, котораго зналъ прежде за большаго гуляку и который нерѣдко пріѣзжалъ ко мнѣ, какъ выражался мой дядька: «на второмъ взводѣ». Евсеичъ осмѣлился доложить объ этомъ Ивану Ипатычу, прося его взять для меня другаго лекаря. Иванъ Ипатычъ осердился, сказалъ, что Риттеръ славится во всемъ городѣ успѣшнымъ леченіемъ лихорадокъ, и прогналъ моего дядьку; но онъ, любя меня горячо, помня приказаніе барыни, увѣдомилъ ее письмомъ о моей болѣзни. Моя мать, испуганная и встревоженная, еще не оправившаяся послѣ родовъ (семейство наше умножилось третьимъ братомъ), немедленно пріѣхала въ К. одна, наняла квартиру, пере-

везла меня къ себѣ, пригласила лучшаго доктора и принялась за мое леченье. Пріѣздъ въ К. было новое самопожертвованіе со стороны моей матери. Здоровье ея очень отъ того пострадало.... и вся жизнь ея состояла изъ такихъ самопожертвованій!—Съ Иваномъ Ипатычемъ не обошлось безъ непріятныхъ объясненій; онъ обижался и тѣмъ, что мать перевезла меня на свою квартиру, и тѣмъ, что взяла другаго доктора. Покуда меня лечили, что̀ продолжалось мѣсяца два, потому что у меня очень болѣлъ правый бокъ,—у Ивана Ипатыча вышла какая-то непріятность съ родителями Манасеиныхъ, вслѣдствіе чего онъ уничтожилъ свой пансіонъ и объявилъ, что болѣе держать воспитанниковъ не хочетъ. Мать моя очень обрадовалась этому обстоятельству: она и безъ того не оставила бы меня у Ивана Ипатыча, но тогда ей было бы гораздо труднѣе, даже невозможно, убѣдить Григорья Иваныча взять меня къ себѣ прямо отъ своего пріятеля. Впрочемъ и теперь она встрѣтила столько затрудненій, что успѣхъ долго казался сомнительнымъ. Надобно сказать, что во все продолженіе вторичнаго пребыванія моего въ гимназіи, дружескія отношенія Григорья Иваныча къ моему семейству не только не ослабѣвали, но постепенно возрастали. Мать моя вела съ нимъ самую живую переписку и онъ долженъ былъ оцѣнить ея умъ, необыкновенную материнскую любовь и постоянную къ нему дружбу, основанную на уваженіи къ его строгимъ нравственнымъ правиламъ. Не одинъ разъ слышалъ я самъ изъ другой комнаты, съ какимъ жаромъ сердечнаго краснорѣчія, съ какими горячими слезами, моя мать убѣждала, умоляла Григорья Иваныча быть моимъ воспитателемъ.... наконецъ твердость его была побѣждена: онъ согласился, хотя весьма не охотно. Онъ взялъ меня, не какъ воспитанника или пансіонера, а какъ молодаго товарища; ему было тогда

двадцать шесть лѣтъ, мнѣ—тринадцать. Онъ ни за что не согласился взять за меня деньги, но предложилъ, чтобы наемъ квартиры и столъ мы держали пополамъ; а для бо́льшаго удобства я имѣлъ свой особый чай; всѣ прочія издержки, какъ его, такъ и мои, разумѣется, каждый изъ насъ производилъ на свой счетъ. Когда моя мать достигла исполненія этого пламеннаго и давнишняго своего желанія, она была такъ счастлива, такъ свѣтла и радостна, что я глубоко почувствовалъ, что съ любовью матери никакая другая любовь сравниться не можетъ. Я также былъ очень радъ, что попалъ къ Григорью Иванычу. Я чувствовалъ къ нему глубокое уваженіе и даже любилъ его; нѣсколько странные и сухіе его пріемы не пугали меня: я хорошо зналъ, что эта холодная наружность, въ слѣдствіе его взгляда на воспитаніе, была принята имъ за правило въ обращеніи съ молодыми людьми; я думалъ тогда, что можетъ быть такъ и надо поступать, чего, конечно, не думаю теперь.

Немедленно наняли довольно хорошій и помѣстительный домъ тѣхъ же самыхъ Е—хъ, домъ, въ которомъ они тогда не жили, а отдавали внаймы. Сначала мать переѣхала туда со мною, устроила нашѐ будущее хозяйство и, сдавъ меня, уже совершенно выздоровѣвшаго, съ рукъ на руки Григорью Иванычу, исполненная самыхъ пріятныхъ надеждъ, уѣхала въ Оренбургское Аксаково къ остальному своему семейству. Это было уже въ февралѣ 1804 года.—Я не знаю болѣе отраднаго воспоминанія изъ моей ранней молодости, какъ воспоминаніе жизни у Григорья Иваныча. Она продолжалась два года съ половиной, и хотя въ концѣ ясность ея помутилась, но въ благодарной памяти моей сохранились живѣе и отчетливѣе только утѣшительныя картины. Долго не соглашался Григорій Иванычъ взять меня; но за то, согласившись,—

посвятилъ мнѣ всего себя. Ученье въ классахъ, съ успѣхомъ продолжаемое, было однако дѣломъ второстепеннымъ: главнымъ дѣломъ были упражненія домашнія. Я постоянно ходилъ только къ нѣкоторымъ учителямъ; классы же ариѳметики, рисованья и каллиграфіи посѣщались мною рѣдко; въ эти часы я работалъ дома подъ руководствомъ моего разумнаго наставника. Странное дѣло, что математика рѣшительно не шла мнѣ въ голову! Григорій Иванычъ сначала усердно занимался со мною и нельзя сказать, чтобъ я не понималъ его необыкновенно ясныхъ толкованій; но я сейчасъ забывалъ понятое и Григорій Иванычъ подумалъ, что я даже не понимаю ничего. Зная, что я былъ друженъ съ лучшимъ студентомъ математики, Александромъ К—мъ, онъ предложилъ ему попробовать заняться со мною, и что же? У К—ча я понималъ гораздо лучше, чѣмъ у Григорія Иваныча и долѣе помнилъ. Но все это ни къ чему не повело: черезъ нѣсколько дней не оставалось въ головѣ моей ни одного предложенія, ни одного доказательства. Отличная память моя, относительно математики оказывалась чистымъ листомъ бѣлой бумаги, на которомъ не сохранялось ни одного математическаго знака! а потому наставникъ мой, сообразно моимъ природнымъ наклонностямъ и способностямъ, устроилъ планъ моего образованія: общаго, легкаго, преимущественно литературнаго. Онъ выписалъ для меня немедленно множество книгъ. Сколько могу припомнить, это были: Ломоносовъ, Державинъ (*), Дмитріевъ, Капнистъ и Хемницеръ. У меня былъ уже Сумароковъ и Херасковъ, но Григорій Иванычъ никогда не читалъ ихъ со мною.

(*) Тогда находился въ печати только одинъ томъ одъ Державина и еще небольшой томикъ анакреонтическихъ стихотвореній, напечатанный въ «Петроградѣ», какъ значилось на заглавномъ листѣ. Видно Державину не нравилось иностранное имя новой Русской столицы.

На французскомъ языкѣ были выписаны: Массильонъ, Флешье и Бурдалу, какъ проповѣдники; сказки Шехеразады, Донъ-Кишотъ, смерть Авеля, Геснеровы Идиліи, Вакфильдскій священникъ, двѣ натуральныя Исторіи, и въ томъ числѣ одна съ картинками, какихъ авторовъ—не знаю. Натуральная исторія была для меня самой привлекательной наукой. Другихъ книгъ не припомню; но были и еще какія-то. Воспитатель мой прежде всего занялся со мною иностранными языками, преимущественно французскимъ, въ которыхъ я, да почти и всѣ ученики, былъ очень слабъ; въ три мѣсяца я могъ свободно читать и понимать всякую французскую книгу. Ученье вокабулъ, грамматики и разговоровъ шло само по себѣ въ классѣ; но дома я ничего не училъ наизусть. Григорій Иванычъ бралъ книгу, заставлялъ меня читать и переводить словесно. Сначала я ровно ничего не понималъ, и это было мнѣ дико и скучно; но учитель мой упорно продолжалъ свою методу, и скорый успѣхъ удивилъ и обрадовалъ меня. Неизвѣстныя слова я записывалъ особо; потомъ словесный переводъ, всегда повторенный два раза, писалъ на бумагѣ; при моей свѣжей памяти, я, не уча, всегда зналъ наизусть на другой же день и французскій оригиналъ, и русскій переводъ, и всѣ отдѣльно записанныя слова. Первая прочитанная и переведенная мною статья была изъ французской Хрестоматіи: «Les aventures d'Aristonoy»; непосредственно послѣ нее, я началъ читать и переводить Шехеразаду, а потомъ Донъ-Кишота. Нѣкоторыя мѣста мнѣ не позволялось читать, и я съ точностью исполнялъ приказаніе. Боже мой! какъ было мнѣ весело учиться по такимъ веселымъ и увлекательнымъ книгамъ! Даже теперь, по прошествіи пятидесяти лѣтъ, я вспоминаю съ живѣйшимъ удовольствіемъ объ этѣхъ чтеніяхъ; помню, съ какимъ нетерпѣніемъ дожидался я

взпаченнаго для нихъ времени, почти всегда немедленно послѣ обѣда!

Григорій Иванычъ серьёзно занимался своей наукой и, пользуясь трудами знаменитыхъ тогда ученыхъ по этой части, писалъ собственный курсъ чистой математики, для преподаванія въ гимназіи; онъ читалъ много нѣмецкихъ писателей, философовъ, и постоянно совершенствовалъ себя въ латинскомъ языкѣ (*). Читая же со мною Шехеразаду и Донъ-Кишота, онъ отдыхалъ отъ своихъ умственныхъ трудовъ и отъ души хохоталъ вмѣстѣ со мною, какъ совершенный мнѣ ровесникъ, или лучше сказать, какъ дитя, чѣмъ сначала приводилъ меня въ большое изумленіе; въ это время нельзя было узнать моего наставника; вся его сухость и строгость исчезали, и я полюбилъ его такъ горячо, какъ роднаго старшаго брата, хотя въ то же время очень его боялся. Но когда я довольно успѣлъ во французскомъ языкѣ, чтеніе русскихъ писателей, преимущественно стихотворцевъ, сдѣлалось главнѣйшимъ нашимъ занятіемъ. Григорій Иванычъ такъ хорошо, такъ понятно объяснялъ мнѣ красоты поэтическія, мысль автора и достоинство выраженій, что моя склонность къ литературѣ скоро обратилась въ страстную любовь. Безъ всякаго усилія съ моей стороны, я выучивалъ всѣ лучшіе стихи изъ Державина, Ломоносова и Капниста, которые выбиралъ для меня мой строгой воспитатель; стихотворенія же Ив. Ив. Дмитріева, какъ образцовыя тогда по чистотѣ и правильности языка, я зналъ наизусть почти всѣ. Мы очень мало читали Русской прозы, вѣроятно отъ того,

(*) Григорій Иванычъ отлично зналъ новѣйшіе языки и свободно писалъ на нихъ. Латинскимъ же языкомъ онъ приводилъ въ изумленіе В—ій университетъ, котораго въ послѣдствіи былъ послѣднимъ Попечителемъ. Удивительно, какъ и гдѣ онъ могъ пріобрѣсть такія свѣдѣнія въ языкахъ?

что мой наставникъ не былъ доволенъ тогдашними прозаиками. Достойно замѣчанія, что онъ не читалъ со мною Карамзина, кромѣ нѣкоторыхъ писемъ «Русскаго путешественника», и не позволилъ мнѣ имѣть въ моей библіотекѣ: «Моихъ бездѣлокъ.» Я читалъ уже прежде все, написанное Карамзинымъ, зналъ на память и съ жаромъ декламировалъ «Прощанье Гектора съ Андромахой» и «Опытную Соломонову Мудрость.» Я поспѣшилъ было похвастаться этимъ предъ своимъ наставникомъ, но онъ наморщился и сказалъ, «что первая піеса не даетъ понятія о Гомерѣ, а вторая объ Экклезіастѣ «и прибавилъ», что Карамзинъ не поэтъ, и что лучше этѣ піесы совсѣмъ позабыть.» Я былъ очень изумленъ; обѣ піесы мнѣ нравились, и я продолжалъ декламировать ихъ потихоньку, когда мнѣ случалось одному гулять по саду. Сочинять мнѣ не дозволялось, и я наслаждался этимъ удовольствіемъ или въ классѣ у Ибрагимова, или дома, также потихоньку. Я слышалъ одинъ разъ изъ своей комнаты, которая отдѣлялась тонкою дверью отъ гостиной, служившей ученымъ кабинетомъ и спальной для Григорья Иваныча какъ онъ разговаривалъ обо мнѣ съ Ибрагимовымъ. Ибрагимовъ очень меня хвалилъ и показалъ моему воспитателю мое классное сочиненіе, въ видѣ письма къ пріятелю, «О красотахъ весны», и прибавилъ. что не худо бы занимать меня поболѣе сочиненіями. Григорій Иванычъ, сохранявшій всегда надъ своими товарищами какое-то превосходство, весьма рѣшительно ему отвѣчалъ: «Все это, братецъ, совершенные пустяки. Сочиненіе его состоитъ изъ чужихъ фразъ, нахватанныхъ имъ изъ разныхъ книгъ, а потому даже и нельзя судить, имѣетъ ли онъ свое собственное дарованіе. Охота у него большая, и я знаю, что онъ скоро начнетъ марать бумагу; но я буду держать его на возжахъ, какъ можно дольше: чѣмъ позже начнетъ сочи-

нять мой Телемакъ (*), тѣмъ лучше. Надобно, чтобы молодой человѣкъ набрался хорошихъ примѣровъ и образовалъ свой вкусъ, читая сочинителей, пишущихъ стройно и правильно. Ты думаешь, я всего Державина даю ему читать? Напротивъ, онъ знаетъ стихотвореній двадцать не больше, а Дмитріева знаетъ всего. Я думаю, ты у меня его портишь. Вѣроятно «Бѣдная Лиза», «Наталья, боярская дочь» и драматическій отрывокъ «Софья»—не выходятъ у тебя въ классѣ изъ рукъ?» Ибрагимовъ обидѣлся и возразилъ, «что онъ хорошо понимаетъ, что эти піесы, не смотря на ихъ прелесть, неприличны для учениковъ» «Хорошо, что такъ, продолжалъ мой наставникъ; а нашъ Эрихъ (**) именно эти піесы заставилъ переводить на французской языкъ». Разговоръ продолжался довольно долго, и какъ я ни былъ молодъ, но понималъ разумность рѣчей моего воспитателя. Онъ не зналъ, что я дома и потому такъ громко разговорился обо мнѣ: я воротился изъ гимназіи ранѣе обыкновеннаго, потому что учителя не было въ классѣ, и прошелъ въ свою комнату, ни кѣмъ не замѣченный. Тутъ я услышалъ также, какъ высоко Григорій Иванычъ цѣнилъ мою мать; но увы, ни одного лестнаго отзыва не сказалъ онъ обо мнѣ, а какъ мнѣ хотѣлось услышать что-нибудь подобное! Точно онъ зналъ, что я подслушиваю у двери. — Странное, непостижимое дѣло! Разсуждая теперь о прошедшемъ, я не умѣю себѣ объяснить, отчего я былъ такъ горячо привязанъ къ Григорію Иванычу? По молодости я не могъ тогда по-

(*) Такъ звали меня въ шутку всѣ товарищи Григорья Иваныча, величая его въ то же время «Ментором» и Минервой».

(**) Эрихъ былъ большой лингвистъ, какъ въ новѣйшихъ, такъ и въ древнихъ языкахъ. Въ гимназіи онъ училъ въ высшемъ классѣ французскому и нѣмецкому языкамъ, а въ университетѣ былъ сдѣланъ адъюнктомъ латинской и греческой словесности.

нимать вполнѣ, что его сухое обращеніе прикрывало глубокое участіе и душевное расположеніе ко мнѣ. Онъ ни разу не приласкалъ меня, не польстилъ моему самолюбію какою-нибудь похвалою, не ободрилъ моего прилежанія, и со всѣмъ тѣмъ, я любилъ его такъ горячо, какъ не любилъ никого изъ постороннихъ. Я помню, какъ одинъ разъ услышалъ я, что онъ смѣется: я заглянулъ въ его комнату и увидѣлъ, что мой строгой наставникъ, держа въ рукѣ какую-то математическую книгу, хохочетъ, какъ дитя, смотря на играющихъ котятъ.... Лице у него въ то время было такое доброе, ласковое, даже нѣжное, что я позавидывалъ котятамъ. Я вошелъ къ нему въ комнату съ своей тетрадкой — и прежняя спокойная холодность, даже какая-то суровость, выразились на его лицѣ.

Такъ шло мое время; Григорій Иванычъ становился по временамъ доступнѣе, и рѣчи его, если не были ласковы, то покрайней мѣрѣ иногда дѣлались шутливы, но только наединѣ, преимущественно во время чтенія Донъ-Кишота, въ которомъ Санхо-Пансо былъ для насъ неистощимымъ источникомъ смѣха; какъ же скоро появлялся третій, хотя бы Евсеичъ, — наставникъ мой дѣлался серьёзнымъ.

Григорій Иванычъ былъ сынъ малороссійскаго дворянина, священника, имѣвшаго около ста душъ крѣпостныхъ крестьянъ; прадѣдъ его Турокъ, не знаю по какимъ причинамъ, выѣхалъ изъ Турціи, принялъ христіанскую вѣру, женился и поселился въ Малороссіи. Григорій Иванычъ не былъ любимымъ сыномъ у матери, но за то отецъ любилъ его съ материнскою нѣжностью. Видя, что мальчику въ домѣ житье плохое, отецъ отвезъ его по девятому году въ Москву и помѣстилъ въ университетскую гимназію на казенное содержаніе. Сынъ былъ горячо, страстно къ нему привязанъ и очень тосковалъ, оставшись

въ Москвѣ; старикъ черезъ годъ пріѣхалъ навѣстить его, и мальчикъ такъ обрадовался, что получилъ отъ волненія горячку; бѣдный отецъ долженъ былъ оставить своего любимца, еще больнаго. Черезъ годъ старикъ умеръ. Въ продолженіе восьмнадцати лѣтъ, со времени своего опредѣленія въ Московскую гимназію, Григорій Иванычъ одинъ только разъ ѣздилъ на побывку въ Малороссію, передъ поступленіемъ въ званіе учителя, и вывезъ изъ родительскаго дома непріятное и тягостное ощущеніе. Все это разсказалъ мнѣ его слуга, хохолъ Яшка, котораго онъ привезъ съ собою. Въ выговорѣ моего воспитателя, въ складѣ его ума и въ наружности не было ни малѣйшаго признака Малоросса. Кажется, родина не привлекала его, и я часто слышалъ, какъ онъ, высоко ставя великорусской толкъ, подсмѣивался надъ хохлацкой лѣнью и тупостью, за что очень сердились его земляки Иванъ Ипатычъ и Маркевичъ, служившій въ гимназіи экономомъ, человѣкъ необыкновенно добрый, съ порядочнымъ брюхомъ, природный юмористъ и презабавный шутникъ, который очень ласкалъ меня и котораго я очень любилъ.

Пришла весна 1804-го года, и на страстной недѣлѣ Григорій Иванычъ говѣлъ со мною, соблюдая постъ и церковные обряды со всею строгостью. Приходская наша церковь Св. Великомученицы Варвары находилась у самой заставы за такъ называемымъ Арскимъ полемъ; мы, не смотря на весеннюю распутицу, ходили въ церковь на всѣ службы, даже къ заутрени. Въ это время зашелъ къ намъ Иванъ Ипатычъ, и я нечаянно услышалъ, какъ онъ шутилъ надъ богомольемъ Григорья Иваныча. Изъ его словъ можно было заключить, что мой воспитатель не былъ прежде ревностнымъ исполнителемъ религіозныхъ обрядовъ; но на этотъ разъ онъ строго отдѣлалъ своего пріятеля за неумѣстныя шутки, такъ что Иванъ Ипатычъ,

имѣвшій претензію слыть философомъ, очень осердился и долго не ходилъ къ намъ. Я долженъ сказать, что Григорій Иванычъ во всю жизнь былъ истиннымъ христіаниномъ. Не смотря на маленькую ссору съ Иваномъ Ипатычемъ, наставникъ мой уѣхалъ со мной въ его деревню, и мы вдвоемъ провели время въ Кощаковѣ, безъ хозяевъ, очень пріятно; мы жили въ небольшомъ флигелѣ, на берегу широкаго пруда, только что очищавшагося тогда отъ зимняго льда; мы постоянно читали что-нибудь, и не смотря на грязь, каждый день два раза ходили гулять. Весна развлекала меня и слишкомъ живо напоминала весну въ Аксаковѣ. Крикъ прилетныхъ птицъ волновалъ душу будущаго охотника. Одинъ разъ, когда Григорій Иванычъ читалъ со мною серьёзную книгу на французскомъ языкѣ и, сидя у раствореннаго окна, старался объяснить мнѣ какую-то мысль, неясно мною понимаемую,—вдругъ куликъ красноножка, зазвенѣвъ своими мелодическими трелями, загнувъ къ верху свои крылья, и вытянувъ длинныя, красныя ноги, плавно опустился на берегъ пруда, противъ самаго окошка — я вздрогнулъ, книга выпала у меня изъ рукъ и я бросился къ окну. Наставникъ мой былъ изумленъ. Я задыхаясь повторялъ: «куликъ, куликъ красноножка, сѣлъ на берегъ близехонько, вонъ онъ ходитъ....» Но Григорій Иванычъ не понималъ чувства охотника и сурово приказалъ мнѣ сѣсть и продолжать. Я повиновался, и хотя не смотрѣлъ на кулика, но слышалъ его голосъ; кровь бросилась мнѣ въ лице и я не понималъ ни одного слова въ моей книгѣ. Воспитатель мой съ неудовольствіемъ велѣлъ мнѣ положить ее и заняться переписываніемъ на бѣло одного изъ моихъ прежнихъ, уже исправленныхъ имъ, переводовъ, а самъ принялся читать. Черезъ часъ онъ спросилъ меня: «Вылетѣлъ ли куликъ изъ вашей головы?» Я отвѣчалъ утвердительно,

и мы принялись за прерванное занятіе. Надобно прибавить, что Григорій Иванычъ всегда былъ очень снисходителенъ въ подобныхъ случаяхъ: какъ только онъ замѣчалъ, что я утомлялся или развлекался чѣмъ-нибудь, онъ приказывалъ мнѣ идти гулять по саду или заняться механическимъ дѣломъ.

Наступилъ іюнь и время экзаменовъ. Я былъ отличнымъ ученикомъ во всѣхъ среднихъ классахъ, которые посѣщалъ, но какъ въ нѣкоторые я совсѣмъ не ходилъ, то и награжденія никакого не получилъ; это не помѣшало мнѣ перейти въ высшіе классы. Только девять учениковъ, кончивъ курсъ, вышли изъ гимназіи, а всѣ остальные остались въ высшемъ классѣ на другой годъ.

Тройка лошадей и повозка уже пріѣхали за мной. Мы съ Евсеичемъ собрались въ дорогу, и въ день публичнаго акта, также въ первыхъ числахъ іюля, послѣ обѣда назначено было намъ выѣхать. Наканунѣ Григорій Иванычъ сказалъ, что хочетъ проводить меня и спросилъ, доволенъ ли я его намѣреніемъ? Я отвѣчалъ, что очень доволенъ. Я подумалъ, что онъ хочетъ проводить меня за городъ. На другой день по утру, Евсеичъ шепнулъ мнѣ по секрету: «Григорій Иванычъ ѣдетъ съ нами въ Аксаково, только не велѣлъ вамъ сказывать». Хотя я занимался ученьемъ очень охотно, но не совсѣмъ былъ доволенъ этимъ извѣстіемъ, потому что во время вакаціи я надѣялся хорошенько поудить, а главное — пострѣлять; отецъ обѣщалъ еще за годъ, что онъ приготовитъ мнѣ ружье и выучитъ меня стрѣлять. Я зналъ, что Григорій Иванычъ не прекратитъ своихъ занятій со мной и отниметъ у меня много времени; къ тому же мнѣ показалась непріятною его скрытность. Евсеичъ также почему-то не былъ доволенъ. Послѣ акта мы пообѣдали нѣсколько ранѣе обыкновеннаго и выѣхали изъ города. Я не показывалъ виду,

что знаю намѣреніе Григорья Иваныча. Выѣхавъ за заставу, мы пошли пѣшкомъ. Наставникъ мой былъ очень доволенъ и даже веселъ: любовался видомъ зеленыхъ полей, лѣсовъ и мелкими облачками лѣтняго неба. Вдругъ онъ сказалъ улыбаясь: «Погода такъ хороша, что я хочу проводить васъ до ночевки, до Мёши, и посмотрю, какъ вы меня накормите рыбой.» Я притворился, что ничего не знаю. «Такъ сядемте же и поѣдемте поскорѣе, сказалъ я, чтобъ пораньше пріѣхать. Да когда же и на чемъ вы воротитесь?» «Я ночую съ вами въ повозкѣ, а завтра поутру найму телѣгу»; отвѣчалъ Григорій Иванычъ, смотря на меня пристально. Мы сѣли и поѣхали шибкой рысью. Вечеръ былъ великолѣпный, очаровательный; съ нами были удочки, и мы съ Евсеичемъ на Мёшѣ наудили множество рыбы, которую и варили и жарили; спать легли въ повозкѣ. Проснувшись на другой день поутру, я увидѣлъ, что мы ѣдемъ, что солнце уже взошло высоко и что Григорій Иванычъ сидитъ подлѣ меня и смѣется. Я самъ разсмѣялся и признался, что зналъ его намѣреніе давно. Онъ пожурилъ однако Евсеича за нескромность и, прочтя на моемъ лицѣ, что я не совсѣмъ доволенъ, сказалъ: «Вы боитесь, что я помѣшаю вамъ гулять, но не бойтесь. Я стану заниматься съ вами тогда, когда вы сами будете просить о томъ. Вотъ теперь дорогой нечего намъ дѣлать, такъ мы будемъ что-нибудь читать....» И вытащилъ изъ кармана книгу. Я былъ совершенно утѣшенъ такими словами и охотно бросился бы на шею своему воспитателю; но я не смѣлъ о томъ и подумать. Мы очень много занимались дорогой; а сверхъ того, я перечиталъ наизусть все, что зналъ, даже разговаривали гораздо больше и откровеннѣе, чѣмъ въ К.; но гдѣ только можно было удить—я удилъ, сколько было мнѣ угодно. Такимъ образомъ, въ пятый день пріѣхали мы въ Ак-

саково. Пріѣздъ Григорья Иваныча былъ самою пріятною неожиданностью для моей матери; она пришла въ восхищеніе.

Противъ всякаго ожиданія мы нашли полонъ домъ родныхъ, гостей и большую суматоху: тетка моя Евгенья Степановна выходила замужъ и черезъ нѣсколько дней назначена была свадьба. Евгеньѣ Степановнѣ стукнуло уже сорокъ лѣтъ, но она была очень свѣжа и моложава; ей наскучило жить въ домѣ у невѣстки и находиться въ полной зависимости отъ хозяйки, которая въ старые годы много терпѣла отъ своихъ золовокъ и въ томъ числѣ отъ неё, хотя она была лучше другихъ. Евгеньѣ Степановнѣ захотѣлось, хоть подъ старость, зажить своимъ домкомъ, имѣть свой уголокъ и быть въ немъ полной хозяйкой. Она выходила за мужъ за Василья Васильевича Угличинина, цѣлый вѣкъ служившаго въ военной службѣ и недавно вышедшаго въ отставку, полковникомъ. Это былъ человѣкъ очень простой, добрый, смирный и честный; ему было далеко за пятьдесятъ лѣтъ. Онъ не имѣлъ никакого состоянія, кромѣ пенсіи, и происходилъ изъ самобѣднѣйшихъ дворянъ или однодворцевъ, переселившихся въ Уфимское намѣстничество. Четырнадцати лѣтъ опредѣлили его въ военную службу; онъ служилъ тихо, исправно, терпѣлъ постоянную нужду, былъ во многихъ сраженіяхъ и получилъ нѣсколько легкихъ ранъ; онъ не имѣлъ никакихъ знаковъ отличія, хотя формулярный списокъ его былъ такъ длиненъ и краснорѣчивъ, что кажется должно бы его обвѣшать всякими орденами. Послѣднее время онъ служилъ на Кавказѣ, откуда вывезъ небольшую сумму денегъ, накопленную изъ жалованья, мундиръ безъ эполетъ, горскаго, побѣлѣвшаго отъ старости, коня, ревматизмъ во всемъ тѣлѣ и катаракту на правомъ глазу; катаракту по счастью былъ не такъ примѣтенъ, и Василій

Васильичъ старательно скрывалъ его, боясь, что за кривaго не пойдетъ невѣста. У Евгеніи Степановны, въ семи верстахъ отъ ея сестры Александры Степановны, находилась деревушка изъ двадцати пяти душъ, при ней маленькій домикъ, сложенный изъ двухъ крестьянскихъ срубовъ, на родниковой рѣчкѣ Бовлѣ, кипѣвшей форелью (уголокъ очаровательный!), и достаточное количество превосходной земли, со всякими угодьями, купленной на ея имя у Башкирцевъ за самую ничтожную цѣну, о чемъ хлопоталъ деверь ея, самъ полу-Башкирецъ, И. П. Кротковъ (*). И такое ничтожное имѣньице казалось заслуженному воину спокойной пристанью, кускомъ хлѣба на старость.

Всѣ потихоньку подсмѣивались надъ старымъ и кривымъ женихомъ, кромѣ моей матери, отца и Григорья Иваныча, которые обходились съ нимъ съ уваженіемъ и привѣтливо. Злые языки объясняли ласковость моей матери тѣмъ, что она хотѣла сбыть съ рукъ золовку. Но это не правда: моя мать всегда умѣла цѣнить и уважать простодушныхъ и безхитростныхъ людей; она искренно совѣтовала Е. С выйти за-мужъ за добраго человѣка, и Е. С. благодарила ее за эти совѣты, во всю свою жизнь. Григорій Иванычъ находилъ сверхъ того особенное удовольствіе въ разговорахъ съ заслуженнымъ инвалидомъ, и Василій Васильичъ, до крайности неразговорчивый съ другими, охотно отвѣчалъ на его вопросы и разсказывалъ очень много любопытнаго. Воспитатель мой тогда же обратилъ мое вниманіе и сочувствіе къ этому человѣку, объяснивъ мнѣ его достоинства, которыхъ я, по молодости лѣтъ, могъ не понять и не замѣтить. Въ домѣ не было

(*) Увы! земля эта отошла, послѣ многолѣтней тяжбы съ сосѣдственной Бовлинской тюбой Башкирцевъ, которые доказали, что они настоящіе вотчинники. Бѣдная тетка моя купила не подалеку 900 десятинъ и должна была перевесть свою деревушку и перевесть усадьбу.

мѣста для мужчинъ, даже женщины съ трудомъ помѣщались, потому что три комнаты были отдѣлены для будущихъ молодыхъ. Это привело въ затрудненіе мою мать, и она сдѣлала поступокъ, котораго мужнина родня никогда ей не прощала: она отдала Григорью Иванычу свою спальню, въ которую никто изъ постороннихъ не смѣлъ и входить, и помѣстила съ нимъ меня, разумѣется на то время, пока не разъѣхались гости. Въ положенный срокъ свадьба благополучно совершилась. Отецъ мой проводилъ молодыхъ Угличининыхъ на новоселье и немедленно воротился. Наконецъ мы остались одни въ своей семьѣ.

Я прерываю свой разсказъ и забѣгаю впередъ. Такъ живо представилась мнѣ жизнь Угличининыхъ, что хочется поговорить о ней.... Не смотря на недостатки и нужду, которыхъ не знала Евгенья Степановна въ своей дѣвической жизни, проведя ея сначала въ домѣ родительскомъ, а потомъ въ домѣ брата и снохи—и которыя она узнала за-мужемъ—она была совершенно счастлива. Она любила нѣжно и горячо своего инвалида-полковника, который также очень нѣжно и глубоко любилъ ее. Къ-сожалѣнію они не имѣли дѣтей. Евгенья Степановна до глубокой старости сохранила какой-то дѣвическій, цѣломудренный видъ; въ обращеніи съ мужемъ она была стыдлива и никогда никакой ласки при свидѣтеляхъ ему не оказывала, надъ чѣмъ иногда подсмѣивался старый воинъ, намекая, что не всегда Евгенья Степановна бываетъ такъ неприступна. При другихъ они были далеки между собой, всегда говорили другъ другу: *вы*, и вообще обходились очень учтиво. Съ перваго взгляда это могло показаться холодностью, но скоро взаимное, заботливое вниманіе, постоянное наблюденіе другъ за другомъ, участіе къ каждому слову и движенію—дѣлались замѣтны, и всл-

кой убѣждался, что Евгенья Степановна живетъ и дышетъ Васильемъ Васильичемъ, а Василій Васильичъ, хотя не такъ тревожно, живетъ и дышетъ Евгеньей Степановной. Домикъ ихъ блисталъ опрятностью и чистотою, привлекалъ уютностью, дышалъ спокойствіемъ, тишиной, счастіемъ. Нельзя сказать, чтобъ у нихъ были одинаковые вкусы, но самое разногласіе сливалось у нихъ въ стройное теченіе жизни. Евгенья Степановна, напримѣръ, любила кошекъ, собачекъ и пѣвчихъ птичекъ, которыя, надобно замѣтить, какъ-то у нее не сорили, не пачкали и ничего не портили; Василій Васильичъ совсѣмъ не любилъ ихъ, но самая безобразная, хрипучая моська, съ языкомъ на сторону, по прозванію: «Калмыкъ», — была ему пріятна и дорога, потому что ее любила Евгенья Степановна, и онъ кормилъ, ласкалъ отвратительнаго Калмыка съ удовольствіемъ и благодарностью. Даже сурокъ, который зимовалъ подъ печкой, который очень забавлялъ Евгенью Степановну и очень обижалъ Василья Васильича, потому что затаскивалъ и пряталъ его туфли такъ искусно, что иногда цѣлый день не могли отыскать ихъ, отчего приходилось полковнику вставать съ постели босикомъ, — даже и сурокъ пользовался его благосклонностью. Все у нихъ въ домикѣ было какъ-то на своемъ мѣстѣ, какъ-то лучше, чѣмъ у другихъ: собаки и кошки жирнѣе и опрятнѣе, пѣвчія птички веселѣе и голосистѣе, растенія зеленѣе. Подарятъ бывало имъ горшокъ какихъ-нибудь засыхающихъ цвѣтовъ—они у нихъ оживутъ, позеленѣютъ и необыкновенно разростутся, такъ что прежній хозяинъ выпроситъ ихъ назадъ. Въ маленькихъ комнатахъ у Евгеньи Степановны росли и стручковое дерево, и финикъ, и виноградъ отъ косточекъ изюма, и другія растенія, требующія тепличнаго содержанія. Какъ-будто въ воздухѣ было нѣчто успокоительное и живительное,

отчего и животному и растенію было привольно и что замѣняло имъ, хоть отчасти, дикую свободу, или природный климатъ.... Василій Васильичъ и Евгенья Степановна вмѣстѣ смотрѣли за своимъ маленькимъ хозяйствомъ, и безъ всякаго отягощенія, всего дѣлалось у нихъ вдвое болѣе, скорѣе и лучше, чѣмъ у другихъ. Вмѣстѣ ходили они по грибы и по ягоды, вмѣстѣ ловили чудную форель въ своей рѣчкѣ и вмѣстѣ радовались всякой удачѣ.... Но Боже мой, что дѣлалось съ ними, если кто-нибудь изъ нихъ захворывалъ! Тутъ только оказывалась вполнѣ эта взаимная, глубокая и нѣжная любовь, которую въ обыкновенное время не вдругъ и замѣтишь.... Но я удержусь отъ дальнѣйшихъ подробностей, которыя завели бы меня далеко. Скажу только, что впослѣдствіи, заѣзжая иногда въ этотъ уединенный уголокъ и посмотря нѣсколько часовъ на эту безцвѣтную, скромную жизнь, я всегда поддавался ея впечатлѣнію и спрашивалъ себя: не здѣсь ли живетъ истинное счастіе человѣческое, чуждое неразрѣшимыхъ вопросовъ, неудовлетворяемыхъ требованій, чуждое страстей и волненій? Долго звучалъ во мнѣ гармоническій строй этой жизни, долго чувствовалъ я какое-то грустное умиленіе, какое-то сожалѣніе о потери того, что имѣть казалось такъ легко, что было подъ руками. Но когда задавалъ я себѣ вопросъ: не хочешь ли быть Васильемъ Васильичемъ?... я пугался этого вопроса и умилительное впечатлѣніе мгновенно исчезало.

Отецъ мой сдержалъ свое обѣщаніе: онъ приготовилъ мнѣ легонькое ружье, очень ловкое въ прикладѣ и красиво отдѣланное, *съ видомъ* (*) (на манеръ тогдашнихъ охотничьихъ англійскихъ ружей), съ серебряной насѣч-

(*) Ружье, стволъ котораго къ концу толще и потому шире,—называется или называлось съ видомъ.

кой и цѣлью; онъ купилъ его какъ-то по случаю, за пятнадцать рублей ассиг., и хотя ружье было тульской работы, но и по тогдашнимъ цѣнамъ стоило вдвое или втрое дороже; шаговъ на пятьдесятъ оно било очень хорошо.—Первый выстрѣлъ изъ ружья, которымъ я убилъ ворону, рѣшилъ мою судьбу: я сдѣлался безумнымъ стрѣлкомъ. На другой день я застрѣлилъ утку и двухъ болотныхъ куликовъ, и окончательно помѣшался. Удочка и ястреба были забыты, и я, увлеченный страстностью моей природы, бѣгалъ съ ружьемъ цѣлый день и грезилъ объ ружьѣ цѣлую ночь. Такъ продолжалось и послѣдующіе дни. Григорій Иванычъ, видя меня только мелькомъ, всегда занятаго и спѣшащаго, напрасно ожидалъ, чтобы я попросилъ его заняться со мною. Онъ сказалъ о нашемъ уговорѣ моей матери, и она приказала мнѣ, чтобы я просилъ Григорья Иваныча занимать меня, каждый день два часа, чѣмъ-нибудь по его усмотрѣнію. Такое приказаніе было мнѣ очень не по вкусу, но я повиновался. Сначала Григорій Иванычъ не могъ безъ смѣха смотрѣть на мою жалкую фигуру и лице, но когда, развернувъ какую-то французскую книгу и начавъ ее переводить, я сталъ путаться въ словахъ, не понимая отъ разсѣянности того, что я читалъ, ибо передъ моими глазами летали утки и кулики, а въ ушахъ звенѣли ихъ голоса,—воспитатель мой наморщилъ брови, взялъ у меня книгу изъ рукъ и, ходя изъ угла въ уголъ по комнатѣ, цѣлый часъ читалъ мнѣ наставленія, убѣждая меня, чтобы я побѣдилъ въ себѣ вредное свойство увлекаться до безумія, до забвенія всего меня окружающаго.... Увы, я ничего не слыхалъ, ничего не понималъ, и всѣ его золотыя слова, справедливыя мысли, убѣдительныя доказательства—улетали на воздухъ. Видя безуспѣшность убѣжденій, Григорій Иванычъ испыталъ другое средство: на цѣлую не-

дѣло оставилъ онъ меня на свободѣ, съ утра до вечера бѣгать съ ружьемъ до упаду, до совершеннаго истощенія; онъ надѣялся, что я опомнюсь самъ, что пресыщеніе новой охотой и усталость возвратятъ мнѣ разсудокъ; но напрасно: я не выпускалъ ружья изъ рукъ, мало ѣлъ, дурно спалъ, загорѣлъ, какъ Арапъ, и примѣтно похудѣлъ. Тогда наставникъ мой, опасясь за мое здоровье, принялъ рѣшительныя мѣры, которыя давно совѣтовала ему моя мать, но въ распоряженія его не мѣшалась: ружье повѣсили на стѣнку, и мнѣ запретили ходить на охоту. Смѣшно и совѣстно вспомнить, что было со мною въ первыя сутки! Я плакалъ, ревѣлъ какъ маленькое дитя, валялся по полу, рвалъ на себѣ волосы и едва не изорвалъ своихъ книгъ и тетрадей, и конечно только огорченіе матери и кроткія увѣщанія отца спасли меня отъ глупыхъ, безумныхъ поступковъ; на другой день я какъ будто очнулся, а на третій могъ уже заниматься и читать вслухъ моихъ любимыхъ стихотворцевъ со вниманіемъ и удовольствіемъ; на четвертый день я совершенно успокоился, и тогда только прояснилось лице моего наставника. Во всѣ эти дни онъ почти не говорилъ со мною и смотрѣлъ на меня то сурово, то съ обиднымъ сожалѣніемъ. Наконецъ онъ обратился ко мнѣ съ участіемъ и разумными, снисходительными словами, и на этотъ разъ—съ полнымъ успѣхомъ. Мнѣ было совѣстно, досадно на самого себя почти до слезъ и, переходя отъ одной крайности къ другой, я хотѣлъ отказаться совсѣмъ отъ ружья. Григорій Иванычъ опять былъ недоволенъ; онъ не одобрилъ моего намѣренія и потребовалъ, чтобы я каждый день ходилъ на охоту или отъ утра до обѣда, или отъ обѣда до вечера; но чтобы каждый день три-четыре часа, я занимался съ участіемъ и прилежаніемъ, особенно исторіей и географіей, въ которыхъ я былъ нѣсколько слабѣе

другихъ отличныхъ учениковъ. Время потекло правильно и пріятно.

Впродолженіе этого мѣсяца, предаваясь безъ помѣхи дружескимъ и откровеннымъ разговорамъ, мои родители еще болѣе стали уважать и цѣнить свѣтлый умъ и высокія качества души Григорья Иваныча, соединенныя въ немъ съ многостороннимъ образованіемъ и основательной ученостью. Мать употребила все вліяніе своей любви на меня, чтобы я понялъ, какого человѣка судьба послала мнѣ наставникомъ. Она видѣла въ этомъ особенную милость Божію. Я не только понималъ, но и сильно чувствовалъ слова матери. Я увѣрялъ ее, но къ сожалѣнію никогда не могъ увѣрить вполнѣ, что самъ горячо люблю Григорья Иваныча, что только въ семействѣ и въ деревнѣ развлекся я разными любимыми предметами и новою, еще не испытанною мною, охотою съ ружьемъ; но что въ городѣ я объ одномъ только и думаю, какъ бы заслужить любовь и одобреніе моего воспитателя, и что одно его ласковое слово дѣлаетъ меня вполнѣ счастливымъ.

Подростала и удивительно хорошѣла моя милая сестра, мой сердечный другъ. Она уже не могла раздѣлять моихъ деревенскихъ забавъ и охотъ, не могла быть такъ часто со мною вмѣстѣ; но она видѣла, какъ я веселился и сносила это лишеніе терпѣливо, зато роптала на мое ученіе и вѣроятно потому, неблагосклонно смотрѣла на моего учителя.

10 августа выѣхали мы изъ Аксакова, и 15, безъ всякихъ приключеній, благополучно пріѣхали въ К.—Къ удивленію моему Григорій Иванычъ въ тотъ же день запретилъ мнѣ ходить въ классы въ гимназію, а назначилъ разныя занятія и упражненія дома. Самъ же онъ, всякой день поутру, уѣзжалъ въ гимназическій совѣтъ, въ ко-

торомъ былъ ученымъ секретаремъ, и оставался тамъ очень по долгу. Наконецъ дней черезъ пять, онъ сказалъ мнѣ, что ученье въ классахъ идетъ очень вяло, что многіе еще не съѣхались, что время стоитъ чудесное и что мы поѣдемъ къ Ивану Ипатычу въ Коцаково, чтобъ еще съ недѣльку на свободѣ погулять и поучиться. Я удивился еще болѣе, но былъ очень доволенъ. Мы прожили въ Кощаковѣ не недѣльку, а слишкомъ двѣ; Григорій Иванычъ нѣсколько разъ уѣзжалъ въ городъ; уѣзжалъ рано поутру, и возвращался къ позднему обѣду. Я необращалъ на это вниманія. Когда мы переѣхали въ К., надругой же день Григорій Иванычъ приказалъ мнѣ ходить въ классы. Я очень весело побѣжалъ въ гимназію, но товарищи встрѣтили меня съ невеселыми лицами и сообщили мнѣ слѣдующее печальное происшествіе:

Предварительно надобно сказать, что директоръ гимназіи Л—въ, былъ очень плохимъ директоромъ и сверхъ того имѣлъ каррикатурную наружность, не внушавшую расположенія; между прочимъ нижняя его губа была такъ велика, какъ будто ее разнесло отъ укушенія благой мухи или осы. Ни чиновники, ни воспитанники не уважали его, и еще до отъѣзда моего на послѣднюю вакацію, во время обѣда, когда директоръ ходилъ по столовой залѣ, онъ былъ публично осмѣянъ учениками, раздраженными дурной кашей, въ которой кто-то нашелъ кусокъ свѣчнаго сала. Въ ту же ночь, на многихъ стѣнахъ внутри гимназіи, на стѣнахъ наружныхъ, даже на куполѣ зданія, явились ругательныя надписи директору, мастерски начерченныя краснымъ карандашемъ, крупными, печатными буквами. Надписи были помѣщены такъ высоко, что ихъ нельзя было написать безъ помощи лѣстницы, а надпись на куполѣ была признана чудомъ смѣ-

лости и ловкости; ни тогда, ни послѣ, виноватыхъ не открыли. Я и теперь не знаю, кто это сдѣлалъ. За нѣсколько дней до возвращенія моего съ Григорьемъ Иванычемъ изъ Аксакова, когда въ гимназіи собрались уже почти всѣ ученики, какой-то отставной военный чиновникъ, не знаю почему называвшійся квартермистромъ, имѣвшій своею командой всѣхъ инвалидовъ, служившихъ при гимназіи, — прогнѣвался на одного изъ нихъ и сталъ его жестоко наказывать палками на заднемъ дворѣ, который отдѣлялся заборомъ отъ передняго и чистаго двора, гдѣ позволялось играть и гулять въ свободное время всѣмъ воспитанникамъ. Это случилось послѣ обѣда, когда именно всѣ воспитанники гуляли. Вопль бѣднаго инвалида возбудилъ такую жалость въ молодыхъ сердцахъ, что нѣсколько учениковъ старшаго класса, и въ томъ числѣ Александръ К — чъ, нарушили запрещеніе, прошли въ калитку на задній дворъ и начали громко требовать, чтобъ квартермистръ пересталъ наказывать виноватаго. Квартермистръ очень разсердился за нарушеніе своей власти, принялся кричать и ругать воспитанниковъ площадными словами, а какъ Александръ К—чъ, по необыкновенной добротѣ своего сердца горячившійся болѣе всѣхъ, былъ впереди другихъ, то всѣ ругательства прямо и непосредственно были обращены на него. Услышавъ крикъ и брань, весь высшій классъ, а за нимъ и другіе, явились на заднемъ дворѣ. Старшій К—чъ, Дмитрій, узнавъ голосъ брата, нѣжно имъ любимаго, прибѣжалъ первый; будучи отъ природы пылкаго нрава, онъ горячо вступился за оскорбленнаго брата; воспитанники пристали къ нему единодушно; разумѣется не было недостатка въ энергическихъ выраженіяхъ и угрозахъ; квартермистръ нашелся принужденнымъ прекратить свою расправу и поспѣшно ретироваться. Такое, ничего незначущее обстоятельство, въ

основаніи котораго лежало прекрасное чувство состраданія, а потомъ справедливое негодованіе за грубое и дерзкое оскорбленіе,—имѣло весьма печальныя послѣдствія, единственно потому, что было не понято директоромъ и дурно ведено. Сначала, письменная и покорная просьба воспитанниковъ высшаго класса состояла въ томъ, чтобы жестокій и грубый квартермистръ былъ отставленъ; но директоръ отказалъ въ ней, обвинилъ однихъ учениковъ и даже подвергъ нѣкоторыхъ какому-то наказанію. Разумѣется такая несправедливость раздражила юношей: отвергнутая почтительная просьба превратилась въ настоятельное требованіе и уклоненіе отъ заведеннаго порядка. Высшій классъ воспитанниковъ пересталъ учиться; они говорили, что до тѣхъ поръ не будутъ ходить въ классы, покуда не удалятъ изъ гимназіи ненавистнаго квартермистра. Вскорѣ средній и даже нижній классъ присоединились къ старшему, а какъ вся исторія поднялась преимущественно за оскорбленіе одного изъ лучшихъ учениковъ, Александра К—ча, то естественно, что его братъ, первый во всѣхъ отношеніяхъ воспитанникъ, очень любимый товарищами, сдѣлался, такъ сказать, главою этого движенія. Директоръ струсилъ; не смѣлъ показаться ученикамъ и даже какимъ-то заднимъ ходомъ, черезъ квартиру Яковкина, проходилъ въ гимназическій совѣтъ или конференцію; онъ посылалъ уговаривать воспитанниковъ, но переговоры оказались безполезными. Нѣтъ сомнѣнія, что еслибъ добрый, любимый и уважаемый Василій Петровичъ Упадышевскій служилъ тогда главнымъ надзирателемъ, то все это несчастное происшествіе прекратилось бы въ самомъ началѣ; но за нѣсколько недѣль, онъ оставилъ гимназію по болѣзни, и должность его исправлялъ человѣкъ ничтожный. Дѣло тянулось, въ одномъ и томъ же нерѣшительномъ положеніи, дни три. Наконецъ

гимназисты, узнавъ, что директоръ сидитъ въ совѣтѣ, захвативъ предварительно другой выходъ, привалили толпою къ парадныхъ дверямъ конференціи и громогласно требовали исключенія изъ службы квартермистра. Директоръ хотѣлъ уѣхать, но получивъ извѣстіе, что путь къ побѣгу отрѣзанъ и что у задняго выхода также его ожидаютъ гимназисты, — такъ перепугался и растерялся, что немедленно приказалъ составить опредѣленіе объ увольненіи виноватаго квартермистра. Опредѣленіе было прочитано воспитанникамъ; сейчасъ всѣ успокоились, поблагодарили начальство и возвратились къ полному повиновенію. Гимназія пришла въ обыкновенный порядокъ и учебная жизнь потекла своей обычной колеей. Сначала думали, что это происшествіе не будетъ имѣть никакихъ дальнѣйшихъ послѣдствій, но очень ошиблись. Директоръ немедленно донесъ высшему начальству о происшедшемъ, и по чьему-то совѣту войдя въ сношеніе съ губернаторомъ, принялъ слѣдующія мѣры: черезъ нѣсколько дней, во время обѣда, вдругъ вошли въ залу солдаты съ ружьями и штыками; вслѣдъ за ними появился губернаторъ и директоръ. Послѣдній вызвалъ по именамъ шестнадцать человѣкъ изъ высшаго класса, въ томъ числѣ, разумѣется, старшаго К—ча, и подъ прикрытіемъ вооруженныхъ солдатъ приказалъ отвести ихъ въ карцеръ. Всѣ остальные были поражены ужасомъ, и мертвая тишина царствовала въ залѣ. У всѣхъ наружныхъ дверей гимназіи было поставлено по два солдата съ ружьями и штыками; у дверей карцера стояло четверо. Черезъ двѣ недѣли послѣ этого печальнаго событія, пришелъ я въ первый разъ по возвращеніи съ вакаціи, или правильнѣе сказать изъ Кощакова, въ свой высшій осиротѣвшій классъ, гдѣ и встрѣтили меня, сейчасъ разсказанною мною, повѣстью. Тутъ сдѣлалось мнѣ понятно, отчего разумный мой настав-

никъ сначала не позволилъ мнѣ ходить въ классы, а потомъ увезъ меня въ деревню. Безъ всякаго сомнѣнія, я былъ бы однимъ изъ самыхъ горячихъ участниковъ въ этомъ несчастномъ происшествіи.—Черезъ полтора мѣсяца было получено рѣшеніе высшаго начальства. Опять явился въ столовую залу губернаторъ, директоръ и весь совѣтъ, прочли бумагу, въ которой была объяснена вина возмутившихся воспитанниковъ и сказано, что въ примѣръ другимъ, восемь человѣкъ изъ высшаго класса, признанныхъ главными зачинщиками, Дмитрій К—чъ, Петръ Алехинъ, Пахомовъ, Сыромятниковъ и Крыловъ (остальныхъ не помню) исключаются изъ гимназіи безъ аттестаціи въ поведеніи. Исключены были самые лучшіе ученики, Дмитрій К—чъ и Алехинъ считались красою, славой гимназіи. По исполненіи приговора, которымъ всѣ были глубоко поражены и опечалены, вывели солдатскіе караулы изъ гимназіи и сняли осадное положеніе, которымъ мы очень оскорблялись.

Л—въ былъ вскорѣ уволенъ и вмѣсто него опредѣленъ директоромъ старшій учитель И. Ѳ. Яковкинъ. Дмитрій К—чъ сохранилъ надолго близкую связь съ своими гимназическими товарищами. Онъ опредѣлился на службу въ Петербургѣ, каждую почту писалъ къ брату, обращаясь не рѣдко ко всѣмъ намъ. Его письма читали торжественно, во всеуслышанье.

Пріунывшее и пріутихшее юное народонаселеніе гимназіи мало по малу успокоилось, стало забывать печальное событіе, опять защумѣло, запѣло, запрыгало, захохотало—и жизнь понеслась впередъ, какъ-будто ничего не бывало.

До половины зимы мирно текли мои классныя и домашнія упражненія, подъ неослабнымъ надзоромъ и руко-

водствомъ Григорья Иваныча; но въ это время пріѣхалъ въ К. мой родной дядя А. Н. Зубовъ; онъ свозилъ меня два раза въ театръ, разумѣется, съ позволенія моего воспитателя: въ оперу «Пѣснолюбіе» и въ комедію «Братомъ проданная сестра». Эти два спектакля произвели на меня почти такое же впечатлѣніе, какъ и ружейная охота. Я питалъ особенное пристрастіе къ театральнымъ сочиненіямъ, и, по разсказамъ, составилъ себѣ кое-какое понятіе объ ихъ сценическомъ исполненіи. Но дѣйствительность далеко превзошла мои предположенія. Я грезилъ видѣнными мною спектаклями и день и ночь, и такъ разсѣялся, что совершенно не могъ заниматься ученьемъ. Разумѣется Григорій Иванычъ сейчасъ это увидѣлъ и, допросивъ меня, узналъ настоящую причину. Нахмурился и вновь огорчился мой разсудительный наставникъ и вновь долженъ былъ я выслушать длинное поученіе. Но на этотъ разъ я сейчасъ почувствовалъ справедливость упрековъ Григорья Иваныча и понялъ вредныя слѣдствія моей склонности къ безмѣрному увлеченію. Съ большимъ усиліемъ я побѣдилъ въ себѣ вспыхнувшую страсть къ театру, зерно которой давно во мнѣ хранилось и высказывалось въ моей охотѣ къ декламаціи и къ драматическимъ піесамъ, русскимъ и французскимъ; я успокоился и съ необыкновеннымъ жаромъ принялся за ученье. Григорій Иванычъ былъ очень доволенъ. Черезъ недѣлю онъ самъ сталъ разговаривать со мной о театрѣ и сценическомъ искусствѣ, далъ объ немъ настоящее понятіе и разсказалъ мнѣ о многихъ славныхъ актерахъ, живыхъ и мертвыхъ, иностранныхъ и русскихъ. Между прочимъ упомянулъ о московскихъ актерахъ, Шушеринѣ и Плавильщиковѣ. Дни три продолжались у насъ такіе пріятные для меня разговоры въ часы отдохновенія отъ серьёзныхъ занятій. Вдругъ въ одинъ счастливый день, когда я, воротясь изъ гимназіи,

пилъ свой вечерній чай, Григорій Иванычъ отворилъ ко мнѣ дверь и весело сказалъ: «оканчивайте поскорѣе ваше молочное питье (*). Вы должны сейчасъ ѣхать со мною». Я былъ готовъ въ одну минуту. Мы сѣли въ сани и поѣхали. Я былъ увѣренъ, что мы ѣдемъ къ Г. К. Воскресенскому, къ которому Григорій Иванычъ изрѣдка ѣзжалъ со мною и котораго сынъ былъ моимъ товарищемъ въ гимназіи. На поворотѣ Григорій Иванычъ приказалъ кучеру ѣхать прямо по Грузинской улицѣ: это было не по дорогѣ къ Воскресенскому. Я удивился. Черезъ нѣсколько минутъ, когда мы поравнялись съ театромъ, онъ сказалъ: «къ театральному подъѣзду». Кучеръ подъѣхалъ. Григорій Иванычъ выскочилъ изъ саней, а я, обомлѣвши отъ радостной надежды, сидѣлъ неподвижно. Григорій Иванычъ не могъ удержаться отъ смѣха и спросилъ меня: «что же? не хотите въ театръ?» Я выпрыгнулъ, какъ безумный. Билеты были взяты заранѣе; мы вошли въ кресла и сѣли вмѣстѣ въ первомъ ряду. Давали оперу: «Колбасники». Боже мой! Какъ я былъ счастливъ! До сихъ поръ вижу передъ собой актера, Михайла Калмыкова, въ главной роли стараго колбасника; до сихъ поръ слышу, какъ актеръ Прытковъ поетъ съ гитарой, то-есть, разѣваетъ ротъ, а за кулисами пѣла вмѣсто него актриса Марфуша Аникіева:

Предметъ драгоцѣнный
Души распаленной,
Услыши, что плѣнный
Гласитъ къ злой судьбѣ....

А вотъ уже слишкомъ пятьдесятъ лѣтъ прошло, какъ я видѣлъ этотъ спектакль, и съ тѣхъ поръ даже не слыхи-

(*) Я очень любилъ молоко и такъ много клалъ сливокъ въ чай, что Григорій Иванычъ называлъ его молочнымъ питьемъ, а меня, иногда, поеннымъ теленочкомъ, что я считалъ за большую милость.

налъ объ операѣ «Колбасники». Воротясь домой, я отъ души поблагодарилъ моего наставника и съ удовольствіемъ услышалъ отъ него, что сегодняшній спектакль былъ награжденіемъ за мое благоразуміе и что если «Колбасники» не развлекутъ меня, то отъ времени до времени мы будемъ ѣздить въ театръ. По правдѣ сказать «Колбасники» очень занимали и даже развлекали меня, но я всѣми силами старался скрывать свое впечатлѣніе и, съ помощью свѣжей необыкновенной памяти, я такъ хорошо продолжалъ свое ученье, что Григорій Иванычъ ничего не могъ замѣтить. Въ непродолжительномъ времени, я увидѣлъ на театрѣ: «Недоросля», «Ошибки или утро вечера мудренѣе»; оперу «Нина или сумасшедшая отъ любви» и драму Коцебу «Графъ Вальтронъ». Съ каждымъ днемъ росла и крѣпла во мнѣ любовь къ театру. Я выучилъ наизусть видѣнныя мною на сценѣ піесы и находилъ время, не замѣтно для моего воспитателя, разыгрывать передъ самимъ собою всѣ роли въ вышесказанныхъ піесахъ, для чего запирался въ своей комнатѣ или уходилъ въ пустыя, холодныя антресоли.

Въ эту же зиму 1804 го года, началъ я сближаться съ однимъ своекоштнымъ ученикомъ, Александромъ П—мъ. Онъ также былъ охотникъ до театра и до русской словесности. Будучи обожателемъ Карамзина, онъ писалъ идиллическою прозой, стараясь уловить гладкость и цвѣтистость языка, созданнаго Карамзинымъ. Братъ его Иванъ былъ лирическій стихотворецъ. Александръ П—въ издавалъ тогда письменный журналъ подъ названіемъ: «Аркадскіе пастушки», котораго нѣсколько нумеровъ и теперь у меня хранятся. Всѣ сочинители подписывались какими-нибудь пастушескими именами, напримѣръ: Адонисъ, Дафнисъ, Аминтъ, Ирисъ, Дамонъ, Палемонъ и проч.

Александръ П—въ былъ калиграфъ и рисовальщикъ, а потому самъ переписывалъ и самъ рисовалъ картинки къ каждому нумеру своего журнала, выходившему ежемѣсячно. По истинѣ, это было двойное дѣтство: нашей литературы и нашего возраста. Но замѣчательно, что направленіе и журнальныя пріемы были точно такіе же, какіе держались потомъ въ Россіи нѣсколько десятковъ лѣтъ. Названія піесъ и нѣкоторые стихотворные и прозаическіе отрывки, я помѣщаю въ особомъ приложеніи.

Благодаря стараніямъ моего наставника, я до того времени еще не былъ сочинителемъ, а потому и не участвовалъ въ составленіи журнала. Но къ-сожалѣнію примѣръ былъ очень увлекателенъ, и я началъ потихоньку пописывать, храня тайну даже отъ друга моего П—ва. Черезъ годъ я уже издавалъ съ нимъ журналъ, о чемъ будетъ разсказано въ своемъ мѣстѣ. Въ эту же зиму составился въ гимназіи благородный спектакль. Два раза играли какую-то скучную, нравоучительную піесу, названіе которой я забылъ, и при ней маленькую комедію Сумарокова: «Приданое обманомъ.» Въ спектаклѣ я былъ только зрителемъ: во-первыхъ потому, что много было охотниковъ постарше меня, а во-вторыхъ потому, что я не смѣлъ и заикнуться объ этомъ Григорію Иванычу,—и напрасно, какъ это покажетъ слѣдующій годъ, въ которомъ назначено было развернуться моей театральной и литературной гимназической дѣятельности.

Уже около года носились слухи, что въ К. будетъ основанъ университетъ. Слухи стали подтверждаться, и въ декабрѣ 1804 года получили оффиціальное извѣстіе, что уставъ университета 5-го ноября подписанъ Государемъ. Попечителемъ былъ назначенъ дѣйствительный статскій совѣтникъ, Степанъ Яковлевичъ Румовскій, кото-

рый и пріѣхалъ въ К. Это событіе взволновало весь городъ, еще болѣе гимназію и преимущественно старшій классъ. Конференція собиралась каждый день; въ ней предсѣдательствовалъ Румовскій и засѣдали пріѣхавшіе съ нимъ два профессора, Германъ и Цеплинъ, директоръ гимназіи Яковкинъ и всѣ старшіе учители. Что происходило тамъ — я и товарищи ничего не знали. Вдругъ въ одинъ вечеръ собралось къ Григорью Иванычу много гостей: двое новыхъ пріѣзжихъ профессоровъ, правитель канцеляріи попечителя, Петръ Иванычъ Соколовъ, и всѣ старшіе учители гимназіи, кромѣ Яковкина; собрались довольно поздно, такъ что я ложился уже спать; гости были веселы и шумны; я долго не могъ заснуть и слышалъ всѣ ихъ громкіе разговоры и взаимныя поздравленія: дѣло шло о новомъ университетѣ и о назначеніи въ адъюнкты и профессоры гимназическихъ учителей. На другой день Евсеичъ сказалъ мнѣ, что гости просидѣли до трехъ часовъ, что выпили очень много пуншу и вина и что многіе уѣхали очень навеселѣ. Онъ прибавилъ, что и *нашъ* (такъ онъ называлъ Григорья Иваныча) принужденъ былъ много пить, но что онъ не былъ хмѣленъ ни въ одномъ глазѣ.» У насъ въ домѣ никакой пирушки никогда небывало, и мы съ Евсеичемъ очень дивились такой новости, хотя причина была теперь очевидна: Евсеичъ самъ вслушался, да и я разсказалъ ему, что Григорій Иванычъ былъ назначенъ адъюнктъ-профессоромъ въ новомъ университетѣ, вмѣстѣ съ Иваномъ Ипатычемъ, Левицкимъ и Эрихомъ. Изъ разговоровъ ихъ я также узналъ, что Яковкинъ былъ прямо сдѣланъ ординарнымъ профессоромъ русской исторіи и назначался инспекторомъ студентовъ, о чемъ всѣ говорили съ негодованіемъ, считая такое быстрое возвышеніе Яковкина не заслуженнымъ, по ограниченности его ученыхъ познаній. Я вслушался

также, что говоря о студентахъ, Григорій Иванычъ громко сказалъ: «за своего Телемака, господа, я ручаюсь.» Я догадался, что и меня хотятъ сдѣлать студентомъ, чего я никакъ не могъ надѣяться, потому что еще не дослушалъ курса въ высшихъ классахъ и ничего не зналъ въ математикѣ. На другой день по утру, Григорій Иванычъ еще спалъ, когда я уѣхалъ въ гимназію. Я спѣшилъ сообщить новость своимъ товарищамъ, но тамъ уже все знали черезъ сына Яковкина, который былъ страшный толстякъ и весьма ограниченныхъ способностей. Онъ хвастался, что и его сдѣлаютъ студентомъ, надъ чѣмъ всѣ смѣялись. Лучшіе ученики въ высшемъ классѣ, слушавшіе курсъ уже во второй разъ, конечно надѣялись, что они будутъ произведены въ студенты; но обо мнѣ и нѣкоторыхъ другихъ никто и не думалъ. Въ тотъ же день сдѣлался извѣстенъ списокъ назначаемыхъ въ студенты; изъ него узнали мы, что всѣ ученики старшаго класса, за исключеніемъ двухъ или трехъ, поступятъ въ университетъ; между ними находились Яковкинъ и я. Въ строгомъ смыслѣ, человѣкъ съ десять, разумѣется въ томъ числѣ и я, не стоили этого назначенія, по не имѣнью достаточныхъ знаній и по молодости; не говорю уже о томъ, что никто не зналъ по-латыни и весьма не многіе знали нѣмецкій языкъ, а съ будущей осени надобно было слушать нѣкоторыя лекціи на латинскомъ и нѣмецкомъ языкахъ. Но тѣмъ не менѣе шумная радость одушевляла всѣхъ. Всѣ обнимались, поздравляли другъ друга и давали обѣщаніе съ неутомимымъ рвеніемъ заняться тѣмъ, чего намъ не доставало, такъ чтобы черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, намъ не стыдно было называться настоящими студентами. Сейчасъ былъ устроенъ латинскій классъ и бо́льшая часть будущихъ студентовъ принялась за латынь. Я не послѣдовалъ этому похвальному примѣру, по какому

то глупому предубѣжденію къ латинскому языку. До сихъ поръ не понимаю, отчего Григорій Иванычъ, будучи самъ сильнымъ латинистомъ, позволилъ мнѣ не учиться по-латынѣ.

Нельзя безъ удовольствія и безъ уваженія вспомнить, какою любовью къ просвѣщенью, къ наукамъ, было одушевлено тогда старшее юношество гимназіи. Занимались не только днемъ, но и по ночамъ. Всѣ похудѣли, всѣ перемѣнились въ лицѣ, и начальство принуждено было принять дѣятельныя мѣры для охлажденія такого рвенія. Дежурный надзиратель всю ночь ходилъ по спальнямъ, тушилъ свѣчки и запрещалъ говорить, потому что и въ потьмахъ повторяли наизусть другъ другу отвѣты въ пройденныхъ предметахъ. Учителя были также подвигнуты такимъ горячимъ рвеніемъ учениковъ и занимались съ ними не только въ классахъ, но во всякое свободное время, по всѣмъ праздничнымъ днямъ. Григорій Иванычъ читалъ для лучшихъ математическихъ студентовъ прикладную математику; его примѣру послѣдовали и другіе учителя. Такъ продолжалось и въ первый годъ послѣ открытія университета. Прекрасное, золотое время! Время чистой любви къ знанію, время благороднаго увлеченія! Я могу безпристрастно говорить о немъ, потому что не участвовалъ въ этомъ высокомъ стремленіи, которое одушевляло преимущественно казенныхъ воспитанниковъ и пансіонеровъ: своекоштные какъ-то мало принимали въ этомъ участія, и мое ученіе шло своей обычной чередой, подъ руководствомъ моего воспитателя. Вѣроятно онъ считалъ, что я не имѣлъ призванія быть ученымъ, и вѣроятно ошибался. Онъ судилъ по тому страстному увлеченію, которое обнаруживалось во мнѣ къ словесности и къ театру. Но мнѣ кажется, что натуральная исторія точно также бы увлекла меня, и можетъ быть я сдѣлалъ бы

что-нибудь полезное на этомъ поприщѣ. Впрочемъ родители мои никогда не назначали меня къ ученому званію, даже имѣли къ нему предубѣжденіе, и согласно ихъ волѣ Григорій Иванычъ давалъ направленіе моему воспитанію. — Конечно университетъ нашъ былъ скороспѣлка, потому что черезъ полтора мѣсяца, то-есть, 14 февраля 1805-го года, его открыли. Преподавателей было всего шестеро; два профессора: Яковкинъ и Цеплинъ, и четыре адъюнкта: Карташевскій, Запольскій, Левицкій и Эрихъ (*).

(*) Вотъ списокъ студентовъ, открывавшихъ университетъ: кажется я забылъ двухъ или трехъ:

Казенные студенты и пансіонеры:

Василій Переводчиковъ.
Дмитрій Переводчиковъ.
Василій Кузминскій.
Александръ Княжевичъ.
Петръ Баласниковъ
Петръ Кондыревъ.
Александръ Петровъ.
Ѳоминъ.
Ляпуновъ.
Николай Трухинъ.
Николай Кинтеръ.
Петръ Зыковъ.
Василій Тимьянскій
Чесновъ.
Михайла Пестяковъ.
Михайла Поповъ.
Василій Чуфаровъ.
Кайсаровъ.
Яковкинъ.
Риттау.
Владиміръ Граффъ.
Выдрацкій.
Андреевъ.
Шоникъ.
Николай Упадышевскій (стар.).

Своекоштные студенты:

Николай Панаевъ.
Иванъ Панаевъ.
Александръ Панаевъ.
Александръ Дмитріевъ.
Сергѣй Аксаковъ.
Порфирій Безобразовъ.
Евпресть Груберъ.

Въ 1805 году, письма Дмитрія К—ча, всегда получаемыя и выслушиваемыя съ живымъ участіемъ, пріобрѣли особенный политическій интересъ. Тогда шла первая война съ Наполеономъ. Не знаю, почему извѣстія о военныхъ событіяхъ какъ-то трудно и поздно до насъ доходили. К—чъ же сообщалъ ихъ намъ скоро и подробно. Сверхъ того, письма его были проникнуты горячей любовью къ славѣ русскаго оружія, а потому дѣйствовали на всѣхъ насъ электрически. Бывало только крикнетъ Александръ К—чъ: «письмо отъ брата!» какъ всѣ мы сейчасъ окружали его дружною и тѣсною толпою; лежа другъ у друга на плечахъ, въ глубокой тишинѣ, прерываемой иногда восторженными восклицаніями, жадно слушали мы громогласное чтеніе письма; даже гимназисты прибѣгали къ намъ и участвовали въ слушаніи этихъ писемъ. Знаменитый Багратіонъ былъ нашимъ любимцемъ, и когда мы услышали, что онъ, оставленный на жертву, пробился съ своимъ отрядомъ сквозь цѣлую армію Французовъ, — такое грянуло ура, такой былъ общій единодушный восторгъ, что я и описать не умѣю. Много было жизни въ порѣ нашей юности и отрадно вспоминать о ней.

Для воспитанниковъ, назначенныхъ въ студенты, не произвели обыкновенныхъ экзаменовъ, ни гимназическихъ, ни университетскихъ, а напротивъ все это время употребили на продолженіе ученья, приготовительнаго для слушанья университетскихъ лекцій; не знаю, почему Григорій Иванычъ, за нѣсколько дней до акта, отправилъ меня на вакацію, и мы съ Евсеичемъ уѣхали въ Старое Аксаково, Симбирской губерніи, гдѣ тогда жило все мое семейство. Какая была причина этого перемѣщенія изъ новаго Оренбургскаго Аксакова — также не знаю, но оно было мнѣ очень досадно; въ Старомъ, безводномъ Аксаковѣ не было никакого уженья, да и стрѣль-

бы очень мало; правда, дичи лѣсной водилось тамъ много, можно было найдти и бекасовъ и дупелей, но эта трудная охота была мнѣ еще недоступна. Зная все это напередъ, я запасся театральными піесами, чтобы дома на свободѣ прочесть ихъ и даже разыграть передъ глазами моего семейства, что́ и было потомъ исполнено мною съ большимъ успѣхомъ и наслажденіемъ.—Отецъ и мать очень обрадовались моему назначенію въ студенты, даже съ трудомъ ему вѣрили и очень жалѣли, что Григорій Иванычъ не оставилъ меня до акта, на которомъ было предположено провозгласить торжественно имена студентовъ и раздать имъ шпаги. Боже мой, какъ обрадовалась мнѣ моя милая сестра! Съ какимъ наслажденіемъ слушала она мое чтеніе, или лучше сказать, разыгрыванье трагедій, комедій и даже оперъ, въ которыхъ я отвѣчалъ одинъ за всѣхъ актеровъ и актрисъ: картавилъ, гнусилъ, пищалъ, басилъ и пѣлъ на всѣ голоса, даже иногда костюмировался съ помощію всякой домашней рухляди. Кромѣ того, зная, что съ половины августа я начну слушать лекціи натуральной исторіи у профессора Фукса, только что пріѣхавшаго въ К., я рѣшилъ заранѣе, что буду собирать бабочекъ, и въ эту вакацію, съ помощію моей сестры, сдѣлалъ уже приступъ къ тому; но, увы, не умѣя раскладывать и высушивать бабочекъ, я погубилъ по-напрасну множество этихъ прелестныхъ твореній. Въ продолженіе вакаціи мы два раза ѣздили въ Чуфарово къ Надеждѣ Ивановнѣ Куроѣдовой и гостили тамъ по цѣлой недѣлѣ. Отъ Стараго Аксакова до Чуфарова всего было верстъ сорокъ или пятьдесятъ. Надежда Ивановна была очень довольна, что я сдѣланъ студентомъ; съ гордостію разсказывала о томъ всякому гостю, нарядила меня въ мундиръ и очень жалѣла, что у меня не было шпаги; даже подарила мнѣ на книги десять рублей ассигнаціями. Узнавъ какъ-то

нечаянно о моемъ театральномъ исскуствѣ, о которомъ прямо доложить ей не смѣли, ибо опасались, что оно можетъ ей не понравиться, — она заставила меня читать, представлять и пѣть, и къ моей великой радости осталась очень довольною и много хохотала. Она никогда не видывала театра и, по своей живой, веселой и понимающей природѣ, она почувствовала неизвѣстное ей до тѣхъ поръ удовольствіе. Особенно ей понравилось мое обыкновенное чтеніе. Иногда отъ скуки, преимущественно по зимамъ, уставъ играть въ карты, пѣть пѣсни и тогдашніе романсы, уставъ слушать сплетни и пересуды, она заставляла себѣ читать вслухъ современные романы и повѣсти, но всегда была недовольна чтеніемъ; одна только мать моя нѣсколько ей угождала. Послушавъ же меня, она сказала: «вотъ какъ надо читать;» и съ тѣхъ поръ, не смотря на лѣтнее время, которое она обыкновенно проводила въ своемъ чудесномъ саду, Надежда Ивановна каждый день заставляла меня читать часа по два и болѣе. Иногда являлся на сцену «Мельникъ» «Аблесимова» и «Сбитеньщикъ» Княжнина—и какъ добродушно, звонко смѣялась она, глядя, какъ молоденькій мальчикъ представляетъ мельника и сбитеньщика. Я пріобрѣлъ полное благоволеніе Надежды Ивановны, чему очень радовались въ моемъ семействѣ, потому что мысль о будущемъ богатствѣ, которымъ она нѣкогда обѣщала надѣлить насъ, не могла быть совершенно чуждою человѣческимъ соображеніямъ и расчетамъ. При моемъ отъѣздѣ, я получилъ милостивое приказаніе отъ Надежды Ивановны писать къ ней каждый мѣсяцъ два раза, что̀ было въ точности исполняемо мною до самой ея кончины.

УНИВЕРСИТЕТЪ.

УНИВЕРСИТЕТЪ.

Я благополучно воротился въ К. и очень обрадовался, увидѣвъ Григорья Иваныча. Онъ встрѣтилъ меня ласково. Первымъ моимъ дѣломъ было достать мою студентскую шпагу, которая до моего прибытія хранилась въ кладовой, у дежурнаго надзирателя. Мы съ Александромъ П—мъ, прицѣпивъ свои шпаги, цѣлое воскресенье бѣгали по всѣмъ городскимъ улицамъ, и какъ тогда это была новость, то мы имѣли удовольствіе обращать на себя общее вниманіе и любопытство. Болѣе просвѣщенное лакейство, сидя и любезничая съ горничными у воротъ господскихъ домовъ, не рѣдко острило на нашъ счетъ, говоря: «ой студено—студенты идутъ.»—Въ гимназіи шли большіе хлопоты о назначеніи студентамъ особыхъ комнатъ, отдѣльно отъ гимназистовъ, помѣщавшихся въ томъ же зданіи гимназіи, объ устройствѣ студентамъ особеннаго стола въ другой небольшой залѣ и объ открытіи новыхъ университетскихъ лекцій. Наконецъ въ исходѣ августа все было улажено и лекціи открылись въ слѣдующемъ порядкѣ: Григорій Иванычъ читалъ чистую, высшую математику; Иванъ Ипатычъ—прикладную математику и опытную физику; Левиц-

кій—логику и философію; Яковкинъ—русскую исторію, географію и статистику; профессоръ Цеплинъ—всеобщую исторію; профессоръ Фуксъ — натуральную исторію; профессоръ Германъ — латинскую литературу и древности; Эрихъ—латинскую и греческую словесность, и пріѣхавшій адъюнктъ Эвестъ—химію и анатомію. Былъ еще какой-то толстый профессоръ, Бюнеманъ, который читалъ право естественное, политическое и народное на французскомъ языкѣ; лекцій Бюнемана я рѣшительно не помню, хотя и слушалъ его. Вотъ въ какомъ смѣшеніи факультетовъ и младенческомъ составѣ, открылся нашъ университетъ. Яковкинъ, какъ инспекторъ студентовъ и директоръ гимназіи, соединялъ въ своемъ лицѣ званіе и власть ректора; подъ его предсѣдательствомъ совѣтъ Казанской гимназіи, въ которомъ присутствовали всѣ профессоры и адъюнкты, управлялъ университетомъ и гимназіей по части учебной и образовательной. Хозяйственною же частью завѣдывала контора гимназіи, также подъ предсѣдательствомъ Яковкина; одинъ изъ университетскихъ преподавателей находился въ ней постояннымъ членомъ. Яковкинъ, для соблюденія благочинія, съ позволенія попечителя, назначалъ камерныхъ студентовъ и дѣлалъ другія необходимыя распоряженія. Многіе воспитанники, въ томъ числѣ и я, не выслушавшіе полнаго гимназическаго курса, продолжали учиться въ нѣкоторыхъ высшихъ классахъ гимназіи, слушая въ тоже время университетскія лекціи. Я былъ этому очень радъ, потому что мнѣ было бы больно разстаться съ Ибрагимовымъ. Этотъ человѣкъ такъ искренно меня любилъ, такъ охотно занимался со мною, что время, проведенное въ его классахъ, осталось однимъ изъ пріятныхъ воспоминаній моей юности. Я долженъ признаться, что Ибрагимовъ слишкомъ много мною занимался въ сравненіи съ другими воспитанниками и что мое самолюбіе, подстрекаемое и удовлет-

воряемое его отзывами передъ цѣлымъ классомъ, играло въ этомъ дѣлѣ не послѣднюю роль. И такъ очевидно, что переходъ изъ гимназіи въ университетъ былъ вообще для всѣхъ мало замѣтенъ, особенно для меня и для студентовъ, продолжавшихъ ходить въ нѣкоторые гимназическіе классы.

Съ открытія университета, дружба моя съ Александромъ П—вымъ, также произведеннымъ въ студенты, росла не по днямъ, а по часамъ, и скоро мы сдѣлались такими друзьями, какими могутъ быть люди въ годахъ первой молодости; впрочемъ Александръ П—въ былъ старше меня тремя годами, слѣдственно восьмнадцати лѣтъ. Григорій Иванычъ одобрялъ нашу дружбу. Кромѣ любви къ литературѣ и къ театру, которая соединяла меня съ Александромъ П—вымъ, скоро открылась новая, общая склонность: натуральная исторія и собираніе бабочекъ; эта склонность развилась впрочемъ вполнѣ слѣдующею весною. Настоящая же зима исключительно обратила насъ къ театру, потому что неожиданно на публичной сценѣ явился московскій актеръ Плавильщиковъ. Его пріѣздъ имѣлъ важное для меня значеніе. Григорій Иванычъ, говорившій мнѣ и прежде о Плавильщиковѣ, не только заранѣе позволилъ мнѣ быть въ театрѣ всякой разъ, когда Плавильщиковъ игралъ, но даже былъ очень доволенъ, что я увижу настоящаго артиста и услышу правильное, естественное, мастерское чтеніе, которымъ по справедливости славился Плавильщиковъ. Ходить часто въ партеръ или кресла, студенты были не въ состояніи: мѣсто въ партерѣ стоило рубль, а кресло 2—50 к. ассигнаціями, а потому мы постоянно ходили въ раекъ, платя за входъ 25 коп. мѣдью. Но раекъ представлялъ для насъ важное неудобство: спектакли начинались въ 6½ часовъ, а классъ и лекціи

оканчивались въ 6; слѣдовательно оставалось только время добѣжать до театра и помѣститься уже на заднихъ лавкахъ въ райкѣ, съ которыхъ ничего не было видно, ибо переднія занимались зрителями за долго до представленія. Для отвращенія такого неудобства употреблялись слѣдующія мѣры: двое изъ студентовъ, а иногда и трое, покрупнѣе и посильнѣе, часовъ въ пять и ранѣе, отправлялись въ театръ, занимали по краямъ порожнюю лавку и не пускали на нее никого. Сначала это необходилось безъ ссоръ, но потомъ посѣтители райка привыкли къ такому порядку и дѣло обходилось мирно. Мы приходили обыкновенно передъ самымъ поднятіемъ занавѣса и садились на приготовленныя мѣста. Сначала передовые студенты уходили изъ классовъ потихоньку, но въ послѣдствіи многіе профессора и учители, зная причину, смотрѣли сквозь пальцы на изчезновеніе нѣкоторыхъ изъ своихъ слушателей, а достолюбезный Ибрагимовъ не рѣдко говаривалъ: «а что, господа, не пора ли въ театръ?» даже оканчивалъ иногда ранѣе получасомъ свой классъ. Доставанье афишъ возлагалось на своекоштныхъ студентовъ. Печатныхъ афишъ тогда въ городѣ не было; нѣкоторыя почетныя лица получали афиши письменныя изъ конторы театра, а городъ узнавалъ о названіи піесы и объ именахъ дѣйствующихъ лицъ и актеровъ изъ объявленія, прибиваемаго четырьмя гвоздиками къ колоннѣ или къ стѣнѣ главнаго театральнаго подъѣзда. Я долженъ признаться, что мы воровали афиши. Подъѣдешь бывало къ театральному крыльцу, начнешь читать афишу и выждавъ время, когда кругомъ никого нѣтъ, сорвешь объявленіе, спрячешь въ карманъ и отправляешься съ добычею въ университетъ. Въ послѣдствіи содержатель театра, Есиповъ, узнавъ студентскія продѣлки, далъ позволеніе студентамъ получать афишу въ конторѣ театра.

Игра Плавильщикова отрыла мнѣ новый міръ въ театральномъ искусствѣ. Я не могъ тогда, особенно сначала, видѣть недостатковъ Плавильщикова и равно восхищался имъ и въ трагедіяхъ, и въ комедіяхъ, и въ драмахъ; но какъ онъ прожилъ въ К. довольно долго, поставилъ на сцену много новыхъ піесъ, между прочимъ комедію свою «Бобыль», имѣвшую большой успѣхъ, и даже свою трагедію «Ермакъ», не имѣвшую никакого достоинства (*) и успѣха, и сыгралъ нѣкоторыя роли по два и по три раза — то мы вглядѣлись въ его игру и почувствовали, что онъ гораздо выше въ «Ботѣ», чѣмъ въ «Дмитріѣ Самозванцѣ», въ «Досажаевѣ», чѣмъ въ «Магометѣ», въ «Отцѣ семейства», чѣмъ въ «Рославѣ». Торжествомъ въ искусствѣ чтенія были у Плавильщикова роли «Тита» въ «Титовомъ милосердіи» и особенно «пастора» въ «Сынѣ любви». Исполненіе этой послѣдней роли привело меня въ совершенное изумленіе. Пастора игралъ въ К. преплохой актеръ, Максимъ Гуляевъ, и это лице въ пьесѣ казалось мнѣ и всей публикѣ нестерпимо скучнымъ, такъ что длинный монологъ, который онъ читаетъ барону Нейгофу, былъ сокращенъ въ нѣсколько строкъ по общему желанію зрителей. Плавильщиковъ возстановилъ во всей полнотѣ это лице и убилъ имъ всѣ остальныя. И въ самомъ дѣлѣ, онъ игралъ роль пастора превосходно. Плавильщиковъ же поставилъ въ К. «Эдипа въ Аѳинахъ.» Стихи Озерова были тогда плѣнительной новостью; они увлекали всѣхъ, и игра Плавильщикова въ роли Эдипа произвела общій

(*) Какой-то проказникъ написалъ крупными буквами углемъ на главномъ театральномъ подъѣздѣ:

«Піеса Ермака
Не стоитъ пятака.»

Эта глупая острота, говорятъ, сильно оскорбила Плавильщикова.

восторгъ (*). Яркій свѣтъ сценической истины, простоты, естественности тогда впервые озарилъ мою голову. Я почувствовалъ всѣ пороки моей декламаціи и съ жаромъ принялся за переработку моего чтенія. Нѣчто подобное говорилъ мнѣ прежде и требовалъ отъ меня мой воспитатель, но я плохо понималъ его. Какже скоро я услышалъ Плавильщикова въ лучшихъ его роляхъ, я понялъ въ одно мгновеніе, чего хотѣлъ въ моемъ чтеніи Григорій Иванычъ. Вотъ какъ примѣръ уясняетъ понятія гораздо лучше всякихъ разсужденій. Тогда, подъ руководствомъ Григорья Иваныча, я горячо взялся за трудную работу и черезъ двѣ недѣли прочелъ другу моему Александру П—ву извѣстный длинный монологъ изъ роли Пастора. П—въ до того былъ удивленъ, что ничего не могъ произнести, кромѣ словъ: «ты Плавильщиковъ.... ты лучше Плавильщикова!» Въ тотъ же день Александръ П—въ явился въ университетъ прежде меня и успѣлъ разсказать всѣмъ о новомъ своемъ открытіи. Когда же я пришелъ на лекціи, студенты окружили меня дружною толпою и заставили прочесть монологъ пастора и тѣ мѣста изъ разныхъ піесъ, которыя я зналъ наизусть. Хотя не называли меня Плавильщиковымъ, но всѣ очень хвалили, и у старшихъ студентовъ сейчасъ родилась мысль затѣять университетскіе спектакли. Начальство не вдругъ на это согласилось, а потому мы съ Александромъ П—вымъ, состряпавъ какую-то драму, разыграли ее, съ помощью его

(*) Не смотря на общее и мое собственное увлеченіе, я замѣтилъ, что Плавильщиковъ въ Эдипѣ иногда сбивается съ тону своей роли и часто, вмѣсто дряхлаго старика, играетъ молодаго и сильнаго человѣка, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ оглушительный крикъ, кромѣ неестественности, лишаетъ силы, мѣшаетъ дѣйствію рѣчей изнеможеннаго старца. Живость движеній, при отыскиваніи дочери, показалась мнѣ и многимъ даже смѣшною.

братьевъ, въ общей ихъ квартирѣ, довольно большомъ каменномъ домѣ, принадлежавшемъ дядѣ ихъ Страхову. Я не помню названія и содержанія этой піесы, разумѣется нелѣпо-дѣтской, но помню, что игралъ въ ней двѣ роли: какого-то пустынника старика—въ первыхъ двухъ дѣйствіяхъ, и какого-то атамана разбойниковъ—въ третьемъ, при чемъ былъ убитъ изъ пистолета. Въ роли старика я отличился.—Дозволеніе устроить театръ съ авансценою и декораціями въ одной изъ университетскихъ залъ, долго не приходило отъ попечителя, который жилъ въ Петербургѣ: а потому мы выпросили позволеніе у директора Яковкина составить домашній спектакль, безъ устройства возвышенной сцены и безъ декорацій, въ одной изъ спальныхъ комнатъ казенныхъ студентовъ. Сколько пріятной суматохи и возни было по этому случаю! Сшили занавѣсъ изъ простынь и перегородили ими большую и длинную комнату, кроватями отдѣлили мѣсто для сцены, и класными подсвѣчниками освѣтили ее. Мы сыграли комедію: «Такъ и должно» Веревкина, и маленькую піесу: «Приданое обманомъ» Сумарокова. Въ первой піесѣ я игралъ роль стараго Доблестина, а молодаго Доблестина—Александръ П—въ. Афросинью Сысоевну игралъ студентъ Д. П., лакея Угара — Петръ Балясниковъ, судью — В. Кузминскій, съ приписью подъячаго—Петръ Зыковъ, который привелъ всѣхъ зрителей въ неописанный восторгъ своимъ комическимъ талантомъ. Не помню, кто игралъ какую-то молодую женскую роль,—кажется, Александръ К—чъ. Костюмы были уморительные: напримѣръ старый Доблестинъ явился въ солдатскомъ изорванномъ сюртукѣ одного изъ нашихъ сторожей-инвалидовъ; на головѣ имѣлъ парикъ изъ пакли, напудренный мѣломъ, а на рукахъ цѣпи съ цѣпной дворовой собаки, которая на этотъ вечеръ получила свободу и кого-

то больно укусила. Д. П., по своему неможжавому и блѣдному лицу и нѣсколько сиплому голосу, былъ очень хорошъ въ роли старухи, и это амплуа навсегда за нимъ осталось. Я, съ моей собачьей цѣпью, произвелъ сильный эффектъ и былъ провозглашенъ большимъ талантомъ и актеромъ, а равно и П. Зыковъ. Но, увы, другъ мой Александръ П—въ, не смотря на прекрасную наружность, очень не понравился всѣмъ въ роли молодаго Доблестина. Въ самомъ дѣлѣ, онъ имѣлъ какой-то плаксивый и холодный тонъ; много ему вредило также произношеніе на о, отъ котораго онъ не могъ отвыкнуть. Это былъ мой первый публичный театральный успѣхъ, потому что спектакль у П—выхъ происходилъ секретно и зрителей было очень мало; но здѣсь находилось университетское и гимназическое начальство, профессоры, учители и даже ихъ жены и дочери, не говоря уже о студентахъ и гимназистахъ, которыхъ набилось столько, сколько могло помѣститься. — Вскорѣ получили позволеніе отъ попечителя: устроить театръ для казенныхъ студентовъ «въ награду за ихъ отличное прилежаніе». Инспектору было однако предписано наблюдать за выборомъ піесъ, а равно и за тѣмъ, чтобы это «благородное удовольствіе не отвлекало отъ занятій учебныхъ». Мы всѣ были въ восторгѣ. Сцену и кулисы, которыя удобно и скоро снимались, построили на казенный счетъ; но студенты сами писали декораціи, и тѣмъ значительно сократили расходы. Сначала театръ хотѣли помѣстить въ одной изъ залъ; но это оказалось неудобнымъ по ея величинѣ и показалось дорого начальству, и потому для театра выбрали одну классную комнату, которая представляла большое удобство тѣмъ, что раздѣлялась посерединѣ нишью. Прежде это были двѣ комнаты, но за нѣсколько лѣтъ выломали раздѣлявшую ихъ стѣну и для поддержанія потолка оставили нишь, под-

пертую по бокамъ двумя колоннами; для устройства сцены это было чрезвычайно удобно. Впрочемъ, не дождавшись окончательно постановки театра, мы сыграли въ вышеупомянутой мною залѣ комедію Коцебу: «Ненависть къ людямъ и раскаяніе.» Я отличился въ роли Неизвѣстнаго, и слава моя установилась прочно. По общему согласію, сочинили театральный уставъ, который утвердили подписями всѣхъ участвующихъ въ театральныхъ представленіяхъ, и выбрали меня, не смотря на мою молодость, директоромъ труппы, но, увы, не на долго: едва успѣли мы сыграть комедію того же Коцебу «Брюзгливый» и маленькую піеску «Новый вѣкъ», въ которыхъ я также отличился, — какъ стеченіе несчастныхъ обстоятельствъ на цѣлый годъ удалило меня со сцены. Надобно разсказать нѣсколько подробнѣе это героико-комическое происшествіе. Послѣ «Брюзгливаго», затѣяли мы сыграть драму: «Мейнау или слѣдствіе примиренія», написанную какимъ-то Нѣмцемъ для выраженія своего мнѣнія, что примиреніе Мейнау съ преступной женой, чѣмъ оканчивается комедія Коцебу: «Ненависть къ людямъ и раскаяніе» — не можетъ возстановить ихъ семейнаго счастія. Въ этой піесѣ есть маленькая роль генерала, бывшаго нѣкогда обольстителемъ Эйлалін: онъ встрѣчается нечаянно съ Мейнау и его женой, Эйлалія падаетъ въ обморокъ, а мужъ вызываетъ генерала на дуэль и убиваетъ его изъ пистолета. Александръ П—въ, такъ неудачно сыгравшій молодаго Доблестина, мало участвовалъ въ театральныхъ представленіяхъ, оставаясь однако въ числѣ актеровъ; но когда онъ узналъ, что мы намѣрены разыграть «Мейнау», то упросилъ меня дать ему роль генерала. Онъ сознавался, что у него нѣтъ сценическаго таланта, но желалъ сыграть эту роль по особеннымъ причинамъ. Причина была мнѣ извѣстна: онъ былъ не равнодушенъ къ одной дѣвицѣ, постоян-

ной посѣтительницѣ нашихъ спектаклей, и ему хотѣлось явиться передъ ней на сценѣ въ генеральскомъ мундирѣ съ большими эполетами и пасть въ ея глазахъ отъ роковой пули. Я зналъ, что товарищи будутъ недовольны моимъ распоряженіемъ и что на эту роль мѣтилъ другой актеръ — Петръ Балясниковъ, по своему характеру и дарованіямъ имѣвшій сильное вліяніе на студентовъ, который безъ всякаго сравненія сыгралъ бы эту роль гораздо лучше. Но дружба заставила меня покривить душой, и я отдалъ роль генерала Александру П—ву, на что, какъ директоръ, я имѣлъ полное право (*). Товарищи сейчасъ сказали мнѣ, что П—въ испортитъ піесу, но я отвѣчалъ, что эта роль маленькая и пустая, что П—въ мнѣ ее читалъ очень хорошо, что я беру на себя поставить его, какъ слѣдуетъ, и что его красивая наружность весьма идетъ къ этой роли. Уважая во мнѣ власть директора, всѣ повиновались, разумѣется весьма не охотно. На первой же репетиціи другъ мой Александръ такъ всѣмъ не понравился, что мнѣ больно было на него смотрѣть. Вновь приступили ко мнѣ товарищи съ просьбою: отдать роль генерала кому-нибудь другому; но я не согласился, извинялъ П—ва незнаніемъ роли, ручался что я его выучу и что онъ будетъ хорошъ. Я предвидѣлъ бурю и просилъ моего друга наединѣ, отказаться отъ роли, но онъ умолялъ меня со слезами не лишить его возможности произвесть выгодное впечатлѣніе на сердце любимой особы, которую онъ ревновалъ именно къ Балясникову. Онъ такъ разжалобилъ меня, что я далъ ему клятву никому не отдавать роли генерала, кромѣ его. Я обѣщалъ даже, что въ случаѣ сильнаго возстанія, откажусь отъ роли

(*) Въ одномъ изъ параграфовъ устава было сказано: «директоръ назначаетъ роли и всѣ актеры должны безпрекословно повиноваться его назначенію.»

Мейнау. На второй репетиціи, несмотря на знаніе роли, П—въ читалъ её также неудачно. Пользуясь правомъ директора, я не позволилъ никому, кромѣ играющихъ актеровъ, присутствовать на этой репетиціи, но въ самое то время, когда Александръ П—въ, въ роли генерала, велъ со мною сцену, я замѣтилъ, что двери отворились, и Балясниковъ, сопровождаемый Кузминскимъ, Кинтеромъ, Зыковымъ и другими, вошелъ съ насмѣшливымъ и наглымъ видомъ, и сталъ передъ самою сценою. Едва я успѣлъ застрѣлить П—ва, какъ всѣ мои товарищи-актеры окружили меня и рѣшительно требовали, чтобы я передалъ роль генерала именно Балясникову. П—въ поблѣднѣлъ. Движимый горячею дружбою и оскорбленный въ моемъ директорскомъ достоинствѣ, я грозно отвѣчалъ: «что этого никогда не будетъ и что они вмѣшиваются не въ свое дѣло, и что если они не хотятъ меня слушаться, то я отказываюсь отъ роли Мейнау и не хочу участвовать въ театрѣ.» Я думалъ поразить всѣхъ послѣдними словами. Голова моя была сильно вскружена отъ похвалъ и высокаго о себѣ мнѣнія, и я считалъ, что театръ безъ меня невозможенъ; но противники мои только того и ждали. Балясниковъ выступилъ впередъ и произнесъ дерзкую рѣчь, въ которой между прочимъ сказалъ, что я зазнался, считаю себя великимъ актеромъ, употребляю во зло право директора и изъ дружбы къ Александру П—ву, который играетъ гадко, жертвую спектаклемъ и всѣми актерами. «Наши похвалы дали тебѣ славу, прибавилъ онъ,—мы же ее у тебя и отнимемъ и увѣримъ всѣхъ, что ты дрянной актеръ; мы лишаемъ тебя директорства и исключаемъ изъ числа актеровъ.» Всѣ единогласно потвердили его слова. Хотя я ожидалъ возстанія противъ моей власти, но не предвидѣлъ такого удара. Собравъ все присутствіе духа, съ геройскою твердостію, я взялъ моего друга Александра за

руку и, не сказавъ ни слова, вышелъ изъ комнаты. Воротясь домой, ошеломленный моимъ паденіемъ, чувствуя свою неправость, я утѣшалъ себя мыслію, что пожертвовалъ моимъ самолюбіемъ и страстью къ театру — спокойствію друга. Я думалъ, что піеса безъ меня не можетъ идти и что ненавистный его соперникъ не явится въ блестящихъ эполетахъ и не похититъ сердца красавицы. Но каково было пораженіе для меня и П—ва, когда, пріѣхавъ на другой день въ университетъ, мы узнали, что еще вчера труппа актеровъ выбрала Балясникова своимъ директоромъ, что онъ играетъ роль генерала, а моя роль отдана Дмитріеву. Надобно сказать, что этотъ замѣчательный и даровитый своекоштный студентъ, Дмитріевъ, былъ вездѣ постояннымъ моимъ соперникомъ, надъ которымъ однако до сихъ поръ, я почти всегда торжествовалъ. Въ классахъ у Ибрагимова, его сочиненія на заданные предметы, иногда не уступали моимъ, и не смотря на нѣкоторое пристрастіе ко мнѣ, два раза Ибрагимовъ публично сказалъ, что на этотъ разъ онъ не знаетъ, чьему сочиненію отдать преимущество: моему или Дмитріева? Онъ славился также искусствомъ декламаціи, и я видалъ, что иногда собиралась около него толпа слушателей, когда онъ читалъ какіе-нибудь стихи. Говоря по совѣсти, я долженъ сказать, что у Дмитріева, можетъ быть, болѣе было таланта къ литературѣ и театру, чѣмъ у меня; но у него не было такой любви ни къ тому, ни къ другому, которою я былъ проникнутъ исключительно, а потому его дарованія остались не развитыми, не обработанными; даже въ наружности его, нѣсколько грубой и суровой, во всѣхъ движеніяхъ, видна была не только неловкость, но какая-то угловатость и неуклюжесть. Къ нему-то обратились мои товарищи и не безъ труда упросили его взять роль Мейнау. Мнѣ никогда не входило въ голову, чтобъ

этотъ дикарь согласился выйдти на сцену. Сейчасъ дали ему піесу, заставили читать вслухъ, и всѣ безъ исключенія пришли въ восторгъ отъ его чтенія. Намъ разсказали, что многіе были тронуты до слезъ и что другъ Дмитріева, студентъ Чеснóвъ (самый добрый хохотунъ и пошлякъ) и студентъ Д. П. — плакали навзрыдъ (*). Мы съ Александромъ П—вымъ были убиты, уничтожены: я—въ моемъ самолюбіи, въ моей любви къ театру, П—въ—въ любви къ университетской красавицѣ. Еслибъ я, поступя справедливо, отдалъ роль генерала другому—не играть бы было Баласникову генерала, не являться въ блестящихъ эполетахъ!—Драма: «Мейнау или слѣдствіе примиренія» была наконецъ сыграна, но не такъ удачно, что послужило нѣкоторымъ утѣшеніемъ мнѣ и П—ву. Впрочемъ мы оба не были на представленіи, и я говорю объ неудачѣ этого спектакля по общему отзыву не студентовъ, а учителей и постороннихъ зрителей; студенты же, напротивъ, особенно актеры, превозносили похвалами Дмитріева. Я самъ убѣжденъ, что если не вездѣ то во многихъ сильныхъ мѣстахъ роли, онъ былъ очень хорошъ, потому что я видѣлъ его на репетиціи.

Оторванный отъ театра стеченіемъ обстоятельствъ, я бросился въ другую сторону — въ литературу, въ натуральную исторію, которую читалъ намъ на французскомъ языкѣ профессоръ Фуксъ, и всего болѣе пристрастился къ собиранію бабочекъ, которымъ увлекался я до чрезвычайности. Александръ П—въ былъ вѣрнымъ товарищемъ

(*) Вообще Дмитріевъ былъ существо загадочное; онъ занимался всѣми предметами отлично, но ни съ кѣмъ, кромѣ Чеснóва, не говорилъ ни слова и всѣхъ дичился, а потому никто не зналъ его; съ Чеснóвымъ же онъ былъ не разлученъ, безпрестанно съ нимъ хохоталъ, щипался, щекотался, толкался и дрался, какъ десятилѣтній школьникъ; часто получалъ за это выговоры, и какъ скоро переставалъ играть съ Чеснóвымъ, дѣлался угрюмъ и мраченъ.

и сотрудникомъ моимъ во всемъ. Все свободное время мы бродили съ рампетками (*) по садамъ, лугамъ и рощамъ, гоняясь за попадающимися намъ денными и сумеречными бабочками; а ночныхъ отыскивали подъ древесными сучьями и листьями, въ дуплахъ, въ трещинахъ заборовъ и каменныхъ стѣнъ.

Слушаніе нѣкоторыхъ университетскихъ лекцій и продолженіе ученья въ двухъ высшихъ классахъ гимназіи, шло довольно удовлетворительно, но не отлично. Я началъ было слушать съ большимъ участіемъ анатомію, и покуда рѣзали живыхъ и мертвыхъ животныхъ, ходилъ на лекцію очень охотно. Я даже считался очень хорошимъ ученикомъ. Но когда дѣло дошло до человѣческихъ труповъ, то я рѣшительно бросилъ анатомію, потому что боялся мертвецовъ; но не такъ думали мои товарищи, горячо хлопотавшіе по всему городу объ отысканіи трупа, и когда онъ нашелся и былъ принесенъ въ анатомическую залу—они встрѣтили его съ радостнымъ торжествомъ; на нѣкоторыхъ изъ нихъ я долго потомъ не могъ смотрѣть безъ отвращенія.

Разсказывая о моемъ театральномъ поприщѣ, я забѣжалъ далеко впередъ, и мнѣ надобно воротиться назадъ, чтобъ разсказать мою домашнюю жизнь у Григорья Иваныча, уже нѣсколько измѣнившуюся. О первомъ денномъ спектаклѣ въ домъ П—ыхъ Григорій Иванычъ ничего не зналъ; но когда мы рѣшились затѣять театръ въ университетѣ и я разсказалъ объ этомъ моему воспитателю—онъ согласился на мое участіе въ этихъ спектаклях безъ всякаго затрудненія, даже очень охотно. Онъ видѣлъ потомъ комедію: «Такъ и должно», былъ доволенъ моею игрою и очень смѣялся надъ моимъ костюмомъ.

(*) Рампетка—сачекъ изъ флера или дымки для ловли бабочекъ.

Должно признаться, что театръ слишкомъ привлекалъ все мое вниманіе и участіе, да и Григорій Иванычъ началъ уже не такъ пристально заниматься мной. Я не знаю, какая была тому первоначальная причина, и самъ очень бы желалъ уяснить себѣ эту перемѣну; правда, нѣсколько ничего не значущихъ неудовольствій, поселяли на время нѣкоторую холодность между нами, но безъ посторонняго участія, безъ какихъ-нибудь посторонніхъ вліяній, онѣ никакъ не могли бы произвести такихъ важныхъ послѣдствій, какихъ никто не могъ ожидать. Первое неудовольствіе произошло между нами отъ того, что Григорій Иванычъ нашелъ у меня запрещенные имъ романы: «Мальчикъ у ручья» Коцебу и «Природа и любовь» Августа Лафонтена. Я читалъ ихъ по ночамъ или въ пустыхъ антресоляхъ—читалъ съ увлеченіемъ, съ самозабвеніемъ!... Смѣшно сказать, но и теперь слова: «люби меня, я добръ, Фанни!» или: «мѣсяцы, блаженные мѣсяцы пролетали надъ этими счастливыми смертными (*)», слова, сами по себѣ ничтожныя и пошлыя, заставляютъ сердце мое биться скорѣе, по одному воспоминанію того восторга, того упоенія, въ которое приводили онѣ пятнадцатилѣтняго юношу! Да, слова ничего не значатъ: все зависитъ отъ чувства, которое мы придаемъ имъ.—Безъ сомнѣнія я былъ виноватъ, но наставникъ мой слишкомъ строго порицалъ мою вину, и еслибъ я повѣрилъ ему, то пришелъ бы въ отчаяніе; но я не могъ признать себя такимъ преступникомъ, и получилъ право и возможность обвинять моего воспитателя въ несправедливости и оскорбленіи меня. Впрочемъ на этотъ разъ все уладилось между нами довольно скоро. Второе неудовольствіе состояло въ слѣдующемъ: наканунѣ Троицы, Григорій Иванычъ вздумалъ уѣхать со мной въ

(*) Это слова изъ романа «Природа и любовь» Августа Лафонтена.

Кощаково и прожить тамъ дни три. На этотъ разъ мнѣ не хотѣлось уѣзжать, потому что у насъ съ П—вымъ былъ устроенъ механическій театръ съ чудесными декораціями, машинами, превращеніями, съ грозою, съ громомъ и молніей. Александръ П—въ былъ великій мастеръ на всѣ такія штуки. Именно въ Духовъ день назначено было представленіе и приглашены зрители; больно мнѣ было уѣзжать, но я покорился безъ ропота. Въ назначенный день для нашего отъѣзда въ деревню, я выпросился у моего воспитателя на нѣсколько часовъ къ П—ву. Григорій Иванычъ согласился, но сказалъ, что если я не ворочусь къ семи часамъ, то онъ уѣдетъ одинъ. Я обѣщалъ непремѣнно воротиться. Мы съ П—вымъ занялись *генеральною пробою* нашего механическаго спектакля, а какъ нѣкоторыя явленія не удавались, то-есть, молнія не попадала въ то дерево, которое должна была разбить и зажечь, мѣсяцъ не вылезалъ изъ облаковъ и паденіе водопада иногда внезапно прекращалось—то я такъ завлекся устройствомъ явленій природы, что пропустилъ назначенный срокъ, и хотя, вспомнивши его, бѣжалъ бѣгомъ до самаго дома, но опоздалъ четверть часа. Григорій Иванычъ уѣхалъ ровно въ семь часовъ одинъ, въ большомъ гнѣвѣ, но не отдалъ никакихъ приказаній на мой счетъ. Здѣсь начинается моя уже настоящая вина. Ефремъ Евсеичъ предлагалъ нанять лошадей и отправиться вмѣстѣ со мной въ Кощаково, но я, ссылаясь на то, что Григорій Иванычъ могъ бы подождать меня, или приказать, чтобъ я вслѣдъ за нимъ пріѣхалъ одинъ,—рѣшительно отказался ѣхать и сейчасъ отправился къ Александру П—ву. Мы провозились съ театромъ всю ночь. Евсеичъ, встревоженный моимъ долгимъ отсутствіемъ, самъ пришелъ за мной. Мы показали ему театръ, и онъ не мало дивился нашей хитрости. На солнечномъ всходѣ воротились мы домой. Дядька

вновь уговаривалъ меня ѣхать къ Григорью Иванычу, но я рѣшительно отказался. Въ Троицынъ день П—въ обѣдалъ у меня, а послѣ обѣда мы отправились гулять на Арское поле, возлѣ котораго я жилъ и на которомъ обыкновенно происходило, на Троицкой недѣлѣ, самое многолюдное народное гулянье. Въ Духовъ день былъ у П—выхъ спектакль, сошедшій великолѣпно: дубъ былъ раздробленъ и сожженъ молніей, мѣсяцъ безпрепятственно выходилъ изъ облаковъ, водопадъ шумѣлъ и пѣнился, не останавливаясь. Зрители и хозяева были въ восхищеніи; но у меня на сердцѣ скребли кошки, какъ говорится. На третій день рано поутру воротился Григорій Иванычъ. Я еще спалъ, когда онъ имѣлъ грозное объясненіе съ Евсеичемъ, который разсказалъ ему все, что происходило, и не скрылъ даже того, что два раза предлагалъ мнѣ ѣхать въ Кощаково. Григорій Иванычъ не велѣлъ мнѣ показываться ему на глаза и двое сутокъ не видалъ меня и даже не обѣдалъ со мною. Я огорчился глубоко и въ тоже время оскорбился; мнѣ уже былъ шестнадцатый годъ и я рѣшилъ, что такъ можно поступать только съ мальчикомъ. Наконецъ послѣдовало объясненіе; хотя я приготовился встрѣтить его съ твердостію и хладнокровіемъ, и точно, всѣ жестокіе упреки сначала переносилъ и отражалъ съ наружнымъ спокойствіемъ, но когда Григорій Иванычъ сказалъ: «А что будетъ съ вашей матерью, когда я опишу ей вашъ поступокъ и откажусь жить вмѣстѣ съ вами?...» тогда растаяла какъ воскъ моя твердость, слезы хлынули изъ глазъ, и я призналъ себя безусловно виноватымъ и чистосердечно просилъ простить мою вину. Григорій Иванычъ сдѣлалъ большую ошибку: онъ не воспользовался моимъ искреннимъ раскаяніемъ, встрѣтилъ его холодно и не примирился со мною вполнѣ. Можетъ быть онъ не совсѣмъ мнѣ вѣрилъ, но всего вѣ-

роятнѣе, что онъ поступилъ такъ по разсчету; онъ зналъ, что я, слишкомъ живо принимая впечатлѣнія, слишкомъ скоро и забывалъ ихъ, а потому и хотѣлъ, перемѣною своего обращенія, заставить меня глубже почувствовать мою вину. Слѣдствія вышли совсѣмъ не тѣ, какихъ онъ ожидалъ: самъ онъ перемѣнился ко мнѣ, а отъ меня требовалъ, чтобъ я былъ такимъ же, какимъ былъ прежде; а какъ по свойству моей натуры, такія холодныя отношенія были для меня невыносимы, то я скоро сталъ во всемъ оправдывать себя и во всемъ обвинять его, и моя привязанность къ нему поколебалась. Наконецъ одинъ случай, совершенно ничтожный, окончательно измѣнилъ наши прежнія отношенія. Университетскій экономъ, Маркевичъ умеръ. Я уже говорилъ, что онъ всегда ласкалъ меня и что я его очень любилъ; но какъ я съ издѣтства боялся покойниковъ, то, не смотря на убѣжденія и приказанія Григорья Иваныча, ни за что не согласился быть на похоронахъ Маркевича. Григорій Иванычъ воротился съ печальной церемоніи вмѣстѣ съ рисовальнымъ учителемъ Чекіевымъ. Надобно предварительно сказать, что я очень не любилъ этого господина, большаго франта, надоѣдавшаго мнѣ самыми пошлыми шутками. Я всегда удивлялся, какъ могъ Григорій Иванычъ быть короткимъ пріятелемъ съ такимъ пустымъ человѣкомъ, хотя эта связь легко объяснялась тѣмъ, что они были товарищами въ московской университетской гимназіи. Чекіевъ въ этотъ день особенно приставалъ ко мнѣ: зачѣмъ я не былъ на похоронахъ, зачѣмъ не отдалъ послѣдняго долга человѣку, который меня такъ любилъ? утверждалъ, что мой поступокъ показываетъ жестокое сердце и проч. и проч. Однимъ словомъ онъ раздразнилъ меня и, когда спросилъ съ насмѣшкой: «Признайтесь, пожалуйста, что вы совсѣмъ не боитесь покойниковъ и что вы взяли на себя этотъ страхъ

изъ одного эгоизма?...» я разсердился и рѣзко, съ грубостью ему отвѣчалъ: «Вы совершенно правы. Я покойниковъ не боюсь и притворяюсь....» Обсуживая эти слова хладнокровно, я и теперь не вижу въ нихъ той важности, какую придалъ имъ Григорій Иванычъ. Гнѣвъ измѣнилъ его лицо и онъ сказалъ мнѣ тихимъ, но выразительнымъ голосомъ: «Послѣ словъ, которыя вы осмѣлились сказать въ моемъ присутствіи моему товарищу и гостю,—вы можете сами судить, можемъ ли мы быть пріятны одинъ другому. Извольте идти въ вашу комнату.» Не чувствуя никакой своей вины, я, разумѣется, разсердился еще болѣе, но ушелъ не сказавъ ни слова. Сцена происходила передъ самымъ обѣдомъ и кушанье уже стояло на столѣ. Вслѣдъ за мной Евсеичъ принесъ и мой приборъ и объявилъ, что Григорій Иванычъ приказалъ мнѣ обѣдать въ своей комнатѣ. Бѣшенство мое удвоилось и только мысль о матери удержала меня отъ намѣренія идти къ моему воспитателю и наговорить ему грубостей. Я долженъ отдать справедливость Чекіеву: онъ, какъ Евсеичъ разсказалъ мнѣ, очень долго просилъ Григорья Иваныча простить меня, но напрасно. Послѣ обѣда Чекіевъ приходилъ ко мнѣ, но я заперся на крючекъ и не пустилъ его въ мою комнату. На другой день Григорій Иванычъ призвалъ меня къ себѣ и сказалъ холодно и рѣшительно: «что намъ уже не слѣдуетъ жить вмѣстѣ, что онъ слагаетъ съ себя званіе моего наставника и что мы оба должны теперь стараться о томъ, чтобы моя мать какъ можно легче перенесла нашъ разрывъ; что мы должны это сдѣлать, не оскорбляя другъ друга.»—Я отвѣчалъ, что онъ предупредилъ мое желаніе и что я точно то же хотѣлъ ему предложить. — «Такъ и прекрасно», сказалъ съ усмѣшкою Григорій Иванычъ и кивнулъ мнѣ головой. Я ушелъ въ свою комнату и на свободѣ предал-

ся волненію и гнѣву. Я считалъ себя кругомъ правымъ, а воспитателя моего — кругомъ виноватымъ. Здѣсь долженъ я признаться въ поступкѣ, который трудно извинить раздраженіемъ и вспыльчивостію. Слѣдующій день, по несчастію, былъ почтовый и я написалъ къ отцу и къ матери большое письмо, въ которомъ не пощадилъ моего наставника и позволилъ себѣ такія оскорбительныя выраженія, отъ которыхъ краснѣю и теперь. Конечно, если бы я отложилъ письмо до слѣдующей почты, я непремѣнно бы одумался, но горячность увлекла меня.... увлекала и во всю жизнь.... На другой день послѣ отправки письма, совѣсть начала меня упрекать и я безпрестанно вспоминалъ слова Григорья Иваныча: «мы не должны оскорблять другъ друга.» Что же я долженъ былъ почувствовать, когда чрезъ нѣсколько дней, въ продолженіе которыхъ мы видались только за обѣдомъ и почти не говорили, Григорій Иванычъ позвалъ меня къ себѣ и прочелъ мнѣ огромное письмо, заготовленное имъ для отсылки къ моей матери. Въ этомъ письмѣ, исполненномъ ума и чувства дружбы, онъ признавалъ себя совершенно неспособнымъ оставаться долѣе наставникомъ и руководителемъ молодаго человѣка, съ которымъ надобно поступать уже не такъ, какъ съ мальчикомъ, не такъ какъ поступалъ онъ со мною до тѣхъ поръ; онъ увѣрялъ, что не знаетъ, не умѣетъ, какъ взяться за это трудное дѣло, и чувствуетъ, что онъ дѣйствуетъ не такъ, какъ должно; слѣдовательно можетъ мнѣ повредить. Онъ съ подробностью описалъ мой умъ, нравъ, наклонности и предсказалъ будущее ихъ развитіе; описалъ также мои недостатки: хорошая сторона изображена была ярко, предвѣщала много добраго, а дурная — очень снисходительно, и съ увѣренностію, что время и опытность не дадутъ ей укорениться. Онъ ручался за чистоту моихъ нравствен-

ныхъ стремленій и увѣрялъ, что я могу безопасно жить одинъ или съ хорошимъ пріятелемъ, какъ напримѣръ Александръ II—въ, или съ кѣмъ-нибудь изъ профессоровъ, безъ всякой подчиненности, какъ младшій товарищъ; онъ увѣрялъ, что мнѣ даже нужно пожить года полтора на полной свободѣ, передъ вступленіемъ въ службу, для того, чтобъ не прямо попасть изъ-подъ ферулы строгаго воспитателя въ самобытную жизнь, на поприще свѣта и служебной дѣятельности. Къ этому онъ прибавлялъ, что не останется долго въ университетѣ и что скоро поѣдетъ въ Петербургъ, для предварительнаго пріисканія себѣ мѣста по ученой, а можетъ быть и по гражданской части. — Григорій Иванычъ былъ испуганъ дѣйствіемъ этого письма надо мною. Терзаемый совѣстью и раскаяніемъ, я пришелъ въ такое волненіе, что долго не могъ ничего говорить; наконецъ слезы облегчили мою грудь. Я чистосердечно признался во всемъ, что писалъ къ моимъ родителямъ, высказалъ всѣ мои прежнія къ нему чувства, плакалъ, просилъ. молилъ Григорья Иваныча позабыть мой поступокъ и не разлучаться со мною до своего отъѣзда въ Петербургъ. Я обѣщалъ ему, и конечно сдержалъ бы обѣщаніе, что какъ бы онъ ни поступалъ со мною строго, я не только не покажу неудовольствія, но даже не почувствую его. Искренность раскаянія и душевнаго страданія, казалось, поколебали моего воспитателя. Онъ долго и пристально смотрѣлъ на меня, потомъ началъ ходить по комнатѣ и наконецъ, сказавъ: «Дайте мнѣ подумать», отпустилъ меня. Оставалось два дня до слѣдующей почты. Я написалъ другое письмо къ моимъ родителямъ, въ которомъ признавалъ себя непростительно и совершенно виноватымъ, восторженно хвалилъ моего наставника, описалъ подробно все происшествіе и сказалъ между прочимъ: «Какъ бы Григорій Иванычъ ни посту-

пилъ со мной, оставитъ у себя, или прогонитъ—я стану любить его, какъ втораго отца.» Передъ отправленіемъ письма на почту, я принесъ мое письмо къ Григорью Иванычу и спросилъ: «Не угодно ли ему прочесть, что я пишу?» Онъ отвѣчалъ, что не нужно, что онъ уже отправилъ свое, то самое, которое я слышалъ, и что это дѣло окончательно рѣшено. Это былъ для меня ударъ, нельзя сказать, вовсе неожиданный, но тѣмъ не менѣе тяжкій: я зналъ, что никакія баттареи не заставятъ теперь моего наставника отступить, да и всякое отступленіе оказалось бы безполезнымъ, потому что письмо его уже было послано. Дѣлать было нечего: я поспѣшилъ отправить мое второе письмо. Мое живое воображеніе рисовало мнѣ такую картину отчаянія моей бѣдной матери, что эта картина преслѣдовала меня день и ночь, и я даже захворалъ съ горя. Григорій Иванычъ хмурился, и не одобряя никакихъ страстныхъ моихъ порывовъ, доказывалъ мнѣ очевидный вредъ излишества всякихъ ощущеній; въ тоже время онъ сожалѣлъ обо мнѣ и успокоивалъ меня, говоря, что моя мать гораздо легче приметъ это происшествіе, нежели я думаю; что наша разлука и безъ того была неизбѣжна и что мое второе письмо, содержаніе котораго я ему разсказалъ, изгладитъ непріятное впечатлѣніе перваго. Такія слова меня нѣсколько успокоили. Я скоро выздоровѣлъ, и наконецъ мы получили письма изъ Аксакова. Григорій Иванычъ оказался совершенно правъ. Отецъ и мать оцѣнили мое раскаяніе и простили мнѣ *первое* письмо, написанное въ припадкѣ горячности. Мать вполнѣ вѣрила отзыву обо мнѣ моего наставника и ея материнское любящее сердце исполнилось отрадныхъ и лестныхъ упованій. Она вѣрила также скорому отъѣзду и необходимости этого отъѣзда, по собственнымъ обстоятельствамъ Григорья Иваныча. Она была убѣждена, что онъ останется навсегда нашимъ

истиннымъ другомъ и что, переставъ быть моимъ воспитателемъ, гораздо ближе сойдется со мною и больше меня полюбитъ; что совѣты его, не отзываясь никакою властью, будутъ принимаемы мною съ бо́льшею готовностью, съ бо́льшимъ чувствомъ.... Она не ошиблась. Будущее опра́вдало проницательность ея рѣдкаго ума.

Я долженъ былъ скоро отправиться на вакацію, а Григорій Иванычъ черезъ мѣсяцъ сбирался ѣхать въ Петербургъ. Мать моя поручила ему устроить мое будущее пребываніе въ К., и я, съ согласія Григорья Иваныча (удивляюсь, какъ могъ онъ согласиться), условился съ адъюнктъ-профессоромъ философіи и логики, Львомъ Семенычемъ Левицкимъ, въ томъ, что я буду жить у него, платя за столъ и квартиру небольшую сумму и въ тоже время присматривая за его тремя воспитанниками, своекоштными гимназистами. Всѣ три мальчика были мнѣ родня и страшные шалуны, о чемъ я не имѣлъ понятія. Я простился съ Григорьемъ Иванычемъ съ большимъ чувствомъ, даже со слезами, и онъ самъ былъ очень растроганъ; но по своему обыкновенію старался прикрыть свое волненіе шутками и даже насмѣшками надъ моею чувствительностію.

Не смотря на смутныя и тревожныя обстоятельства моей домашней внутренней жизни, мы съ Александромъ П—вымъ продолжали заниматься литературой и собираніемъ бабочекъ, которыхъ умѣлъ мастерски раскладывать мой товарищъ, искусный и ловкій на всякія механическія занятія. Я написалъ нѣсколько стихотвореній и статью въ прозѣ, подъ названіемъ: «Дружба» и показалъ моему другу Александру, который ихъ одобрилъ, но сдѣлалъ нѣсколько критическихъ замѣчаній, показавшихся мнѣ однако не основательными. Помѣщаю здѣсь мои первые

ребячьи стихи, которыхъ впрочемъ не помню и половины, и праздную тѣмъ мой пятидесятилѣтній юбилей на поприщѣ бумагомаранья; считаю нужнымъ прибавить, что у меня не было никакой жестокой красавицы, даже ни одной знакомой дѣвушки.

Къ соловью.

Другъ весны, пѣвецъ любезнѣйшій,
Будь единой мнѣ отрадою,
Уменьши тоску жестокую,
Что сѣдаетъ сердце страстное.

* * *

Пой красы моей возлюбленной
Пой любовь мою къ ней пламенну;
Изчисляй мои страданья всѣ,
Изчисляй моей дни горести.

* * *

Пусть услышитъ она голосъ твой,
Пусть узнаетъ, кто училъ тебя;
Можетъ быть тогда, жестокая,
Хоть изъ жалости вздохнетъ по мнѣ.

* * *

Можетъ быть она узнаетъ тутъ,
Что любовь для насъ есть счастіе;
Можетъ быть она почувствуетъ,
Что нельзя вѣкъ не любя прожить.

(Здѣсь не достаетъ нѣсколькихъ куплетовъ.)

Истощи свое умѣнье все,
Возбуди ея чувствительность;
Благодаренъ буду вѣкъ тебѣ
За твое искусство дивное....

Вотъ какими виршами безъ риѳмъ дебютировалъ я на литературной аренѣ нашей гимназіи въ 1805 году! Впрочемъ я скоро призналъ эти стихи *недостойными моего пера* и не помѣстилъ ихъ въ нашемъ журналѣ 1806 года. Всѣ послѣдующіе стихи писалъ я уже съ риѳмами; всѣ они не имѣютъ никакого, даже относительнаго достоинства и не показываютъ ни малѣйшаго признака стихотворнаго дарованія.

Вакацію 1805 года, проведенную въ Оренбургскомъ Аксаковѣ, я какъ-то мало помню. Знаю только, что ружье и бабочки такъ сильно меня занимали, что я рѣдко удилъ рыбу; вѣроятно потому, что въ это время года клёвъ всегда бывалъ не значительный: я разумѣю клёвъ крупной рыбы.

Я нашелъ здоровье моей матери очень разстроеннымъ и узналъ, что это была единственная причина, по которой она не пріѣхала ко мнѣ, получивъ извѣстіе о моемъ разрывѣ съ Григорьемъ Иванычемъ.—Продолжая владѣть моей безпредѣльной довѣренностью и узнавъ всѣ малѣйшія подробности моей жизни, даже всѣ мои помышленія, она успокоилась на мой счетъ и, не смотря на молодость, отпустила меня въ университетъ на житье у неизвѣстнаго ей профессора, съ полною надеждою на чистоту моихъ стремленій и безукоризненность поведенія.

Я пріѣхалъ въ К. прямо къ Левицкому. Не задолго до моего возвращенія, Григорій Иванычъ уѣхалъ въ Петербургъ, и меня очень удивило, что онъ цѣлый мѣсяцъ вакаціи прожилъ въ К., безъ всякаго дѣла. Послѣ отъѣзда Григорья Иваныча, классъ высшей математики, впредь до поступленія новаго профессора, былъ порученъ студенту А. К—у, котораго отличныя способности обѣщали слав-

наго ученаго по этой части. Я не могъ долго оставаться у Левицкаго: пагубная страсть къ вину совершенно имъ овладѣла, и онъ уже предавался ей каждый вечеръ въ одиночку; воспитанники его избаловались до послѣдней крайности и ничему не учились. Мнѣ скоро надоѣло возиться съ этими шалунами, и я чрезъ два мѣсяца, съ разрѣшенія моего отца и матери, нанялъ себѣ квартиру: особый флигелекъ, близехонько отъ театра, у какого-то Нѣмца Германа, поселился въ немъ и въ первый разъ началъ вести жизнь независимую и самобытную. Мы были почти не разлучны съ Александромъ П—вымъ и приняли въ свое литературное товарищество студента Д. П—ва. Переводили повѣсти Мармонтеля, не переведенныя Карамзинымъ, сочиняли стихами и прозою, и втроемъ читали другъ другу свои переводы и сочиненія. Намѣреніе переводить повѣсти Мармонтеля было еще у меня тогда, когда я жилъ у Левицкаго. Одинъ разъ я сказалъ ему объ этомъ, разумѣется до обѣда, покуда онъ былъ только съ похмѣлья, и очень помню, какъ оскорбилъ меня его отвѣтъ: «Ну какъ вамъ переводить Мармонтеля послѣ Карамзина? Куда конь съ копытомъ, туда и ракъ съ клешней!» Но эти слова насъ не остановили. — Наконецъ мы съ Александромъ П—вымъ рѣшились издавать письменный журналъ въ наступающемъ 1806 году, подъ названіемъ: «Журналъ нашихъ занятій», но безъ имени издателя. Это было предпріятіе уже болѣе серьёзное, чѣмъ «Аркадскіе пастушки», и я изгонялъ изъ этого журнала, сколько могъ, идиллическое направленіе моего друга и слѣпое подражаніе Карамзину. Я въ то время боролся изъ всѣхъ силъ противу этого подражанія, подкрѣпляемый книгою Шишкова: «Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ», которая увлекла меня въ противоположную крайность. Я скажу объ этомъ подробнѣе въ другомъ мѣстѣ. Изъ

сохранившихся у меня трехъ книжекъ «Журнала нашихъ занятій» я вижу, что онъ начался не съ января, а съ апрѣля, и продолжался до декабря включительно. Къ сожалѣнію въ этихъ трехъ книжкахъ нѣтъ ни одной моей статьи, ни переводной, ни оригинальной; но я помню, что ихъ находилось довольно. Теперь мнѣ было бы очень любопытно узнать, какъ выражалось мое тогдашнее направленіе. Я помѣщаю въ особомъ приложеніи оглавленіе статей и выписки изъ нѣкоторыхъ піесъ.

Между тѣмъ, въ концѣ 1805 года и въ январѣ 1806-го, составились два спектакля въ университетѣ безъ моего участія; тяжело, горько было мнѣ это лишеніе; страдала моя любовь къ театру, страдало мое самолюбіе отъ успѣховъ моего соперника, Дмитріева; но дѣлать было нечего. Актеры предлагали мнѣ опять вступить въ ихъ труппу, но я не забылъ еще сдѣланнаго мнѣ оскорбленія и отвѣчалъ: «Я вамъ не нуженъ, у васъ есть Дмитріевъ, который прекрасно играетъ мои роли.»—«Ну какъ хочешь, дуйся пожалуй, обойдемся и безъ тебя», отвѣчалъ мнѣ директоръ Балясниковъ: тѣмъ дѣло и кончилось. Впрочемъ все шло дружелюбно; я ходилъ на репетиціи и давалъ совѣты тѣмъ, кто у меня ихъ спрашивалъ. Въ первомъ спектаклѣ, въ комедіи Коцебу: «Ненависть къ людямъ и раскаяніе», Дмитріевъ игралъ Неизвѣстнаго съ большимъ успѣхомъ. Не смотря на совершенное неумѣніе держать себя, на смѣшныя позы и еще болѣе смѣшные жесты одной правой рукой, тогда какъ лѣвая точно была привязана у него за спиной, не смотря на положительно-дурное исполненіе обыкновенныхъ разговоровъ съ своимъ слугою и бѣднымъ старикомъ, — Дмитріевъ, въ сценѣ съ другомъ, которому разсказываетъ свои несчастія, и въ примиреніи съ женой, выражалъ столько силы внутренняго чувства, что всѣ зрители, въ томъ числѣ и я, были

совершенно увлечены, и общее восхищеніе выражалось неистовыми рукоплесканіями. Сначала я только восхищался и никакое чувство зависти не вкрадывалось въ мое сердце, но потомъ слова нѣкоторыхъ студентовъ, особенно актеровъ, глубоко меня уязвили, и проклятая зависть поселилась въ моей душѣ. Мнѣ безъ церемоніи говорили: «Ну что, обошлись мы и безъ тебя! Да гдѣ тебѣ сыграть такъ Неизвѣстнаго, какъ играетъ Дмитріевъ. Тебя хвалили только потому, что его не видали.» Въ самомъ дѣлѣ, успѣхъ Дмитріева въ этой роли былъ гораздо блистательнѣе моего, хотя существовала небольшая партія, которая утверждала, что я игралъ «Неизвѣстнаго» лучше, что Дмитріевъ карикатуренъ и что только нѣкоторыя, сильныя мѣста были выражены имъ хорошо; что я настоящій актеръ, что я хорошъ на сценѣ во всемъ отъ начала до конца, отъ перваго до послѣдняго слова. Тутъ была часть правды, и у меня родилось непреодолимое желаніе обработать роль «Неизвѣстнаго» и такъ сыграть, чтобы совершенно затмить моего противника. Въ началѣ 1806 года, студенты дали другой спектакль и разыграли піесу того же Коцебу: «Бѣдность и благородство души», въ которой Дмитріевъ игралъ роль Генриха Блума, также съ большимъ успѣхомъ, уступавшимъ однако успѣху въ роли «Неизвѣстнаго.» Защитники мои утверждали, что въ Генрихѣ Блумѣ я былъ бы несравненно лучше Дмитріева. Подстрекаемый завистью и самолюбіемъ, я старательно обработалъ обѣ эти роли, и при многихъ слушателяхъ, даже не весьма ко мнѣ расположенныхъ, прочелъ, или лучше сказать, разыгралъ сильныя мѣста обѣихъ піесъ. Всѣ почувствовали разницу моей, конечно болѣе искусной и естественной игры, отъ дикаго, хотя одушевленнаго силою чувства, исполненія этѣхъ ролей моимъ соперникомъ. Между студентами возникли двѣ равносильныя партіи:

за меня и противъ меня; это уже былъ первый шагъ къ торжеству. Шумные споры доходили до ссоръ и чуть не до драки; самолюбіе мое нѣсколько утѣшилось. Потомъ судьба захотѣла побаловать меня. Дмитріеву, которому было уже слишкомъ за двадцать лѣтъ, наскучило студентское ученье, правду сказать весьма неудовлетворительное; можетъ быть были и другія причины,—не знаю,—только онъ рѣшился вступить въ военную службу; онъ внезапно оставилъ университетъ и, какъ хорошій математикъ, опредѣлился въ артиллерію. Труппа осиротѣла и поневолѣ обратилась ко мнѣ. Я, пользуясь обстоятельствами, долго не соглашался, не смотря на предлагаемое мнѣ вновь директорство. Наконецъ, довольно поломавшись, я согласился на слѣдующихъ условіяхъ: 1) званіе и должность директора уничтожить, а для управленія труппой выбрать трехъ старшинъ; 2) спектакли начать повтореніемъ: «Ненависти къ людямъ и раскаянія» и «Бѣдности и благородства души».— Разумѣется всѣ согласились. «Ненависть къ людямъ и раскаяніе» шла на Святой недѣлѣ. Не знаю по какому случаю былъ приглашенъ на генеральную репетицію актеръ Грузиновъ (*), котораго мы всѣ очень любили и уважали. Піеса давалась у насъ уже въ третій разъ, и общимъ стараніемъ, особенно моимъ, была довольно хорошо слажена. Грузиновъ удивился, не вѣрилъ своимъ глазамъ и ушамъ. Онъ нахвалилъ насъ содержателю К. театра П. П. Есипову, который поспѣшилъ получить позволеніе директора Яковкина, пріѣхать въ театръ на настоящее представленіе, и не только пріѣхалъ самъ, но даже привезъ съ собою, кромѣ Грузинова, еще троихъ актеровъ. —

(*) Грузиновъ былъ наемный актеръ на театрѣ г-на Есипова; онъ съ большимъ успѣхомъ занималъ амплуа благородныхъ отцевъ.

Наконецъ сошелъ давно желанный, давно ожидаемый мною спектакль! Удовлетворилось мое молодое самолюбіе. Весь университетъ говорилъ, что я *превзошелъ самъ себя* и далеко оставилъ за собою Дмитріева. Чего же мнѣ было больше желать! О непостоянство мірской славы! Черезъ два, три мѣсяца послѣ торжества Дмитріева, осталось только два-три человѣка, которые не громко говорили, что Дмитріевъ игралъ не хуже, а мѣстами и лучше Аксакова. Это была совершенная правда. — Въ театрѣ было довольно посторонняхъ зрителей, они превозносили меня до небесъ; но самый сильный блескъ и прочность моей славѣ придавали похвалы П. И. Есипова и актеровъ, которыхъ мнѣніе по справедливости считалось сильнымъ авторитетомъ. Я ожидалъ еще большаго торжества въ другой піесѣ: «Бѣдность и благородство души», которая, была уже сыграна въ концѣ 1806 года. Читатели увидятъ, что я не ошибся.

Теперь надобно обратиться назадъ. Григорій Иванычъ просрочилъ свой отпускъ (потому что промѣшкалъ долго въ К.) и опоздалъ слишкомъ мѣсяцъ. Онъ воротился безъ всякаго свидѣтельства о болѣзни и не представилъ никакихъ уважительныхъ причинъ, если не къ оправданію, то по крайней мѣрѣ къ извиненію своей просрочки. Университетское начальство встрѣтило его непріязненно. Григорью Иванычу былъ сдѣланъ въ Совѣтѣ выговоръ. Его подвергли какому-то денежному штрафу и записали просрочку въ формуляръ. Григорій Иванычъ обидился и подалъ въ отставку. Отставку ему дали, хотя не скоро; но въ аттестатъ хотѣли прописать его просрочку, денежный штрафъ и выговоръ. Григорій Иванычъ не захотѣлъ получить такого аттестата, уѣхалъ въ Петербургъ и поступилъ на службу въ Коммиссію

Составленія Законовъ, безъ аттестата. Уже по прошествіи долгаго времени выхлопоталъ онъ приказаніе у министра Просвѣщенія выдать ему аттестатъ изъ университета безъ упоминанія о просрочкѣ и о прочемъ. Я видался часто съ моимъ бывшимъ наставникомъ до его отъѣзда и потомъ простился съ нимъ, какъ съ добрымъ старшимъ другомъ, которому я былъ обязанъ чистотою моихъ нравственныхъ убѣжденій и стремленій, предсказаніе матери моей начинало сбываться.

Въ 1806 году совершилось другое событіе, важность послѣдствій котораго, измѣнившихъ все положеніе моего семейства, долго оставалась мнѣ не извѣстною: Надежда Ивановна Куроѣдова, которая уже около года была больна водяною болѣзнью, скончалась. Все это время, мои родители, съ остальнымъ своимъ семействомъ, жили въ Симбирскомъ Аксаковѣ: то-есть, дѣти жили въ Аксаковѣ, покуда больная находилась въ Чуфаровѣ, откуда отецъ и мать не отлучались; когда же ее перевезли въ Симбирскъ, то и отецъ мой съ семействомъ переѣхалъ туда же. Надежда Ивановна, эта замѣчательная женщина, переносила тяжкую свою болѣзнь съ удивительнымъ терпѣніемъ, спокойствіемъ и даже веселостью, а смерть встрѣтила съ такою твердостію духа, къ какой немногіе бываютъ способны. Когда послѣ двукратнаго выпуска воды изъ ногъ, совершили въ третій разъ ту же операцію и когда ея докторъ, Шицъ, осматривая раны, говорилъ: «Очень, очень хорошо», она сказала ему: «Полно врать, жидъ. Я вижу, что теперь начинается послѣдняя исторія. Это совсѣмъ не то, что было прежде. Это Антоновъ огонь; я не боюсь смерти, я давно къ ней приготовилась. Говори, жидовское отродье, сколько мнѣ осталось жить?» Шицъ, привыкшій къ такимъ эпитетамъ, но всегда за нихъ зли-

шійся, неумолимымъ голосомъ ей отвѣчалъ: «Дня четыре проживете.» —«Вотъ спасибо, Иванъ Карпычъ, отвѣчала больная, что сказалъ правду. Теперь прощай; благодарю за хлопоты; больше ко мнѣ прошу не ходить. Я сейчасъ прикажу съ тобой расплатиться.» Потомъ она собрала всѣхъ; объявила, что она умираетъ, что больше лечиться не хочетъ и требуетъ, чтобъ ее оставили въ покоѣ, чтобъ въ ея комнатѣ не было ни одного человѣка, кромѣ того, который будетъ читать ей Евангеліе. «Все ли я исполнила, что должно? спросила она, обратясь къ моему отцу: не нужно ли еще чего?» — «Ничего, тетушка, отвѣчалъ мой отецъ, вы давно все сдѣлали» — «Такъ и прекрасно, заключила больная; прошу же обо мнѣ не безпокоиться. Извольте выдти.» Надежда Ивановна прожила пять дней. Во все время она, или читала молитвы, или слушала Евангеліе, или пѣла священныя славословія. Ни съ кѣмъ не сказала она ни одного слова о дѣлахъ міра сего. По ея приказанію всѣ простились съ нею молча и она всякому говорила, даже своему дворнику, только три слова: «Прости меня грѣшную.» Обо всемъ этомъ увѣдомляли меня чрезъ письма, но ничего другаго не сообщали.—Вскорѣ я получилъ извѣстіе, что у меня родилась третья сестра, что мать моя была отчаянно больна, но что, слава Богу, теперь все идетъ благополучно. Я сначала испугался, потомъ обрадовался, и наконецъ дальнѣйшія письма совершенно успокоили меня насчетъ здоровья матери.

Мы съ Александромъ П—вымъ продолжали усердно заниматься своими литературными упражненіями и посѣщеніями театра, а когда наступила весна — собираніемъ бабочекъ. Къ стыду моему долженъ я признаться, что кромѣ любимыхъ предметовъ, мое ученье шло довольно слабо и что я сильно и много развлекался.

Къ числу такихъ развлеченій я причисляю и то, что мы составили маленькое литературное общество, подъ предсѣдательствомъ Н. М. Ибрагимова. Основателями и первыми членами его были: Ибрагимовъ, студенты: В. Перевощиковъ, Д. Перевощиковъ, Н. Кондыревъ (онъ же секретарь), И. Панаевъ, А. Панаевъ, я, и гимназическій учитель Богдановъ. Мы собирались каждую недѣлю по субботамъ и читали свои сочиненія и переводы въ стихахъ и прозѣ. Всякой имѣлъ право дѣлать замѣчанія, и статьи не рѣдко тутъ же исправлялись, если сочинитель соглашался въ справедливости замѣчаній; споровъ никогда не было. Принятое сочиненіе или переводъ вписывался въ заведенную для того книгу. Въ послѣдствіи, число членовъ умножилось, сочинили уставъ, и съ Высочайшаго утвержденія было открыто: «Общество любителей русской словесности при К.. университетѣ.» Оно и теперь не уничтожено, но пребываетъ въ совершенномъ бездѣйствіи, какъ и всѣ литературныя общества. Я до сихъ поръ имѣю честь считаться его почетнымъ членомъ.

Въ это время случилось въ К. слѣдующее замѣчательное происшествіе, непосредственно касавшееся до меня. Тамъ былъ частный, благородный пансіонъ для особъ обоего пола г-на и г-жи Вильфингъ. Они не имѣли дѣтей, но воспитали бѣдную сироту, Марью Христофоровну Керникъ, которая достигла уже совершенныхъ лѣтъ и была очень хороша собою. Григорій Иванычъ иногда видался съ Вильфингами и даже раза два бралъ меня къ нимъ съ собой; но я уже болѣе полугода не бывалъ у нихъ. Въ настоящее время я случайно, во время прогулки за городомъ, возобновилъ это знакомство, и вскорѣ красота Марьи Христофоровны оказала и на меня свое дѣйствіе. Я разумѣется открылся другу моему Александ-

ру; онъ очень обрадовался, бросился ко мнѣ на шею и поздравлялъ меня, что *я начинаю жить*. Онъ употреблялъ всѣ усилія раздуть искру, зароншшуюся въ мое молодое сердце. Марья Христофоровна была дѣвица очень тихая и скромная, такъ что всѣ ея обожатели, которыхъ было не мало, вздыхали по ней въ почтительномъ отдаленіи; о моихъ же чувствахъ, разумѣется, она не имѣла и понятія. Вдругъ, посреди мечтательныхъ надеждъ и огорченій, выражаемыхъ мною весьма плохими ребячьими стихами, является въ К., проѣздомъ, какой-то путешественникъ, шведскій графъ; знакомится съ Вильфингами, всѣхъ очаровываетъ, ѣздитъ къ нимъ всякій день и проводитъ съ ними время отъ утра до вечера Это былъ человѣкъ лѣтъ тридцати пяти, красивой наружности, умный, ловкой и бойкой, говорившій на всѣхъ европейскихъ языкахъ, владѣвшій всѣми искусствами и сверхъ того сочинитель и въ стихахъ и въ прозѣ; въ три дня Вильфинги сошли отъ него съ ума; черезъ недѣлю влюбилась въ него Марья Христофоровна, а еще чрезъ двѣ недѣли онъ женился на ней и увезъ съ собою въ Сибирь, куда ѣхалъ для какихъ-то ученыхъ изслѣдованій, по порученію правительства, въ сопровожденіи чиновника, который служилъ ему переводчикомъ, потому что графъ не понималъ ни одного русскаго слова. Горько было Вильфингамъ разстаться съ своей воспитанницей, которую они любили, какъ родную дочь, но счастіе ея казалось такъ завидно, такъ неожиданно, такъ высоко, что они не смѣли горевать. Дочь булочника,—а теперь жена графа, обожаемая мужемъ, человѣкомъ осыпаннымъ всѣми дарами образованности и природы! Отъ такого происшествія и не Нѣмцы сошли бы съ ума. Но увы! скоро загадка объяснилась. Мнимый графъ былъ самозванецъ, отъявленный плутъ и негодяй, весьма извѣстный своими похожденіями

въ Германіи, по фамилію Ашенбреннеръ, бѣжавшій отъ полицейскихъ преслѣдованій въ Россію, принявшій русское подданство, проживавшій у насъ въ разныхъ западныхъ губерніяхъ нѣсколько лѣтъ, попавшійся во многихъ мошенничествахъ и сосланный на жительство въ Сибирь; чиновникъ, сопровождавшій его, былъ точно чиновникъ, но—полицейскій, который везъ его секретно въ Иркутскъ, чтобы сдать съ рукъ на руки подъ строжайшій надзоръ губернатору. Все это было какъ-то скрыто отъ Вильфинговъ и отъ публики. Въ переводчикѣ же путешественникъ не нуждался, потому что очень хорошо говорилъ по-русски, какъ узнали послѣ. Онъ самъ увѣдомилъ съ дороги Вильфинговъ о своемъ обманѣ, къ которому заставила его прибѣгнуть «всесильная любовь»; разумѣется называлъ себя жертвою клеветы враговъ; надѣялся, что будетъ оправданъ и вознагражденъ за невинное страданіе. Марья Христофоровна сама писала, что она все знаетъ, но тѣмъ не менѣе благодаритъ Бога за свое счастіе. Наконецъ кто-то прислалъ Вильфингамъ печатныя похожденія мнимаго графа, въ двухъ томахъ, написанныя имъ самимъ на нѣмецкомъ языкѣ. Это былъ настоящій Видокъ того времени. Старики Вильфинги неутѣшно сокрушались. Что сдѣлалось въ послѣдствіи съ Марьей Христофоровной, я ничего узнать не могъ.—Такъ печально кончилась первая моя сердечная склонность.

На лѣтнюю вакацію я опять поѣхалъ въ Симбирское Аксаково, гдѣ жило тогда мое семейство. Я пріѣхалъ поздно вечеромъ; всѣ въ домѣ уже спали; но мать, ожидавшая меня въ этотъ день, услыхала шумъ, вышла ко мнѣ на крыльцо и провела меня прямо въ спальную. Послѣ радостныхъ объятій съ отцемъ и съ матерью, послѣ многихъ разспросовъ и разсказовъ, я легъ спать на софѣ

у нихъ въ комнатѣ. Проснувшись поутру довольно поздно, я услышалъ, что родители мои тихо разговаривали между собою о какихъ-то дѣлахъ, мнѣ неизвѣстныхъ. Наконецъ замѣтивъ, что я пересталъ храпѣть, мать тихо сказала моему отцу: «Надобно разсказать обо всемъ Сережѣ; вѣдь онъ ничего не знаетъ.»—«Разскажи, матушка», отвѣчалъ мой отецъ. —«Ты не спишь, Сережа?» —«Нѣтъ, маменька», отвѣчалъ я. —«Такъ поди же къ намъ. Мы разскажемъ тебѣ, что случилось съ нами. Мы теперь богаты». Я всталъ, сѣлъ къ нимъ на постель и мнѣ, со всѣми мельчайшими подробностями, пространно разсказали то, что я постараюсь разсказать въ нѣсколькихъ словахъ. Надежда Ивановна Куроѣдова, сдѣлавшись вдругъ тяжело больна водяною болѣзнію, немедленно укрѣпила моему отцу, судебнымъ порядкомъ, все свое движимое и недвижимое имѣніе. Черезъ нѣсколько дней все дѣло было улажено: весь уѣздный судъ и нѣсколько свидѣтелей, изъ числа извѣстныхъ и почетныхъ лицъ въ городѣ, пріѣхали въ Чуфарово. Надежда Ивановна, въ присутствіи всѣхъ, подписала нужныя бумаги и подтвердила ихъ особою сказкою и личнымъ удостовѣреніемъ. Когда все было кончено, она приказала подать шампанскаго, взяла бокалъ и первая весело поздравила новаго владѣльца. Надобно сказать, что въ это время она была такъ тяжело больна, что лучшій тогда докторъ Шицъ, привезенный немедленно изъ Симбирска, не имѣлъ надежды къ ея выздоровленію. Онъ рѣшился на выпускъ воды изъ ногъ, посредствомъ операціи, нисколько не ручаясь за выздоровленіе больной; но силы ея были еще такъ крѣпки, что неиспорченная натура скоро побѣдила болѣзнь, и она въ самое короткое время совершенно выздоровѣла. Къ-сожалѣнію, не вѣря простудѣ и считая діэту за выдумку докторовъ, Надежда Ивановна продолжала вести прежнюю

жизнь, простудилась, испортила желудокъ и получила рецидивъ водяной болѣзни. Вторичная операція была уже не такъ удачна и только отдалила печальную катастрофу. Больную перевезли въ Симбирскъ, гдѣ она, послѣ третьей операціи, скончалась, о чемъ я уже говорилъ.

Боже мой, что значитъ богатство! Какъ оно разодрало глаза всѣмъ добрымъ людямъ! Какою завистью закипѣли сердца близкихъ пріятелей и даже родныхъ!

У Надежды Ивановны были бѣдные должники; объ нихъ докладывали при ея кончинѣ и она отвѣчала: «что у ней деньги не воровскія, не нажитыя сквернымъ поведеніемъ, и что она дарить ихъ не намѣрена.» Мои родители простили такихъ долговъ до 20 тысячъ, объявя должникамъ, что въ послѣдствіи Надежда Ивановна сама приказала денегъ съ нихъ не взыскивать. Этотъ поступокъ никого не обезоружилъ, не примирилъ съ богатыми наслѣдниками, и мой отецъ съ матерью, очень огорченные, чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ уѣхали на житье въ свое Оренбургское Аксаково.

По совѣсти скажу, что перемѣна состоянія не произвела на меня ни малѣйшаго впечатлѣнія. Всю вакацію занимался я то ружьемъ, то бабочками, то театральными піесами. Я воротился въ университетъ точно такимъ же молодымъ, очень, очень небогатымъ студентомъ, и долго забывалъ даже сказать другу моему Александру П—ву о счастливой перемѣнѣ нашихъ обстоятельствъ. Но въ семействѣ своемъ я перемѣну замѣтилъ: поговаривали о переѣздѣ на зиму въ К.; написали въ Москву къ своему другу и коммиссіонеру Андреяну Ѳедорычу Аничкову, чтобы онъ пріискалъ и нанялъ Француженку въ гувернантки и учительницы къ моимъ сестрамъ; даже намѣре-

вались на будущій годъ сами ѣхать на зиму въ Москву, а лѣтомъ въ Петербургъ, для опредѣленія меня на службу. Для исполненія этого послѣдняго намѣренія, было положено, чтобъ въ слѣдующемъ 1807 году, я оставилъ университетъ (*). Я слушалъ все это довольно равнодушно, но къ Петербургу и къ службѣ никакого *призванія* не чувствовалъ; я даже думалъ, что это только одни разговоры, однѣ предположенія; но я ошибся. Черезъ мѣсяцъ по пріѣздѣ въ К., я получилъ письмо отъ отца, съ приказаніемъ пріискать и нанять большой помѣстительный домъ, гдѣ не только могло бы удобно расположиться все наше семейство, но и нашлись бы особыя комнаты для двухъ родныхъ сестеръ моей матери по отцѣ, которыя жили до тѣхъ поръ въ домѣ В—хъ. Мать прибавляла, что она намѣрена для нихъ выѣзжать въ свѣтъ и потому должна познакомиться съ лучшею городскою публикою. Я очень этому обрадовался и за себя и за своихъ тетокъ, которыхъ искренно любилъ и съ которыми не рѣдко видался. Я немедленно нанялъ большой, каменный домъ купца Комарова и, въ ожиданіи моего семейства, перебрался въ него на антресоли и занялъ одну уютную комнатку.

Университетская жизнь текла прежнимъ порядкомъ; прибавилось еще два профессора Нѣмца, одинъ русской адъюнктъ по медицинской части, Каменской, съ замѣчательнымъ даромъ слова, и новый адъюнктъ-профессоръ россійской словесности, Г—въ, человѣкъ бездарный и отсталой, точь въ точь похожій на извѣстнаго профессора

(*) Равовременный выходъ изъ университета и намѣреніе опредѣлить меня на службу было слѣдствіемъ совѣтовъ Григорья Иваныча, который даже обѣщалъ доставить мнѣ мѣсто въ Коммиссіи Составленія Законовъ, что послѣ и сдѣлалъ.

Г—го или К—ва, нѣкогда обучавшихъ благородное россійское юношество. Я забылъ сказать, что бѣдный Левицкій получилъ отъ невоздержности водяную и умеръ. Всѣ мы искренно о немъ сожалѣли.—На первой лекціи, адъюнктъ-профессоръ Г—въ, сказалъ намъ пошлое, надутое привѣтствіе и, для лучшаго ознакомленія съ студентами, предложилъ намъ, чтобъ всякій изъ насъ сказалъ, какого русскаго писателя онъ предпочитаетъ другимъ и какое именно мѣсто въ этомъ писателѣ нравится ему болѣе прочихъ. На такой вопросъ вдругъ отвѣчать очень мудрено и потому всякой отвѣчалъ то, что прежде приходило ему въ голову. Многіе называли Карамзина, но Г—въ морщился и изъявлялъ сожалѣніе, что университетское юношество заражено этимъ опаснымъ писателемъ. Студентъ Ѳоминъ, сидѣвшій подлѣ меня, сказалъ мнѣ на ухо: «Посмотри, Аксаковъ, какъ я потѣшу этого господина.» Въ самомъ дѣлѣ, когда дошла до него очередь, Ѳоминъ всталъ и громко сказалъ: «Я предпочитаю всѣмъ писателямъ Сумарокова и считаю самыми лучшими его стихами послѣднія слова Дмитрія Самозванца, въ извѣстной трагедіи того же имени:

«Ступай душа во адъ и буди вѣчно плѣнна.»

Ѳоминъ сдѣлалъ движеніе рукою съ свернутой тетрадью, какъ-будто закололся кинжаломъ и торжественно произнесъ:

«Ахъ если бы со мной погибла вся вселенна!»

Студенты едва удерживались отъ смѣха, но профессоръ пришелъ въ такое восхищеніе, что сбѣжалъ съ каѳедры, вызвалъ Ѳомина къ себѣ, протянулъ ему руку и сказалъ, что желаетъ познакомиться съ нимъ покороче. Тутъ сдѣ-

лалъ онъ намъ объясненіе, что сильнѣе этого послѣдняго стиха нѣтъ ни въ одной литературѣ. Дошла очередь до меня. Я сказалъ, что всѣмъ предпочитаю Ломоносова и считаю лучшимъ его произведеніемъ оду изъ Іова. Лицо Г—ва сіяло удовольствіемъ. «Потрудитесь же что-нибудь прочесть изъ этой превосходной оды», сказалъ онъ Я того только и ждалъ, надѣясь поразить профессора моей декламаціей. Но какъ жестоко наказала меня судьба за мое самолюбіе и старовѣрство въ литературѣ! Вмѣсто извѣстныхъ стиховъ Ломоносова:

О ты, что̀ въ горести напрасно
На Бога ропщешь, человѣкъ!

я прочелъ, по непостижимой разсѣянности, слѣдующіе два стиха:

О ты, что̀ въ горести напрасно
На службу ропщешь, офицеръ!

«Помилуйте, закричалъ профессоръ, это гнусная пародія на превосходную оду Ломоносова.» Я сконфузился, покраснѣлъ и поспѣшилъ начать:

О ты, что̀ въ горести напрасно
На службу....

Вся аудиторія разразилась громкимъ смѣхомъ. Я остолбенѣлъ отъ досады и смущенія, сгорѣлъ отъ стыда и не понималъ, что со мною дѣлается. Профессоръ презрительно велѣлъ мнѣ сѣсть и продолжалъ допрашивать другихъ студентовъ. Всю двухчасовую лекцію просидѣлъ я, какъ на горячихъ угольяхъ. Я потомъ объяснился съ Г—мъ и постарался увѣрить его, что это была несчастная ошибка и разсѣянность, совершенно неожиданная для меня самого, что все это произошло отъ того, что я предъ

самой лекціей два раза слышалъ и одинъ разъ самъ прочелъ эту проклятую пародію; я доказалъ профессору, что коротко знакомъ съ Ломоносовымъ, что я по личному моему убѣжденію назвалъ его первымъ писателемъ; узнавъ же, что я почитатель Шишкова, онъ скоро со мной подружился: Г—въ самъ былъ отчаянный *Шишковистъ*. Въ глазахъ профессора я свои дѣла поправилъ, но отъ насмѣшекъ товарищей не было спасенья, покуда имъ не наскучило смѣяться надо мной. Смѣялись не столько надъ ошибкой моей, какъ надъ симпатіей съ Г—мъ. Нѣсколько дней сряду большая часть студентовъ встрѣчали меня низкими поклонами, поздравленіями, что я нашелъ себѣ достойнаго единомышленника, то-есть, противника Карамзинскому направленію и обожателя Шишкова; каждый спрашивалъ о здоровьѣ Г—ва, моего друга и покровителя, давно ли я съ нимъ видѣлся, когда увижусь, и проч. и проч. Надоѣдали мнѣ такія шутки, споры не помогали, и кромѣ терпѣнья не было другаго лекарства.

Между тѣмъ составился у насъ спектакль, давно затѣянный мною, въ которомъ я надѣялся окончательно восторжествовать надъ Дмитріевымъ. Я говорю о комедіи «Бѣдность и благородство души». Мы два раза приглашали на репетицію актера Грузинова, который, нерѣдко останавливая и поправляя игру моихъ товарищей, не сдѣлалъ мнѣ ни одного замѣчанія, а говорилъ только: «очень хорошо, прекрасно!» Надежды мои блистательно оправдались: комедія «Бѣдность и благородство души» была сыграна, и не осталось ни одного почитателя Дмитріева, который бы не признался, что роль Генриха Блума я сыгралъ несравненно лучше его. Содержатель публичнаго театра, П. П. Есиповъ, подарилъ мнѣ кресло на всегдашній свободный входъ въ театръ. Это былъ послѣдній

университетскій спектакль, въ которомъ я игралъ; послѣднее мое сценическое торжество въ К. Откровенно признаюсь, что воспоминаніе о немъ и теперь пріятно отзывается въ моемъ сердцѣ. Много есть неизъяснимо-обаятельнаго въ возбужденіи общаго восторга! Двигать толпою зрителей, овладѣть ихъ чувствами и заставить ихъ слиться въ одно чувство съ выражаемымъ тобою, жить въ это время одной жизнью съ тобою—такое духовное наслажденіе, которымъ долго остается полна душа, которое никогда не забывается!—У насъ былъ также давно затѣянъ другой спектакль, и всѣ актеры и студенты пламенно желали его исполненія; но дѣло длилось, потому что трудно, не по силамъ нашимъ было это исполненіе. Рѣчь идетъ о «Разбойникахъ» Шиллера. Я не слишкомъ горячо хлопоталъ объ этомъ спектаклѣ, потому что всегда заботился о достоинствѣ, о цѣльности представленія піесы, а у насъ не было хорошихъ актеровъ для первыхъ ролей, для ролей Карла и Франца Моора. Наконецъ Карлъ нашелся. Это былъ молодой человѣкъ, не игравшій до сихъ поръ на театрѣ, Александръ Иванычъ Васильевъ, находившійся тогда уже учителемъ въ гимназіи. Всѣ восхищались его чтеніемъ роли Карла Моора, кромѣ меня. Студенты очень любили Васильева, какъ бывшаго милаго товарища, и увлекались наружностью его, особенно выразительнымъ лицемъ, блестящими черными глазами и прекраснымъ органомъ; но я чувствовалъ, что въ его игрѣ, кромѣ недостатка въ искусствѣ, не доставало того огня, ни чѣмъ не замѣнимаго, того мечтательнаго, безумнаго одушевленія, которое одно можетъ придать смыслъ и характеръ этому лицу. Францъ Мооръ былъ положительно дуренъ. Я игралъ старика, графа Моора. Наконецъ мы срепетировали «Разбойниковъ», какъ могли, и предполагали дать ихъ на Святкахъ. Мое семейство давно уже было въ К. и я

очень радовался, что оно увидитъ меня на сценѣ; особенно хотѣлось мнѣ, чтобъ посмотрѣла на меня мой другъ, моя красавица-сестрица; но за недѣлю до представленія, получено было отъ высшаго начальства запрещеніе играть «Разбойниковъ».

Я сказалъ уже, что мое семейство давно пріѣхало; это было по первому зимнему пути, въ половинѣ ноября. Я не стану распространяться о томъ, какъ устроивала свое городское житье моя мать, какъ она взяла къ себѣ своихъ сестеръ, познакомилась съ лучшимъ К—мъ обществомъ, дѣлала визиты, принимала ихъ, вывозила своихъ сестеръ на вечера и на балы, давала у себя небольшіе вечера и обѣды: я мало обращалъ на нихъ вниманія; но помню, какъ во время одного изъ такихъ обѣдовъ пріѣхала къ намъ изъ Москвы первая наша гувернатка, старуха француженка, мадамъ Фуасье, какъ влетѣла она прямо въ залу съ жалобою на извощиковъ и всѣхъ насъ переконфузила, потому что всѣ мы не умѣли говорить по французски, а старуха не знала по русски.

Наступилъ 1807 годъ. Шла рѣшительная война съ Наполеономъ. Впервые учредилась милиція по всей Россіи; молодежь бросилась въ военную службу, и нѣкоторые изъ пансіонеровъ, особенно изъ своекоштныхъ студентовъ, подали просьбы объ увольненіи ихъ изъ университета для поступленія въ дѣйствующую армію: въ томъ числѣ и мой другъ, Александръ П—въ, съ старшимъ братомъ своимъ, нашимъ лирикомъ, Иваномъ П—вымъ. Краснѣя признаюсь, что мнѣ тогда и въ голову не приходило «летѣть съ мечемъ на поле брани», но старшіе казенные студенты, всѣ черезъ годъ назначаемые въ учителя, рвались стать въ ряды нашихъ войскъ, и поприще ученой дѣятельности,

на которое они охотно себя обрекали, вдругъ имъ опротивѣло; обязанность прослужить шесть лѣтъ по ученой части, вдругъ показалась имъ несноснымъ бременемъ. Сверхъ всякого ожиданія, въ непродолжительномъ времени, исполнилось ихъ горячее желаніе. казеннымъ студентамъ позволено было вступать въ военную службу. Это произошло уже послѣ моего выхода изъ университета. Многихъ замѣчательныхъ людей лишилась наука, и только нѣкоторые остались вѣрны своему призванію. Не одинъ Перевощиковъ, Симоновъ и Лобачевскій попали въ артиллерійскіе офицеры и почти всѣ погибли преждевременною смертью.

Въ генварѣ 1807 года, подалъ я просьбу объ увольненіи изъ университета для опредѣленія къ статскимъ дѣламъ. Подавъ просьбу, я пересталъ ходить на лекціи, но всякой день бывалъ въ университетѣ и проводилъ все свободное время въ задушевныхъ, живыхъ бесѣдахъ съ товарищами. Иногда мы даже разыгрывали сцены изъ «Разбойниковъ» Шиллера: привязывалъ себя Карлъ Моръ (Васильевъ) къ колоннѣ вмѣсто дерева; говорилъ онъ кипучую рѣчь молодаго Шиллера; отвязывалъ Карла отъ дерева Швейцеръ (Баляснковъ), и громко клялись разбойники умереть съ своимъ атаманомъ....

Въ мартѣ получилъ я аттестатъ, по истинѣ не заслуженный мною. Мало вынесъ я научныхъ свѣденій изъ университета, не потому что онъ былъ еще очень молодъ, не полонъ и не устроенъ, а потому, что я былъ слишкомъ молодъ и дѣтски увлекался въ разныя стороны страстностью моей природы. Во всю мою жизнь чувствовалъ я недостаточность этихъ научныхъ свѣденій, особенно положительныхъ знаній, и это много мѣшало мнѣ и въ служебныхъ дѣлахъ и въ литературныхъ занятіяхъ.

Наканунѣ дня, назначеннаго къ отъѣзду, пришелъ я проститься въ послѣдній разъ съ университетомъ и товарищами. Обнявшись, длинной вереницей, исходили мы всѣ комнаты, аудиторіи и залы. Потомъ крѣпко, долго обнимались и цѣловались. Прощаясь навсегда, толпа студентовъ и даже гимназистовъ высыпала проводить меня на крыльцо; медленно сходилъ я съ его ступеней; тяжело, грустно было у меня на душѣ; я обернулся, еще разъ взглянулъ на товарищей, на зданіе университета — и пустился почти бѣгомъ.... за мною неслись знакомые голоса: «прощай, Аксаковъ, прощай!»

Прощай, шумная, молодая, учебная жизнь! Прощайте первые невозвратные годы юности пылкой, ошибочной, не разумной, но чистой и благородной! Ни свѣтъ, ни домашняя жизнь со всѣми ихъ дрянностями еще не помрачали вашей ясности! Стѣны гимназіи и университета, товарищи — вотъ что составляло полный міръ для меня. Тамъ разрѣшались молодые вопросы, тамъ удовлетворялись стремленія и чувства! Тамъ былъ судъ, осужденіе, оправданіе и торжество! Тамъ царствовало полное презрѣніе ко всему низкому и подлому, ко всѣмъ своекорыстнымъ разсчетамъ и выгодамъ, ко всей житейской мудрости — и глубокое уваженіе ко всему честному и высокому, хотя бы и безразсудному. Память такихъ годовъ неразлучно живетъ съ человѣкомъ и, неприметно для него, освѣщаетъ и направляетъ его шаги въ продолженіе цѣлой жизни, и куда бы его ни затащили обстоятельства, какъ бы ни втоптали въ грязь и тину, — она выводитъ его на честную, прямую дорогу. Я, по крайней мѣрѣ, за все, что сохранилось во мнѣ добраго, считаю себя обязаннымъ гимназіи, университету, общественному ученію и тому живому началу, которое вынесъ я оттуда. Я убѣжденъ, что

у того, кто не воспитывался въ публичномъ, учебномъ заведеніи, остается пробѣлъ въ жизни, что ему не достаетъ нѣкоторыхъ, неиспытанныхъ въ юности, ощущеній, что жизнь его не полна....

По самому послѣднему зимнему пути, поѣхали мы въ Аксаково, гдѣ ждала меня весна, охота, природа, проснувшаяся къ жизни, и прилетъ птицы; я не зналъ его прежде, и только тогда увидѣлъ и почувствовалъ въ первый разъ—и вылетѣли изъ головы моей, на ту пору, война съ Наполеономъ и университетъ съ товарищами.

ЯКОВЪ ЕМЕЛЬЯНОВИЧЪ

ШУШЕРИНЪ.

ЯКОВЪ ЕМЕЛЬЯНОВИЧЪ

ШУШЕРИНЪ

И

СОВРЕМЕННЫЯ ЕМУ ТЕАТРАЛЬНЫЯ ЗНАМЕНИТОСТИ.

Въ началѣ 1807-го года, оставилъ я К.....ій университетъ и получилъ аттестатъ, съ прописаніемъ такихъ наукъ, какія я зналъ только по наслышкѣ и какихъ въ университетѣ еще не преподавали. Этого мало: въ аттестатѣ было сказано, что въ нѣкоторыхъ «оказалъ я значительные успѣхи», а нѣкоторыми «занимался съ похвальнымъ прилежаніемъ». Вмѣстѣ съ моимъ семействомъ, отправился я, по послѣднему зимнему пути, въ Оренбургскую губернію, въ мое любимое Аксаково, которое тогда не называлось еще селомъ Знаменскимъ. Въ первый разъ встрѣтилъ я весну въ деревнѣ уже не мальчикомъ, въ первый разъ предался вполнѣ моей страсти къ ружью, которою до тѣхъ поръ я занимался урывками во время лѣтнихъ вакацій. Весна, лѣто и осень, пролетѣли, какъ пріятный сонъ, и съ наступленіемъ зимы, отправились мы въ Москву съ тѣмъ, чтобъ весною ѣхать въ Петербургъ,

гдѣ хотѣли опредѣлить меня въ службу. Въ Москвѣ прожили мы около семи мѣсяцевъ. Я любилъ театръ не менѣе ружья, и сдѣлался его постояннымъ посѣтителемъ. Вдругъ дошла до меня вѣсть, что бывшая к.....ая актриса Өеклуша (*), отъ которой я былъ всегда въ восхищеніи (вмѣстѣ со всей к.....ой публикой), — бѣжала отъ своего господина, вышла за знакомаго мнѣ, очень хорошаго молодаго человѣка, г-на Пети, служившаго въ к.....мъ почтамтѣ, и ѣдетъ въ Москву, чтобъ дебютировать на московскомъ театрѣ. Мнѣ сказали, что извѣстный и уважаемый тогда, актеръ Плавильщиковъ, за нѣсколько лѣтъ пріѣзжавшій въ К....ь, много разъ игравшій съ Өеклушей и всегда замѣчавшій ея талантъ, самъ пригласилъ ее на московскую сцену. Я часто видался въ Москвѣ съ бывшимъ товарищемъ моимъ по гимназіи, но гораздо меня старшимъ годами, П. М. Алехинымъ, служившимъ въ артиллеріи и стоявшимъ съ своей батареей въ Москвѣ. Я поспѣшилъ сообщить ему неожиданную и радостную новость; онъ былъ

(*) Крѣпостная дѣвушка содержателя к.....го театра, П. П. Е....ва, который, по страсти своей къ театру, посвятилъ всю свою жизнь на устройство его въ К....и, что, разумѣется, стоило ему очень дорого; но К...ь обязана П. П Е...ву полною благодарностью; К....ь имѣла замѣчательный театръ тогда, когда губернскихъ театровъ, и то весьма плохихъ, въ цѣлой Россіи было очень мало. Главные актеры и актрисы к.....го театра были слѣдующіе: г. Волковъ, режиссеръ и театральный utilité, на всякія роли; г. Грузиновъ на роли благородныхъ отцовъ; г. Расторгуевъ на роли молодыхъ любовниковъ, повѣсъ и весельчаковъ; г. Притковъ на роли слугъ. Это были актеры наемные. Всѣ остальные принадлежали г-ну Е...ву. Ѳедоръ Львовъ—герой и первый любовникъ; Михайла Колмыковъ — главный комикъ; Николай Комяковъ — буфъ арлекинъ; Анисья Комякова—любовница въ драмахъ и комедіяхъ; Өекла Аникіева—первый талантъ на роли первыхъ любовницъ въ трагедіяхъ, драмахъ, комедіяхъ и операхъ; Марѳа Аникіева — молодая любовница предпочтительно въ операхъ. Впрочемъ, въ случаѣ надобности — всѣ играли въ операхъ. Другихъ актеровъ и актрисъ не помню.

такимъ же горячимъ поклонникомъ таланта Ѳеклуши, какъ и я, и мы оба были твердо увѣрены, что появленіе ея на московской сценѣ произведетъ общій восторгъ. Постоянно справляясь у Плавильщикова, не пріѣхала ли наша геніальная дебютантка, мы наконецъ узнали, что она въ Москвѣ, и достали ея адресъ. Въ тотъ же день я и Алехинъ отыскали Ѳеклушу. Въ Старой Конюшенной, въ приходѣ Іоанна Предтечи, въ полуразвалившемся домишкѣ дьякона, нанимала двѣ комнатки г-жа Пети съ своимъ мужемъ и новорожденной дочерью: присутствіе бѣдности было видно во всемъ. Съ юношескимъ жаромъ высказали мы все, что было у насъ на душѣ: и наши к.....іе восторги, и наши московскія надежды. Съ живымъ удовольствіемъ вспоминаю теперь, какое благотворное впечатлѣніе произвели мы на бѣднаго Пети и жену его, которые были очень смущены холоднымъ пріемомъ начальства московской театральной конторы и нѣкоторыхъ актеровъ. Плавильщиковъ усердно хлопоталъ, чтобы г-жѣ Пети позволили дебютировать и чтобы скорѣе назначили ей время дебютовъ; онъ ручался за ея успѣхи, не примѣчая того, что это ручательство никому не нравилось. Отказать Плавильщикову и дебютанткѣ, не было возможности; но въ назначеніи дебюта нашлось множество препятствій. Пети хотѣла начать трагедіей; предлагала болѣе десяти піесъ, которыя всѣ игрались на московскомъ театрѣ, и всѣ эти піесы, по какимъ-то особеннымъ причинамъ, не могли быть скоро даны; наконецъ Плавильщиковъ вытащилъ изъ стараго репертуара давно забытую трагедію Княжнина «Софонисбу», и начальство согласилось. Въ этой трагедіи такъ мало было интереса и для тогдашней публики, что дебютанткѣ надобно было имѣть не только большой трагическій талантъ, но и громкую извѣстность, чтобъ явиться съ успѣхомъ въ ролѣ несчастной Софонисбы. Надобно къ

этому прибавить, что тогдашней любимицею Москвы была актриса Воробьева, въ самомъ дѣлѣ имѣвшая много неподдѣльнаго чувства (*). Ея многочисленные почитатели, а можетъ быть и она сама, подумали, что Плавильщиковъ, находившійся не въ ладахъ съ Воробьевой, хочетъ ее скабалировать, какъ тогда выражались, и выписалъ для этого какую-то провинціальную актрису. Они поспѣшили распустить невыгодные слухи о новой дебютанткѣ и приготовили ей холодный пріемъ. Я былъ зрителемъ этого несчастнаго спектакля. Казалось, все было соединено, что̀ъ произвесть на публику непріятное впечатлѣніе. Трагедія состояла изъ трехъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ: Сифакса, царя Нумидскаго, супруги его, Софонисбы, и Массиниссы, князя Нумидскаго, разумѣется съ неизбѣжными наперсниками. Сифакса игралъ нестерпимѣйшій актеръ, г. Прусаковъ, а Массиниссу—Плавильщиковъ. Я пришелъ въ ужасъ, когда появилась на сцену Софонисба: маленькаго роста, черненькая, худенькая, одѣтая въ нелѣпый костюмъ, очень плохо прилаженный къ ея росту..... Смѣхъ встрѣтилъ несчастную дебютантку; отъ природы слабый ея голосъ почти прерывался и едва былъ слышенъ отъ сильнаго смущенія. Плавильщиковъ, замѣтя, что дѣло идетъ плохо, вздумалъ поддержать піесу и ободрить дебютантку усиленіемъ собственной игры: онъ поднялъ на цѣлую октаву свой, и безъ того громкой голосъ, и недостатокъ внутренняго огня—вознаграждалъ безпощадными криками и жестами; въ порывѣ усердія онъ задѣлъ пальцемъ за свой парикъ, который взвился очень высоко вверхъ, былъ подхваченъ имъ налету и проворно надѣтъ на голову. Не смотря на уваженіе къ Плавильщикову, зрители расхо-

(*) Торжествомъ г-жи Воробьевой была роль Берты, въ «Гусситахъ подъ Наумбургомъ.» Я самъ бывалъ свидѣтелемъ, какъ всѣ плакали *навзрыдъ*, слушая страданья матери, и самъ плакалъ вмѣстѣ съ другими зрителями.

хотались. Мы съ Алехинымъ, особенно я находились въ страдательномъ положеніи. Не взирая на всю эту ужасную обстановку, было нѣсколько выраженій, сказанныхъ Өеклушею съ такимъ чувствомъ, что онѣ произвели впечатлѣніе на публику, а слова Софонисбы: «Прости въ послѣдній разъ!» говоря которыя, она бросилась въ объятія Массиниссы, втораго своего супруга,—были проникнуты такою силою внутренняго чувства, такою выразительностью одушевленной мимики, что зрители увлеклись; взрывъ громкаго рукоплесканія потрясъ театръ, и многіе закричали браво; но это не поправило дѣла: трагедія надоѣла до смерти зрителямъ, и когда, по окончаніи піесы, мы съ Алехинымъ и нѣсколькими пріятелями Плавильщикова вздумали вызывать дебютантку — общее шиканье и смѣхъ заглушили наши вызовы. Жалко было смотрѣть намъ на бѣдную г-жу Пети, которая подъ именемъ Өеклуши, привыкла въ К.....и десять лѣтъ сряду приводить зрителей въ восторгъ своей игрой, и которую рукоплесканія постоянно встрѣчали на сценѣ и провожали со сцены. Не менѣе былъ жалокъ и сконфуженъ мужъ ея, страстно любившій свою жену и считавшій ее геніальнымъ талантомъ. Но дебютантка не совсѣмъ потеряла присутствіе духа и надѣялась на свой второй дебютъ, который былъ назначенъ черезъ недѣлю, въ комедіи «Ошибки или утро вечера мудренѣе». Пети должна была играть Софью, дочь Старомыслова. Я видѣлъ не одинъ разъ въ К.... и Өеклушу въ этой роли, и хотя восхищался ею тогда, но теперь начиналъ смутно понимать, что второй дебютъ будетъ неудачнѣе перваго и что та половина роли, въ которой Софья является свѣтской петербургской дѣвушкой—будетъ сыграна дебютанткой дурно. Предчувствія мои оправдались, хотя я и не былъ зрителемъ втораго дебюта, потому что черезъ три дня отправился вмѣстѣ съ своимъ семействомъ

въ Петербургъ, гдѣ и получилъ скоро отъ Алехина горестное описаніе втораго дебюта г-жи Пети (*).

Въ продолженіе моего трехъ-мѣсячнаго личнаго знакомства съ этими двумя, по истинѣ жалкими существами, я бывалъ у нихъ почти ежедневно. Я назвалъ ихъ жалкими не потому, чтобы они были несчастны; они, пожалуй, даже были счастливы въ настоящемъ, потому что искренно, горячо любили другъ друга; но ихъ будущность казалась мнѣ и Алехину, не смотря на нашу молодость,— весьма не благонадежною, и даже зловѣщею. Впрочемъ, кажется Алехинъ, который былъ старѣе и разумнѣе меня, внушилъ мнѣ такія мысли. Вотъ краткая исторія обоихъ Пети: Ѳеклуша, крѣпостная актриса г-на Е.....ва, была не хороша собою, но со сцены казалась красавицей; она имѣла черные выразительные глаза, а вечернее освѣщеніе, бѣлилы и румяны доканчивали остальное. Въ ея игрѣ, которая не успѣла сформироваться по образцамъ петербургскихъ артистовъ, хотя помѣщикъ два года водилъ въ театръ и училъ своихъ главныхъ актеровъ и актрисъ — было много естественности и неподдѣльнаго внутренняго чувства. Живя въ Петербургѣ, г-нъ Е.....въ возилъ иногда Ѳеклушу и другаго актера, Ѳедора, даже къ Дмитревскому, который *прошелъ* съ ними нѣсколько ролей. Ѳеклуша сказывала мнѣ, что Иванъ Аѳанасьичъ очень ее хвалилъ, очень ласкалъ и называлъ «mon petit démon». Все это потомъ подтвердилъ мнѣ самъ Дмитревскій. Ѳеклуша на сценѣ восхищала всѣхъ безъ исключенія, а многихъ молодыхъ людей сводила съ ума. Надобно замѣтить, что она была скромная дѣвушка. Въ числѣ ея обожателей былъ юноша очень пріятной наружности, тихій и

(*) Г-жа Пети, не принятая на московскую сцену, опредѣлилась на какой-то губернскій театръ и вскорѣ умерла. Что сдѣлалось съ ея мужемъ — не знаю.

застѣнчивый, m-r Petit, Французъ по фамиліи, неумѣвшій и говорить по-французски. Какъ онъ попалъ въ К....ь и почему служилъ при почтамтѣ—не знаю. Я, бывая иногда съ Г. И. К. у Г. К. Воскресенскаго, (сынъ котораго былъ моимъ товарищемъ въ гимназіи), также почтамтскаго чиновника, видѣлъ у него нѣсколько разъ г-на Пети. Этотъ тихій юноша влюбился въ Ѳеклушу, будучи еще семнадцати лѣтъ. Долго любилъ онъ безмолвно, не замѣчаемый предметомъ своей любви; но постоянство восторжествовало. Черезъ нѣсколько лѣтъ Пети возмужалъ, Ѳеклуша его замѣтила и полюбила; эта, уже взаимная любовь, тянулась еще два года. Наконецъ цѣлый городъ принялъ въ ней участіе и хлопоталъ о соединеніи влюбленныхъ; но г. Е.....въ ни за что на это не соглашался. Причина была очевидна. Онъ предчувствовалъ, что театръ лишится Ѳеклуши. Общество разсердилось, и нѣсколько извѣстныхъ молодыхъ людей помогли Пети увезть Ѳеклушу и обвѣнчаться съ нею. Дѣлать было нечего: г. Е.....въ принужденнымъ нашелся простить свою бѣглянку, потому что за нее вступилась аристократія К....ни и самъ губернаторъ. Ѳеклуша точно не долго осталась при к. ....мъ театрѣ. У m-r Petit не было никакого состоянія, кромѣ маленькаго жалованья, котораго онъ лишился, оставя службу при почтамтѣ; но у Ѳеклуши было накоплено около 2,000 рублей ассигнаціями; эта сумма составилась изъ подарковъ к.....ой публики. Тамъ существовало обыкновеніе, чему я самъ бывалъ свидѣтелемъ не одинъ разъ,—бросать деньги актеру или актрисѣ прямо на сцену во время самаго представленія, для изъявленія своего удовольствія. Иногда дѣлали складчину заранѣе, иногда импровизировали ее тутъ же, въ креслахъ: чей-нибудь кошелекъ наполнялся серебромъ и золотомъ, или ассигнаціи завертывались въ бумагу, и подарокъ бросался къ ногамъ дѣйствующаго лица, иногда

въ самой патетической сценѣ. Я видѣлъ, какъ сумасшедшая Нина (въ извѣстной оперѣ «Нина или сумасшедшая отъ любви») приходила въ себя, поднимала кошелекъ, клала его въ карманъ, раскланивалась съ зрителями и — дѣлалась опять сумасшедшею Ниною. Такіе знаки одобренія состояли не менѣе какъ изъ ста рублей, а въ экстренныхъ случаяхъ доходили и до 200 руб., разумѣется, ассигнаціями. Чаще всѣхъ получала ихъ Феклуша, и она говорила мнѣ, что если бы умѣла беречь деньги, то могла бы скопить и пять тысячъ рублей. Весьма было простительно бѣдной Феклушѣ повѣрить общимъ, восторженнымъ похваламъ к.....хъ театраловъ и вообразить, что стоитъ ей только показаться на московской сценѣ, чтобы заслужить благосклонность публики, получить хорошее жалованье и со временемъ—громкую славу. Нечего говорить, что влюбленному мужу своему она казалась чудомъ совершенства.... И вотъ они отправились въ Москву. Дорога и нѣсколько мѣсяцевъ, проведенныхъ въ ожиданіи дебютовъ, истощили ихъ маленькій капиталъ, и я нашелъ ихъ уже въ крайности, но полныхъ надеждъ на счастливое будущее. Я старался ободрять ихъ и долженъ сказать, что мое теплое участіе было принимаемо ими съ горячей благодарностью. Одинъ разъ встрѣтилъ я у нихъ страстнаго любителя театра, московскаго купца Какуева, имя котораго я забылъ; онъ былъ уже старикъ, очень привѣтливый, и почтенной наружности; онъ былъ большой пріятель съ Плавильщиковымъ и черезъ него познакомился съ Пети. Разумѣется, меня также съ нимъ познакомили; нахвалили ему мое чтеніе и мои сценическія способности (*). Старикъ очень меня полюбилъ, обласкалъ

(*) Я много игрывалъ въ К....н, на университетскомъ театрѣ, что извѣстно уже моимъ читателямъ.

слушалъ мое чтеніе и даже цѣлую сцену изъ «Ненависти къ людямъ и раскаянія», которую мы съ Θеклушей ему продекламировали; я игралъ Мейнау, а г жа Пети, Эйлалію. Какуевъ сказалъ мнѣ, что онъ вполнѣ цѣнитъ мое дарованіе. но въ тоже время видитъ, что я стою на ложной дорогѣ. Зная, что черезъ нѣсколько дней я долженъ отправиться въ Петербургъ, Какуевъ предложилъ мнѣ, познакомить меня съ его другомъ въ Петербургѣ, съ однимъ изъ умнѣйшихъ актеровъ, Яковомъ Емельяновичемъ Шушериным. Я принялъ съ восхищеніемъ и благодарностью такое предложеніе. За день до моего отъѣзда оба Пети и я провели вечеръ у почтеннаго любителя театра, Какуева. и онъ написалъ и отдалъ мнѣ обѣщанное письмо къ Шушерину.

Какъ настоящіе низовые дворяне, заживщіеся въ деревнѣ, которымъ не столько по скупости, сколько по непривычкѣ кажутся дикими всякіе расходы, мы и въ Петербургъ отправились на своихъ лошадяхъ. Тамъ ожидала насъ уже нанятая, не дорогая квартира въ Коломнѣ, приготовленная Григорьемъ Иванычемъ К.....мъ. Кромѣ его, у насъ было въ Петербургѣ только два дома знакомыхъ: Д. Б. Мертваго и В. В. Р....ій, да двое молодыхъ людей Мартыновыхъ. Давши одинъ день отдохнуть лошадямъ, запрягли четверку въ дорожную карету, одѣли меня въ студентской мундиръ, вооружили шпагою, треугольной шляпой и послали съ визитами въ оба вышеупомянутые дома. Я отправился, и не забылъ положить въ карманъ письмо Какуева къ Шушерину. Мертваго, мой крестный отецъ, служилъ тогда генералъ-провіантъ-мейстеромъ. Это былъ одинъ изъ самыхъ честнѣйшихъ и любезнѣйшихъ людей. Р...ій тоже былъ честнѣйшій человѣкъ, но сурово-строгій и неблагосклонный старикъ; онъ былъ другомъ и помощникомъ извѣстнаго А. Θ. Лабзина, главы тогдашнихъ мартинистовъ.

Вся братія считала его фанатикомъ. Посидѣвъ не по долгу въ обоихъ этихъ домахъ, я поспѣшилъ отыскать квартиру Шушерина, который жилъ на Сѣнной площади. Сидя въ каретѣ, я сочинилъ великолѣпныя фразы, которыя собирался продекламировать, отдавая письмо,—что и исполнилъ. Въ послѣдствіи, Шушеринъ много смѣялся, вспоминая эту *рацею* (какъ онъ называлъ). Шушерину было тогда 60 лѣтъ; но его физическія и умственныя силы находились въ полной крѣпости мужества, и онъ самъ говарнвалъ мнѣ, что не намѣренъ прожить менѣе ста лѣтъ. Черты лица Шушерина были не хороши: носъ небольшой, нѣсколько вздернутый къ верху, широкія скулы и маленькіе сѣрые глаза, но за то выразительные, умные, даже хитрые. Все лицо для сцены было невыгодно, потому что не имѣло рѣзкихъ чертъ, лишено было подвижности физіономіи. Много впослѣдствіи слыхалъ я жалобъ Шушерина на эти недостатки, которые мѣшали его сценическимъ успѣхамъ и которые надобно было преодолѣть, переливая все внутреннее чувство въ выраженіе глазъ и одушевленный голосъ.—Шушеринъ, одѣтый какъ больной, въ туфляхъ, халатѣ и колпакѣ, принялъ меня въ гостиной; выслушалъ не улыбнувшись мою торжественную рѣчь, сказалъ нѣсколько самыхъ вѣжливыхъ словъ, усадилъ на креслахъ возлѣ себя и попросилъ позволенія прочесть письмо Какуева. Прочитавъ его, онъ посмотрѣлъ на меня проницательными глазами и сказалъ: «Послушайте, молодой человѣкъ, будемте говорить по просту. Если все то, что пишетъ мнѣ объ васъ старинный мой пріятель Какуевъ, совершенно справедливо, то мы придемъ другъ-другу по сердцу. Въ настоящее время, вашъ пріѣздъ въ Петербургъ случился для меня очень кстати. Я старъ и боленъ (я посмотрѣлъ на него вопросительно); службы моей при театрѣ продолжать не могу. Я лечусь (и онъ указалъ

мнѣ на столикъ, уставленный стклянками съ лекарствами) и не выхожу изъ комнаты. Ваше общество будетъ для меня очень пріятно. Вы человѣкъ образованный, учились въ университетѣ, занимаетесь литературой и страстно любите, какъ мнѣ пишутъ, театръ и желаете имѣть добраго руководителя въ игрѣ на сценѣ; я учился, правда, на мѣдныя деньги, но Богъ не обидѣлъ меня дарованіемъ. Я много видѣлъ на своемъ вѣку, много вытерпѣлъ, до всего дошелъ самъ и горжусь тѣмъ. Я всегда любилъ знакомство съ умными, просвѣщенными людьми, и оно лучше книгъ замѣнило мнѣ недостатокъ воспитанія. Я всегда буду вамъ радъ, особенно по вечерамъ. Вечеръ мой начинается въ шесть часовъ и оканчивается въ десять. Мы будемъ читать и разговаривать. Мнѣ пріятно будетъ вспомнить исторію моего актерскаго образованія, а вамъ будетъ интересно и не безполезно ее выслушать....» Эти слова привели меня въ восхищеніе. Мнѣ представилась такая пріятная будущность, такое неожиданное исполненіе моихъ мечтательныхъ желаній и несбыточныхъ надеждъ, что я мгновенно соскочилъ съ декламаторскихъ ходуль, бросился на шею къ Шушерину и далъ полную свободу моей живой и горячей природѣ. Переставъ корчить степеннаго молодаго человѣка, и даже педанта—явился я восемнадцатилѣтнимъ, откровеннымъ, простымъ юношей, который въ одинъ часъ выболталъ все, что шевелилось у него на сердцѣ и роилось въ молодой головѣ. Впослѣдствіи Шушеринъ часто съ удовольствіемъ вспоминалъ объ этой быстрой перемѣнѣ и признавался, что именно за эту перемѣну полюбилъ меня. Напившись кофею у Шушерина и даже позавтракавъ, я воротился домой, гдѣ нѣсколько удивились моему долгому отсутствію. Я нашелъ у насъ Григорья Иваныча К...го. Я обрадовался ему вдвойнѣ, какъ истинному другу нашего семейства и какъ моему

безкорыстному воспитателю. К...ій хорошо зналъ мою безумную страсть къ театру и поспѣшилъ сообщить мнѣ, что въ этотъ вечеръ знаменитая m-lle George, въ первый азъ дебютируетъ на петербургской сценѣ. Дебютантка являлась въ самой блистательной своей роли — въ Расиновой Федрѣ. Разумѣется, у меня загорѣлось сильное желаніе ее видѣть. К...ій меня увѣрилъ, что креселъ достать теперь уже нельзя, но что можно найдти мѣсто въ партерѣ, если отправиться туда часа въ четыре. Меня не устрашала скука дожидаться болѣе двухъ часовъ до начала представленія; но я боялся, что мы сядемъ поздно обѣдать, а безъ обѣда матушка ни за что меня не отпуститъ, ибо у насъ обѣдали двое Мартыновыхъ: первый изъ нихъ П. П. служилъ тогда штабсъ-капитаномъ въ Измайловскомъ полку, а другой А. П. служилъ въ Банкѣ и былъ ревностнымъ поклонникомъ Лабзина. Досадуя на такое препятствіе, я хлопоталъ изъ всѣхъ силъ, чтобы дали поскорѣе обѣдать, и какъ мы не имѣли еще привычки обѣдать слишкомъ поздно, то въ половинѣ четвертаго сѣли за столъ. Но увы, обѣдъ тянулся нестерпимо долго. Нашъ деревенской поваръ и наши деревенскіе лакеи заставляли насъ дожидаться каждаго блюда добрыхъ четверть часа, а блюдъ было много. Мое волненіе и нетерпѣніе становились замѣтными для всѣхъ. К...ій вздумалъ меня успокоить и обратился ко мнѣ съ улыбкой, которая сейчасъ меня разсердила. «Послушайте, сказалъ онъ, если вы не попадете сегодня въ театръ и не увидите перваго дебюта m-lle George, то я доставлю вамъ такое утѣшеніе, какого вы не ожидаете.» «Покорно васъ благодарю, отвѣчалъ я громко; на этотъ разъ, я желалъ бы только одного, чтобы мнѣ позволили встать изъ-за стола и отправиться въ театръ.» —«Но вы не знаете, продолжалъ онъ, что утѣшеніе, которое я вамъ хочу пред-

ложить, также касается до театра.»—«Это какъ-то странно, сказалъ я голосомъ, въ которомъ слышно было сильное огорченіе и раздраженіе; но если такъ, то говорите; теперь уже пятый часъ, и я теряю надежду увидѣть первый дебютъ m-lle George. Я довольно огорченъ, утѣшайте.» — «Я познакомлю васъ съ замѣчательнымъ талантомъ и очень умнымъ человѣкомъ, съ Шушериным» — «Еще разъ, покорно благодарю, возразилъ я; но вы опоздали: сегодня я два часа сидѣлъ у него, и мы съ нимъ друзья.»—Въ короткихъ словахъ разсказалъ я К...му, какъ это случилось. Между тѣмъ нетерпѣніе мое возрасло до крайней степени. Я не могъ владѣть собою, и въ то же время мнѣ было такъ совѣстно постороннихъ людей, которые смотрѣли на меня съ удивленіемъ, что я готовъ былъ заплакать. Мать моя сжалилась надо мною, и чтобы избавить меня отъ какихъ-нибудь глупостей, рѣшилась отпустить въ театръ. «Встань, сказала она; я попрошу извиненія у нашихъ любезныхъ гостей за твою неучтивость» Не нужно было повторять этого позволенія. Большой каменный театръ находился очень близко, и черезъ десять минутъ, я стоялъ уже въ партерѣ, который былъ такъ полонъ, что только двое зрителей рѣшились втиснуться послѣ меня. Въ серединѣ партера кому-то сдѣлалось дурно; я воспользовался движеніемъ толпы, и когда выводили больнаго, подвинулся значительно впередъ. Наконецъ началась «Федра», которую никто не слушалъ до появленія дебютантки. Хотя я ничего подобнаго m-lle George не видывалъ, но внутреннее чувство сказало мнѣ истину и я не раздѣлялъ общаго восторга зрителей, которые такъ хлопали и кричали, что, казалось, дрожали стѣны театра. Я осмѣлился сказать своимъ сосѣдямъ, что дебютантка слишкомъ поетъ стихи и что игра ея холодна. Дорого стоила мнѣ моя откровенность: около меня стоялъ

и сидѣли по большой части Французы, и я былъ осмѣянъ и обруганъ безъ пощады. Впослѣдствіи я прислушался къ пѣнію m-lle George и оно меня уже не поражало, но первое впечатлѣніе мое насчетъ холодности ея игры утвердилось еще болѣе, и не смотря на европейскую знаменитость этого таланта, я осмѣлюсь сказать и теперь, что истиннаго чувства, сердечнаго огня у ней не было — была блестящая наружность, искусная, великолѣпная, но совершенно не естественная декламація—и только.

Семейство мое пробыло въ Петербургѣ полтора мѣсяца. Меня опредѣлили переводчикомъ въ Коммиссію Составленія Законовъ, гдѣ К.,.ій уже служилъ помощникомъ редактора или Начальника отдѣленія. Я остался въ Петербургѣ съ меньшимъ братомъ, которому было тогда двѣнадцать лѣтъ. Мы наняли довольно хорошую квартиру въ Троицкомъ переулкѣ, недалеко отъ Аничковскаго моста, и вотъ началась моя тихая, однообразная жизнь. До обѣда я работалъ въ Коммиссіи, а братъ учился. Мы обѣдали обыкновенно дома, (покуда не познакомились съ Шишковыми), кромѣ воскресенья, которое проводили у Р...ихъ. Послѣ же обѣда, сначала черезъ день, а потомъ ежедневно, кромѣ вечеровъ, проводимыхъ въ театрѣ, въ шесть часовъ, я всегда, вмѣстѣ съ братомъ, уже звонилъ у дверей Шушерина. Нѣсколько первыхъ вечеровъ посвящены были единственно разговорамъ. Я разсказалъ все, что касалось до меня и до моего воспитанія. Шушеринъ сообщилъ мнѣ свое настоящее положеніе при театрѣ, сперва съ нѣкоторой осторожностью, а потомъ довольно откровенно. Впослѣдствіи, полюбивъ меня и получивъ полную довѣренность къ моей скромности, онъ разсказалъ мнѣ подробно свое прошедшее, не всегда безукоризненное, свое настоящее, и свои надежды на будущее. О прошед-

шемъ, я поговорю послѣ; настоящее же его положеніе состояло въ слѣдующемъ. Уже одиннадцать лѣтъ, какъ онъ перешелъ изъ Москвы на петербургскій театръ, перешелъ съ тою цѣлью и надеждой, что прежняя его театральная служба, при частномъ театрѣ у Медокса въ Москвѣ, будетъ зачтена впослѣдствіи за службу при Императорскомъ театрѣ, въ чемъ онъ уже успѣлъ, съ помощью какихъ-то покровителей, которыхъ пріобрѣтать онъ былъ большой мастеръ. Теперь представленіе къ пенсіи было разрѣшено; слѣдовало ему прослужить при петербургскомъ театрѣ только два года, такъ называемой *благодарности*. Пенсія состояла тогда изъ двухъ тысячъ рублей ассигнаціями для артистовъ, занимающихъ первое emploi; но Шушерину не хотѣлось оставаться долѣе на петербургской сценѣ, потому что репертуаръ измѣнился, и ему приходилось играть невыгодныя для себя роли: для *любовниковъ*, онъ уже устарѣлъ, а въ *герояхъ* его совершенно затмилъ актеръ, Алексѣй Семенычъ Яковлевъ; къ тому же онъ не любилъ Петербурга, и только о томъ и думалъ, какъ бы ему перебраться въ Москву. Чтобы достигнуть и того и другаго, то есть пенсіи и Москвы, онъ, предварительно условившись съ однимъ изъ своихъ милостивцевъ (Си.....мъ), притворился больнымъ, охалъ и стоналъ при тѣхъ посѣтителяхъ, къ которымъ не имѣлъ довѣренности, соблюдалъ при нихъ строгую діэту, и даже принималъ лекарства, которыя щедро прописывалъ ему благосклонный театральный докторъ. За то наединѣ, и даже при мнѣ, при С.....вѣ, или при Д. И. Я...вѣ — онъ сбрасывалъ скучную маску, былъ живъ, веселъ, бодръ, какъ молодой человѣкъ, и ѣлъ необыкновенно аппетитно и жирно. Въ продолженіе первыхъ двухъ недѣль устроились правильно наши вечера, и вотъ началась для меня настоящая театральная школа.

На одной квартирѣ съ Шушеринымъ, въ особыхъ комнатахъ жила Надежда Ѳедоровна, вдова его пріятеля, замѣчательнаго московскаго актера, И. И. Каллиграфа. Она была красавицей съ молоду и, въ свое время, также извѣстною актрисою на роли *злодѣекъ*. Въ одно время съ Шушеринымъ, она перешла на петербургскую сцену и также по болѣзни выходила на пенсію, на 600 рублей ассигнаціями въ годъ, которую и получила прежде Шушерина, что̀ было устроено имъ самимъ, съ намѣреніемъ облегчить полученіе своей пенсіи гораздо значительнѣйшей: ибо давать ихъ актерамъ съ московскаго театра Медокса, считая частную службу за казенную, — было тогда дѣломъ новымъ и могло встрѣтить затрудненія. Надежда Ѳедоровна была постоянной нашей собесѣдницей, присутствовала и при чтеніяхъ; но когда Яковъ Емельяновичъ разсказывалъ про свою забубенную молодость или ставилъ меня на какія-нибудь роли, она уходила въ свою комнату, уводила съ собой моего брата, разговаривала съ нимъ или заставляла читать вслухъ.

Не могу вспомнить безъ восхищенія объ этомъ блаженномъ времени! Съ какимъ нетерпѣніемъ бывало ждалъ я половины шестаго, чтобъ идти на Сѣнную площадь! Какъ весело и гостепріимно свѣтился огонекъ въ окошкахъ Шушерина! Я примѣчалъ его издалека, и ускорялъ нетерпѣливые шаги! Поспѣшно отворялась дверь при первомъ звонѣ колокольчика, и ласково привѣтствовалъ насъ Степанъ (*), говоря: «пожалуйте, Яковъ Емельяновичъ и Надежда Ѳедоровна васъ дожидаются чай кушать». Въ самомъ дѣлѣ, насъ встрѣчали съ такимъ радушіемъ, съ

(*) Степанъ, еще будучи мальчикомъ, былъ купленъ Шушеринымъ, кажется на имя Я . . . ва, и воспитанъ въ негѣ и баловствѣ. Въ настоящее время, онъ уже былъ вольноотпущеннымъ и служилъ Шушерину по найму: и господинъ, и слуга очень любили другъ-друга.

такимъ искреннимъ удовольствіемъ, что и теперь пріятно объ этомъ вспомнить. Рѣдко мѣшали намъ посторонніе посѣтители (*).

Шушеринъ началъ съ того, что выслушалъ всѣ, сколько-нибудь значительныя роли, которыя я игрывалъ; но предварительно я прочитывалъ вслухъ всю піесу: тогда онъ опредѣлялъ характеръ лица, которое мнѣ слѣдовало сыграть, со всѣми его подробностями; опредѣлялись даже отношенія его къ другимъ дѣйствующимъ лицамъ и ко времени, когда происходило дѣйствіе. Я выучивалъ роли наизусть съ величайшею точностью, гораздо тверже, чѣмъ зналъ тогда, когда игралъ ихъ на театрѣ въ К...ни. Потомъ Шушеринъ читалъ за тѣ дѣйствующія лица, съ которыми у меня шла сцена, а я игралъ свою роль, въ полномъ смыслѣ этого слова. Не рѣдко случалось, что я повторялъ по нѣскольку разъ одну и ту же сцену. Такимъ образомъ, въ продолженіе двухъ съ половиною лѣтъ, прошелъ онъ со мною болѣе двадцати значительныхъ ролей (**), кромѣ мелкихъ, и я теперь не могу надивиться его терпѣнію и любви къ искусству. Съ самаго моего дѣтства, я никогда не игралъ молодыхъ людей, *любовниковъ*, какъ говорится на театральномъ языкѣ. Судя по большому запасу огня, которымъ я былъ надѣленъ отъ природы, по моему росту и наружности, Шушеринъ думалъ, что я долженъ непремѣнно играть любовниковъ и что я случайно попалъ на роли благородныхъ отцевъ и стариковъ, и нѣсколько разъ пробовалъ меня, заставляя

(*) Посторонними посѣтителями бывали: Д. И. Языковъ, В. Н. Бергъ, Н. И. Гнѣдичъ, Н. И. Ильинъ, С..... въ, и нѣкоторые актеры.

(**) Разумѣется, въ томъ числѣ были роли, которыхъ я никогда не игрывалъ, но чтобы заставить Шушерина проходить ихъ со мной, я его обманывалъ и говорилъ, что ихъ игралъ, или что долженъ буду играть на домашнемъ театрѣ у Шишкова и у Либзина.

играть Сеида въ «Магометѣ», Фрица въ «Сынѣ любви» и Цедерштрема въ «Бѣдности и благородствѣ души», но успѣха не было: любовный огонь у меня не выражался. Убѣдившись въ этомъ, Шушеринъ хотѣлъ, чтобы я игралъ молодыхъ людей не влюбленныхъ, и особенно налегалъ на роль «Полиника» въ «Эдипѣ въ Аѳинахъ»: все напрасно.... чувства выражались у меня какъ-то не молодо и не бѣшено. Напротивъ, въ роли Эдипа онъ былъ мною очень доволенъ. Впрочемъ, мы занимались не однѣми театральными піесами. Я читалъ вслухъ все интересное, что только появлялось въ литературѣ; разумѣется были прочтены всѣ любимые мои стихотворцы. Вообще у Шушерина было много эстетическаго чувства.

Года черезъ полтора, когда дѣло о пенсіи сдѣлалось не сомнѣннымъ и два года благодарности истекли, Шушеринъ сталъ понемногу снимать съ себя маску мнимой болѣзни; сталъ иногда прогуливаться и ходилъ со мною изрѣдка въ театръ, хотя дѣлалъ это съ большою осторожностью, переодѣваясь въ самое простое платье, такъ что его рѣшительно никто не узнавалъ въ театрѣ. Тогда начинала входить въ славу Катерина Семеновна Семенова. Я видѣлъ ее въ первый разъ въ роли Ксеніи, въ «Дмитріѣ Донскомъ», и раздѣлялъ общее восхищеніе зрителей; но Шушеринъ къ великому удивленію моему сказалъ мнѣ, что она начинаетъ портиться и что онъ рѣшительно не доволенъ ею въ трагическихъ роляхъ, кромѣ ролей «Антигоны» и «Корделіи», что она попала въ руки такихъ учителей, которые собьютъ ее съ толку, выучатъ ее съ *голосу* завыванію по нотамъ. «Да, любезный другъ, говорилъ мнѣ Шушеринъ, Семенова такой талантъ, какого не бывало на русской сценѣ, да едва ли и будетъ. Ты не можешь судить о ней, не видавши ее въ тѣхъ роляхъ, которыя она игрывала, будучи еще въ школѣ, когда ею

никто не занимался и не училъ ее. Ее надобно видѣть въ «Примиреніи двухъ братьевъ» или «Корсиканцахъ» Коцебу. Какъ скоро будутъ давать эти піесы, я иду вмѣстѣ съ тобой въ театръ. Я замѣтилъ въ ней даже перемѣну, въ Антигонѣ и Корделіи, когда игралъ въ послѣдній разъ «Эдипа» и «Леара»; она начинала надуваться и завывать. Я тогда же ей сдѣлалъ замѣчаніе; но она отвѣчала мнѣ, что ее такъ учатъ. И знаешь ли ты, кто ея главный учитель? Ты, кажется, слышалъ его чтеніе у А. С. Шишкова? Это Н. И. Гнѣдичъ; хотя я его очень люблю и уважаю, но боюсь, что этотъ одноглазый чортъ погубитъ талантъ Семеновой.»—Въ непродолжительномъ времени, мы вмѣстѣ съ Шушеринымъ видѣли ее въ обѣихъ, выше мною названныхъ пьесахъ Коцебу; игра Семеновой меня очаровала, и я, почувствовалъ ея истинное достоинство; но Шушеринъ говорилъ, что она прежде играла простѣе и естественнѣе. «Стоя на колѣняхъ» съ жаромъ воскликнулъ Шушеринъ, надо было смотрѣть ее въ этихъ двухъ роляхъ!» Онъ находилъ, что сѣдѣы проклятой декламаціи уже начинали и здѣсь показываться. Я тогда не умѣлъ и не могъ этого замѣтить.

Разнесся слухъ, что Гнѣдичъ переводитъ Волтерова «Танкреда», для того, чтобы Семенова въ роли Аменаиды показала во всемъ блескѣ свой талантъ и могла бы достойно соперничать съ m-lle George, игрою которой Гнѣдичъ не былъ вполнѣ доволенъ; онъ особенно чувствовалъ въ ней недостатокъ огня, которымъ самъ былъ надѣленъ даже въ излишествѣ. Вскорѣ Гнѣдичъ заѣхалъ къ Шушерину, и сказалъ ему что переводитъ «Танкреда» и даже привезъ прочесть начало своего перевода, который по тогдашему времени казался намъ превосходнымъ. Переводъ былъ конченъ и піеса поставлена съ необыкновенною поспѣшностью, въ три мѣсяца. Все исполнилось такъ, какъ предполагалъ

переводчикъ: Семенова торжествовала, и въ публикѣ образовалась партія, которая не только сравнивала ее съ m-lle George; но въ роли Аменаиды отдавала ей преимущество. Въ послѣдствіи переводъ Танкреда былъ напечатанъ съ приложеніемъ портрета Семеновой и стихами къ ней переводчика. Мы съ Шушериным видѣли Семенову въ роли Аменаиды два раза; во второй разъ Шушеринъ смотрѣлъ ее единственно для повѣрки сдѣланныхъ имъ замѣчаній послѣ перваго представленія, которыя показались мнѣ не совсѣмъ справедливыми; но Шушеринъ былъ правъ и убѣдилъ меня совершенно. Превозносимая игра Семеновой въ этой роли представляла чудную смѣсь, которую могъ открыть только опытный и зоркій глазъ такого артиста какимъ былъ Шушеринъ. Игра эта слагалась изъ трехъ элементовъ: первый состоялъ изъ незабытыхъ еще вполнѣ пріемовъ, манеры и формы выраженія всего того, что игрывала Семенова до появленія m-lle George; во второмъ — слышалось неловкое ей подражаніе въ напѣвѣ и быстрыхъ переходахъ отъ оглушительнаго крика въ шопотъ и скороговорку. Шушерину при мнѣ сказывали, что Семенова, очарованная игрою Жоржъ, и день и ночь упражнялась въ подражаніи, или лучше сказать въ передразниваніи ея эффектной декламаціи; третьимъ элементомъ, слышнымъ болѣе другихъ—было чтеніе самого Гнѣдича, пѣвучее, трескучее, крикливое, но страстное, и, конечно всегда согласное со смысломъ произносимыхъ стиховъ, чего однако, онъ не всегда могъ добиться отъ своей ученицы. Вся эта амальгама, озаренная поразительною сценическою красотою молодой актрисы, проникнутая внутреннимъ огнемъ и чувствомъ, передаваемая въ сладкихъ и гремящихъ звукахъ неподражаемаго, очаровательнаго голоса — производила увлеченіе, восторгъ и вырывала громъ рукоплесканій. Послѣ втораго представленія «Танкреда»

Шушеринъ сказалъ мнѣ съ искреннимъ вздохомъ огорченнаго художника: «Ну, дѣло кончено: Семенова погибла невозвратно, то-есть, она дальше не пойдетъ (*). Она не получила никакого образованія и не такъ умна, чтобы могла сама выбиться на прямую дорогу. Да и зачѣмъ, когда всѣ восхищаются, всѣ въ восторгѣ? А что могло бы выдти изъ нея!».... И до своей смерти, Шушеринъ не могъ безъ огорченія говорить о великомъ талантѣ Семеновой, погибшемъ отъ вліянія пагубнаго примѣра ложной методы, напыщенной декламаціи г-жи Жоржъ, и разныхъ учителей, которые всегда ставили Семенову на ея роли *съ голоса*.

Другою знаменитостью на петербургской сценѣ былъ трагическій актеръ, Алексѣй Семеновичъ Яковлевъ. Талантъ огромный, одаренный всѣми духовными и тѣлесными средствами; но увы, шедшій также по ложной дорогѣ. Онъ вышелъ изъ купеческаго званія, не имѣлъ никакого образованія и, что всего хуже, имѣлъ сильную наклонность къ веселымъ компаніямъ. Передъ его вступленіемъ на сцену, нѣкоторое время занимался имъ знаменитый ветеранъ театральнаго искусства, Иванъ Аѳанасьевичъ Дмитревскій, и потому-то первые дебюты Яковлева снискали ему благосклонность публики, которая неумѣренными знаками одобренія поспѣшила испортить своего любимца. Гдѣ есть театръ, тамъ есть и записные театралы. Это народъ самый вредный для молодыхъ талантовъ: они кружатъ имъ головы восторженными похвалами и угощеніями, всегда сопровождаемыми излишествомъ употребленія *даровъ Вакха*, какъ говаривали наши стихотворцы. По несчастію, Яковлевъ и прежде имѣлъ къ нимъ склонность. Чадъ похвалъ и вина охватилъ его молодую голову:

(*) Шушеринъ былъ совершенно правъ: чудный талантъ К. С. Семеновой не развился, и игра ея съ каждымъ годомъ становилась слабѣе до самаго окончанія ея театральнаго поприща.

онъ счелъ себя за великаго актера, за мастера, а не за ученика въ искусствѣ, сталъ рѣже и рѣже посѣщать Дмитревскаго и наконецъ совсѣмъ его оставилъ. Новыя роли, не пройденныя съ Дмитревскимъ, игрались нелѣпо. Благосклонность публики однако не уменьшалась. Стоило Яковлеву пустить въ дѣло свой могучій органъ, кстати или не кстати—это все равно, и театръ гремѣлъ и ревѣлъ отъ рукоплесканій и браво. Стихъ Озерова въ Дмитріи Донскомъ:

«Мечи булатные и стрѣлы каленыя»

въ которомъ слово *стрѣлы* произносилось, Богъ знаетъ почему, съ протяжнымъ, оглушительнымъ трескомъ, или другой стихъ въ роли «Тезея»:

«Мой мечъ союзникъ мнѣ»

при чемъ Яковлевъ вскрикивалъ, какъ изступленный, ударяя ладонью по рукояткѣ меча — приводили зрителей въ неистовый восторгъ, отъ котораго даже останавливался ходъ піесы; я бѣсился, и передъ этими стихами заранѣе выбѣгалъ въ театральный корридоръ, чтобъ пощадить свои уши отъ безумнаго крика, топанья и хлопанья. Яковлевъ до того забывался, что иногда являлся на сценѣ въ нетрезвомъ видѣ. Но публика не замѣчала или не хотѣла замѣтить—и хлопала по обыкновенію.

Въ самую эту эпоху, сидѣли мы одинъ разъ съ Шушериным, и я что-то читалъ ему. Вдругъ раздался необыкновенно громкой звонокъ и черезъ минуту ввалился въ гостиную полу-пьяный Яковлевъ. Онъ остановился въ дверяхъ и громозвучнымъ голосомъ сказалъ:

«Здравствуй братъ
Вазирать!
Какъ изволишь поживать?»

Къ удивленію моему, Шушеринъ проворно соскочилъ съ дивана, на которомъ лежалъ, бросился навстрѣчу гостю. снялъ колпакъ, началъ кланяться и шутовскимъ голосомъ отвѣчалъ:

«Слава-сте Богу,
Живемъ понемногу.»

Откуда взялся этотъ разговоръ на виршахъ, я не знаю. Дѣло въ томъ, что Шушеринъ, не любившій Яковлева, какъ счастливаго соперника, захотѣлъ потѣшиться своимъ гостемъ и показать мнѣ его во всей невыгодной его славѣ. Чтобы не безпокоить Надежду Ѳедоровну, которая съ моимъ братомъ сидѣла въ сосѣдней комнатѣ, онъ вывелъ Яковлева въ залу, затворилъ двери въ гостиную, приказалъ подать самоваръ, бутылку рому и огромную чашку, которую не грѣхъ было назвать маленькой вазой, и мы втроемъ сѣли посреди комнаты около круглаго стола. Шушеринъ напоилъ гостя до пьяна и цѣлый вечеръ безжалостно дурачилъ. Онъ называлъ его великимъ Яковлевымъ, заставлялъ декламировать разныя мѣста изъ его ролей, подстрекая словами: «Ну, Алексѣй Семенычъ, покажи себя, не ударь лицемъ въ грязь; мнѣ хочется, чтобы вотъ молодой мой пріятель (указывая на меня) увидѣлъ тебя во всей славѣ твоего великаго таланта.» И пьяный Яковлевъ доходилъ до неистовства, до отвратительнаго безобразія. Наконецъ Шушеринъ съ притворнымъ участіемъ упросилъ его разсказать о недавно случившемся съ нимъ несчастномъ происшествіи, которое Яковлевъ, трезвый, скрывалъ отъ всѣхъ и которое состояло въ слѣдующемъ: подгулявшій Яковлевъ вышелъ съ какой-то поздней пирушки и, не имѣя своего экипажа, потребовалъ, чтобъ одинъ изъ кучеровъ отвезъ его домой; кучера не согласились, потому что у каждаго былъ свой баринъ или свой сѣдокъ; Яковлевъ сталъ ихъ бранить, называть

скотами, которые не понимаютъ счастья вести великаго Яковлева, и какъ эти слова ихъ не убѣдили — принялся съ ними драться; кучера разсердились и такъ отдѣлали его своими кнутьями, что онъ нѣсколько дней былъ боленъ. Сцена отвратительная, но жалкая; а Шушеринъ валялся со смѣху, слушая добродушный и вполнѣ откровенный разсказъ Яковлева. Эта черта въ Шушеринѣ мнѣ очень не понравилась, и я поспѣшилъ уйдти домой; вслѣдъ за мною Шушеринъ выпроводилъ Яковлева безъ всякихъ церемоній. Въ этотъ же разъ, покуда не совсѣмъ опьянѣлъ, Яковлевъ разсказалъ намъ, что онъ знакомъ съ Державинымъ и ходитъ къ нему читать или декламировать его оды; что Державинъ, слушая ихъ, приходитъ въ восторгъ и дѣлаетъ разные жесты, и что одинъ разъ, когда Яковлевъ, читая оду «Богъ», произнесъ стихъ:

«Кого мы называемъ Богъ!»

Державинъ схватилъ съ головы колпакъ и такъ низко наклонился, что стукнулся лбомъ объ столъ, за которымъ сидѣлъ. Яковлевъ и Шушеринъ смѣялись; но мнѣ вовсе не казалось смѣшнымъ такое горячее сочувствіе знаменитаго нашего лирика къ своимъ высокимъ произведеніямъ.

Мнѣ случилось еще провести одинъ вечеръ у Шушерина съ Яковлевымъ; но въ этотъ разъ онъ былъ не одинъ, а вмѣстѣ съ Иваномъ Аѳанасьичемъ Дмитревскимъ, котораго я до тѣхъ поръ не видывалъ, да и послѣ не видалъ: и такъ это былъ для меня одинъ изъ самыхъ интереснѣйшихъ вечеровъ во всей петербургской моей жизни. Яковлевъ съ Дмитревскимъ сошлись нечаянно; первый былъ еще совершенно трезвъ, и появленіе старика очень его смутило, потому что онъ не навѣщалъ бывшаго своего наставника нѣсколько мѣсяцевъ. Дмитревскій былъ уже очень слабъ, даже дряхлъ; съ трудомъ передвигалъ

ноги и ходилъ съ помощью человѣка; онъ показался мнѣ средняго роста; но какъ станъ его былъ сгорбленъ годами, то можетъ быть я и ошибся; лица его я разсмотрѣть не могъ, потому что глаза его не сносили свѣта, и свѣчки были поставлены сзади; голосъ тогда былъ у него уже слабый и дребезжащій, онъ немного пришепетывалъ и сюсюкалъ; голова тряслась безпрестанно, однимъ словомъ: это были развалины прежняго Дмитревскаго. Посѣщеніе его, вовсе неожиданное для Шушерина, къ которому ѣзжалъ онъ чрезвычайно рѣдко, я считалъ для себя особенною милостью судьбы. Шушеринъ представилъ меня Дмитревскому, какъ диллетанта театральнаго искусства. Старикъ былъ со мной очень ласковъ и учтивъ, какъ человѣкъ, жившій всегда въ хорошемъ обществѣ. Я говорилъ съ нимъ о К....скомъ театрѣ и объ его ученицѣ Өеклушѣ; онъ очень ее помнилъ и подтвердилъ мнѣ всѣ ея разсказы. Во все время нашего разговора, смущенный Яковлевъ молчалъ; но скоро Дмитревскій самъ къ нему обратился, и я съ удовольствіемъ увидѣлъ, что Иванъ Аѳанасьичъ, дряхлый тѣломъ, былъ еще бодръ и свѣжъ умомъ. Онъ принялся такъ ловко щунять Яковлева за его поведеніе, за неуваженіе къ искусству, за давнишнее забвеніе своего прежняго руководителя, проложившаго ему путь къ успѣхамъ на сценѣ, что Яковлевъ не зналъ куда дѣваться: кланялся, обнималъ старика и только извинялся тѣмъ, что множество ролей и частые спектакли отнимаютъ у него все время. Дмитревскій улыбался, и въ нѣсколькихъ словахъ показалъ, что это все вздоръ, что онъ знаетъ весь репертуаръ Яковлева не хуже его самого. Въ числѣ оправданій, Яковлевъ упомянулъ о поѣздкѣ своей въ Москву; онъ распространился о своихъ блистательныхъ успѣхахъ на московской сценѣ, и въ доказательство вынулъ изъ кармана, и показалъ намъ дорогую золотую

табакерку, осыпанную крупными брилліантами, съ самою лестною надписью. Табакерку цѣнили въ 5,000 рублей. Досадно, что я не помню надписи; но кажется она состояла въ томъ, что Московское дворянство изъявляетъ свою благодарность знаменитому артисту Яковлеву. Эта табакерка ужасно возгордила его; даже теперь, взглянувъ на нее, онъ вдругъ ободрился и началъ говорить о себѣ съ дерзкою самоувѣренностью. Онъ сказалъ между прочимъ, что никто еще въ Россіи не удостоился получить такого блистательнаго знака благодарности отъ цѣлаго сословія благороднаго московскаго дворянства, что судъ знатоковъ въ Москвѣ гораздо строже, чѣмъ въ Петербургѣ; потому что въ Москвѣ народъ не занятой, вольный, живетъ въ свое удовольствіе и театромъ занимается серьёзно, тогда, какъ здѣсь все люди занятые службой, которымъ некогда углубляться въ тонкости театральнаго искусства, все чиновники, да гвардейцы, что его игра въ роли «Отелло» (*) всего болѣе понравилась московской публикѣ, и что она два раза требовала повторенія этой піесы. При сихъ словахъ вдругъ обратился онъ съ вопросомъ къ Дмитревскому, сильно раздраженному его хвастовствомъ: «Позвольте узнать, достопочтеннѣйшій Иванъ Аѳанасьичъ, довольны ли вы моею игрою въ роли «Отелло», если вы только удостоили вашимъ присутствіемъ представленіе этой піесы?» Дмитревскій часто употреблялъ въ разговорахъ слова «душа моя»; но букву *ш* онъ произносилъ не чисто, такъ что ее заглушалъ звукъ буквы *с*; помолчавъ и посмотря иронически на вопрошающаго, онъ отвѣчалъ: «Видѣлъ, дуса моя; но зачѣмъ тебѣ знать, что̀ я думаю о твоей игрѣ? Вѣдь тебя хвалятъ, и всегда вызываютъ; благород-

(*) Трагедія «Отелло» была переведена съ французской передѣлки Дюсиса, гжею Вельяминовымъ.

ное россійское дворянство тебѣ подарило табакерку. Чегожь тебѣ еще? Ты хорошъ, прекрасенъ, безподобенъ.» Яковлевъ чувствовалъ, что это насмѣшка. «Нѣтъ, достопочтеннѣйшій Иванъ Аѳанасьичъ, продолжалъ Яковлевъ съ жаромъ и даже чувствомъ, мнѣ этого мало. Ваша похвала для меня дороже похвалы всѣхъ царей и всѣхъ знатоковъ въ мірѣ. Я обращаюсь къ вамъ, какъ артистъ къ артисту, какъ славный актеръ настоящаго времени къ знаменитому актеру прошедшаго времени.» Яковлевъ поднялся съ креселъ, сталъ въ позицію передъ Дмитревскимъ, ударилъ себя рукою въ грудь и голосомъ «Отелло» произнесъ: «Правды требую, правды!» Скрывая негодованіе, Дмитревскій, съ убійственнымъ хладнокровіемъ отвѣчалъ: «Если ты непремѣнно хочешь знать правду, душа моя, то я скажу тебѣ, что роль Отеллы ты играешь, какъ сапожникъ.» Эффектъ былъ поразителенъ: Шушеринъ плавалъ въ восторгѣ, потому что терпѣть не могъ Яковлева, и хотя не любилъ, но уважалъ Дмитревскаго; я весь превратился въ напряженное вниманіе; Яковлевъ, такъ великолѣпно и смѣло вызвавшій строгій приговоръ, пораженный почти собственнымъ оружіемъ, нѣсколько мгновеній стоялъ неподвижно, потомъ поклонился Дмитревскому въ поясъ, и смиренно спросилъ: «Да чѣмъ же вы недовольны, Иванъ Аѳанасьичъ?» — «Да всѣмъ», отвѣчалъ Дмитревскій, давшій вдругъ волю своей горячности: «Что ты, напримѣръ, сдѣлалъ изъ превосходной сцены, когда призываютъ Отелло въ Сенатъ, по жалобѣ Брабанціо? гдѣ этотъ благородный, почтительный воинъ, этотъ скромный побѣдитель, такъ искренно, такъ простодушно говорящій о томъ, чѣмъ понравился онъ Дездемонѣ? Кого ты играешь? Буяна, сорванца, который, махая кулаками, того и гляди, что хватитъ въ зубы кого-нибудь изъ Сенаторовъ....» и съ этими словами Дмитревскій съ живостью поднялся

съ кресель, сталъ посреди комнаты и проговорилъ наизусть почти до половины монологъ Отелло, съ совершенною простотой, истиной и благородствомъ. Всѣ мы были поражены изумленіемъ, смѣшаннымъ съ какимъ-то страхомъ. Передъ нами стоялъ не дряхлый старикъ, а бодрый хотя и не молодой Отелло; жеста не было ни одного: почтительный голосъ его былъ твердъ, произношеніе чисто и голова не тряслась (*). Шушеринъ опомнился первый, бросился къ Дмитревскому, схватилъ его подъ обѣ руки, цѣловалъ въ плечо и восклицая: «Вотъ великій актеръ, вотъ неподражаемый артистъ!» съ большимъ трудомъ довелъ его до креселъ. Дмитревскій такъ ослабѣлъ, что попросилъ рюмку мадеры. Яковлевъ стоялъ какъ опущенный въ воду. Всѣ молчали, точно испуганные сверхъестественнымъ явленіемъ. Оправившись Дмитревскій сказалъ: «Разгорячилъ ты меня старика, душа моя, и я пролежу отъ того недѣли двѣ въ постели.» Голосъ его дребезжалъ, языкъ пришепетывалъ и голова тряслась по прежнему:—«Пора мнѣ домой, продолжалъ онъ. Если хочешь, душа моя Алеса, вѣдь я прежде всегда такъ называлъ тебя, то пріѣзжай ко мнѣ; я пройду съ тобой всю роль. Прощай Яковъ Емельянычъ.» Дмитревскій едва могъ подняться съ креселъ; Степанъ вмѣстѣ со слугой Дмитревскаго. повели его подъ руки; Шушеринъ, забывъ свою мнимую болѣзнь и холодную погоду, схватилъ свѣчу и, въ одномъ фланелевомъ шлафрокѣ, побѣжалъ проводить знаменитаго гостя и самъ усадилъ его въ карету. Когда онъ воротился, Яковлевъ стоялъ въ томъ же положеніи, задумчивый, смущенный и безмолвный. Шушеринъ

(*) Шушеринъ разсказывалъ мнѣ, что голова у Дмитревскаго давно начинала трястись; но что когда бывалъ онъ на сценѣ, это было непримѣтно, а равно и недостатокъ его произношенія.

принялся хохотать. «Что, братъ? Озадачилъ тебя старикашка?»—«Да, отвѣчалъ Яковлевъ; я услышалъ истину.» —Съ прискорбіемъ долженъ я сказать, что Шушеринъ не поддержалъ въ Яковлевѣ такого добраго расположенія. Онъ принялся шутить, хвалить Яковлева, и даже сказалъ, что всякому слову Дмитревскаго вѣрить нельзя, а въ доказательство его фальшивости, разсказалъ происшествіе, случившееся съ нимъ самимъ. «Когда я пріѣхалъ изъ Москвы въ Петербургъ, такъ говорилъ Шушеринъ, по вызову здѣшней дирекціи, для поступленія въ службу на Императорскій театръ, мнѣ были назначены три дебюта: «Сынъ любви», «Эмилія Галотти» и «Дидона» трагедія Княжнина, въ которой я съ успѣхомъ игралъ роль «Ярба.» Я обратился къ патріарху русскихъ актеровъ, къ Ивану Аѳанасьичу, который зналъ меня давно въ Москвѣ, всегда очень хвалилъ и способствовалъ моему переходу въ Петербургъ. Не смотря на это, я боялся, чтобы его отзывы о моихъ дебютахъ не повредили мнѣ, потому что не надѣялся на прежнія похвалы его, сказанныя мнѣ въ глаза. Я хотѣлъ его напередъ задобрить и просилъ, чтобы онъ прослушалъ мои дебютныя роли; и хотя онъ отговаривался, что это не нужно, что умнаго учить только портить; но я просилъ неотступно и онъ выслушалъ меня. По первымъ двумъ ролямъ моихъ дебютовъ, я получилъ подозрѣніе, что Иванъ Аѳанасьичъ хитритъ: самыя лучшія мѣста въ моихъ роляхъ, которыя я обработалъ и исполнялъ хорошо, онъ какъ-будто не примѣчалъ, а напротивъ тѣ мѣста, которыя были у меня слабы, и которыми я самъ былъ недоволенъ, онъ очень хвалилъ. Постой же, старый хрычъ, подумалъ я; я тебя выведу на свѣжую воду. Первые два дебюта сошли очень хорошо. Когда я пріѣхалъ къ Ивану Аѳанасьичу съ ролею Ярба, то прочелъ ее всю, какъ слѣдуетъ кромѣ

одного мѣста, которое у меня было лучше всѣхъ и въ которомъ московская публика меня всегда отлично принимала; это 1-е явленіе въ 4-мъ дѣйствіи, гдѣ Ярбъ бросается на колѣни и обращается къ Юпитеру.

О ты, котораго всѣ чтутъ моимъ отцомъ,
Великій Юпитеръ, держащій страшный громъ!
Зря сыну твоему творимыя досады!
Вперяю для своей молю тебя отрады:
Когда ты мой отецъ, яви, что я твой сынъ
Изъ мрака грозныхъ тучъ, и *проч.*

Видя же, что въ природѣ ничего не дѣлается и Юпитеръ молчитъ, Ярбъ съ яростью встаетъ и говоритъ:

Но что, слова мои напрасно я теряю
И своего отца безъ пользы умоляю!
Когда ты не разишь, отцемъ тебя не чту,
И только тщетную въ тебѣ я зрю мечту.

Я прочелъ эти стихи такъ слабо, такъ дрянно, что мнѣ было стыдно смотрѣть на Ивана Аѳанасьича. Что же онъ? Обнялъ меня и говоритъ: «Прекрасно, безподобно, точно такъ, какъ я прежде игрывалъ эту роль.» Я спросилъ даже, не слабо ли я играю это мѣсто, не нужно ли его усилить; но онъ увѣрялъ, что надобно точно такъ играть. Во время представленія піесы, Иванъ Аѳанасьичъ сидѣлъ на креслахъ, между двухъ первыхъ кулисъ. Я разумѣется игралъ это явленіе совсѣмъ не такъ, какъ читалъ Дмитревскому; публикѣ оно очень понравилось, долго хлопали и кричали браво. Когда я сошелъ со сцены и подошелъ къ Дмитревскому, онъ обнялъ меня, превозносилъ похвалами, а на ухо шепнулъ мнѣ: «ты сельма, бестія, плутъ, мосенникъ; ты знаесь за что.» Долго онъ не могъ простить мнѣ этой штуки, и сколько я ни увѣрялъ его, что это случилось нечаянно, что это былъ сценическій порывъ, ко-

тораго я въ другой разъ и повторить не съумѣю — старикъ грозилъ пальцемъ и начиналъ меня ругать.» — Этотъ разсказъ очень . поколебалъ Яковлева въ довѣренности къ Дмитревскому. Потомъ онъ сильно подпилъ и уходя сказалъ: «Поѣду къ старику, только надуть себя не дамъ.» Я забылъ сказать, что въ этотъ же вечеръ, еще до пріѣзда Дмитревскаго, Яковлевъ сказалъ намъ, что написалъ поэму въ стихахъ. Шушеринъ лукаво улыбнулся и сказалъ, что очень бы желалъ ее послушать, и Яковлевъ вынулъ изъ кармана тетрадку и прочелъ нѣсколько куплетовъ. Стихи были, или показались намъ, очень хороши, и мы оба, изумленные такой неожиданностью, горячо ихъ хвалили. Яковлевъ ударилъ себя кулакомъ въ грудь (это былъ любимый его жестъ) и сказалъ, обращаясь къ Шушерину: «Да братъ, это Этна, въ которой много кипитъ огня. Завтра прочту свою поэму Гавріилу Романовичу Державину.» Я послѣ видѣлъ эту піесу, напечатанную отдѣльно. Это была не поэма, а большая лирическая пѣснь духовно-нравственнаго содержанія, написанная по тогдашнему весьма хорошими стихами, и конечно, обличала новое дарованіе въ этомъ замѣчательномъ и талантливомъ человѣкѣ. Поступокъ Шушерина меня огорчилъ. Изъ всѣхъ разсказовъ объ Яковлевѣ должно было заключить, что въ основаніи характера этого человѣка много лежало благороднаго и прекраснаго. Оставшись наединѣ съ Яковомъ Емельянычемъ, я упрекалъ его, но онъ отшучивался и отвѣчалъ мнѣ, что «я еще молодъ и когда поживу съ его на свѣтѣ, то иначе буду смотрѣть на людей.» Только Шушеринъ съ этихъ поръ сдѣлался осторожнѣе и старался при мнѣ ничего подобнаго не говорить.

Гнѣдичъ переводилъ тогда Иліаду. Онъ позвалъ Шушерина къ себѣ, чтобы выслушать осьмую пѣснь, только что имъ конченную. Шушеринъ былъ такъ любезенъ, что

сейчасъ вспомнилъ обо мнѣ и выпросилъ позволеніе привесть меня съ собою: до тѣхъ поръ я не былъ лично знакомъ съ Гнѣдичемъ. Онъ переводилъ Иліаду, начавъ съ седьмой пѣсни, потому что считалъ переводъ первыхъ шести пѣсенъ Кострова вполнѣ удовлетворительнымъ; переводилъ онъ ямбами съ риѳмами и дошелъ до половины десятой пѣсни. Всѣмъ извѣстно, что въ послѣдствіи, по совѣту С. С. У., подкрѣпленному совѣтомъ А. Н. О., Гнѣдичъ уничтожилъ свой ямбическій переводъ, и началъ переводить Иліаду съ первой пѣсни гекзаметрами Я помню, что тогда, не понимая дѣла, я очень сожалѣлъ объ этой перемѣнѣ. Мы пошли съ Шушериньмъ пѣшкомъ, и онъ предупредилъ меня, что Гнѣдичъ будетъ читать съ такимъ жаромъ и съ такими жестами, что опасно сидѣть близко къ нему, особенно съ криваго глаза, и заранѣе потѣшался уродливостію его декламаціи. Все это въ Шушеринѣ мнѣ было досадно. Гнѣдичъ принялъ насъ радушно, и послѣ нѣсколькихъ словъ о театрѣ и о Семеновой, причемъ Шушеринъ не пропустилъ оказіи сказать, вопреки своему убѣжденію, что она очень успѣваетъ подъ его руководствомъ — принялся читать осьмую пѣснь Иліады. Предсказанія Шушерина сбылись. Гнѣдичъ, читая передъ актеромъ и передъ неизвѣстнымъ ему молодымъ человѣкомъ, котораго онъ считалъ также, чѣмъ-то въ родѣ актера—далъ себѣ полную волю. Тутъ я увидѣлъ, что не имѣлъ понятія о чтеніи Гнѣдича, хотя и слышалъ его одинъ разъ у А. С. Шишкова, гдѣ онъ читалъ седьмую пѣснь Иліады при довольно многочисленномъ собраніи почтенныхъ слушателей. Гнѣдичъ декламировалъ неистово, съ движеніями и жестами, въ самомъ дѣлѣ, очень смѣшными. Я сидѣлъ прямо противъ него, а Шушеринъ съ боку, и я видѣлъ какъ онъ забавлялся, что мѣшало мнѣ восхищаться славными стихами Гнѣдича. Судьба захотѣла

въ этотъ разъ вполнѣ потѣшить Шушерина; Гнѣдичъ въ пылу декламаціи такъ махнулъ рукой, что задѣлъ за подсвѣчникъ, который вмѣстѣ съ свѣчей пролетѣлъ мимо головы Шушерина; онъ бросился поднять подсвѣчникъ; но Гнѣдичъ схватилъ его за руку, удержалъ на мѣстѣ, и яростно смотря ему въ лице, дочиталъ, какъ Діомидъ, посадивъ возницей Нестора на свою колесницу, полетѣлъ противъ Гектора.... Я поднялъ свѣчку, натурально переломившуюся, и поставилъ на другой столъ. Вскорѣ пришла и моя очередь, Гнѣдичъ вдругъ обратился ко мнѣ, перекинулся черезъ столикъ, за которымъ сидѣлъ и, произнося стихъ:

«Сего же злаго пса стрѣла не улучаетъ!» (*),

едва не выкололъ мнѣ глазъ своимъ указательнымъ пальцемъ. Шушеринъ смѣялся, за спиною у чтеца, и дѣлалъ мнѣ такіе уморительные жесты, что я самъ едва не расхохотался. Послѣ окончанія чтенія онъ былъ такъ не деликатенъ, что спросилъ у Гнѣдича, «не ушибъ ли онъ руку о подсвѣчникъ?» но послѣдній съ досадой отвѣчалъ: «нѣтъ». Наконецъ мы простились съ хозяиномъ. Я благодарилъ за удовольствіе, которое доставили мнѣ его стихи; а Шушеринъ благодарилъ очень двусмысленно, говоря, что Николай Ивановичъ его утѣшилъ, и что онъ никогда не забудетъ этого вечера. Когда мы вышли на улицу, Шушеринъ такъ принялся хохотать, что мы нѣсколько времени простояли на одномъ мѣстѣ. Я хмурился, и не смѣялся, и это еще болѣе смѣшило Шушерина. Я сказалъ ему, что не смотря на уродливыя выходки, въ чтеніи Гнѣдича такъ много силы и выразительности, что я слушалъ его съ большимъ удовольствіемъ; но Шуше-

(*) Гекзаметромъ этотъ стихъ переведенъ Гнѣдичемъ такъ:

«Только сего не дается, свирѣпаго пса мнѣ умѣтить.»

рянъ возразилъ, что было бы еще выразительнѣе, еслибъ Гнѣдичъ, желая придать болѣе силы своему стиху, пустилъ въ меня подсвѣчникомъ, какъ Гекторъ, бросивший камень въ Тевкра.... Шушеринъ не вполнѣ понималъ Гомера, и слова *песъ*, особенно *псица*, какъ называетъ Ириса богиню Палладу Аѳину, возмущали и смѣшили его.

Была прекрасная лѣтняя ночь, тихая и свѣтлая, какъ это бываетъ иногда въ Петербургѣ. Изъ Садовой мы вышли на набережную Фонтанки, хотя это было дальше, и такъ прошли до Сѣнной. Брата моего уже не было у Надежды Ѳеодоровны, въ окнахъ было темно; онъ ушелъ спать домой одинъ, а Степанъ проводилъ его; мы жили тогда на другой квартирѣ, въ домѣ Волкова, очень близко отъ Шушерина, въ томъ переулкѣ, который идетъ съ Сѣнной на Екатеринку.

Проходя со мною роль: «Неизвѣстнаго» въ комедіи Коцебу «Ненависть къ людямъ и раскаяніе», имѣвшей большой успѣхъ на многихъ европейскихъ театрахъ, Шушеринъ не былъ мною доволенъ, и требовалъ отъ меня больше простоты и естественности. Чтобъ показать мнѣ, какъ должно играть эту роль, онъ пошелъ со мною въ нѣмецкій театръ, на которомъ актеръ Фьяло или Фьялъ (кажется такъ) по мнѣнію Шушерина и всѣхъ знатоковъ игралъ эту роль превосходно. Оба мы не знали нѣмецкаго языка; но игра Фьяло была такъ выразительна, а піеса намъ такъ извѣстна, по русскому переводу, что мы оба понимали ее совершенно и на нѣмецкомъ языкѣ. Въ самомъ дѣлѣ игра Фьяло могла назваться совершенствомъ естественности и простоты чувства. Съ непривычки эта простота даже меня удивила, особенно потому, что окружающія его дѣйствующія лица, хотя также играли довольно просто, но все не попадали въ одинъ тонъ съ неподражаемымъ Фьяло. Я передѣлалъ свою игру въ

ролѣ «Неизвѣстнаго» и Шушеринъ былъ такъ доволенъ, что даже обнялъ и поцѣловалъ меня (*).

Я продолжалъ между-тѣмъ, отъ времени до времени смотрѣть Жоржъ. Отдавая всегда отчетъ въ моихъ впечатлѣніяхъ Шушерину, я возбудилъ его любопытство, и онъ самъ захотѣлъ взглянуть на европейскую знаменитость. Мы выбрали для этого Федру, всю роль которой я перевелъ для Шушерина, (нѣкоторыя мѣста даже стихами), хотя онъ и читалъ Федру въ старинномъ переводѣ. Я за-ранѣе обратилъ его вниманіе на эффектныя мѣста и даже натвердилъ нѣкоторые стихи по-французски, стихи, которыми m-lle George постоянно приводила въ восхищеніе публику. Шушеринъ, можетъ быть отъ того, что былъ предупрежденъ мною, оцѣнилъ съ разу по достоинству славную актрису; онъ говорилъ: «Удивляюсь, благоговѣю, преклоняюсь передъ ея искусствомъ (**), но не слышу души.» Тѣмъ не менѣе онъ захотѣлъ еще ее видѣть, и въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ мы видѣли ее еще разъ въ Федрѣ, потомъ въ Андромахѣ, въ Танкредѣ и въ Семирамидѣ. Въ роли Аменаиды, она дѣйствительно уступала Семеновой; но за то торжествовала въ Семирамидѣ. Эту роль она играла лучше всѣхъ ролей, и Шушеринъ хвалилъ ее даже пристрастно, потому что увлекался великолѣпной наружностью, красотою, голосомъ царственнымъ величіемъ актрисы. Когда Семирамида вошла на тронъ въ вѣнцѣ, со скипетромъ, въ царственной мантіи, и, обратясь къ присутствующимъ, начала свою знаменитую рѣчь, Шушеринъ едва усидѣлъ на креслахъ, и сказалъ мнѣ «я стану на колѣни». Мы разобрали игру

(*) Попробовать эту передѣлку на сценѣ мнѣ не удалось.

(**) Шушеринъ употреблялъ слово искусство не въ томъ значеніи, которое придано ему теперь, а въ смыслѣ умѣнья, мастерства.

m-lle George, какъ говорится по ниточкѣ, и вотъ въ коротких словахъ, въ чемъ состоялъ весь механизмъ и вся характеристика. M-lle George играла свои роли холодно, безъ всякаго внутренняго чувства. Пластика была великолѣпна, въ полномъ смыслѣ этого слова. George была совершенная красавица: правильныя, довольно крупныя черты ея лица, необходимое условіе, чтобъ казаться совершенствомъ красоты на сценѣ, были подвижны и выразительны, особенно глаза; высокой ростъ, удивительныя руки, сила и благородство въ движеніяхъ и жестахъ — все было превосходно. Я думаю, что одна ея мимика безъ словъ, произвела бы дѣйствіе еще сильнѣе. Характеры ролей, истинность ихъ, всегда приносились въ жертву эффекту; слѣдовательно — даже теперь выговорить страшно — ея игра была безсмысленна, относительно къ характеру представляемаго лица. Всякую роль, m-lle George, предварительно разсѣкала на множество кусковъ: въ каждомъ изъ нихъ находились иногда два стиха, иногда полтора, иногда одинъ, иногда нѣсколько словъ, а иногда и одно слово, которымъ она поражала слушателей; для усиленія эффекта избранныхъ стиховъ, выраженій и словъ, она обыкновенно употребляла три способа: 1) она тянула, пѣла, хотя всегда звучнымъ, но сравнительно слабымъ голосомъ, стихи предшествующіе тому выраженію, которому надобно было дать силу; вся наружность ея, какъ будто опускалась, глаза теряли свою выразительность, а иногда совсѣмъ закрывались, и вдругъ бурный потокъ громозвучнаго органа вырывался изъ ея груди, всѣ черты лица оживлялись мгновенно, раскрывались ея чудныя глаза и неотразимо-ослѣпительный блескъ ея взгляда, сопровождаемый чудною красотою жестовъ и всей ея фигуры — довершалъ пораженіе зрителя. 2) Громозвучная, пѣвучая и всегда гармоническая декламація вдругъ об-

рывалась, и выразительнымъ шепотомъ, слышнымъ во всѣхъ углахъ театра, произносились тѣ слова, которымъ назначено было, такъ сказать, вливаться въ душу зрителей. Не нужно прибавлять, что мимика и вся наружность соотвѣствовали такому быстрому переходу. 3) Способъ состоялъ въ томъ, что изъ скороговорки, вдругъ вылетали нѣсколько словъ и нерѣдко одно слово, произносимое безъ напѣва, протяжно, какъ будто по складамъ, съ сильнымъ удареніемъ на каждый слогъ, такъ что избранное выраженіе или слово, поразительно впечатлѣвалось въ слухъ и, пожалуй, въ душѣ инаго зрителя. Этотъ послѣдній способъ, употребляемый иногда обратно, такъ что скороговорка врывалась въ протяжно пѣвучую рѣчь, въ Петербургѣ менѣе производилъ дѣйствія, какъ я слышалъ отъ многихъ, чѣмъ на другихъ европейскихъ театрахъ, такъ что въ послѣдствіи m-lle George употребляла его гораздо рѣже, и многіе говорили, что игра ея въ Россіи усовершенствовалась. Изъ такой постановки ролей, необходимо слѣдуетъ, что онѣ были всѣ обдѣланы предварительно, *передъ зеркаломъ*, въ продолженіе долгаго времени. Всѣ мельчайшія интонаціи голоса, малѣйшія движенія лица, рукъ и всего тѣла, всякая складка на ея платьѣ, долженствующая образоваться при такомъ-то движеніи, все было изучено и никогда не измѣнялось. Мнѣ случилось быть одинъ разъ въ театрѣ вмѣстѣ съ двумя ея поклонниками и сидѣть между ними: я командовалъ всѣми движеніями m-lle George, зная ихъ наизусть, такъ, что выходило очень смѣшно. Я шепталъ: «ступи шагъ впередъ, отодвинь назадъ лѣвую ногу, опусти глаза, раскрой вдругъ глаза, тяни нараспѣвъ, шепчи, говори по складамъ, скороговоркой, откинь шлейфъ платья назадъ....» и все вточности исполнялось въ ту же минуту. Одинъ изъ моихъ сосѣдей расхохотался, а другой разсердился. M-lle George такъ механически играла свои роли, что слушая

иногда, повидимому, съ благоговѣньемъ или сильнымъ наружнымъ волненіемъ, она бранилась шепотомъ съ своими товарищами, за не во-время *поданныя реплики*, или съ своей прислужницей, стоявшей не далеко отъ нея за кулисами, забывшею подать ей какую-нибудь нужную вещь при выходѣ на сцену. Это слышалъ не я одинъ, а весьма многіе; находились такіе люди, которые ставили ей въ достоинство такое умѣнье—въ одно и тоже время раздѣляться на два лица. Игра m-lle George была положена, такъ сказать на ноты, твердо выучена наизусть, и съ неизмѣнною точностью повторялась всегда. George не обращала ни малѣйшаго вниманія на мысль автора, на общій ладъ (ensemble) піесы и на тонъ реплики лица, ведущаго съ нею сцену; однимъ словомъ: она была одна на сценѣ, другія лица для нея не существовали. Послѣ этого можно ли назвать ея игру художественнымъ воспроизведеніемъ личности представляемаго лица? Это было проявленіе какихъ-то движеній или волненій души, внѣшнимъ образомъ выражающихся, нанизанныхъ на нитку, какъ ни попало. Нѣтъ, никогда не признаю я искусства въ такомъ умѣньѣ передразнивать внѣшнюю природу человѣка, хотя бы оно было возведено до высокой степени! Конечно, она подражала не одной внѣшней природѣ, она подражала и выраженію страстей человѣческихъ, но это подражаніе вообще было безжизненно, безхарактерно, безразлично. Зритель видѣлъ въ ея чертахъ и слышалъ въ ея голосѣ *какое-то* волненіе, *какую-то* силу, и, по смыслу произносимыхъ ею словъ, по характеру представляемаго лица, долженъ былъ принимать это волненіе или за гнѣвъ, или за отчаяніе и т. п. Но, конечно, ни одинъ зритель не могъ найдти въ игрѣ m-lle George выраженія печали, любви и преимущественно нѣжности, хотя бы роль требовала именно такихъ чувствъ.

Говорили: George производитъ сильное дѣйствіе, оставляетъ глубокое впечатлѣніе. Положимъ такъ, да какого рода это впечатлѣніе? Если не художественное, то не дай Богъ его испытывать. Это впечатлѣніе на нервы, а не на душу. Такое впечатлѣніе можетъ произвесть всякое физическое явленіе: внезапный свѣтъ, темнота, стукъ. Если мы пойдемъ дальше и будемъ искать такого рода эффектовъ, то развѣ предсмертныя томленія умирающаго человѣка, или казнь преступника, не произведетъ еще сильнѣйшаго впечатлѣнія? Но представленіе такихъ предметовъ на сценѣ, было бы оскорбленіемъ искусству и художественному чувству образованнаго человѣка, и чѣмъ вѣрнѣе подраженіе, тѣмъ хуже. Впрочемъ, George не умѣла хорошо умирать на сценѣ (и слава Богу), хотя имѣла на то претензію (*).

Я наконецъ не могъ уже видѣть, безъ неудовольствія, m-lle George, между тѣмъ, какъ Семенова и Яковлевъ, у которыхъ, хотя не было ролей цѣльныхъ, но всегда были мѣста, въ которыхъ природный талантъ ихъ, то-есть,

(*) В. А. Каратыгинъ, пользовавшійся также громкой славой, былъ нѣкоторымъ образомъ, таже George въ своей игрѣ, хотя я ставлю его въ одномъ отношеніи выше: роли у него были также *сдѣланы* то-есть, выучены передъ зеркаломъ съ разными, заранѣе придуманными, эффектными выходками; пластика—также иногда великолѣпна, хотя хриплый подорванный голосъ и нервѣзкія, малоподвижныя черты лица мѣшали ему достигнуть того совершенства, которымъ отличалась въ мимикѣ George; но вотъ въ чемъ онъ превосходилъ её: всѣ его роли были обдуманы и проникнуты мыслью; характеры вѣрны и выдержаны, и онъ грѣшилъ только въ излишней эффектности внѣшняго исполненія, не проникнутой внутреннимъ огнемъ. Вообще у него мало выражалось чувства, вѣроятно подавляемаго несчастною методою, но была сила, отчасти замѣнявшая чувство. Лучшими его ролями я считаю: Людовика XI и особенно Лейчестера въ Маріи Стюартъ, въ которыхъ актеръ играетъ—актера на сценѣ. Я сказалъ, что пластика была у него *иногда* великолѣпна, потому что были роли, въ которыхъ эта пластика являлась не совсѣмъ изящною.

одушевленіе, вырываясь съ неподдѣльною силою—доставляло мнѣ иногда истинное наслажденіе.

Припоминая всѣ разсказы Шушерина объ его жизни и театральномъ поприщѣ, слышанные мною въ разное время, я соединю ихъ въ одно цѣлое и разскажу, по большой части, собственными его выраженіями и словами, которыя врѣзались въ моей памяти и даже нѣкогда были мною записаны. Къ сожалѣнію всѣ мои тогдашнія записки, давно мною утрачены, потому что я не придавалъ имъ никакого значенія. Разумѣется, я многое забылъ и потеря эта теперь для меня невознаградима.

«Я родился въ Москвѣ», такъ говорилъ Шушеринъ, «бѣднякомъ, отъ родителей низкаго происхожденія, и мало ихъ помню, особенно мать, которой я лишился еще въ ребячествѣ. Отецъ мой былъ приказнаго званія и меня назначалъ къ тому же, для чего и былъ я выученъ грамотѣ, хотя на мѣдныя деньги, но по тогдашнему лучше другихъ. Отецъ мой умеръ въ самомъ началѣ московской чумы, которую всѣ называли черной смертью, но я жилъ уже не вмѣстѣ съ нимъ, а съ двумя разгульными товарищами, такими же повѣсами, какъ я. Мы всѣ трое служили писцами въ присутственномъ мѣстѣ (*). Я писалъ лучше и работалъ прилежнѣе ихъ, и потому денегъ получалъ больше, такъ что ихъ доставало у меня на опрятное платье, до котораго я всегда былъ охотникъ, и на всякую гульбу; но товарищи мои одѣвались отвратительно. Все свободное время мы пьянствовали и буянили. Я пилъ не меньше ихъ, а буянилъ втрое больше; но пьянъ бывалъ рѣже, потому что былъ необыкновенно крѣпокъ и

(*) Въ какомъ—не помню. Вообще должно сказать, что память моя, сохранивъ вѣрно нити происшествій и многія выраженія Шушерина—изгибила мнѣ въ нѣкоторыхъ именахъ и годахъ; впрочемъ, послѣднихъ, я и тогда хорошенько не зналъ.

вообще имѣлъ чертовское здоровье. Товарищи мои были такая ракалія, что иногда обкрадывали меня и пропивали мое праздничное платье; но я продолжалъ жить вмѣстѣ съ ними, и только искуснѣе пряталъ и крѣпче запиралъ мои вещи. Смерть отца не произвела на мени никакого впечатлѣнія, да и появленіе страшной чумы меня не испугало. Я даже мало наблюдалъ осторожности и самъ хоронилъ отца, прикасаясь къ нему голыми руками, а не желѣзными крючьями на длинныхъ палкахъ, какіе тогда употреблялись всѣми для прикосновенія къ человѣку, умершему чумой. Я упросилъ полицейскихъ, чтобъ не жгли отцова платья и вещей, и подержавъ ихъ надъ дымомъ зажженнаго навоза, взялъ ихъ себѣ и употреблялъ безъ всякаго вреда. Стыдно вспомнить, какая я былъ скотина и какую жизнь велъ! Въ церковь ходилъ рѣдко, говѣлъ черезъ нѣсколько лѣтъ. Только и было на умѣ, какъ бы гдѣ погулять на шерамыгу. Любимое мое удовольствіе составляли кулачные бои, на которыхъ я уже имѣлъ репутацію сильнаго и ловкаго бойца, такъ что синяки носилъ рѣдко, а другихъ надѣлялъ ими часто: боленъ не бывалъ никогда. Такъ шла эта безобразная жизнь, пока не привлекъ моего вниманія театръ, заведенный и содержимый въ Москвѣ Медоксомъ. Эта забава мнѣ очень понравилась и отчасти измѣнила мое поведеніе: я сталъ употреблять деньги на театръ, а не на пьянство, отъ чего и гулять сталъ меньше. Новая моя охота росла и наконецъ мнѣ захотѣлось самому поиграть на *тіатрѣ*, какъ его тогда называли. Я познакомился съ мелкими актеришками, попотчивалъ, подружился съ ними и открылся въ моемъ желаніи. Уладить дѣло было не трудно, потому что одинъ изъ *офиціантовъ*, выносящихъ на сцену стулья и говорящихъ иногда по нѣскольку словъ— умеръ, и мнѣ доставили это мѣсто. Я писалъ и читалъ бойко, и скоро сдѣлался нужнымъ лицемъ при театрѣ: я

ереписывалъ роли, за что получалъ по три копѣйки мѣдью съ листа, и когда суфлеръ бывалъ пьянъ или нездоровъ, то я занималъ его мѣсто. Роли также я сталъ получать позначительнѣе, то-есть, четверки въ двѣ и въ три; но жалованье было скудно, такъ что нечѣмъ было жить, если бы я не вырабатывалъ денегъ на сторонѣ переписываньемъ бумагъ. Я сказалъ, что охота къ театру измѣнила нѣсколько мое поведеніе; вступленіе же на театръ въ актеры (такъ произносили тогда это слово) сдѣлало меня еще нескромнѣе, потому что я постановилъ себѣ за правило, въ тотъ день, когда играю, — ничего хмѣльнаго не пить. Надо признаться, что долго игралъ я скверньйшимъ образомъ. Публика ругала меня безпощадно, какъ и многихъ другихъ, и я слышалъ своими ушами, стоя на сценѣ, какъ подчивали меня въ первыхъ рядахъ креселъ. Я слушалъ и смѣялся. Наконецъ одинъ господинъ задѣлъ меня за живое. Я слышалъ, какъ онъ говорилъ: «зачѣмъ эта дубина, Шушеринъ, вступилъ на театръ, не имѣя къ тому ни малѣйшихъ способностей. То ли бы дѣло, тесакъ да лямку черезъ плечо, а парень здоровый». Вдругъ мнѣ сдѣлалось чрезвычайно обидно. «Постой же, подумалъ я, я докажу тебѣ, что у меня есть способности и заставлю тебя мнѣ похлопать». Господина этого я зналъ въ лицо: онъ былъ извѣстный охотникъ до театра. Я выпросилъ себѣ роль нѣсколько позначительнѣе, выучилъ твердо и попросилъ совѣтовъ Плавильщикова, хотя недавно вступившаго на театръ, но за то человѣка ученаго. Я сыгралъ роль изряднехонько и получилъ, въ первый разъ въ моей жизни, маленькій аплодисментъ. Это меня поощрило. Вскорѣ представился случай, по внезапной болѣзни одного актера, выучить въ одинъ день и сыграть другую роль, еще позначительнѣе. Разумѣется, я напросился на это у режиссера самъ. Роль я сыгралъ такъ

удачно, что ее оставили за мной и по выздоровленіи игравшаго ее актера, который долго на меня косился. Мнѣ прибавили 25 руб. асс. жалованья. Но дѣла шли все попрежнему. Вѣроятно, такая посредственность наконецъ бы надоѣла мнѣ; я воротился бы къ прежнему моему образу жизни, и, конечно, не бывать бы мнѣ тѣмъ, что я теперь, еслибъ я не влюбился. Влюбился я не на шутку, а такъ, какъ нынче не умѣютъ влюбляться: отъ макушки до пятокъ. Я влюбился въ молодую, прекрасную нашу актрису, занимавшую амплуа первыхъ любовницъ въ драмахъ и комедіяхъ, М. С. С. Разумѣется, искателей было много. Достигнуть до предмета моей любви было одно средство: сдѣлаться хорошимъ актеромъ, чтобъ играть съ ней роли любовниковъ. Публика принимала ее съ восхищеніемъ, и между ею и мною лежала цѣлая морская бездна. Я, не задумавшись, бросился въ нее и—выплылъ на другой берегъ. Прошедшее и даже настоящее тогдашнее мое поведеніе опротивѣли мнѣ. Я не перемѣнился, а переродился. Я сыскалъ себѣ расположеніе въ Плавильщиковѣ, Померанцовѣ и Лапинѣ, бывшемъ прежде на петербургскомъ театрѣ. Я увѣрилъ ихъ (и не обманулъ), что оставилъ прежнюю жизнь, что посвящаю себя театру до гробовой доски и что хочу учиться. Они увидѣли, что это было мое искреннее желаніе, приняли меня въ свое знакомство, давали мнѣ книги и не оставляли меня совѣтами. Кромѣ нихъ я ни съ кѣмъ не зналъ. Съ утра до вечера, я читалъ или писалъ, чтобъ вырабатывать деньги; вечера проводилъ въ театрѣ, когда былъ театръ, а остальные—большею частью у Плавильщикова или у Лапина. Я пилъ воду, ѣлъ щи да кашу, но одѣвался щегольски; денегъ доставало у меня даже на книги, и въ моей небольшой библіотекѣ ты самъ можешь увидѣть по надписямъ, въ какіе года я покупалъ ихъ. Въ

продолженіе трехъ лѣтъ я работалъ, какъ лошадь, и, какъ у меня было много огня, много охоты и не безтолковая голова, то черезъ три года, я считался уже хорошимъ актеромъ и игралъ вторыхъ любовниковъ, а иногда и первыхъ, но въ трагедіяхъ еще не игралъ. Публика начала меня принимать очень хорошо, и господинъ, назвавшій меня дубиной, дай Богъ ему здоровья, хлопалъ мнѣ чаще и больше другихъ. Ничего не значущая роль «Арапа Ксури» въ комедіи Коцебу «Попугай» много помогла мнѣ перейдти на роли первыхъ любовниковъ. Богъ знаетъ почему такъ понравилась публикѣ моя игра! Я былъ осыпанъ апплодисментами и въ первый разъ въ моей жизни—вызванъ. Право, я думаю, что прапорщикъ не такъ бы обрадовался генеральскому чину, какъ я этому вызову. Во второе представленіе «Попугая», я былъ принятъ еще лучше. Русской переводчикъ посвятилъ мнѣ переводъ «Попугая». Одинъ богатый и просвѣщенный вельможа, К. Ю., всѣмъ извѣстный любитель и знатокъ театра, мнѣнія котораго были закономъ для всѣхъ образованныхъ людей, прислалъ мнѣ отъ неизвѣстнаго 100 рублей, а что всего важнѣе, онъ, сидя всегда въ первомъ ряду креселъ, удостоилъ меня не хлопанья (онъ этого никогда не дѣлалъ), а троекратнаго прикосновенія пальцевъ правой руки къ ладони лѣвой. Этого знака одобренія онъ только изрѣдка удостоивалъ первыхъ нашихъ актеровъ. Когда я увидѣлъ этотъ знакъ, то, съ радости, чуть не сбросилъ съ руки чучелу Попугая и едва не поклонился. Съ этого времени все перемѣнилось: жалованье сейчасъ мнѣ дали тройное, а потомъ четверное, назначили роли первыхъ любовниковъ, даже въ трагедіяхъ, и, спустя два года, я сдѣлался любимцемъ публики, первымъ актеромъ, знаменитымъ Шушериным.—«А что же любовь, Яковъ Емельяновичъ», спросилъ я? — «Любовь,

братъ?... Выдохлась, или, вѣрнѣе сказать, перешла въ любовь къ театру. Притворные любовники въ драмахъ и комедіяхъ убили настоящаго! Впрочемъ я.... Ну, да что поднимать старину — кто молодъ не бывалъ!»...

«Съ появленія моего въ роли Ксури, я постоянно повѣрялъ достоинство моей игры — движеніемъ рукъ того вельможи, о которомъ я сейчасъ тебѣ сказалъ. Какъ бы публика ни хлопала мнѣ, если его руки оставались спокойны, я зналъ, что играю не хорошо; я начиналъ вдумываться въ роль, разбирать ее, совѣтоваться, работать и, когда добивался знака одобренія отъ старика, тогда былъ доволенъ собою. Я пользовался совѣтами Лапина и Плавильщикова. Померанцевъ талантомъ былъ выше всѣхъ, но игралъ по внушенію сердца и въ совѣтчики не годился. У Лапина не было большаго дарованія, но онъ былъ умный, опытный, старый актеръ. Онъ долго жилъ въ Петербургѣ и много игрывалъ на театрѣ съ Дмитревскимъ и съ обоими Волковыми, а потому отъ него можно было очень позаимствоваться. Плавильщиковъ же былъ удивительный чудакъ, человѣкъ умный, ученый, писатель, кончилъ курсъ въ Московскомъ университетѣ; и начнетъ бывало говорить о театральномъ искусствѣ, такъ ротъ разинешь. Читалъ мастерски; я лучше его чтеца не знаю; по всему слѣдовало бы ему быть знаменитымъ артистомъ, но онъ не былъ имъ; онъ, конечно, занималъ первыя роли и пользовался славой, но все не такой, какой бы могъ достигнуть. Причина состояла вотъ въ чемъ: у него было довольно теплоты и силы, но пылу, огня не было, а онъ именно ихъ хотѣлъ добиться, отъ чего впадалъ въ крикъ, въ утрировку и почти всегда сбивался съ характера играемой роли. Въ такихъ піесахъ, гдѣ нельзя горячиться, онъ былъ превосходенъ, какъ, напримѣръ, въ «Титовомъ милосердіи», въ «Купцѣ Ботѣ», въ роли пастора въ «Сынѣ

любви» и въ «Отцѣ семейства». Мнѣ разсказывалъ, много лѣтъ спустя, одинъ вѣрный человѣкъ, что Плавильщиковъ, доходившій въ ролѣ «Эдипа въ Аѳинахъ» до такого неистовства, что ползалъ на четверенькахъ по сценѣ, отыскивая Антигону,—одинъ разъ игралъ эту роль, будучи очень слабъ, послѣ горячки, и привелъ въ восхищеніе всѣхъ московскихъ знатоковъ. Ну такъ вотъ какой человѣкъ былъ Плавильщиковъ: перенимать у него методу игры, или, яснѣе сказать — исполненіе ролей на сценѣ— не годилось, а совѣты его были мнѣ всегда полезны. Вообще должно сказать, что Плавильщиковъ имѣлъ свой и довольно большой кругъ почитателей. Былъ у меня и еще добрый совѣтчикъ и другъ ной, котораго ты знаешь, купецъ Какуевъ; онъ и тогда, въ молодости, былъ страстнымъ охотникомъ до театра и отличался самымъ скромнымъ поведеніемъ.—Лучшими моими ролями были въ трагедіяхъ Сумарокова: «Хоревъ», «Труворъ» и «Ростиславъ» (*); въ трагедіяхъ Княжнина: «Владисанъ», «Рославъ» и «Ярбъ»; потомъ роль «Безбожнаго» въ трагедіи «Безбожный». Графа Кларандона (**) въ «Евгеніи» Бомарше; Графа Аппіано въ «Эмиліи Галотти» Лессинга; Сеида въ «Магометѣ» и Фрица въ «Сынѣ любви». Эта послѣдняя роль, по истинѣ ничего не значущая, до того нравилась московской публикѣ, что я въ послѣдствіи пробовалъ ее играть и здѣсь; но московскаго успѣха не было.

Слава моя и также Плавильщикова дошла до Петербурга. Иванъ Аѳанасьичъ Дмитревскій пріѣхалъ посмотрѣть насъ; онъ и прежде бывалъ и игрывалъ въ Москвѣ

(*) Въ трагедіяхъ: «Хоревъ, Синавъ и Труворъ» и «Семира.»

(**) Въ 1788 году, Дмитревскій игралъ эту роль въ Москвѣ, и въ объявленіи было сказано: Лордъ Графъ *Кларандонъ*, *любовникъ Евгеніинъ и мнимый мужъ ея*, Г-нъ Дмитревскій, придворнаго Санктпетербургскаго Россійскаго Театра первый актеръ.

и мы его видали. Въ этотъ пріѣздъ онъ также игралъ нѣсколько разъ, и я всегда смотрѣлъ на него съ восхищеніемъ и старался перенимать его игру. Онъ очень хвалилъ насъ обоихъ; но отъ него вѣдь правды не вдругъ узнаешь. Нѣкоторыя роли мы съ Плавильщиковымъ играли поочередно, какъ напримѣръ: «Безбожнаго» и «Ярба». Плавильщикову Дмитревскій говорилъ, что онъ лучше меня, а мнѣ, что я лучше Плавильщикова. Дѣло состояло въ томъ, что Дмитревскій предложилъ намъ, отъ имени директора, перейдти на петербургскій театръ, на которомъ актеры считались въ Императорской службѣ и, по прошествіи двадцати лѣтъ, получали пенсіонъ, — только жалованье предлагалъ небольшое, Мы съ Плавильщиковымъ соглашались; но жалованья требовали вдвое больше и условились не уступать ни копѣйки. Дмитревскій торговался съ нами, какъ жидъ: онъ позвалъ насъ къ себѣ, угостилъ, обѣщалъ золотыя горы и уговаривалъ подписать условіе; но мы не согласились и ушли. Вдругъ дорогой, Плавильщиковъ отстаетъ отъ меня и говоритъ, что ему надобно воротиться на ту же улицу, гдѣ жилъ Дмитревскій и къ кому-то зайдти — и воротился въ самомъ дѣлѣ. Мнѣ сейчасъ пришло въ голову, что онъ воротился къ Дмитревскому и что онъ хочетъ уѣхать въ Петербургъ одинъ, безъ меня; онъ понималъ, что мое соперничество было ему не выгодно. Я не ошибся: на другой день узналъ, что Дмитревскій прикинулъ Плавильщикову 200 рублей асс., и что онъ подписалъ условіе. До самаго отъѣзда въ Петербургъ, Плавильщиковъ прятался отъ меня, потому что я не только бы обругалъ его, но и прибилъ. Онъ пробылъ въ Петербургѣ всего одинъ годъ (*); де-

(*) Вѣроятно, это было въ 1793 году, потому что въ комедіи «Школа злословія», въ первый разъ игранной въ этомъ году, роль дяди Клешнина игралъ Плавильщиковъ, что и напечатано въ самой комедіи.

бюты были неудачны, какъ ему показалось, публика принимала его посредственно, товарищи-актеры косились и начальство не оказывало ему вниманія. Онъ соскучился по Москвѣ, вышелъ въ отставку и воротился къ намъ на театръ. Изъ его разсказовъ я вывелъ однако заключеніе, что сначала петербургская публика его приняла довольно благосклонно, но что въ послѣдствіи онъ самъ повредилъ себѣ, вдаваясь постепенно въ тотъ неистовый крикъ и утрировку, о которыхъ я тебѣ уже говорилъ; этому способствовала много петербургская трагическая актриса, Татьяна Михайловна Троепольская, которая страдала точно тою же болѣзнію, какъ и Плавильщиковъ, то-есть, утрировкой и крикливостью. Я самъ послѣ съ ней много игрывалъ, и разскажу, какія я употреблялъ средства, чтобъ удерживать ее въ границахъ благопристойности. Странное дѣло: и Троепольская и Плавильщиковъ извиняли себя тѣмъ, что не могутъ совладѣть съ своею горячностью, а вѣдь это неправда. Настоящей горячности, то-есть, огня, съ которымъ точно трудно ладить, у нихъ не было. Я даже думаю, что именно недостатокъ огня, который невольно чувствуется самимъ актеромъ на сценѣ, заставлялъ ихъ прибѣгать къ крику и къ сильнымъ жестамъ. Сколько разъ случалось мнѣ играть съ Плавильщиковымъ, условившись заранѣе, чтобъ онъ не вскрикивалъ, не возвышалъ голоса безъ надобности. Я даже прибѣгалъ къ хитрости: увѣрялъ его, что онъ давитъ меня своимъ органомъ, и что я отъ этого не могу хорошо играть и мѣшаю ему самому. Онъ соглашался. Передъ самымъ выходомъ на сцену обѣщалъ взять тонъ слабѣе, ниже, и вести всю роль ровнѣе, и сначала исполнялъ свое обѣщаніе, такъ что иногда цѣлый актъ проходилъ очень хорошо; но какъ бывало только скажешь какую-нибудь рѣчь или слово, хотя безъ крику,

но выразительно, сильно, особенно если зрители похлопаютъ—все пропало! Возьметъ цѣлой октавой выше, хватитъ себя кулакомъ въ грудь, заоретъ, закуситъ удила и валяетъ такъ до конца піесы. Точно, тутъ была какая-то горячность, но совсѣмъ не тотъ огонь, который приличенъ представляемому лицу и который не нуждается въ крикѣ.»

«Много прошло времени, въ продолженіе котораго ничего особеннаго не случилось. Слава моя не падала, а сиѣю сказать, увеличивалась. Мнѣ сдѣлали вторичное предложеніе изъ Петербурга, законнымъ порядкомъ, на бумагѣ, а Дмитревскій (*) писалъ ко мнѣ частнымъ образомъ, тоже отъ имени директора, что если я прослужу лѣтъ десять на петербургскомъ театрѣ, то мнѣ зачтутъ годы частной службы у Медокса и обратятъ мое жалованье въ пенсіонъ. Жалованья предложили мнѣ 2,000 рублей асс. и полный бенефисъ въ зимній карнавалъ. Въ такомъ же родѣ предложеніе, хотя съ меньшими выгодами, сдѣлано было актеру Сахарову и, по моему ходатайству, вдовѣ покойнаго моего пріятеля, Надеждѣ Ѳедоровнѣ Калиграфъ: ей предложили 600 рублей жалованья. Мы всѣ трое подумали, посовѣтовались и рѣшились переѣхать въ Петербургъ.»

«Дебюты наши были довольно удачны, особенно мои. Сахаровъ понравился въ ролѣ Христіерна, въ трагедіи Княжнина «Рославъ» (**); Надежда Ѳедоровна—въ «Миссъ Сарръ Самсонъ» и въ «Титовомъ милосердіи», а я — въ «Эмиліи Галотти» и въ «Ярбѣ.» Хотя я не вдругъ пріо-

(*) Онъ уже въ это время оставилъ театръ.

(**) Сахаровъ славился въ роляхъ злодѣевъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ тонѣ его голоса, въ выраженіи его глазъ и всего лица было что-то злобное, хотя, по словамъ Шушерина, онъ былъ предобрый малый.

брѣлъ благосклонность петербургской публики, у которой всегда было какое-то предубѣжденіе и даже презрѣніе къ московскимъ актерамъ съ Медоксова театра, но я увѣренъ, что непремѣнно бы добился полнаго благоволенія въ Петербургѣ, еслибъ года черезъ два не появился новый дебютантъ на петербургской сценѣ, А. С. Яковлевъ, котораго ты довольно знаешь. Онъ и теперь ничего не смыслитъ въ театральномъ искусствѣ, а тогда былъ совершенный мужикъ, сидѣлецъ изъ-за прилавка. Нечего и говорить, что Богъ одарилъ его всѣмъ. И. А. Дмитревскій былъ его учителемъ и покровителемъ. Дмитревскій не то, что мы: онъ знакомъ со всею знатью и съ Дворомъ; въ театральныхъ дѣлахъ ему вѣрили, какъ оракулу. Онъ поѣхалъ по всему городу, заранѣе расхвалилъ новаго дебютанта, и Яковлевъ былъ такъ принятъ публикой, что, я думаю, и самого Дмитревскаго, во время его славы, такъ не принимали. Грѣшный человѣкъ: я подозрѣваю, что Иванъ Аѳанасьичъ хлопоталъ объ Яковлевѣ не изъ одной любви къ его таланту, а изъ невиннаго желанія втоптать меня въ грязь, потому что онъ не могъ простить мнѣ, какъ я осмѣлился вывести его на свѣжую воду, при моемъ дебютѣ въ «Ярбѣ»; онъ не любилъ людей, которые видятъ его насквозь и не скрываютъ этого. Впрочемъ, я совершенно убѣжденъ, что онъ самъ не предвидѣлъ такихъ блистательныхъ успѣховъ своего ученика, и что онъ былъ не совсѣмъ ими доволенъ. Я не хочу передъ тобой запираться и увѣрять, что успѣхъ Яковлева не былъ мнѣ досаденъ. Скажу откровенно, что онъ чуть не убилъ меня совсѣмъ. Публика, начинавшая меня и цѣнить, и любить, вдругъ ко мнѣ охладѣла, такъ что, еслибъ не надежда на пенсію, на кусокъ хлѣба подъ старость, то я не остался бы и одной недѣли въ Петербургѣ. Стыдно бывало играть! Въ той самой роли, въ которой за двѣ не-

дѣли, встрѣчали и провожали меня апплодисментами — никто разу не хлопнетъ, да еще не слушаютъ, а шумятъ, когда говоришь. Горько было мнѣ, любезный другъ, очень горько. Положимъ, Яковлевъ талантъ, да за что же оскорблять меня, который уже нѣсколько лѣтъ доставлялъ публикѣ удовольствіе, — и добро бы это былъ истинный артистъ, а то вѣдь одна только наружность. Всѣ думали, что я не выдержу такого афронта и возвращусь въ Москву, которая нѣкогда носила меня на рукахъ: но Богъ подкрѣпилъ меня. Много ночей провелъ я безъ сна, думалъ, соображалъ и рѣшился—не уступать. Я сдѣлалъ планъ, какъ вести себя и крѣпко его держался. Меня ободряла мысль, что не будетъ же Дмитревскій всѣ роли учить Яковлева, какъ скворца съ органчика, и что онъ, даже выученное скоро забудетъ и пойдетъ такъ врать, что публика образумится. Этотъ разсчетъ, только отчасти не обманулъ меня. Яковлевъ скоро зазнался, загулялъ и сталъ рѣже ходить къ Дмитревскому; старикъ осердился и принялся побранивать во всѣхъ знакомыхъ ему домахъ игру бывшаго своего ученика. Лучшая половина публики очнулась, поняла свою ошибку; но остальная, особенно раекъ, продолжала безъ ума хлопать и превозносить новаго актера. Между тѣмъ нѣкоторыя изъ моихъ молодыхъ ролей совсѣмъ перешли къ Яковлеву, и я самъ отъ нихъ отказался; но за то тѣмъ крѣпче держался я за тѣ роли, въ которыхъ мое искусство могло соперничать съ его дарованьемъ и выгодной наружностью. Я постоянно изучалъ ихъ и довелъ до возможнаго для меня совершенства. Образованная часть публики, опомнившись отъ угара, начала принимать меня, если не попрежнему, то все довольно хорошо. Я началъ отдыхать. Вдругъ Яковлевъ вздумалъ сыграть «Сына любви», роль, которую всегда игралъ я съ успѣхомъ: забасилъ, задекламировалъ и

скорчилъ героя вмѣсто простаго солдата. Публика приняла его очень плохо. Я упросилъ дирекцію, черезъ одного пріятеля, чтобы черезъ два дня дали мнѣ сыграть «Сына любви» и—былъ такъ принятъ, какъ меня никогда въ этой роли не принимали: публика почувствовала разницу между актеромъ, понимающимъ свое дѣло,—и красивымъ, хотя даровитымъ невѣждой. Почти тоже случилось, когда Яковлевъ вздумалъ сыграть Ярба, который считался лучшею моею ролью. Дмитревскій, играя Ярба, никогда не чернилъ себѣ лица: это былъ капризъ, и при его великомъ искусствѣ и талантѣ, публика не обращала вниманія на цвѣтъ его лица. Яковлевъ вздумалъ сдѣлать то же и явился бѣлымъ посреди своей черной свиты; публикѣ это очень не понравилось и его приняли, хотя не такъ плохо, какъ въ «Сынѣ любви», но гораздо хуже, чѣмъ въ другихъ роляхъ. Но Боже мой, какъ бы онъ могъ быть хорошъ въ этой роли, съ его чудесными средствами! Черезъ недѣлю назначили «Дидону». Я долженъ былъ явиться въ Ярбѣ; мнѣ многаго стоило, чтобъ побѣдить въ себѣ неувѣренность въ успѣхѣ. И точно, я былъ принятъ нѣсколько хуже прежняго, но несравненно лучше Яковлева: и такъ дѣла находились въ сносномъ положеніи».

«Я сказалъ тебѣ, что петербургская трагическая актриса, Татьяна Михайловна Троепольская, страдала одною болѣзнію съ Плавильщиковымъ, то-есть, говоря ихъ словами, излишнею горячностью, и что они взаимно сбивали другъ друга. Мнѣ разсказывали, что Плавильщиковъ, во время пребыванія своего въ Петербургѣ, передъ началомъ представленія піесы всегда старался подгорячить Троепольскую и говаривалъ: «Ну, матушка, Татьяна Михайловна, не ударимте себя лицемъ въ грязь, сыграемте сегодня на славу»—и оба доходили до такихъ излишествъ, что при-

водили публику въ смѣхъ. Я употреблялъ совершенно противоположную методу: я всегда говорилъ Троепольской, передъ выходомъ на сцену, что мнѣ какъ-то нездоровится, что я чувствую какую-то слабость, или что я совсѣмъ не расположенъ сегодня играть, чувствую себя какъ-то не въ духѣ, и просилъ ее помочь мнѣ спустить спектакль кое-какъ, переваливая пень черезъ колоду. Эта продѣлка мнѣ удавалась: въ той сценѣ, гдѣ надобно было побольше огня.—поджечь Татьяну Михайловну ничего не стоило, и піеса сходила ладнехонько. Это было въ самомъ началѣ моего пребыванія въ Петербургѣ.

«Наконецъ наступила пора измѣненія въ трагическомъ репертуарѣ: явилась трагедія Крюковскаго «Пожарской» и потомъ трагедія Озерова «Эдипъ въ Аѳинахъ». Въ первой, Яковлевъ игралъ Пожарскаго, и хотя публика принимала его отлично хорошо, но и меня въ роли Заруцкаго, приняла съ такимъ же одобреніемъ; это, конечно, было для меня очень лестно. Мои пріятели и почитатели называли это моимъ торжествомъ, говоря, что я умѣлъ изъ ничтожной роли Заруцкаго сдѣлать замѣчательное лице и уровнять его съ героемъ піесы. котораго игралъ даровитый любимецъ публики. Я принималъ такія похвалы съ скромностью. приписывая ихъ снисхожденію публики къ старому актеру. Разумѣется, я молчалъ и никого не выводилъ изъ заблужденія: а въ самомъ-то дѣлѣ, изъ роли Пожарскаго и сдѣлать ничего нельзя. Еслибъ Яковлевъ игралъ ее лучше, то-есть, простѣе, — публика была бы еще менѣе довольна; тогда какъ роль Заруцкаго имѣетъ страсти, выраженіе которыхъ всегда на сценѣ эффектно и выгодно. Скорѣе можно назвать моимъ торжествомъ трагедію Озерова. Я рѣшился взять въ ней роль Эдипа, и первый разъ въ моей жизни вышелъ на сцену въ старикѣ. Это былъ мой первый, полный успѣхъ на петербургской

сценѣ. На мѣстѣ Яковлева, я бы взялъ въ этой трагедіи роль Полиника, которая могла затмить Эдипа; но ему, во уваженіе высокаго роста и богатырской фигуры, предложили играть царя и героя «Тезея». Конечно, публика и здѣсь ему очень много хлопала; но роль Тезея ничто, въ сравненіи съ «Полиникомъ»: еслибъ я былъ молодъ, ни за что бы съ этой ролью не разстался. Тогдашній «Полиникъ», г. Щениковъ, игралъ очень плоховато, и для меня это было не безвыгодно. Семенова, не игравшая еще въ трагедіяхъ, явилась въ первый разъ въ роли Антигоны въ «Эдипѣ въ Аѳинахъ». Какъ она была хороша! Какой голосъ! Какое чувство, какой огонь..... Ну да вотъ, какой огонь: когда въ третьемъ актѣ, Креонъ, въ отсутствіи Тезея, похищаетъ Эдипа и воины удерживаютъ Антигону, то она пришла въ такую *пассію*, что произнеся первые четыре стиха:

Постойте, варвары! пронзите грудь мою,
Любовь къ отечеству довольствуйте свою.
Не внемлютъ: и бѣгутъ поспѣшно по долинѣ;
Не внемлютъ: и мой вопль теряется въ пустынѣ....

вырвалась у воиновъ и убѣжала вслѣдъ за Эдипомъ, чего по піесѣ не слѣдовало дѣлать; сцена оставалась, можетъ быть, минуты двѣ пустою; публика, восхищенная игрой Семеновой, продолжала хлопать; когда же воины притащили «Антигону» на сцену насильно, то громъ рукоплесканій потрясъ театръ! Все вышло такъ естественно, что публика не могла замѣтить нарушенія хода піесы. Потомъ Озеровъ написалъ еще трагедію «Фингалъ». Я игралъ роль старика Старна; разумѣется, Яковлевъ игралъ «Фингала». Здѣсь повторилось почти то же, что было въ трагедіи «Пожарской», то-есть: мстительный Старнъ произвелъ болѣе впечатлѣнія, чѣмъ великодушный герой «Фингалъ», хотя Яков-

левъ былъ дивно великолѣпенъ въ этой роли. Я по совѣсти скажу, что хорошо игралъ Старна, но вотъ какое странное приключеніе случилось со мной: Фингала приказано было дать на эрмитажномъ театрѣ. Русскіе спектакли на немъ давались довольно рѣдко, и обыкновенно лучшіе актеры, занимавшіе главные персонажи, получали подарки какими-нибудь драгоцѣнными вещами; я ни разу не игралъ въ Эрмитажѣ, не получивъ перстня. Во время представленія «Фингала», Государь былъ очень доволенъ, и особенно мною, какъ мнѣ потомъ разсказывали; но на другой день, Яковлевъ и Семенова, игравшая Моину, получили подарки: первый—брильянтовый перстень, а вторая—брильянтовыя серьги, я же—ничего. Сначала думали, что это ошибка, но потомъ достовѣрно узнали, что Государь именно велѣлъ послать подарки Яковлеву и Семеновой, и когда ему напомнили о Шушеринѣ, онъ повторилъ прежнее приказаніе.

«Черезъ нѣсколько времени поступила на театръ давно мнѣ извѣстная, по старинному переводу, и глубоко мною чтимая трагедія «Леаръ», то-есть, «Король Лиръ» Шекспира, переведенная или передѣланная Н. И. Гнѣдичемъ, тоже, кажется, изъ Дюсиса; но впрочемъ, не для меня и не по моей просьбѣ, а для Семеновой. Конечно, для нея тутъ была прекрасная роль Корделіи, и Семенова играла ее чудо какъ хорошо; но главное въ піесѣ лице—старикъ Леаръ, котораго игралъ я. Во всемъ моемъ репертуарѣ не было ничего подобнаго этой роли. Хотя всѣ превозносили меня похвалами, но я чувствую и признаюсь тебѣ, что игралъ эту роль слабо и невѣрно. Внутренній голосъ говорилъ мнѣ, какъ надо играть Леара, и я на первой пробѣ репетировалъ согласно съ внутреннимъ моимъ чувствомъ; но всѣ на меня возстали и нашли, что это тривіально, что «Леаръ» будетъ смѣшонъ, и самъ переводчикъ

говорилъ тоже; оно, конечно, казалось такъ, потому что языкъ піесы и игра всѣхъ актеровъ были нѣсколько напыщенны, неестественны, и простота моей игры слишкомъ бы отъ нихъ отличалась; но я зналъ черезъ добрыхъ людей, что Шекспиръ изуродованъ въ этомъ переводѣ или въ этой передѣлкѣ, и самъ читалъ описаніе, съ какою простотой игрывалъ эту роль Гаррикъ. Поспоривъ немного, я уступилъ, потому что самъ былъ не увѣренъ въ успѣхѣ моей новой игры (*). Я придалъ лицу «Леара» вездѣ царственную величавость и важность тона, позволивъ себѣ приблизиться къ натурѣ только въ сценѣ помѣшательства во время бури. Успѣхъ былъ огромный, неслыханный. Послѣ окончанія піесы и вызововъ, сначала меня, а потомъ Семеновой и Яковлева (послѣдняго Богъ знаетъ, за что вызвали, и роль-то Ленокса была пустая)—прибѣжали ко мнѣ въ уборную мои совѣтчики. Обнимая меня и поздравляя съ успѣхомъ, одинъ изъ нихъ, Кн. Ш., сказалъ: «Ну, вотъ видишь, Яковъ Емельянычъ! хорошо, что ты насъ послушался!»...—«Точно такъ, ваше сіятельство, отвѣчалъ я съ поклономъ; покорнѣйше васъ благодарю.»... но на умѣ у меня было совсѣмъ другое (**)».

(*) Удивительно, какъ Шушеринъ, не получивъ никакого образованія, былъ во многихъ понятіяхъ выше не только современныхъ актеровъ, кромѣ Дмитревскаго, но выше многихъ литераторовъ; я вѣрилъ ему тогда на-слово, и только много лѣтъ спустя, оцѣнилъ вѣрность взглядовъ Шушерина, по достоинству.

(**) Съ трагедіей «Леаръ» вышла смѣшная и непріятная исторія: Гнѣдичъ напечаталъ, не помню гдѣ именно, стихи къ Семеновой при подношеніи ей экземпляра «Леара», которые начинаются такъ:

«Прими, Семенова, Леара своего:
«Онъ твой, твои дары украсили его.»

Въ тоже время Гнѣдичъ подарилъ экземпляръ своего перевода и Шушерину, съ собственноручною надписью этихъ самыхъ стиховъ, съ перемѣною слова. «Семенова» на слова: «о Шушеринъ». Я увидѣлъ это и

«Наконецъ явилась русская, то-есть, изъ русской исторіи, трагедія Озерова «Дмитрій Донской» (*). Я игралъ ничтожное лице князя Бѣлозерскаго, а Яковлевъ—Дмитрія Донскаго. Эта роль была его тріумфъ; она возстановила его, нѣсколько пошатнувшуюся славу, и восторгъ публики выходилъ изъ всякихъ предѣловъ. Много способствовало блистательному успѣху Яковлева то, что тогда были военныя обстоятельства: всѣ сердца и умы были настроены патріотически, и публика сдѣлала примѣненіе Куликовской битвы къ ожидаемой тогда битвѣ нашихъ войскъ съ Французами. Когда, благодаря за побѣду, Дмитрій Донской становится на колѣни и, простирая руки къ небу, говоритъ:

Но первый сердца долгъ къ тебѣ, Царю Царей!
Всѣ царства держатся Десницею Твоей
Прославь и возвеличь и вознеси Россію!
Сотри ея враговъ коварну, горду выю;
Чтобъ съ трепетомъ сказать иноплеменникъ могъ:
Языки, вѣдайте—великъ Россійскій Богъ!

Такой энтузіазмъ овладѣлъ всѣми, что нѣтъ словъ описать его. Я думалъ, что стѣны театра развалятся отъ хлопанья, стука и крика Многіе зрители обнимались, какъ опьянѣлые, отъ восторга. Сдѣлалось, до тѣхъ поръ неслыханное дѣло: закричали форо въ трагедіи. Актеры не знали, что̀ дѣлать. Наконецъ изъ первыхъ рядовъ креселъ на-

указалъ Шушерину, который немножко обидѣлся и при мнѣ сказалъ шутя Гнѣдичу: «какой вы экономъ въ стихахъ, любезный Николай Ивановичъ! однѣ и тѣ же стишки пригодились и мнѣ и Семеновой! Только, вѣдь мы могли заспорить, чей Леаръ: ея или мой? Я желалъ бы знать, кому стихи написаны прежде? Вѣроятно мнѣ, потому что я игралъ «Леара» и потому, что я постарше». Гнѣдичъ ужасно сконфузился; увѣрялъ, что стихи написаны Шушерину, но что онъ ихъ забылъ и безсознательно повторилъ въ стихахъ къ Семеновой. Послѣ этого пустаго случая, онъ сталъ рѣже видаться съ Шушеринымъ.

(*) Озеровъ написалъ еще въ 1798 году трагедію изъ русской исторіи: «Ярополкъ и Олегъ», которая была играна; но успѣха не имѣла.

чали кричать: «Повторить молитву!» и Яковлевъ вышелъ на авансцену, сталъ на колѣни и повторилъ молитву. Восторгъ былъ такой-же, и надобно правду сказать, что величественная фигура Яковлева, въ древней, воинской одеждѣ, его обнаженная отъ шлема голова, прекрасныя черты лица, чудесные глаза, устремленные къ небу, его голосъ, громозвучный и гармоническій, сильное чувство, съ какимъ произносилъ онъ эти превосходные стихи—были точно увлекательны!»

«Съ появленія этой трагедіи, слава Яковлева вдругъ выросла опять до тѣхъ размѣровъ, какихъ она начинала достигать послѣ первыхъ трехъ его дебютовъ, и утвердилась прочнымъ образомъ, что̀ ты видишь и теперь; а я опять началъ испытывать холодность большинства публики. Точно какъ-будто нельзя было, восхищаясь Яковлевымъ, отдавать справедливость Шушерину! Только въ трехъ роляхъ: Эдипа, Старна и Леара, публика принимала меня благосклонно; даже по правдѣ нельзя этого сказать про роль Старна, въ которой я сталъ менѣе нравиться зрителямъ съ тѣхъ поръ, какъ мнѣ не дали подарка за эрмитажный спектакль. Непріятность моего положенія возвратилась вновь и не поправлялась. Такъ тянулъ я два года и сдѣлался боленъ. Не думаю, чтобъ моя болѣзнь происходила отъ постояннаго душевнаго огорченія, какъ думалъ мой докторъ, потому что я, пролежавъ три дня, сталъ скоро поправляться; но я рѣшился наконецъ привесть въ исполненіе мое давнишнее задушевное намѣреніе. Десятилѣтній срокъ моей службы на петербургскомъ театрѣ уже прошелъ; мнѣ стукнуло шестьдесятъ лѣтъ, и я, пользуясь своимъ нездоровьемъ, прикинувшись слабымъ и хворымъ, подалъ просьбу объ увольненіи меня на пенсіо. Хотя я не пользовался благорасположеніемъ начальства, особенно по репертуарной части, потому что

мало его слушался въ постановкѣ ролей; но оно желало отъ меня избавиться и усердно ходатайствовало объ исполненіи моей просьбы; ты знаешь, что у меня есть добрые пріятели и милостивцы, которые приняли во мнѣ участіе. Теперь, кажется, уже нѣтъ сомнѣнія, что я скоро получу мою пенсію и переѣду на житье въ Москву, которую люблю и которая всегда меня любила. Уже двадцать пять лѣтъ, какъ я началъ копить деньги на старость: каждый годъ откладывалъ я что-нибудь и клалъ въ Ломбардъ, и у меня накопилось съ процентами слишкомъ двадцать тысячъ. Я куплю себѣ маленькой домикъ, въ какомъ-нибудь переулкѣ, перевезу изъ Петербурга всю мою мухобель (*), которую съ намѣреніемъ я заводилъ здѣсь въ прочномъ видѣ, и заживу паномъ. За здѣшнею дирекціею у меня есть бенефисъ, и я уже выпросилъ позволеніе взять его въ Москвѣ (**): это дастъ мнѣ по крайней мѣрѣ пять тысячъ, а чтобъ московской дирекціи не было обидно, то предварительно сыграю разокъ для нея, и, конечно, доставлю кассѣ полный сборъ. Петербургъ никогда мнѣ не нравился, а теперь такъ опротивѣлъ, что я ушелъ бы изъ него пѣшкомъ. По правдѣ тебѣ сказать, я чувствую себя такъ крѣпкимъ и бодрымъ, что надѣюсь еще прожить долго. Я не намѣренъ разставаться совсѣмъ съ театромъ, а буду поигрывать отъ времени до времени, когда мнѣ захочется, въ свое удовольствіе. Дирекціи это будетъ очень выгодно, и она съ радостью согласится или дѣлить со мною пополамъ сборы или назначитъ мнѣ бенефисъ. Кажется, мои планы и намѣренія самые сбыточные, и я могу надѣяться на ихъ исполненіе. Въ Москву, въ Москву, любезный другъ! На мою родину, въ древнюю русскую столицу; я соскучился, не видавъ столько лѣтъ Кремля,

(*) Такъ называлъ Шушеринъ свою мебель и разныя домашнія вещи.

(*) Въ это время въ Москвѣ уже давно былъ казенный театръ.

не слыша звона его колоколовъ; въ Москвѣ начну новую жизнь — вотъ чего жаждетъ душа моя, о чемъ молюсь ежеминутно Богу, о чемъ грежу во снѣ и на яву... Надобно было видѣть Шушерина, чтобъ почувствовать всю горячность этого желанья, всю искренность этихъ словъ! Увлеченный ими, я самъ обѣщалъ ему, что перейду служить въ Москву, куда, вѣроятно, будетъ иногда пріѣзжать все мое семейство.

Между тѣмъ судьба еще не такъ скоро исполнила пламенное желаніе Шушерина. Прошло около года, а пенсія не выходила. Мое знакомство съ нимъ съ каждымъ днемъ становилось ближе. Онъ очень любилъ меня. Д. И. Языковъ разсказывалъ мнѣ случай, который служитъ тому убѣдительнымъ доказательствомъ: я уѣзжалъ въ отпускъ въ деревню, и будучи на охотѣ, по неосторожности прострѣлилъ себѣ руку; рана была довольно жестока, но при помощи хорошаго доктора, никакой опасностью не угрожала. Не понимаю, отъ чего дошла объ этомъ вѣсть до Петербурга, съ довольно сильнымъ украшеніемъ, то-есть, что я убилъ себя наповалъ. Одинъ разъ у Шушерина обѣдало человѣкъ шесть пріятелей. Въ томъ числѣ: Д. И. Языковъ, Гнѣдичъ, Н. И. Ильинъ (сочинитель извѣстныхъ драмъ) (*) и какой-то гость, въ первый разъ приглашенный къ Шушерину. Этотъ господинъ, не зная о моей дружбѣ съ Шушеринымъ, вдругъ за обѣдомъ говоритъ Языкову: «Слышали ли вы, что вашъ знакомый, молодой человѣкъ, Аксаковъ, застрѣлилъ себя на охотѣ и тутъ же умеръ?» Шушеринъ былъ такъ пораженъ, что всѣхъ перепугалъ. Онъ былъ крѣпкаго духа человѣкъ,

(*) Драмы Н. И. Ильина: «Лиза или торжество благодарности» и «Рекрутскій наборъ», долго держались на сценѣ на обоихъ столичныхъ театрахъ и принимались публикою съ необыкновеннымъ восторгомъ. Въ «Рекрутскомъ наборѣ» весь театръ плакалъ отъ умиленія и жалости.

котораго ничто не могло смутить, а тутъ выпали у него изъ рукъ ножикъ и вилка, которые онъ держалъ въ то время, и ручьи слезъ хлынули изъ глазъ; онъ долженъ былъ выдти изъ-за стола и оставить гостей съ Надеждой Ѳедоровной. Въ тотъ же день ѣздилъ онъ самъ къ Г. И. К....му, чтобъ узнать печальную истину, не засталъ его дома и оставилъ записку. Степанъ сказывалъ мнѣ по моемъ возвращеніи: «что Яковъ Емельяновичъ почти всю эту ночь не почивали, все ходили по комнатѣ». На другой день рано поутру, Шушеринъ получилъ отъ Г. И. К. записку, съ увѣдомленіемъ, что я точно прострѣлилъ себѣ руку. но что я уже выздоровѣлъ и на дняхъ буду въ Петербургѣ. Шушеринъ такъ не взлюбилъ того господина, впрочемъ ни въ чемъ не виноватаго, который напугалъ его извѣстіемъ о моей смерти, что никогда не хотѣлъ уже его видѣть у себя въ домѣ.

Ничего не могу сказать о томъ, что замедлило назначеніе пенсіи Шушерину, только ожиданіе это было для него томительно. Уже два года всякой день отвѣчали: «въ непродолжительномъ времени все будетъ сдѣлано». Конечно, мое присутствіе было большой отрадой для Шушерина, и мнѣ очень пріятно объ этомъ вспомнить.

Съ тѣхъ поръ, какъ Шушеринъ не игралъ, на петербургскомъ театрѣ «Эдипа» давали одинъ разъ, вскорѣ послѣ моего пріѣзда въ Петербургъ, и я теперь никакъ не могу вспомнить, кто игралъ роль «Эдипа» вмѣсто Шушерина. Помню только, что актеръ былъ крайне плохъ, чему доказательствомъ служитъ и то, что піесу эту перестали давать. «Леара» совсѣмъ не играли, и Шушеринъ очень сожалѣлъ, что я не видѣлъ Семеновой въ роли Корделіи. Но судьбѣ было угодно, уже не за долго до моего отъѣзда изъ Петербурга, доставить мнѣ это истинное наслажденіе. Одинъ разъ, пришедши по обыкновенію

къ Шушерину, я нашелъ у него Боброва, игравшаго роли демикарактѣръ (какъ говорилось тогда на театральномъ языкѣ), а иногда — и чисто комическія. У Боброва были роли, которыя онъ игралъ очень хорошо и съ такою естественностью, какой тогда не было ни у кого. Какъ только Бобровъ ушелъ, Шушеринъ съ живостью обратился ко мнѣ и сказалъ: «Поздравляю тебя, любезный другъ: ты увидишь Семенову въ «Корделіи». Бобровъ вздумалъ взять себѣ въ бенефисъ «Леара», котораго самъ хочетъ играть. Это будетъ тоже прекурьёзная штука. Онъ приходилъ со мною посовѣтоваться и просилъ позволенія прочесть мнѣ роль. Я очень радъ ему совѣтовать, да только выдетъ ли изъ этого какой-нибудь прокъ. Странная вещь! какъ это входитъ въ голову комическимъ актерамъ хвататься за трагическія роли! Рыкалова (*) нелегкая угораздила сыграть «Эдипа», а теперь Боброву пришла охота сыграть «Леара». Разумѣется для бенефиса это выгодно: піеса давно не игралась, Семенова въ ней публикѣ очень нравилась, и всякой для курьёза пойдетъ посмотрѣть, какъ Скотининъ (**) превратится въ короля Леара. Пойдемъ и мы съ тобою, любезный другъ. Я заранѣе скажу Боброву, чтобъ онъ оставилъ намъ двое креселъ рядомъ. Съ меня денегъ онъ не возьметъ; ну, а ты заплатишь.»

(*) Комическій актеръ, Рыкаловъ, въ свое время пользовался большою извѣстностью и даже славой; но я не былъ согласенъ съ тогдашнимъ общимъ мнѣніемъ. Рыкаловъ имѣлъ важный недостатокъ въ произношеніи; онъ не то что заикался, но языкъ у него ворочался не свободно, и Шушеринъ всегда говорилъ, что у него ротъ набитъ кашей; у него была и натура, но натура фарсъ. Большинству публики нравились и нечистый выговоръ и фарсъ.—*Я*, вѣроятно, его видѣлъ въ роли Эдипа.

(**) Въ недорослѣ Бобровъ игралъ Скотинина съ неподражаемымъ совершенствомъ, да и физика его вполнѣ соотвѣтствовала этой роли. Вообще Бобровъ былъ замѣчательный актеръ и стоялъ въ искусствѣ несравненно выше Рыкалова, хотя не пользовался такой славой.

«Черезъ нѣсколько дней, Шушеринъ сказалъ мнѣ, что Бобровъ былъ у него и прочелъ ему роль, которую понимаетъ довольно хорошо, что во многихъ мѣстахъ онъ будетъ не дуренъ, но что за успѣхъ ручаться нельзя, ибо публика, привыкшая смѣяться надъ «Скотининымъ» и «дядей Клешниньмъ» (*) сейчасъ расхохочется и надъ «Леаромъ» въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ «Леаръ» точно можетъ возбудить улыбку, но смѣшанную съ сожалѣніемъ (**). Шушеринъ, кажется, искренно занимался Бобровымъ и смотрѣлъ главную репетицію на сценѣ. Онъ упрашивалъ Семенову, чтобъ она утѣшила стараго актера, можетъ быть въ послѣдній разъ въ его жизни, и сыграла «Корделію», какъ можно простѣе. Предположенія Шушерина оправдались только отчасти, то-есть: публика порывалась расхохотаться въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, смотря на Боброва въ «Леарѣ»; но Шушеринъ никакъ не ожидалъ, чтобъ зрители покрыли такими сильными рукоплесканіями сцену бури въ лѣсу, куда убѣжалъ «Леаръ», изгнанный дочерью. Должно сказать по совѣсти, что Бобровъ былъ въ этой сценѣ — просто дуренъ. Напротивъ тѣ мѣста, которыя были сыграны Бобровымъ очень вѣрно, просто и съ достоинствомъ, остались не замѣчанными. Семенова.... никогда не забуду я того впечатлѣнія, которое произвела она на меня. Сколько было чувства въ ея гармоническомъ голосѣ, во всѣхъ движеніяхъ, въ глазахъ, полныхъ слезъ, устремленныхъ съ такою любовью на отца!— Неумолимый Шу-

(*) Комическое лице въ комедіи «Школа злословія», которое Бобровъ игралъ мастерски.

(**) Недавно на московской сценѣ было подобное странное явленіе: превосходный нашъ комическій актеръ, П. М. Садовскій, игралъ въ свой бенефисъ «Короля Лира». Хотя г-нъ Садовскій такъ хорошо понимаетъ искусство, что безъ сомнѣнія роль его была обдумана и поставлена вѣрно, но успѣха онъ не имѣлъ и не могъ имѣть.—Къ сожалѣнію я не видалъ этого замѣчательнаго спектакля.

шеринъ и тутъ утверждалъ, что она была лучше, когда въ первый разъ играла эту роль съ нимъ; но я ничего лучшаго представить себѣ не могъ и теперь не могу. Не думалъ Шушеринъ, что видитъ Семенову дѣйствительно въ послѣдній разъ въ своей жизни!

Я собирался уѣхать изъ Петербурга на неопредѣленное время, по особенному семейному обстоятельству. Шушеринъ, все еще не получившій отставки и пенсіи, терялъ всякое терпѣніе и приходилъ даже въ раздраженіе; онъ упрашивалъ меня, чтобъ я остался на какой-нибудь мѣсяцъ, въ продолженіе котораго дѣло его рѣшится, и онъ проводитъ меня до Москвы. Къ сожалѣнію, я не могъ исполнить его просьбы, и онъ не только огорчался, но и сердился. За два дня до моего отъѣзда, зашелъ я къ Шушерину часовъ въ десять утра, чего прежде никогда не случалось, и нашелъ его въ залѣ, очень радушно угощающаго завтракомъ какого-то сѣденькаго, худенькаго, маленькаго, но бодраго старичка. Это былъ актеръ Шумскій, современникъ обоихъ Волковыхъ и Дмитревскаго. Шушеринъ мнѣ говорилъ, что Шумскій старше ихъ всѣхъ и что ему тогда было за сто лѣтъ. Находясь очень давно на пенсіи, онъ жилъ у кого-то, на седьмой верстѣ по петергофской дорогѣ, и каждый мѣсяцъ приходилъ въ Кабинетъ (*) за своимъ мѣсячнымъ пенсіономъ; этого мало: незнаю по какимъ причинамъ, только онъ обыкновенно бралъ двадцати-пяти рублевый мѣшокъ мѣдныхъ денегъ и относилъ его на плечѣ домой, никогда не нанимая извощика. Въ этотъ разъ также былъ съ нимъ мѣшокъ, который и стоялъ въ углу. Надобно вспомнить, что въ шестнадцати рубляхъ тогдашней мѣдной монеты находилось ровно

(*) Тогда пенсіи актерамъ выдавались изъ Императорскаго Кабинета, который помѣщался въ зданіи, теперь перестроенномъ, гдѣ находится Императорская Публичная Библіотека

пудъ вѣсу; и такъ съ Невскаго Проспекта до своего жилища, слѣдовательно верстъ десять, ему надобно было пронести на плечѣ слишкомъ полтора пуда. Онъ нѣсколько разъ въ годъ захаживалъ на перепутьѣ къ Шушерину, чтобъ отдохнуть и позавтракать, а какъ это всегда случалось поутру, то я его никогда и не видывалъ. Шушеринъ утверждалъ, что Шумскій былъ необыкновенный актеръ на роли слугъ (прежде это было важное амплуа), молодыхъ повѣсъ и весельчаковъ изъ простаго званія. Я былъ очень радъ, что мнѣ удалось увидѣть Шумскаго. Я съ любовью и уваженіемъ смотрѣлъ на этотъ славный обломокъ нашего первоначальнаго театра, замѣчательнаго сильными талантами, такъ чудно пощаженный временемъ. Шумскій былъ веселъ, живъ и словоохотенъ. Онъ проговорилъ со мной часа два. Безъ сомнѣнія, его талантъ былъ чистый инстинктъ или, пожалуй, вдохновеніе. Вѣрный почти общему свойству долго зажившихся стариковъ — находить все прошедшее хорошимъ, а все настоящее дурнымъ — Шумскій утверждалъ, что нынѣшній театръ въ подметки не годится прежнему и доказывалъ это, по его мнѣнію, неопровержимыми доказательствами: «Да вотъ не далеко ходить (онъ говорилъ живо и отрывисто), Яковъ Емельяновичъ, ча-ть помнишь, али нѣтъ? или былъ еще молодъ? какъ бывало Офренъ (*) въ «Заирѣ», въ роли Оросмана, скажетъ: «Zaïre, vous pleurez?» — такъ полчаса хлопаютъ, и дамы и кавалеры плачутъ! А нынче что? ничего. — Ну да вотъ ты, Яковъ Емельяновичъ, вѣдь и ты хорошо игрывалъ «Оросмана», и то же бывало, какъ скажешь: «Заира, плачешь ты?» то же бывало долго хлопаютъ, а нынче что? ничего. Никто и платочка не вынетъ, чтобъ глаза утереть. Нынче все любятъ шумъ, да

(*) Знаменитый, великолѣпный французскій трагикъ.

крикъ. Я ходилъ вашего Яковлева смотрѣть. Ну что, ничего. Мужикъ рослый, голосъ громкой, а душевнаго нѣтъ ничего». Въ такомъ родѣ былъ весь разговоръ Шумскаго.

Въ іюнѣ 1811 года я уѣхалъ въ Оренбургскую губернію. Черезъ два мѣсяца получилъ письмо отъ Шушерина, который увѣдомлялъ меня, что наконецъ давно ожидаемая пенсія и отставка имъ получены, что онъ теперь вольный казакъ, что онъ уже отправилъ весь свой *багажъ* и Степана, въ Москву къ Какуеву, и самъ на дняхъ выѣзжаетъ туда же, вмѣстѣ, съ Надеждой Ѳедоровной.

Въ генварѣ 1812 года пріѣхалъ я съ своимъ семействомъ въ Москву. Я немедленно отыскалъ Какуева, и къ удовольствію моему, узналъ, что Шушеринъ здоровъ и совершенно доволенъ своимъ положеніемъ, что онъ живетъ въ переулкѣ, близъ церкви Смоленской Божіей Матери, въ собственномъ домикѣ, уже давно для него купленномъ и даже отдѣланномъ, разумѣется, все тѣмъ же его другомъ, Какуевымъ. Я поспѣшилъ къ Шушерину. Мы обрадовались другъ другу чрезвычайно. Онъ былъ счастливъ, въ полномъ смыслѣ этого слова. Домикъ былъ премиленькой, отдѣланъ съ большимъ вкусомъ; петербургская мебель, шкапы съ книгами и фарфоромъ, картины, часы, все было уставлено такъ ловко, такъ уютно, что точно было сдѣлано нарочно по стѣнамъ этого дома. Надежда Ѳедоровна помѣщалась прекрасно и совершенно отдѣльно. Шушеринъ былъ радъ своему дому, буквально, какъ ребенокъ, который радъ игрушкѣ, у него не бывалой! Онъ затаскалъ, замучилъ меня, показывая свой домъ со всѣми его надворными строеніями и хозяйственными принадлежностями, растолковывая мнѣ и заставляя вникать меня во всѣ малѣйшія подробности. «Да понимаешь ли ты это счастіе, имѣть на старости свой уголъ, свой *собственный* домъ, купленный

на деньги, нажитыя собственными трудами? да нѣтъ, ты этого никогда не поймешь!... У меня много еще въ головѣ плановъ, продолжалъ онъ, которые я буду приводить въ исполненіе постепенно. Нынѣшній годъ сдѣлаю только палисадникъ и разобью садикъ; на будущій годъ непремѣнно сдѣлаю каменную кухню и поставлю ее отдѣльно, а на слѣдующій годъ перекрашу прочнымъ образомъ весь домъ и всѣ строенія и потомъ уже стану заниматься однимъ садомъ; видъ изъ него чудесный на Москву рѣку; я засажу мой садъ цвѣтущими кустами, которые черезъ годъ будутъ цвѣсти и давать тѣнь».... такъ говорилъ Шушеринъ, и я вѣрилъ вполнѣ, что все это точно такъ исполнится. Никакого зловѣщаго предчувствія, никакой черной мысли не мелькало у меня въ головѣ.

Шушеринъ, ожидая меня въ Москву, приготовилъ мнѣ работу; онъ уже условился съ московской дирекціей на счетъ будущаго своего бенефиса и выбралъ для него піесу: трагедію «Филоктетъ», написанную на французскомъ языкѣ Ла-Гарпомъ. Причиною такого выбора было во-первыхъ то, что роль Филоктета шла къ его годамъ и нѣкоторымъ образомъ подходила къ лицамъ «Эдипа» и «Леара», которыми онъ прославился въ послѣднее время, и во-вторыхъ потому, что какой-то французской знаменитый трагикъ, Larive или Lequien, хорошенько не помню, выбралъ эту піесу для послѣдняго своего бенефиса и прощанья съ театромъ. Я долженъ былъ перевесть «Филоктета» стихами. Піеса была небольшая, я принялся за дѣло съ жаромъ, и мѣсяца черезъ два Шушеринъ повезъ меня читать мой переводъ къ Ѳ. Ѳ. Кокошкину, всѣми уважаемому тогда литератору и страстному любителю и знатоку театра, первому чтецу и благородному актеру своего времени, съ которымъ, разумѣется, я былъ познакомленъ предварительно. У Кокошкина ожидали насъ:

Мерзляковъ, Ивановъ, Вельяшевъ-Волынцевъ и Качеповскій. Я принялся переводить «Филоктета» безъ всякихъ претензій на литературное достоинство перевода, только чтобъ какъ-нибудь исполнить желаніе Шушерина, который самъ признавался мнѣ, что ничего, кромѣ золотой посредственности, отъ моего перевода не ожидалъ; но прочитавъ его, Шушеринъ сказалъ, что это одинъ изъ лучшихъ переводовъ того времени, и потому онъ захотѣлъ имъ похвастаться. Хотя я и имѣлъ довѣренность къ эстетическому чувству Шушерина, но рѣшительно не повѣрилъ его отзыву. У Кокошкина, и мое чтеніе, и мой переводъ были осыпаны похвалами, что̀ меня, по совѣсти говорю, очень удивляло. Шушеринъ торжествовалъ за меня. Переводъ мой переписали и послали въ цензуру (*). Прошелъ Великій Постъ и Святая Недѣля, начались спектакли; но никакой лучь надежды не мелькалъ въ моей головѣ увидѣть Шушерина на сценѣ, прежде его бенефиса, и то надо было пріѣхать для этого зимою въ Москву. И вдругъ совершенно неожиданно исполнилось это мое давнишнее и горячее желаніе. Вотъ какъ это случилось: зашелъ я однажды вечеромъ къ Шушерину и нашелъ у него двухъ московскихъ актеровъ: г-на Злова и г-на Мочалова, (отца того Мочалова, котораго не такъ давно потеряла Москва). Оба они не имѣли еще никакой извѣстности и получали ничтожное жалованье. Дирекція, возлагавшая на нихъ надежды въ будущемъ, для поощренія назначила имъ бе-

(*) Отрывокъ изъ этого перевода, Кокошкинъ прочелъ въ «Обществѣ любителей словесности при Московскомъ университетѣ». Чистосердечно говорю, что теперь мнѣ смѣшно вспомнить, какой успѣхъ имѣло это чтеніе. Меня выбрали единогласно въ члены «Общества», а отрывокъ помѣстили въ «Трудахъ Общества», откуда перепечатали его въ Собраніе «Образцовыхъ Стихотвореній». Какъ легко было тогда попасть въ образцы.... за то не на долго!

нефисъ, черезъ двѣ или три недѣли послѣ Святой. Мочаловъ и Зловъ, говоря объ этомъ съ Шушериным, изъявили въ то же время сомнѣніе, чтобъ бенефисъ могъ принести имъ выгоду, потому что піесы игрались не заманчивыя, Москва разъѣхалась по деревнямъ и по дачамъ, а бенефиціанты не имѣютъ такой репутаціи, чтобъ привлечь въ театръ своимъ именемъ остальную публику. Шушеринъ слушалъ ихъ съ участіемъ. Онъ вспомнилъ свои молодые годы; ему вдругъ сдѣлалось такъ жаль этихъ даровитыхъ людей, что онъ съ живостью сказалъ имъ: «Господа! хотите ли, чтобъ я вамъ помогъ? я сдѣлаю это очень охотно. И вотъ какая штука пришла мнѣ въ голову: дайте себѣ въ бенефисъ небольшую комедію Коцебу «Попугай»; ее можно поставить въ недѣлю, а я сыграю вамъ арапа «Ксури». Москва очень любила меня въ этой роли и всѣ изъ курьёза пойдутъ посмотрѣть, какъ шестидесяти-трехлѣтній Шушеринъ сыграетъ восьмнадцатилѣтняго негра!»—Разумѣется, и Зловъ и Мочаловъ не знали, какъ и благодарить за такое великодушное предложеніе. Они сію минуту отправились къ директору, А. А. Майкову, пересказали ему слова Шушерина, онъ, разумѣется, охотно согласился, дѣло было улажено, и за постановку «Попугая» принялись усердно. Шушеринъ не позволялъ мнѣ смотрѣть репетицій, и я тѣмъ съ бо̀льшимъ нетерпѣніемъ и волненіемъ ожидалъ этого спектакля. Недѣли черезъ полторы, новый, деревянный, большой арбатской театръ наполнился зрителями, и бенефиціанты, за всѣми расходами, получили каждый по 2500 рублей ассигнаціями. Громъ рукоплесканій продолжался нѣсколько минутъ, когда показался «Ксури». Спина устала у бѣднаго Шушерина отъ поклоновъ на всѣ стороны; онъ же раскланивался по старинному. Съ жадностью глоталъ я каждое его слово, ловилъ каждое движеніе, и вотъ что скажу объ его мастерскомъ

исполненіи этой весьма незначительной роли. Начну съ того, что Шушерина нельзя было узнать. Голосъ, движенія, произношеніе, фигура—все это принадлежало совершенно другому человѣку; разумѣется, чернота лица и костюмъ помогали этому очарованію. Передо мною бѣгалъ не старикъ, а проворный молодой человѣкъ; его звучный но еще какъ-будто не установившійся молодой голосъ, которымъ свободно выражались удивленіе, досада и радость дикаря, перенесеннаго въ Европу, раздавался по всему огромному театру, и его робкой шопотъ, къ которому онъ такъ естественно переходилъ отъ громкихъ восклицаній,—былъ слышенъ вездѣ. Какая-то ребяческая наивность, искренность была видна во всѣхъ его тѣлодвиженіяхъ и ухваткахъ! Какъ мастерски подрисовалъ онъ себѣ глаза, сдѣлалъ ихъ большими и на выкатѣ. Какъ онъ умѣлъ одѣться и стянуться! Ни малѣйшей полноты его лѣтъ не было замѣтно. Всѣ видѣли здороваго, крѣпкаго, но молодаго негра. Однимъ словомъ, это было какое-то чудо, какое-то волшебство, и публика вполнѣ предалась очарованію. Всѣ мои замѣчанія состояли въ томъ, что Шушеринъ иногда слишкомъ много и живо двигался и слишкомъ проворно говорилъ. Я на другой день сказалъ объ этомъ Шушерину, и онъ откровенно признался, что мое замѣчаніе совершенно справедливо и что онъ для того позволилъ себѣ эту утрировку, чтобъ скрыть свои 63 года. Много было и письменныхъ и печатныхъ стиховъ, и похвалъ въ прозѣ Шушерину; я то же написалъ четыре стиха тогдашней современной фактуры и напечаталъ ихъ сюрпризомъ для Шушерина въ Русскомъ Вѣстникѣ С. Н. Глинки. Нумеръ вышелъ черезъ нѣсколько дней послѣ спектакля. Шушеринъ, прочтя мое четверостишіе и не зная имени сочинителя, сказалъ, что эти стихи ему пріятнѣе всѣхъ другихъ, Вотъ они:

Якову Емельяновичу Шушерину.

На спектакль въ бенефисъ гг. Мочалова и Злова. Мая дня.

Въ сей день ты зрѣлище явилъ намъ превосходно
И съ трудностію насъ заставилъ разбирать:
Что болѣе въ тебѣ должны мы уважать,
Великій ли талантъ, или сердце благородно.

Увидѣвъ на сценѣ Шушерина въ роли Ксури, я понялъ отъ чего за тридцать лѣтъ предъ симъ онъ имѣлъ такой блистательный успѣхъ, отъ чего ничтожная роль составила ему тогда первоначальную славу. Ящикъ отпирается просто: играя дикаго негра, Шушеринъ позволилъ себѣ сбросить всѣ условныя, сценическія кандалы и заговорилъ просто, по-человѣчески, чему зрители безъ памяти обрадовались и приписали свою радость искусству и таланту актера. И такъ по тогдашнимъ понятіямъ, надобно было быть дикимъ, чтобъ походить на сценѣ на человѣка.

У насъ говорится, что бѣда не приходитъ одна—то же можно сказать и о пріятныхъ событіяхъ. По крайней мѣрѣ такъ случилось тогда со мною и такъ случалось не рѣдко въ продолженіе моей жизни. Не успѣлъ я опомниться отъ радости, что видѣлъ Шушерина въ роли Ксури, какъ судьба приготовила мнѣ другой спектакль, о которомъ не могло мнѣ и во снѣ присниться. Въ этотъ разъ Шушеринъ самъ зашелъ ко мнѣ возвѣстить неожиданную и радостную новость. Какъ теперь гляжу на него, съ ногъ до головы одѣтаго въ сѣрый цвѣтъ, то-есть, по-лѣтнему; проходя мимо нашей квартиры, онъ постучалъ своей камышевой тростью въ мое окно, и когда я выглянулъ, то онъ съ улыбающимся лицемъ мнѣ сказалъ: «Ну, братъ! Судьба хочетъ тебя побаловать, только я теперь разсказывать не стану, потому что, идя пѣшкомъ, усталъ, а разскажу тогда, когда ко мнѣ придешь. Если же хочешь сейчасъ узнать,

то бери шляпу, проводи меня до дому и отобѣдай со мной». Любопытство мое было сильно возбуждено; я отправился съ Шушериным, и вотъ что узналъ: Ѳ. Ѳ. Кокошкинъ не только былъ охотникъ играть на театрѣ, но и большой охотникъ учить декламаціи; въ это время былъ у него ученикъ, молодой человѣкъ, Дубровскій, и тоже отчасти ученица, кажется, въ театральной школѣ, г-жа Борисова; ему пришла въ голову довольно странная мысль: выпустить ее въ роли Дидоны, а ученика своего Дубровскаго въ роли Энея; но какъ въ это время года, никто бы изъ оставшихся жителей въ Москвѣ, не пошелъ ихъ смотрѣть, то онъ придумалъ упросить Шушерина, чтобъ онъ сыгралъ «Ярба». Разумѣется, директоръ былъ очень этому радъ и вмѣстѣ съ Кокошкинымъ аттаковалъ Шушерина самыми убѣдительными просьбами. Разсказавъ все это мнѣ, Шушеринъ прибавилъ въ заключеніе: «Ярба я никогда не сталъ бы играть добровольно; но вотъ видишь ли, любезный другъ, какая штука: дирекція мнѣ нужна впередъ, а Кокошкина директоръ очень уважаетъ. Отказаться мнѣ не трудно, но вѣдь осердятся и, пожалуй, напакостятъ что-нибудь въ моемъ будущемъ бенефисѣ. Я могъ бы отложить этотъ спектакль до осени; но теперь ты здѣсь и, конечно, будешь радъ увидѣть меня на сценѣ. Разумѣется, я желалъ бы показаться тебѣ не въ «Ярбѣ», а напримѣръ въ «королѣ Лирѣ», ну да дѣлать нечего—я согласился и черезъ полторы недѣли идетъ Дидона». Не нужно говорить, какъ я былъ этому радъ. Конечно, я не могъ ожидать такого счастія. Мы сами сбирались уже уѣхать изъ Москвы, и я упросилъ моего отца и мать отложить на нѣсколько времени нашъ отъѣздъ. Репетиціи начались немедленно и продолжались ежедневно на сценѣ, потому что надобно было сладить піесу съ двумя молодыми неопытными ак-

терами. Шушеринъ придавалъ репетиціямъ большую важность (*) и не пускалъ на нихъ постороннихъ зрителей до главной пробы, которая дѣлалась въ костюмахъ, во весь голосъ, на сценѣ, и всегда наканунѣ представленія; но Шушеринъ и тутъ не пустилъ меня, а слышалъ я только одну репетицію въ началѣ, въ полголоса. Не смотря на совершенно устарѣлые стихи и нелѣпость самаго «Ярба», чтеніе Шушерина показалось мнѣ превосходно.— Наконецъ наступилъ день давно ожидаемый и желанный. Многочисленная публика наполнила театръ. Поднялся занавѣсъ, прошелъ первый несносный актъ: Борисова была принята очень благосклонно, что́ она и заслуживала, и даже къ Дубровскому, не имѣвшему никакихъ дарованій и не подававшему никакихъ надеждъ, зрители были снисходительны. Великолѣпенъ, блистателенъ, явился «Ярбъ». Это былъ тоже Арапъ, какъ и «Ксури», но высокаго роста и богатырскаго тѣлосложенія. Какъ умѣлъ такъ превращаться Шушеринъ, не понимаю (**). Бѣшенство «Ярба» начинается съ первыхъ словъ:

(*) Шушеринъ говорилъ: «Репетиціи—душа піесы; только тогда піеса получаетъ полное достоинство, когда хорошо срепетирована. Постороннихъ людей никогда на репетиціи пускать не должно: они мѣшаютъ и развлекаютъ, и притомъ при нихъ совѣстно будетъ замѣтить что-нибудь другому и самому получить замѣчаніе. Генеральная репетиція должна происходить точно съ такою же строгою отчетливостью, какъ и настоящее представленіе. Какъ бы піеса ни была тверда, сколько бы разъ ее ни играли—непремѣнно надобно сдѣлать репетицію въ полголоса, но со всѣми интонаціями, поутру въ день представленія. Во всю жизнь мою я убѣждался въ необходимости этого правила. Не рѣдко случалось играть мнѣ, будучи не совсѣмъ здоровымъ, или нѣсколько разсѣяннымъ, или просто не въ духѣ,—утренняя репетиція оставалась свѣжею въ памяти и помогала мнѣ тамъ, гдѣ я могъ бы сбиться и сыграть не вѣрно». Я предоставляю всѣмъ артистамъ рѣшить, до какой степени справедливо мнѣніе ихъ славнаго предшественника.

(**) Я спрашивалъ объ этомъ Шушерина; онъ сказалъ мнѣ, что эта перемѣна произошла отъ головнаго убора, въ видѣ вѣнца на головѣ, съ длинными перьями, и что подъ подошвы ногъ были подложены картонныя стельки.

Се зрю противный домъ, несносные чертоги,
Гдѣ все, что я люблю, немилосерды боги
Троянску страннику съ престоломъ отдаютъ!

и продолжается до послѣднихъ стиховъ включительно:

Дидона!... нѣтъ ея!... я злобой омраченъ;
Бросая громъ, своимъ самъ громомъ пораженъ.

Что̀ сказать о цѣломъ исполненіи этой, по истинѣ, нелѣпѣйшей роли. Цѣльное исполненіе ея невозможно, «Ярбъ» долженъ буквально бѣситься всѣ четыре акта, на что, конечно, не достанетъ никакого огня, и чего никакія силы человѣческія вынесть не могутъ, а потому Шушеринъ, для отдыха, для избѣжанія однообразія, нѣкоторыя мѣста игралъ слабѣе, чѣмъ должно было, если слѣдовать въ точности ходу піесы и характеру «Ярба». Такъ поступалъ Шушеринъ всегда, такъ поступали другіе, и такъ поступалъ Дмитревскій въ молодости. О цѣльности характера, о драматической истинѣ представляемаго лица, тутъ не могло быть и помину. И такъ, можно только сказать, что всѣ тѣ мѣста ярости, бѣшенства и жажды мщенія, въ которыхъ Шушеринъ давалъ себѣ полную свободу, принимая это въ смыслѣ условномъ, были превосходны — страшны и увлекательны; въ мѣстахъ же, гдѣ онъ сберегалъ себя, конечно являлась уже одна декламація, подкрѣпляемая мимикою, доводимою до излишества; трепета въ лицѣ и дрожанья во всѣхъ членахъ было слишкомъ много; нижніе, грудные тоны, когда они проникнуты страстью, этотъ сдерживаемый, подавляемый *ревъ тигра*, по выраженію Шушерина, которыми онъ вполнѣ владѣлъ въ зрѣлыхъ лѣтахъ, — измѣнили ему, и знаменитый нѣкогда монологъ:

Свирѣпа ада дщерь, надежда смертныхъ — месть,
Къ чему несчастнаго стремишься ты привесть?
Лютѣйшей ярости мнѣ въ сердце огнь вливая,
Влечешь меня на все, мнѣ очи закрывая, и проч. и проч.

не произвелъ такого дѣйствія, какого надѣялся Шушеринъ и какое онъ производилъ нѣкогда. Что касается до меня, не видавшаго въ «Ярбѣ» никого, кромѣ Плавильщикова, то я былъ пораженъ изумленіемъ отъ начала до конца піесы, восхищаясь и увлекаясь искусствомъ, которое, властвуя неистощимымъ огнемъ души артиста, умѣло вливать его въ эти варварскіе стихи, въ эту безсмысленную дребедень какихъ-то страстей и чувствъ. Конечно, я составилъ себѣ такое высокое предварительное понятіе объ игрѣ Шушерина въ «Ярбѣ» и особенно о томъ мѣстѣ, въ которомъ онъ обманулъ Дмитревскаго, что настоящее исполненіе роли меня не вполнѣ удовлетворило; но теперь, смотря на цѣлую піесу и на лице «Ярба» уже не тѣми глазами, какими смотрѣли всѣ и я самъ за сорокъ три года тому назадъ, я еще болѣе удостовѣряюсь, что только великой артистъ могъ производить въ этой піесѣ такое впечатлѣніе, какое производилъ Шушеринъ. Онъ же самъ былъ рѣшительно не доволенъ собою и сожалѣлъ, что явился въ первый разъ, по возвращеніи изъ Петербурга, передъ московской публикой (появленіе въ роли «Ксури» онъ считалъ шуткою, добрымъ дѣломъ), въ такой роли, которой ему уже не слѣдовало играть. Публика же напротивъ была въ полномъ восторгѣ, за исключеніемъ весьма немногихъ людей, слегка замѣтившихъ кое-какіе недостатки.

Въ самое то время, какъ Москва беззаботно собиралась въ театръ, чтобъ посмотрѣть на стараго славнаго артиста, военная гроза, давно скоплявшаяся надъ Россіею, быстро и прямо понеслась на нее; уже знали прокламацію Наполеона, въ которой онъ объявлялъ, что черезъ нѣсколько мѣсяцевъ объ сѣверныя столицы увидятъ въ стѣнахъ своихъ побѣдителя свѣта; знали, что побѣдоносная французская армія, вмѣстѣ съ силами цѣлой Европы, идетъ на насъ подъ предводительствомъ великаго, перваго полководца

своего времени; знали, что непріятель скоро долженъ переправиться черезъ Нѣманъ (онъ переправился 12 іюня),— все это знали и нисколько не безпокоились. Подсмѣивались надъ самохвальствомъ Наполеона, который занятіе Москвы и Петербурга считалъ также легко возможнымъ, какъ занятіе Вѣны и Берлина. По крайней мѣрѣ такъ понимало большинство публики тогдашнее положеніе Россіи. Всего менѣе думали о Наполеонѣ я и Шушеринъ; мы думали о будущемъ его бенефисѣ, обѣщанномъ ему въ исходѣ декабря, и о томъ, какъ бы мнѣ къ тому времени пріѣхать въ Москву. Я съ семействомъ уѣхалъ въ половинѣ іюня, и весело простился съ Шушеринымъ, въ надеждѣ увидѣться съ нимъ черезъ полгода....

Извѣстно, что совершилось въ эти шесть мѣсяцевъ. Сгорѣла Москва, занятая непріятелемъ. Наполеонъ дождался въ ней суровой осени, не дождавшись мира, потерялъ множество войскъ и бѣжалъ изъ обгорѣлыхъ развалинъ Москвы. Радостно вздохнула Русь, благодарныя молитвы огласили храмы Божіи, и съ христіанскимъ смиреніемъ торжествовалъ народъ свое спасеніе и побѣды на враги. Стали собираться понемногу распуганные жители столицы и не замедлилъ пріѣхать Яковъ Емельяновичъ Шушеринъ, а съ нимъ и Надежда Ѳедоровна (кажется, они прожили эту грозу въ Рязани), чтобъ узнать не уцѣлѣлъ ли его скромный домикъ; но увы! однѣ обгорѣлыя печи стояли на прежнемъ мѣстѣ. Не вѣря тому, чтобъ Москва могла быть отдана Наполеону, Шушеринъ не вывезъ своего имущества заблаговременно и потерялъ все, все, что наживалъ съ такимъ трудомъ и такъ долго; но эта потеря, какъ разсказывалъ мнѣ самовидецъ Н. И. Ильинъ, была великодушно перенесена Шушеринымъ; онъ только радовался изгнанію Французовъ и былъ очень веселъ. Зная твердость духа и образъ мыслей этого замѣчательнаго

человѣка, я совершенно убѣжденъ, что онъ перенесъ свою потерю спокойно. Москва не была еще тогда вполнѣ очищена отъ человѣческихъ и скотскихъ труповъ; больныхъ и раненыхъ было множество; появилась тифозная, гнилая горячка. Вскорѣ по пріѣздѣ, Шушеринъ заразился ею и умеръ въ шестой день; въ этотъ же день Надежда Ѳедоровна, ходившая за старымъ своимъ другомъ неусыпно, потеряла употребленіе языка, впала въ нервную горячку и умерла черезъ пять недѣль.... Все это я узналъ въ 1814-мъ году, проѣзжая черезъ Москву, въ Петербургъ.

Въ 1812-мъ году, Иванъ Аѳанасьичъ Дмитревскій (*), уже давно оставившій театръ, къ общему изумленію и восторгу петербургской публики, явился на сценѣ въ піесѣ Висковатаго «Всеобщее ополченіе», разумѣется, въ роли старика. И тогда уже Дмитревскій былъ такъ слабъ отъ старости, что его безпрестанно поддерживали другіе актеры, и едва ли кто могъ разслушать произносимыя имъ слова; но восторгъ зрителей былъ общій; громъ рукоплесканій привѣтствовалъ каждый его выходъ и каждое удаленіе со сцены; по окончаніи драмы, разумѣется, онъ былъ вызванъ единогласно, единодушно. Но замѣчательно то, что вызывали не просто Дмитревскаго, то-есть, не просто актера по фамиліи, какъ это всегда водилось и водится, а *господина Дмитревскаго*; такимъ особеннымъ знакомъ уваженія не былъ почтенъ ни одинъ актеръ, ни прежде

(*) Извѣстія о Дмитревскомъ и Яковлевѣ, сообщенныя мною въ концѣ этой статьи, напечатанной въ первый разъ, въ Москвитянинѣ въ 1854-мъ году, оказались весьма не точными. Я понадѣялся на свою память и говоря о *слышанномъ* мною за сорокъ лѣтъ, не навелъ справокъ и перепуталъ, какъ порядокъ хронологической, такъ и самыя событія. Исправляю теперь мою ошибку по источникамъ самымъ достовѣрнымъ.

Дмитревскаго, ни послѣ его. Я очень хорошо понимаю, что при тогдашнемъ патріотическомъ настроеніи Петербурга, появленіе старца Дмитревскаго въ патріотической драмѣ — должно было привесть въ восторженное состояніе публику; но, смотря на это дѣло съ художественной стороны, я нисколько не жалѣю, что не видалъ этого спектакля. На театральныхъ подмосткахъ долженъ владычествовать одинъ интересъ—искусство. Дѣйствительность превращается на нихъ въ вымыселъ, теряетъ свое значеніе и дѣйствуетъ на душу непріятно. Напротивъ вымыселъ долженъ казаться дѣйствительностью. Искусно сыгранная роль дряхлаго старика на театрѣ, можетъ доставить эстетическое наслажденіе, какъ дѣйствительность перенесенная въ искусство; но *дѣйствительный* старецъ Дмитревскій, болѣзненный, едва живой, едва передвигающій ноги, на краю дѣйствительной могилы, *представляющій старика* на сценѣ—признаюсь—это глубоко оскорбительное зрѣлище, и я радуюсь, что не видалъ его.

Яковлевъ кончилъ жизнь въ 1817-мъ году, находясь въ полной силѣ и цвѣтѣ возраста человѣческаго. Онъ оставилъ жену и дѣтей. Дмитревскій пережилъ его четырьмя годами; онъ хотѣлъ даже участвовать въ бенефисѣ, который данъ былъ театральной дирекціей въ пользу вдовы и дѣтей покойнаго Яковлева, о чемъ было объявлено въ афишѣ. Дмитревскій долженъ былъ играть старика, въ маленькой піесѣ князя Шаховскаго, написанной имъ еще въ 1813-мъ году, подъ названіемъ: «Встрѣча незваныхъ», то-есть, Французовъ, имѣвшей въ свое время большой успѣхъ. Но болѣзнь не допустила Дмитревскаго исполнить свое великодушное намѣреніе.

ВОСПОМИНАНІЕ

ОБЪ

АЛЕКСАНДРѢ СЕМЕНОВИЧѢ ШИШКОВѢ.

ВОСПОМИНАНІЕ

ОБЪ

АЛЕКСАНДРѢ СЕМЕНОВИЧѢ

ШИШКОВѢ.

Сей старецъ дорогъ намъ; онъ блещетъ средь народа
Священной памятью двѣнадцатаго года.

Пушкинъ (*).

Я хочу разсказать все, что̀ помню объ Александрѣ Семеновичѣ Шишковѣ. Но я долженъ начать издалека.

Въ 1806-мъ году я былъ своекоштнымъ студентомъ К—го университета. Мнѣ только что исполнилось пятнадцать лѣтъ. Не смотря на такую раннюю молодость, у меня были самостоятельныя и, надо признаться, довольно дикія убѣжденія; напримѣръ: я не любилъ Карамзина и, съ дерзостью самонадѣяннаго мальчика, смѣялся надъ слогомъ и содержаніемъ его мелкихъ прозаическихъ сочиненій! Это такъ неестественно, что и теперь осталось для меня загадкой. Я не могъ понимать сознательно

(*) Эти два стиха написаны золотыми буквами подъ бюстомъ Александра Семеновича Шишкова, поставленнымъ въ Россійской Академіи.

недостатковъ Карамзина; но, вѣроятно, я угадывалъ ихъ по какому-то инстинкту и, разумѣется, впадалъ въ крайность. Понятія мои путались, и я, браня прозу Карамзина, былъ въ восторгѣ отъ его плохихъ стиховъ, отъ «Прощанія Гектора съ Андромахой» и отъ «Опытной Соломоновой мудрости!» Я терпѣлъ жестокія гоненія отъ товарищей, которые всѣ были безусловными поклонниками и обожателями Карамзина. Въ одно прекрасное утро, передъ началомъ лекціи (то-есть до восьми часовъ), входилъ я въ спальныя комнаты казенныхъ студентовъ. Вдругъ поднялся шумъ и крикъ: «вотъ онъ, вотъ онъ!» и толпа студентовъ окружила меня. Всѣ въ одинъ голосъ осыпали меня насмѣшливыми поздравленіями, что «нашелся еще такой же уродъ, какъ я и профессоръ Г—въ (*), лишенный отъ природы вкуса и чувства къ прекрасному, который ненавидитъ Карамзина и ругаетъ эпоху, произведенную имъ въ литературѣ; закоснѣлый Славянороссъ, старовѣръ и гасильникъ, который осмѣлился напечатать свои старозавѣтныя остроты и насмѣшки, и надъ кѣмъ же? Надъ Карамзинымъ, надъ этимъ геніемъ, который пробудилъ къ жизни нашу тяжелую, сонную словесность!»... Народъ былъ молодой, горячій, и почти каждый выше и старше меня: одинъ обвинялъ, другой упрекалъ, третій возражалъ, какъ-будто на мои слова, прибавляя: «а, ты теперь думаешь, что ужь твоя взяла!» или: «а, ты теперь, пожалуй, скажешь: вотъ вамъ доказательство!» и проч. и проч. Изумленный и даже почти испуганный, я не говорилъ ни слова, и не смотря на то, чуть-чуть не побили меня за дерзкія рѣчи. Я не скоро могъ добиться, въ чемъ состояло дѣло. Наконецъ загадка объяснилась: наканунѣ вечеромъ, одинъ изъ студентовъ по-

(*) Профессоръ русской словесности.

лучилъ книгу Александра Семеныча Шишкова (*): «Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ», которую читали вслухъ, напролетъ всю ночь и только что кончили, и которая привела молодежь въ бѣшенство. Вспомнили сейчасъ обо мнѣ, вообразили, какъ я этому обрадуюсь, какъ подниму носъ—и весь гнѣвъ съ Шишкова упалъ на меня. Среди крика и шума, по счастію раздался звонокъ и всѣ поспѣшили на лекціи, откуда я ушелъ домой обѣдать. Послѣ обѣда я прошелъ прямо въ аудиторію, а въ шесть часовъ вечера, не заходя къ студентамъ, что̀ прежде всегда дѣлалъ, отправился домой. Въ продолженіе сутокъ буря утихла, и на другой день никто не нападалъ на меня серьёзно. Я выпросилъ почитать книгу Шишкова у счастливаго ея обладателя, а черезъ мѣсяцъ выписалъ ее изъ Москвы, и также «Прибавленія къ Разсужденію о старомъ и новомъ слогѣ». Эти книги совершенно свели меня съ ума. И всякому человѣку, и не пятнадцатилѣтнему юношѣ, пріятно увидѣть подтвержденіе собственныхъ мнѣній, которыя, до тѣхъ поръ, никѣмъ не уважались, надъ которыми смѣялись всѣ и которыя часто поддерживалъ онъ самъ уже изъ одного упрямства: точно въ такомъ положеніи находился я. Можно себѣ представить, какъ я обрадовался книгѣ Шишкова, человѣка уже не молодаго, достопочтеннаго адмирала, извѣстнаго писателя по ученой морской части, сочинителя и переводчика «Дѣтской библіотеки», которую я еще въ ребячествѣ вытвердилъ наизусть! Разумѣется, я призналъ его неопровержимымъ авторитетомъ, мудрѣйшимъ и ученѣйшимъ изъ людей! Я увѣровалъ въ каждое слово его книги, какъ въ святыню!... Русское мое направленіе и враждебность ко всему ино-

(*) Напечатанную еще въ 1803 году, но которая только черезъ два года дошла до К—го университета.

странному укрѣпились сознательно, и темное чувство національности выросло до исключительности. Я не смѣлъ обнаруживать ихъ вполнѣ, встрѣчая во всѣхъ товарищахъ упорное противодѣйствіе, и долженъ былъ хранить мои убѣжденія въ глубинѣ души, отъ чего онѣ, въ тишинѣ и покоѣ, достигли огромныхъ и неправильныхъ размѣровъ. Такъ шло все время до моего отъѣзда изъ К—ни.

Въ 1807-мъ году вышелъ я изъ университета, а въ 1808-мъ уже служилъ переводчикомъ въ «Коммиссіи составленія законовъ».

Я оставилъ университетъ въ такихъ годахъ, въ которыхъ надлежало бы поступить въ него, слѣдовательно вынесъ очень мало знаній. Въ этомъ виноватъ былъ я самъ, а не младенчество университета, въ которомъ многіе, учась вмѣстѣ со мной, получили прочное, даже ученое образованіе. Особенно процвѣтала у насъ чистая математика, которую увлекательно и блистательно преподавалъ адъюнктъ Г. И. К—ій, и которую я ненавидѣлъ, не смотря на то, что жилъ у него и очень его любилъ. Математика была такъ сильна у насъ, что когда по выходѣ К—го (это случилось уже безъ меня) пріѣхалъ въ К—ь знаменитый тогда европейскій математикъ, Бартельсъ, и, пришедъ на первую лекцію, попросилъ кого-нибудь изъ студентовъ показать ему на доскѣ степень ихъ знанія, то Александръ Максимычъ К—чь разрѣшилъ ему изъ диференціаловъ и коническихъ сѣченій такую чертовщину, что Бартельсъ, какъ истинный ученый, пришелъ въ восторгъ и сказавъ, что для такихъ студентовъ надобно профессору готовиться къ лекціи, поклонился и ушелъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ, встрѣтясь какъ-то на дорогѣ съ Г. И. К—мъ, онъ остановилъ его, вышелъ изъ экипажа, заставилъ, разумѣется, и К—го сдѣлать тоже, и изъявилъ ему, какъ собрату по наукѣ, свое глубокое уваженіе.

Не имѣя никакой протекціи и даже почти никого знакомыхъ въ Петербургѣ, я попалъ въ переводчики «Коммиссіи составленія законовъ» единственно потому, что Г. И. К—ій, еще прежде меня оставившій К—ій университетъ, служилъ помощникомъ редактора въ одномъ изъ Отдѣленій Коммиссіи, которыя назывались *Редакторствами*. К—ій пользовался тамъ, какъ и вездѣ, гдѣ онъ служилъ, полнымъ уваженіемъ. Я жилъ въ Петербургѣ уединенно, также мало встрѣчая сочувствія къ моимъ убѣжденіямъ и обнаруживая ихъ еще менѣе. Я видался только съ Шушериным; но въ нашихъ бесѣдахъ преимущественно дѣло шло о театрѣ и сценическомъ искусствѣ. Я служилъ уже около полугода. Главнымъ дѣйствующимъ лицемъ «Коммиссіи составленія законовъ» былъ неутомимый Нѣмецъ Розенкампфъ: онъ писалъ и день и ночь, то по-нѣмецки, то по-французски; съ послѣдняго я переводилъ на русской. Не могу утвердительно сказать, былъ ли какой-нибудь толкъ въ неусыпныхъ трудахъ Розенкампфа, но я часто слыхалъ, какъ подсмѣивались надъ его нѣмецкими теоріями. Въ составѣ Государственныхъ учрежденій «Коммиссія составленія законовъ» была совершенно забыта. Вдругъ директоромъ Коммиссіи былъ опредѣленъ М. М. Сперанскій, и ходъ дѣлъ оживился: директорскую канцелярію, названную по новому: *Письмоводствомъ*, значительно усилили; Вронченко назначили письмоводителемъ; взяли двухъ чиновниковъ отъ Розенкампфа, меня и Бачманова, и причислили къ письмоводству. Это передвиженіе было для меня счастливымъ событіемъ: въ письмоводствѣ встрѣтился я съ Александромъ Иванычемъ К—мъ. Я живо помню этотъ первый день, когда онъ обратилъ на себя мое вниманіе. Какъ теперь гляжу на его молодую, стройную, худощавую фигуру и свѣжее лице, наклоненное надъ бумагой: длинные

волосы закрывали съ боку даже его большой носъ, и красивыя жемчужныя строки выводила его рука. Я сидѣлъ возлѣ него, занимаясь своимъ дѣломъ. Вдругъ слышу тоненькій голосокъ моего сосѣда, которымъ онъ очень рѣзко бранилъ школу Карамзинскихъ послѣдователей и критиковалъ переписываемую имъ бумагу Сперанскаго, за иностранныя слова и обороты.... Меня такъ и обдало чѣмъ-то роднымъ, такъ и повѣяло духомъ Шишкова! Я сейчасъ всталъ, отвелъ въ сторону старшаго чиновника письмоводства, Н. С. Скуридина, бывшаго нѣкогда моимъ товарищемъ по К—ой гимназіи, и спросилъ: «кто этотъ молодой человѣкъ, который сидитъ подлѣ меня?» Скуридинъ улыбнулся и отвѣчалъ: «Какъ кто? Племянникъ Александра Семеныча Шишкова, такой же отчаянный Славянофилъ (тогда это слово было уже въ употребленіи), и чуть не молится своему дядѣ». Этого было довольно. Черезъ нѣсколько часовъ я заключилъ съ К—мъ вѣчный союзъ братской дружбы, который мы оба свято хранимъ и теперь. Въ тотъ же вечеръ К—въ обо всемъ разсказалъ своему дядѣ Шишкову, и на другой день, въ десять часовъ утра, положено было представить меня главѣ Славянофиловъ.

Но что жь это такое было за Славянофильство? Здѣсь кстати поговорить о немъ и опредѣлить его значеніе. Надобно начать съ того, что тогда, равно какъ и теперь, слово это не выражало дѣла. И тогдашнее, и теперешнее такъ называемое Славянофильство, было и есть ничто иное, какъ русское направленіе, откуда уже естественно вытекаетъ любовь къ Славянамъ и участіе къ ихъ несчастному положенію. Впрочемъ къ Шишкову отчасти шло это имя, потому что онъ очень любилъ славянской или церковный языкъ, и сочувствуя немного западнымъ Славянамъ, много толковалъ и писалъ о славянскихъ на-

рѣчіяхъ; но его послѣдователи вовсе и объ этомъ не думали. Русское направленіе заключалось тогда въ возстаніи противъ введенія нашими писателями иностранныхъ, или лучше, французскихъ словъ и оборотовъ въ рѣчи, противъ предпочтенія всего чужаго своему, противъ подражанія французскимъ модамъ и обычаямъ и противъ всеобщаго употребленія въ общественныхъ разговорахъ французскаго языка. Этими, такъ сказать, литературными и внѣшними условіями ограничивалось все направленіе. Шишковъ и его послѣдователи горячо возставали противъ нововведеній тогдашняго времени, а все введенное прежде, отъ реформы Петра I до появленія Карамзина, признавали русскимъ и самихъ себя считали русскими людьми, нисколько не чувствуя и не понимая, что они сами были иностранцы, чужіе народу, ничего не понимающіе въ его русской жизни. Даже не было мысли оглянуться на самихъ себя. Вѣкъ Екатерины, передъ которымъ они благоговѣли, считался у нихъ не только русскимъ, но даже русскою стариною. Они вопили противъ иностраннаго направленія—и не подозрѣвали, что охвачены ими съ ногъ до головы, что они не умѣютъ даже думать по-русски. Самъ Шишковъ любилъ и уважалъ русской народъ по своему, какъ-то отвлеченно; въ дѣйствительности же отказывалъ ему въ просвѣщеніи, и напечаталъ впослѣдствіи, что мужику не нужно знать грамотѣ. Такъ бываютъ иногда перепутаны человѣческія понятія, что истина, лежащая въ ихъ основѣ, принимаетъ ложное и ошибочное развитіе.—Само собою разумѣется, что никакое сомнѣніе не входило въ мою осьмнадцатилѣтнюю голову и что я былъ готовъ безусловно благоговѣть передъ Шишковымъ.

Напрасный будетъ трудъ, если я захочу дать понятіе о томъ, что происходило въ моей головѣ и моемъ сердцѣ, когда я воротился домой, разставшись съ моимъ внезапнымъ

другомъ, К—мъ? Какую ночь провелъ я въ ожиданіи утра, въ ожиданіи свиданія, знакомства съ Александромъ Семенычемъ Шишковымъ! Я представлялъ себѣ его какимъ-то высшимъ существомъ, къ которому всѣ приближаются съ благоговѣніемъ. Живя въ Петербургѣ, я постоянно желалъ и надѣялся со временемъ, какъ-нибудь его увидѣть; но возможность личнаго и близкаго знакомства никогда не входила мнѣ въ голову. Не могу сказать, чтобъ я отъ неожиданнаго осуществленія того, о чемъ не смѣлъ мечтать, пришелъ въ восхищеніе, въ восторгъ, которому весьма легко предавался. Конечно я чувствовалъ радость, но подавляемую изумленіемъ и какою-то неопредѣленною боязнію. Тогда я не умѣлъ объяснить себѣ страннаго моего чувства; но можетъ быть это было безотчетное опасеніе—найдти въ дѣйствительности не то, что создало и украсило мое горячее воображеніе и такъ искренно, давно полюбило молодое сердце. Я былъ чистый сангвиникъ: живой, вспыльчивый, и въ тоже время застѣнчивый или, вѣрнѣе сказать, конфузливый до того, что могъ совсѣмъ потеряться, могъ липиться на ту минуту употребленія языка или заплакать. Хотя я конфузился преимущественно въ женскомъ обществѣ, или незнакомомъ и многочисленномъ, но кабинетъ Шишкова представлялся мнѣ страшнѣе всякой аристократической гостиной — и опасность сконфузиться, показаться дуракомъ, бросала меня въ ознобъ и жаръ. Будучи всегда скромнаго о себѣ самомъ мнѣнія, я добросовѣстно спрашивалъ себя: «что же есть во мнѣ замѣчательнаго, достойнаго обратить вниманіе такого человѣка, какъ Шишковъ? Не совѣстно ли заставить его перервать свои важные труды и заниматься мною? Что я стану отвѣчать, когда онъ спроситъ о моихъ литературныхъ занятіяхъ? Не отвѣчать же ему, что въ университетѣ я издавалъ письменный литературный жур-

налъ вмѣстѣ съ Александромъ II—вымъ? Что я написалъ стихи къ «Зимѣ» и «Соловью», или перевелъ «Пигмаліона и Галатею?» Вотъ еслибъ какъ-нибудь заставили меня читать, то можетъ быть мое чтеніе понравилось бы Шишкову: въ К—и всѣ были въ восхищеніи отъ моей декламаціи и игры на театрѣ.... Но какъ же это сдѣлать?..» Подобныя дѣтскія мысли осаждали всю ночь мою горячую голову. Я уснулъ уже къ утру, и цѣлымъ получасомъ опоздалъ пріѣхать къ К—ву.

Въ переулкѣ съ Литейной, называемомъ Форштатскимъ, противъ лютеранской кирки, стоялъ небольшой каменный, двухъэтажный домикъ (вѣроятно стоитъ и теперь), оконъ въ восемь, какого-то зеленоватаго цвѣта, весьма скромной наружности: это былъ собственный домъ Александра Семеныча Шишкова. Мы въѣхали подъ него въ ворота и поднялись во второй этажъ, по темной, узкой и нечистой лѣстницѣ. Не спрашивая о хозяинѣ, К—въ ввелъ меня изъ прихожей въ столовую и остановился у дверей кабинета, поглядѣлъ въ замочную скважину и сказалъ: «дядя тутъ; не пишетъ, а что-то читаетъ: вѣрно ждетъ насъ». Онъ хотѣлъ отворить дверь, но я удержалъ его, чтобъ перевесть духъ. Сердце билось у меня, какъ голубь въ клѣткѣ и дыханіе стѣснялось. Черезъ минуту мы вошли. Кабинетъ былъ маленькой, голубой, съ двумя окошками въ переулокъ; между ними помѣщался большой письменный столъ, загроможденный книгами и бумагами; на окошкахъ стояли банки съ сухимъ кіевскимъ вареньемъ и конфектами, а на столѣ—большая стеклянная банка, почти наполненная до верху восковыми шарами и шариками (*). Вокругъ на горкахъ и на полу лежало много

(*) Шишковъ имѣлъ привычку, занимаясь чтеніемъ и размышленіемъ, скатывать восковые шарики, обирая и общипывая воскъ со свѣчей. Онъ очень любилъ разныя лакомства, особенно плоды и ягоды.

книгъ и тетрадей. Все было въ пыли и *безпорядкѣ*, какъ называютъ и теперь *порядокъ* въ кабинетѣ ученаго, серьёзно занятаго дѣломъ, человѣка.

Александръ Семенычъ былъ въ шелковомъ полосатомъ шлафрокѣ съ поясомъ, съ голой шеей и грудью; на ногахъ у него были кожаные, истасканные ичиги (спальные сапоги); онъ имѣлъ средній ростъ, сухощавое сложеніе, волосы сѣдые съ желтиной; лице у него было поразительно блѣдно; темнокаріе, небольшіе глаза, очень живые, проницательные, воспламеняющіеся мгновенно, выглядывали изъ-подъ нависшихъ бровей; общее выраженіе физіономіи казалось сухо, холодно и серьёзно, когда не было одушевлено улыбкой,—самой пріятной и добродушной. Онъ невдругъ увидѣлъ насъ, но увидѣвъ, положилъ книгу, всталъ и сказалъ мнѣ: «Я радъ, что вы встрѣтились и подружились съ К—мъ. Вы оба русскіе люди, будете вмѣстѣ служить и ходить ко мнѣ, я стану толковать съ вами и что-нибудь читать, и хорошее и худое; худаго больше, но есть и хорошее. Вотъ я сейчасъ читалъ поэму «Петръ Великій»; ее всѣ журналы будутъ бранить, я напередъ знаю; а въ ней есть такія красоты, какихъ не много у Державина, да и у Ломоносова». Онъ сѣлъ на свои кресла передъ столомъ, и мы сѣли безъ приглашенія на ближайшіе стулья. Онъ взялъ книгу и принялся читать съ самаго начала, съ посвященія, въ которомъ особенно нравились ему стихи:

Изъ чащи лавровой, цвѣтущей при Полтавѣ,
Гордящейся Петромъ, восходитъ къ небесамъ
Безсмертный памятникъ его безсмертной славѣ.
Кто чтитъ достоинства, достопочтенъ и самъ.

Чтеніе его было тихо, однообразно, но естественно, произношеніе чисто и явственно, но въ тоже время съ

какимъ-то стариковскимъ бормотаньемъ и процѣживаньемъ словъ сквозь зубы; онъ читалъ съ большимъ одушевленіемъ и небольшими жестами правой рукой. Сначала мнѣ не понравилось чтеніе; но скоро я прислушался, привыкъ къ его недостаткамъ или особенностямъ, и оно такъ увлекло меня внутренней силою и теплотою, что князь Шихматовъ показался мнѣ великимъ поэтомъ, а Шишковъ такимъ чтецомъ, при которомъ мнѣ не должно и читать. Читая, Шишковъ не рѣдко останавливался и восклицалъ: «Какое великолѣпіе! Какая красота! Какое знаніе языка славянскаго, то-есть, русскаго! Вотъ что значитъ, когда стихотворецъ начитался книгъ Священнаго Писанія! А между тѣмъ при слѣдующихъ стихахъ» продолжалъ онъ:

«Не сломятъ вѣки, ни стихіи
«Ни ковы всѣхъ наземныхъ бѣдъ.

«сейчасъ остановятся и скажутъ: что это за *наземныя бѣды*? Ужь не навозныя ли? Подумаютъ, что это слово выдумано Шихматовымъ; неправда, оно точно въ этомъ смыслѣ употреблено въ Священномъ Писаніи. Ну что можетъ быть лучше этихъ выраженій:

Не терпитъ сердце нѣмоты;
Приди, витійство простоты,
И смѣлость мнѣ вдохни, природа!

или напримѣръ:

Какъ зимній дымъ бѣлѣютъ мраки,
И утро съ розовымъ лицемъ,
Гоня зловидные призраки,
Блистая златомъ, багряцемъ,
Дыша живительной прохладой,
Бѣлитъ и горы и поля.
Сребромъ усыпана земля
Всемѣстной полнится отрадой;
Насталъ пріятный первый шумъ,
Преторглась цѣпь нощнаго плѣна,
И путникъ, преклонивъ колѣна,

Вперилъ къ востоку взоръ и умъ -
Се солнце, искра славы Бога,
Изъ безднъ всходитъ, какъ женихъ
Младый отъ брачнаго чертога.

Это все красоты первокласныя, или заимствованныя изъ книгъ Священнаго Писанія, или составленныя по ихъ духу. Да покажите мнѣ, много ли такихъ красотъ найдется у нашихъ знаменитыхъ писателей. А вотъ попадется слово, котораго значеніе не поймутъ, въ стихѣ:

Богатствъ *дражайшіе* дары

и станутъ смѣяться: *дражайшій даръ*, какъ уморительно смѣшно! а ничего смѣшнаго нѣтъ. Дражайшій, значитъ драгоцѣннѣйшій, это превосходная степень, а потому стихъ:

Богатствъ дражайшіе дары

значитъ дары, которые драгоцѣннѣе богатствъ. Напередъ знаю, что наши безграмотные журналисты подымутъ насмѣхъ слѣдующіе превосходные стихи, красоты выраженія которыхъ всѣ почерпнуты изъ Священнаго Писанія:

Течетъ *исполнъ* красы и мира

или:

Такъ зависть, *поучась въ крамолѣ*

или:

И къ смерти *прилагаютъ* смерть

или:

Отъ скалъ сложенныя громады

Пожалуй иной литераторъ подумаетъ, что *отъ* поставлено ошибкой вмѣсто *изъ*. Или

Трясется онъ *отъ* основаній.

или:

Пасутся сочностію травъ.

и неисчетное множество тому подобныхъ превосходныхъ выраженій. И не мудрено: они не смыслятъ корня русскаго языка, то-есть, славянскаго. Далѣе:

Утѣха взору и гортани
Висятъ *червленные* плоды.

Какъ хороши эти два стиха! Это прелесть, а пожалуй, не поймутъ слово *червленные* и подумаютъ, что это *червивые*. Шихматовъ говоритъ, что весенніе вѣтерки:

На воздухъ разсыпаютъ сладость,
Окравъ душистые *шипки*.

и это превосходно, но большая часть читателей не поймутъ словъ: *окравъ* и *шипки*, а между тѣмъ, какое живописное изображеніе, что вѣтерки, пролетая по цвѣтамъ, похищаютъ, окрадываютъ ихъ душистые, распускающіеся шипки, то-есть, цвѣточныя распускольки, и такимъ образомъ наполняютъ сладостнымъ благовоніемъ воздухъ.— Ну, послушайте, какое великолѣпное описаніе кораблестроенія:

Туда, по волѣ человѣка,
Корнисты сѣвера сыны,
Надменны долготою вѣка,
Стеклись съ кремнистой вышины,
И тамъ искусствомъ искривленны,
Да съ бурями воюютъ вновь....

Послѣдній стихъ такъ многозначителенъ, что я не знаю ему равнаго. Я также ничего не знаю лучше, во всѣхъ мнѣ извѣстныхъ литературахъ, слѣдующаго описанія спуска корабля:

При звукахъ радостныхъ, громовыхъ,
На брань отъ пристани спѣша,
Вступаетъ въ царство волнъ суровыхъ;
Дубъ—тѣло, вѣтръ—его душа,
Хребетъ его—въ утробѣ бездны,
Высоки щоглы—въ небесахъ,

Летитъ на легкихъ парусахъ,
Отвергнувъ весла безполезны;
Какъ жилы напрягаетъ снасть,
Вмѣщаетъ силу съ быстротою,
И гордъ своею красотою,
Надъ моремъ воспріемлетъ власть.

Тутъ есть такіе три стиха (4, 5 и 6), которымъ должны позавидовать и древніе и новые стихотворцы (*)».

Чтеніе въ такомъ родѣ, замѣчанія и разсужденія Шишкова продолжались часа два. К—въ и я слушали и молчали, изъявляя только по временамъ наше полное согласіе съ мнѣніями и выводами хозяина, хотя нѣкоторыя похвалы и казались намъ преувеличенными. Вдругъ дверь въ кабинетъ изъ столовой нѣсколько отворилась, и рѣзкій женскій голосъ сказалъ: «Александръ Семенычъ! Тебѣ давно пора въ Адмиралтейство! Тебя тамъ сегодня ждутъ. Ты обѣщалъ быть въ двѣнадцать часовъ, а теперь половина втораго». — «Сейчасъ, сейчасъ! отвѣчалъ онъ просительнымъ тономъ, вотъ только прочту нѣсколько куплетовъ.» — Тотъ же женскій голосъ тономъ неумолимой гувернантки, возразилъ: «этому чтенію и конца не будетъ Ѳедоръ! подавай одѣваться Александру Семенычу».... И Ѳедоръ вошелъ съ платьемъ. Шишковъ дочиталъ только куплетъ, положилъ книгу и сказалъ: «Вы у насъ обѣда-

(*) Шишковъ читалъ многимъ поэму Шихматова, переплетенную съ бѣлыми листами, исписанными множествомъ его собственноручныхъ отмѣтокъ, замѣчаній и объясненій. Онъ наблюдалъ такой порядокъ: сначала прочитывалъ цѣлый куплетъ, а потомъ возвращался къ замѣченному слову или выраженію. Я, познакомясь короче, списалъ себѣ въ особый экземпляръ всѣ замѣчанія Шишкова; но потерялъ его и теперь пишу на память. Я могъ бы припомнить гораздо больше, но считаю достаточнымъ этого образчика. По совѣсти долженъ я сказать, что Александръ Семенычъ употреблялъ хитрость, читая Шихматова: онъ выбиралъ или лучшія мѣста или такія выраженія, которыя, будучи имъ объяснены, переставали, какъ онъ думалъ, казаться читателю странными.

ете. Я скоро ворочусь; мнѣ хочется показать вамъ въ этой поэмѣ одно славное мѣсто и объяснить откуда Шихматовъ заимствовалъ его красоты. Ступайте теперь къ женѣ». Мы вышли. Я былъ озадаченъ. Хотя я увлекался чтеніемъ и горячими чувствами Шишкова, хотя многіе стихи, на которыхъ онъ останавливался, точно были хороши, и я восхищался ими, но не всѣ объясненія красотъ «Петра Великаго» показались мнѣ удовлетворительными; притомъ мнѣ было какъ-то больно, что онъ не обратилъ собственно на меня ни малѣйшаго вниманія: я забылъ, что наканунѣ признавалъ себя совершенно его недостойнымъ. Странно мнѣ показалось и то, что К—въ, говорившій о дядѣ заочно съ благоговѣніемъ, обращался съ его личностью какъ-то слишкомъ запросто; голосъ же жены Шишкова (какъ я догадался), въ которомъ не было замѣтно никакого уваженія, а напротивъ слышалась привычка повелѣвать, — поселилъ во мнѣ сильное предубѣжденіе противъ этой женщины, не смотря на то, что К—въ уже успѣлъ сказать мнѣ, что она добрѣйшее существо въ мірѣ. Подъ такимъ впечатлѣніемъ вошелъ я въ гостиную, гдѣ Дарья Алексѣвна (такъ звали жену Шишкова) (*) сидѣла за рабочимъ столикомъ у окошка; она приняла меня очень просто и ласково, хотя вообще обращеніе ея было сухо; попросила сѣсть возлѣ себя и, не переставая усердно что-то шить, разспросила обо всемъ до меня и моего семейства касающемся, со всѣми мельчайшими подробностями. Узнавъ, что со мною живетъ братъ, двѣнадцатилѣтній мальчикъ, она настоятельно потребовала, чтобъ я на дру-

(*) Урожденная Шельтингъ. Она была Голландка и Лютеранка. Дѣдъ ея былъ приглашенъ изъ Голландіи въ русскую службу и дослужился до адмиральскаго чина. По-французски она говорила очень плохо, за что и страдала впослѣдствіи въ большомъ свѣтѣ, куда судьба неожиданно ее затащила. Она вышла за Шишкова вдовою; но я забылъ фамилію перваго ея мужа.

гой же день привезъ его къ ней, прибавя: «изъ вашихъ словъ я вижу, что вы хорошій братъ и не охотно оставляете его одного дома, а потому всегда привозите его къ намъ, съ собой; у насъ воспитываются двое родныхъ племянниковъ Александра Семеныча, а потому вашему брату будетъ не скучно. Я сама занимаюсь воспитаніемъ племянниковъ и строго смотрю за ихъ нравственностью. Я увѣрена, что вашъ братъ мальчикъ неиспорченный. Мы обѣдаемъ въ половинѣ четвертаго. Милости прошу обѣдать хоть всякой день, или хоть вмѣстѣ съ К—мъ, который съ двумя своими родственниками (*), обѣдаетъ у насъ три раза въ недѣлю. Сегодня же непремѣнно прошу обѣдать съ нами. И такъ прощайте покуда».

Мы вышли. Уже былъ третій часъ. Мы предполагали часу въ первомъ уѣхать отъ Шишкова и отправиться въ «Коммиссію составленія законовъ»; но теперь было уже поздно и мы рѣшились совсѣмъ не являться туда, а пошли гулять по Литейной, въ ожиданіи времени обѣда. Тутъ К—въ многое объяснилъ мнѣ и много разсказалъ такого, что мнѣ нужно было знать предварительно. Между прочимъ онъ поздравилъ меня съ тѣмъ, что я понравился его дядѣ и теткѣ (въ послѣдствіи мы всегда ихъ такъ звали). Я захохоталъ: «да помилуй, возразилъ я; онъ не сказалъ со мною ни одного слова.»—Но К—въ увѣрялъ, что это ничего не значитъ; что онъ хорошо знаетъ своего дядю; что еслибъ я ему не полюбился, то онъ не продержалъ бы насъ слишкомъ два часа; что говоря и читая, онъ все относился ко мнѣ и смотрѣлъ на меня, и что онъ изъ выраженія глазъ его замѣтилъ, что я пришелъ ему по сердцу. «Что же касается до тетки, прибавилъ онъ, то я

(*) Они вовсе не были родня К—ну, но онъ назвалъ ихъ родственниками, чтобы имѣть болѣе права познакомить ихъ съ домомъ дяди.

не видывалъ, чтобы она къ кому-нибудь была такъ съ перваго разу благосклонна, какъ къ тебѣ». Хотя по моему, очевидность тому противорѣчила, но я не могъ не повѣрить К—ву, въ искренности котораго не возможно было сомнѣваться. Тутъ узналъ я, что дядя его, этотъ разумный и многоученый мужъ, ревнитель цѣлости языка и русской самобытности, твердый и смѣлый обличитель торжествующей новизны и почитатель благочестивой старины, этотъ открытый врагъ слѣпаго подражанья иностранному—былъ совершенное дитя въ житейскомъ быту; жилъ самымъ не взыскательнымъ гостемъ въ собственномъ домѣ, предоставя все управленію жены и не обращая ни малѣйшаго вниманія на то, что̀ вокругъ него происходило; что онъ зналъ только ученый совѣтъ въ адмиралтействѣ, да свой кабинетъ, въ которомъ коптѣлъ надъ словарями разныхъ славянскихъ наречій, надъ старинными рукописями и церковными книгами, занимаясь корнесловіемъ и сравнительнымъ словопроизводствомъ; что, не имѣя дѣтей и взявъ на воспитаніе двухъ родныхъ племянниковъ, отдалъ ихъ въ полное распоряженіе Дарьѣ Алексѣвнѣ, которая, считая всѣ убѣжденія супруга патріотическими бреднями, наняла къ мальчикамъ Француза-гувернера (*) и помѣстила его возлѣ самаго кабинета своего мужа; что родные его жены (Хвостовы), часто у ней гостившіе, сама Дарья Алексѣвна и племянники, говорили при дядѣ всегда по-французски... Я разинулъ ротъ отъ удивленія! Такое несходство слова съ дѣломъ казалось мнѣ непостижимо. Что долженъ былъ я подумать о Шишковѣ? Въ истинности его убѣжденій сомнѣваться было невозможно: и такъ, это жалкая слабость характера?... но мнѣ не хотѣлось до-

(*) Этотъ Французъ умѣлъ подѣлаться въ послѣдствіи къ Шишкову похвалами Россіи и русскому языку.

пустить такой мысли—и крѣпко смутилась моя молодая голова! Признаюсь, смущало меня и то, что у православнаго Шишкова—жена лютеранка!... Въ половинѣ четвертаго мы были въ гостиной, гдѣ нашли тетку, двухъ ея племянницъ, дѣвицъ Хвостовыхъ, и двухъ молодыхъ людей, пріятелей К—ва, Хвощинскаго и Татаринова, съ которыми я уже познакомился поутру, потому что они жили на одной квартирѣ съ К—мъ. Племянники Александра Семеныча, также гулявшіе передъ обѣдомъ съ гувернеромъ, воротились въ одно время съ нами; черезъ нѣсколько минутъ пріѣхалъ дядя. Не дожидаясь пока онъ переодѣнется, хозяйка велѣла подавать кушанье и повела гостей за столъ. Возлѣ мѣста, на которомъ обыкновенно садился Шишковъ, она пригласила сѣсть меня. К — въ сѣлъ по другую его сторону. Дядя, перемѣнивъ только мундиръ на халатъ и сапоги на ичиги, шаркая ногами по полу, или какъ-то таская ихъ по-стариковски, торопливо вышелъ изъ кабинета, сѣлъ между мною и К—мъ, и молча занялся сначала своей стынувшей тарелкой супа. Потомъ обратился ко мнѣ и принялся разсказывать свой споръ въ адмиралтейскомъ совѣтѣ за какого-то русскаго морскаго офицера, которому, совершенно несправедливо, предпочитали нѣмца. Дядя, безъ всякой впрочемъ ласковости, говорилъ со мною такъ просто, такъ по домашнему, какъ будто я вѣкъ былъ его семьяниномъ, и скоро мнѣ самому показалось, что я давно и коротко знакомъ съ хозяиномъ и со всѣми его интересами. Я замѣтилъ, что Дарья Алексѣвна улыбалась, смотря на насъ, и говорила что-то съ другими. Въ продолженіе всего обѣда, чрезвычайно умѣреннаго, дядя ни съ кѣмъ, кромѣ меня, не сказалъ ни одного слова. Вставъ изъ-за стола, онъ сейчасъ увелъ насъ съ К—мъ въ кабинетъ и около часа читалъ поэму Шихматова и объяснялъ то мѣсто, которое хотѣлъ

указать намъ. Наконецъ сказалъ: «ну, Богъ съ вами. Ступайте къ молодежи». Въ гостиной тетка и другіе встрѣтили меня улыбками и поздравленіями, что я буду любимцемъ Александра Семеныча, чему, впрочемъ, никто не завидовалъ; ибо всѣмъ казались бесѣды съ нимъ наединѣ и безконечныя толкованія о славянскихъ корняхъ — смертельною скукою. Я, полагаясь болѣе на слова другихъ, чѣмъ на свое впечатлѣніе, радовался отъ всего сердца такому неожиданному и скорому обороту дѣла,—но поспѣшилъ домой: въ первый разъ случилось, что братъ долженъ былъ обѣдать одинъ и даже не зналъ, гдѣ я. Воротясь, я нашелъ его въ безпокойствѣ обо мнѣ; онъ даже еще не обѣдалъ, а какъ я самъ былъ голоденъ послѣ діэтнаго нѣмецкаго стола у Шишковыхъ, то и пообѣдали мы очень плотно своими тремя сытными русскими блюдами. Я разсказалъ брату всѣ малѣйшія подробности новаго знакомства и назначилъ ѣхать послѣ завтра вмѣстѣ съ нимъ къ Шишкову. Первое мое съ нимъ свиданіе такъ врѣзалось въ моей памяти, что я могъ разсказать его съ изумительною (для меня самого) точностью: дальнѣйшіе мои разсказы не могутъ быть такъ подробны.

Брата моего приняла тетка очень ласково и радушно; дядя по своему обыкновенію не обратилъ на него ни малѣйшаго вниманія. Съ молодыми племянниками Шишкова, или лучше сказать, со старшимъ, съ Сашей (иначе называть его не позволяли), братъ мой скоро подружился; меньшой же, Митя, былъ слишкомъ молодъ, да и какъ-то страненъ. Саша, извѣстный впослѣдствіи въ русской литературѣ подъ именемъ «Шишкова 2-го», былъ тогда блистательнымъ и очаровательнымъ мальчикомъ. Много возбуждалъ онъ великихъ надеждъ своимъ рановременнымъ умомъ и яркими признаками литературнаго таланта. Тетка обожала его, какъ говорится, и не смотря на свою

практическую разсудительность, совершенно испортила своего любимца. Исключительно женское воспитаніе рѣдко удается. Черезъ нѣсколько лѣтъ не могла она сладить съ Сашей, и онъ поступилъ въ военную службу, прямо въ офицеры молодой гвардіи и прямо въ адъютанты, кажется, къ генералу Каблукову (*). Саша немедленно сдѣлался отчаяннымъ повѣсой, былъ сосланъ на Кавказъ, ушелъ изъ-подъ караула и, будучи арестантомъ, увезъ молодую дѣвушку и женился на ней, жилъ въ крайней бѣдности, погубилъ свой замѣчательный талантъ, работая для денегъ, и наконецъ погибъ трагическою, всѣмъ извѣстною смертью.

Наши посѣщенія дома Шишковыхъ устроились правильнымъ образомъ: три раза въ недѣлю мы съ братомъ у нихъ обѣдали и проводили иногда вечера, вмѣстѣ съ К—мъ и. его родственниками и не рѣдко съ семействомъ Хвостовыхъ. По вечерамъ дядя уѣзжалъ въ гости или въ клубъ, гдѣ онъ велъ крупную игру. Онъ былъ отличный мастеръ играть во всѣ коммерческія игры и особенно въ *Рокомболь*, и всегда много выигрывалъ. Я послѣ узналъ, что онъ въ молодости былъ сильный банковый игрокъ. Хотя я пріѣзжалъ или приходилъ изъ «Коммиссію составленія законовъ» довольно поздно, иногда передъ самымъ обѣдомъ, но всегда проходилъ прямо въ кабинетъ дяди и, вмѣстѣ уже съ нимъ, садился за-столъ, постоянно подлѣ него. Послѣ обѣда, почти всегда онъ приглашалъ меня въ кабинетъ, иногда безъ К—ва, и толковалъ со мною о любимыхъ своихъ предметахъ: о тождествѣ языка русскаго и славянскаго, о красотахъ Священнаго Писанія, о русскихъ народныхъ пѣсняхъ, о порчѣ языка по

(*) Все это никуда не годилось. Дядя имѣлъ слабость и неосторожность выпросить у Государя такую вредную для юноши и оскорбительную для другихъ, милость.

милости Карамзинской школы, и проч., и проч. Я постепенно перешелъ изъ безмолвнаго слушателя въ собесѣдника. Иногда я возражалъ Александру Семенычу, и онъ, оспоривая меня, признавалъ нерѣдко хотя одностороннюю, правду и значительность возраженія; въ такомъ случаѣ онъ обыкновенно отмѣчалъ въ тетради: «такое-то возраженіе нужно хорошенько объяснить и опровергнуть». Всѣ наши разговоры вошли въ составъ «Разговоровъ о словесности» между двумя лицами: Азъ и Буки, напечатанныхъ года черезъ два. Я не могъ не смѣяться, читая ихъ, потому что не рѣдко узнавалъ себя подъ буквою Азъ, и весьма часто съ невыгодной стороны.

Между тѣмъ время шло. Я привязался всею душею къ Шишкову и, хотя никогда не слыхивалъ отъ него ласковаго слова, но видѣлъ изъ выраженія его глазъ, слышалъ по голосу, какъ онъ былъ доволенъ, когда я входилъ къ нему въ кабинетъ. Нечего и говорить, что съ первой минуты нашего знакомства, я сталъ искать благосклонности старика съ такимъ жаромъ и напряженнымъ вниманіемъ, съ какимъ не искалъ во всю мою жизнь ни въ одной женщинѣ. Это дѣлалась безсознательно съ моей стороны, но всѣ окружающіе замѣчали мои поступки и не рѣдко смѣялись мнѣ въ глаза; сама тетка говаривала, что я влюбленъ въ ея мужа и волочусь за нимъ изо всѣхъ силъ. Я конфузился, но продолжалъ держать себя по прежнему. — Сначала не рѣдко случалось, что отворишь дверь въ кабинетъ Шишкова, и онъ, если занятъ серьёзно, то кивнетъ головою и скажетъ: «А, здравствуй», но не отодвинетъ книги или тетради и не прибавитъ: «ну, садись, потолкуемъ». (Я забылъ сказать, что черезъ недѣлю послѣ перваго свиданія или лучше сказать, при первомъ употребленіи втораго лица, дядя началъ говорить мнѣ: *ты*). — Въ настоящее же время, тетрадь или книга, уже посто-

явно отодвигалась при моемъ появленіи, такъ что я самъ, зная, чѣмъ хозяинъ занятъ, не входилъ иногда къ нему въ кабинетъ, или, поздоровавшись, сейчасъ уходилъ подъ какимъ-нибудь предлогомъ.

Наконецъ вышло изъ-подъ спуда мое умѣнье читать или декламировать. К—въ съ родственниками, Хвощинскимъ и Татариновымъ, которые такъ и остались навсегда его родней, наговорили о моемъ чтеніи теткѣ и Хвостовымъ, и меня стали просить *прочитать что-нибудь*. Я сталъ читать: чтеніе всѣмъ понравилось, и тетка одинъ разъ за обѣдомъ вдругъ обратилась къ мужу и сказала: «А ты, Александръ Семенычъ, и не знаешь, что Сергѣй Тимоѳеичъ большой мастеръ читать?» Шишковъ конечно не зналъ, то-есть, слышалъ, да забылъ, какъ меня зовутъ, и я примѣтилъ, что онъ старался вспомнить: кто это такой Сергѣй Тимоѳеичъ? Я поспѣшилъ вывесть его изъ недоумѣнія и сказалъ, что очень желаю прочесть ему что-нибудь, и, обратясь къ Дарьѣ Алексѣвнѣ, прибавилъ, что Александръ Семенычъ самъ превосходно читаетъ, и что я боюсь его суда. Дядя промолчалъ; но послѣ обѣда, не уходя изъ гостиной, онъ сказалъ: «Ну прочти же что нибудь». Я сейчасъ сбѣгалъ въ его кабинетъ, принесъ Ломоносова и прочелъ «Размышленіе о Божіемъ величіи.» Дядя былъ такъ доволенъ, что заставилъ меня прочесть другую пьесу, потомъ третью, четвертую и наконецъ, примѣтя или подумавъ, что для другихъ это скучно, увелъ меня въ кабинетъ, гдѣ я читалъ ему на просторѣ изъ Державина, Капниста и даже изъ князя Шихматова, по крайней мѣрѣ часа полтора. Я долженъ признаться, что чтеніе изъ Шихматова было съ моей стороны волокитство! Дядя очевидно былъ очень доволенъ чтеніемъ, иначе онъ не заставилъ бы меня читать такъ долго; но не похвалилъ ни однимъ словомъ и потомъ уже никогда не поминалъ объ этомъ.

чѣмъ я не мало огорчался. Но за то чтеніе въ гостиной продолжалось съ возрастающимъ успѣхомъ. Кромѣ всегдашняго мужскаго общества, слушательницами были: Катерина Алексѣвна Хвостова, родная сестра хозяйки (женщина замѣчательная по уму и прекраснымъ качествамъ), двѣ ея незамужнія дочери, дѣвица Турсукова, сочинительница Анна Петровна Бунина и другія. Я перешелъ къ чтенію драматическихъ піесъ; между прочимъ, я прочелъ Озерова: «Эдипа», «Фингала» и наконецъ чью-то комедію. Чтеніе послѣдней родило мысль, что какъ было бы хорошо устроить домашній спектакль. Надобно сказать, что тетку всѣ считали очень скупою; но въ самомъ дѣлѣ она была только разсчетлива, да и поступать иначе не могла: ибо доходы Шишкова, довольно ограниченные, состояли въ одномъ жалованьѣ. Мысль о театрѣ понравилась Дарьѣ Алексѣвнѣ по многимъ отношеніямъ, но расходы ужаснули, и сначала эта мысль была совершенно отвергнута ею, какъ невозможная въ исполненіи. Конечно я болѣе всѣхъ желалъ, чтобы у Шишковыхъ устроились благородные спектакли. Самолюбіе мое было очень уже обольщено и даже избаловано, еще въ К—и, гдѣ на университетскомъ театрѣ, посѣщаемомъ лучшею публикой, я игралъ очень много, всегда съ блистательнымъ успѣхомъ. Громъ рукоплесканій сладокъ и дымъ похвалъ упоителенъ: я отвѣдалъ этой сладости и дыма — и чадъ не выходилъ изъ моей головы. Кромѣ причинъ, мною высказанныхъ, у меня была своя, особенная, секретная причина: я, съ пріѣзда моего въ Петербургъ, всякой свободный вечеръ проводилъ у Шушерина, съ которымъ мы постоянно занимались сценическимъ искусствомъ, то-есть, читали, разыгрывали піесы и разсуждали объ ихъ исполненіи. Мои понятія разширились, уяснились; я узналъ много новаго, сдѣлалъ, какъ умѣлъ, подъ руководствомъ Шушерина,

много перемѣнъ въ своей игрѣ на театрѣ — и мнѣ очень хотѣлось посмотрѣть самому на себя, сравнить свою настоящую игру съ прежнею. Впрочемъ, надо сказать правду, что и кромѣ удовлетворѣнія собственнаго самолюбія, я имѣлъ настоящее призваніе и любовь къ театру. Это доказывалось тѣмъ, что я съ равнымъ жаромъ занимался успѣхомъ тѣхъ піесъ, въ которыхъ самъ не игралъ. Рѣшительный отказъ тетки былъ для меня очень тяжелъ. Но скоро новый опытъ моего дарованія, при чтеніи какой-то слезной драмы Коцебу. вновь увлекъ наше общество, и всѣ рѣшились вновь атаковать Дарью Алексѣвну. Для вѣрнѣйшаго успѣха пригласили на чтеніе Петра Андреевича К—на (*), котораго хозяева очень любили и уважали: онъ остался весьма доволенъ и принялъ живое участіе въ нашемъ предпріятіи. Напали на самую слабую сторону тетки: представили, какъ полезна будетъ игра на сценѣ для образованія наружности ея племянниковъ, то-есть, старшаго, обожаемаго Саши, который прекрасно читалъ и грезилъ день и ночь желаніемъ играть на театрѣ. Безъ сомнѣнія

(*) Петръ Андреевичъ К—нъ былъ однимъ изъ самыхъ горячихъ и рѣзкихъ тогдашнихъ славянофиловъ; онъ сдѣлался такимъ вдругъ, по выходѣ книги Шишкова: «Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ». До того времени онъ считался блестящимъ остряком, французолюбцемъ и свѣтскимъ модянымъ человѣкомъ, какъ онъ самъ разсказывалъ мнѣ и К—ву. Книга Шишкова образумила и обратила его, и онъ написалъ на ней: «Mon Evangile». Я видѣлъ самъ эту надпись и, хотя былъ очень молодъ, но мнѣ показалось это смѣшно. Въ свѣтѣ называли К—на новообращеннымъ, новокрещеннымъ, ренегатомъ и точно, какъ человѣкъ перешедшій быстро отъ одного убѣжденія къ другому, онъ слишкомъ горячился и впадалъ въ крайности, которыя никогда не ведутъ къ убѣжденію другихъ. Онъ безпощадно и грубо, прямо въ глаза, казнилъ своихъ прежнихъ знакомыхъ мужчинъ, дамъ и дѣвицъ, недавно знавшихъ его совсѣмъ другимъ человѣкомъ. Онъ продолжалъ считаться остряком, и языкъ его называли бритвой. Съ глубокимъ уваженіемъ предался онъ Шишкову, который самъ очень его любилъ и уважалъ.

онъ былъ сильнѣйшимъ нашимъ орудіемъ. Главное затрудненіе — расходы, устранялись отчасти тѣмъ, что мы вызвались сами написать занавѣсъ и декораціи, наклеить ихъ на рамы и, безъ всякаго машиниста, съ однимъ простымъ плотникомъ, взялись устроить сцену, къ чему Хвощинскій, необыкновенный мастеръ на всѣ ремесла и даже женскія рукодѣлья, оказался вполнѣ способнымъ. Наконецъ обольстили тетку: она согласилась, и уже горячо взялась за дѣло. Для начала выбрали двѣ дѣтскія піески изъ театра для дѣтей М. Невзорова; одна называлась «Старорусинъ» или «Семейство Старорусиныхъ»: не ручаюсь за точность названія, но я самъ игралъ отца семейства, отставнаго служаку, господина Старорусина, котораго слова были отраженіемъ русскаго направленія Александра Семеныча Шишкова. Какъ называлась другая піеска — рѣшительно не помню. Племянники Шишкова и мой братъ играли женскія лица. Положено было сдѣлать сюрпризъ дядѣ нашимъ спектаклемъ; ему сказали, что въ залѣ надобно произвести передѣлки, затворили ее и заперли двери; обѣдъ перенесли въ маленькую столовую, что и прежде случалось, когда не было никого посторонняхъ. Впрочемъ, для дяди не нужны были такія предосторожности: разъ какъ-то нечаянно, онъ заглянулъ въ залу прямо изъ лакейской, увидѣлъ насъ безъ фраковъ, въ фартукахъ, запачканныхъ красками и — даже не спросилъ, что это значитъ. Денегъ у тетки на устройство театра взяли только сто рублей ассигнаціями, приложили столько же своихъ и обманули ее, ставя въ расходъ всѣ цѣны вдвое меньше. Короткіе знакомые Шишкова, какъ-то: Бакунины, Мордвиновы, Кутузовы, Турсуковы, и другіе, скоро узнали секретъ; но дядя не зналъ ничего. Костюмы собрали кое-какъ безъ всякихъ расходовъ. Я помню, что игралъ Старорусина, отставленнаго съ Екатерининскимъ мундиромъ, — въ

военномъ сюртукѣ К—на, бывшаго тогда флигель-адъютантомъ, и что я въ первый разъ, и безъ всякой надобности, явился на сценѣ въ шпорахъ. Какъ бы то ни было, рѣшительный вечеръ наступилъ (кажется въ чьи-то именины); приглашенные гости, всѣ коротко знакомые хозяевамъ, съѣхались. Отперли, растворили двери въ освѣщенную залу, и Шишковъ, ничего не подозрѣвая, думая, что всѣ идутъ смотрѣть обыкновенные дѣтскіе танцы, велъ подъ руку жену Кутузова. Дядя не вдругъ увидѣлъ занавѣсъ: онъ былъ не верхоглядъ и всегда смотрѣлъ себѣ подъ ноги, потому что былъ ими слабъ; но зала, тѣсно заставленная стульями, его поразила. «Что это», сказалъ онъ, остановясь и оглядываясь, «скажите пожалуйста, театръ! вѣдь я ничего не зналъ!» Общій веселый смѣхъ и рукоплесканія раздались между гостями.... Я не помнилъ себя отъ радости и дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ, смотря на публику въ отверстіе, прорѣзанное на занавѣсѣ. Спектакль прошелъ благополучно, осыпаемый рукоплесканіями зрителей и зрительницъ, разумѣется, изъ одного желанія сдѣлать удовольствіе хозяевамъ. Надо признаться въ непростительной и нелѣпой дерзости, на которую подбили меня совѣты другихъ и на которую рѣшился я чуть ли не съ согласія Дарьи Алексѣвны: играя свою роль, я подражалъ нѣсколько выговору, походкѣ и вообще манерамъ Александра Семеныча—однимъ словомъ, я передразнивалъ его. Это было замѣчено многими гостями и заставило ихъ смѣяться; но разумѣется дядя ничего не замѣтилъ. Тетка сказала однако послѣ спектакля, въ услышаніе всѣмъ: «Сергѣй Тимоѳеичъ такъ любитъ моего мужа, что даже походилъ на него въ роли Старорусина».—Безъ всякаго самолюбія я скажу, что моя игра на театрѣ слишкомъ рѣзко отличалась отъ игры другихъ. Не смотря на молодость, я уже былъ опытный актеръ: я съ пятнад-

цати лѣтъ постоянно изучалъ и разыгрывалъ разныя роли, если не на сценѣ, не передъ зрителями, то у себя въ комнатѣ, передъ самимъ собою; въ настоящее же время, въ этомъ, страстно любимомъ занятіи руководствовалъ мною, какъ я уже сказалъ, знаменитый тогда актеръ Яковъ Емельянычъ Шушеринъ. Я имѣлъ рѣшительный сценическій талантъ, и теперь даже думаю, что театръ былъ моимъ настоящимъ призваніемъ. Старики-посѣтители, почетные гости Шишковыхъ, замѣтили меня, и Н. С. Мордвиновъ (будущій графъ), М. И. Кутузовъ (будущій свѣтлѣйшій князь Смоленскій), М. М. Бакунинъ; а болѣе всѣхъ жена Кутузова, знаменитая своей особенной славой, женщина чрезвычайно умная, образованная и страстная любительница театра (извѣстный другъ актрисы Жоржъ), привѣтствовали меня уже не казенными похвалами, которыми обыкновенно осыпаютъ съ ногъ до головы всѣхъ безъ исключенія благородныхъ артистовъ. Кутузова изъявила мнѣ искреннее сожалѣніе, что я дворянинъ, что такой талантъ, уже много обработанный, не получитъ дальнѣйшаго развитія на сценѣ публичной, — и самолюбіе мое было утѣшено. Дядя былъ совершенно доволенъ; Дарья Алексѣвна увѣряла меня, что никогда не видала его такимъ свѣтлымъ и веселымъ. Никому изъ насъ отдѣльно онъ не сказалъ благодарнаго или ласковаго слова; бормоталъ только какъ будто про себя: «хорошо, очень хорошо, какъ будто цѣлый вѣкъ были актерами». На другой же день родилась у него мысль составить еще спектакль и устроить въ немъ сюрпризъ для всѣхъ, особенно для его друга, Н. С. Мордвинова; сюрпризъ состоялъ въ томъ, чтобы разыграть на итальянскомъ языкѣ двѣ сцены изъ трагедіи Метастазія (кажется изъ Александра Македонскаго), состоящія изъ двухъ лицъ: Александра Македонскаго и пастуха. Жена Морд-

винова была Англичанка (*), воспитанная въ Италіи и не знала по-русски; самъ Мордвиновъ и все его семейство долго жили въ Италіи и говорили по итальянски, какъ на своемъ языкѣ. Племянникъ Александра Семеныча, Саша Шишковъ, говорилъ на этомъ языкѣ также очень хорошо; ему назначили играть главную роль «пастуха», а братъ мой, не знавшій по-итальянски, долженъ былъ играть «Александра»; его роль умѣщалась на четырехъ страничкахъ. Дядя написалъ ее своей рукой, въ двухъ экземплярахъ, французскими и русскими буквами, съ означеніемъ всѣхъ тончайшихъ словоударенiй; онъ самъ училъ моего брата произношенію съ удивительнымъ терпѣніемъ и, говорятъ, довелъ его выговоръ, во всѣхъ пѣвучихъ интонаціяхъ языка, до изумительнаго совершенства. Секретъ былъ сохраненъ строжайшимъ образомъ; репетиціи дѣлались въ кабинетѣ у дяди, и никто изъ знакомыхъ не зналъ о приготовляемомъ сюрпризѣ. Чтобъ не затрудняться постановкой новой піесы, положили повторить «Старорусина». Должно сказать, что дядѣ было очень пріятно слышать свои мысли съ театральныхъ подмостокъ, даже въ своей небольшой залѣ, и мы съ К—мъ, замѣтя это, приготовили сюрпризъ ему самому: мы вставили въ роль Старорусина много славянофильскихъ, задушевныхъ мыслей и убѣжденій Шишкова, выбравъ ихъ изъ его печатныхъ и рукописныхъ сочиненій и даже изъ разговоровъ. Черезъ двѣ недѣли дядя поѣхалъ самъ приглашать гостей и пригласилъ столько, что половина ихъ должна была помѣститься въ другой боковой комнатѣ, изъ которой сцены не было видно. Тетка сердилась, ибо кромѣ тѣсноты, надобно было приготовить ужинъ, не только вдвое больше, но и вчетверо дороже, потому что въ числѣ гостей

(*) Родная сестра бывшаго нѣкогда одесскимъ комендантомъ генералъ-маіора Кобле.

находились люди уже не коротко знакомые. Дядя, впрочемъ, далъ на ужинъ какія-то особенныя свои деньги. Наконецъ спектакль былъ сыгранъ. Первая піеса шла «Старорусинъ»..... Увы, дядя не замѣтилъ вставокъ! Только говорилъ, что: «Аксаковъ играетъ несравненно лучше прежняго».—И такъ нашъ сюрпризъ не удался; но за то сюрпризъ Мордвиновымъ удался вполнѣ: и Николай Семенычъ, и его жена, и дочери были поражены звуками итальянскаго языка. Нѣсколько мгновеній не могли опомниться отъ изумленія, а потомъ плакали отъ удовольствія, какъ дѣти. Никогда я не забуду этой минуты, когда по окончаніи сценъ изъ Метастазія, Мордвиновъ подошелъ къ Шишкову. Прекрасное лицо этого чуднаго старика сіяло радостью, а глаза блистали благодарностью за нѣжное вниманіе къ его семейству. Молча, но краснорѣчиво, обнялъ онъ своего, на морѣ и на сушѣ испытаннаго друга. Еслибъ не было между гостями лишнихъ бревенъ, какъ говорится, то-есть, лишнихъ людей, то безъ сомнѣнія общее удовольствіе было бы гораздо теплѣе, живѣе и выразилось бы съ бо́льшей искренностью.

Никого такъ не любилъ и не уважалъ Шишковъ, какъ Николая Семеныча Мордвинова. Его справедливыя и очень смѣло высказываемыя мнѣнія, подаваемыя имъ иногда въ Государственномъ Совѣтѣ противъ единогласныхъ рѣшеній всѣхъ членовъ,—въ богатомъ переплетѣ съ золотымъ обрѣзомъ, съ собственноручною надписью Шишкова: «золотые голоса Мордвинова» — постоянно лежали на письменномъ столѣ у дяди въ кабинетѣ. Оба были моряки, и тѣсная дружба соединяла ихъ издавна. Всѣмъ извѣстно, что Николай Семенычъ Мордвиновъ былъ замѣчательнымъ и достойнымъ уваженія сановникомъ. Нѣкоторые изъ сослуживцевъ его не любили и даже распускали на его

счетъ разныя нелѣпыя клеветы; но въ обществѣ, гдѣ онъ былъ необыкновенно любезенъ, его любили и глубоко уважали всѣ. Его старческая красота и благодушная ласковость въ обращеніи имѣли въ себѣ что-то обаятельное. У каждаго, съ кѣмъ говорилъ Мордвиновъ, выражалось на лицѣ удовольствіе. При всякомъ случаѣ, особенно послѣ спектаклей, онъ говорилъ мнѣ нѣсколько любезныхъ словъ, и онѣ долго и пріятно отзывались у меня въ сердцѣ. Онъ имѣлъ привиллегію цѣловать въ губы знакомыхъ дамъ и дѣвицъ, и я помню, что онѣ весьма дорожили его поцѣлуями.

Этотъ спектакль оставилъ надолго пріятное воспоминаніе въ небольшомъ кругѣ добрыхъ знакомыхъ и друзей хозяина; недоброжелатели Шишкова, разумѣется, смѣялись надъ всѣмъ. Вообще, Александръ Семенычъ и его добрая, достопочтенная, но не аристократичная супруга, служили предметомъ насмѣшекъ для всѣхъ зубоскаловъ, которые потѣшали публику нелѣпыми о нихъ разсказами. Исключительный образъ мыслей Шишкова, его рѣзкія и грубыя выходки противъ настоящей жизни общества, а главное противъ французскаго направленія—очень не нравились большинству высшей публики, и всякой, кто осмѣивалъ этого старовѣра и славянофила, имѣлъ вѣрный успѣхъ въ модномъ свѣтѣ. Впрочемъ надо признаться, что Шишковъ былъ находка, кладъ для насмѣшниковъ: его крайняя разсѣянность, невѣроятная забывчивость и неузнаваніе людей самыхъ короткихъ, не смотря на хорошее зрѣніе, его постоянное устремленіе мысли на любимые свои предметы служили неизсякаемымъ источникомъ для разныхъ анекдотовъ истинныхъ и выдуманныхъ. Разсказывали будто онъ, на серьёзный вопросъ одного государственнаго сановника отвѣчалъ текстомъ изъ Священнаго Писанія и цитатами изъ какой-то старинной рукописи, которая

тогда исключительно его занимала; будто онъ не узналъ своей жены и говорилъ съ нею иногда, какъ съ посторонней женщиной, а чужихъ женъ принималъ за свою Дарью Алексѣвну. Я не считаю, впрочемъ, этого невозможнымъ, потому что самъ былъ свидѣтелемъ вотъ какого случая.

Наступилъ день или, лучше сказать, ночь, назначенная для сожженія великолѣпнаго фейерверка, какого давно не видали въ Петербургѣ, а многіе говорили, что никогда такого и не бывало. Его устроили на судахъ, расположенныхъ на якоряхъ вдоль по Невѣ, противъ Зимняго дворца. Шишковъ имѣлъ небольшую, человѣкъ на двадцать, галерею или балконъ въ Адмиралтействѣ, откуда почти также хорошо было смотрѣть, какъ изъ дворца. Хотя тетка посердилась, что дядя не умѣлъ себѣ вытребовать лучшаго помѣщенія, но дѣлать было нечего; она взяла свои мѣры и пригласила гостей столько, сколько могло помѣститься. Племянникъ Саша съ большимъ нетерпѣніемъ ожидалъ этого праздника и написалъ даже стихи: «ожиданіе фейерверка». Всѣхъ стиховъ не помню, но помню, что ловкой мальчикъ умѣлъ приноровиться ко вкусу дяди. Вотъ уцѣлѣвшіе у меня въ памяти первые четыре стиха:

Насталъ, насталъ желанный день!
Спѣши скорѣе ночи тѣнь,
Чтобъ огненные чудеса
Мои узрѣли очеса.

Стихи очень понравились старику. Племянникъ не скрывалъ отъ насъ, что написалъ такія вирши только для того, чтобъ угодить дядѣ. Подроставшій Саша начиналъ понимать Александра Семеныча и, когда хотѣлъ, умѣлъ поддѣлываться къ нему. Вся наша компанія, которую, Богъ знаетъ по чему, К—нъ называлъ Цизальпинской

республикой, то-есть, я съ братомъ и К—въ съ иными родственниками, обѣдали въ день фейерверка у Шишковыхъ; вечеромъ, вмѣстѣ съ ними, отправились въ Адмиралтейство и заняли благополучно свою галлерею. Но увы! Всѣ предосторожности тетки не послужили ни къ чему: званые гости съѣхались, но вслѣдъ за ними стали являться не званые; Шишковъ не умѣлъ отказывать и скоро стало такъ тѣсно, что мы едва лѣпились на лѣстницѣ, нарочно придѣланной съ наружной стороны зданія. Фейерверкъ уже начался, какъ пріѣхала одна дама, очень уважаемая Шишковыми, заранѣе ими приглашенная, но опоздавшая. Пробиться сквозь толпу, стоявшую даже около лѣстницы, а потомъ взойти на лѣстницу—не было никакой возможности. Узнавъ объ этомъ, Шишковъ сошелъ внизъ, чтобъ провести гостью: кое-какъ онъ сошелъ съ лѣстницы, но не только провесть даму — онъ самъ уже не могъ воротиться назадъ. Шишковъ успокоился невозможностью и пустился въ разговоры съ своей гостьей.... о чемъ бы вы думали? о томъ, что весьма смѣшно толкаться и лезть въ тѣсноту, чтобъ посмотрѣть на огненныя потѣхи, и что нелѣпо подражать французскимъ модамъ и одѣваться легко, когда на дворѣ стужа (а дама была очень легко одѣта). Собесѣдница бѣсилась, посылала мысленно къ чорту стараго дурака славянофила (какъ она послѣ сама разсказывала), но должна была изъ учтивости слушать его неумѣстныя разсужденія; наконецъ терпѣніе ея лопнуло, и она уѣхала домой. Шишковъ, оставшись одинъ, попытался взойти на галлерею; но на второй ступенькѣ стоялъ широкоплечій полковникъ, К—нье, который на всѣ просьбы и убѣжденія старика посторониться, не обращалъ никакого вниманія, какъ-будто ничего не слыхалъ, хотя очень хорошо слышалъ и зналъ Шишкова. Наконецъ мы услыхали его голосъ и всѣ чет-

веро, пустивъ въ авангардъ десятивершковаго Хвощинскаго, бросились на выручку дяди, успѣли пробиться и взвели его на лѣстницу. Онъ не видалъ половины фейерверка; но всего забавнѣе было то, что онъ не узналъ насъ и намъ же разсказывалъ на другой день, что спасибо какимъ-то добрымъ людямъ, которые протащили его наверхъ, и что безъ нихъ онъ бы иззябъ и ничего бы не видалъ. Эти добрые люди были К—въ и я.

Дядя вообще былъ не ласковъ въ обращеніи, и я не слыхивалъ, чтобы онъ сказалъ кому-нибудь изъ домашнихъ любезное привѣтливое слово; но съ попугаемъ своимъ, изъ породы какаду, съ своимъ Попинькой, онъ былъ такъ нѣженъ, такъ дѣтски болтливъ, называлъ его такими ласкательными именами, дразнилъ, цѣловалъ, игралъ съ нимъ, что окружающіе иногда не могли удержаться отъ смѣха, особенно потому, что Шишковъ съ попугаемъ и Шишковъ во всякое другое время—были совершенно не похожи одинъ на другаго. Случалось, что уѣзжая куда-нибудь по самонужнѣйшему дѣлу и, проходя мимо клѣтки попугая, которая стояла въ маленькой столовой, онъ останавливался, начиналъ его ласкать и говорить съ нимъ; забывалъ самонужнѣйшее дѣло и пропускалъ назначенное для него время, а потому, въ экстренныхъ случаяхъ, тетка провожала его отъ кабинета до выхода изъ передней. Впрочемъ Шишковъ былъ всегда страстный охотникъ кормить птицъ, и гдѣ бы онъ ни жилъ, стаи голубей всегда собирались къ его окнамъ. Всякое утро онъ кормилъ ихъ самъ, для чего по зимамъ у него была сдѣлана форточка въ нижнемъ стеклѣ. Эта забава не покидала его и въ чужихъ краяхъ. Въ 1813 и 1814 годахъ, таскаясь по Германіи вслѣдъ за главной квартирой Государя и очень часто боясь попасться въ руки Французамъ, Шишковъ не рѣдко живалъ, иногда очень по долгу, въ

нѣмецкихъ городкахъ. Съ перваго дня онъ начиналъ прикармливать голубей и приманивалъ ихъ со всего города къ окнамъ своей квартиры. Въ послѣдствіи, даже слѣпой, онъ выставлялъ кормъ, въ назначенное время ощупью на дощечку, прикрѣпленную къ форточкѣ, и наслаждался шумомъ налетающихъ со всѣхъ сторонъ голубей и стукомъ ихъ носовъ, клюющихъ хлѣбныя зерна. Я самъ бывалъ свидѣтелемъ этого, по истинѣ умилительнаго зрѣлища.

Здѣсь кстати разсказать забавный анекдотъ и примѣръ разсѣянности Александра Семеныча, который случился впрочемъ нѣсколько позднѣе. Я пришелъ одинъ разъ обѣдать къ Шишковымъ, когда уже всѣ сидѣли за столомъ. Мнѣ сказали, что дядя обѣдаетъ въ гостяхъ и что онъ одѣвается. Я сѣлъ за столъ, и черезъ нѣсколько минутъ Александръ Семенычъ вышелъ изъ кабинета во всемъ парадѣ, то-есть, въ мундирѣ и въ лентѣ; увидѣвъ меня, онъ сказалъ: «кабы зналъ, что ты придешь, — отказался бы сегодня обѣдать у Бакуниныхъ» (*). Я просіялъ отъ радости, а тетка поучительно и строго возразила: «все пустое; Сергѣй Тимоѳеичъ обѣдаетъ у насъ три раза въ недѣлю, а тебя насилу дозвались Бакунины; я думаю, ты уже съ годъ у нихъ не обѣдалъ, сегодня же старшій сынъ у нихъ именинникъ».... и дядя смиренно побрелъ въ переднюю. Минутъ черезъ двадцать, только что мы хотѣли встать изъ-за стола, какъ вдругъ является дядя. Всѣ удивились. «Что съ тобой», спросила тетка? — «Вообразите, отвѣчалъ Александръ Семенычъ, пріѣзжаю, а они уже почти отобѣдали, и назвали такихъ гостей, съ которыми я даже не кланяюсь: господъ N. N. и N. N. Дайте мнѣ чего-нибудь поѣсть». Онъ сейчасъ очень проворно

(*) М. М. Бакунинъ былъ губернаторомъ въ Петербургѣ.

переодѣлся и сѣлъ за столъ. Тетка съ дамами, племянниками и молодыми людьми встали, а мы съ К—мъ остались: ѣсть дядѣ рѣшительно было нечего. Между тѣмъ тетка сейчасъ воротилась изъ гостиной, и сказавъ мимоходомъ своему супругу: «это какой-нибудь вздоръ; никогда у Бакуниныхъ не бываютъ N. N. и N. N.; и могутъ ли Бакунины позвать вмѣстѣ съ тобой людей, которые тебя терпѣть не могутъ»—отправилась въ переднюю и начала свои розыски. По слѣдствію оказалось, что дядя, садясь въ карету, вмѣсто Бакуниныхъ приказалъ ѣхать къ В—мъ, у которыхъ онъ никогда не бывалъ. Ничего не замѣчая, онъ вошелъ въ переднюю, гдѣ оффиціантъ доложилъ ему, что господа почти откушали и скоро встанутъ изъ-за стола. Шишковъ удивился, и проворчавъ: «Да какъ же это, звали меня, да не подождали», спросилъ: «кто здѣсь?» Оффиціантъ назвалъ ему N. N. и N. N. Дядя еще больше удивился и уѣхалъ домой. Тетка раскричалась, хотѣла было опять одѣть своего супруга и отправить къ Бакунинымъ; но дядя на этотъ разъ уперся и, вставъ изъ-за стола, разумѣется совершенно голодный, сказалъ «что онъ уже пообѣдалъ»—и пригласилъ насъ съ К—мъ въ кабинетъ, обѣщая прочесть что-то новое. Тетка еще больше разшумѣлась.... тутъ досталось и славянскимъ нарѣчіямъ, которыми всегда набита голова Александра Семеныча, и намъ съ К—мъ, которые изъ угожденія толкуютъ съ нимъ объ этихъ пустякахъ, для чтенія которыхъ онъ не хочетъ ѣхать къ Бакунинымъ, гдѣ навѣрное не обѣдаютъ и ждутъ дорогаго гостя. Въ заключеніе она прибавила, что теперь Богъ знаетъ что подумаютъ всѣ ихъ друзья и враги, узнавъ объ этомъ, самомъ неприличномъ посѣщеніи. Да какъ въ голову пришли тебѣ В—вы?» — «Да чортъ знаетъ какъ: я объ нихъ и не думалъ», отвѣчалъ дядя и увелъ насъ въ кабинетъ, гдѣ и прочелъ намъ мысли о

русскомъ правописаніи, противъ которыхъ мы отчасти возражали. Все это напечатано въ 1811 году въ числѣ «Разговоровъ о словесности». Тетка принуждена была написать къ Бакунинымъ, что по такимъ-то причинамъ мужъ ея къ нимъ сегодня не будетъ. Въ самомъ дѣлѣ посѣщеніе Шишкова, какъ нарочно сдѣланное не во время и не кстати, произвело много недоумѣній и толковъ, потому что онъ пріѣзжалъ къ своему первому ожесточенному противнику, извѣстному по своей особенной дружбѣ съ французскимъ посланникомъ, а посланникъ недавно жаловался Государю на печатныя враждебныя и оскорбительныя выходки Шишкова противъ Французовъ. И такъ посѣщеніе Александра Семеныча получило особое значеніе. В—въ, подумавъ, что Шишковъ пріѣзжалъ для какихъ-нибудь объясненій, счелъ за долгъ на другой день отдать ему визитъ: свиданіе было презабавное. Скоро дѣло объяснилось и, украшенное добрыми людьми, долго занимало и потѣшало городскую публику.

Не знаю за что, но Императоръ Павелъ I, любилъ Шишкова; онъ сдѣлалъ его генералъ-адъютантомъ, что̀ весьма не шло къ его фигурѣ, и надъ чѣмъ всѣ тогда смѣялись, особенно потому, что Шишковъ во всю свою жизнь не ѣзжалъ верхомъ и боялся даже лошадей; при первомъ случаѣ, когда Шишкову, какъ дежурному генералъ-адъютанту, пришлось сопровождать Государя верхомъ, онъ объявилъ, что не умѣетъ и боится сѣсть на лошадь. Это не помѣшало однако Императору Павлу I, подарить Шишкову триста душъ въ Тверской губерніи. Александръ Семенычъ, владѣя ими уже болѣе десяти лѣтъ, не бралъ съ нихъ ни копѣйки оброка. Многіе изъ крестьянъ жили въ Петербургѣ на заработкахъ; они знали, что баринъ получалъ жалованье небольшое и жилъ слишкомъ небогато. Разумѣется, возвращаясь на

побывку въ деревню, они разсказывали про барина въ своихъ семействахъ. Годъ случился неурожайный и въ Петербургѣ сдѣлалась во всемъ большая дороговизна. Въ одинъ день, поутру, докладываютъ Александру Семенычу, что къ нему пришли его крестьяне и желаютъ съ нимъ переговорить. Онъ не хотѣлъ отрываться отъ своего дѣла и велѣлъ имъ идти къ барынѣ; но крестьяне непремѣнно хотѣли видѣть его самого, и онъ нашелся принужденнымъ выдти въ переднюю. Это были выборные отъ всего села; поклонясь въ ноги, не смотря на запрещеніе барина, одинъ изъ нихъ сказалъ, что «на мірской сходкѣ положили и приказали имъ ѣхать къ барину въ Питеръ и сказать: что не берешь-де ты съ насъ, вотъ уже десять лѣтъ, никакого оброку и живешь однимъ царскимъ жалованьемъ, что теперь въ Питерѣ дороговизна и жить тебѣ съ семействомъ трудно; а потому не угодно ли тебѣ положить на насъ за прежніе льготные годы, хоть по тысячи рублей; а впредь будемъ мы платить оброкъ, какой ты самъ положишь; что мы, по твоей милости, слава Богу, живемъ не бѣдно, и отъ оброка не разоримся». Услыхавъ такія рѣчи, дядя пришелъ въ неописанное восхищеніе, или лучше сказать, умиленіе, не столько отъ честнаго, добросовѣстнаго поступка своихъ крестьянъ, какъ отъ того, что рѣчи ихъ, которыя онъ немедленно записалъ, были очень похожи на языкъ старинныхъ грамотъ. Дядя сейчасъ послалъ за К—мъ и за мною. Насъ не застали дома, и мы явились къ нему уже послѣ обѣда. Старикъ еще не простылъ, и съ не свойственнымъ ему, даже наружнымъ жаромъ и волненіемъ, разсказалъ намъ все происшествіе и прочелъ записанныя рѣчи. «Вы, пожалуй, подумаете, что я пораскрасилъ ихъ слова, прибавилъ онъ, ну такъ слушайте сами». Крестьянъ позвали и дядя заставилъ ихъ разсказать вновь все, сказанное

ему поутру. Крестьяне повиновались, и рѣчи ихъ (они говорили оба) оказались очень сходными съ тѣми словами, которыя записалъ Шишковъ. Онъ разспросилъ ихъ кой о чемъ, подтвердилъ, чтобъ ихъ хорошенько угощали, и обѣщалъ на другой день написать письмо и отпустить домой. Онъ показывалъ своихъ крестьянъ Мордвинову и К—ну и заставлялъ повторять тѣ же рѣчи; но мнѣ и К—ву это не нравилось и мы уговорили дядю никому болѣе своихъ крестьянъ не показывать и отпустить поскорѣе домой. На третій день, Шишковъ написалъ письмо, котораго я не читалъ, но содержаніе котораго состояло въ томъ, что помѣщикъ благодарилъ весь міръ за усердіе, объявилъ, что надобности въ деньгахъ, по милости Царской, не имѣетъ и обѣщалъ, что когда ему понадобятся деньги, то ни у кого, кромѣ своихъ крестьянъ, денегъ не попроситъ. —Выборныхъ, и дядя и тетка угощали по горло, чѣмъ-то подарили, облобызали и отпустили. Мы съ К—мъ были въ восторгѣ; но многіе, въ томъ числѣ и Дарья Алексѣвна, даже Мордвиновъ, находили такое безсребренничество излишнимъ и неумѣстнымъ. «Почему бы не положить, говорили они, легкой оброкъ, ничего не значущій для крестьянъ, когда самъ помѣщикъ не рѣдко нуждается въ деньгахъ и часто не имѣетъ свободнаго рубля, чтобъ помочь бѣдному человѣку? Да и за что же всѣ другіе крестьяне или работаютъ на господина, или даютъ ему оброкъ, или платятъ двойныя подушныя, какъ казенные крестьяне, а эти ничего не дѣлаютъ? Это несправедливо, это должно производить ропотъ между сосѣдними крестьянами» и проч. и проч. Безъ сомнѣнія все это правда; но я полюбилъ Шишкова ѣще больше (*).

(*) Въ послѣдствіи крестьяне упросили положить на нихъ какой-нибудь оброкъ, говоря, что имъ совѣстно противъ другихъ крестьянъ. Оброкъ

Всё, что я говорилъ и буду говорить о Шишковѣ, обнимаетъ пространство времени съ конца 1808 до половины 1811 года; все происходило точно тогда, но я не ручаюсь за хронологическую вѣрность и послѣдовательность разсказываемаго мною. Мнѣ потому именно вздумалось теперь оговориться, что я никакъ не могу отыскать настоящаго времени, когда пріѣзжала крестьянская депутація, сейчасъ описанная мною.

Шишковъ обыкновенно вставалъ поутру часовъ въ семь зимою, и въ шесть—лѣтомъ. Онъ прямо изъ спальни отправлялся въ кабинетъ и не выходилъ изъ него (кромѣ двухъ присутственныхъ дней въ Адмиралтейскомъ Совѣтѣ) до половины четвертаго, если обѣдалъ дома, и до четырехъ часовъ, если обѣдалъ въ гостяхъ. Послѣ обѣда немного дремалъ, сидя въ креслахъ въ своемъ кабинетѣ, и потомъ что-нибудь читалъ до отъѣзда въ клубъ или въ гости. Работалъ постоянно часовъ по восьми въ сутки, онъ исписалъ громадныя кипы бумаги. Я помню, что и та книга, въ которую онъ вписывалъ слова малоизвѣстныя и вышедшія изъ употребленія, попадавшіяся ему въ книгахъ Священнаго Писанія, вообще въ книгахъ духовнаго содержанія, въ лѣтописяхъ и рукописяхъ, —что эта, такъ сказать, записная книга, была ужасающей величины и толщины. Безъ преувеличенья можно сказать, что писанныхъ книгъ и бумагъ, находившихся въ его кабинетѣ, нельзя было увезти на одномъ возу; но кажется многіе его ученые труды, послѣ его кончины, а можетъ быть еще и при жизни, которая долго тлѣлась въ его уже недвижимомъ тѣлѣ,—погибли безъ слѣда. Толстая книга и двѣ тетради, писанныя рукою Шишкова, черезъ мѣсяцъ послѣ

былъ положенъ, разумѣется, небольшой, да и тотъ собирался и употреблялся на ихъ же собственныя нужды. Вотъ какъ Шишковъ понималъ помѣщичье право.

его смерти, были случайно куплены сыномъ моимъ на Апраксинскомъ рынкѣ, гдѣ продаютъ книги и рукописи на рогожкахъ: это былъ корнесловъ и сравнительный словарь славянскихъ нарѣчій. Продавецъ зналъ, что̀ продаетъ, и самъ сказалъ моему сыну, что рукописи принадлежатъ Александру Семенычу Шишкову, писаны имъ самимъ, и что онъ купилъ въ его домѣ всѣ книги и бумаги, оставшіяся послѣ покойнаго. Я не знаю, соблюдалась ли правильная система въ работахъ Шишкова, и не умѣю опредѣлить, до какой степени были важны его труды; но что онъ трудился много, добросовѣстно и благонамѣренно — въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія. Важность его ученыхъ заслугъ по морской части признавалась тогда всѣми, и я слыхалъ, что недоброжелатели Шишкова отдавали ему въ этомъ случаѣ полную справедливость. Кромѣ ученыхъ занятій и русской литературы, Александръ Семенычъ любилъ итальянскихъ поэтовъ. Онъ перевелъ «Тассовы ночи» и назвалъ ихъ «Бдѣніями». Переводъ тяжелъ, но не лишенъ чувства и силы. Александръ Семенычъ самъ превосходно читалъ его, одушевленно и драматично, и не разъ приводилъ меня въ изумленіе. Я, будучи страстнымъ охотникомъ читать, то-есть, выражать внѣшнимъ образомъ чувства другаго, перечувствованныя собственной душею, и находившій въ этомъ неизъяснимое наслажденіе, — я самъ много трудился надъ «Бдѣніями Тасса». Я зналъ эту тяжелую прозу почти наизусть и хотя всѣ хвалили меня, но мнѣ казалось, что дядя лучше, проще, вѣрнѣе моего выражаетъ тоскливый бредъ полупомѣшеннаго поэта. Я помню также небольшую книжку мелкихъ стихотвореній и переводовъ въ стихахъ Александра Семеныча, которую знали только самые короткіе и домашніе люди. Тамъ находилась, даже не совсѣмъ приличная и грубая эпиграмма на Французовъ. Легкостью и

остроуміемъ грѣхъ было поклепать дядю; это было не его дѣло. Я помню одно сатирическое посланіе къ Александру Семенычу Хвостову, гдѣ въ каждомъ куплетѣ осмѣивался кто-нибудь изъ знакомыхъ людей противнаго образа мыслей и жизни. Вотъ одинъ, уцѣлѣвшій какъ-то въ моей памяти, куплетъ:

Рѣшя, Хвостовъ, задачу:
Я шелъ гулять на дачу,
Туда же и Глупонъ;
Весь въ блесткахъ, въ златѣ онъ,
Съ лорнетомъ при зеницѣ,
Съ массою д'Еркюль (*) въ десницѣ....
Жеманится, кривится,
Зоветъ меня съ собой
Не лучше ль воротиться
Отселѣ мнѣ домой?

Между тѣмъ, на слѣдующую зиму состоялись у насъ еще два спектакля. Были сыграны піесы: Комедія «Береговое право», Коцебу, и «Театральное предпріятіе» комедія въ стихахъ, Ефимьева; названій другихъ двухъ небольшихъ піесъ не помню. Комедія Ефимьева состояла изъ двухъ лицъ: одного пожилаго господина, затѣвающаго устроить театръ, и другаго, молодаго человѣка, который, чтобъ отвратить перваго, — своего хорошаго пріятеля,— отъ этого предпріятія, является для опредѣленія въ актеры, въ разныхъ видахъ и костюмахъ: дразнитъ и дурачитъ бѣднаго антрепренера и наконецъ поселяетъ въ немъ отвращеніе къ театру. Я игралъ любителя театра, а роль переодѣвающагося семь разъ пріятеля игралъ П. Н. Семеновъ, бывшій тогда подпрапорщикомъ въ Измайловскомъ полку, котораго я нарочно для этого спектакля познако-

(*) Тогда была мода ходить съ толстыми сучковатыми палками.

милъ съ домомъ Шишковыхъ. Онъ былъ большой мастеръ передразнивать всякія карикатурныя личности, и вся наша публика много смѣялась отъ его игры. Моя роль была самая безцвѣтная, однообразная, нужная только для того, чтобъ могъ выказываться талантъ моего товарища; но нашлись цѣнители, которые говорили, что я въ этой роли показалъ больше искусства, чѣмъ въ прежнихъ роляхъ. Въ одной сценѣ, гдѣ Семеновъ представлялъ толстяка, желающаго опредѣлиться въ актеры, нижнія пуговки камзола у него растегнулись, и уголъ подушки, изъ которой состояло брюхо, высунулся. Семеновъ смутился, но я взялъ его за руку, повернулъ къ зрителямъ бокомъ, закрылъ собою, импровизировалъ какой-то вздоръ стихами, застегнулъ камзолъ Семенову, даже сказалъ ему слѣдующую, забытую имъ реплику, потому что имѣлъ привычку знать наизусть піесу, въ которой играю, — и піеса сошла благополучно. Зрители наградили меня за присутствіе духа громкимъ и продолжительнымъ рукоплесканіемъ. Дядя очень смѣялся, и послѣ спектакля сказалъ мнѣ: «ну братъ, ты точно родился на сценѣ: это твой домъ».

Кажется, въ этотъ же вечеръ случилось происшествіе, за которое долго бранили дядю; да и намъ съ К — мъ досталось отъ тетки, ибо мы были признаны соучастниками и пособниками Александра Семеныча. Происшествіе состояло вотъ въ чемъ: я уже упоминалъ о дѣвицѣ Маріѣ Ардальоновнѣ Турсуковой, которая съ прекрасной наружностью соединяла свѣтскую любезность, въ хорошемъ значеніи этого слова, и образованность. Старикъ Шишковъ очень ее любилъ; но въ настоящее время, онъ былъ нѣсколько сердитъ на нее за то, что она отказала Петру Андреичу К—ну, за котораго впрочемъ чрезъ нѣсколько

лѣтъ вышла за-мужъ. У Турсуковой былъ великолѣпный рисовальный альбомъ, въ которомъ находилось множество рисунковъ, замѣчательныхъ по собственному достоинству и по именамъ европейскихъ и петербургскихъ знаменитостей и дилеттантовъ живописи. Не знаю, попадался ли прежде на глаза дядѣ этотъ альбомъ, только я и К—въ, разсматривая его въ первый разъ на столѣ въ гостиной, увидѣли, что подъ всѣми рисунками, рисованными русскими художниками и любителями, имена подписаны по французски, равно какъ имя и фамилія самой Турсуковой. Намъ показалось досадно, и мы навели дядю на то, чтобъ онъ сталъ разсматривать альбомъ; а чтобъ онъ не проглядѣлъ подписей, я указалъ ему имя извѣстнаго русскаго живописца, подписанное по-французски, и сказалъ К—ву въ полголоса, но такъ, чтобъ дядя слышалъ: «какой позоръ! русской художникъ рисуетъ для русской дѣвушки, и не смѣетъ или стыдится подписать свою фамилію русскими буквами, да и какъ исковеркалъ бѣдное свое имя!» К—въ отвѣчалъ мнѣ въ томъ же тонѣ, и дядя воспламенился гнѣвомъ: началъ бранить Турсукову, рисовальщиковъ, общество, и пробормоталъ: «жаль, что нѣтъ чернильницы и пера; я переправилъ бы ихъ имена по-русски». Въ одну минуту я принесъ чернильницу съ перомъ, и дядя широкою, густою чертою вымаралъ французскую подпись, и крупными русскими буквами, полууставомъ, подписалъ подъ ней имя и фамилію рисовавшаго живописца: кажется первый попался Кипрянскій. Дѣло было начато. Дядя расходился и, сказавъ: «да ихъ надо всѣ переправить», взялъ альбомъ и унесъ къ себѣ въ кабинетъ. Гости, изъ мужчинъ постарше, всѣ уже разъѣхались, остальные были заняты между собой, никто не обращалъ на насъ вниманія и никто не замѣтилъ нашихъ продѣлокъ. Черезъ полчаса дядя кончилъ свою работу и отдѣлалъ

альбомъ на славу: всѣ имена и фамиліи русскихъ были зачеркнуты старательно, широко, крѣпко, неопрятно — и написаны по-русски, а сверхъ того, на первой бѣлой страницѣ явились слѣдующіе стихи:

М. А. Турсуковой.

Безъ бѣлилъ ты, дѣвка, бѣла,
Безъ румянъ ты, дѣвка, ала,
Ты честь хвала отцу матери,
Сухота сердцу молодецкому.

Александръ Шишковъ.

Внизу поставилъ годъ и число.—Альбомъ вложили въ футляръ, завернули и положили на столъ, на прежнее мѣсто; никто ничего не замѣтилъ, и Турсукова увезла альбомъ домой. Подвигъ дяди открылся не вдругъ. Мы всѣ трое, разумѣется, молчали; но черезъ нѣсколько дней, пришедши, по обыкновенію, къ Шишковымъ обѣдать, мы нашли тетку въ страшномъ гнѣвѣ. Она получила поутру отчаянную записку отъ Турсуковой. Дяди не было дома, и Дарья Алексѣвна, очень любившая Турсукову (а она умѣла любить горячо, не смотря на наружную холодность), сейчасъ къ ней поѣхала, и что же она тамъ нашла?—Великолѣпнѣйшій альбомъ, объѣхавшій всю Европу и лично собравшій на свои страницы искусныя черты и славныя имена артистовъ съ ихъ почерками, чтимый и хранимый благоговѣйно, которымъ гордилась владѣтельница, какъ будто заслугой, — испачканъ, измаранъ, исписанъ варварскими и неуклюжими буквами, потому что почеркъ дяди былъ вовсе не каллиграфическій! Турсукову она нашла въ слезахъ, почти больною; отца, нѣжно любившаго единственную дочь, — огорченнымъ и разстроеннымъ. Можно себѣ представить, какъ встрѣтила Дарья

Алексѣвна своего супруга, когда онъ воротился изъ Адмиралтейства! Но что съ нимъ станешь дѣлать? На всѣ упреки и обвиненія онъ спокойно, и даже съ улыбкою отвѣчалъ, что «ему такъ слѣдовало поступить, что стыдно русской барышнѣ подписывать свое имя по-французски и тѣмъ заставлять другихъ подписывать также, что это срамъ и позоръ, что онъ очень радъ, если Марья Ардальоновна плачетъ: пускай чувствуетъ наказаніе за вину, пускай исправится»..... и проч., а за тѣмъ ушелъ въ кабинетъ, занялся Славянскимъ Корнесловіемъ и скоро забылъ Турсукову, альбомъ и раздраженную свою супругу. Въ самый разгаръ грозы попался я съ К — мъ: гнѣвъ тетки, отскочивъ отъ невозмутимаго спокойствія дяди какъ мячикъ отъ стѣны, разразился на насъ. Тетка, еще до нашего прихода, выспросила искусно все у старика и поняла, что это наше дѣло. Она такъ отдѣлала насъ съ К—мъ, что мы ушли отъ обѣда и не приходили ровно десять дней. Первые дни Шишкову какъ будто не доставало насъ; каждый разъ за обѣдомъ онъ спрашивалъ: «да гдѣ же Аксаковъ съ К—мъ?» Можетъ быть ему отвѣчали что-нибудь, а можетъ быть и ничего не отвѣчали — это было все равно; черезъ недѣлю онъ привыкъ къ нашему отсутствію и даже пересталъ объ насъ спрашивать. Но тетка въ глубинѣ души была предобрая женщина. Она любила насъ обоихъ, какъ родныхъ; ей грустно было не видѣться съ нами и, можетъ быть, даже совѣстно, что она слишкомъ насъ оскорбила. Она написала записку къ К—ву, звала его и меня и прибавила, что все прошедшее забыто. Мы пришли, и Дарья Алексѣвна искренно, со слезами, помирилась съ нами и даже обняла насъ обоихъ; тутъ я только увидѣлъ, что она и меня очень любитъ. Обращаюсь къ альбому: въ Петербургѣ не нашлось тогда искусника, который взялся бы вывесть всѣ черты,

полосы и пятна, сдѣланныя Шишковымъ; но нашелся Французъ, который взялся поправить дѣло въ Парижѣ. Альбомъ отправили туда къ какому-то химику, и чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ измаранные листы воротились чистыми и подписи были возстановлены по возможности въ прежнемъ видѣ. Листъ со стихами, написанными Шишковымъ, остался неприкосновеннымъ и его въ Парижъ не посылали.

Спектаклей у Шишковыхъ болѣе при мнѣ не было. Разъ въ недѣлю, не помню именно въ какой день, собирались у Александра Семеныча тогдашніе литераторы и кое-что читали. Сначала этѣ собранія были малочисленны. Постоянными посѣтителями были: Гаврила Романычъ Державинъ, Иванъ Иванычъ Дмитріевъ (тогдашній министръ Юстиціи), князь С. Шихматовъ, графъ Дмитрій Иванычъ Хвостовъ, Алексѣй Семенычъ Хвостовъ и князь Алекс. Алекс. Шаховской. Пріѣзжали иногда, какъ простые посѣтители и дилетанты, Николай Семенычъ Мордвиновъ, Михаилъ Михайлычъ Бакунинъ, графъ Строгановъ и А. И. Оленинъ. Видѣлъ я также раза два, сидѣвшаго въ уголку съ подобострастіемъ, Семеновскаго полковника А. А. Писарева. Въ послѣдствіи стали ѣздить П. А. Кикинъ, князь Платонъ Шихматовъ, Ник. Иванычъ Гнѣдичъ, сенаторъ Захаровъ, Висковатовъ, Стурдза, князь Горчаковъ, Станевичъ, П. Ю. Львовъ (сочинитель храма славы Русскихъ героевъ) и Гераковъ. Въ первую половину зимы 1811 года родилась и образовалась мысль составить «Бесѣду русскаго слова», которая и была приведена въ исполненіе. Я, также какъ и Писаревъ, смиренно сиживалъ иногда въ углу большой гостиной безмолвнымъ слушателемъ того, что читалось и говорилось въ этихъ собраніяхъ. По совѣсти долженъ я сказать, что ничего замѣчательнаго не происходило и, даже тогдашнимъ моимъ

понятіямъ, не удовлетворяло. Что бы кто ни прочелъ — всѣ остальные говорили одни пошлые комплименты; критическія замѣчанія были еще пошлѣе. Только иногда горячился и бормоталъ князь Шаховской, да отпускалъ злыя эпиграммы въ видѣ похвалъ Алекс. Сем. Хвостовъ на своего однофамильца графа Хвостова, который принималъ ихъ за наличную монету. Помню я одну его наивную выходку, которая заставила всѣхъ долго смѣяться. Читалъ какую-то свою піесу въ прозѣ Станевичъ; по окончаніи чтенія, Шишковъ и кто-то другой стали его хвалить; вдругъ графъ Хвостовъ всталъ съ кресель, подошелъ къ Державину, потрепалъ его по плечу и сказалъ: «Нѣтъ, Гаврила Романычъ, онъ не нашъ братъ, а ихъ братъ» и указалъ на Александра Семеныча Шишкова и П. Ю Львова. Всѣ захохотали, хотя не вдругъ поняли. Графъ Хвостовъ хотѣлъ сказать, что Станевичъ не лирикъ, а прозаикъ и критикъ.

Шишковъ не былъ увлеченъ и обольщенъ блистательнымъ успѣхомъ трагедіи Озерова «Дмитрій Донской». Онъ превозносилъ преувеличенными похвалами «Эдипа въ Аѳинахъ» и даже «Фингала», но ожесточенно нападалъ на «Дмитрія Донскаго». Шишковъ принималъ за личную обиду искаженіе характера славнаго героя Куликовской битвы, искаженіе старинныхъ нравовъ, русской исторіи и *высокаго слога*. Всего болѣе сердили его слова Донскаго, которыми онъ описываетъ, какъ увидѣлъ въ первый разъ Ксенію въ церкви:

Исчезли въ мысляхъ храмъ, останки тѣ нетлѣнны,
Предъ коими и дочь и матерь преклоненны,
Молили премѣнить на милость гнѣвъ небесъ.

«Хорошъ Великій Князь Московской, говорилъ Шишковъ! Увидавъ красивую дѣвицу въ Успенскомъ соборѣ, не взви-

дѣлъ Святыхъ мощей и забылъ о нихъ. Можно ли написать такую дичь о Русскомъ Великомъ Князѣ, жившемъ за четыреста лѣтъ до насъ?» Не менѣе сердили его слова Дмитрія, который, въ оправданіе своей любви, говоритъ Брянскому:

Не осуждай её: она счастливый даръ;
Она произвела сей доблественный жаръ,
Съ которымъ я стремлюсь отечество избавить,
Свободу возвратить и мой народъ прославить.

Александръ Семенычъ выходилъ изъ себя отъ гнѣва и говорилъ: «спасибо хоть Брянскому, который возражаетъ Дмитрію: ахъ какой же ты подлецъ!» Шишковъ очень глумился надъ словами Ксеніи, которая говоритъ Тверскому:

Обѣщана тебѣ еще въ такіе годы,
Какъ выходила я едва изъ рукъ природы,

и требовалъ отъ сочинителя, чтобъ онъ назначилъ то время, когда человѣкъ выходитъ изъ рукъ природы. Справедливость однако требуетъ сказать, что нѣкоторые стихи Шишковъ называлъ достойными Корнеля и Расина, напримѣръ:

Мой долгъ: въ день мира судъ и мужество въ день брани,

или:

Въ сраженьѣ смерть найду, но смерть завидну, славну
И предпочтительну той жизни, коей стыдъ
Побѣга вашего по гробъ обременитъ.

Само собою разумѣется, что Шишковъ не могъ примириться съ влюбленностью Димитрія и съ пріѣздомъ Ксеніи въ воинской станъ, какъ-будто для бракосочетанія съ Тверскимъ, а въ самомъ дѣлѣ для того, чтобы сказать ему въ присутствіи всѣхъ русскихъ князей, что она за него идти не хочетъ, но идетъ въ монастырь. Шиш-

ковъ не удовольствовался словесною критикою: онъ велѣлъ переплесть трагедію съ бѣлыми листами и всѣ исписалъ ихъ собственною рукою, самымъ мелкимъ почеркомъ, какимъ только могъ писать. Онъ читалъ одинъ разъ при мнѣ свои замѣчанія Мордвинову, А. С. Хвостову, Кикину и другимъ. Всѣ слушатели очень смѣялись. Въ самомъ дѣлѣ, многія полемическія выходки дяди, даже не совсѣмъ приличныя, были очень забавны. Разумѣется, Шишковъ заходилъ слишкомъ далеко и утверждалъ, что, кромѣ нѣкоторыхъ блестящихъ стиховъ, языкъ у Озерова хуже, чѣмъ у Сумарокова, и въ доказательство приводилъ, разумѣется, весьма плохіе стихи изъ «Дмитрія Донскаго», какъ напримѣръ слѣдующіе:

Пускай все воинство и вся Россія пусть
Познаютъ, коль хотятъ, любовь мою и грусть!
Лишь Ксенія признать любви сей не хотѣла,
Всей горести моей она не пожалѣла.

Или когда Ксенія говоритъ:

Когда Димитрія сіе мнѣ сердце страстно
Не престаетъ являть повсюду и всечастно.

или:

Ахъ, нѣтъ: до днесь еще толь мрачныя печали, и проч.

Для большаго эффекта, послѣ такихъ стиховъ, Александръ Семенычъ щеголялъ стихами Сумарокова изъ трагедіи «Семира».

Иду отечества къ преславной оборонѣ:
Ты будешь зрѣть меня иль мертва иль въ коронѣ.

Относительно языка у Шишкова много было натяжекъ и пустыхъ придирокъ къ мелочамъ. Я этому не удивлялся, потому что Александръ Семенычъ бывалъ пристрастенъ какъ въ похвалахъ, такъ и въ порицаніяхъ; но вотъ, что всегда меня удивляло: разобравъ весьма справедливо, и

даже иногда очень тонко, неправильность, неприличность выраженія, несогласіе его съ духомъ языка, онъ вдругъ приводилъ въ примѣръ стихи изъ Сумарокова, которые были гораздо хуже тѣхъ, на которыя онъ нападалъ. Что же касается до исторической драмы, до характеровъ дѣйствующихъ лицъ, то всѣ его замѣчанія были совершенно справедливы. Я сдѣлалъ себѣ точно такую же книжку съ бѣлыми листами и, съ позволенія Александра Семеныча, списалъ всѣ его замѣтки. Къ сожалѣнію, уѣзжая изъ Петербурга, я оставилъ эту книжку у Шушерина, который желалъ списать ее для себя, а Шушеринъ, во время переѣзда изъ Петербурга въ Москву, какъ-то потерялъ ее. Къ этому должно прибавить, что въ концѣ 1815 года или въ началѣ 1816-го, я слышалъ въ Москвѣ, какъ профессоръ Мерзляковъ разбиралъ «Димитрія Донскаго» съ каѳедры на публичной лекціи — и былъ пораженъ изумленіемъ: Мерзляковъ почти во всѣхъ своихъ критическихъ замѣчаніяхъ совершенно сходился съ Шишковымъ. Я немедленно сказалъ объ этомъ, знаменитому тогда, критику и даже сообщилъ ему нѣкоторыя полемическія замѣтки Шишкова, тогда еще хранившіяся въ моей памяти. Мерзляковъ очень забавлялся и заинтересовался ими и убѣдительно просилъ меня, какъ-нибудь отыскать этотъ любопытный разборъ, но я вскорѣ уѣхалъ на десять лѣтъ въ деревню, и книжка была забыта.

Лѣтомъ 1811 года я уѣхалъ изъ Петербурга въ Оренбургскую губернію, и съ этого времени прекратились мои частыя и близкія сношенія съ домомъ Шишковыхъ. Я пріѣзжалъ въ Петербургъ уже, такъ сказать, на побывку. Наступила вѣчно памятная эпоха 1812 года, и съ удивленіемъ узналъ я, что Александръ Семенычъ былъ сдѣланъ Государственнымъ секретаремъ на мѣсто Михайла

Михайловича Сперанскаго. Нисколько не позволяя себѣ судить, на своемъ ли онъ былъ мѣстѣ, я скажу только, что въ Москвѣ и въ другихъ внутреннихъ губерніяхъ Россіи, въ которыхъ мнѣ случилось въ то время быть, всѣ были обрадованы назначеніемъ Шишкова, и что писанные имъ манифесты дѣйствовали электрически на цѣлую Русь. Не смотря на книжныя иногда, нѣсколько напыщенныя выраженія, русское чувство, которымъ они были проникнуты, сильно отзывалось въ сердцахъ русскихъ людей.

Въ 1814 году я пріѣхалъ въ Петербургъ. Александръ Семенычъ только что воротился изъ чужихъ краевъ. Онъ жилъ уже не въ прежнемъ своемъ скромномъ домикѣ на Форштатской улицѣ, а въ великолѣпной казенной квартирѣ противъ дворца. Образъ жизни его измѣнился; ученые филологическіе труды прекратились; другіе люди стали посѣщать его; другія мысли и заботы наполняли его умъ и душу, и живое воспоминаніе, только что разыгранной, исполинской драмы, въ которой самъ онъ былъ важнымъ дѣйствующимъ лицемъ и двигателемъ народнаго духа Святой Руси,—подавило его прежніе интересы; но онъ встрѣтилъ меня и брата съ прежнимъ радушіемъ и съ видимымъ удовольствіемъ; Дарья Алексѣвна — также. Перемѣна въ общественномъ положеніи не произвела въ нихъ никакой перемѣны. Много наслушался я разсказовъ любопытныхъ и поучительныхъ, но разсказамъ этимъ здѣсь не мѣсто. Впрочемъ нѣкоторая часть слышаннаго мною напечатана въ собственныхъ запискахъ Шишкова. Мы бывали у Шишковыхъ не такъ часто, какъ прежде, но непремѣнно всякую недѣлю.

Въ это время ходила по Петербургу пародія извѣстнаго стихотворенія Жуковскаго «Пѣвецъ въ станѣ русскихъ воиновъ», написанная на Шишкова и на всю вообще «Бе-

сѣду русскаго слова». Одинъ разъ племянникъ Александра Семеныча, Саша Шишковъ, бывъ со мной въ кабинетѣ у дяди, сказалъ мнѣ на ухо: «Еслибъ дядя зналъ, что̀ у меня въ карманѣ!»—«Что-же у тебя такое?» спросилъ я.—«Пародія на дядю и на всю Бесѣду, написанная Батюшковымъ» (*). Старикъ Шишковъ былъ занятъ чѣмъ-то другимъ. Я пробѣжалъ пародію и положилъ въ карманъ, сказавъ Сашѣ, что я прочту ее дядѣ, который выслушаетъ ее съ удовольствіемъ. Саша умолялъ меня не дѣлать этого; но я не послушалъ и обратившись къ Александру Семенычу, сказалъ: «Знаете ли вы, что по Петербургу ходитъ пародія «Пѣвца въ станѣ русскихъ воиновъ» на васъ и на всѣхъ членовъ Бесѣды:—«Нѣтъ, не знаю. Да хороша ли?» —«Всѣ хвалятъ, сказалъ я, хотите я вамъ прочту?» —«Прочти, пожалуйста».—И я при всѣхъ, кто были въ кабинетѣ, торжественно прочелъ пародію. Александръ Семенычъ былъ очень доволенъ, улыбался, и когда я кончилъ, сказалъ: «Это забавно. Дайте мнѣ, пожалуйста, списокъ». Саша очень струсилъ, что я отдамъ тотъ, по которому читалъ, написанный его рукою, но я вывелъ его изъ затрудненія, отдавъ ему списокъ и сказавъ: «Саша вамъ спишетъ». Изъ этой баллады уцѣлѣли въ моей памяти слѣдующіе стихи:

Да здравствуетъ Бесѣды царь!
Цвѣти твоя держава!
Бумажный тронъ твой—нашъ алтарь,
Предъ нимъ обѣтъ нашъ—слава!
Не измѣнимъ, мы отъ отцевъ
Пріяли глупость съ кровью.
Сумбуръ! Здѣсь сонмъ твоихъ сыновъ,
Къ тебѣ горимъ любовью.

(*) Я не повѣрилъ тогда, что она написана Батюшковымъ, но М. А. Дмитріевъ недавно доказалъ, что эта пародія точно принадлежитъ Батюшкову.

Нашъ каждый писарь—Славянинъ,
Галиматьею дышетъ;
Бѣжитъ предатель ихъ дружинъ
И галицизмы пишетъ.

Вотъ конецъ куплета, непосредственно относившагося къ Александру Семенычу, а начала не помню.

Ошую пусть сидитъ съ тобой
Осьмое чудо свѣта,
Твой сынъ, шаперсникъ и клеврет
Шихматовъ безглагольный (*);
Какъ ты, Славянъ краса и цвѣтъ,
Какъ ты, собой довольный.

Въ началѣ 1815 года, семейныя обстоятельства внезапно вызвали меня изъ Петербурга. Оставя брата жить у полковника Мартынова и поручивъ его вниманію и участію Шишковыхъ, я поскакалъ, сломя голову, въ Вятскую, а потомъ въ Оренбургскую губернію. Съ 1807 года я не разставался съ братомъ, и это была первая разлука.

Въ 1816 году я пріѣзжалъ изъ Москвы, гдѣ тогда жило все наше семейство, на три мѣсяца въ Петербургъ, собственно за тѣмъ, чтобъ взглянуть на брата: я нашелъ его любимцемъ обоихъ Шишковыхъ. Эти три мѣсяца я былъ совершенно поглощенъ неожиданнымъ знакомствомъ съ Державинымъ, знакомствомъ, въ нѣсколько дней сдѣлавшимся близкимъ и задушевнымъ, навсегда сохранившимъ для меня великое значеніе. Съ Александромъ Семенычемъ я видался рѣдко, за что онъ мнѣ даже пѣнялъ.

Здѣсь слѣдуетъ огромный промежутокъ времени: я женился и уѣхалъ на десять лѣтъ въ Оренбургскую деревню. Я переѣхалъ на житье въ Москву въ 1826 году, во время

(*) У Шихматова почти не было рифмъ на глаголы.

коронаціи, и нашелъ въ Москвѣ Шишкова уже министромъ Народнаго Просвѣщенія. Много совершилось перемѣнъ въ это десятилѣтіе! Доброй, истинно доброй и достойной уваженія Дарьи Алексѣвны Шишковой—уже не было на свѣтѣ: Богъ послалъ ей страдальческую кончину. Александръ Семенычъ, имѣя нужду въ нянькѣ, какъ самъ говорилъ мнѣ, женился, не смотря на свои преклонныя лѣта и хворость, на Полячкѣ и католичкѣ, Ю. О. Л—ской, къ общему удивленію и огорченію всѣхъ близкихъ къ нему людей. Въ Москвѣ, такъ же какъ и прежде, Шишковъ встрѣтилъ меня съ неизмѣннымъ радушіемъ и ласкою. Не видавши меня десять лѣтъ, онъ очень мнѣ обрадовался, разспрашивалъ меня обо всѣхъ подробностяхъ деревенской жизни, обо всемъ, что я дѣлалъ; удивлялся какъ я могъ прожить въ такой глуши десять лѣтъ и, выслушавъ внимательно мои причины, мою цѣль, простодушно мнѣ сказалъ: «Ну, братъ, я тебя еще больше уважаю и скажу тебѣ правду, что ты въ деревнѣ не одичалъ и не поглупѣлъ». Разсказывая откровенно Шишкову мои обстоятельства, я говорилъ ему, что мнѣ нужно мѣсто въ Москвѣ, съ порядочнымъ жалованьемъ. Я говорилъ въ то же время о новомъ, особомъ цензурномъ комитетѣ въ Москвѣ, о хорошемъ цензорскомъ жалованьѣ и спрашивалъ: кого онъ имѣетъ въ виду для занятія этихъ мѣстъ? Недогадливость Шишкова осталась прежняя. Онъ отвѣчалъ мнѣ, что охотниковъ и просьбъ объ нихъ много, но самъ онъ еще не выбралъ никого; такъ мы и разстались. Дѣлать было нечего. Дня чрезъ два я опять пріѣхалъ къ нему и спросилъ его прямо: «не могу ли я занять мѣсто цензора?» Шишковъ былъ очень радъ и отвѣчалъ мнѣ: «Почему же нѣтъ? Лучшаго цензора я желать не могу. Въ твоихъ правилахъ я увѣренъ, какъ въ моихъ собственныхъ»... и очень удивлялся, какъ это ему самому

не пришло въ голову. Онъ немедленно назначилъ меня цензоромъ и уѣхалъ въ Петербургъ.

Что касается до управленія министерствомъ народнаго просвѣщенія, то я не беру на себя судить объ этомъ. Шишковъ, можетъ быть, слишкомъ односторонне смотрѣлъ на предметы и вездѣ проводилъ свои убѣжденія, благія и честныя въ основаніи, но уже устарѣвшія, или лучше сказать, потерявшія свою важность. Время шло быстро. Шишковъ не всегда это замѣчалъ и, живя въ прошедшемъ, иногда не видѣлъ потребностей настоящаго. Шишковъ боролся упорно, но наконецъ убѣдившись, что онъ, какъ министръ, не можетъ быть полезенъ,—вышелъ въ отставку.

Въ 1829 году я пріѣзжалъ въ Петербургъ на короткое время и видѣлся съ Шишковымъ нѣсколько разъ. Здоровье его начинало слабѣть. Онъ жаловался мнѣ на свои глаза, говоря, что уже не можетъ такъ много читать и писать, какъ прежде. Онъ оставался членомъ Государственнаго Совѣта, Президентомъ Россійской академіи и получалъ всѣ прежніе свои оклады, слѣдовательно могъ жить въ довольствѣ. Общество его совершенно перемѣнилось. Шишковъ, заклятой врагъ католиковъ и Поляковъ—былъ окруженъ ими. Новая супруга наводнила его домъ людьми совсѣмъ другаго рода, чѣмъ прежде, и я не могъ равнодушно видѣть достопочтеннаго Шишкова посреди разныхъ усачей, самонадѣянныхъ и заносчивыхъ, болтавшихъ всякой вздоръ и обращавшихся съ нимъ слишкомъ запросто. Хотя Шишковъ, по видимому, спокойно примирялся съ новымъ своимъ положеніемъ, но смотрѣть на него было мнѣ слишкомъ тяжело. Я пріѣзжалъ къ нему всего раза три, да и всѣ прежніе знакомые стали рѣдко къ нему ѣздить.

Въ 1832 или 1833 году пріѣзжалъ Александръ Семенычъ со своей молодой супругой въ Москву, чтобъ лечиться искусственными минеральными водами, которыхъ въ Петербургѣ еще не было. Онъ жилъ у старинныхъ своихъ друзей, Бакуниныхъ. Я не рѣдко приходилъ къ нему; онъ всегда былъ мнѣ очень радъ и охотно говорилъ о русской словесности. Я представилъ тогда ему моего старшаго сына, который былъ воспитанъ въ чувствахъ уваженія къ Шишкову. Александръ Семенычъ очень его полюбилъ и даже обласкалъ, вопреки своей обыкновенной неласковости. Воды не помогли больному, уже дряхлому старику: напротивъ были вредны, и онъ скоро уѣхалъ въ Петербургъ. Памятникомъ этого послѣдняго пребыванія Шишкова въ Москвѣ остался у меня одиннадцатый томъ Русской Исторіи Карамзина, изданный послѣ его смерти Д. Н. Блудовымъ. Шишковъ бралъ его у меня, чтобъ прочесть, и сдѣлалъ на поляхъ много замѣтокъ. Въ это же время представилъ я Александру Семенычу, какъ Президенту Русской Академіи, Ю. И. Венелина, книгу котораго «Древніе и нынѣшніе Болгаре», онъ зналъ и очень уважалъ. Слѣдствіемъ этого знакомства было путешествіе Венелина въ Болгарію. По предложенію Шишкова, Россійская Академія назначила Венелину три тысячи рублей ассигнаціями на путевыя издержки.

Въ 1836 году я опять ѣздилъ въ Петербургъ. Здоровье Александра Семеныча Шишкова и особенно зрѣніе очень ослабѣли; но я нашелъ его бодрымъ духовно и даже иногда веселымъ. Онъ почти ощупью отыскивалъ въ шкафѣ нужную ему книгу, доставалъ ее и заставлялъ меня кое-что прочесть вслухъ. Въ одной рукописной его книгѣ (не помню, какъ она называлась) читалъ я, признаюсь, съ предубѣжденіемъ и недовѣрчивостью, пред-

сказаніе Шишкова о будущей судьбѣ Европы, о всѣхъ ея революціяхъ и безвыходныхъ неустройствахъ. Увы! все исполнилось и исполняется съ поразительною вѣрностью. Шишковъ говорилъ мнѣ, что онъ, одиннадцать лѣтъ тому назадъ, письменно предсказалъ за годъ одно важное событіе, но что тогда только смѣялись надъ нимъ; да и послѣ, когда предсказаніе исполнилось, никто не обратилъ на это вниманія.—Одинъ разъ, вдругъ вошла къ намъ въ кабинетъ молодая дама или дѣвушка, которая была необыкновенно хороша собою; Шишковъ былъ такъ любезенъ и веселъ съ нею, что я во всю мою жизнь никогда его такимъ не видывалъ. Когда красавица ушла, Александръ Семенычъ со вздохомъ сказалъ мнѣ: «скверное, братъ, положеніе, не могу различить прекрасной женщины отъ урода». Подивился я такимъ словамъ, какихъ никогда прежде отъ него не слыхивалъ. Не знаю почему, только вторая супруга не показывалась въ кабинетъ Александра Семеныча: за нимъ ходили внимательно и нѣжно его родныя племянницы.

Въ 1839 году, въ ноябрѣ, я пріѣзжалъ въ Петербургъ вмѣстѣ съ Гоголемъ. Шишковъ былъ уже совершенно слѣпъ. Я навѣщалъ довольно часто Александра Семеныча: онъ былъ еще на ногахъ, но становился часъ отъ часу слабѣе, и жизнь видимо угасала въ немъ. Я никогда не говорилъ съ Шишковымъ о Гоголѣ: я былъ совершенно убѣжденъ, что онъ не могъ, не долженъ былъ понимать Гоголя. Въ это-то время бывалъ я свидѣтелемъ, какъ Александръ Семенычъ кормилъ цѣлую стаю голубей, ощупью отворяя форточку и выставляя кормъ на тарелкѣ.

Наконецъ, въ исходѣ 1840 года, одно печальное происшествіе неожиданно вызвало меня въ Петербургъ, и я видѣлъ въ послѣдній разъ Александра Семеныча Шишкова. Это былъ уже трупъ человѣческій, недвижимый и

безгласный. Только близко наклонясь къ нему, можно было замѣтить, что слабое дыханіе еще не прекратилось. Мнѣ разсказывали, что онъ и прежде бывалъ иногда въ такомъ положеніи по нѣскольку недѣль, что его жизнь поддерживали, вливая ему въ ротъ раза четыре въ день по нѣскольку ложекъ бульона, что иногда вдругъ это состояніе проходило, онъ какъ будто просыпался, начиналъ сидѣть на постели, вставать и ходить по комнатѣ съ помощію другихъ, и выѣзжалъ прокатываться. Академическія засѣданія собирались у него въ комнатѣ. Разсказывали мнѣ также, что одинъ разъ во время подобнаго летаргическаго сна, когда уже никто не церемонился около него, говорили громко, шумѣли и ходили, какъ около покойника, къ которому всѣ равнодушны, вдругъ вбѣжалъ камердинеръ и сказалъ довольно тихо, что Государь остановился у воротъ и прислалъ спросить о здоровьѣ Александра Семеныча. Къ общему изумленію, почти испугу, въ ту же минуту Шишковъ открылъ глаза и довольно твердымъ голосомъ сказалъ: «Благодарю Государя! Скажи Ему, что мнѣ лучше»—и впалъ въ прежнее безчувствіе, продолжавшееся еще двѣ недѣли. Вскорѣ по возвращеніи въ Москву, получилъ я извѣстіе, что отлетѣло послѣднее дыханіе жизни, такъ долго боровшееся со смертію, что Александръ Семенычъ скончался.

Много несправедливаго, невѣрнаго, смѣшнаго и нелѣпаго говорило объ этомъ человѣкѣ—злоязычіе человѣческое. Но откинувъ въ сторону всѣ тонкія разсужденія о недостаткахъ и слабостяхъ почившаго брата, нельзя не сознаться, что проходя обширное, многозначительное поприще службы, въ самыхъ трудныхъ обстоятельствахъ Государства, начавъ съ Морскаго Кадетскаго Корпуса, гдѣ Шишковъ былъ при Екатеринѣ учителемъ, дойдя до высокаго мѣста Государственнаго секретаря, съ котораго онъ двигалъ

духомъ Россіи писанными имъ манифестами въ 1812 году, Шишковъ имѣлъ одну цѣль: общую пользу; но и для достиженія этой святой цѣли, никакихъ уступокъ онъ не дѣлалъ. Никогда Шишковъ для себя ничего не искалъ, ни одному Царю лично не льстилъ; онъ искренно вѣрилъ, что Цари отъ Бога, и былъ преданъ всею душею царскому сану, благоговѣлъ предъ нимъ. Шишковъ безъ всякаго униженія могъ поклониться въ ноги своему природному Царю; но стоя на колѣнахъ, онъ говорилъ: «не дѣлай этого, Государь, это не хорошо». Убѣжденія Шишкова были часто ошибочны, но всегда честны. Онъ не выходилъ изъ круга умственныхъ понятій своего времени, круга не рѣдко тѣснаго и ограниченнаго, но не измѣнялъ своимъ правиламъ никогда. Эту твердость называли упрямствомъ, изувѣрствомъ; но Боже мой, какъ бы я желалъ многимъ добрымъ людямъ настоящаго времени, поболѣе этого упрямства, этой горячей ревности!—На литературномъ поприщѣ, которое предшествовало государственному, Шишковъ дѣйствовалъ точно также. Онъ возсталъ противъ побѣдоноснаго могущества новизны и таланта, всѣхъ плѣнившаго, всѣхъ увлекшаго за собою, возсталъ, потому что считалъ это увлеченіе вреднымъ, возсталъ одинъ противъ несмѣтнаго полчища поклонниковъ торжествующей новизны, сильныхъ и раздражительныхъ; онъ былъ осмѣянъ, униженъ, ненавидимъ, гонимъ общественнымъ мнѣніемъ большинства..... но онъ сдѣлалъ свое дѣло. Старовѣръ, гасильникъ, Славянофилъ Шишковъ—открылъ глаза Карамзину на вредныя послѣдствія его нововведеній въ русское слово. Самъ благородный и добрый Карамзинъ говорилъ мнѣ (въ 1816 году), что «у Александра Семеныча много гнѣва, много желчи, много личной къ нему враждебности, а потому много и несправедливаго, но есть много и правды». Въ дѣлѣ суда и осужденія общественной нравственности, связан-

номъ неразрывно у Шишкова съ дѣломъ литературы, — онъ былъ еще справедливѣе и заслуживаетъ еще болѣе уваженія, хотя мало имѣлъ вліянія и оказалъ, можетъ быть, менѣе пользы. Собственно же за русское направленіе, за славянофильство, какъ бы Шишковъ ни понималъ его криво, которое онъ исповѣдывалъ и проповѣдывалъ, съ юныхъ лѣтъ до гробовой доски, котораго былъ мученикомъ— онъ имѣетъ полное право на безусловную, сердечную нашу благодарность. Исторія будетъ безпристрастнѣе, справедливѣе насъ. Имя Шишкова, какъ литератора, какъ общественнаго и нравственнаго писателя, какъ государственнаго человѣка, какъ двигателя своей эпохи — займетъ почетное мѣсто на ея страницахъ, и потомство съ бо́льшимъ сочувствіемъ, чѣмъ мы, станетъ повторять стихи Пушкина:

Сей старецъ дорогъ намъ; онъ блещетъ средь народа
Священной памятью двѣнадцатаго года.

ЗНАКОМСТВО

СЪ ДЕРЖАВИНЫМЪ.

ЗНАКОМСТВО

СЪ ДЕРЖАВИНЫМЪ.

Въ половинѣ декабря 1815-го года пріѣхалъ я въ Петербургъ на короткое время, чтобы взглянуть на брата, котораго я въ 1814 году опредѣлилъ подпрапорщикомъ въ Измайловскій полкъ. Братъ жилъ у полковника, Павла Петровича Мартынова, моего земляка и короткаго пріятеля, который, какъ и всѣ офицеры, квартировалъ въ извѣстномъ Гарновскомъ домѣ; я помѣстился также у Мартынова. Гарновскій домъ, огромное зданіе безъ всякой архитектуры,—какъ и всѣ почти дома въ Петербургѣ, — казармы Измайловскаго и Лейбъ-егерскаго полковъ, одолженъ своей извѣстностью стихамъ Державина ко «Второму сосѣду». Исторія богача Гарновскаго, построившаго свой огромный домъ рядомъ съ домомъ Державина выше законной мѣры и затемнившаго свѣтъ своему сосѣду,—въ свое время была извѣстна всѣмъ. Державинъ жаловался полиціи и написалъ стихи. Вотъ нѣкоторыя пророческія строфы изъ этого стихотворенія.

Почто же, мой вторый сосѣдъ,
Столь зданьемъ пышнымъ, столь отличнымъ
Мнѣ солнца застѣнія свѣтъ,

Дворец некуешь безграничный
Ты дома моего заборы?
Уже-ль полей, прудов и рѣчек,
Тьми скупленных тобой местечек,
Твой не насытят взоры?

Кто весть, что Рокъ готовитъ нам?
Быть можетъ, что сіи чертоги,
Назначены тобой царям,
Жестоки времена и строги
Во стойлы конски обратят.
За счастіе поруки нѣту,
И чтобъ твой Фебъ святилъ вѣкъ свету,
Не бейся объ заклад.

Такъ, такъ! Но примѣчай, какъ день
Увы! Ночь темна затмѣваетъ;
Луну скрываетъ облакъ, тѣнь;
Она растетъ, иль убываетъ:
Съ сумой не сорься и тюрьмой, и проч.

Пышное зданіе обратилось въ казармы, а богачъ-строитель, какъ говорятъ, умеръ въ тюрьмѣ.

Я пріѣхалъ въ Петербургъ вечеромъ. Хозяина моего, Мартынова, не было дома, брата также: братъ былъ у товарищей своихъ, Измайловскихъ же подпрапорщиковъ, Капнистовъ, родныхъ племянниковъ Державина, живущихъ въ домѣ у дяди и коротко познакомившихъ моего брата съ гостепріимнымъ хозяиномъ. За братомъ послали. Между тѣмъ, узнавъ о моемъ пріѣздѣ, пришли ко мнѣ Измайловскіе офицеры: Кавелинъ, Годеинъ, Лопухинъ и Квашнинъ-Самаринъ. Я былъ особенно друженъ съ Кавелинымъ, который въ послѣднее время сдѣлался очень короткимъ знакомымъ въ домѣ Державина и бывалъ у него очень часто. Послѣ первыхъ дружескихъ привѣтствій, Кавелинъ спросилъ меня: знаю ли я, что Державинъ нетерпѣливо меня ожидаетъ? Что уже съ недѣлю, какъ онъ

всякій день спрашиваетъ, не пріѣхалъ ли я?—Такія слова сильно меня озадачили. Я былъ самымъ горячимъ, самымъ страстнымъ поклонникомъ Державина и зналъ наизусть всѣ его лучшіе стихи; я много разъ видалъ его въ публикѣ, особенно до 1812 года, у А. С Шишкова, но никогда не былъ ему представленъ, не былъ съ нимъ знакомъ. На двадцать четвертомъ году жизни, при моей пылкой природѣ, слова: «Державинъ тебя нетерпѣливо ожидаетъ», имѣли для меня такое волшебное значеніе, которое, въ теперешнее положительное время, едва ли будетъ многими понято. Не успѣлъ я очнуться отъ изумленія и радости, какъ прибѣжалъ мой братъ и первыя слова его были: «Гаврила Романычъ проситъ тебя придти къ нему сейчасъ....» Я совершенно обезумѣлъ. Наконецъ опомнившись, спрашиваю: «что же все это значитъ?» и узнаю, что братъ мой, бывшій тогда восьмнадцатилѣтнимъ юношей, Кавелинъ и другіе, до того нахвалили Державину мое чтеніе, называемое тогда *декламаціей*, что онъ, по своему горячему нраву нетерпѣливо желалъ меня послушать, или, какъ онъ самъ впослѣдствіи выражался, «послушать себя». Я не могъ идти сейчасъ; я былъ красенъ съ дороги, какъ вареный ракъ, и голосъ у меня *сълъ*, то-есть, не былъ чистъ, а я, разумѣется, хотѣлъ показаться Державину *во всемъ блескѣ*.—Кстати сказать здѣсь нѣсколько словъ о чтеніи, объ искусствѣ читать: ибо умѣнье и дарованье чтенія могутъ быть возведены на степень искусства. Чтеніе было моей страстью съ самыхъ дѣтскихъ лѣтъ; оно доставило мнѣ много сердечныхъ наслажденій въ семьѣ, въ кругу друзей, въ уединеніи, много доставило лестныхъ самолюбію успѣховъ въ обществѣ и на сценѣ, такъ называемыхъ, благородныхъ театровъ. Не одинъ разъ давалъ я себѣ и другимъ обѣщаніе написать нѣчто въ родѣ разсужденія объ умѣньѣ читать, разсужденія,

которое могло бы служить не руководствомъ, а нѣкоторымъ объясненіемъ этого дѣла для людей, имѣющихъ охоту къ чтенію и талантъ, потому что безъ природнаго дарованія нечего за это дѣло и браться. Не одинъ разъ принимался я за исполненіе моего обѣщанія, но всегда былъ совершенно недоволенъ написаннымъ: такъ все казалось неудовлетворительно, непонятно, не выражало мысли, что я никогда не имѣлъ терпѣнья кончить, и уничтожалъ черновые листы, а мнѣ помнится, въ нихъ находилось кое-что удачно схваченное и хорошо выраженное. Чтеніе въ обширномъ, высокомъ его значеніи — не только основаніе сценическаго искусства, но почти тоже, что игра на театрѣ. Надобно вполнѣ почувствовать, вполнѣ усвоить себѣ то, что читаешь; вполнѣ овладѣть своими средствами, какъ-то: чистотою произношенія, управленіемъ выработаннаго предварительно голоса и, что всего важнѣе, управленіемъ собственными чувствами, мѣрою теплоты и одушевленія.... но я не хочу вдаваться въ разсужденіе объ искусствѣ читать. Я хотѣлъ только опредѣлить его сущность и значеніе, что̀ считаю нужнымъ для моего разсказа о первомъ свиданіи и знакомствѣ съ Державинымъ.

На другой день, въ десять часовъ утра, явился за мной посланный отъ Гавриилы Романыча, и въ одиннадцать часовъ я пошелъ къ нему вмѣстѣ съ братомъ, не смотря на то, что еще не прошли на моемъ лицѣ слѣды безобразія отъ русской зимней дороги. Сердце билось у меня сильно, и врожденная мнѣ необыкновенная застѣнчивость, отъ которой я тогда еще не совсѣмъ освободился, вдругъ овладѣла мною въ высшей степени. Еслибъ дорога не состояла только изъ нѣсколькихъ десятковъ шаговъ, вѣроятно я воротился бы назадъ; но вошедъ въ домъ Державина и вступивъ въ залу, я переродился. Робость моя улетѣла мгновенно, когда глазамъ моимъ представилась

картина Тончи, изображающая Державина посреди снѣговъ, сидящаго у водопада, въ медвѣжьей шубѣ и бобровой шапкѣ (*)..... Геній поэзіи Державина овладѣлъ всѣми способностями моей души, и въ эту минуту уже ничто не могло привесть меня въ замѣшательство. — Со мною случилось точно то, что̀ всегда случалось предъ выходомъ на сцену въ какой-нибудь, хотя нѣсколько значительной роли. Бывало, лишь только раздастся музыка увертюры, я начинаю дрожать, какъ въ лихорадкѣ, отъ внутренняго волненія; часто я приводилъ въ страхъ моихъ товарищей-актеровъ, не знавшихъ еще за мной этихъ продѣлокъ; но съ первымъ шагомъ на сцену я былъ уже другой человѣкъ, помнилъ только представляемое мною лице, и многочисленная публика для меня не существовала: я игралъ точно такъ, какъ репетировалъ роль наканунѣ, запершись въ своей комнатѣ.... виноватъ, я увлекся въ сторону и опять занялся исключительно собой; даю слово, что больше этого не будетъ. — Изъ залы налѣво была дверь въ кабинетъ Державина; я благоговѣйно, но смѣло вошелъ въ это святилище русской поэзіи. Гаврила Романычъ сидѣлъ на огромномъ диванѣ, въ которомъ находилось множество ящиковъ; передъ нимъ на столѣ лежали бумаги, въ рукахъ у него была аспидная доска и грифель, привязанный ниткой къ рамкѣ доски; онъ быстро отбросилъ ее на диванъ, всталъ съ живостью, протянулъ мнѣ руку и сказалъ: «добро пожаловать, я давно васъ жду. Я читалъ ваши прекрасные стихи (**) (Державинъ былъ плохой судья и чужихъ и своихъ стиховъ), наслышался, что вы мастерски декламируете и нетерпѣливо

(*) Эта картина впослѣдствіи была въ Москвѣ у роднаго племянника Державина, А. Н. Львова, скончавшагося въ 1849 году.

(**) Переводъ Филоктета.

хотѣлъ съ вами познакомиться».—Державинъ былъ довольно высокаго роста, довольно широкаго, но сухощаваго сложенія; на немъ былъ колпакъ, остатки сѣдыхъ волосъ небрежно изъ-подъ него висѣли; онъ былъ безъ галстуха, въ шелковомъ зеленомъ шлафрокѣ, подпоясанъ такого же цвѣта шнуркомъ съ большими кистями, на ногахъ у него были туфли; портретъ Тончи походилъ на оригиналъ, какъ двѣ капли воды. Я отвѣчалъ Державину искренно, что «считаю настоящую минуту счастливѣйшею минутою моей жизни, и если чтеніе мое ему понравится....» Онъ перервалъ меня, сказавши: «О, я увѣренъ, что понравится; садитесь вотъ здѣсь, поближе ко мнѣ», и онъ посадилъ меня на кресло возлѣ самаго дивана.—«Вы чѣмъ-то занимались, не помѣшалъ ли я вамъ?»—«О нѣтъ, я всегда что-нибудь мараю, перебираю старое, чищу и глажу, а новаго не пишу ничего. Мое время прошло. Теперь ваше время. Теперь многіе пишутъ славные стихи, такіе гладкіе, что относительно версификаціи уже ничего не остается желать. Скоро явится свѣту второй Державинъ: это Пушкинъ, который уже въ Лицеѣ перещеголялъ всѣхъ писателей. Но позвольте: вѣдь мы съ вами съ одной стороны? Вы Оренбурецъ и Казанецъ, и я тоже; вы учились въ Казанской гимназіи сначала и потомъ перешли въ университетъ, и я тоже учился въ Казанской гимназіи, а объ университетѣ тогда никто и не помышлялъ. Да мы съ вами и сосѣди по Оренбургскимъ деревнямъ; я обо всемъ разспросилъ братца вашего. Мое село, Державино, вѣдь не съ большимъ сто верстъ отъ имѣнія вашего батюшки (сто верстъ считалось тогда сосѣдствомъ въ Оренбургской губерніи)....» Гаврила Романычъ подозвалъ къ себѣ моего брата, приласкалъ его, потрепавъ по плечу, и сказалъ, что онъ прекрасный молодой человѣкъ, что очень радъ его дружбѣ съ своими Капнистами, и прибавилъ:

«да тебѣ не пора ли на ученье? пріятели твои, я видѣлъ, ушли».—«Пора, Гаврила Романычъ, отвѣчалъ мой братъ, и я сейчасъ пойду».—«Ступай съ Богомъ, а съ братцемъ твоимъ мы уже познакомимся». И мы остались одни. Державинъ былъ такъ деликатенъ, что не заставилъ меня сейчасъ читать, хотя ему очень этого хотѣлось, какъ онъ самъ впослѣдствіи, смѣясь, мнѣ признавался. Онъ завелъ со мной довольно длинный разговоръ объ Оренбургскомъ краѣ, о тамошней природѣ, о Казани, о гимназіи, университетѣ, и на этотъ разъ заставлялъ уже больше говорить меня, а самъ внимательно слушалъ. Я говорилъ безъ запинки, съ одушевленіемъ, и нѣсколько разъ наводилъ разговоръ на стихи, и наконецъ, какъ-то кстати, прочелъ нѣсколько его стиховъ изъ стихотворенія «Арфа», гдѣ онъ обращается къ Казани:

О колыбель моихъ первоначальныхъ дней,
Невинности моей и юности обитель!
Когда я освѣщусь опять твоей зарей
И твой попрежнему всегдашній буду житель?
Когда наслѣдственны стада я буду зрѣть,
Висъ, дубы Камскіе, отъ времени почтенны,
По Волгѣ между селъ на парусахъ летѣть
И гробы обнимать родителей священны?

Лице Державина оживилось, глаза вспыхнули. «Вы хотите мнѣ что-нибудь прочесть», воскликнулъ онъ, и въ глазахъ его засвѣтился тотъ святой огонь, который внушилъ ему многія безсмертныя строфы.—«Всею душею хочу, отвѣчалъ я; только боюсь, чтобы счастіе читать Державину его стихи, не захватило у меня дыханья». — Державинъ взглянулъ на меня, и, видя, что это не комплиментъ, а чистая правда, схватилъ меня за руку и ласково промолвилъ: «такъ успокойтесь». — Наступило молчаніе. Державинъ всталъ и началъ выдвигать ящики, которыхъ находилось множество по бокамъ его большаго

дивана и какъ-то надъ спинкой дивана. На ящикахъ, бронзовыми буквами были написаны названія мѣсяцевъ, а на нѣкоторыхъ—года. Гаврила Романычъ долго чего-то искалъ въ нихъ и наконецъ вытащилъ двѣ огромныя тетради или книги, переплетенныя въ зеленый сафьянный корешокъ. «Въ одной книгѣ мои мелочи, сказалъ онъ, а объ другой поговоримъ послѣ. Вы что хотите мнѣ читать? вѣрно оды: Бога, Фелицу или Видѣніе Мурзы?...» —«Нѣтъ, отвѣчалъ я: ихъ читали вамъ многіе; особенно актеръ Яковлевъ. Я желаю прочесть вамъ оду на смерть князя Мещерскаго и Водопадъ».—«А я хотѣлъ вамъ предложить прочесть мою трагедію». — «Сердечно радъ, но позвольте мнѣ начать этими двумя стихотвореніями».—«Извольте». — «Я знаю наизусть почти всѣ ваши стихи; но на всякой случай я желалъ бы имѣть въ рукахъ ваши сочиненія: вѣрно онѣ есть у васъ». — «Какъ не быть, улыбнувшись сказалъ Державинъ,—какъ сапожнику не имѣть шильевъ» (сравненіе довольно странное), и онъ досталъ, также изъ ящика, свои стихотворенія, богато переплетенныя въ красный сафьянъ съ золотомъ. Я зналъ, что читать, сидя очень близко отъ человѣка, которому читаешь, неудобно и невыгодно, и потому пересѣлъ на кресло, стоявшее довольно далеко отъ Державина; онъ хотѣлъ удержать меня, говоря, что не такъ будетъ слышно, но я увѣрилъ его, что онъ услышитъ все. Наружное мое волненіе затихло и сосредоточилось въ душѣ. Я прочелъ оду къ Перфильеву на смерть князя Мещерскаго. Съ первыми стихами:

Глаголъ временъ, металла звонъ,
Твой страшный гласъ меня смущаетъ,
Зоветъ меня, зоветъ твой стонъ,
Зоветъ — и къ гробу приближаетъ —

Державинъ превратился въ слухъ, лице его сдѣлалось лучезарнымъ, руки пришли въ движеніе. Когда я прочелъ:

Глядитъ на всѣхъ—и на царей,
Кому въ державу тѣсны міры;
Глядитъ на пышныхъ богачей,
Что въ златѣ и сребрѣ кумиры;
Глядитъ на прелесть и красы,
Глядитъ на разумъ возвышенный,
Глядитъ на силы дерзновенны —
И точитъ лезвее косы. —

Державинъ содрогнулся. Едва я произнесъ послѣднія стихи:

Жизнь есть небесъ мгновенный даръ,
Устрой ее себѣ къ покою,
И съ чистою твоей душею
Благословляй судебъ ударъ.—

Державинъ уже обнималъ меня со слезами на глазахъ. Онъ не вдругъ сталъ меня хвалить. Онъ молча сѣлъ опять на свое мѣсто, посадилъ и меня на прежнее кресло и, держа за руку, сказалъ тихимъ, растроганнымъ голосомъ: «Я услышалъ себя въ первый разъ....» и вдругъ прибавилъ громкимъ голосомъ, съ какимъ-то пошлымъ выраженіемъ (что̀ меня очень непріятно поразило): «Мастеръ, первый мастеръ! Куда Яковлеву! вы его, батюшка, за поясъ заткнете», и въ тоже время я примѣтилъ, что Державинъ вдругъ сдѣлался чѣмъ-то озабоченъ, что у него было что-то другое на умѣ. Онъ опять всталъ, вынулъ другую рукописную книгу; нѣсколько разъ бралъ въ руки то ту, то другую, и наконецъ одну спряталъ, а другую оставилъ на столѣ. Я видѣлъ ясно, что сильное впечатлѣніе, произведенное чтеніемъ оды къ Перфильеву, у Державина быстро прошло и что ему ужасно хочется, чтобъ я читалъ трагедію. Скрѣпя сердце я пожертвовалъ на этотъ разъ «Водопадомъ», и хорошо сдѣлалъ: Державинъ сталъ бы слушать меня разсѣянно. Въ послѣдствіи я нашелъ минуту, когда онъ свободно могъ устремить все свое вниманіе на это чудное стихотвореніе, дико составленное, но богатое первокласными красотами: выраженіе этихъ

красотъ было имъ тогда почувствовано вполнѣ.—И такъ, я обратился къ Державину, державшему въ рукахъ большой томъ въ зеленомъ корешкѣ и разсѣянно смотрѣвшему въ сторону:—«Позвольте мнѣ теперь прочесть вамъ трагедію».—«Знаете ли, о чемъ я думаю, съ живостью сказалъ онъ? Вамъ трудно будетъ читать въ первый разъ рукописное сочиненіе».—Я отвѣчалъ, что это правда, что даже печатную драматическую піесу нельзя въ первый разъ прочесть хорошо, что надобно предварительно понять, вникнуть въ характеры лицъ, изучить ходъ сильныхъ сценъ; что я не читаю никогда никакой большой піесы другимъ, не прочитавъ ее вслухъ предварительно самому себѣ. — Съ живостью и удовольствіемъ подалъ Державинъ мнѣ обѣими руками зеленый томъ и сказалъ: «Такъ возьмите, прочтите, изучите, и когда будете готовы, тогда прочтите мнѣ. Но вотъ что: вы вѣрно читали или слышали на театрѣ «Ирода и Маріамну»; прочтите мнѣ изъ нее нѣкоторыя сцены», и не дождавшись отвѣта, онъ позвонилъ и приказалъ вошедшему человѣку, собрать экземпляръ этой трагедіи изъ печатныхъ листовъ, лежавшихъ большимъ тюкомъ въ нижнемъ ящикѣ того же дивана. Разумѣется я сказалъ, что піесу знаю и прочту съ большимъ удовольствіемъ, и это была правда. Я былъ въ такомъ лирическомъ настроеніи, что радъ былъ читать Державину что̀ угодно, хоть по-арабски. Въ какіе бы то ни было звуки хотѣла вылиться вскипѣвшая душа! Въ такія минуты всякіе стихи, всякія слова, пожалуй неизвѣстнаго языка,—будутъ полны чувства и произведутъ сочувствіе. Этимъ, по моему, объясняется удивительный и не рѣдкой фактъ, что на сценѣ истинные артисты приводили въ восхищеніе слушателей, не знающихъ языка представляемой піесы.—Между тѣмъ Гаврила Романычъ послалъ за своей женой, племянницей (П. И. Львовой) и

племянникомъ, служившимъ въ статской службѣ, Капнистомъ. Пришли первая и послѣдній; племянница была еще не готова и явилась къ концу чтенія. Нетерпѣніе Державина было очевидно: онъ едва познакомилъ меня съ своей женой, а съ Капнистомъ даже и не познакомилъ. Я началъ читать, и безъ всякихъ выпусковъ прочелъ трагедію до конца, отдыхая не болѣе двухъ-трехъ минутъ между дѣйствіями. Меня уговаривали отдыхать побольше, но я не соглашался: трагедія была небольшая, и притомъ я чувствовалъ, что моя восторженность можетъ охладѣть, а тогда все бы погибло. Это чтеніе было единственнымъ явленіемъ въ продолженіе тридцатипятилѣтняго моего поприща въ качествѣ чтеца,—явленіемъ психологическимъ и весьма замѣчательнымъ. Чтобы понять вполнѣ мои слова, надобно взять «Ирода и Маріамну» и попробовать прочесть ее вслухъ. Я самъ впослѣдствіи, достигнувъ несравненно бо́льшаго искусства въ чтеніи, не одинъ разъ пробовалъ исполнить этотъ подвигъ—и не находилъ возможности, не только чѣмъ-нибудь воспламениться, но даже сносно прочесть, и еще менѣе заставить другихъ прослушать съ участіемъ, хоть двѣ страницы ..... а тогда я читалъ около полутора часа, и каждое слово было полно какого-то огня, какого-то чувства! Чтеніе было въ тоже время, мало сказать не вѣрно, не сообразно съ характерами и словами дѣйствующихъ лицъ, но даже нелѣпо и безсмысленно. Я чувствовалъ это, хотя не ясно, въ самое то время, какъ читалъ. Съ полнымъ сознаніемъ и искренностью повторяю теперь, что чтеніе происходило на неизвѣстномъ мнѣ языкѣ; но тѣмъ не менѣе, и на другихъ и на меня произвело оно магическое дѣйствіе.—Можно себѣ представить, что было съ Державинымъ! Онъ рѣшительно былъ похожъ на человѣка, одержимаго корчами. Всѣ мои сердечныя ноты, каждый переходъ изъ тона въ тонъ,

каждый одушевленный звукъ—перечувствовала его воспріимчивая, страстная душа! Онъ не могъ сидѣть, часто вскакивалъ, руки его дѣлали безпрестанные жесты, голова, все тѣло было въ движеніи. Восхищеніямъ, восторженнымъ похваламъ, объятіямъ—не было конца, а моему счастью—не было мѣры. Державинъ черезъ нѣсколько минутъ схватился за аспидную доску и сталъ писать грифелемъ. Всѣ присутствовавшіе, кромѣ меня, вышли. Разумѣется я догадался, что Державинъ пишетъ стихи на мое чтеніе, и не ошибся. Торопливо писала его дрожащая рука, и безпрестанно стирала написанное. Мнѣ показалось, что это писаніе продолжалось съ полчаса. Наконецъ, Гаврила Романычъ взялъ читанную мною трагедію, и на первомъ мягкомъ листѣ, вверху названія трагедіи, написалъ четыре стиха. — Мнѣ самому труднѣе, чѣмъ всякому другому, повѣрить, что я не помню этихъ стиховъ. Я тогда имѣлъ такую память, что съ одного раза могъ запомнить нѣсколько куплетовъ, если только стихи мнѣ нравились. Что книжка, подаренная Державинымъ, съ его стихами, собственноручно написанными, у меня пропала—это не диковинка: я растерялъ въ жизнь мою не малое число книгъ съ надписями ихъ авторовъ, иногда глубоко мною уважаемыхъ; но не запомнить четырехъ стиховъ Державина, мнѣ написанныхъ, при моемъ благоговѣніи къ Державину, при моей памяти—это просто невѣроятно! Впрочемъ дѣло объясняется нѣсколько тѣмъ, что книга пропала у меня въ первые два-три дня. Только и помню, что стихи, весьма не гладкіе, оканчивались словами: «себя услышалъ въ первый разъ», словами, вырвавшимися у него послѣ чтенія «оды на смерть Мещерскаго». Несказанно счастливый мыслію, что я могъ привесть въ восхищеніе величайшаго изъ поэтовъ (такъ я думалъ тогда), опьянѣлый отъ восторга и удовлетвореннаго само-

любія, я поспѣшилъ уйти отъ Державина, чтобъ подѣлиться моими чувствами съ моими друзьями.

Само собою разумѣется, что я сдѣлался частымъ и любимымъ гостемъ «Пѣвца Фелицы», какъ выражались тогда литераторы и дилетанты русской словесности. Хозяинъ готовъ былъ слушать съ утра до вечера, а гость—читать и день и ночь. Чего не перечиталъ я Державину! И переведенную имъ «Федру» Расина, и собственныя его трагедіи: «Св. Евпраксію», «Аталибу или покореніе Перу», Сумбеку (кажется такъ) или покореніе Казани», и проч., и сверхъ того два огромные тома въ листъ, разныхъ мелкихъ его сочиненій въ стихахъ и прозѣ, состоявшіе изъ басенъ, картинъ, нравственныхъ изрѣченій, всякаго рода надписей, эпитафій, эпиграммъ и мадригаловъ: все это перечиталъ я по нѣскольку разъ. Я не говорю здѣсь о собственныхъ запискахъ Державина, имѣющихъ большой интересъ; я ихъ видѣлъ, перелистывалъ, но вслухъ не читалъ. При нашихъ же стихотворныхъ чтеніяхъ, не рѣдко съ грустью думалъ я: умретъ Державинъ, этотъ великій лирическій талантъ, и все читаемое теперь мною, иногда при нѣсколькихъ слушателяхъ, восхищающихся изъ уваженія къ прежнимъ произведеніямъ писателя, или изъ чувствъ родственныхъ и дружескихъ,—все будетъ напечатано для удовлетворенія празднаго любопытства публики: между тѣмъ какъ не слѣдуетъ печатать ни одной строчки. Но благодареніе разумной разборчивости его наслѣдниковъ: изъ рукописныхъ сочиненій, о которыхъ я говорю,—именно не было напечатано ни одной строчки, сколько мнѣ извѣстно (*). Между тѣмъ, надобно сказать правду, кромѣ выгодъ чисто матеріальныхъ, можно было соблазниться исполненіемъ желанія горячихъ поклонниковъ

(*) Недавно узналъ я, что напечатана трагедія «Василій Темный».

Державина: ибо въ этой громадѣ стиховъ, лишенныхъ иногда всякаго достоинства, изрѣдка встрѣчались стихи очень сильные и блестящіе лиризмомъ, впрочемъ по большей части не свойственные лицу ихъ произносившему. Въ мелкихъ стихотвореніяхъ также изрѣдка мелькалъ, можетъ быть не строго вѣрный, но оригинальный взглядъ и, если не цѣльный, то односторонне-живой и поэтическій образъ. Волканъ потухалъ; но между грудами камней, угля и пепла, мелькали иногда свѣтлыя искры прежняго огня.— Дарованія драматическаго Державинъ рѣшительно не имѣлъ: у него не было разговора—все была пѣснь; но увы, онъ думалъ, что его имѣетъ; часто онъ говорилъ мнѣ съ неуваженіемъ о своихъ одахъ и жалѣлъ, что въ самомъ началѣ литературнаго своего поприща не посвятилъ себя исключительно трагедіи и вообще драмѣ. «Аталиба», трагедія въ пяти дѣйствіяхъ, съ хорами и великолѣпнымъ, неисполнимымъ на сценѣ, спектаклемъ, была любимымъ его произведеніемъ. Въ ней главный эффектъ основывался на солнечномъ затмѣніи: Пизарро, захваченный въ плѣнъ Мексиканцами со всей свитою, и въ оковахъ ожидающій казни, предсказываетъ потемнѣніе солнца, какъ знаменіе гнѣва небеснаго; солнце въ предписанную минуту помрачается (все это происходитъ на сценѣ), и побѣдители упадаютъ къ ногамъ побѣжденныхъ, освобождаютъ ихъ и признаютъ своими повелителями. Помню я изъ этой трагедіи одинъ стихъ, который цѣнился Державинымъ выше всего. Аталиба, упрекая Пизарро жадностью къ золоту, говоритъ длинный монологъ, который оканчивается такъ:

Вы преплыли моря, разторгнувъ крови связь,
Чтобъ изъ-подъ нашихъ ногъ увезть блестящу грязь.

Можетъ быть я что-нибудь и перепуталъ въ первомъ стихѣ, но второй вѣренъ буквально. Изъ мелкихъ сво-

ихъ сочиненій Державинъ особенно любилъ одно осьмистишіе, которымъ, по его мнѣнію, вполнѣ обрисовывались трое знаменитыхъ нашихъ баснописцевъ: Хемницеръ, Дмитріевъ и Крыловъ, изъ которыхъ перваго онъ предпочиталъ остальнымъ за простоту и естественность разсказа. Стиховъ не помню, но содержаніе ихъ состоитъ въ томъ, что три поэта являются къ Аполлону, который говоритъ Дмитріеву: ты ловокъ, образованъ и ввелъ басню въ гостиную; Крылову — ты колокъ, народенъ и уменъ; а Хемницеру Аполлонъ протягиваетъ руку, жметъ ее, «и ни слова». Этими словами заключается стихотвореніе.

Почти всякой разъ, какъ я бывалъ у Державина, я упрашивалъ его выслушать что-нибудь изъ его прежнихъ стиховъ, на что онъ не всегда охотно соглашался. Я прибѣгалъ къ разнымъ хитростямъ: предлагалъ какое-нибудь сомнѣніе, притворялся не понимающимъ нѣкоторыхъ намековъ, лгалъ на себя или на другихъ, будто бы считающихъ такія-то стихотворенія самыми лучшими, или напротивъ самыми слабыми, иногда читалъ его стихи наизусть въ подтвержденіе собственныхъ мыслей, нравственныхъ убѣжденій или сочувствія къ красотамъ природы. Гаврила Романычъ легко поддавался такому невинному обману и вступалъ иногда въ горячій споръ, но рѣдко удавалось мнѣ возбудить въ немъ такое сильное чувство чтеніемъ прежнихъ его стиховъ, какое обнаружилъ онъ въ первое наше свиданіе, слушая Оду къ Перфильеву. По большей части, по окончаніи чтенія онъ съ улыбкой говаривалъ: «Ну да, это не дурно, есть огонь, да вѣдь все пустяки; все это такъ, около себя, и важнаго значенія для потомства не имѣетъ; все это скоро забудутъ; но мои трагедіи, но мои антологическія піесы будутъ оцѣнены и будутъ жить». — Безгранично предаваясь пылу молодаго восторга при чтеніи его прежнихъ пустяковъ, я

уже не могъ воспламеняться до самозабвенія, читая его новѣйшія сочиненія, какъ это случилось со мной при чтеніи «Ирода и Маріамны».—Державинъ это чувствовалъ, хотя я старался по возможности обмануть его поддѣльнымъ жаромъ и громомъ пышной декламаціи; онъ досадовалъ и огорчался.—«У васъ все оды въ головѣ», говорилъ онъ; вы способны только чувствовать лирическіе порывы, а драматическую поэзію вы не всегда и не всю понимаете». Иногда впрочемъ онъ бывалъ доволенъ мною.—Державинъ любилъ также, такъ называемую тогда *«эротическую поэзію»* и щеголялъ въ ней мягкостью языка и исключеніемъ словъ съ буквою *р*. Онъ написалъ въ этомъ родѣ много стихотвореній, вѣроятно втрое болѣе, чѣмъ ихъ напечатано; всѣ онѣ, лишенныя прежняго огня, замѣненнаго иногда нескромностью картинъ, производили непріятное впечатлѣніе. Но Державинъ любилъ слушать ихъ, и любилъ, чтобъ слушали другіе, особенно дамы. Въ первый разъ я очень смутился, когда онъ приказалъ мнѣ прочесть въ присутствіи молодыхъ дѣвицъ, любимую свою піесу «Аристиппова баня», которая была въ послѣдствіи напечатана, но съ исключеніями. Я остановился и сказалъ: «не угодно ли ему назначить что-нибудь другое?»—«Ничего, возразилъ смѣясь Гаврила Романычъ: у дѣвушекъ уши золотомъ завѣшаны».

Такъ продолжалась моя жизнь около мѣсяца; все время, свободное отъ необходимыхъ дѣлъ и свиданій въ Петербургѣ, проводилъ я въ домѣ Державина, который въ послѣдніе дни казался не такъ здоровымъ. Наконецъ одинъ разъ пришелъ я къ нему обѣдать, что бывало довольно часто. Швейцаръ встрѣтилъ меня съ обыкновенной ласковой улыбкой, но сказалъ мнѣ, чтобъ я вызвалъ камердинера Гаврилы Романыча, который имѣетъ до меня

какую-то надобность. Я нѣсколько удивился, и взошедъ наверхъ, встрѣтилъ этого самаго каммердинера; онъ сказалъ мнѣ, что Дарья Алексѣвна (жена Державина) проситъ меня, не входя въ кабинетъ къ Гаврилѣ Романычу, повидаться съ ней и для того зайти напередъ въ гостиную; я удивился еще болѣе и поспѣшилъ къ разгадкѣ. Дарья Алексѣвна (*), нѣсколько встревоженная, весьма учтиво и ласково сказала мнѣ, что мужъ ея нездоровъ, что онъ провелъ дурно ночь, что у него сильное раздраженіе нервъ, и что докторъ приписываетъ это тому волненію, съ которымъ Гаврила Романычъ слушаетъ мое чтеніе, что она проситъ, умоляетъ меня нѣсколько времени не ходить къ больному, или ходить, но не читать подъ какимъ-нибудь предлогомъ; «а всего лучше скажитесь больнымъ, прибавила она: если онъ васъ увидитъ, то начнетъ такъ приставать, что трудно будетъ отказать ему».—Я сейчасъ почувствовалъ, что все это совершенно справедливо. Я уже говорилъ, какъ Державинъ слушалъ мое чтеніе въ первое наше свиданіе; точно тоже продолжалось до сихъ поръ, если не всегда при слушаніи прежнихъ одъ, то всегда при слушаніи трагедій. Я вспомнилъ, какое изнеможеніе выражалось на лицѣ Державина послѣ нашихъ, иногда долгихъ, дообѣденныхъ или вечернихъ чтеній. Мнѣ стало совѣстно, и я покраснѣлъ до ушей. Я сказалъ Дарьѣ Алексѣвнѣ, что мнѣ больно и грустно и досадно на себя, для чего я самъ давно этого не примѣтилъ. Она призналась мнѣ, что уже съ недѣлю всякой день сбирается поговорить со мной объ этомъ, что она боялась оскорбить меня, и что Боже сохрани, если узнаетъ объ этомъ Гаврила Романычъ. Я поспѣшилъ ее успокоить и прибавилъ, что я самъ боленъ, что докторъ давно требуетъ, чтобъ я

(*) Урожденная Дьякова, вторая супруга Державина.

сидѣлъ дома, и что я выѣзжалъ единственно для Гаврилы Романыча. Все это была совершенная правда, только я былъ боленъ не отъ чтенія, а отъ петербургскаго климата, отъ котораго уже поотвыкъ. Хозяйка благодарила меня искренно и упрашивала, чтобъ я, въ доказательство, что не сержусь на нее, остался у нихъ обѣдать. «Гаврила Романычъ не выходитъ изъ кабинета и не узнаетъ, что вы были здѣсь» прибавила она очень привѣтливо. Я не остался подъ предлогомъ, что долженъ держать строгую діэту; мнѣ показалось какъ-то странно оставаться въ домѣ контрабандой отъ хозяина. Я пріѣхалъ однако вечеромъ къ Державину, сказалъ ему, что я давно нездоровъ, что долженъ лечиться и можетъ быть недѣли двѣ не выйду изъ комнаты. Гаврила Романычъ чуть не заплакалъ и такъ огорчился, что я испугался вредныхъ послѣдствій. Онъ самъ былъ очевидно нездоровъ. Глаза у него были мутные, и пульсъ бился, какъ въ лихорадочномъ жару, но самъ онъ и слышать не хотѣлъ, что онъ боленъ, и жаловался мнѣ, что съ нѣкотораго времени хотятъ увѣрить его, что онъ хвораетъ, а онъ напротивъ давно не чувствовалъ себя такъ бодрымъ и крѣпкимъ. Наконецъ онъ отпустилъ меня въ *лазаретъ* (какъ онъ выразился) и обнялъ на прощанье нѣсколько разъ, прибавивъ, что кстати исполнитъ просьбу жены и самъ полечится въ это время.

Много было шутокъ и смѣха въ Гарновскомъ домѣ, гдѣ я былъ хорошо знакомъ почти со всѣми офицерами, а также и въ близкомъ, родственномъ кругу Державина. Говорили, что я *зачиталъ* старика и самъ *зачитался*, и что мы оба принуждены были не шутя лечиться. Молва подхватила это простое событіе и распустила по городу съ обычными украшеніями. Я самъ послѣ слышалъ, какъ разсказывалъ одинъ господинъ, что «какой-то пріѣзжій,

сумашедшій декламаторъ и сочинитель, едва не уморилъ старика Державина чтеніемъ *своихъ* сочиненій, и что наконецъ принуждены были чрезъ полицію вывести этого чтеца-сочинителя изъ дома Державина и отдать на излеченіе частному лекарю».

Ровно черезъ двѣ недѣли явился я къ Державину, хотя дни за два до срока Дарья Алексѣвна уже присылала звать меня. Гаврила Романычъ очень мнѣ обрадовался, но не такъ, какъ я ожидалъ. Можетъ быть ему успѣли внушить, что въ обществѣ смѣются надъ нимъ, будто бы съ утра до вечера заставляющимъ читать себѣ свои сочиненія; можетъ быть сказали, что мнѣ это въ тягость, что я скучаю и жалуюсь на такое принужденіе, а можетъ быть, что̀ всего вѣроятнѣе, успѣли его убѣдить, что такое неравнодушное слушаніе точно ему вредно. Какъ бы то ни было, только Державинъ былъ со мною какъ-то принужденъ и не сказалъ ни слова о своихъ стихахъ. На другой день то же, и я уже подумалъ, что мои отношенія къ Гаврилѣ Романычу должны измѣниться, какъ вдругъ послѣдовало неожиданное возвращеніе къ прежнему порядку вещей. Одинъ изъ его племянниковъ, А. Н. Львовъ, спросилъ меня при своемъ дядѣ: «каково идетъ Мизантропъ?»—Этѣ слова обратили на себя вниманіе Державина, и я долженъ былъ разсказать ему въ чемъ состояло дѣло; оно состояло въ слѣдующемъ: Ѳ. Ѳ. Кокошкинъ перевелъ Мольерова Мизантропа; переводъ его пользовался тогда большою славою; петербургская актриса, М. И. Валберхова, выпросила у Кокошкина эту піесу, еще неигранную на петербургской сценѣ, себѣ въ бенефисъ. Я отправлялся въ самое то время изъ Москвы въ Петербургъ; Кокошкинъ прислалъ со мною г-жѣ Валберховой Мизантропа и взялъ съ меня обѣщаніе, что я прочту самъ его переводъ

всѣмъ актерамъ на «считкѣ» (*) и даже посмотрю за репетиціями, на что далъ мнѣ письменное полномочіе. Я принялся было за это дѣло съ обычною мнѣ горячностью, но скоро увидѣлъ, что играю тутъ смѣшную роль; никто изъ актеровъ не хотѣлъ меня слушать и не обращалъ вниманія на мои права, потому что завѣдывавшій тогда репертуарною частью кн. А. А. Шаховской, съ которымъ я былъ впослѣдствіи очень друженъ, не благоволилъ къ Кокошкину и оскорбился, что такой молодой человѣкъ, какъ я, имѣлъ право ставить на петербургскую сцену такую знаменитую піесу, какъ «Мизантропъ» Мольера. Считку разумѣется произвели безъ меня, и только по необходимости, очень сухо, приглашенъ я былъ на репетиціи. Я, увидя явное отъ всѣхъ нерасположеніе, отстранился и былъ только изъ приличія раза два на репетиціяхъ. Родные Державина знали эту забавную исторію, и Львовъ (съ которымъ мы были потомъ друзьями) сдѣлалъ этотъ вопросъ съ намѣреніемъ надо мной посмѣяться. Я разсказалъ откровенно все. Державинъ по добродушію принялъ живѣйшее участіе въ моемъ непріятномъ положеніи; онъ зналъ только отрывки изъ перевода Кокошкина, когда-то прочтенные мастерски (по общему мнѣнію) самимъ Кокошкинымъ въ «Бесѣдѣ русскаго слова». Гаврилѣ Романычу очень захотѣлось послушать, какъ я читаю комедію, и онъ сталъ меня убѣдительно просить, чтобы я прочелъ ему всего Мизантропа. У меня былъ особый экземпляръ, окончательно исправленный переводчикомъ, и на другой

(*) Можетъ быть не всѣмъ извѣстенъ этотъ техническій терминъ. На «считкѣ» авторъ, или довѣренное отъ него лице, читаетъ вслухъ всѣмъ актерамъ піесу, приготовляемую къ представленію. Этимъ чтеніемъ дается смыслъ и тонъ, который авторъ желаетъ сообщить своей піесѣ; актеры и актрисы обязаны соображаться съ нимъ. Такъ по крайней мѣрѣ бывало прежде.

день вечеромъ, при довольно многочисленной публикѣ, я прочелъ Мизантропа. Гаврила Романычъ былъ совершенно доволенъ. Опять разшевелилось горячее сердце Державина, и съ слѣдующаго дня начались опять наши чтенія попрежнему, хотя не такъ уже часто (*).

Кромѣ собственныхъ сочиненій, Державинъ охотно слушалъ чтеніе и другихъ стихотворцевъ: И. И. Дмитріева, Батюшкова, Гнѣдича и проч. Крылова я не читалъ никогда, потому что Гаврила Романычъ былъ недоволенъ мною при чтеніи собственныхъ его басенъ, и это было совершенно справедливо. Басни навсегда остались для меня камнемъ преткновенія; я много, напряженно работалъ надъ чтеніемъ ихъ, но никогда не былъ доволенъ собою,

(*) Мизантропъ вскорѣ былъ данъ въ бенефисъ г-жи Валберховой. Державинъ поручилъ мнѣ взять для него бенуаръ, но, кажется, сама бенефиціантка отвезла билетъ и атласную афишу знаменитому нашему барду. Мизантропъ былъ разыгранъ весьма посредственно и даже не твердо. Я говорилъ объ этомъ Шаховскому на предпослѣдней репетиціи; онъ отвѣчалъ мнѣ, что теперь нѣтъ времени хорошенько поставить піесу, но что въ послѣдствіи она пойдетъ отлично. Брянскій былъ положительно нехорошъ въ роли Крутона (Альсеста), по правду сказать, я не знаю, почему влюбленный Альсестъ у Мольера называется Мизантропомъ? Скорѣе можно назвать его филантропомъ, потому что онъ, съ начала до конца піесы, горячится, выходитъ изъ себя отъ гнѣва на людей за ихъ дурные поступки. Гдѣ же тутъ ненависть? Это скорѣе любовь. Мизантропа въ настоящемъ смыслѣ, Брянскій игралъ не дурно; то-есть, былъ холоденъ и грубъ; но характеръ Альсеста, ярко нарисованный Мольеромъ, требовалъ совсѣмъ другаго исполненія. М. И. Валберхъ, или Валберхова, играла Прелестину (Селимену, grande coquette), также безъ одушевленія. Кн. Шаховской это чувствовалъ, и на репетиціи безпрестанно бормоталъ: «Марья Ивановна, montez la scène, montez la scène». Скажутъ, можетъ быть, что кокетка и должна быть холодна, но въ сценическомъ исполненіи, рѣчь идетъ не о холодности въ душѣ, а объ одушевленіи, объ оживленіи, такъ сказать, цѣлой роли. Притомъ есть огонь внѣшній, искусственный, безъ котораго никакая красота не увлекла бы Альсеста.—Сосницкій, не помню въ какой роли, былъ просто карикатуренъ.

потому что слыхалъ, какъ читаетъ, или лучше, разсказываетъ басни свои Крыловъ: это неподражаемая простота и естественность. Помню также, что я два раза читалъ при многихъ слушателяхъ [какое-то большое дидактическое стихотвореніе А. П. Буниной, которое принималось всѣми съ большимъ одобреніемъ; но кажется, кромѣ гладкихъ, для того времени, стиховъ и цвѣтистости языка, не имѣло оно другихъ достоинствъ.

Благородный и прямой характеръ Державина былъ такъ открытъ, такъ опредѣленъ, такъ извѣстенъ, что въ немъ никто не ошибался; всѣ, кто писали о немъ, — писали очень вѣрно. Можно себѣ представить, что въ молодости, его горячность и вспыльчивость были еще сильнѣе и что живость вовлекала его часто въ опрометчивыя рѣчи и неосторожные поступки. Сколько я могъ замѣтить, онъ не научился еще, не смотря на семидесятитрехлѣтнюю опытность, владѣть своими чувствами и скрывать отъ другихъ сердечное волненіе. Нетерпѣливость, какъ мнѣ кажется, была главнымъ свойствомъ его нрава, и я думаю, что она много надѣлала ему непріятныхъ хлопотъ въ житейскомъ быту и даже мѣшала вырабатывать гладкость и правильность языка въ стихахъ. Какъ скоро его оставляло вдохновеніе—онъ приходилъ въ нетерпѣніе, и управлялся уже съ языкомъ безъ всякаго уваженія: гнулъ на колѣно синтаксисъ, словоудареніе и самое словоупотребленіе. Онъ показывалъ мнѣ, какъ исправилъ негладкія, шероховатыя выраженія въ прежнихъ своихъ сочиненіяхъ, приготовляемыхъ имъ для будущаго изданія. Положительно могу сказать, что исправляемое было несравненно хуже неисправленнаго, а неправильности замѣнялись еще бо́льшими неправильностями. Я приписываю такую неудачу въ поправкахъ—единственно нетерпѣливому нраву Державина. Я осмѣлился слегка сказать ему мое мнѣніе,

и онъ весьма благодушно согласился. Впрочемъ, такое сознаніе ни къ чему не вело, и я вскорѣ увидѣлъ довольно краснорѣчивый опытъ нетерпѣнія, вспыльчивости и неумѣнья владѣть собою престарѣлаго поэта. Однажды Карамзинъ увѣдомилъ его запискою, что въ такой-то день, въ семь часовъ вечера, пріѣдетъ и прочтетъ отрывокъ изъ Исторіи Россійскаго государства (*). Державинъ пригласилъ многихъ знакомыхъ, бо́льшею частью людей почтенныхъ уже по однимъ своимъ лѣтамъ; не знаю почему, меня прислалъ онъ звать, не болѣе какъ за полчаса до условленнаго начала чтенія. Я былъ дома и поспѣшилъ явиться: интересъ мой особенно возбуждался тѣмъ, что дни за три Н. М. Карамзинъ сказалъ мнѣ (**), что обѣщалъ Державину прочесть что-нибудь изъ Исторіи, и прочтетъ такое мѣсто, которымъ онъ самъ доволенъ, но сомнѣвается, чтобъ оно понравилось другимъ. Я нашелъ у Державина: А. С. Шишкова, извѣстнаго стихотворца Гр. Д. И. Хвостова, также А. С. Хвостова, извѣстнаго ѣдкостью критическихъ замѣчаній, и въ общественныхъ бесѣдахъ, и въ рукописныхъ стихахъ, Ѳ. П. Львова, П. А. Кикина, Н. И. Гнѣдича и другихъ. Бьетъ семь часовъ—Карамзина нѣтъ; въ Державинѣ сейчасъ обнаружилось нетерпѣнье, которое возрастало кресчендо съ каждой минутой. Проходитъ полчаса, и нетерпѣнье его перешло въ безпокойство и волненіе; онъ не могъ сидѣть на одномъ мѣстѣ и безпрестанно ходилъ взадъ и впередъ по своему длинному кабинету, между сидящими по обѣимъ сторонамъ гостями. Нѣсколько разъ хотѣлъ онъ послать къ Карамзину и спросить: будетъ онъ или нѣтъ; но Дарья Алексѣвна его

(*) Карамзинъ жилъ тогда въ Петербургѣ, на Фонтанкѣ, въ домѣ Муравьевой.

(**) Я бывалъ у Карамзина, не какъ любитель словесности или словесникъ, а какъ его землякъ, сосѣдъ и дальній родственникъ.

удерживала. Наконецъ бьетъ восемь часовъ, и Державинъ въ досадѣ садится писать записку; я стоялъ недалеко отъ него и видѣлъ, какъ онъ перемарывалъ слова вычеркивалъ цѣлыя строки, рвалъ бумагу и начиналъ писать снова. Къ счастію, въ самое это время принесли письмо отъ Карамзина. Онъ извинялся, что его задержали, писалъ, что онъ все надѣялся какъ-нибудь пріѣхать и потому промѣшкалъ, и что проситъ Гаврилу Романыча назначить день и часъ для чтенія, когда ему угодно, хоть послѣ завтра. — Очень жалѣю, что я не списалъ этой записки или не оставилъ ее у себя. Державинъ, показавъ ее многимъ изъ гостей, отдалъ потомъ мнѣ; я прочелъ, положилъ въ карманъ и забылъ; я возвратилъ ее черезъ нѣсколько дней. Въ семи или осьми строчкахъ этой записки Карамзина дышала такая простота, такое кроткое спокойствіе, такое искреннее сожалѣніе, что онъ не могъ исполнить своего обѣщанія! казалось, не было возможности, прочтя эти строки, сохранить какое-нибудь неудовольствіе въ сердцѣ; но не то было съ Державинымъ: онъ никакъ не могъ такъ скоро совладѣть съ своей досадой, ни съ кѣмъ не говорилъ, безпрестанно ходилъ, и всѣ гости въ нѣсколько минутъ нашлись принужденными разъѣхаться. Тутъ Дарья Алексѣвна уже сама пожелала и попросила меня, чтобъ я прочелъ что-нибудь. Надобно сказать, что въ послѣднее время она постоянно показывала мнѣ какую-то холодность, и я не вдругъ согласился исполнить ея желаніе и предложить чтеніе; Гаврила Романычъ также не вдругъ принялъ мое предложеніе, наконецъ сказалъ: «пожалуй, прочтите что нибудь», и я началъ читать. Державинъ долго слушалъ безъ участія, то-есть, безъ всякихъ движеній въ рукахъ и лицѣ; но мало по малу пришелъ въ свое обыкновенное положеніе и даже развеселился. Въ этотъ разъ я просидѣлъ у него цѣлымъ часомъ долѣе

положеннаго срока, уже не читалъ, а слушалъ его разсказы о прошедшемъ, невозвратно прошедшемъ.

Между тѣмъ приближалось время одного изъ засѣданій или собраній «Бесѣды русскаго слова», которая состояла изъ нѣсколькихъ отдѣленій, кажется изъ четырехъ, и каждое имѣло своего предсѣдателя. Въ одномъ отдѣленіи былъ предсѣдателемъ Ал. Сем. Хвостовъ, и я слышалъ отъ многихъ членовъ ропотъ противъ такого не заслуженнаго предсѣдательства; особенно обижался графъ Хвостовъ, который не имѣлъ отдѣленія, на что, какъ старѣйшій и многоплоднѣйшій писатель, имѣлъ онъ, по его убѣжденію, неотъемлемое право. Вообще находили страннымъ, что А. С. Хвостовъ, человѣкъ, почти ничего не напечатавшій, извѣстный только остроумно-шутливыми посланіями и эпиграммами, предсѣдательствуетъ между заслуженными литераторами. Шишковъ, уважавшій и любившій А. С. Хвостова, былъ причиною назначенія его въ предсѣдатели еще при первоначальномъ основаніи «Бесѣды». Особенно было забавно неудовольствіе членовъ Хвостовскаго отдѣленія (какъ его называли), надъ которыми другіе подтрунивали и въ числѣ которыхъ быть никому не хотѣлось. Крыловъ и Гнѣдичъ, для успокоенія оскорбленныхъ авторскихъ самолюбій, добровольно вызвались быть членами отдѣленія подъ предсѣдательствомъ А. С. Хвостова; ихъ примѣру послѣдовали другіе, и спокойствіе водворилось въ великомъ семействѣ жрецовъ Апполона. Это обстоятельство случилось, впрочемъ, уже давно, и я разсказываю слышанное мною.—Предстоящее собраніе долженствовало происходить подъ предсѣдательствомъ самого Державина, и онъ послѣднее время былъ сильно тѣмъ озабоченъ. Ему хотѣлось, чтобы я прочелъ что-нибудь въ «Бесѣдѣ». Чтеніе піесъ посторонними лицами допускалось иногда въ видѣ исключеній: такъ, на-

примѣръ, Кокошкинъ читалъ свой переводъ. Для Державина, разумѣется, всѣ согласились, чтобы я прочелъ его піесу. Онъ назначилъ мнѣ разсказъ въ нѣсколько страницъ изъ «Аталибы» и стихотвореніе «Развалины Греціи», Аркадія Родзянки, молодаго человѣка, дальняго родственника Державина, служившаго тогда подпрапорщикомъ въ Лейбъ-егерьскомъ полку. Стихи Родзянки признавались написанными превосходно, сильными, гладкими, звучными. Я очень радовался, что по крайней мѣрѣ въ нихъ могу показать свое умѣнье читать. Стихи же Державина приводили меня въ ужасъ. Я выучилъ наизусть обѣ піесы и приготовился къ чтенію.... Но судьба устроила иначе: въ день предварительнаго или приготовительнаго собранія «Бесѣды» и за три дня до настоящаго собранія — я скакалъ уже съ Кавелинымъ въ Москву. Гаврила Романычъ весьма огорчился, узнавъ о моемъ внезапномъ намѣреніи уѣхать; сначала не вѣрилъ, а потомъ досадовалъ, что я не хочу остаться трехъ дней, чтобъ *продекламировать* его піесу, успѣхъ которой онъ основывалъ отчасти на моемъ чтеніи. Мнѣ самому это было очень больно; но особенныя обстоятельства не позволили мнѣ остаться, тѣмъ болѣе, что зимній путь разрушался (тогда о шоссе еще не было и помину). Мы съ Кавелинымъ уѣхали изъ Петербурга 18-го марта, наканунѣ славнаго дня взятія Парижа. Послѣ примѣръ-парада, множество офицеровъ шумно проводили насъ, напутствуя добрыми желаніями и хоромъ: «Веди меня, о Провидѣнье!» (*).

Въ началѣ іюля Державина уже не было на свѣтѣ.

Сколько простосердечія, теплоты, живости и благодушія сохранялось еще въ этомъ семидесяти-трехлѣтнемъ

(*) Изъ оперы «Водовозъ».

старцѣ, въ этомъ геніальномъ талантѣ! Вечеръ наканунѣ моего отъѣзда, какъ нарочно, мы провели вдвоемъ. Много добрыхъ желаній и совѣтовъ сказалъ онъ мнѣ на прощанье, искренно благодарилъ за удовольствіе, доставленное моимъ чтеніемъ; много предсказывалъ мнѣ въ будущемъ, и даже благословилъ меня на литературные стихотворные труды. Онъ ошибался во мнѣ, и потому предсказанія не исполнились и благословеніе не пошло въ прокъ. Самый послѣдній совѣтъ состоялъ въ слѣдующемъ: «Не переводите, а пишите свое, что въ голову войдетъ; въ молодости переводить вредно: сейчасъ заразишься подражательностью; въ старости переводите, сколько угодно». —

Съ глубоко-растроганнымъ сердцемъ вышелъ я изъ кабинета Державина, благодаря Бога, что Онъ послалъ мнѣ такое неожиданное счастье — приблизиться къ великому поэту, узнать его такъ коротко и получить право любить его, какъ знакомаго человѣка! Какимъ то волшебнымъ сномъ казалось мнѣ все это быстропромелькнувшее время! Державинъ знаетъ, любитъ меня; онъ восхищался моимъ чтеніемъ, онъ такъ много говорилъ со мной, такъ много занимался мною; онъ считаетъ, что я имѣю дарованіе, онъ говорилъ это всѣмъ, онъ сохранитъ воспоминаніе обо мнѣ.... Радостно билось мое сердце, и самолюбіе плавало въ упоеніи невыразимаго восторга.

Въ исходѣ іюля, собираясь уѣхать на десять лѣтъ изъ Москвы въ Оренбургскую губернію, я узналъ о смерти Державина. Еще живѣе почувствовалъ я цѣну моего съ нимъ, очень кратковременнаго, но полнаго, искренняго, свободнаго, кабинетнаго знакомства. И такъ, скромный путь моей жизни озарился послѣдними лучами заходящаго свѣтила, послѣдними днями великаго поэта! Тридцать пять лѣтъ (*)

(*) Статья эта написана прежде всѣхъ другихъ моихъ статей, а именно въ маѣ 1852 года.—Теперь прошло уже 39 лѣтъ, какъ не стало Державина.

прошло съ тѣхъ поръ, но воспоминанье объ этихъ свѣтлыхъ минутахъ моей молодости, постоянно, даже и теперь, разливаетъ какое-то отрадное, успокоительное, необъяснимое словами чувство, на все духовное существо мое. И чему я обязанъ за все это?—единственно моему чтенію. Да будетъ же благословенно искусство, которое звуками даже чужихъ словъ, проникнутыхъ собственнымъ чувствомъ человѣка, можетъ такъ могуче переливать ихъ въ сердце другаго!

Вскорѣ прочелъ я въ «Благонамѣренномъ» большое стихотвореніе того самаго господина Родзянки, котораго піесу назначено мнѣ было читать въ «Бесѣдѣ»; оно называлось: «Державинъ». Это были пламенные, замѣчательные стихи, особенно потому, что въ составѣ ихъ слышались иногда смѣлые, размашистые пріемы, а въ выраженіяхъ недостатки и даже красоты, бо́льшею частью внѣшнія, но истинно Державинскія. Вотъ одна строфа этого стихотворенія:

Прочь ходъ плаченный похоронъ,
Въ прахъ смерти мрачны одѣянья,
Плачь, слезы—слейтесь въ восклицанья,
Въ гласъ трубный—погребальный звонъ!
Разсыпься лавромъ ельникъ скорбный,
Встань жертвенникомъ мраморъ гробный.

ПРИЛОЖЕНІЯ.

ПРИЛОЖЕНІЯ.

Оглавленіе четырехъ нумеровъ журнала: «Аркадскіе пастушки», 1804 года.

Мѣсяцъ мартъ:

«Осень» (стихи Ириса). «Нынѣшняя дружба» (стихи Ириса). «Швейцарія въ К.» (проза Дафниса). «Стихи къ Н.... съ французскаго (Дафниса). «Письмо къ другу» (стихи Аминта). «Къ кокеткамъ» (стихи Ириса). «Лиса и курятникъ», басня въ стихахъ (Ириса). «Черта изъ жизни Генриха IV-го» съ французскаго (проза Нереиса).

Мѣсяцъ май:

«Тоска по родныхъ» (стихи Ириса). «Чувствованіе на послѣдній день 1804 года» (проза *....). «Моя слава — слава Россовъ» (стихи Ириса). «Сонета изъ Петрарка» (проза.....) «Похвала женщинамъ» (стихи Ириса). «Черта изъ жизни Генриха IV-го» (проза, съ французскаго, Нереиса). «Прощаніе» (проза Дафниса).

Мѣсяцъ іюнь:

Ода Государю Императору Александру Павловичу, по случаю извѣстія объ основаніи университета въ К — и

(Ириса). «Новый годъ» (проза Меналка). «Гласъ надежды (стихи неизвѣстнаго). «Прогулка» (проза Аминта) «Житель береговъ Беотійскихъ» (проза Дамона).

Мѣсяцъ августъ:

Ода «Раздоръ» (стихи Беліандра). «Деревенскія удовольствія» (проза Палемона). «Мое щастье» (стихи Палемона). «Осень» (стихи Палемона). «Путешествіе въ Болгары» (проза Дафниса). «Святки» (стихи Палемона).

Такого же рода піесы составляли содержаніе и другихъ нумеровъ; вотъ нѣкоторые отрывки стиховъ и прозы:

Изъ оды Императору Александру:

Возри монархъ Ты на блаженство
Россіи и сыновъ Твоихъ;
Во всемъ Ты узришь совершенство,
Но мало, мало словъ моихъ,
Чтобы всю истину представить
И такъ какъ должно бы прославить
Творца блаженства, щастья ихъ.
Ты намъ въ Себѣ его являешь
И радость въ сердцѣ ощущаешь
Въ награду добрыхъ дѣлъ Своихъ.

*

Подъ мирною Твоей державой
Цвѣтетъ обиліе везде;
Ужъ грады большей блещутъ славой,
Ужъ недостатковъ нѣтъ нигдѣ.
Ты снялъ невѣжества оковы,
Ты храмы музамъ зиждешь новы
И покровительствуешь имъ.

Ирисъ (Иванъ П—въ).

Осень.

Минуло красное лѣто,
Мрачная осень,
Крылья расширя, несется
Съ юга на сѣверъ.
Бурно ея дуновенье
Все премѣняетъ;
Въ нашихъ странахъ пожелтѣли
Листья зелены;
Травки, цвѣточки поблекли,
Скрылися птички,
Лишь облака темносизы
Носятся бурей.
Скоро природа надѣнетъ
Бѣлую ризу;
Все успокоится, снова
Чтобъ обновиться весною,
Лишь человѣкъ невозвратно
Канетъ на вѣки...
Цѣтъ, мы умремъ, но въ надеждѣ
Лучшія жизни.

Палимонъ (Петръ Аликинъ).

Швейцарія въ К.

Въ концѣ минувшаго лѣта, вставши гораздо ранѣе обыкновеннаго, я пошелъ ходить по окрестностямъ К., имѣя съ собою незабвеннаго Карамзина, и—въ задумчивости запелъ въ мѣста совсѣмъ мнѣ неизвѣстныя,—останавливаюсь и.... удивляюсь пріятному мѣстоположенію..... потомъ сажусь отъ усталости на муравy, — вынимаю изъ кармана письма русскаго путешественника,— раскрываю и.... начинаю читать.... въ мыслях своихъ странствую съ нимъ по горамъ Швейцаріи, останавливаюсь у пастуховъ для подкрѣпленія себя пищею, они подаютъ мнѣ молоко, сыръ, плоды.... Постой блуждающее воображеніе! Ты

завело сѣвернаго жителя слишкомъ далеко въ щастливыя страны Гельвеціи! Ахъ! я въ К—ни.... пріятная мечта ты изчезаешь, ты увлекаешь за собою тѣ прелестные, не подражаемые ландшафты величественной натуры, коими ты не давно питала мою душу!...

Тутъ я перестаю читать, сравниваю описаніе Швейцаріи съ сими мѣстами и.... кажется нахожу нѣкоторое сходство; кажется вижу тотъ *чертовъ мостъ*, тѣ стремнины, гдѣ безсмертный по своимъ побѣдамъ Россійскій Геркулесъ, переходилъ съ войскомъ, пылающимъ усердіемъ и ревностью къ своему отечеству, подвергающимъ себя охотно опасностямъ и бѣдствіямъ въ чужой землѣ, на неприступныхъ горахъ, окруженныхъ отовсюду пропастями;—но Россы не страшились, съ ними былъ мужественный, отважный Константинъ! Съ ними былъ непобѣдимый Суворовъ!

Далѣе. встаю, осматриваю прочія мѣста, и мнѣ представляется, что я стою на землѣ, принадлежащей отечеству храбраго патріота, Вильгельма Теля!... долго я ходилъ тутъ, восхищаясь часъ отъ часу различными видами.... но наконецъ величественный царь міровъ свершилъ полдневное свое теченіе.... Стало жарко! и.... я рѣшился возвратиться домой обѣдать. Положивши въ карманъ милаго моего спутника (*), спѣшилъ по узенькой тропинкѣ, которая пролегала между двухъ глубокихъ пропастей и дивился самъ себѣ, какъ могъ я, будучи занятъ другими предметами, пройти по ней такъ счастливо!... По дорогѣ мнѣ попадались разныя березки, расположенныя самою натурою въ пріятномъ, плѣняющемъ видѣ, а иныя шли

(*) Сочинитель называетъ милымъ своимъ спутникомъ книгу, которая съ нимъ тогда находилась.

Издатель.

аллеей и составляли прекрасную перспективу. Я примѣтилъ, что на нѣкоторыхъ изъ нихъ были надписи.... вѣрно какой-нибудь чувствительный меланхоликъ, посѣщая сію несравненную окрестность К—и, написалъ ихъ!...

При окончаніи сей прогулки, принесшей столько для меня удовольствія, я разсказалъ друзьямъ моимъ, они, вмѣстѣ со мною, хвалили мѣста сіи, и съ общаго согласія мы назвали ихъ: «*Швейцаріею въ К—и*».

Нерисъ (Николай П—въ).

Вотъ какимъ образомъ родилось названіе Швейцаріи въ окрестностяхъ К—и. Отыскавъ это гористое и живописное мѣстоположеніе позади урочища *Поцека*, на которомъ стоялъ архіерейскій домъ, Александръ П — въ мнѣ первому сообщилъ объ этомъ открытіи. Наши разсказы привлекли другихъ, и гимназисты окрестили это мѣсто именемъ «К—ой Швейцаріи». Теперь оно сдѣлалось любимымъ мѣстомъ гулянья для всего города. Тамъ настроены домики, бесѣдки, и кажется есть даже кондитерская; самое мѣсто раздѣлилось на два гулянья: одна половина называется нѣмецкою, а другая русскою Швейцаріею.—Вотъ еще отрывокъ изъ «Путешествія въ Болгары».

Путешествіе въ Болгары.

Жить такъ не далеко отъ Болгаръ, отъ такого достопамятнаго въ Россіи мѣста, жить и не побывать тамъ, было бы непростительно. Я очень любопытенъ, особенно на вещи такого рода, которыя съ удовольствіемъ осматриваю. Оставалось переѣхать Волгу, побѣдить пятнадцать верстъ и потомъ совершенно удовлетворить своему желанію. Я не утерпѣлъ, велѣлъ осѣдлать лошадь, простился

и, переплывши бурливую стихію, поскакалъ по широкой дорогѣ Болгарской—березовыя рощицы поминутно мелькали въ глазахъ моихъ. Иныя подавались назадъ, а другія стремились впередъ, и казалось старались догнать меня—пространные луга, усѣянные разными цвѣточками, то показывались, то скрывались за мрачною густотою лѣса. Однимъ словомъ предметы то и дѣло перемѣнялись въ виду моемъ, такъ что, не успѣвая бросить взгляда на одну сторону, принужденъ былъ тотчасъ обратить взоры на другую; но наконецъ я достигъ цѣли своего желанія—увидѣлъ Болгары — увидѣлъ издали тѣ величественныя готическія строенія, коимъ удивлялся всякій проѣзжающій. Увидѣлъ — и давъ шпоры моей лошади, въ одну минуту былъ уже подлѣ одного изъ минаретовъ. Я взглянулъ на верхъ онаго, и изумленнымъ взорамъ моимъ представился тотъ желѣзный обручь, который былъ надѣтъ на него по повелѣнію мудраго Монарха нашего, великаго Петра. Сей знаменитый любитель древности хотѣлъ сохранить для поздняго потомства сію достопамятную древность. Долго я смотрѣлъ на этотъ памятникъ и любопытство мое часъ отъ часу возрастало. Я желалъ быть на самой вершинѣ сего столба,—желалъ видѣть Волгу, ея окрестности. Однимъ словомъ желалъ быть тамъ, куда рѣдкіе, очень рѣдкіе отваживались всходить.—Я зналъ, что многіе съ половины своего пути въ страхѣ возвращались назадъ. Я зналъ сіе и все еще хотѣлъ удовлетворить своему намѣренію; — видѣлъ, что столбъ уже покосился отъ времени,—видѣлъ и, сошедши съ лошади, направилъ шаги мои туда, куда влекло меня мое стремленіе. Нѣсколько разъ принимался я всходить на изломанную каменную лѣстницу; но какой-то необычайный трепетъ въ сердцѣ моемъ останавливалъ мое шествіе! Наконецъ я рѣшился, и по развалившимся ступенямъ пустился вверхъ,

сопротивляясь всѣмъ препятствіямъ, встрѣчающимся мнѣ въ семъ трудномъ пути. Иногда мнѣ надлежало карабкаться перпендикулярно по высунувшимся каменьямъ, а иногда обступаться и взбираться по отпадшимъ глыбамъ. Однакоже я успѣлъ преодолѣть всѣ опасности и—очутился на верхней площадкѣ минарета!... Ахъ! какое зрѣлище представилось глазамъ моимъ! Съ одной стороны протекала вдали великолѣпная Волга, на хребтѣ коей въ разныхъ мѣстахъ показывались суда съ распущенными парусами. Правый берегъ рѣки сей ограничивался цѣпью утесистыхъ горъ, на отлогости коихъ, въ пріятной долинкѣ, видны были *Тетюши*, съ своею желтою церковью. Съ другой же пролегали обширныя поля, на которыхъ въ пріятномъ видѣ перемѣшаны были орѣховые кусточки и мрачные руины. Ахъ! сей восхитительный ландшафтъ конечно стоилъ въ сію минуту не подражаемой кисти безсмертнаго Сальвата-розы; и сколько бы могъ онъ собрать здѣсь прелестныхъ идей для своихъ пейзажей, достойныхъ удивленія и восторговъ. Такимъ образомъ, предаваясь различнымъ удовольствіямъ, которыя чувствовалъ, взирая на величественныя красоты натуры, я сѣлъ отдохнуть: солнце начинало склоняться къ западу и жаръ его не былъ уже тотъ жаръ знойнаго полудня, который опаляетъ молодыя растенія, который принуждаетъ нѣжныхъ овечекъ утолять свою жажду въ прозрачныхъ источникахъ, который повелѣваетъ безпечнымъ, скромнымъ пастухамъ искать убѣжища подъ сѣнью мирнаго крова шалашей своихъ; лучи его, играя въ серебристыхъ струяхъ тихаго источника, казалось готовы были въ нихъ изчезнуть, и яркимъ своимъ блескомъ показывали приближеніе сумраковъ. Мнѣ хотѣлось еще побывать и у другихъ остатковъ царства Болгарскаго. Я всталъ съ своего мѣста, спустился въ низъ и пошелъ далѣе по зелено-бархатному лугу,

встрѣчая множество различныхъ цвѣточковъ, которые пріятнымъ своимъ видомъ такъ меня заняли, что я не чувствовалъ какимъ образомъ приблизился къ такому же точно столбу, какой незадолго предъ симъ видѣлъ: но жалко, что верхъ его уже обрушился. Впрочемъ онъ почти ни чѣмъ не разнился отъ прежняго и лѣстница его въ такомъ же направленіи шла къ верху. По достовѣрнымъ преданіямъ народа и по нѣкоторымъ довольно справедливымъ догадкамъ другихъ, можно сказать утвердительно, что они служили нѣкогда Музульманамъ тѣми возвышенными мѣстами, съ конхъ предвозвѣстники молитвы созывали ихъ въ мечеть!... Въ мрачномъ, меланхолическомъ молчаніи удивлялся я чудеснымъ, древнимъ зданіямъ. Я взиралъ на окружающіе печальные представшіе глазамъ моимъ предметы!... Слѣды яростнаго, неумолимаго времени! Что можетъ устоять противъ острой, все погубляющей косы его! Что можетъ притупить острое лезвіе сего ужаснаго орудія!... Вздохи тѣснили грудь мою — слезы сожалѣнія навертывались на глазахъ моихъ.... Нѣкогда и я долженъ буду покориться сему не измѣнному закону природы и составъ бреннаго моего тѣла, также долженъ будетъ такъ разрушиться. Черныя тучи начинали покрывать горизонтъ и вѣтеръ часъ отъ часу усиливался.... а я все еще, стоя на одномъ мѣстѣ, предавался въ безмолвіи моей задумчивости.

(Продолженіе впредь)

Адонисъ (Александръ П—въ).

Если немножко поправить эти строки, списанныя съ дипломатическою точностью, то они ничѣмъ не будутъ хуже прозы Владиміра Измайлова и князя Шаликова, людей, которые въ свое время имѣли свою славу.

Осень.

Уже не раздаются
Пернатыхъ голоса,
Ихъ гнѣздышки не вьются,
Не падаетъ роса,

*

Которая оживляла
Предъ ними поля и лѣсъ,
И свѣжесть разливала
Подъ чистый сводъ небесъ.

*

Ужъ нѣту и листочковъ
Совсѣмъ на деревахъ,
И миленькихъ цвѣточковъ
Не видно на поляхъ.

*

Лишь эхо раздается
Въ ущелинахъ горы,
Какъ быстрый токъ несется
Ручья, черезъ бугры;

*

Какъ сильный дождикъ съ шумомъ
Творитъ изъ свѣта мракъ;
Или градъ крупный съ громомъ
Наводитъ нѣкій страхъ.

*

Какъ сильный вѣтеръ мчится
Вертя засохшій листъ,—
Иль въ воздухѣ струится
Осенней птицы свистъ.

Земля оледенѣла,
Свирель совсѣмъ глуха
И крыша посѣдѣла
Избушки пастуха

*

Лишь дымъ изъ трубъ курится,
На гумнахъ слышенъ цѣпъ—
Крестьянинъ всякой тщится
Въ амбаръ убрать свой хлѣбъ.

*

Ахъ скоро ль обновится
Природа снова вся
И радость водворится
Опять съ весной въ меня!...

*

Но должно все съ терпѣньемъ
Всегда переносить,
Чтобъ съ большимъ утѣшеньемъ
Веселіе вкусить!...

Ирисъ (Иванъ П—въ).

Иванъ П—въ славился у насъ впослѣдствіи одами, изъ коихъ нѣкоторыя, по тогдашнему времени, были очень не дурны; но къ сожалѣнію ихъ у меня нѣтъ. Его піесу «Осень» я помѣстилъ для того, чтобъ показать какъ неудачно писалъ онъ стихи въ другомъ родѣ, о чемъ у насъ были большіе толки, и въ чемъ нашъ лирикъ никогда не хотѣлъ сознаться.

Оглавленіе трехъ нумеровъ «Журнала нашихъ занятій» 1806 года.

Эпиграфъ.

«Многіе пишутъ для славы, мы пишемъ для удовольствія; пріятная улыбка на устахъ нашихъ товарищей и друзей есть для насъ драгоцѣнный вѣнокъ награды.»

А.....в.

Мѣсяцъ іюль.

«Война» ода И. П. «Лаузій и Лидія». «О поединкахъ» изъ Журнала «des dames et des modes».

Мѣсяцъ ноябрь.

«Ода» (писанная на случай публичнаго испытанія студентовъ въ К—мъ университетѣ) И. П. «Дмитрій при рѣкѣ Донѣ» проза Ѳомина. «Сцены изъ жизни Брутовой» (окончаніе) А. П. «Смерть» проза Ѳомина.

Мѣсяцъ декабрь.

«Къ ручью» стихи И. П. «Загадка» стихи И. П. «О распространеніи и пользѣ Русской литературы» проза А. П. «Эпиграмма» П. А. «Дружба, уединеніе и любовь» (не конченная, а потому неизвѣстно чья).

Вотъ и нѣкоторые отрывки:

Двѣ первыя строфы оды «Война».

Почто война людей терзаетъ,
Почто лѣется смертныхъ кровь,
Что адскій вымыслъ сей питаетъ,
Гдѣ жъ къ ближнимъ кроется любовь?
Скажи, скажи ты мнѣ Беллона
Пріятна ль купленна корона,
Злодѣйствомъ, гибелью людей?—
Гдѣ жалость, гдѣ тогда бываетъ,
Когда братъ брата забываетъ
Для славы варварской своей??.—

*

Гдѣ святость, вѣра и законы?
Гдѣ ты къ Отечеству любовь?
Я внемлю только вопль и стоны
Тобой война сраженныхъ вновь!
Тамъ руки мочныя съ мечами
Главы съ отверстыми очами
Въ крови отрублены плывутъ;
Ногой ихъ дерзкій попираетъ,
Удритъ громъ!—Онъ упадаетъ—
И вмѣстѣ съ ними гибнетъ тутъ.

Такого рода стихами долго писали въ Россіи, и долго получали похвалы за нихъ наши лирическіе поэты: чтожъ мудренаго, что за пятьдесятъ лѣтъ сочинитель ихъ считалъ себя истиннымъ талантомъ, а его товарищи, семнадцатилѣтняя молодежь, видѣли въ немъ будущаго Ломоносова или Державина.

Димитрій при рѣкѣ Донѣ.

«Когда Россія стенала подъ игомъ татарскимъ и когда никто изъ князей Русскихъ не могъ управлять своимъ народомъ безъ граматы гордыхъ хановъ, тогда Димитрій осмѣлился пренебречь сіе поносное для Россіи обыкновеніе и взошелъ на престолъ безъ воли царя татарскаго.

Честолюбивый Мамай воспылалъ гнѣвомъ за сію непокорность и вторгался въ предѣлы россійскіе: смерть повсюду распространяла зевъ свой; зазвучали цѣпи на старцахъ и вопль обезчещенныхъ дѣвъ донесся до первопрестольнаго града Москвы.

Димитрій вознегодовалъ, услышавъ бѣдствія своихъ подданныхъ. Онъ повелѣваетъ собраться народу передъ дворцемъ своимъ: «Народъ! Тебѣ извѣстны опустошенія, варварства, распространяемыя Мамаемъ. Воспряни отъ сна бездѣйственнаго, и призвавъ въ помощь Бога и мужество отцовъ нашихъ, изощри мечи свои на погибель враговъ отечества». Такъ вѣщалъ Димитрій — и по стѣнамъ Московскимъ раздавалась побѣда или смерть; и на лицахъ гражданъ видны были мужество и радость умереть, спасая отечество;—всѣ брали оружіе. Пересвѣтъ, горя нетерпѣніемъ оказать новыя услуги Димитрію, въ одеждѣ монашеской и съ копьемъ въ рукѣ, явился къ его легіонамъ.

На разсвѣтѣ прекраснѣйшаго дня архіепископъ Троицкій именемъ Всевышняго благословилъ воинство и оно подъ повелѣніями храбрыхъ вождей, при звукѣ трубъ двинулось къ странамъ, орошаемымъ Дономъ. Шумъ оружія, величественное молчаніе воиновъ составляли противоположность распростирающую ужасъ по мѣстамъ окружнымъ.

Солнце оканчивало уже свое дневное теченіе, какъ забѣлѣлись шатры татарскіе, лучи его умирали на позлащенномъ шпицѣ ставки Мамаевой. Едва Димитрій установилъ свое воинство, роздалъ повелѣнія, какъ вѣстникъ хановъ предсталъ предъ нимъ съ сими словами: «Князь Россійскій! Повелитель мой не желаетъ всеобщаго кровопролитія; но отдаетъ рѣшеніе судьбы на единоборство двухъ воиновъ»....

Димитрій согласился, далъ знакъ, и со стороны Русской, Пересвѣтъ, вооруженный однимъ копьемъ, явился предъ своими противниками. Какъ разъяренные львы сошлись они, сразились—и оба пали мертвы. Тутъ замерцало оружіе и рѣки крови смѣшались съ Дономъ. Два раза Димитрій собиралъ разсѣянное воинство; наконецъ съ отчаяніемъ и любовію къ отечеству ударилъ на враговъ своихъ и мужество истребило варваровъ многочисленныхъ.

Съ честью возвратился побѣдитель въ свою столицу; вѣнки лавровые сыпались на главы избавителей отечества; радость была всеобщая; дѣти обнимали отцевъ своихъ, матери сыновей и супруги своихъ супруговъ!

При звукѣ колоколовъ и при благословеніяхъ соотчичей погребено было тѣло храбраго Пересвѣта. — Да почтитъ память его потомство!..

М. Ѳомин.

Эта, ничего особеннаго въ себѣ не содержащая, статейка Ѳомина, студента впрочемъ очень остроумнаго и дѣльнаго, не знаю почему пользовалась у насъ общимъ одобреніемъ. Сравнивая ее съ другими прозаическими статьями, я рѣшительно не могу отдать ей значительнаго преимущества; и такъ надобно приписать ея успѣхъ *щастью*, которое до сихъ поръ не рѣдко сопровождаетъ появленіе и книгъ и статей. Разумѣется подъ словомъ: счастье, должно понимать стеченіе благопріятныхъ обстоятельствъ и причинъ, незамѣтныхъ для человѣка.

Выписка изъ статьи: «О распространеніи и пользѣ русской литературы».

«Наконецъ явился незабвенный Карамзинъ, преобразователь русской прозы, которая до него находилась у насъ въ самомъ жалкомъ положеніи; уродливыя выраженія, скучные и продолжительные періоды, принужденный смыслъ, все такъ сказать утомляло тогда читателей нашихъ, но онъ явился и чистота слога одушевила сочиненія наши и тьма подражателей старались наперерывъ превосходить другъ друга въ подражаніи и множество молодыхъ людей захотѣли заниматься отечественною литературою. Отсюда-то, можно смѣло сказать, слѣдуетъ эпоха усовершенствованія нашей словесности,—отсюда-то вкусъ къ любословію началъ у насъ приходить въ лучшее состояніе—и изданіе журналовъ было самое полезнѣйшее намѣреніе къ достиженію онаго; извѣстнѣйшіе изъ нихъ были тогда: «*Чтеніе для вкуса разума и чувствованій*», «*Московской журналъ*», «*Пріятное и полезное препровожденіе времени*», «*Ипокрена или утѣхи любословія*», а послѣ и «*Вѣстникъ Европы*», который и понынѣ продолжаетъ издавать г. Качановскій; если не съ такимъ успѣхомъ какъ г. Карамзинъ, то по крайней мѣрѣ, сей послѣдній журналъ будетъ всегда въ моихъ глазахъ превосходнѣе всѣхъ «*Сѣверныхъ Вѣстниковъ*», «*Новостей литературы*», «*Лицеевъ*» и пр.... Покойный Новиковъ, имѣющій всѣ права на нашу признательность и котораго память должна быть столько для насъ священна, для пользы просвѣщенія своихъ соотечественниковъ отпускалъ даромъ при газетахъ «Листочки ежемѣсячныхъ и еженедѣльныхъ изданій», выходившихъ при немъ въ свѣтъ. Разумѣется, что всякій, получающій

или не получающій Вѣдомости, любопытствовалъ знать, что въ нихъ находится, онъ любопытствомъ непремѣнно родилась охота къ чтенію, а отъ чтенія наконецъ и собственное упражненіе. Молодые люди отваживались уже выпускать въ журналы свои мелочныя произведенія; узнавая же, что публика принимаетъ ихъ съ удовольствіемъ и одобреніемъ, продолжали дѣлать дальнѣйшіе успѣхи въ словесности и, шествуя мало по малу по трудному и тернiемъ усѣянному пути, достигали наконецъ авторскаго достоинства.

Но намъ извѣстно, что человѣкъ желающій быть, въ семъ классѣ людей *непослѣднимъ*, непремѣнно долженъ знать порядочно хотя одинъ иностранный языкъ; ибо сравнивая оный съ своимъ, онъ наблюдаетъ, такъ сказать, лучшія принадлежности каждаго, и потому, если грубое и непріятное выраженіе русское ему неправится въ его твореніи, то онъ, примѣняя его къ чужеземному, дѣлаетъ другой оборотъ и тѣмъ самымъ даетъ ему новую силу,— новую жизненность. Я умалчиваю уже, что и чтеніе хорошихъ иностранныхъ книгъ также бы не безполезно было—хотя это старо и истерто; но за то истинно. Тутъ, разумѣется, знаніе историческихъ происшествій, характеръ слога и проч.

А посему, если большая часть нашихъ читателей будутъ такимъ образомъ трудиться, то въ самомъ дѣлѣ слогъ нашъ въ короткое время можетъ дойти до высочайшей степени совершенства (если еще не дошелъ).—Да и кто можетъ сравнить древнюю литературу съ теперешней. Книгу, написанную нынѣ, въ состояніи бываетъ понимать всякой молодой воспитанникъ, если ему будетъ извѣстенъ хотя мало, предметъ оной. Возьмите же какого нибудь Тредьяковскаго, я думаю и въ совершенномъ возрастѣ человѣкъ, человѣкъ съ познаніями, нерѣдко бываетъ при-

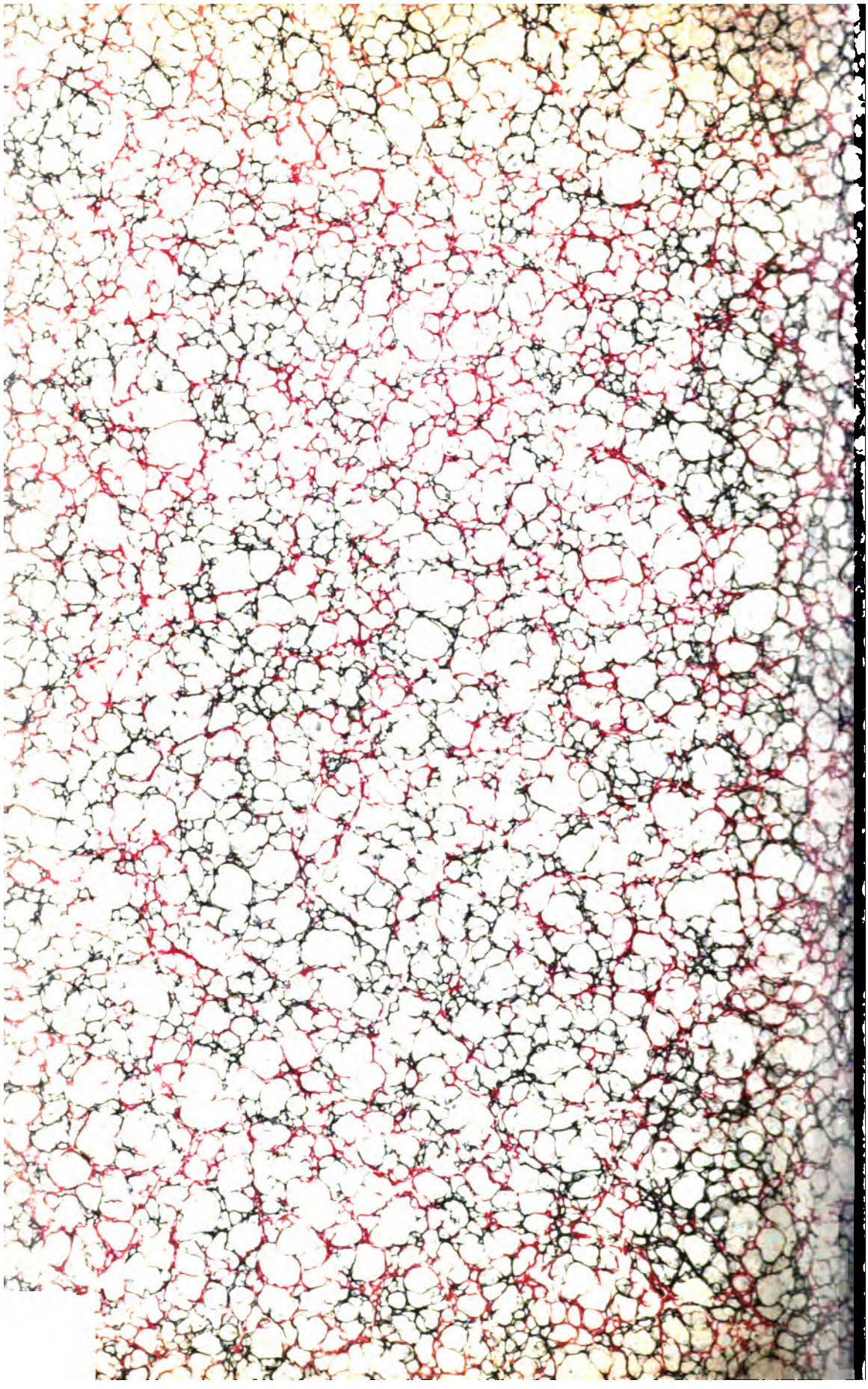
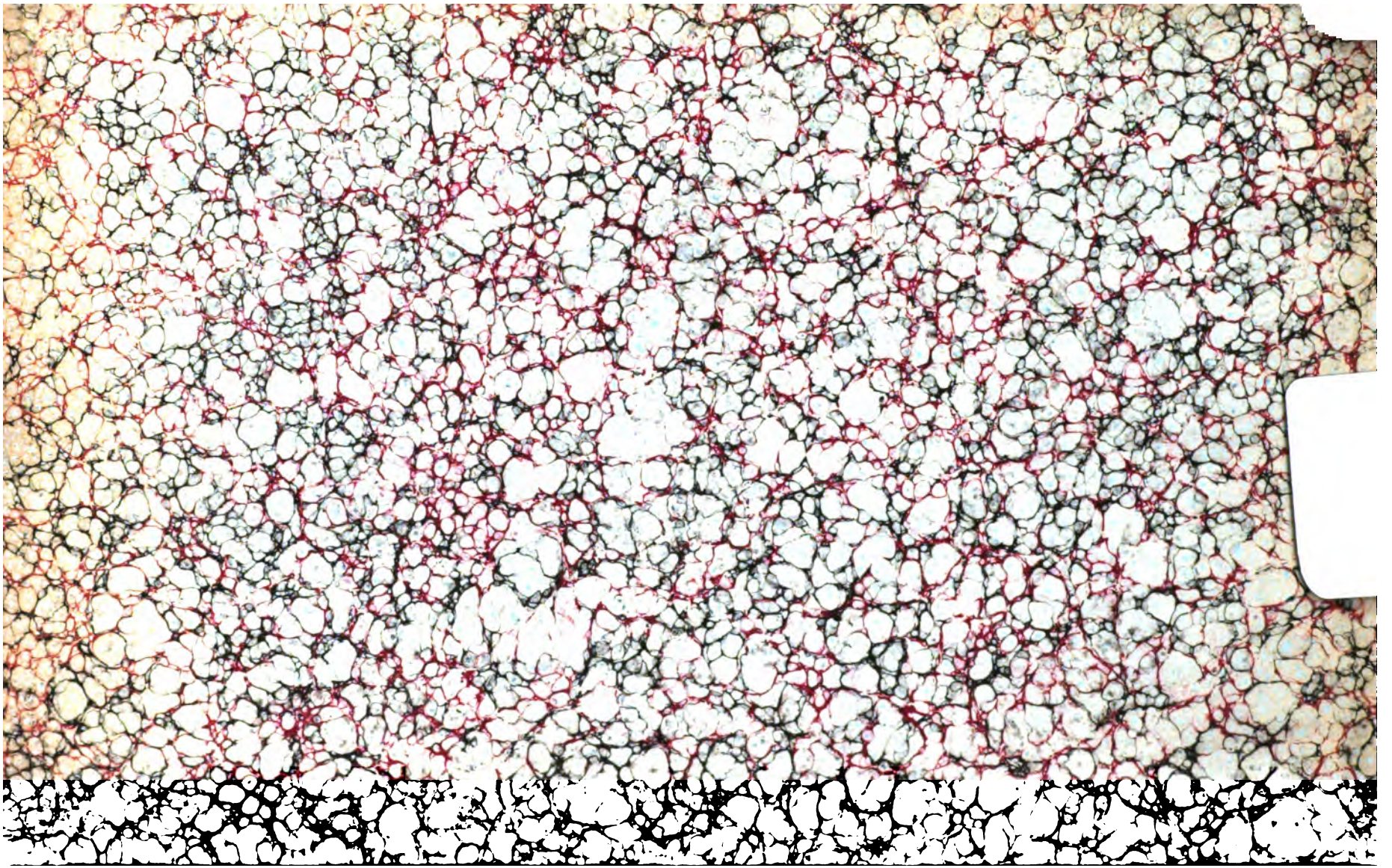
нуждень прочитать у него нѣсколько разъ одинъ періодъ, чтобы сыскать настоящій смыслъ онаго. Напротивъ, читая слово Екатеринѣ II-й г. Карамзина, кто мысленно не переносился въ прежній Римъ? Кто не думалъ, что онъ внимаетъ великому Цицерону? Да и кто можетъ меня увѣрить, что сей послѣдній превосходилъ въ пінтическомъ краснорѣчіи перваго.... Довольно прочитать только одинъ его приступъ, чтобы отдать совершенно должную справедливость неподражаемому перу Сѣвернаго оратора.—Въ его громкихъ періодахъ плавность слога подобна величественному теченію спокойной, обширной рѣки, а трогательная гармонія словъ очаровываетъ, восхищаетъ чувства наши и воображеніе!

Вотъ каково дѣйствіе быстрыхъ успѣховъ словесности!— И вотъ какую пользу приноситъ намъ упражненіе въ оной!»

А. П.

Я помню, что въ этой дѣтски-молодой статьѣ было несравненно больше преувеличенныхъ, безусловныхъ похвалъ Карамзину и что только изъ уваженія къ моимъ настоятельнымъ требованіямъ, П—въ согласился кое-что убавить. Что же касается до мысли и выраженій, то развѣ издатель «Московскаго Меркурія» (г-нъ Макаровъ), да и другіе поклонники и послѣдователи Карамзина, не такими же мыслями и выраженіями опровергали грубыя, иногда натянутыя, но всего чаще справедливыя осужденія Шишкова?

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.

Къ читателямъ 1
Семейная хроника: Степанъ Михайловичъ Багровъ 3
Михайла Максимовичъ Куролесовъ 47
Женитьба молодаго Багрова 98
Воспоминанія: Гимназія, періодъ первый 165
Годъ въ деревнѣ 235
Гимназія, періодъ второй 265
Университетъ 327
Яковъ Емельянычъ Шушеринъ 375
Воспоминаніе объ Александрѣ Семеновичѣ Шишковѣ 455
Знакомство съ Державинымъ 517
Приложенія 547